

Р. КИПЛИНГ

избранное

Р. КИПЛИНГ

избранное



# РЕДЬЯРД КИПЛИНГ

---

ИЗБРАННОЕ

*Перевод с английского*



Ленинград

«Художественная литература»

Ленинградское отделение

1980

ББК 84.34 Вл  
К 42

RUDYARD KIPLING

Составление и вступительная статья  
Н. Дьяконовой и А. Долинина

Примечания  
А. Долинина и В. Захарова

Оформление художника  
Г. Губанова

К  $\frac{70304-074}{028(01)-80}$  158-80 4703000000

© Составление, вступительная статья, переводы, за исключением отмеченных знаком \*, примечания, оформление. Издательство «Художественная литература», 1980 г.

## О РЕДЬЯРДЕ КИПЛИНГЕ

Писательская судьба Редьярда Киплинга (1865—1936) знала и высокий взлет, и глубокое падение. Сначала была слава — громкая, всеобщая. Безвестный двадцатичетырехлетний сочинитель рассказов и стихов, выходец из колоний, стал знаменитым внезапно, чуть ли не за одну ночь, и целое поколение признало его властителем своих дум. Вся Англия, а потом и весь мир с восхищением внимали каждой рифме, каждому слову «законченного гения» — так Генри Джеймс называл Киплинга. К его советам прислушивались короли и полководцы, его портреты украшали гостинные, а его энергичные мускулистые строки быстро превращались в пословицы. «Наиболее влиятельной силой в дни моего студенчества был киплингизм, — вспоминал десятилетие спустя один из автобиографических героев Герберта Уэллса. — В середине девяностых годов этот маленький усатый очкарик, который, казалось, никогда не перестает отчаянно жестикулировать, этот обладатель тяжелого подбородка, который с мальчишеским энтузиазмом вопил о действенности силы и лирически восторгался звуками, красками и даже запахами Империи, этот кудесник, открывший нам мир машин, ветоши, инженеров и младших офицеров и превративший профессиональный жаргон в поэтический диалект, стал чуть ли не национальным символом. Он чудодейственно захватил нас, наполнил своими звонкими неотвязными строчками, заставил сочинять бледные подражания ему, окрасил самый стиль наших бесед». Многие верили тогда, что страна наконец обрела истинно национального, народного поэта, и восторженно повторяли вслед за своим кумиром хвалу деяниям мужественных сынов Британии и анафему тем, кто не понимает выгод и преимуществ британского владычества.

И вдруг всеобщему поклонению пришел конец. Нет, Киплинг не перестал писать и даже не потерял читателей. Но изменились сами времена, умолкли триумфальные марши девяностых годов, ослепительные надежды не оправдались, и в новую, более трезвую эпоху, когда мир уже вплотную подошел к грани грядущих катастроф, киплинговские шовинистические гимны стали резать слух, а в культе «действенной силы» открылось преклонение перед жестокостью. Первое десятилетие XX века в Англии оказалось периодом брожения, периодом разочарования в былых идеалах, и уже не Киплинг, а его идейные противники — Дж. Голсуорси, Б. Шоу, А. Беннет, тот же Г. Уэллс — выразили это предкризисное умона-

строение. Но «обладатель тяжелого подборodka» упрямо не хотел замечать перемен, цепляясь за прежние принципы и догмы, у которых оставалось все меньше сторонников. Он не просто вышел из моды — он обанкротился, и сама литература, само братство пишущих и думающих начали постепенно отдаляться от него. В первую очередь были оспорены, разбиты и осмеяны те самые его идеи, которые раньше вызывали столь широкий отклик, а затем под сомнением оказался и кипплинговский талант. «Раньше я надеялся, что в нем таятся зерна, из которых прорастет английский Бальзак, но теперь, увы, надеяться больше не на что», — сокрушался когда-то друживший с Кипплингом Генри Джеймс, а полчища фельетонистов и карикатуристов нашли в Кипплинге прекрасную мишень для упражнений в остроумии на тему: «А король-то голый».

Когда публичная экзекуция была закончена, про Кипплинга забыли. Некогда младший современник прославленного поэта-лауреата викторианской поры А. Теннисона, ученик и последователь Р. Л. Стивенсона, стоявший вместе с ним у истоков неоромантического движения, он стал теперь — в двадцатые годы нашего века — старшим современником писателей-авангардистов, которым кипплинговская эпоха представлялась допотопной древностью, а ее авторитеты — ископаемыми чудищами. Его новые сборники рассказов и стихов выходили в свет одновременно с «Улиссом» Дж. Джойса или «Бесплодной землей» Т. С. Элиота, но они были так далеки от веяний времени, что ни один серьезный критик даже словом не обмолвился об их существовании. Творчество Кипплинга словно бы перестало быть фактом культуры; его книги умирали, едва успев родиться; от них отмахивались как от безжизненного анахронизма или, в лучшем случае, как от развлекательного чтива для обывателей. Когда в 1936 году Кипплинга хоронили в Вестминстерском аббатстве (честь, которой удостоиваются немногие!), в торжественной церемонии не пожелал участвовать ни один мало-мальски значительный английский писатель.

Но созданное Кипплингом смогло пережить и поношения начала века, и презрительное молчание послевоенных лет. Смертный приговор, вынесенный ему критикой, так и не был приведен в исполнение: все это время дети по-прежнему радовались его мудрым сказкам, а потом, взрослея, замирали над историей Маугли, зачитывались «Кимом», учили наизусть стихи. В конце концов поразительную его живучесть пришлось признать и собратьям по перу. В 1940—1950-е годы о «феномене Кипплинга» так или иначе высказались почти все крупнейшие деятели англоязычной культуры, а ее главные авторитеты, и в частности Т. С. Элиот, посвятили ему пространные статьи. Спор о наследии Кипплинга велся с разных позиций, но, что бы ни говорили его участники, как бы ни относились

они к своему одиозному предшественнику, с сочувствием или с неприязнью, — во всех инвективах и апологиях сквозило плохо скрытое недоумение. Как могло случиться, — словно спрашивал себя каждый, — что мы, люди, умудренные жестоким опытом середины XX века, мыслители и художники, проникшие в самые потаенные глубины человеческого естества и нашедшие сложнейшие формы воплощения нашего знания, вынуждены с жаром обсуждать достоинства и недостатки журналиста-недоучки, автора примитивных, отчасти даже вульгарных стихов и рассказов, да еще при этом и защитника устаревших, реакционных и давно опровергнутых Историей взглядов?

И действительно, в чем же разгадка столь длительной и неослабевающей притягательности писателя, которому, казалось бы, суждено было забвение? Почему мы до сих пор читаем многое из того, что было написано с явной целью воспеть доблести безвозвратно ушедшей в прошлое Британской империи? Ответ на эти вопросы можно получить, только проследив за развитием Киплинг — человека и художника.

\* \* \*

Редьярд Киплинг родился в 1865 году в Индии, куда его отец, неудачливый декоратор и скульптор, отправился с молодой женой в поисках постоянного дохода, спокойной жизни и достойного положения в обществе. Расчет Джона Локвуда Киплинга (так звали отца писателя) оказался верен: семья, хотя и не без труда, но сводила концы с концами, а его должность хранителя древностей в Лахорском музее и репутация блестящего знатока восточных культур помогли Киплингам войти в тесный круг английской колониальной элиты.

В небогатых семействах, подобных киплинговскому, родители обычно мало занимались воспитанием детей, и те росли под присмотром местных слуг, пока не подходило время везти их в Англию — учиться. Так было и с маленьким Редьярдом. Сначала мальчика отчаянно баловали индийские кормилицы и няни, чей язык он выучил прежде английского; затем его отослали в метрополию, где он провел мучительные годы в частном пансионе, владелица которого обращалась с ним до чрезвычайности грубо; и, наконец, определили в закрытое учебное заведение для юношей, в котором от воспитанников требовали не знаний, а послушания и соблюдения военной субординации. В этом питомнике будущих «строителей Империи» Киплинг провел почти пять лет — запоем читал, проказничал и привыкал ценить дисциплину.

Впоследствии Киплинг с умилением вспоминал о казарменном рае своей суровой школы и написал о ней ностальгическую книгу,

«Стоки и К<sup>0</sup>» (1899), которая навлекла на него справедливые обвинения в прославлении палочного воспитания и хамского бессердечия учеников. Но он не знал другого детства. Не знал он и юности — шестнадцатилетним мальчишкой, не смея даже мечтать о продолжении образования, он вернулся в Индию, где его ждало место корреспондента крупнейшей газеты города Лахора.

Так начались его настоящие университеты, началось, как он сам говорил, «семилетие трудов тяжелых». Он гордо тянул лямку журналистской поденщины, работал до полного изнеможения в тропическую жару, разъезжал по всей стране, где эпидемия сменялась голодом, а голод — войной, всюду совал свой любопытный, как у несносного слоненка из его знаменитой сказки, нос, заводил бесчисленные знакомства и жадно впитывал все рассказы и сплетни, все легенды и анекдоты, которыми его охотно потчевали окружающие. Кочевая жизнь колониального газетчика требовала самоотверженности и личной отваги, и Киплингу не раз удавалось лишь чудом избежать гибели. «Смерть всегда неотступно следовала за нами», — вспоминает он в своих мемуарах, и это острое ощущение постоянной опасности, незащитности в смертельной игре с судьбой отзывалось во многих его новеллах и стихах индийского цикла.

Индия сформировала Киплинга, разбудила его дарования, вылепила из него художника. Встреча с многоликой страной, где конкистадорская энергия Запада наталкивалась на неподвижность и непроницаемость Востока, где островки европейской цивилизации терялись в море древнейшей и загадочной культуры, где сплетались воедино нищета, предрассудки и высокая духовность и где человек ежеминутно подвергался тяжелым нравственным и физическим испытаниям, стала решающей для становления литературного дарования Киплинга. Самый характер его деятельности, умение сходиться с людьми, быстро вернувшееся к нему знание местного языка, а главное — счастливое чутье журналиста и огромный опыт отца, первого и едва ли не единственного его советчика, дали ему глубокое знание индийской жизни в обоих ее обличьях, «туземном» и колониальном, знание, которое долгие годы служило ему надежным источником творчества.

Писать Киплинг начал очень рано, сразу и стихи, и прозу. Вскоре после возвращения в Индию он опубликовал первый стихотворный сборник «Чиновничьи песенки» (1886), в котором еще очень явственно слышны голоса его литературных учителей и который состоит, главным образом, из забавных полупародий, написанных «по случаю» и обращенных к англо-индийской<sup>1</sup> читательской ауди-

---

<sup>1</sup> Англо-индийцами во времена Киплинга называли себя англичане, жившие в Индии.

тории. Порой добродушно, а порой и зло Киплинг подсмеивается над немощью английской администрации в Индии, несущей стране, как он пишет, «мир, тюрьмы, полицию, долги да труд до конца дней», над тупоумием колониальных чиновников, над убожеством их жизни. Сходный материал он использует и в своих коротеньких очерках и новеллах, печатающихся в местных газетах рядом с деловыми корреспонденциями и новостями. В 1888 году Киплинг собирает лучшие рассказы в книгу под названием «Простые рассказы с гор», которая издается в Индии небольшим тиражом, а затем, один за другим, выпускает еще несколько прозаических сборников: «Три солдата», «Рикша-призрак» и т. д. Популярность молодого писателя растет, англо-индийцы с удовольствием читают своего новоявленного бытописателя, и вскоре имя Киплинга попадает на страницы лондонской печати. Приближается встреча Киплинга с метрополией, которая пока не знает ни одной его строчки, но нетерпеливо ожидает появления нового дарования — откуда бы оно ни пришло, — ибо конец восьмидесятых годов в Англии был довольно беден литературными событиями.

Можно сказать, что Киплингу повезло: он входил в литературу в период безвременья, на переломе, когда уже начала давать трещину казавшаяся незыблемой твердыня викторианского сознания. Многие деятели культуры в ту пору пытались разными путями преодолеть гнет косной, омертвевшей традиции; учения Дарвина, Спенсера и Ницше волновали молодые умы, писатели жадно впитывали в себя опыт новейшей французской литературы, подражая чуть ли не одновременно и натуралистам, и символистам. Весьма характерной для этой неустойчивой эпохи стала фигура поэта, драматурга и романиста Дж. Мура, который проделал показательный путь от эстетской поэзии 1870-х годов через крайний натурализм к мистицизму и декадансу конца века. Но ни натурализм, ни символизм так и не смогли надолго укорениться на Британских островах: взаимно отрицая друг друга, они быстро исчерпали себя, автоматизировались и застыли на месте. Литература явно нуждалась в обновлении, и стоило Киплингу в 1890 году опубликовать в Англии несколько десятков рассказов и баллад, как стало ясно — среди литературных «расчисленных светил» появилась «беззаконная комета», готовая взорвать изнутри сложившуюся систему жанров и стилей.

В неясном, расплывчатом контексте эпохи Киплингу удалось разглядеть обширную лауну, удалось разгадать потребность в современном романтическом герое, в новом моральном кодексе, в новой мифе, который был бы созвучен дарвиновской теории эволюции с ее жесткой формулой: «Выживает сильнейший». Пожалуй, только Р. Л. Стивенсон, автор «Острова сокровищ» и «Черной стрелы», раньше Киплинга почувствовал, что в современной литературе

не хватает «боя мужественных барабанов»; но если его ответом на потребности века была романтизация прошлого, то Киплинг обнаружил романтику подвига и подвижничества в самой гуще современности. Провозгласив в пору крушения идеалов и недоверия к героическим возможностям человека старый, но прочно забытый героический идеал, Киплинг стал одним из основателей недолговечной, хотя и влиятельной эклектической литературной школы конца XIX века — так называемого неоромантизма. Его рассказы и стихи, равно как и произведения его единомышленников — Р. Хаггарда, А. Конан Дойла, У. Хенли и других, вызвали широкий отклик в самых разных слоях английского общества, отразившись на уровне массовой беллетристики множеством низкопробных подражательных боевиков с детективами, преступниками, бравыми моряками и прочими суперменами — этими штампованными репродукциями киплинговских мужественных героев. Сами литературные жанры, счастливо избранные Киплингом, в немалой степени предопределили его успех: короткий рассказ, стилизованный под французскую или американскую прозу, был воспринят читателями, воспитанными главным образом на многотомных романах, чуть ли не как революция в отечественной литературе, а смелое соединение традиционных национальных поэтических форм с мотивами современного городского фольклора создавало в его балладах эффект крайней новизны.

Киплингу удалось сохранить или, вернее, восстановить одну из основных романтических установок, согласно которой «искусство только тогда значительно, когда оно каким-то образом переходит за грани искусства и становится жизнью»<sup>1</sup>. Унылому детерминизму натуралистов и зыбким мистическим воспарениям декадентов он противопоставил творчество, активное по отношению к действительности. Вслед за романтиками первой половины XIX века Киплинг предложил читателям непосредственную программу поведения, идеальную модель, на которую следовало ориентироваться в повседневной деятельности и которая нашла себе множество приверженцев, пожелавших стать похожими на киплинговских персонажей. Программа начала реализовываться в конкретных делах и поступках: как свидетельствует английский поэт и романист Р. Грейвз, вплоть до начала первой мировой войны большинство британских офицеров старательно имитировало стиль жизни и строй речи мужественных героев «железного Редьярда», а воспетые им англо-индийцы изо всех сил тилились соответствовать своему «неоромантическому» изображению, льстившему их провинциальному самолюбию.

---

<sup>1</sup> Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977, с. 136—137.

Эта исходная установка осуществлялась в раннем творчестве Киплинга на материале, который прежде считался бы мало пригодным для истинно «высокого» искусства. Его рассказы и баллады, посвященные Индии, широко раздвинули границы канонической литературности, и ошеломленному читателю открылся в них непривычный мир, где экзотика и героика проступали сквозь густой, жестко выписанный «низовой» быт. Вместо условно-театрального, нарядного Востока в литературу вошел Восток грязный, пыльный, кровавый, страшный — Восток, который заставил всех поверить в свою подлинность. Сместилась мера условности, передвинулся угол зрения, романтика внедрилась в будни и приобрела обаяние правдоподобия.

Необычными показались современникам и киплингские герои, начисто лишённые ореола внешней исключительности. «Когда листаешь страницы «Простых рассказов с гор», — писал Оскар Уайльд, — кажется, будто ты сидишь под пальмой, и жизнь проходит перед тобой в ослепительных вспышках вульгарности. Как очаровательно несовместимы со своим окружением эти никчемные второстепенные англо-индийцы...» Изохронный эстет, каким был в ту пору Уайльд, имел все основания брезгливо морщиться. В рассказах и стихах Киплинга действительно ожили люди незначительные и неяркие, мелкие чиновники колониальной службы, инженеры и врачи, полицейские и телеграфисты, строители и агрономы, железнодорожники и клерки. Иногда хроникер-очевидец, по-журналистски лаконичный и точный в деталях, а иногда они сами, без посредников, безыскусно и незатейливо рассказывали простые «случаи из жизни» с достоверной интонацией бывалых людей, видевших все своими глазами. Каждый из них терпеливо и упорно занимался делом, стремясь принести пользу покоренной стране, самозабвенно прокладывая дороги, лечил, охранял, строил — словом, нес, стиснув зубы, крест своего долга. Правда, не всем хватало стойкости и воли, чтобы выдержать постоянное напряжение — одни сходили с ума и гибли, как гибнет герой рассказа «В конце пути», другие навсегда выбивались из строя («Хранить как доказательство»). Порой нервы отказывали даже самым крепким. Впадает же в безумие один из любимейших киплингских молодых, бравый Ортерис («Безумие рядового Ортериса»), и вот и служба ему не в радость, и вот уже готов он послать подальше эту «проклятую жизнь солдатскую». Но во всех своих тружениках и служаках, в отчаявшихся и в преодолевших отчаяние, Киплинг находит остаток человечности — неистребимый, вопреки чудовищному давлению среды и обстоятельств.

Есть у раннего Киплинга и другой мир — мир правителей и политиков, командиров и бюрократов, — который, как правило, оце-

нивается им весьма негативно. Здесь царят безалаберность и некомпетентность, здесь теряется всякая связь с реальностью и благие намерения порождают лишь заведомо неосуществимые прожекты. Не понимая местных условий, не разбираясь в индийской культуре, обычаях, нравах, администрация издает нелепые законы, бессмысленность которых ясна даже ребенку («Поправка Тодса»), или ведет бумажные войны инструкций и циркуляров («И вырыли яму»). В этом холостом механизме инертного властвования напрасно было бы искать героев, обладающих прочными нравственными устоями, и Киплинг, безусловно, отдает предпочтение демократическому «низу», все ценности которого для него воплощает бесправный, многократно униженный и послушный рядовой армии Ее Величества, тот самый Томми Аткинс, который

... так его и сяк, не раз уже учен,  
И Томми — вовсе не дурак, он знает, что почем<sup>1</sup>.

Пожалуй, Киплинг первым в английской литературе пристально всмотрелся в казавшуюся безликой массу мундиров и шинелей, и ему удалось разглядеть в ней непохожие друг на друга человеческие судьбы, требующие уважения и сочувствия. Изобразительно точное, яркое, ориентированное на сказ слово киплинговской военной прозы вступило в полемику с традиционными представлениями о несовместимости языка искусства с жаргоном казармы и плаца. Безликая масса вдруг заговорила, да еще как — сочно, образно, весело, — и тогда обнаружилось, что в ней таятся характеры, готовые затмить знаменитых трех мушкетеров А. Дюма. Создав свой собственный «мушкетерский» цикл, где роли легендарных товарищей д'Артаньяна исполняют обыкновенные солдаты английских колониальных войск Малвени, Лиройд и Ортерис, Киплинг познакомил Империю с теми, кто проливал за нее кровь, и открыл в них не только обаяние мужественной силы, но и силу морального превосходства. Да, утверждает Киплинг, эти дебоширы и пьяницы более нравственны, чем сытые и анемичные буржуа, потому что в их жилах течет настоящая кровь, а их огрубевшие сердца способны глубоко чувствовать. Они бывают смешными, бывают жестокими, бывают глупыми, но слабыми и равнодушными — никогда.

Солдатская проза Киплинга, говоря словами И. Бабеля, «точна, как военное донесение или банковский чек», и эта деловитая точность завораживала современников, мешая им разглядеть под натуралистической оболочкой таких новелл, как «Дочь полка», сенти-

---

<sup>1</sup> Перевод И. Грингольца.

ментальный неоромантический миф, представлявший образцового служаку-наемника в качестве средоточия всех человеческих достоинств. В сущности, кипплинговские мушкетеры не менее далеки от реальности, чем герои Дюма, а исповедуемый ими кодекс солдатской чести превосходит знакомые нам хотя бы по Нюрнбергскому процессу попытки оправдать любые злодеяния и зверства. Противопоставляя буржуазной пошлости полную опасности жизнь «настоящих мужчин», Киплинг, сам того не подозревая, оказался у истоков пропагандистского мифотворчества, которое в двадцатом столетии принесло миру неисчислимые бедствия. Правда, у Киплинга существование Томми Аткинса далеко не лучезарно и скорее трагично, чем празднично; война для него — не победное ликование фанфар, а тяжелая работа, опустошающая душу. Но, несмотря на это, Киплинг откровенно любит своих героев, любит их готовностью жертвовать собой ради общего дела, их отвагой и удалью, их понятиями о долге и дисциплине — словом, самим их стоическим отношением к жизни, а от подобного любования уже совсем недалеко до плакатного прославления «грозных орлов».

Возникнув в прозе, солдатская тема быстро переключалась в поэзию Киплинга. Когда в 1890 году молодой писатель, оставивший к тому времени Индию и успевший совершить путешествие по Китаю, Японии и Америке (1889), начал завоевывать литературный Лондон, внимание читающей Англии сразу привлекли его стихотворные опыты, в которых в качестве лирического героя выступил уже знакомый нам Томми Аткинс. Мастерски стилизованные под просторечие, изобретательно инструментованные, ритмически разнообразными «казарменные баллады» (именно так поэт назвал сборник своих солдатских стихов, вышедший в свет в 1892 году) особенно выгодно выделялись на фоне жеманного и подражательного эстетствования конца века. В «железном стихе» Киплинга слились воедино самые разные — высокие и низкие — традиции: романтической балладе была сделана сильнейшая инъекция площадного языка, жанр поэтико-драматического монолога, успешно разрабатывавшийся Р. Браунингом, обогатился новыми разновидностями, изощренная ритмика прерафаэлитов — группы поэтов во главе с Д. Г. Россетти, провозгласивших своим идеалом красоту высокой духовности и непосредственность чувства, — нашла одновременно и опору, и опровержение в неправильной, но выразительной и гибкой строфике мюзик-холльной песенки и солдатской частушки. Само слово огрубело, обрело почти материальную вещественность, а маршевые и романсовые интонации обнажили первозданную точность его значений:

Я-шел-сквозь-ад — шесть недель, и я клянусь,  
Там-нет-ни-тьмы — ни жаровен, ни чертей,

Но-пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог,  
И отпуска нет на войне!<sup>1</sup>

Чеканные формулы киплинговского стиха имитируют душевный опыт человека, «прошедшего сквозь ад» и знающего себе подлинную цену. Точка зрения лирического героя баллад единственна и абсолютна: это он рассказывает нам о позорных поражениях и славных победах, оплакивает погибших товарищей, возмущается бездарными командирами, прислушивается к «зову Востока» и вспоминает прежних подруг. Выбор единого повествующего «я» для текста обусловил как очевидные удачи, так и не менее очевидные изъяны солдатской лирики Киплинга. В тех случаях, когда в основе баллады лежит простая общечеловеческая эмоция: любовь, ужас, негодование, грусть, — ее монологизм совершенно оправдан, но стоит поэту замкнуться в кругу чисто казарменных представлений и полностью отождествить себя со своим героем, наемником-профессионалом, как его стихотворения превращаются в апологию жестокости, насилия и бездушия. Так, даже самых рьяных поклонников Киплинга смутила его баллада «Добыча», где поэт устами Томми Аткинса открыто оправдывал разбой и мародерство.

Широко пользуясь маской повествователя, который, по замыслу поэта, должен выразить некую истинно народную, нормативную точку зрения на мир, Киплинг создал особый мистифицирующий поэтический язык, который только загримирован под «чужой» и «всеобщий», а по сути дела воплощает единую и непрерываемую авторскую позицию. Такая фальсификация — вообще говоря, вполне естественная для поэзии, в которой всякое подслушанное или заимствованное слово немедленно становится «своим», — и многоликость в конечном счете всегда иллюзорны. А вот в романе разрыв между автором и героем — уже реальность, множественность точек зрения — вполне достижима, и когда Киплинг попробовал свои силы в этом новом для себя жанре, он явно намеревался сохранить дистанцию между повествователем и персонажами. Однако это удается ему далеко не всегда: слишком часто главный герой его первого романа «Свет погас» — талантливый художник-баталист Дик Хелдар — выходит из образа и начинает говорить авторским голосом, изрекая резонерские суждения об искусстве, любви и политике. И тогда рвется заброшенный на повествование покров мнимой иронии, обнажая осколки личных авторских обид и пристрастий.

Одна из причин этого ясна — «Свет погас» чересчур обременен автобиографическими мотивами, которые не до конца преобразованы, пересозданы художественным мышлением писателя во «вторую реальность» искусства. Киплинг писал свой роман весной и летом

---

<sup>1</sup> Перевод А. Оношкович-Яцыны.

1890 года, когда ему пришлось пережить не только внезапную славу, но и тяжелую любовную драму. Собственно говоря, это был уже второй и последний акт этой драмы: еще пятнадцатилетним юношей он влюбился в некую Фло Гарланд, с которой познакомился в доме у своих опекунов. Сначала девушка благосклонно относилась к Редьярду и даже согласилась на тайную помолвку, но вскоре после его отъезда в Индию резко и жестоко прервала все отношения с ним. Они не встречались семь лет, пока не столкнулись случайно на одной из лондонских улиц. К тому времени Фло Гарланд стала художницей — совершенно заурядной, но фанатически мечтающей об успехе; любовь бывшего жениха показалась ей помехой для карьеры. Последовал новый, на этот раз окончательный разрыв, который Киплинг переживал мучительно и долго.

Свою любовную историю Киплинг почти без изменений воспроизвел в сюжете романа, попробовав, однако, приладить к ней финал, который подчинился бы логике искусства, а не фактам жизни. Так появились два варианта «Света» с различными концовками, счастливой и трагической: в первом из них, журнальном, герои благополучно женятся, а во втором, опубликованном отдельной книгой несколькими месяцами позже и снабженном авторским уведомлением о его полной аутентичности первоначальному замыслу, ослепший Дик Хелдар<sup>1</sup> навсегда теряет свою возлюбленную и гибнет на поле битвы. Еще неуверенно, на ощупь Киплинг ищет такое разрешение конфликта, которое соответствует его глубинному видению мира, и если сначала он уступает диктату общественного вкуса, то затем отбрасывает прочь стереотипные заготовки мещанской литературы.

Безусловно, вторая редакция «Света» намного превосходит первую в том, что касается обрисовки характеров, развития действия и общей композиционной стройности, хотя и в ней иногда чувствуется «короткое дыхание» еще совсем молодого, неопытного писателя, привыкшего к лаконичным формам новеллы и недостаточно свободно перемещающегося в широком романном пространстве. Конструктивные слабости этого неровного, отмеченного печатью мелодрамы произведения Киплинга очевидны. Но не менее очевидно и другое: «Свет погас» — это страстное, искреннее слово талантливого художника, и в нем бьется лихорадочный пульс сильной, но раненой души, которой тесно и скучно в мире мещанского благополучия и убогой обывательской морали и которая рвется из затхлой обыденности

---

<sup>1</sup> Слепота — это еще один автобиографический мотив романа. В детстве Киплинг перенес временную потерю зрения, а затем всю жизнь страдал сильнейшей близорукостью. Зрение для него есть символ творческого дара, таланта, который позволяет художнику провидеть истину.

к подвигам, к искусству, к живой жизни на просторах морей и далеких континентов. Тоска по «мирам иным», жажда глотка романтики, юношеский бунт против всех проявлений буржуазности пронизывают весь роман и заставляют видеть в нем нечто большее, чем выразительный документ эпохи, достоверно запечатлевший рукопашные схватки в пустыне, быт военных корреспондентов или говор лондонских улиц. «Свет погас» — это прежде всего книга о художнике, а его главный герой Дик Хелдар — духовный автопортрет самого Киплинга, его «другое я», по которому можно судить о направлении нравственно-философских исканий писателя, обычно скрывавшего свой внутренний мир от посторонних взоров.

Устами Дика Хелдара Киплинг излагает в романе собственную концепцию искусства, которое, как он считал, всегда обязано стремиться к беспощадной правдивости. Художник не имеет права льстить, приукрашивать, заискивать; он в долгу не перед толпой, враждебной гению, а перед своим талантом, ниспосланным ему свыше. «Настоящая работа, — говорил Дик Хелдар, — не принадлежит — и не подвластна — тому, кто ее делает. Она привносится для него, или же для нее, откуда-то извне... Нам дано лишь изучить практические приемы своего ремесла, овладеть кистями и красками, вместо того чтоб им служить и ничего не бояться». Присущая романтическому мышлению идея боговдохновенного художника-визионера дополняется здесь требованиями профессиональной точности и трезвым, рационалистическим отношением к своему ремеслу. Творческий акт как бы расчленяется на две части — бессознательное зарождение замысла и полностью осознанное, рассудочное его осуществление. Именно так работает слепнувший Дик Хелдар над своим последним шедевром, картиной «Меланхолия», в которой он надеется воплотить весь свой душевный опыт. И описание его экстатического порыва, соединенного с умелым расчетом опытного мастера, — пожалуй, самая сильная сцена романа.

Однако свет Искусства, озарявший все существование героя, гаснет точно так же, как и свет Любви. Дик Хелдар теряет зрение, теряет возлюбленную, а вместе с ними и смысл жизни. Его путь — это путь одиночества и страданий, который, по мысли Киплинга, предначертан не только художнику, но и всякому человеку, наделенному способностью осознать себя самодостаточной личностью. «Все мы живые островки, которые кричат друг другу ложь среди океана взаимонепонимания», — формулирует Дик свое жизненное кредо, и ему вторит хор друзей, принимающих отъединенность людей друг от друга за непреложный закон бытия.

Итак, человек — игрушка в руках судьбы, наносящей ему удар за ударом, каждый из которых может оказаться смертельным. Что же тогда противопоставить глухому, враждебному миру? Как

выжить, как восторжествовать без опоры, без веры, без помощи? Спасение Киплинг ищет в самом человеке, в его жизнестойкой силе, в его всепобеждающей воле к действию, в его бесстрашной готовности принять смерть. «Умей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только Воля говорит: «Иди»»<sup>1</sup> — гласит знаменитая киплингская заповедь, и Дик Хелдар, вместе с другими героическими одиночками Киплинга — пиратами, контрабандистами, шпионами, первопроходцами, бродягами, — стремится осуществить этот принцип. В нем воплощен весь комплекс достоинств «настоящего мужчины»: он смел и решителен, горд и честен, он уверен в себе, ненавидит слабость, любит опасности и наслаждается приключениями. Отстаивая свою неподвластность обывательской морали, Дик исповедует право сильного диктовать миру собственные «правила игры» — каждым своим поступком или словом он доказывает, что ему дано превозмочь любые несчастья и одержать победу над любым противником, будь то ничтожный работодатель, вооруженный враг, женская подлость или болезнь. Даже его гибель — это последнее торжество силы и воли, сокрушающих все препятствия на пути к поставленной цели. В этом смысле Дик Хелдар — идеальный киплингский герой, и его образ следует рассматривать как один из первых вариантов неоромантической модели правильного поведения, создававшейся Киплингом в стихах, в прозе и публицистических выступлениях на протяжении всей его жизни.

Многое в этой модели вызывает возражения и даже отталкивает. Восхищаясь лихой мужеством своего двойника, Киплинг, по-видимому, не хочет (а скорее, не может) заметить, что она часто переходит в эгоистическую жестокость и сочетается с инфантильной самовлюбленностью. У Дика Хелдара не возникает никаких сомнений в допустимости грубого насилия, когда он упивается своей властью над ненавистным ему директором издательства; его пьянят крики умирающих и звуки выстрелов, а зрелище вытекающего глаза вызывает у него лишь циничный хохот. Киплинг же во всем оправдывает героя, ибо, по его мнению, «сильной личности» позволено многое — и аморализм, и бессердечие, и презрение к тем, кто не входит в узкий круг избранных. Словом, здесь мы имеем дело с весьма примитивной, сильно сниженной разновидностью ницшеанского сверхчеловека, который презирает все проявления христианского милосердия и не желает связывать себя никакими нравственными обязательствами.

Очевидно, однако, что и сам Киплинг ощущал опасные, разрушительные последствия культа «сильной личности» и пытался найти

---

<sup>1</sup> Перевод М. Лозинского.

противоядие, чтобы сдерживать и обуздать анархическое своеволие индивидуума. В его рассказах и стихотворениях 1890-х годов человек все чаще и чаще предстает существом социальным, включенным в сложную систему взаимоотношений с другими людьми, знающим свое место и свою функцию в некоей автономной, замкнутой корпорации, которая ставит предел его эгоистическим устремлениям. Чтобы преодолеть хаос бытия, чтобы справиться с отчаянием и одиночеством, личность, по его мнению, должна согласиться с ограничивающим порядком корпоративного сообщества и признать, говоря словами кипплинговского «Закона джунглей», что «в Волке едином — могущество Стаи, вкупе со Стаей всеислен и он»<sup>1</sup>. Еще в юности присоединившийся к братству масонов и знающий, какой дисциплинирующей силой обладает единение в таинстве, Киплинг теперь смотрит на мир как на совокупность разнообразных «масонских лож», куда входят люди одной крови, одного склада или одной профессии. Семья, полк, офицерское собрание, каста, клуб, команда, даже воровская шайка связывают своих членов общей тайной и общей клятвой, регулируют их поведение в заданных ситуациях и обеспечивают их безопасность.

Разумеется, Киплинг не был настолько наивен, чтобы принять преданность своей корпорации за панацею от всех человеческих страданий. Как свидетельствует, например, один из лучших его рассказов «Без благословения церкви»<sup>2</sup>, в котором герою открывается вся тщета попыток упорядочить хаос, он прекрасно отдавал себе отчет в том, насколько иллюзорно чувство защищенности, укрытости, испытываемое человеком внутри братства посвященных. Бывают минуты, говорил он, обращаясь к студентам университета Мак Гилл, когда «душа опускается во мрак, ее охватывает ужас заброшенности и обреченности, она сознает собственную никчемность, и это — самый реальный ад, в котором мы вынуждены находиться». Но, в отличие от многих западных писателей XX века, видящих в «ужасе заброшенности» всю истину человеческого существования, Киплинг верил, что выход из «реального ада» можно и нужно отыскать и что истина не в пассивном приятии абсурдного универсума, а в активном и целенаправленном *действии*. «Каждый должен пройти сначала через страдание, — писал он в одном из рассказов, — а потом научиться своему делу и тому самоуважению, которое приносит знание». Дело, работа, миссия, выполняемые ради общего блага, для него выше всех притязаний индивидуалистического сознания, — человека определяет не то, что он *есть*, а то, что

---

<sup>1</sup> Перевод С. Займовского.

<sup>2</sup> Читатель, знакомый с творчеством Э. Хемингуэя, непременно заметит явные тематические параллели между его романом «Прощай, оружие!» и этим рассказом Киплинга.

он *делает*, ибо, преображая мир, труженик, работник, деятель преобразует самого себя и возвышается над своей природной сущностью. Действие становится той спасительной преградой, которую личность помещает между собой и реальностью, и существование, следовательно, обретает смысл, только если человеку удастся забыть свое «я», растворить его в совместном усилии, а для этого ему необходима точка опоры, необходима корпорация, связующая людей во имя общей, внеположной личности цели: «...когда люди, независимо от их статуса, трудятся вместе, осуществляя задачи и цели, отвлеченные от личной выгоды, — объясняет Киплинг свою концепцию, — меж ними рождаются некий дух, традиция и неписанный закон, плохо понятные посторонним...»

Постепенно идея Закона, то есть условной системы запретов и разрешений, действующей внутри каждой из таких корпораций, становится центральной в творчестве Киплинга, а само это слово — английское «Law» — повторяется в его стихах и рассказах десятки, если не сотни раз. В «Песне англичан», например, Киплинг призывает своих соотечественников «блюсти Закон, не медлить подчиняться, со злом бороться, перекидывать мосты», а в прозрачных аллегориях «Книг джунглей» (1894—1896) учит:

Начало же, и корень, и сердце Закона в одном:  
Послушания долг<sup>1</sup>.

Все чаще и чаще Киплинг-художник уступает место Киплингу-моралисту, а беспристрастное изображение — тенденциозному назиданию. Широко пользуясь формами притчи и проповеди, прибегая к библейской символике и обильно насыщая каждый текст патетическими призывами, Киплинг вырабатывает особую разновидность дидактического стиха с многочисленными рефренами и ораторскими фигурами, который призван внушить человеку абсолютный императив дисциплины, порядка и повиновения. Его идеалом становится слаженный механизм военного подразделения или машины, действующий в строгом соответствии с уставом, предписанием или чертежом, а развитие самосознания личности он отождествляет с приобщением к неписаному закону корпорации. Истинным человеком для него считается лишь тот, кто, подобно Маугли, понял и воплотил в себе навязываемую корпорацией социальную роль, кто усвоил незыблемые скрежили общественного Закона и без остатка слился с ними. Если ты волк, убеждает он, ты должен жить по Закону стаи, если матрос — по Закону команды, если контрабандист — по Закону шайки. С законом соизмеряется любой твой поступок, любое высказывание или жест; они служат опознавательными знаками твоей

---

<sup>1</sup> Перевод С. Займовского.

принадлежности к корпорации, которая читает их как зашифрованный текст и дает им окончательную оценку. Всякое поведение ритуализируется: через ритуал — этот, по Киплингу, «спасительный якорь» человечества — люди посвящаются в таинство Закона, ритуал позволяет им выказать преданность общему делу и отличить «своего» от «чужого».

Согласно представлениям Киплинга, которые, кстати сказать, несколько напоминают взгляды французского социолога-позитивиста Э. Дюркгейма (1858—1917), принудительные для человека законы и нормы выстраиваются в лестницу, пронизывающую снизу вверх весь миропорядок — от закона семьи или клана до закона культуры. Его знаменитая, но не всегда правильно понимаемая сентенция: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанут Небо с Землей на Страшный господень суд», как раз и означает, что Европа и Азия мыслятся им как две гигантские конкурирующие корпорации, каждая из которых обладает собственной шкалой ценностей, собственными внутренними законами и ритуалами, как два самодовлеющих единства, равные только самим себе и закрытые друг для друга. Но есть «великие вещи, две как одна: во-первых — Любовь, во-вторых — Война», по отношению к которым оба Закона совпадают — оба они требуют от влюбленного верности и самопожертвования, а от воина — беззаветной отваги и уважения к врагу. Так возникает узкая площадка, на которой непроницаемая граница между двумя культурами временно раздвигается, высвобождая место для честного поединка или любовного объятия; личность, сильная тем, что воплощает Закон, парадоксальным образом получает возможность его преодолеть:

Но нет Востока, и Запада нет, что — племя, родина, род,  
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает? <sup>1</sup>

Вопреки распространенному мнению, Киплинг никогда не отрицал достоинств азиатской культуры. Более того, он терпеливо пытался понять «Закон» Востока, расшифровать его «код» и даже взглянуть на мир с его точки зрения. Проблема выбора, с которой сталкивается главный герой его романа «Ким» (1901), колеблющийся между двумя моделями поведения, восточной и европейской, казалась ему вполне реальной. В рассказе «Чудо Пуран Бхагата», например, он с сочувствием описывал духовные искания индийского мудреца, отказавшегося от блестящей карьеры, чтобы в мистическом самоуглублении и аскезе познать тайну бытия, и позиция Пуран Бхагата, который в ответ на замечание полицейского «почтительно склонился перед Законом: ведь он знал ему цену и сам искал

<sup>1</sup> Перевод Е. Полонской.

свой Закон», была в известной степени и его позицией. Тем не менее сам дух Востока, в котором Киплинг видел прежде всего пассивное, созерцательное начало, не мог удовлетворить его ненасытную потребность в рациональном действии. Не случайно в финале «Чуда Пуран Бхагата» святой отшельник вновь превращается в энергичного деятеля европейского типа, который вмешивается в божественный промысел, спасая жителей горной деревушки от уготованной им гибели. Лишь западная культура, по его убеждению, наделена способностью к созиданию, к упорядочению мира, а Британская империя, этот форпост цивилизации, воплощает ее идеалы в наиболее совершенной форме.

Рассматривая общество как цепочку замкнутых корпораций, Киплинг одновременно считал, что они, в свою очередь, должны на некоем более высоком уровне составить единое целое — так сказать, «корпорацию корпораций», — должны найти общую для всех цель и признать над собой господство верховного, обязательного для всех и каждого Закона. Развитие общества для него повторяет развитие личности: как личность не может развиваться вне своей корпорации, так и нравственно здоровое, жизнеспособное общество не может развиваться без стержневой, организующей идеи. Именно такую объединяющую идею Киплинг и нашел в Империи, которая приобрела в его глазах значение почти трансцендентальное. Он уверовал в нее примерно так же, как христианин верует в Мессию. В ней он обнаружил высшего судию и законодателя, средоточие истины, источник всякой знаковости и явленный всему человечеству образец для подражания. Имперский мессианизм стал его религией.

Были нам тогда виденья, божий шепот, благодать,  
Дар души нечеловечей, чтоб весь мир завоевать, —

возвещал он всему миру.

Надо, впрочем, отметить, что по крайней мере до конца 1890-х годов Британская империя существовала в сознании Киплинга только как отвлеченная идея, как идеальный проект, слабо соотносенный с реальной Англией того времени, которая захватывала колонии, вела грабительские войны и выжимала все соки из покоренных народов. С этой реальной Англией Киплинг, по сути дела, почти не был знаком. Его литературный соперник, любитель парадоксов Г. К. Честертон имел известные основания упрекать Киплинга в том, что, восхищаясь Англией, он не любит ее. «Так уж случилось, — саркастически замечал Честертон, — что он берет в качестве примера Британскую империю, но с тем же успехом ему стоило бы любая другая империя или, точнее, любая другая высокочивилизованная страна... Он знает Англию точно так же, как какой-нибудь образованный английский джентльмен знает Вене-

цию». Для современников, хорошо изучивших факты биографии Киплинга, намек Честертона на его особое положение «англичанина без родины» был вполне прозрачным: ведь уже в 1892 году, не прожив в Англии и двух лет после возвращения из колоний, он отправляется в новое путешествие, посещает Южную Африку, Австралию, Новую Зеландию, ненадолго останавливается в Индии. Когда его планы побывать на Самоа нарушает известие о смерти близкого друга и соавтора, американского журналиста Уолкотта Балестьера, он мчится в Лондон, поспешно женится на сестре покойного (дружеский долг?) и вместе с ней переезжает в США. С 1896 года Киплинг снова ведет кочевую жизнь. Они скитаются из страны в страну, проводят зимы в Южной Африке, а на Британских островах появляются лишь наездами. В 1902 году Киплинг признается в письме к Р. Хаггарду: «Я медленно открываю для себя Англию — самую замечательную заграницу, в которой мне довелось побывать».

С удобной позиции очарованного визитера Киплинг пристально наблюдает за трудами и днями Британской империи, сравнивая ее с тем идеалом, к которому она, по его надеждам, обязана стремиться, с той утопической «корпорацией корпораций», которой он желает ее видеть. Политические стихи и памфлеты Киплинга девяностых годов полемически заострены против хвастливого джингоизма<sup>1</sup>, охватившего в ту пору многие слои английского общества. Превознося до небес цивилизаторскую миссию Великобритании и утверждая, вопреки очевидности, конечную правоту ее Закона, он критически воспринимает вопиющие несоответствия между желаемым и действительным, между отвлеченным чертежом разумного миропорядка и его конкретным политическим воплощением. Национальное самосознание истинно, только если оно нравственно, — проповедует Киплинг, требуя от «строителей Империи» бескорыстия и благородства, и призывает страну не упиваться легкими победами, а трезво всмотреться в собственные слабости. Ответственность, возложенная историей на Англию, считает он, чрезвычайно велика, и она должна понять свою всемирную задачу как бесконечную жертвенность, как беззаветное «служение великому Делу» в любой точке земного шара, где хаос грозит уничтожить порядок. В формулировке Киплинга, «бремя белого человека» — это покорение низших рас ради их же собственного блага, не грабеж, а созидательный труд и чистота помыслов, не высокомерие, а смирение и терпение:

Твой жребий — Бремя Белых!  
Терпеливо сноси

---

<sup>1</sup> Джингоизмом называют крайне милитаристскую разновидность английского шовинизма.

Угрозы и оскорбленья  
И почестей не проси;  
Будь терпелив и честен,  
Не ленись по сто раз —  
Чтоб разобрался каждый —  
Свой повторять приказ<sup>1</sup>.

Политическим манифестом Киплинга стало его стихотворение «Последнее песнопение» (1897), написанное по случаю празднования шестидесятой годовщины со дня восшествия на престол королевы Виктории и напечатанное в газете «Таймс». В торжественных и грозных его строчках, стилизованных под библейский псалом, Киплинг снова напомнил Империи о ее долге перед высшим нравственным Законом, забвение которого равносильно гибели, и даже осмелился омрачить праздничное торжество сомнениями относительно будущности «богоизбранного народа».

Тут же, однако, выявилась и другая сторона имперского мессианизма Киплинга — выявилась его, так сказать, тоталитаристская, антидемократическая подкладка. Произвольно поделив всех людей и все народы мира на тех, кто послушно соблюдает заповеди Империи, и тех, кто преступно их нарушает, и потребовав от своих соотечественников (и не только соотечественников) беспрекословного верноподданнического поклонения своему корпоративному идолу, он неминуемо пришел к отождествлению идеала с единым всемогущим государством, в котором ему открылось реальное средство достижения национальной утопии. Прimitивная логика тоталитаризма завела его в тупик, откуда не было иного выхода, кроме безоговорочного отрицания любых форм демократии. Увлеченный своим миражем, он отверг все, что, по его мнению, отвлекает людей от выполнения глобальных исторических задач, от движения к поставленной цели, и возжаждал сильной власти, способной утвердить единomyслие. Его план спасения мира был столь же прост, сколь и несбыточен: человеку надлежит свободно отказаться от свободы, провозгласил он, превратиться в раба авторитарического государства, влить свой шаг в железную поступь Империи, и тогда на земле установится желанный порядок и восторжествует разумный англосаксонский Закон.

Эта сторона киплинговского мессианизма особенно резко выявилась в годы англо-бурской войны (1899—1902). В то время как весь мир с симпатией следит за героической борьбой крошечного Трансвааля, упорно отстаивающего свою независимость в боях с мощной британской армией, а в самой Англии широко распространяются пацифистские и антиколониалистские настроения, Киплинг — по

---

<sup>1</sup> Перевод В. Топорова.

жалуй, единственный из крупных деятелей английской культуры — безоговорочно встает на сторону правительства и начинает играть при нем малозавидную роль политического пропагандиста и советника. Он строчит репортажи с места событий, сочиняет хлесткие агитки, бичует бездарных английских генералов, на которых возлагает вину за позорные поражения и пирровы победы, выступает с барабанными декларациями и призывами. Не желая понять истинных причин этой бесславной для Великобритании колониальной войны, Киплинг делает все, чтобы поднять боевой дух Империи, который, как он считает, намеренно подрывают изнутри враги государства, жалкие либералы и демократы, не нюхавшие пороха, но осмеливающиеся что-то твердить о безнравственности и несправедливости захвата чужих территорий. У него же самого никаких сомнений насчет справедливости войны не возникает, и после заключения мира, когда буры в конце концов признают английский контроль в Южной Африке, он демагогически заявляет: «Нам Имперский урок был преподан, чтоб могли мы Империей стать!» Отныне он приобретает статус правительственного рупора, выражающего точку зрения самых консервативных сил страны, а его стихотворный сборник «Пять народов» (1903), полный ура-патриотических восторгов и заклинаний, окончательно закрепляет за ним репутацию «барда империализма».

Собственно говоря, именно с англо-бурской войны и начался быстрый закат его славы. Страна не стала Империей по рецептам Киплинга, и Киплинг обиделся на свою страну. Купив дом в графстве Сассекс, столь поэтично описанном в его фантастическом рассказе «Они», он все более замыкается в себе и в семье. Все отчетливее звучит в его творчестве тоска по «старой доброй Англии», по героям ее прошлого, по утраченным идеалам «владычицы морей». К темам современным он снова обращается лишь во время первой мировой войны, которая вполне по-киплинговски представляется ему апокалиптической битвой Добра и Зла или, точнее, Закона и Беззакония. Но и на этот раз его страстные воззвания «принять бремя и гнать гуннов» не находят большого отклика, ибо для новых поколений — для тех, кто прошел через окопы, газовые атаки и воздушные бои, — война оказалась не крестовым походом во славу Империи, а бессмысленной бойней, разрушившей все иллюзии и подорвавшей веру в разумность мирового порядка. В первое послевоенное десятилетие новые веяния и новые идеи совсем заглушили голос Киплинга. Он пытался обратить на себя внимание тщательными отделанными, психологически утонченными рассказами, которые теперь сплавлялись со стихами в единые циклы, много экспериментировал, расширял свой и без того широкий тематический диапазон. Но все было напрасным. Переживавшее острейший духовный кри-

экс поколение фронтовиков, первым вошедшее в «не календарный — настоящий Двадцатый век», даже не обратило внимания на то, что в произведениях Киплинга — может быть, вследствие сильного личного потрясения от гибели любимого сына, не вернувшегося с войны, — появились неожиданные для него мотивы христианского сострадания и всепрощения. У таких рассказов позднего, «подобревшего» Киплинга, как «Дом чудес», где фантастика, оправленная в будничные диалог двух простых женщин, вдруг выявляет в человеке потаенные источники милосердия и душевной щедрости, не нашлось читателей. Ведь изменения в миропонимании Киплинга не затронули его сокровенных убеждений — потеплев к людским горестям, он по-прежнему остался верен своей старомодной, полностью дискредитированной идее служения Закону и Империи, и потому не был прощен современниками. Таким нераскаившимся, упрямым «обладателем тяжелого подбородка» он и умер — умер в январе 1936 года, лишь немного не дожив до окончательного крушения Империи. . .

\* \* \*

Устами героя романа «Свет погас» Киплинг однажды сформулировал тезис, по которому у «всякого на одну удачную работу приходится по меньшей мере четыре неудачных. Зато одна эта удача сама по себе окупает все прочее». Слова эти пророчески предсказали последующую судьбу творческого наследия самого писателя. Безжалостное время произвело строгий отбор среди нескольких десятков написанных им томов, отсеяв все неудавшееся, слабое, тенденциозное, и оставило нам лишь то, что обладает непреходящей ценностью искусства. Ушли в прошлое события и имена, волновавшие когда-то Киплинга, рухнула воспетая им Британская империя, до неузнаваемости изменилась карта мира, и современному читателю то и дело приходится заглядывать в комментарии, чтобы понять некогда прозрачные киплинговские намеки и аллюзии. Но, потеряв аромат злободневности, лучшие романы, рассказы и стихотворения Киплинга — та самая одна пятая, которая «окупает все прочее», — обрели новую жизнь, засверкали подлинными красками и заняли подобающее им место в мировой культуре. Тогда-то и обнаружили, что магия их еще сильнее, чем прежде, что их продолжают читать люди всех возрастов, убеждений и национальностей, всех профессий и склонностей и что их не перестают издавать и переводить на разные языки мира. Как отметили некоторые участники дискуссии, развернувшейся в 1965 году на страницах английского коммунистического журнала «Марксизм Тудей» в связи с празднованием столетия со дня рождения Киплинга, сейчас уже невозмож-

но отрицать, что творчество писателя содержит и подлинно демократические, гуманистические элементы, которые вызывают самый сочувственный отклик у все новых и новых поколений<sup>1</sup>.

О мировом значении творчества Киплинга свидетельствует и тот пристальный интерес, с которым восприняли его наследие различные писатели XX века. Многие, очень многие из них учились у Киплинга мастерству. Он был главным литературным авторитетом для Джека Лондона, который так никогда окончательно и не преодолел его влияния; им увлекался Бертольт Брехт, который перевел на немецкий язык несколько лучших его стихотворений; о его «талантище» с уважением говорил Эрнест Хемингуэй, который продолжил киплинговскую проповедь стоического мужества. В 1920—1930-е годы через «школу Киплинга» прошли десятки молодых советских поэтов и прозаиков. Среди его почитателей были И. Бабель, Э. Багрицкий, А. Грин, Б. Лапин, В. Луговской, К. Симонов, Н. Тихонов, раннее творчество которых так или иначе связано с киплинговской поэтикой, и не удивительно, что Ю. Олеша, например, упоминал Киплинга в одном ряду с именами величайших писателей нашего столетия — Горького, Франса, Шоу, Томаса Манна.

Разгадку этой стойкой очарованности творчеством Киплинга, ограниченность взглядов которого сегодня ни у кого не вызывает сомнений, следует, видимо, искать в том, что французский писатель Андре Моруа точно назвал «естественной, постоянной связью с самыми древними, с самыми глубинными слоями человеческого сознания». Художественное мышление Киплинга в первую очередь ориентировано на фольклорно-мифологические мотивы, как бы просвечивающие сквозь плотную вещественность его мира. Не только в своих прославленных сказках о животных, наподобие «Белого котика», но и во вполне «правдоподобных» рассказах и стихах он часто опирается на *первичные*, архаические сюжеты и образы, издревле хранящиеся в коллективной памяти человечества. Созданная им картина мира, несмотря на свою почти протокольную точность, выводит нас за пределы индивидуального, единичного, исторически-конкретного; в ней мало оттенков и полутонов, она универсальна, ибо построена как некий простейший миф, оперирующий лишь начальными категориями и знакомыми каждому символами. Жизнь/смерть, победа/поражение, сила/слабость, день/ночь, свет/мрак, рай/ад, порядок/хаос, Бог/дьявол — таковы постоянные для творчества Киплинга противопоставления, реализованные на многих уровнях и безотказно воздействующие на чувства читателя.

---

<sup>1</sup> Подробней об этой дискуссии см.: «Вопросы литературы», 1966, № 3, с. 143—146.

Подобной силой воздействия обладает также и предлагаемый Киплингом этический кодекс, который открыт для всех, подчас взаимоисключающих толкований и применений. Бесспорно, Киплинг — моралист, но моралист, как это ни парадоксально звучит, без определенной морали. Неустанно апеллируя к нравственному закону и требуя от человека соблюдения жестких правил поведения, он, однако, часто не оговаривает прямо, что именно с его точки зрения добродетельно, а что — греховно. Абсолютную этическую ценность он приписывает лишь таким человеческим качествам, как мужество, простота, великодушие к слабым, честность, преданность идеалам, стойкость, которые положительно оцениваются в любой системе долженствований. Когда, скажем, он призывает: «Владей собой среди толпы смятенной, тебя клянущей за смятение всех, верь сам в себя, наперекор вселенной» и т. д., то каждый человек способен принять эту заповедь за руководство к действию. Киплинг не диктует нормы, а говорит о необходимости норм, не оценивает поступки, а создает видимость их нравственной оценки. Его этический кодекс сводится к признанию обязательности такого кодекса; это наметка, по которой можно вывести различные узоры, или, говоря другими словами, грамматика морали, но не ее словарь.

Конечно, творчество Киплинга сегодня притягивает нас еще и как запечатленная в слове действительность, как откровенное суждение чуткого и честного художника о своем времени. И дело тут не только в том, что Киплинг прежде всего был талантливым писателем, мастером, беспощадно требовательным к своему искусству, и поэтому смог сказать — часто вопреки ретроградным взглядам Киплинга-публициста — немало горьких истин о человеке и обществе. Ведь в конце концов даже критика справа нередко выглядит убедительной, и закономерно, что Киплинг, стремившийся «очистить» английский империализм, то и дело занимал по отношению к нему парадоксальную позицию инакомыслящего. Дело еще и в другом — в том, что созданный им художественный космос стал одним из самых замечательных памятников того исторического промежутка, когда уже рушилась социальная и культурная общность, которую мы называем девятнадцатым веком, и на ее обломках зарождался век двадцатый. В Киплинге, как и в других больших художниках переходной поры, нас завораживает это странное слияние веры и безверия, реальности и иллюзии, надежды и отчаяния, завершения и начала. Мир Киплинга был миром на пороге, миром между «тогда» и «потом» — так сказать, эпилог, совмещенный с прологом, — и, может быть, именно его двойственность, двумерность помогли ему устоять перед натиском будущего и не утратить героического пафоса.

«Я не очень-то верую в свой талант», — говорил Киплинг, называя себя только разведчиком путей, по которым пойдут другие, более сильные и одаренные. И новых путей — воздадим ему по заслугам — он разведдал довольно много. Его наследие крайне разнообразно: кажется, почти нет таких литературных жанров, в которых он не работал бы, и память каждого из них хранит его открытия. Вот этот разнообразный, многоголосый Киплинг — Киплинг в нескольких ипостасях — и представлен в данном сборнике, который знакомит читателя с несколькими сторонами киплингковского таланта, с его прозой и с его поэзией, с его ранними и с его поздними произведениями, и если в этом многообразии читатель разглядит единый лик большого, сложного, противоречивого, часто заблуждавшегося, но искреннего художника, то он сможет если не принять, то понять мир Редьярда Киплинга.

*Н. Дьяконова, А. Долинин*

# СВЕТ ПОГАС

роман

### ПОСВЯЩЕНИЕ

Если буду распят я над высокой горой,  
*Мати моя, о мати моя!*  
Знаю я, чья любовь пребудет со мной,  
*Мати моя, о мати моя!*

Если я кану в пучине морской,  
*Мати моя, о мати моя!*  
Знаю, кто слезы прольет надо мной,  
*Мати моя, о мати моя!*

Если всяк человек меня проклянет,  
Знаю я, чья молитва мне душу спасет,  
*Мати моя, о мати моя!*

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Это повесть «Свет погас», рассказанная так, как она изначально была задумана Автором.

*РЕДЬЯРД КИПЛИНГ*

---

## ГЛАВА I

Сидели мы, когда шторм миновал,  
Удобно сидели, как только могли;  
И я, друзья, в сарае том ждал,  
Ведь было мне от роду только три,  
А Тедди радугу дерзнул догонять,  
Ему, мужчине, было уж пять,  
Вот как началось все это, друзья,  
Если хотите знать.

*«Рассказы в большом сарае»*

— Как по-твоему, что будет, если она об этом пронохает? Ведь такую штуку нам иметь нельзя, сам знаешь, — сказала Мейзи.

— Мне задаст трепку, а тебя запрет в твоей комнате, — ответил Дик с уверенностью. — Патроны взяла?

— Ага, они у меня в кармане, только больно уж стучаются друг об дружку. А не могут шпилечные патроны выпалить сами собой?

— Почему мне знать. Если ты струсил, давай их сюда, а себе бери револьвер.

— Я ни капельки не струсил.

Мейзи быстро пошла вперед, сунув руки в карманы и высоко вскинув голову. Дик шагал следом, неся маленький револьвер.

Как-то раз дети надумали выучиться стрелять, поняв, что без этого они просто-напросто жить не могут. Ценой многих ухищрений и самопожертвования Дик накопил семь шиллингов и шесть пенсов на покупку плохонького шпилечного револьвера бельгийского образца. Мейзи удалось добавить к этому очень немного, всего-навсего полкроны, чтоб купить сотню патронов.

— Тебе, Дик, легче копить деньги, — объяснила она в свое оправдание, — ведь я лакомка, а тебе все равно, чего поесть. Да и вообще мальчишки должны быть заправилками в таких делах.

Дик чуточку поворчал, недовольный столь маловыгодной сделкой, но все же сходил за покупками, и теперь дети отправились попробовать свои силы. Стрельба из револьвера никак не входила в распорядок их повседневно-

ной жизни, раз и навсегда установленный воспитательницей, которая должна была, как наивно предполагали опекуны, заменить этим двоим сироткам родную мать. Дик состоял на ее попечении вот уж целых шесть лет, и за это время она извлекла немалую выгоду из тех денег, которые предназначались на то, чтобы он был одет и обут, причем, отчасти по недомыслию, отчасти же по естественной потребности причинять боль — несколько лет тому назад она овдовела и теперь жаждала нового супружества, — так допекала мальчика, что жизнь легла на его детские плечи тяжким бременем. Он искал любви, она же внушала ему сперва отвращение, а затем ненависть. Когда он, взрослея, жаждал хотя бы малейшего сочувствия, она его высмеивала. Долгие досуговые часы, которые оставались у нее после необременительных мелких домашних хлопот, она посвящала тому, что называлось у нее семейным воспитанием Дика Хелдара. В этом деле ей помогала религия, которую она толковала на свой лад, предаваясь усердному чтению Библии. Когда у нее не находилось личного повода быть недовольной Диком, она все равно прозрачно намекала на его неискупимые прегрешения перед создателем; и в конце концов Дик научился ненавидеть бога так же люто, как ненавидел миссис Дженнетт; а такое умонастроение вряд ли можно назвать здоровым для подростка. Коль скоро она вздумала считать его безнадежным лгуном — после того как он впервые сказал неправду из страха перед наказанием, — он и впрямь превратился в лгуна, но в лгуна осторожного, замкнутого в себе, причем без крайней необходимости он никогда не рисковал врать даже по пустякам, но не останавливался перед самой чудовищной ложью, если это могло хоть чуточку облегчить горькую его жизнь. Во всяком случае, такое суровое обращение воспитало в нем волю, которая давала силы переносить одиночество, — впоследствии это сослужило ему хорошую службу в интернате, где соученики насмехались над его одеждой, которая была сшита из дешевой материи и штопана-перештопана. А на каникулы он возвращался к миссис Дженнетт, вынужденный вновь внимать ее назидательным речам, и обычно, не проведя под ее кровом даже одного дня, после той или иной придирки подвергался порке, дабы его отсутствие не подорвало домашнюю выучку, которая требовала беспрекословного повиновения.

Однажды осенью, приехав на каникулы, Дик обнаружил, что он уже более не одинок в своем заточении, потому что в доме он застал длинноволосую, сероглазую малявку, которая была так же замкнута в себе, как и он сам, жила в доме, не говоря ни слова, и в первые недели водилась только с козлом, единственным своим другом на всем белом свете, обитавшим в садике на задворках. Миссис Дженнетт попробовала запретить девочке общаться с козлом, поскольку он нехристь — соображение, несомненно, справедливое.

— Когда так, — заявила малявка, тщательнейшим образом выбирая слова, — я пошлю письмо своим поверенным и напишу им, что вы злющая баба. Мемека мой, мой, мой!

Миссис Дженнетт направилась было в прихожую, где стояли предназначенные для известной цели зонты и трости. Но малявка поняла ее намерение не хуже, чем это понимал Дик.

— Меня уже били, и не один раз, — заявила она все тем же бесстрастным голосом, — били так больно, что вам и во сне не снилось. И если вы меня хоть пальцем тронете, я пошлю письмо своим поверенным и напишу им, что вы меня голодом морите. Я вас ни чуточки не боюсь.

Миссис Дженнетт не отправилась в прихожую, а малявка выждала некоторое время, убедилась, что опасность домашней баталии миновала, ушла к Мемеке и, обняв его шею, заплакала горькими слезами.

Вскоре Дик узнал, что малявку зовут Мейзи, и поначалу относился к ней с глубочайшим недоверием, опасаясь, как бы она окончательно не стеснила и без того весьма ограниченную свободу, которой он до тех пор пользовался. Но она нисколько ему не мешала; она даже не выказала ни малейшего желания подружиться до тех пор, покуда он сам не сделал первый шаг. До конца каникул было далеко, а детей уже сплотила постоянная угроза наказания хотя бы потому, что им приходилось вместе изобретать всякие уловки, дабы провести миссис Дженнетт, и тут они всегда действовали заодно. Когда же Дик ушла пора уезжать в интернат, Мейзи шепнула ему:

— Теперь я остаюсь одна-одинешенька и должна буду сама стоять за себя. Но ничего, — заключила она,

решительно тряхнув головкой, — я уж как-нибудь справлюсь. Не позабудь, ты обещал прислать плетеный ошейник для Мемеки. Пришли же поскорей.

Уже через неделю она напомнила об этом ошейнике в ответном письме и осталась крайне недовольна, узнав, что изготовить такой ошейник отнюдь нелегко. Когда же Дик наконец прислал обещанный подарок, ей и в голову не пришло поблагодарить. С тех пор не один раз начинались и оканчивались каникулы. Дик за это время подрос, стал нескладным, худощавым юнцом и теперь пуще прежнего стеснялся своей убогой одежды. Миссис Дженнетт ни на миг не ослабляла любовного попечения о нем, но он, закаленный привычными порками в интернате — где его подвергали наказанию не менее трех раз в месяц, — преисполнился глубочайшим презрением к ее возможностям.

— Она и высечь-то по-настоящему не умеет, — объяснил он Мейзи, которая пыталась подговорить его взбунтоваться, — и, кроме того, она, когда ответит на мне душу, становится добрее к тебе.

Так влачил он свои дни, не ухоженный телом и ожесточенный душой, и это испытали на собственной шкуре ученики младших классов, потому что под горячую руку он награждал их зуботычинами с редкостным искусством и замечательным знанием дела. Точно так же сгоряча он частенько принимался дразнить Мейзи, но девочка и не думала обижаться.

— Нам с тобой и без того нелегко живется, — сказала она однажды. — Зачем же еще больше отравлять самим себе жизнь? Давай лучше будем делать друг другу приятное, а о неприятном постараемся позабыть.

Так, после долгих совместных раздумий, было решено купить револьвер. Учиться стрелять они могли в одном-единственном месте, на илистой отмели, вдалеке от купален, пляжных будок и корабельных причалов, под зашмельым валом форта Килинг. Здесь прилив затоплял береговую полосу шириною почти в две мили, и сырые илстые наносы, пригретые солнцем, переливались всеми цветами радуги и источали безотрадный запах гниющих водорослей. Уже вечерело, когда Дик и Мейзи пришли сюда вместе с Мемекой, который терпеливо трусил рысцой следом за ними.

— Фу! — сказала Мейзи, потянув носом. — И отчего море так прескверно пахнет. Мне это не по душе.

— Тебе всегда по душе только то, что создано специально для тебя, — сказал Дик сердито. — Давай патроны, я выстрелю первый. Какова дальность боя у таких револьверов?

— Кажется, полмили, — с живостью ответила Мейзи. — Во всяком случае, палят они оглушительно. Будь осторожен с патронами: не нравятся мне эти зазубрины на конце. Прошу тебя, Дик, будь же осторожен.

— Да ладно тебе. Заряжать я умею. Сейчас вот пальну прямо в тот волнорез.

Он нажал на спуск, и Мемека с отчаянным блеяньем шархнул прочь. Пуля взметнула фонтанчик ила справа от облепленных водорослями свай.

— Бьет выше и правей. Попробуй-ка теперь ты, Мейзи. Но помни, весь барабан заряжен.

Мейзи взяла револьвер и подошла к самой кромке воды, крепко сжимая рукоятку, сомкнув губы и зажмурив левый глаз. Дик присел на илистый бугорок и засмеялся. Мемека опасно вернулся назад. Он давно уж привык к любым неожиданностям во время таких вечерних прогулок и теперь, увидев, что коробка с патронами лежит без присмотра, принялся ее обнюхивать. Мейзи выстрелила, но не уследила, куда ударила пуля.

— Кажется, угодила в сваю, — сказала она, глядя из-под ладони на пустынное море, где не видно было ни единого паруса.

— А я вот уверен, что она долетела до самого Мэрейзонского бакена, — возразил Дик со смешком. — Целься ниже и левой, тогда, может, и попадешь. Ого, да ты погляди на Мемеку! Он патроны жрет!

Мейзи живо обернулась, сжимая револьвер, но успела только увидеть, как Мемека улепетывал, спасаясь от камней, которыми его забрасывал Дик. Нет ничего святого для проказливого козла. Откормленный, обожаемый своей маленькой хозяйкой, он проглотил два заряженных патрона. Мейзи подбежала к коробке и убедилась, что Дик не ошибся в счете.

— Да, два патрона он сожрал.

— Вот негодник! Теперь эти патроны начнут стучаться друг о дружку у него в брюхе, будет взрыв, но подолом же ему... Ой, Дик! Я тебя не убила?

Револьвер весьма вероломная штука, особенно в неопытных детских руках. Мейзи решительно не могла бы объяснить, как это произошло, но клубящаяся завеса зловонного дыма скрыла от нее Дика, и она была уверена, что выпалила ему прямо в лицо. Потом она услышала, как он отплевывается, и упала подле него на колени с испуганным криком:

— Дик, ты не ранен? Я ведь нечаянно.

— Известное дело, нечаянно, — ответил Дик, вынырнув из дыма и отирая щеку. — Но из-за тебя я чуть не ослеп. Этот порох такой жгучий.

Серая свинцовая лепешка на ближней скале точно обозначила место, куда попала пуля. Мейзи захныкала.

— Кончай, — сказал Дик, вставая с земли и отряхиваясь. — Я цел и невредим.

— Да, но я же могла тебя убить, — возразила Мейзи, и губки ее скривились. — Что бы я тогда стала делать?

— Пошла бы домой да рассказала обо всем миссис Дженнетт. — Эта мысль вызвала у Дика усмешку, но он тотчас смягчился: — Ну ладно уж, успокойся. К тому же мы теряем время. Нам ведь надо поспеть к чаю. Давай-ка сюда револьвер.

Мейзи разрыдалась бы при малейшей попытке ее утешить, но Дик сохранял невозмутимость, хотя рука его, когда он брал револьвер, все же подрагивала, и Мейзи овладела собой. Она лежала на берегу, тяжело дыша, а он тем временем беспрерывно обстреливал волнорез.

— Попал наконец-то! — воскликнул он, когда от деревянной сваи отлетел клоч водорослей.

— Дай теперь и мне попробовать, — потребовала Мейзи. — Я уже совсем успокоилась.

Они стреляли по очереди до тех пор, пока многострельный револьвер едва не развалился на части, а изгнанник Мемека — ведь он мог взорваться в любой миг — щипал траву поодаль, недоумевая, почему его отгоняют камнями. Потом они приметили бревно, плававшее в воде под валом форта Килинг, обращенным к морю, и стали целиться в эту новую мишень.

— На будущие каникулы, — сказал Дик, с досадой встряхивая окончательно засорившийся револьвер, — мы купим новый, центрального боя, такой ведь стреляет гораздо дальше.

— Для меня уже не будет никаких каникул, — отозвалась Мейзи. — Я уезжаю.

— Куда это?

— Не знаю сама. Мои поверенные прислали миссис Дженнетт письмо, и там сказано, что я должна поступить учиться где-то — может, во Франции — не знаю толком. Но я рада ехать.

— А меня это ни капельки не радует. Я-то ведь останусь. Послушай, Мейзи, а ты взаправду уедешь? Выходит, после этих каникул я уже никогда тебя не увижу? На той неделе надо возвращаться в интернат. И я хотел бы...

Молодая кровь заиграла на его щеках ярким румянцем. Мейзи вырывала из земли пучки травы и бросала их со склона вниз, в одинокий цветок желтого мака, что сиротливо кивал головкой на бесконечной илистой отмели, за которой вскипала молочно-белая морская пена.

— А я хотела бы, — сказала она, прерывая наступившее молчание, — когда-нибудь повстречаться с тобою снова. Ты тоже хотел бы этого?

— Да, но было бы лучше, если б ты... ты... пристрелила меня там... у волнореза.

Мейзи взглянула на него с изумлением, широко раскрыв глаза. Неужели это и впрямь тот мальчик, который всего десять дней назад украсил рога Мемеки бумажным колпаком и в таком виде гнал бородатую тварь на всеобщее посмешище! Но она тут же потупилась: нет, не тот.

— Будет тебе глупости болтать, — сказала она укоризненно и тотчас, руководимая чисто женским чутьем, уклонилась от прямого разговора, сама перейдя в наступление. — Ты только о себе думаешь! А вообрази, каково было бы мне, если б эта ужасная штука тебя прихлопнула! Мне ведь и без того нелегко.

— Это почему же? Потому что ты расстаешься с миссис Дженнетт?

— Нет.

— Тогда, выходит, — со мной?

Она долго не отвечала. А Дик не смел поднять на нее глаз. В этот миг он почувствовал, хоть и сам не знал этого, как много значили для него последние четыре года, и чувство это было для него тем мучительней, что он не находил слов.

— Не знаю, — сказала она. — Но мне кажется, это так.

— Мейзи, ты не можешь не знать. Ведь я знаю наверняка.

— Пойдем домой, — робко попросила Мейзи.

Но Дик и не помышлял об отступлении.

— Я не умею говорить всякие такие слова, — сказал он с мольбой, — и мне очень стыдно, что я дразнил тебя на днях, ну, когда гонял Мемеку. Но теперь совсем другое дело, неужели ты не понимаешь, Мейзи? И ты могла бы прямо сказать мне, что уезжаешь, а то вот мне пришлось допытываться.

— Нет, не пришлось. Ведь я же сказала. Ну, Дик, какой толк огорчаться?

— Никакого. Но мы дружили столько лет, и я сам не знал, как много значит то, что я к тебе чувствую.

— А мне сдается, ничего ты не чувствовал.

— Да, не чувствовал. Но теперь... теперь еще как чувствую. — Он перевел дух. — Мейзи, милая, пожалуйста, скажи, что ты тоже чувствуешь.

— Чувствую, взаправду, чувствую. Но теперь это все равно.

— Почему же?

— Потому что я уезжаю.

— Да, но ты только обещай меня помнить. Только скажи — ладно?

Во второй раз Дику уже легче было вымолвить слово «милая». Дома и в школе жизнь не баловала его привязанностями, ему приходилось самому, чутьем, их отыскивать. И вот он схватил маленькую ручку, чумазую от порохового дыма.

— Обещаю, — произнесла Мейзи торжественно, — но если я чувствую, то и обещать незачем.

— А все же ты чувствуешь?

Впервые за последние минуты глаза их встретились и сказали все то, чего сами они сказать не могли...

— Ну, Дик, не надо! Прошу тебя! Это можно было раньше, когда мы здоровались по утрам, но теперь ведь все совсем по-другому!

Мемека глядел на них, держась на почтительном расстоянии. Он частенько видывал, как эти двое, которых он считал своей собственностью, ссорились меж собой, но ни разу еще не видел, чтоб они целовались. Желтый мак

оказался сообразительней и одобрительно кивнул головой. Поцелуй в обычном смысле слова не удался, но ведь поцелуй этот был первым, которым они обменялись, если не считать тех, которыми они обменивались по обычаю, и потому он открыл им новые, неизведанные миры, и каждый из этих миров был так прекрасен, что они забыли о всех прочих мирах, а в особенности о том, к какому времени нужно вовремя возвращаться к чаю, и сидели недвижные, держась за руки и не произнося ни слова.

— Теперь ты уже не сможешь забыть, — сказал наконец Дик. Щека его горела жарче, чем после ожога от выстрела.

— Я не забыла бы все равно, — сказала Мейзи; они взглянули друг на друга и увидели, что оба они уже не те, ведь всего лишь час назад они были просто друзьями, а теперь каждый преобразился, стал чудом и непостижимой тайной. Солнце меж тем уже клонилось к закату, и вечерний ветерок овеивал береговые излучины.

— Мы давным-давно опоздали к чаю, — сказала Мейзи. — Пора домой.

— Обожди, сперва расстреляем остатки патронов, — возразил Дик.

Он помог Мейзи спуститься от форта к морю, хотя она вполне могла бы сбежать вниз и сама. Не уступая ему в серьезности, она приняла его грязную руку; он неловко наклонился к ней; Мейзи отдернула руку, и Дик покраснел до ушей.

— Какая красивая у тебя ручка, — шепнул он.

— Фу! — сказала Мейзи с коротким смешком, который выражал удовлетворенное тщеславие.

Она стояла теперь вплотную к Дикю, а он напоследок зарядил револьвер и принялся палить в морскую даль, воображая, будто защищает Мейзи от всех зол мира. Лужа в отдалении, на илистом берегу, отразила последние лучи солнца и превратилась в грозно пылающий багряный круг. Когда Дик поднимал револьвер, сияние на миг ослепило его, и он вдруг осознал, какое это непостижимое чудо, что он стоит подле Мейзи, которая обещала помнить о нем всегда, сколько бы времени ни прошло с того дня, когда... Ветер крепчал, от его резкого порыва длинные черные волосы девочки застлали лицо Ди-

ка, а она все стояла, положив руку ему на плечо, звала этого «негодника» Мемеку, и вдруг, на мгновение, он очутился во тьме — и тьма эта опалая. Пуля протяжно запела, уносясь в пустынную морскую даль.

— Ну вот, из-за тебя я промазал, — сказал он, тряхнув головой. — Да и патрон-то был последний. Ладно, бежим домой.

Но они не побежали. Они шли очень медленно, рука в руке. И не было им решительно никакого дела до отвергнутого Мемеки с двумя патронами в брюхе, — пускай хоть взорвется или просто рысцой бежит вслед: ведь они обрели, как великое наследие, бесценное сокровище и приняли его со всею мудростью, какая только доступна детям.

— А я буду... — с пылкостью начал Дик. Но тотчас же прервал себя: — Право, я сам не знаю, кем буду, я ведь срежусь на всех экзаменах, но зато я умею рисовать злые карикатуры на учителей. Ого! Ого-го!

— Тогда будь художником, — предложила Мейзи. — Ты всегда смеешься надо мной, когда я пробую рисовать, поделом же тебе самому.

— Вовсе я над тобой не смеюсь и никогда в жизни не стану, делай что хочешь, — возразил он. — Я буду художником, и все еще увидят, на что я способен.

— Художникам всегда не хватает денег, ведь правда?

— У меня есть собственные доходы, сто двадцать фунтов годовых. Мои попечители говорят, что я получу их, когда достигну совершеннолетия. Что ж, для начала хватит.

— А я вот богатая, — сказала Мейзи. — Когда мне исполнится двадцать один год, я стану получать ежегодно триста фунтов. Потому-то миссис Дженнетт спускает мне то, чего не спустит тебе. Но все-таки жаль, что нет у меня родных — ни папы, ни мамы.

— У тебя есть я, — сказал Дик, — до гробовой доски.

— Да, у меня есть ты, а у тебя я, — да, до гробовой доски. Я так рада, просто слов нет.

Мейзи крепко сжала его руку. Вокруг сгущались ласковые вечерние сумерки, и Дик, различая лишь щеку Мейзи да ее длинные ресницы, окаймлявшие серые глаза, осмелел настолько, что у самых дверей дома решился наконец вымолвить те слова, которые вот уже целых два часа вертелись у него на языке.

— А еще... еще я люблю тебя, Мейзи, — сказал он шепотом, который, как ему почудилось, прогремел на весь мир — тот самый мир, который он завтра или в крайнем случае послезавтра начнет завоевывать.

Благопристойности и благонравия ради мы не станем во всех подробностях описывать дальнейшие перипетии и скажем лишь, что миссис Дженнетт начала было распекать Дика, сперва за возмутительное опоздание к чаю, а потом за то, что он чуть не угробил себя, забавляясь недозволенной игрушкой.

— Я просто играл этой штуковиной, а она взяла да и выпалила сама собой, — признался Дик, когда уже не было никакой возможности утаить обожженную порохом щеку. — Но только не вздумайте меня ударить, это не выйдет. Теперь уж вы меня пальцем не тронете. Сядьте-ка лучше к столу да налейте мне чаю. Как ни вертите, а на этом вам нас не провести.

Миссис Дженнетт едва не задохнулась от бешенства. Мейзи помалкивала, но ободряла Дика взглядом, и он весь вечер держался вызывающе. Миссис Дженнетт предрекла, что Провидение обречет его на вечные муки сию же минуту, а впоследствии низвергнет в геенну огненную, но Дик пребывал в раю и не хотел слушать. Только когда пришло время ложиться спать, миссис Дженнетт опомнилась и вновь обрела былую непреклонность. Дик пожелал Мейзи спокойной ночи, потупив взор и не решаясь к ней приблизиться.

— Если ты не способен быть благородным человеком, постарался бы хоть вести себя по-благородному, — язвительно сказала миссис Дженнетт.

Под этим она подразумевала, что Дик не поцеловал девочку на сон грядущий, как всегда. Мейзи, у которой даже губы побелели от волнения, подставила щеку с напускным безразличием, а Дик надлежащим образом чмокнул ее и выскочил из комнаты с пылающим лицом. Ночью ему приснился безумный сон. Он покорил весь мир и преподнес его Мейзи в коробке из-под патронов, но она пинком опрокинула коробку и вместо благодарности закричала сердито:

— Ну и где же ошейник, который ты обещал прислать для Мемеки? Эх, ты только о себе думаешь!

## ГЛАВА II

Мы взяли копыя наперевес, когда затрубила труба,  
Ряды вздвой, и в Кандахар поскакали мы на врага,  
Ряды вздвой, ряды вздвой, и поскакали мы,  
Ту-ру-ру-ру-ру-ру,  
Ряды вздвой, ряды вздвой, в Кандахар поскакали мы.  
*«Солдатская баллада»*

— Я, собственно, ничего не имею против наших английских читателей, но было бы любопытно раскидать тысчонку-другую этих людишек здесь, меж скал. Тогда они не ждали бы с таким нетерпением утренних газет. Представляете, как благопристойнейший домовладелец — Поборник Справедливости, Неизменный Читатель, Отец Семейства и все такое прочее — жарится в этом пекле на раскаленных камнях?

— А над ним голубое марево и сам он в лохмотьях. Не сыщется ли у кого иголка? Я раздобыл дерюжный лоскут от мешка из-под сахара.

— Ладно, меняю штопальную иглу на шесть квадратных дюймов этой дерюги. У меня штаны на обоих коленях прохудились.

— Почему же не на шесть квадратных миль, уж ежели на то пошло? Ладно, давай иглу, я прикину, что можно сделать с этой рванью. Едва ли ее хватит, чтоб защитит мою августейшую особу от холода, право слово. Дик, чего ты там малюешь в своем неразлучном альбомчике?

— Изображаю, как Наш Специальный Корреспондент обновляет свой гардероб, — серьезно отозвался Дик, а его собеседник тем временем рывком сбросил с себя донельзя изношенные бриджи и стал прилаживать дерюжную заплату к зияющей прорехе. Материя поползла под его руками, прореха стала еще обширней, и он с досады процедил сквозь зубы:

— Мешки из-под сахара, вот так штука! Эй, ты! Лоцман! Тащи-ка сюда все паруса до единого!

Голова, увенчанная феской, вынырнула из кормового кубрика, расплылась в улыбке от уха до уха и снова нырнула вниз. Владелец прохудившихся бриджей, оставшийся в серой фланелевой рубаше и просторной куртке с широким поясом, продолжал неумело орудовать иглой, а Дик меж тем посмеивался, заканчивая рисунок.

Десятка два моторных ботов стояли, уткнувшись носами в песчаный берег, кишевший английскими солдатами из различных армейских корпусов: кто плескался в во-

де, кто был занят стиркой белья. Груда шлюпочных вальцов, амуниции, мешков с сахаром и мукой, ящиков с боеприпасами высилась на том месте, где произошла спешная разгрузка одного из ботов, а корабельный плотник ругался на чем свет стоит, тщетно пытаясь залатать и замазать, при крайней скудости свинцовых белил, рассохшиеся от знойного солнца и широко разошедшиеся швы в корпусе.

— Сперва руль летит к чертям собачьим, — заявил он, обращаясь ко всем сразу и ни к кому в особенности, — потом валится мачта, и вот под конец эта лохань, не надумав ничего лучшего, распускается, будто раскосый китайский лотос.

— Ну в точности как мои бриджи, слышь ты, как бишь тебя, — отозвался человек с иглой, не поднимая головы. — Хотел бы я знать, Дик, доведется ли мне когда-нибудь побывать в мало-мальски приличном магазине.

Ответом ему была лишь неумолчная сердитая воркотня Нила, который, набегая с разбегу на базальтовую кручу, огибал ее и в полумиле вверх по течению бурлил и пенился над широкой каменистой косой. Мощный, грязно-бурый поток словно стремился прогнать белокожих назад, на их родину. Неповторимый запах нильского ила, витавший в воздухе, возвещал, что вода спадает и для ботов будет нелегким делом преодолеть даже немногие мили предстоящего тяжелого пути. Пустыня подступала едва ли не к самым берегам, где среди серых, красных и черных холмов стоял лагерь «Верблюжий корпус». Никто не смел хоть на день удалиться от реки и потерять связь с медленно плывшими ботами; целые недели прошли в полном спокойствии, без стычек с врагом, но Нил за это время не давал даже минутной передышки. Один бурлящий порог сменялся другим, скала следовала за скалой, островной барьер за барьером, и вот уже рядовые утратили всякое понятие о направлении, в котором следовали, и едва ли помнили, сколько времени они в пути. Они продвигались все вперед, неизвестно куда и зачем, дабы совершить нечто, неизвестно, что именно. Впереди простирался Нил, и где-то далеко, в самых верховьях, некий Гордон сражался не на жизнь, а на смерть, отстаивая город, который назывался Хартум. В глубине пустыни или, быть может, одной из множества пустынь, перемещались колонны британских войск; другие колонны плыли по реке; еще большее их число ожидало у реки

погрузки на борт; новые подкрепления томились около Асьюта и Асуана; превратные сведения и ложные слухи носились по всему лику несчастной земли, от Суакина до Шестого порога, и солдаты верили, что некое высшее командование руководит невесть откуда их бесчисленными маневрами. А этой колонне, следовавшей по реке, было приказано поддерживать суда на плаву, избегать, в меру возможности, потравы зазеленевших уже посевов местных земледельцев, когда солдаты «ватагой» тянули суда на буксире по фарватеру, побольше есть и спать, а самое главное — без промедления неуклонно стремиться прямо в клокочущую пасть Нила.

Наравне с рядовыми надрывались, работали в поте лица газетные корреспонденты, которые сами знали ничуть не больше рядовых солдат. Но самой важной на свете была задача поставлять Англии чтиво, которое дало бы ее гражданам повод ликовать и ужасаться во время завтрака, любопытствуя узнать, жив ли еще Гордон, или он пал на поле брани, или, быть может, добрая половина британской армии сгинула в песках. Суданская кампания являла собою весьма живописное зрелище, она давала борзописцам прекрасный материал. Изредка какой-нибудь «специальный корреспондент» ухитрялся погибнуть — что бывало отнюдь не убыточно для газеты, на которую он работал, — но чаще всего, поскольку дрались, главным образом, врукопашную, им удавалось чудом уцелеть, и ради таких случаев стоило потратиться на телеграфное сообщение в газету, по восемнадцать пенсов за слово. При всяких корпусах и колоннах числились всякие корреспонденты — от ветеранов, которые вместе с кавалеристами ворвались в Каир в 1882 году, когда Араби-паша провозгласил себя королем, и видели, как англичане впервые потерпели позорное поражение под Суакином, когда лазутчики ночью перерезали часовых и весь кустарник ощетинился копиями, вплоть до желторотых юнцов, которых спешно вызвали сюда по телеграфу на смену убитым или покалеченным собратьям по перу.

К числу самых бывалых корреспондентов — тех, которые знали до тонкости все превратности и перемены в запутанных почтовых правилах, все цены на самых необъезженных или заезженных египетских одров на конских ярмарках в Каире и в Александрии, которые умели отлично поладить с любым телеграфистом и польстить болезненному тщеславию любого недавно назначенного

штабного офицера, когда выходил приказ, затруднявший работу журналистов, — к числу их и принадлежал человек в фланелевой рубашке, темноволосый Торпенхау. Во время Суданской кампании он работал на Центрально-южное газетное агентство, на которое работал и ранее, в пору англо-египетской войны, и еще ранее, давным-давно. Агентство мало интересовалось разбором наступательной тактики и всем прочим в этом роде. Оно поставляло информацию широкой читательской массе и требовало от своих сотрудников исключительно живописности да бесчисленных подробностей: ведь в Англии солдат, который, вопреки приказу, нарушил боевой порядок, чтоб выручить товарища, вызывает больше восторга, нежели два десятка генералов, трудящихся до седьмого пота над мелочными задачами в связи с доставкой боеприпасов и продовольствия.

В Суакине Торпенхау повстречал юношу, который сидел на бруствере только что опустевшего редута, величиной немного больше шляпной картонки, и рисовал с натуры группу изуродованных артиллерийским огнемtrupов, валявшихся среди каменистой равнины.

— Вы на кого работаете? — осведомился Торпенхау.

Военные корреспонденты обычно приветствуют друг друга почти в тех же словах, что и коммивояжеры при встрече на торговых путях.

— На себя, — отвечивал юноша, не отрываясь от рисунка. — Табачку у вас не найдется?

Торпенхау терпеливо дождался, пока тот не закончил, потом взглянул на рисунок и спросил:

— Так чем же вы тут все-таки промышляете?

— Да ничем: просто в здешних краях была баталия, вот я и объявился. Вообще-то я числюсь при судоремонтной верфи, по части покраски каких-то корабельных снастей, или, может, подрядился шуровать уголек в топке парового котла. Только вот запамятовал, на каком именно корыте.

— У вас столько наглости, что из нее хоть целый редут возводи, — сказал Торпенхау, оценив по достоинству нового знакомого. — И что же, вы всегда рисуете в таком вот духе?

Юноша показал еще несколько рисунков. «Стычка на китайской барже», — изрек он назидательно, перебирая рисунки. — «Первый помощник капитана, зарезанный туземным торгашом», «Джонка на берегу близ Хакодате»,

«Сомалийский погонщик мулов подвергается телесному наказанию», «Осветительная ракета над Берберой», «Погоня за работорговым судном в Таджурском заливе», «Труп солдата в окрестностях Суакина при лунном свете» — черномазые суданцы перерезали ему глотку.

— Угм! — хмыкнул Торпенхау. — Лично я не поклонник водянистой мазни в духе Верещагина, но ведь о вкусах не спорят. Вы сейчас делом заняты, что ли?

— Нет. Просто развлекаюсь.

Торпенхау окинул взглядом беспросветно унылые окрестности.

— Ей-ей, странные у вас понятия о развлечении. А деньжата хоть водятся?

— Пока что перебиваюсь. Слушайте, не надобен ли вам художник, который посылал бы зарисовки с театра военных действий?

— Мне не надобен. Зато, может, надобен моему агентству. Рисовать вы способны сколько угодно, а особой выгоды, думается, не ищите, правда?

— Нет, до поры, до времени. Сперва хочу попытаться счастья.

Торпенхау снова просмотрел рисунки и кивнул.

— Да, правда ваша, при первом же случае попытайтесь счастья.

И он во весь опор поскакал к городу, въехал туда через ворота Двух Фрегатов, с грохотом промчался по булыжной мостовой в центр, откуда телеграфировал своему агентству: «Нашел художника рисует хорошо и дешево предложить ли сотрудничество будете получать иллюстрированный репортаж».

А юноша все сидел на бруствере, болтал ногами и тихонько твердил самому себе:

— Я же знал, рано или поздно случай представится. Ей-ей, ежели только выйду из этой переделки живым, они мне за все заплатят!

К вечеру Торпенхау уже мог порадовать своего нового приятеля вестью, что Центрально-южное газетное агентство берет его на работу с испытательным сроком в три месяца и с оплатой всех расходов до истечения означенного срока.

— Да, кстати, а как ваша фамилия?

— Хелдар. И что же, агентство предоставляет мне полную свободу?

— Да ведь вас взяли по случаю. Вы должны еще

оправдать этот выбор. Держитесь за меня, мой вам совет. Я отправляюсь в глубь страны при войсковой колонне и предлагаю вам всяческую помощь. Дайте мне какие-нибудь ваши зарисовки, сделанные в здешних местах, я отошлю их по назначению.

Про себя он подумал: «Столь выгодная сделка Центрально-южному агентству и во сне не снилась, а ведь я сам получаю сушище пустяки».

Так довелось Дику Хелдару после приобретения каких-то заморенных кляч и различных переговоров финансового и политического свойства быть принятым в «Новоявленное и почетное братство военных корреспондентов», члены коего все, без исключения, обладают неотъемлемым правом работать, сколь хватит сил, и получать за это, сколь волею Провидения и нанимателей им предназначено. Кроме того, если новый собрат явит себя достойным оказанной ему чести, во благовремени он обретет бойкость речи, пред которой не в силах устоять ни мужчина, ни женщина, когда дело касается еды или ночлега, прозорливость барышника, умение стряпать, здоровье и силу, как у быка, желудок, как у страуса, и неисчерпаемую способность приспособливаться к любым обстоятельствам. Многим, однако, до конца дней не удастся достигнуть столь высокой степени совершенства, зато непревзойденные мастера своего дела, вернувшись в Англию, напяливают фраки, дабы скрыть свою славу от непосвященных.

Дик неотступно следовал за Торпенхау повсюду, и где они только не побывали, успешно справляясь со своей работой, которая им даже нравилась. Тем не менее жизнь была не из легких, и она связала их теснейшей дружбой, поскольку ели они из одного котелка, пили воду из одной фляги и, что в особенности сближало обоих мужчин, совместно отправляли свои репортажи по почте или по телеграфу. Именно Дик, не кто иной, ухитрился спить телеграфиста в хижине, сплетенной из пальмовых листьев, далеко на берегу, за Вторым порогом, и пока тот, блаженствуя, валялся на глинобитном полу, завладел добытой с превеликим трудом бесценной информацией, которую сдал для передачи по телеграфу доверчивый корреспондент чужого агентства, снял точную копию с текста и вручил ее Торпенхау, который при этом изрек, что в любовной, а равно и в военной корреспонденции все средства хороши, после чего состряпал из бессвязной писани-

ны соперника блестящую, увлекательную статью. Именно Торпенхау, не кто иной... но повествование об их подвигах, совершенных порознь и вместе, от Фил до бесплодных пустынь Херави и Муэллы, составило бы содержание многих и многих томов. Случалось им во время боя проникать через сомкнутые ряды внутрь каре, рискуя получить пулю от обезумевших солдат; случалось с превеликим трудом навьючивать строптивых верблюдов, когда еще едва брезжил холодный рассвет; случалось молча трястись под палящим солнцем на неутомимых египетских лошаденках; случалось увязать в иле на нильских отмелях, когда судно, которое взяло их на борт, по странной прихоти судьбы напарывалось на подводную скалу, отчего раскалывалась на щепы добрая половина днища.

Теперь же они застряли на песчаном берегу, а моторные боты меж тем выгружали арьергард колонны.

— Хм-да, — хмыкнул Торпенхау, залатывая последними стежками свое оснащение, на которое он давно уж махнул рукой, — славное, однако, было дело.

— Это ты про заплату или же про баталию? — спросил Дик. — Что до меня лично, я не в восторге от обеих.

— Но ведь ты же хочешь, чтоб «Эвриал» преодолел Третий порог? И орудия, каждое в восемьдесят одну тонну весом, открыли огонь по Якдулу? Ладно, теперь-то *мне* мои бриджи нравятся.

Он с торжественностью повернулся кругом, будто цирковой клоун, чтоб его могли оглядеть все.

— Любо-дорого смотреть. В особенности эти буквы на мешковине. ГБТ. Государственный бычий транспорт. Мешок-то из Индии.

— Ну нет, это мои инициалы: Гилберт Беллинг Торпенхау. Я нарочно спер именно этот лоскут. Но какого дьявола Верблюжий корпус вдруг ни с того ни с сего всполошился?

Торпенхау приставил ладонь ко лбу и вгляделся в чахлый кустарник, пробивавшийся сквозь каменистую почву.

Громогласно прозвучала труба, и солдаты, рассыпанные по берегу, стремглав кинулись к своим ружьям и обмундированию.

— «Пизанские солдаты, застигнутые во время купанья», — невозмутимо промолвил Дик. — Помнишь рисунок Микеланджело? Обычно его копируют все начинающие художники. А кустарник так и кишит врагами,

Вояки из Верблюжьего корпуса громкими криками призывали пехоту на подмогу. И хриплые отклики с реки возвещали, что замыкающие уже знают о боевой тревоге и вот-вот подспеют, дабы принять участие в деле. В мгновение ока, будто бы внезапный порыв ветра подернул рябью дотоле спокойное водное зеркало, все каменные кряжи и бугры, поросшие редким кустарником, ожили, ощетинились вооруженными людьми. По счастью, люди эти предпочитали до поры держаться в отдалении, испуская ликующие возгласы и размахивая руками. Один даже разразился длительной речью. Верблюжатники выжидали, не открывая огня. Они были рады этой передышке, дававшей возможность образовать хотя бы некое подобие каре. Пехотинцы уже бежали к ним по берегу, увязая в песке; моторные боты и суденышки, которые с трудом преодолевали течение, наконец приблизились, и, едва там слышали крики, тотчас причалили к берегу и выгрузили всех, кроме больных, раненых и немногочисленной охраны. Араб, который зычным голосом держал речь, умолк, и его соратники пронзительно завопили.

— Похоже, что это махдисты, — сказал Торпенхау, локтями прокладывая себе путь через кое-как сомкнувшееся каре. — И, странное дело, их здесь целые тысячи! А ведь, насколько мне известно, мы уже замирили здешние племена.

— Стало быть, махдисты взяли приступом еще один город, — отозвался Дик, — и вот теперь выпустили этих визгливых демонов с приказом сожрать нас всех живьем. Пожалте-ка ваш бинокль.

— Наши лазутчики обязаны были донести об этом своевременно. А теперь мы в ловушке, — сказал один из младших офицеров. — Но почему молчит артиллерия? Эй вы, пошевеливайтесь!

Но не было и надобности никого подгонять. Солдаты рывались в каре со всех сторон, тяжело дыша, — уж они-то прекрасно знали, что всякий, кто замешкается, почти наверняка обречен на мучительную смерть. Стопятидесятифунтовые походные пушечки верблюжатников на углу каре завели свою веселую музыку, а само каре сместилось вправо и заняло ближайшую возвышенность, господствовавшую над местностью. Всем уже не раз приходилось бывать в подобных переделках, и эта потеха явно не сулила ничего нового: все те же зной и

духотища в тесно сомкнутом боевом порядке, удушливый запах пыли и нагретой солнцем кожаной амуниции, все та же молниеносная вражеская атака, тот же натиск со слабейшего фланга, отчаянная рукопашная схватка продолжительностью всего в несколько минут, а потом снова безмолвие пустыни, нарушаемое лишь отчаянными воплями беглецов, которых пытается преследовать немногочисленная конница. Ими давно уж владела бесшабашная удаля. Пушки палили залпами, а каре тем временем медленно продвигалось все вперед, нахлестывая упирающихся верблюдов. Затем в атаку ринулись три тысячи человек, не учивших по книгам, что смертоубийственно атаковать противника густой толпой под кинжальным огнем. Лишь одиночные выстрелы возвестили об их приближении, и лишь одиночные всадники скакали впереди — главные же силы состояли из полуголых, пришедших в неистовство людей, вооруженных только копьями да саблями. Обитатели пустыни, где почти не стихают войны, они чутьем угадали, что каре всего слабей с правого фланга, и круто свернули в обход. Артиллерия теперь обрушивала на них град снарядов, и на короткий миг в сплошной чаще людей образовались длинные просеки, какие можно видеть в Кенте среди зарослей хмеля из окна поезда, который мчится на всех парах; пехота же, подпустив их почти вплотную, в должный момент начала косить тесную массу ружейным огнем, истребляя врага целыми сотнями. Никакие регулярные войска во всем цивилизованном мире не выдержали бы того ада, через который прошли они, но здесь живые высоко подпрыгивали, чтоб вырваться из рук умирающих, которые хватили их за ноги, а раненые, изрыгая проклятия и пошатываясь, тоже плелись вперед, чтоб рухнуть, вконец обессилев, и вся эта черная прорва — словно поток воды, перехлестывающий плотину, — катилась прямо на правый фланг. Тогда ряды запыленных солдат и бледно-голубое небо над пустыней заволокли клубы дыма, и даже самые мелкие камешки на раскаленной земле, как и мертвые, иссушенные зноем кустики, стали важней всего на свете, потому что по ним отмерялся каждый мучительный шаг назад, к спасенью, — бегущие бессознательно вели им счет и устремлялись дальше, к следующему намеченному камню или кусту. Теперь уж не оставалось даже отдаленного подобия согласованных действий. Сколько было известно по опыту прежних боев, против-

ник, видимо, решил прорваться со всех четырех сторон разом. И солдаты должны были разить всякого, кто оказывался перед ними, колоть штыками тех, которые обращали к ним спины, а получив смертельную рану, вцепляться в убийцу и валить его наземь вслед за собой, покуда какой-нибудь другой мститель не размозжит ему череп ударом приклада. Дик вместе с Торпенхау и молодым врачом молча ждал, но вот наконец терпеть стало невозможно. Не было ни малейшей надежды оказать помощь раненым прежде окончательного отражения атаки, и все трое стали потихоньку продвигаться на слабейший фланг. Но вот последовал новый отчаянный натиск, слышался отрывистый посвист разящих копий, и какой-то всадник, увлекая за собой три или четыре десятка воинов, врубился в ряды пехотинцев с душераздирающим визгом. Правый фланг тотчас же вновь сомкнул за ними ряды и со всех сторон свои спешили на выручку. Раненые, зная, что они все равно обречены и жить им остается в лучшем случае считанные часы, хватали врагов за ноги и валили наземь или же, нашарив брошенную винтовку, палили наугад в гущу боя, бушевавшего впереди каре. Дик смутно осознал, что кто-то яростно полоснул его саблей по шлему, сам разрядил револьвер в чью-то черную рожу со ртом, брызжущим пеной, и она сразу утратила всякое сходство с человеческим лицом, а Торпенхау подмял под себя какой-то араб, которого он пытался «охомутать», и теперь катался вместе с ним по земле, норовя выдавить ему пальцами глаза. Врач вслепую колол штыком, а какой-то солдат, потерявший шлем, стрелял из винтовки поверх плеча Дика: порошинки, разлетающиеся после каждого выстрела, опаляли ему щеку. Повинуясь безотчетному чувству, Дик бросился к Торпенхау. Представитель Центрально-южного агентства отодрал от себя врага и встал, вытирая о штанины большой палец. Поверженный араб пронзительно вскрикнул, прикрыл лицо ладонями, потом вдруг подхватил брошенное копьё и ринулся на Торпенхау, который силился перевести дух, меж тем как Дик охранял его с револьвером. Дик выстрелил дважды кряду, и араб беспомощно повалился навзничь. На его запрокинутом лице не было одного глаза. Огонь из стрелкового оружия усилился и теперь к нему примешивались крики «ура». Атака захлебнулась, враг обратился в бегство. Если середина каре походила на бойню, то земля вокруг была, как пол в мяс-

ной лавке. Дик ринулся вперед, расталкивая разъяренных солдат. Уцелевшие враги с поспешностью отступали, преследуемые горсткой — ничтожной горсткой — английских кавалеристов, которые рубили отставших.

За грудами трупов, в изуродованном, обломанном кусте застряло брошенное при бегстве окровавленное арабское копьё с широким наконечником, а за кустом простиралась бескрайняя темная гладь пустыни. Солнце отразилось на стальном острие, и оно превратилось в грозно пылающий багряный круг. Кто-то за спиной крикнул: «Пшел отсюда, негодник!» Дик вскинул револьвер и направил его в пустынную даль. Багряная вспышка ослепила глаза, а оглушительный шум и крики, раздававшиеся вокруг, словно слились в давно знакомый монотонный ропот моря. Ему виделся револьвер и багряное сияние... и сердитый голос гнал кого-то прочь — точно так же, как когда-то, быть может, в прошлой жизни. Дик ожидал, что будет дальше. Что-то словно лопнуло у него в голове, на миг он очутился во тьме — и тьма эта опаляла. Он выстрелил наугад, и пуля умчалась в глубь пустыни, а он пробормотал: «Из-за тебя я промазал. Да и патрон был последний. Ладно, бежим домой». Он ощупал голову и увидел, что рука его покрылась кровью.

— Эге, дружище, да тебя изрядно зацепило, — сказал Торпенхау. — Я у тебя в долгу. Прими же мою признательность. А теперь вставай! Ей-ей, здесь не лазарет.

Дик обессиленно навалился на плечо Торпенхау и бессвязно бормотал, что надо целить вниз и левой. Потом он снова лег на землю и смолк. Торпенхау оттащил его к доктору, а потом сел описывать в красочных выражениях «кровопролитную битву, в которой наше оружие стяжало себе бессмертную славу», ну, и тому подобное.

Всю эту ночь, когда солдаты спали в корабельных кубриках и на палубах, черная тень плясала при свете луны на песчаной отмели и вопила, что Хартум, проклятый богом город, погиб, погиб, погиб, что два парохода разбились о нильские скалы близ самого города, и никому не удалось спастись; а Хартум погиб, погиб, погиб!

Но Торпенхау не обращал на это ни малейшего внимания. Он ухаживал за Диком, который обращался к неукротимому Нилу, призывая Мейзи — снова и снова Мейзи!

— Поразительное явление, — сказал Торпенхау, поправляя сползшее одеяло. — Вот мужчина, который, по всей вероятности, мало чем отличается от всех остальных, и он твердит имя одной-единственной женщины. А уж я наслаждался в своей жизни бреда. . . Дик, хлебника шипучки.

— Спасибо, Мейзи, — сказал Дик.

### ГЛАВА III

К берегам Испании снова уплыть  
Напоследок хочет с пиратами он,  
Бороду там королю подпалить,  
Коменданта в Хаэне взять в полон  
И в Алжире в рабство продать.

*«Голландская картина»*

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Суданская кампания кончилась, рассеченная голова Дика зажила и представители Центрально-южного агентства уплатили ему за труды некую сумму денег, не преминув письменно заверить, что труды эти не вполне их удовлетворяют. Дик швырнул письмо в Нил, пребывая тогда в Каире, там же предъявил присланный чек к оплате и дружески распростился на вокзале с Торпенхау.

— Думаю бросить якорь в родной гавани и малость отдохнуть, — сказал ему Торпенхау. — Не знаю, где поселюсь в Лондоне, но ежели богу будет угодно, чтоб мы свиделись, то мы и свидимся. А ты, стало быть, намерен дожидаться здесь новой баталии? Ничего подобного не произойдет, покуда наши войска не овладеют опять Южным Суданом. Учти это. И прощай. Всех благ. Приезжай, когда денежки промотаешь. Да не забудь сообщить мне свой адрес.

Дик шатался по Каиру, Александрии, Исмаилии и Порт-Саиду — в особенности по Порт-Саиду. Беззакония творятся часто и едва ли не в каждом уголке мира, а уж порок царит повсеместно, но истое средоточие всех беззаконий и всех пороков решительно со всех континентов являет собою именно Порт-Саид. В этом аду, затерянном среди зыбучих песков, где над Горькими озерами с утра до ночи маячит мираж, всякий может, если только запасется терпением, увидеть едва ли не всех мужчин и женщин, каких он знал на своем веку. Дик поселился

в шумном и отнюдь не благопристойном квартале. Вечерами он слонялся по набережной, всходил на борт многих судов и завел многое множество друзей — среди них были изысканные англичанки, с которыми он без меры и благоразумья болтал на веранде «Пастушьей гостиницы», вечно занятые и непоседливые военные корреспонденты, капитаны транспортов, зафрахтованных для войсковых перевозок, десятки армейских офицеров и другие люди менее почтенных занятий. Он имел возможность рисовать с натуры представителей всех наций Востока и Запада, не упускал удобного случая понаблюдать, зарисовывал людей, дошедших до полного азарта за карточными столами, в трактирах, в аду танцевальных залов и в прочих подобных местах. Отдохновения же ради он созерцал прямую перспективу Канала, ослепительно раскаленные пески, разгрузку и погрузку судов да белые стены лазаретов, где лежали раненые английские солдаты. Он старался запечатлеть карандашом и красками все, что посылало ему провидение, а когда такие возможности иссякали, отыскивал новые сюжеты. Это было увлекательное занятие, но оно кончилось вместе с деньгами, а ведь он уже получил вперед все сто двадцать фунтов, которые причитались ему за год. «Теперь придется работать и жить впроголодь!» — подумал он и уже готов был покориться своей новой судьбе, как вдруг из Англии пришла загадочная телеграмма от Торпенхау: «Приезжай немедленно: ты стал модным. Приезжай».

Улыбка расплылась по его лицу.

— Так скоро! Вот поистине добрая весть, — сказал он себе. — Ну что ж, сегодня ночью надо погулять вволю. Мне привалила удача, и теперь предстоит выстоять иль пасть. Но ей-же-ей, сейчас самое время.

Он отдал половину всех денег своим друзьям, небызывестным мосье и мадам Бина́, и заказал занзибарский танец в исполнении первых красоток. Мосье Бина пошатывался с похмелья, а мадам сочувственно улыбнулась:

— Мосье, конечно, пожелает для себя кресло, и, конечно же, мосье намерен рисовать: мосье так странно развлекается.

Бина, который валялся на кровати в соседней комнате, приподнял над подушкой иссиня-белое лицо.

— Понятное дело, — произнес он дребезжащим голосом. — Мосье всем нам очень даже известен. Мосье —

художник, каким был и я в свое время. — Дик молча кивнул. — И дело кончится тем, — продолжал Бине многозначительно, — что мосье живьем сойдет в ад, как сошел и я в свое время.

Он рассмеялся.

— Приходите и вы поглядеть танец, — предложил Дик. — Вы мне пригодитесь.

— Это вам рожа моя надобна? Так я и знал. Моя-то рожа? Дьябль! И мое безнадежное падение! Да ни за что ни приду. Гоняй ты его в шей. Это сам сатана во плоти. Или, по крайности, Селеста, заломай хорошая цена.

Тут почтенный Бина дрыгнул ногами и заверещал.

— В Порт-Саиде продается всякая вещь, — сказала мадам. — Но если вы желайте, чтоб мой супруг был, мне и впрямь нужно заломать хорошая цена. Как это будет на ваш язык — полсюверен, что ль.

Дик немедленно выложил требуемые деньги, и ночью на обнесенном глухой стеной дворике на задах домика мадам Бина исполнялся безумный танец. Сама хозяйка, облаченная в бледно-розовые шелка, то и дело соскальзывавшие с ее желтых, как воск, плеч, наяривала на пианино, и под дребезжащие звуки пошлейшего европейского вальса голые занзибарские девки неистово отплясывали при свете керосиновых фонарей. Бина восседал в кресле и смотрел на них невидящими глазами, но потом вихрь танца и оглушающее брэнчание пианино вторглись в алкоголь, который тек по его жилам вместо крови, и лицо его просветлело. Дик грубо ухватил его за подбородок и обернул лицом к свету. Мадам Бина глянула через плечо и обнажила в улыбке несметное множество зубов. Дик прислонился к стене и рисовал добрый час, но вот уже керосиновые фонари начали чадить, а девки в изнеможении попадали на плотно утопанную землю дворика. Тогда Дик захлопнул альбом и собрался уходить, но Бина повис у него на локте.

— Покажите мне, — принялся он канючить. — Когда-то и я был художник, да, и я тоже! — Дик показал ему свой незавершенный набросок. — И это я? — возопил Бина. — И вы теперь увезете это с собой да станете показывать всему миру, какой такой есть я, Бина?

Он застонал и расплакался.

— Мосье изволили уплатить за все сполна, — сказала мадам. — Мы всегда рады видеть мосье у себя в доме.

Ворота затворились, и Дик быстро пошел по песчаной улочке в ближайший адоподобный игорный дом, где был тоже хорошо известен. «Если удача мне не изменит, это будет добрым знаком, если же я проиграю, значит, мне суждено здесь остаться». Он живописно разложил деньги на столе, едва решаясь взглянуть, что же из этого вышло. Удача не изменила. Три оборота рулетки приумножили его наличность на двадцать фунтов, после чего он отправился в порт, где свел знакомство с капитаном дряхлого пакетбота, откуда высадился в Лондоне, имея в кармане совсем уж ничтожную сумму, которая, по его мнению, даже в счет не шла.

Над городом висел редкий серый туман, и на улицах свирепствовал холод: английское лето было в разгаре.

«Веселенькая пустыня, и вряд ли она может хоть в чем-то измениться, — подумал Дик, шагая от портовых доков на запад. — Итак, что же мне делать?» Дома, тесно лепившиеся друг к другу, молчали. Дик вглядывался в длинные темноватые улицы, видел стремительное движение экипажей и людские толпы.

— Ну ладно же, крольчатники! — сказал он, обращаясь к благопристойным двухквартирным особнякам. — А знаете ли вы, что вам предстоит в ближайшем будущем? Вам предстоит обеспечить меня лакеями и горничными, — тут он причмокнул губами, — и в придачу королевской казной. Покамест же куплю-ка я себе новое платье и обувь, а потом вернусь да расправлюсь с вами. — И Дик решительно продолжал путь; он заметил, что один его ботинок прохудился сбоку. Когда он нагнулся, разглядывая дыру, какой-то прохожий столкнул его в сточную канаву. — Ладно же, — сказал он. — Мы и это возьмем на заметку. Я вас всех тоже столкну, дайте срок.

Хорошее платье и обувь стоят недешево, и Дик вышел из последнего магазина, сознавая, что на какое-то время он обеспечен приличной одеждой, но в кармане у него всего-навсего пятьдесят шиллингов. Он вернулся на улицы, прилегающие к докам, и снял комнату, где на постельное белье были нашиты крупные метки во избежание кражи, и никто, казалось, вообще никогда не ложился на кровать. Когда доставили платье Дика, он отыскал Центрально-южное газетное агентство, спросил там адрес

Торпенхау, который тотчас же получил, узнав при этом, что ему еще причитаются деньги.

— А много ли? — осведомился Дик с такой небрежностью, словно привык ворочать миллионами.

— Фунтов тридцать или сорок. Если вам угодно, мы, разумеется, можем уплатить сейчас же, но обычно мы рассчитываемся ежемесячно, по первым числам.

«Если я дам понять, что мне срочно нужны деньги, мое дело дохлое, — сказал он себе. — Со временем я возьму свое». Вслух же произнес:

— Не стоит беспокоиться. Кстати, я уезжаю на месяц из города. Обождите, покуда я вернусь, а там сочтемся.

— Но мы надеемся, мистер Хелдар, что вы не намерены порывать с нами отношения?

Дик всю жизнь изучал человеческие лица и теперь пристально взгляделся в собеседника.

«Этот человек о чем-то умалчивает, — решил он. — Не стану ничего предпринимать до встречи с Торпенхау. Кажется, предстоят большие дела».

Не дав определенного ответа, он вернулся в свою каморку близ доков. Было только седьмое число, а в месяце, как сразу сообразил Дик, тридцать один день!

Человеку с разносторонними вкусами и здоровым аппетитом отнюдь не просто прожить двадцать четыре дня на пятьдесят шиллингов. И мало радости начинать эту жизнь в одиночку среди унылой серой пустыни Лондона. Комнату Дик снял за семь шиллингов в неделю, так что на еду и питье у него осталось меньше шиллинга в день. Само собой, перво-наперво он приобрел все необходимое для своего ремесла: этого он был лишен очень давно. Потом за какие-нибудь полдня, пробуя и сравнивая, он убедился, что сосиски с картофельным пюре, по два пенса за порцию, ему более всего по карману. Конечно, сосиски вовсе не плохой завтрак раз или два в неделю. Но к полудню, даже с картофельным пюре, они приедаются. А уж на обед и вовсе несносны. Через три дня Дик возненавидел сосиски, отнес в заклад часы и устроил себе пир, приобретя баранью голову, которая обошлась отнюдь не так дешево, как можно было предположить, поскольку в ней множество костей и к тому же она изрядно ужарилась. Потом он снова перешел на сосиски с пюре. Но настал день, когда пришлось питаться одним пюре, и он почувствовал щемящую пустоту в желудке. Тогда он отдал в заклад жилет и галстук, с сожалением вспоминая о тех

деньгах, которые легкомысленно растранижил в былые времена. Для Искусства бывает весьма и весьма полезно, когда у художника брюхо подводит с голоду, и Дик, изредка выходя на улицу — вообще-то он избегал прогулок, ибо они возбуждали желания, которые невозможно было удовлетворить, — убедился, что делит все человечество на две половины: одни люди, судя по внешности, могли дать ему что-нибудь поесть, вид же других не сулил ничего подобного. «Оказывается, до сих пор я совсем не разбирался в человеческих лицах», — подумал он, и, словно в награду за такое смирение, провидение внушило какому-то извозчику в сосисочной, куда Дик зашел в тот вечер, мысль оставить толстый недоеденный ломоть хлеба. Дик немедля схватил ломоть — готовый сражаться ради него против всего мира, — и удача вселила в него бодрость.

Но вот месяц кончился, и Дик, едва удерживая себя, дабы не пуститься бегом от нетерпения, отправился за деньгами. После этого он торопливо зашагал к дому, где жил Торпенхау, а там, из коридоров мебелишек, шел соблазнительный дух жареного мяса. Торпенхау обитал на самом верхнем этаже, Дик ворвался в его комнату и сразу же попал в объятия, от которых у него затрещали ребра, вслед за чем Торпенхау увлек его к столу и единым духом выпалил два десятка разных вопросов:

— Кстати, ты, вижу я, изрядно отощал, — заключил он.

— У тебя перекусить найдется? — спросил Дик, обшаривая комнату взглядом.

— Завтрак будет готов сию минуту. Если я предложу тебе сосисок, ты не будешь против?

— Все, что угодно, только не сосиски! Торп, я просуществовал на этой мерзкой конине тридцать дней и тридцать ночей, да и то впроголодь.

— Ну, выкладывай, что за безумная выходка взбрела тебе в голову напоследок?

Дик дал волю языку и поведал, как он прожил минувшие недели. Потом расстегнул пиджак: жилета не было.

— Я удачно его сбыл, просто на редкость удачно, и все же еле-еле дотянул.

— Мозгов у тебя не густо, зато сила воли по крайней мере есть. Ладно, ешь, а потом потолкуем.

Дик жадно набросился на яичницу с ветчиной и наелся до отвала. Торпенхау подал ему набитую трубку, и

он зятянулся с таким наслаждением, какое может испытывать человек, три недели не кутивший хорошего табака.

— Ух ты! — вскричал он. — Это просто божественно! Ну так что же?

— Почему, скажи на милость, ты не пришел ко мне сразу?

— Не мог: ведь я и без того слишком многим обязан тебе, дружище. К тому же у меня было суеверное предчувствие, что такая временная голодовка — да, именно голодовка, и притом очень мучительная — принесет мне удачу в будущем. Но отныне с этим покончено, дело прошлое, никто в агентстве не знает, сколько я хлебнул горя. А теперь выкладывай все начистоту. Какие у меня виды на будущее?

— Ты получил телеграмму? Да, ты стал модным. Все без ума от твоих рисунков. Право, не знаю отчего, но это бесспорно. Говорят, что у тебя свежая манера и новый художественный почерк. А поскольку в большинстве своем это доморощенные английские знатоки, они говорят, что ты наделен особым чутьем. Тебе предлагают сотрудничать в десятке газет, иллюстрировать книги.

Дик презрительно фыркнул.

— И еще тебе предлагают написать по собственным эскизам большие полотна, от скупщиков отбоя нет. Видно, они полагают, что твои работы могут оказаться выгодным помещением денег. Вот черт! Кто способен разгадать непостижимую глупость публики?

— Они на редкость разумные люди.

— Скажи лучше — люди, буруеваемые нелепыми прихотями. Ты стал новейшей прихотью для тех, которые именуют себя поборниками так называемого Искусства. И вот теперь ты — модный художник, ты редкостное явление и все, что только тебе будет угодно. При этом оказалось, что один я знаю, кто ты и что ты, я показал влиятельным людям твои рисунки, которые ты изредка мне дарил. Те самые, которые не сгодились для Центрально-южного агентства. Тебе привалила удача, счастливец.

— Гм! Ничего себе счастливец! Вот уж поистине счастлив тот, кто гоняется за удачей по всему белому свету и не чаает, когда она наконец привалит! Нет, они еще увидят, какой я счастливец. Но прежде всего мне нужна мастерская.

— Поди сюда, — сказал Торпенхау и пересек лестничную площадку. — В сущности, это помещение — обширная кладовая, но тебя это вполне устроит. Вот верхний свет, или северный свет, или как там у вас называются такие окошки; здесь достаточно места для всякого хлама. А рядом спальня. Чего же тебе еще?

— Ладно, сойдет, — сказал Дик, оглядывая помещение, которое занимало добрую треть верхнего этажа в ветхом доме, обращенном к Темзе. Тускло-желтое солнце заглядывало в окно и освещало неопишимо-грязную комнату. Три ступеньки вели от двери на площадку, а оттуда еще три — в квартиру Торпенхау. Лестничная клетка тонула в темноте, и там, внизу, едва видными точками мерцали газовые рожки, слышались мужские голоса и хлопанье дверей на всех семи этажах, окутанных теплой мглой.

— Предоставят ли мне полную свободу? — спросил Дик с опаской.

Он слишком долго скитался по свету и знал цену независимости.

— Да делай все, что душе угодно: получишь ключи и всяческие права. Почти все мы проживаем здесь постоянно. Союзу Молодых Христиан я бы этот дом рекомендовать воздержался, но нас он устраивает. Я оставил за тобой эти комнаты, как только послал телеграмму.

— Не знаю, как мне тебя и благодарить, дружище.

— Уж не думал ли ты всегда жить со мной врозь?

Торпенхау обнял Дика за плечи, и они стали молча расхаживать по комнате, которой отныне предстояло именоваться мастерской, испытывая друг к другу взаимную привязанность. Внезапно послышался стук в дверь Торпенхау.

— Какому-то бродяге не терпится глотку промочить, вот он и пришел клянчить, — сказал Торпенхау и бодрым голосом окликнул гостя.

Вошел отнюдь не бродяга, а представительный пожилой господин в сюртуке с атласными лацканами. Бледные губы его были приоткрыты, под глазами зияли темные ямы.

«Сердце шалит, — подумал Дик, а когда они обменялись рукопожатием, заключил: — Да еще как. Пульс даже в пальцах колотится».

Посетитель отрекомендовался как глава Центрально-южного агентства и «один из самых пылких поклонников

вашего таланта, мистер Хелдар. Смею заверить от имени агентства, что мы вам бесконечно признательны. Надеюсь также, мистер Хелдар, вы не забудете, что мы приложили немало усилий, дабы создать вам известность». Преодолев семь лестничных маршей, он пыхтел и едва переводил дух.

Дик покосился на Торпенхау, а тот подмигнул ему левым глазом.

— Не забуду, — сказал Дик, в котором сразу же проснулись настороженность и безотчетная готовность к самозащите. — Ведь вы так щедро платили, что этого, право, нельзя забыть. Кстати, когда я здесь обоснуюсь, я хотел бы прислать за своими рисунками. Их у вас, помнится, сотни полторы.

— М-да... вот именно... э-э... об этом самом я и пришел поговорить. Боюсь, мистер Хелдар, что мы никак не можем их вернуть. Ввиду отсутствия особого соглашения эти рисунки являются нашей неотъемлемой собственностью.

— Уж не взбрело ли вам в голову их присвоить?

— Они у нас, и мы надеемся, мистер Хелдар, что вы сами назовете условия и окажете нам содействие в устройстве небольшой выставки, каковая, если учесть репутацию нашего агентства и то влияние, которое мы, как вы понимаете, имеем на прессу, будет вам весьма полезна. Ведь эти рисунки...

— Принадлежат мне. Вы наняли меня телеграммой и без зазрения совести платили мне жалкие гроши. Так выбросьте же из головы самую мысль их присвоить! Черт бы вас взял, почтеннейший, ведь это единственное, что у меня есть в жизни!

Торпенхау заглянул Дику в лицо и присвистнул.

Дик в задумчивости расхаживал по комнате. Он видел, что всеми скромными плодами его трудов, главным его оружием еще до начала борьбы беззастенчиво завладел этот пожилой господин, чью фамилию он толком даже не расслышал, причем господин этот отрекомендовался главою агентства, которое не заслуживало ни малейшего уважения. Самая несправедливость свершившегося не очень-то его волновала; слишком уж часто доводилось ему во время скитаний по свету видеть торжество грубой силы, и его нисколько не волновал вопрос о чьей-либо нравственной правоте или неправоте. Но он жаждал крови этого пожилого человека в сюртуке, и, когда заго-

ворил снова, в голосе его звучала напускная любезность, а это, как прекрасно знал Торпенхау, предвещало схватку не на жизнь, а на смерть.

— Прошу прощения, сэр, но не найдется ли у вас для переговоров со мной кого-нибудь... м-м... помоложе?

— Я говорю от имени агентства. И не вижу причин вмешивать в это дело третье лицо...

— Сию секунду увидите. Будьте столь любезны немедленно вернуть мне мои рисунки, все до единого.

Посетитель в замешательстве взглянул сперва на Дика, потом на Торпенхау, который стоял, прислонясь к стене. Он не привык, чтобы его бывшие сотрудники требовали подобной любезности.

— М-да, это прямо-таки грабеж среди бела дня, — внушительно изрек Торпенхау, — но я опасаюсь, очень и очень серьезно опасаюсь, что вы не на того напали. А ты, Дик, будь осмотрительней: помни, что ты все-таки не в Судане.

— Если учесть, как много сделало для вас агентство, благодаря чему вы и приобрели столь широкую известность...

Это было сказано весьма некстати: Дик сразу же вспомнил годы скитаний, одиночество, нужду и тщетные мечты. Такие воспоминания отнюдь не расположили его в пользу благополучного и состоятельного господина, который намеревался теперь пожать плоды тех горьких лет.

— Просто не знаю, что с вами и делать, — сказал Дик задумчиво. — Конечно, вы вор, и за это вас надо бы избить до полусмерти, но при таком хилом здоровье из вас недолго и вовсе дух вышибить. Нет, я не хочу, чтобы ваш труп валялся здесь, на полу, и вообще это дурная примета, когда празднуешь новоселье. Спокойно, сэр, вы только зря себя волнуете. — Он сжал посетителю запястье, а другой рукой ощущал пухлое тело под сюртуком. — Вот чертовщина! — сказал он, обращаясь к Торпенхау. — И этот несчастный ублюдок решается на кражу! Однажды в Эснехе у меня на глазах одному караванщику всыпали таких плетей, что кожа с его черно-мазой спины слезала лохмотьями, за то лишь, что он посмел украсть жалкие полфунта фиников, причем тот был жилист и крепок, как сама плеть. А эта туша мягкая, как баба.

Нет большего унижения, чем попасть в руки человека, который может сделать со своей жертвой все, что ему угодно, но избивать ее и не думает. Глава агентства начал задыхаться. А Дик похаживал вокруг, потрагивал его, как игривый кот трогает лапой пушистый коврик. Наконец он коснулся свинцово-серых ям под глазами гостя и покачал головой.

— Вы хотели украсть мое достояние — мое, мое, мое! Это вы-то, мозгляк, невесть, в чем душа держится. Живо кропайте записку в свое агентство — вы ведь назвались его главой — да распорядитесь, чтоб там немедля отдали Торпенхау мои рисунки, все до единого. Минуточку: у вас рука дрожит. Ну-ка!

Дик подсунул ему блокнот. Записка тотчас же была написана. Торпенхау взял ее и вышел, не сказав ни слова, а Дик все похаживал вокруг замороженного пленника и с полнейшей искренностью давал душеспасительные советы. Когда Торпенхау вернулся с пухлой папкой, он услышал, как Дик почти ласково увещевал:

— Ну вот, надеюсь, этот случай послужит вам хорошим уроком, и если вы, когда я всерьез примусь за работу, вздумаете вчинить мне какой-нибудь дурацкий иск за угрозу оскорбления действием, уж будьте уверены, я вас живо отыщу и отправлю прямиком на тот свет. А вам и без того жить осталось недолго. Ступайте же! *Имши вутсак* — иди, куда велено!

Бедняга ушел, спотыкаясь, как слепой. Дик глубоко вздохнул.

— Уф! Что за бессовестные людишки! Бедный сиротинушка и шагу не успел ступить, как сразу же столкнулся с бандой мошенников и умышленным грабежом! Вообрази только, какая грязная душа у этого человека! Все ли рисунки в целости, Торп?

— Да, их тут сто сорок семь штук равным счетом. Ну-с, Дик, скажу я тебе, *право слово*, начал ты недурственно.

— Он хотел встать мне поперек пути. Для него это всего несколько фунтов прибыли, а для меня целая жизнь. Не думаю, чтоб он осмелился вчинить иск. Я совершенно бескорыстно дал ему ценнейшие медицинские советы касательно его здоровья. Правда, при этом он испытал легкое волнение, но, в общем, дешево отделался. А теперь взглянем на рисунки.

Через две минуты Дик уже лежал на полу подле раскрытой папки, самовлюбленно посмеивался, перебирал рисунки и размышлял о том, какой ценой они ему достались. Когда уже вечерело, Торпенхау заглянул в дверь и увидел, что Дик отплясывает у окна неистовую сарабанду.

— Я сам не знал, что работа моя так прекрасна, Торп, — сказал Дик, не переставая плясать. — Мои рисунки хороши! Чертовски хороши! Это будет сенсация! Я устрою выставку на собственный риск! А этот мошенник хотел украсть их у меня! Знаешь, теперь я жалею, что в самом деле не набил ему морду!

— Ступай-ка на улицу, — сказал Торпенхау, — ступай да помолись богу об избавлении от соблазна тщеславия, хотя от этого соблазна тебе все равно не избавиться до гробовой доски. Принеси свое барахло из каморки, в которой ты ютился, и мы постараемся навести в этом свиарнике мало-мальский порядок.

— И тогда — вот уж тогда, — сказал Дик, все еще приплясывая, — мы оберем египтян до нитки.

#### ГЛАВА IV

Волчонок, таясь, в чашобе залег,  
Когда дым от костров витал:  
Загрызть добычу хотел он и мог,  
И где мать с олененком дремлет, знал.  
Но вдруг луна пробилась сквозь дым,  
И пришлось другую поживу искать,  
Решил он телка на ферме задрать  
И завыл на луну, что висела над ним.

*«В Сеони»*

— Ну и как, сладостен ли вкус преуспевания? — спросил Торпенхау спустя три месяца. Он некоторое время отдыхал за городом и только что вернулся домой.

— Вполне, — ответил Дик, сидя в мастерской перед мольбертом и облизываясь. — Но мне нужно больше — несравненно больше. Тощие годы позади, теперь наступили тучные.

— Смотри, дружище, не оплошай. Этак недолго стать плохим ремесленником.

Торпенхау сидел, развалиясь в кресле, на коленях у него спал крошечный фокстерьер, а Дик натягивал холст на подрамник. Только помост, задник и манекен оставались здесь всегда на одном и том же месте. Они

возвышались над грудой хлама, где было решительно все, от флажек в войлочных чехлах, портупей и военных знаков различия до тюка поношенных мундиров и пирамиды из всевозможного оружия. Отпечатки грязных следов на помосте свидетельствовали о том, что натурщик недавно ушел. Водянистый свет осеннего солнца постепенно мерк, и по углам мастерской стлались тени.

— Да, — сказал Дик, помолчав, — я люблю власть, люблю удовольствия, люблю сенсацию, но пуще всего люблю деньги. Я готов любить даже людей, которые создают сенсацию и платят деньги. Почти что. Но это странная публика — на редкость странная!

— Тебя по крайней мере приняли как нельзя лучше. Пошлейшая выставка твоих рисунков наверняка принесла тебе кругленькую сумму. Ты видал, что в газетах ее называли «Галереей невообразимых диковин»?

— Ну и пусть. Я продал все холсты, какие намеревался, все до последнего. И право, я уверен, удалось это мне потому, что все убеждены, что я самоучка, который зарабатывал тем, что рисовал на тротуарах. Мне заплатили бы куда щедрей, когда бы я рисовал на сукне или гравировал на верблюжьей кости, заместо того чтоб просто пользоваться карандашом и красками. Вот уж действительно престранная публика. Этих людишек даже мало назвать недалекими. На днях один умник уверял меня, что тени на белом песке никак не могут быть синими — ультрамариновыми, — хотя в действительности это именно так. Потом я узнал, что сам он не бывал дальше пляжа в Брайтоне, зато Искусство знает до тонкости. Он прочитал мне целую лекцию и посоветовал поступить в школу, дабы выучиться элементарным приемам. Любопытно, что сказал бы на это старикан Ками.

— Когда и где ты учился у Ками, ты, молодой да ранний?

— В Париже, битых два года. Он обучал с помощью внушения. От него мы только и слышали: «Continuez, mes enfants»<sup>1</sup>, — а там каждый должен был понимать это, как мог. Он обладал неподражаемой живописной манерой, да и цветовые оттенки чувствовал неплохо. Этот Ками порой видел цветные сны. Готов поклясться, что он никогда не замечал самой природы, но зато имел богатое воображение, и получалось просто великолепно.

---

<sup>1</sup> Продолжайте, дети мои (фр.).

— А помнишь, какими пейзажами мы любовались в Судане? — сказал Торпенхау, умышленно подзадоривая друга.

Дик сморщился.

— Лучше и не напоминай. Меня так влечет в те края. Какие там были тона! Опаловые и янтарные, янтарные и бордовые, кирпично-красные и серно-желтые — на коричневом фоне, а среди всего этого угольно-черные скалы, и живописная вереница верблюдов вырисовывалась на ясно-бирюзовом небе. — Он начал расхаживать по мастерской. — Но, видишь ли, если изображать все так, как это сотворено богом, для человеческого восприятия и в полную силу моего таланта...

— Потрясающая скромность! Ну, дальше.

— Горстка невежественных юнцов, кастраты, которые сроду не бывали в Алжире, скажут, что, во-первых, это плохое подражание природе, а во-вторых, не имеет ничего общего с Искусством.

— Стоило мне отлучиться на месяц, и вот что вышло. Дикки, ты наверняка шлялся тут без меня по модным лавкам и наслушался всякого вздора.

— Никак не мог удержаться, — виновато отвечал Дик. — Тебя не было, и я изнывал от одиночества в бесконечно долгие вечера. Нельзя же работать без передышки круглые сутки.

— Пошел бы да выпил, как порядочный человек.

— Если б я мог это сделать! Но я свел знакомство с самыми разношерстными людьми. Все они величают себя художниками, и я убедился, что некоторые из них впрямь умеют рисовать, но и не думают этим заниматься всерьез. Они предлагали мне попить чаю — в пять часов пополудни! — да толковали об Искусстве и о своем душевном состоянии. Будто кого-то интересуют ихние души. Я наслушался разговоров об Искусстве гораздо больше и увидел гораздо меньше, нежели за всю жизнь. Помнишь Кассаветти — он работал в пустыне на какое-то европейское агентство, числился при одной из войсковых колонн? Когда он отправлялся в поход со всей своей амуницией, то наряжался, как рождественская елка, — при фляге, бинокле, револьвере, планшетке, вещевом мешке, в окулярах и бог весть в чем еще. Он часто перебирал свое добро и показывал, как с ним надо обращаться, а сам, помнится, бездельничал и лишь изредка списывал корреспонденции у Антилопы Нильгау. Правда ведь?

— Славный старик Нильгау! Он сейчас в Лондоне и растолстел еще пуще. Обещал зайти ко мне нынче вечером. Я прекрасно понимаю смысл твоего сравнения. Держался бы ты подальше от этих модисточек в штанах. Поделом тебе, и, надеюсь, теперь уж ты возьмешься за ум.

— Как бы не так. Зато я постиг, что такое Искусство — возвышенное святое Искусство.

— Стало быть, ты тут без меня постиг великую премудрость. И что же такое Искусство?

— Надо просто изображать то, что им знакомо, лиха беда начало, и продолжать в том же духе. — Дик повернул картину, обращенную к стене. — Вот образец подлинного Искусства. Репродукция будет помещена в одном еженедельнике. Я назвал картину «Его последний выстрел». Срисовал с давнишней своей акварельки, которую написал близ Эль-Магриба. Заманил к себе одного красавца из стрелкового полка, посулил ему выпивку и малевал, подмалевывал, размалевывал, пока не изобразил истового и неистового пропойцу с багровой рожой, шлем на затылке, взгляд застыл от ужаса перед смертью, а на ноге, повыше лодыжки, кровавая рана. Не больно красив на вид, зато геройский солдат и настоящий мужчина.

— Опять, мой мальчик, ты скромничаешь!

Дик рассмеялся.

— Ну, это я только тебе признался. Ведь я сделал все, что можно сделать такими дрянными красками. А заведующий отделом иллюстраций в этом разнесчастном журнальчике сказал, что подписчикам такое не понравится. Мой солдат очень уж свиреп, и груб, и разъярен — будто человек, который сражается за свою жизнь, бывает кроток, как ягненок. Желательно что-нибудь более мирное, и яркими красками. Я мог бы много чего на это возразить, но больше смысла разговаривать с ослом, чем с заведующим отделом иллюстраций. Я забрал назад свой «Последний выстрел». И вот полюбуйся! Я одел солдата в красный мундир, новехонький, без единого пятнышка. И теперь это — Искусство. Я обул его в сапоги, которые жирно наваксил, — обрати внимание, как они блестят. Это — тоже Искусство. Я вычистил ему винтовку — ведь винтовки на войне всегда тщательно вычищены, — этого тоже требует Искусство. Я надраил его шлем — так непременно делают в разгаре боевых действий, и без этого нельзя обойтись в Искусстве. Я побрил его, вымыл ему руки, придал сытый, благополучный вид.

Вышла картинка из альбома военного портного. Цена, хвала всевышнему, возросла вдвое против первоначальной, весьма умеренной.

— И ты полагаешь возможным поставить под этим свое имя?

— А что тут такого? Я же нарисовал это. Нарисовал собственноручно, в интересах святого доморощенного Искусства и «Еженедельника Диккенсона».

Несколько времени Торпенхау молча курил. Затем из клубов дыма был вынесен приговор:

— Будь ты только тщеславным и спесивым ничтожеством, Дик, я не задумался бы ни на минуту — отправил бы тебя к черту в пекло на твоем же мольберте. Но ежели принять в соображение, что ты так много для меня значишь, а к тщеславию твоему примешивается глупая обидчивость, как у двенадцатилетней девчонки, то приходится мне этим заняться. Вот!

Холст лопнул, пропоротый ударом башмака Торпенхау, и терьер живо спрыгнул на пол, думая, что за картиной прячутся крысы.

— Если хочешь ругаться, валяй. Но ты этого вовсе не хочешь. Так слушай же дальше. Ты болван, потому что нет среди тех, кто женщиной рожден, человека, который мог бы позволить себе вольничать с публикой, будь она даже — хоть и это неправда — именно такой, как ты утверждаешь.

— Но они же ровно ничего не смыслят, они не знают лучшего. Что можно ждать от жалких людишек, которые родились и выросли при таком вот освещении? — Дик указал на желтый туман за окном. — Если им угодно, чтоб картина была лакированная, как мебель, пускай получают чего хотят, только бы платили. Ведь это же всего-навсего люди, мужчины и женщины. А ты говоришь о них, словно о бессмертных богах.

— Сказано красиво, не отказать, но к делу совсем не относится. Хочешь ты этого или нет, но на таких людей ты и вынужден работать. Они над тобой хозяева. Оставь самообман, Дикки, не такой уж ты сильный, чтоб шутки шутить с ними — да и с самим собой, а это еще важней. Мало того — Дружок, назад! Эта красная пачкотня никуда не денется! — если ты не будешь соблюдать величайшую осторожность, то станешь рабом чековой книжки, а это смерть. Тебя опьянит — уже почти опьянила — жажда легкой наживы. Ради денег и своего дьявольского

тщеславия ты станешь писать заведомо плохие картины. Намалюешь их целую кучу, сам того не заметив. Но, Дикки, я же люблю тебя и знаю, что ты тоже меня любишь, а потому я не допущу, чтоб ты искалечил себя назло миру, хоть за все золото в Англии. Это дело решенное. А теперь крой меня на чем свет стоит.

— Не знаю, право, — сказал Дик. — Я очень хотел рассердиться, но у меня ничего не вышло, ведь твои доводы разумны до отвращения. Воображаю, какой скандал предстоит в редакции у Диккенсона.

— Какого же Дэвилсона тебе вздумалось работать на еженедельный журнальчик? Ведь это значит исподволь разменять себя по мелочам.

— Это приносит вожделенную звонкую монету, — ответил Дик, засунув руки в карманы.

Торпенхау бросил на него взгляд, исполненный невыразимого презрения.

— Я-то думал, передо мной мужчина! — сказал он. — А ты просто-напросто молокосос.

— Как бы не так, — возразил Дик, с живостью повернувшись к нему. — Ты даже представить себе не можешь, что значит постоянный достаток для человека, который всю жизнь знал одну лишь злую нужду. Ничто не возместит мне иные удовольствия, выпавшие на мою долю. Взять, к примеру, хоть то плаванье на китайском корыте, когда мы жрали изо дня в день только хлеб с повидлом, от которого разило свиным дерьмом, да и свиньи были китайские, а все потому, что Хо-ванг ничем другим нас кормить не желал. И вот я работал, надрывался, подыхал с голоду, из недели в неделю, из месяца в месяц, и все ради этого самого успеха. Теперь я его добился и намерен им воспользоваться сполна, покуда не поздно. Так пусть же эти людишки раскошеливаются — все равно они ни бельмеса не смыслят.

— Чего же изволил желать ваше августейшее величество? Послушай, ведь ты же не можешь выкурить больше табаку, чем выкуриваешь теперь. До выпивки ты не охотник. И в еде неприхотлив. Да и франт из тебя никудышный: поглядишь в зеркало. На днях я посоветовал тебе купить скаковую лошадь, но ты отказался: а вдруг, возразил ты, она, чего доброго, еще охромеет, нет, лучше уж всякий раз брать извозчика. И при всем том ты не так глуп, чтоб воображать, будто театры и все прочее, что

можно купить, — все это и есть настоящая Жизнь. Зачем же тебе деньги?

— В них самих заключена суть, самая душа червонного золота, — ответил Дик. — Да, в этом их непреходящая суть. Провидение послало мне орешки вовремя, куда они мне по зубам. Правда, я еще не облюбывал тот орешек, который хотел бы разгрызть, но зубы у меня острые, об этом я неустанно забочусь. Быть может, в один прекрасный день мы с тобой поедem путешествовать по белу свету.

— И работать не станем, и никто не посмеет нам досаждать, и не с кем будет соперничать? Да ведь уже через неделю я тебе и слова сказать не осмелюсь. И вообще я не поеду. Не хочу извлекать выгоду из гибели человеческой души — а именно так и получилось бы, дай только я согласие. Нет, Дик, спорить не об чем. Ты просто глуп.

— Сомневаюсь. Когда я плывал на том китайском корыте, его капитан прославился тем, что спас без малого двадцать пять тысяч свилят, издыхавших от морской болезни, после того как наш ветхий пароходик, который промышлял случайными фрахтами, напоролся на джонку, груженную лесом. А теперь, ежели сравнить этих свилят с...

— Эх, да поди ты со своими сравнениями! Всякий раз, когда я пытаюсь благотворно воздействовать на твою душу, ты приплетаешь не к месту какой-нибудь случай из своего весьма темного прошлого. Свилята — совсем не то, что английская публика, прославиться в открытом море — совсем не то, что прославиться здесь, а собственное достоинство одинаково во всем мире. Ступай прогуляйся да сделай попытку пробудить в себе хоть малую толику достоинства. Да, кстати, если старина Нильгау заглянет ко мне сегодня вечером, могу я показать ему твою мазню?

— Само собой. Ты б еще спросил, смеешь ли ты войти ко мне без стука.

И Дик ушел поразмыслить наедине с собой в быстро густевшем лондонском тумане.

Через полчаса после его ухода Нильгау, пыхтя и отдуваясь, с трудом вскарабкался по крутой лестнице. Это был самый главный и самый здоровенный из военных корреспондентов, который начал заниматься своим ремеслом, когда еще только изобрели игольчатое ружье. Один лишь его собрат по перу, Беркут, Боевой Орел Мо-

гучий, мог сравниться с ним своим всесильем на этом поприще, а всякий разговор он непременно начинал с новости, что нынешней весной не миновать войны на Балканах.

Когда толстяк вошел, Торпенхау рассмеялся.

— Не станемте говорить о войне на Балканах. Эти мелкие страны вечно между собой грызутся. Слыхали, экая удача привалила Дику?

— Да, он ведь и родился-то для скандальной славы, не так ли? Надеюсь, ты держишь его в узде? Такого человека надобно время от времени осаживать.

— Само собой. Он уже начинает своевольничать и беззастенчиво пользуется своей известностью.

— Так скоро! Ну и ловкач, разрази меня гром! Не знаю, какова его известность, но ежели он станет продолжать в том же духе, ему крышка.

— Так я ему и сказал. Только вряд ли он поверил.

— Этому никто не верит на первых порах. Кстати, что за рвань валяется вон там, на полу?

— Образчик его бесстыдства, совсем новехонький.

Торпенхау стянул края продранного холста и поставил размалеванную картину перед Нильгау, который бросил на нее беглый взгляд и присвистнул.

— Вот это хромо!— сказал он. — Псевдохромолиолеомаргаринография! Угораздило же его сострять эту кую пачкотню. И все же как безошибочно он уловил именно то, что привлекает публику, которая думает через задницу, а смотрит через затылок! Хладнокровная беспардонность этого произведения почти что его оправдывает. Но идти этим путем дальше нельзя. Уж будто его и так не захвалили, не превознесли до небес? Сам знаешь, у публики чувства меры нет и в помине. Ведь покуда он в моде, про него будут говорить, что он второй Детайль и третий Месонье. А это вряд ли удовлетворит аппетиты такого резвого жеребенка.

— Не думаю, чтоб Дика это особенно волновало. С таким же успехом можно обозвать волчонка львом и воображать, что он удовлетворяется этой лестью взамен мозговой кости. Дик продал душу банку. Он работает, чтоб разбогатеть.

— Теперь он бросил рисовать на военные сюжеты, но ему, видать, невдомек, что долг службы остается прежним, переменились только командиры.

— Да откуда ж ему это знать? Он воображает, будто сам над собой командир.

— Вот как? Я мог бы его разубедить, и это пошло бы ему на пользу, ежели только печатное слово что-нибудь значит. Его надобно публично выпороть.

— Тогда сделайте это по всем правилам. Я и сам разнес бы его вдребезги, да вот беда — уж очень я его люблю.

— Ну, а меня совесть несколько не мучит. Когда-то, уже давненько, в Каире он набрался дерзости и хотел отбить у меня одну бабу. Я все забыл, но теперь это ему попомню.

— Ну и как, преуспел ли он?

— Это ты узнаешь потом, когда я с ним расправлюсь. Но, в конце концов, что толку? Предоставь-ка его лучше самому себе, и если он хоть чего-нибудь стоит, то бесприменно образумится и приползет к нам, причем либо будет вилять хвостом, либо подождет его, как провинившийся щенок. Прожить хоть одну неделю самостоятельно много полезительней, нежели связаться хоть с одним еженедельником. И все же я его разнесу. Разнесу без пощады в «Катаклизме».

— Ну, бог в помощь. Боюсь только, что на него может подействовать лишь удар дубинкой по башке, иначе он и глазом не моргнет. Кажется, он прошел огонь и воду еще до того, как попал в поле нашего зрения. Он подозревает всех и вся, причем у него нет ничего святого.

— Это зависит от норова, — сказал Нильгау. — Со всем как у жеребца. Одно огреешь плетью и он повинуется, знает свое дело, другой брыкается пуще прежнего, а третий горделиво уходит, прядая ушами.

— В точности как Дик, — сказал Торпенхау. — Что ж, дождемся его возвращения. Вы можете взяться за работу прямо сейчас. Я покажу вам здесь же, в мастерской, его самые новые и самые худшие художества.

А Дик меж тем, стремясь успокоить растревоженную душу, невольно побрел к быстротечной реке. На набережной он перегнулся через парапет, глядя, как Темза струится сквозь арку Уэстминстерского моста. Он задумался было над советом Торпенхау, но потом, по обыкновению, занялся созерцанием лиц в толпе, которая валила мимо. Некоторые уже несли на себе печать смерти,

и Дик удивлялся, как это они еще способны смеяться. Другие же лица, в большинстве своем суровые и неотесанные, оживляло сияние любви, прочие были просто измождены и морщинисты от непосильного труда; но Дик знал, что каждое из этих лиц достойно внимания художника. Во всяком случае, бедняки должны страдать хотя бы для того, чтоб он узнал цену страдания; богачи же должны платить за это. Таким образом он прославится еще больше, а его текущий счет в банке возрастет. Что ж, тем лучше для него. Он довольно страдал. Теперь пришла пора ему взимать дань с чужих несчастий.

Туман на мгновение рассеялся, проглянуло солнце, кроваво-красный круг отразился в воде. Дик созерцал это отражение и вдруг услышал, что плеск воды у причалов притих, будто на море перед отливом. Какая-то девица без стеснения прикрикнула на своего бесцеремонного ухажера: «Пошел вон, негодник», — и тот же порыв ветра, который разорвал туман, швырнул Дикю в лицо черный дым из трубы парохода, причаленного под парашетом. На миг он словно ослеп, потом повернулся и вдруг очутился лицом к лицу... с Мейзи.

Ошибки быть не могло. Годы превратили девочку в женщину, но время ничуть не изменило темно-серые глаза, тонкие, алые, твердо очерченные губки и подбородок; к тому же, как в давно минувшую пору, на ней было тесно облегавшее серое платье.

Человеческая душа не всегда подвластна разуму, оставаясь свободной в своих порывах, и Дик бросился вперед, крикнув, как школьники окликают друг друга: «Привет!», а Мейзи отозвалась: «Ой, Дик, это ты?» Тогда, помимо воли и еще прежде, чем из головы улетучилась мысль о банковском счете и Дик успел овладеть собой, он задрожал всем телом и в горле у него пересохло. Туман вновь сгустился, и сквозь белесую пелену лицо Мейзи казалось бледно-жемчужным. Больше оба они не сказали ни слова и пошли рядом по набережной, дружно шагая в ногу, как некогда во время предвечерних прогулок к илистым отмелям. Потом Дик вымолвил хрипловатым голосом:

— А что случилось с Мемекой?

— Он умер, Дик. Но не от тех патронов: от обжорства. Ведь он всегда был жадюгой. Смешно, правда?

- Да... Нет... Это ты про Мемеку?
- Да-а... Не-ет... Просто так. Ты где живешь, Дик?
- Вон там. — Он указал в восточную сторону, скрывая туманом.
- А я в северной части города — самой грязной, по ту сторону Парка. И очень много работаю.
- Чем же ты занимаешься?
- Живописью. Другого дела у меня нет.
- Но что случилось? Ведь у тебя был годовой доход в триста фунтов.
- Он и сейчас есть. Но я занимаюсь живописью, вот и все.
- Значит, ты одна?
- Нет, со мной живет одна знакомая девица. Дик, ты идешь слишком быстро и не в ногу.
- Так ты и *это* заметила?
- Ну конечно. Ты всегда ходил не в ногу.
- Да, правда. Прости. Значит, ты все-таки продолжаешь рисовать?
- Конечно. Я же еще тогда сказала тебе, что не могу без этого. Училась в Высшей Школе Изобразительного Искусства при Университете, потом у Мертон в Сент-Джонс Вуде — там большая студия, потом подрабатывала... ну, делала копии в Национальной галерее — а теперь вот учусь под руководством Ками.
- Разве Ками не в Париже?
- Нет, у него учебная студия в Витри-на-Марне. Летом я учусь у него, а зимой живу в Лондоне. У меня здесь домик.
- А много ли картин тебе удастся продать?
- Кое-что время от времени, хоть и не часто. Но вот мой омнибус, если я его пропущу, следующего придется ждать целых полчаса. Пока, Дик.
- Ну, счастливо, Мейзи. Ты не дашь свой адрес? Мне хотелось бы увидеться с тобой снова, и к тому же, я, пожалуй, сумею тебе помочь. Я... сам балуюсь живописью.
- Если завтра день выдастся хмурый и работать будет нельзя, я, наверно, приду в Парк. Прохаживаюсь от Мраморной арки вот сюда, а потом обратно: просто так, для прогулки. Конечно же, мы увидимся.
- Она вошла в омнибус, и ее поглотил туман.
- Уф... провалиться мне в преисподнюю! — воскликнул Дик и побрел восвояси.

Торпенхау и Нильгау, придя к нему, увидели, что он сидит на ступеньке под дверью своей мастерской, снова и снова твердя эти слова с безысходной мрачностью.

— Ты и впрямь туда провалишься, когда я учиню над тобой расправу, — сказал Нильгау, возвысив свои мощные плечи позади Торпенхау и размахивая исписанным листком, на котором еще не просохли чернила. — Послушай, Дик, уже ни для кого не секрет, что успех вскружил тебе голову.

— Привет, Нильгау. Вернулись в очередной раз? Ну-с, как поживает семейство Балканов с малыми детишками? Одна щека у вас, как всегда, не в том ракурсе.

— Плевать. Я уполномочен публично тебя разнести. Торпенхау сам за это дело не берется из ложного сочувствия к тебе. Я уже успел внимательно осмотреть всю пачкотню в твоей мастерской. Это просто срам.

— Ого! Вот, значит, как? Но если вы полагаете, будто способны меня разнести, вас ждет жестокое разочарование. Вы умеете только кропать дрянные статейки, а чтобы развернуться как следует на бумаге, вам надо не меньше места, чем грузовому пароходу Пиренейско-Восточной линии. Ладно уж, читайте, желтяк, но только поживей. Меня что-то в сон клонит.

— Угм!.. Угм!.. Угм!.. Перво-наперво о твоих картинах. Приговор гласит: «Работа, сделанная без убежденности, талант, размениваемый на пошлятину, творческие силы, беспечно растраченные с единственной заведомой целью легко стяжать восторженное поклонение ослепленной толпы...»

— Это про «Последний выстрел» во втором варианте. Ну-с, дальше.

— «...толпы, неизбежно ожидает только один удел — полнейшее забвение, а прежде того оскорбительнаянисходительность и увековеченное презрение. И мистер Хелдар должен еще доказать, что не такой удел ему уготован».

— *Уа-уа-уа-уа!* — лицемерно заверещал Дик. — Что за бездарная концовка, что за дешевые журналистские штампы, хоть это и чистая правда. А все же... — Тут он вскочил и вырвал листок из рук Нильгау. — Вы матерый, изрубленный, растленный, исполосованный шрамами гладиатор! Начнись где-нибудь война, и вас незамедлительно посылают туда, дабы вы утолили кровожадность сле-

пого, бессердечного, скотоподобного английского читателя. Сражаться на арене — дело давно и безнадежно устаревшее, да и арен таких уж нет и в помине, зато военные корреспонденты теперь насущно необходимы. Эх вы, разжиревший гладиатор, пролаза и проныра, вы не умней любого ревностного епископа, который мнит, будто он при деле, вы хуже балованной актрисульки, хуже всепожирающего циклопа и даже хуже... чем сам ненаглядный я! И вы еще дерзаете читать мне назидательные проповеди об моей работе! Нильгау, мне просто лень возиться, а не то я нарисовал бы на вас четыре карикатуры для четырех газет сразу!

Нильгау даже рот разинул. Чего-чего, а этого он никак не ожидал.

— Да уж ладно, я просто-напросто изорву эту брехню — вот так! — Мелкие клочки исписанного листка, порхая, канули в темный лестничный пролет. — Пшел вон отсюда, Нильгау, — сказал Дик. — Пшел восвояси, покуда цел, да ложись спать одиноко в холодную свою постельку, а от меня отвяжись, сделай милость.

— Но ведь еще и семи вечера нету, — сказал Торпенхау с изумлением.

— А я вот утверждаю, что сейчас два ночи, и быть по сему, — сказал Дик и подошел к двери. — Мне надо всерьез поразмыслить, и ужинать я не намереваюсь.

Хлопнула дверь, и ключ повернулся в замке.

— Ну, что прикажешь делать с эдаким упрямым? — осведомился Нильгау.

— Да оставь ты его. Он просто рехнулся.

А в одиннадцать часов ночи дверь мастерской Дика чуть не была проломлена грубым ударом ноги.

— Нильгау все у тебя сидит? — прозвучал вопрос из-за запертой двери. — Ежели он еще здесь, передай ему от моего имени, что он с легкостью мог бы свести всю свою гнусную статейку к краткому и весьма поучительному изречению, которое гласит: «Несть ни раба, ни вольноотпущенника». А еще передай ему, Торп, что он дурак набитый и я заодно с ним.

— Ладно. Но ты все-таки дверь-то отпри да выдь к ужину. Куришь натошак, а это вредно для здоровья.

Ответом было молчание.

## ГЛАВА V

«Со мною тысяча верных людей,  
И воле моей покорны они, —  
Сказал он. — Над Тайном моих крепостей  
Девять стоят да над Тиллом три».  
«Но что мне до этих людей, герой,  
Что мне до высоких твоих крепостей? —  
Сказала она. — Ты пойдешь за мной  
И будешь воле покорен моей».

*«Сэр Хогги и волшебницы»*

Наутро, когда Торпенхау пришел в мастерскую Дика, он застал там хозяина, погруженного в отдохновение и окутанного клубами табачного дыма.

— Ну, сумасброд, как самочувствие?

— Сам не знаю. Пытаюсь понять.

— Было бы куда лучше, если б ты занялся работой.

— Пожалуй. Но мне не к спеху. Я тут сделал открытие. Торп, в моем Мироздании слишком много места занимает собственное Я.

— Да ты шутишь! И кому же из своих наставников ты обязан этим откровением, мне или Нильгау?

— Оно осенило меня внезапно, без посторонней помощи. Много, слишком много места занимает это самое Я. Ну, а теперь за работу.

Он бегло просмотрел кое-какие едва начатые эскизы, побарабанил пальцами по чистому холсту, вымыл три кисти, науськал Дружка на манекен, порылся в куче старого оружия и всякого хлама, а потом вдруг ушел из дому, заявив, что на сегодня сделал достаточно.

— Все это сущее безобразие, — сказал Торпенхау, — и к тому же Дик впервые не воспользовался солнечным утром. Вероятно, понял, что у него есть душа, или художественный темперамент, или еще какое-то столь же бесценное сокровище. Вот что получается, когда оставляешь его на месяц без присмотра. Вероятно, он где-то шлялся вечерами. Надо выяснить.

Он вызвал звонком старого плешивого домоправителя, которого ничем нельзя было удивить или пронять.

— Скажите, Битон, случилось ли, что мистер Хелдар не обедал дома, когда я был в отъезде?

— За все время, сэр, он даже не вынимал фрака. Почитай, всякий день обедал дома, но иной раз, как театры позакрываются, приводил сюда самых что ни на есть от-

чаянных молодчиков. Уж таких отчаянных, просто слов нету. Оно конечно, вы, верхние жильцы, завсегда себе много чего позволяете, только, скажу по совести, сэр, швырять с площадки трость так, что она пролетает пять этажей, и маршировать за нею по четыре в ряд, а опосля возвращаться и распевать во всю глотку «Таши нам виски, славный Вилли», когда уже полтретьего ночи — да еще не один или два, а десятки раз, — это значит не иметь жалости к другим жильцам. И я вот что завсегда говорю: «Не делай другим того, чего сам себе не желаешь». Такое уж у меня правило.

— Само собой! Само собой! Боюсь, что на верхнем этаже живут отнюдь не тихони.

— Я ведь вовсе не жалуясь, сэр. Я дружески потолковал с мистером Хелдаром, а он в ответ только засмеялся и нарисовал мою жену, да так хорошо, не хуже печатной цветной картинкой. Конечно, там нету того глянца, какой бывает на фотографии, но я вот что завсегда говорю: «Дареному коню в зубы не смотрят». А фрак мистер Хелдар не надевает уж которую неделю.

— Стало быть, все в порядке, — успокоил себя Торпенхау. — Покутить иногда полезно, и у Дика есть голова на плечах, но когда дело доходит до смазливых кокеточек, я не могу за него поручиться. . . Дружок, мой песик, никогда не пробуй уподобиться человеку. Люди своенравны, низменны, и в их поступках зачастую нет ни капли здравого смысла.

А Дик меж тем пошел на север через Парк, но мысленно он как бы гулял с Мейзи по илистым отмелям. Вдруг он громко рассмеялся, вспомнив, как он украсил рога Мемеки бумажным колпаком, и Мейзи, бледная от ярости, вlepила ему оплеуху. Теперь, когда он оглядывался на прошлое, какими долгими казались эти четыре года разлуки и как неразрывно связан был с Мейзи каждый час! Штормящее море — и Мейзи в сером платье на берегу откидывает назад мокрые волосы, заставшие ей глаза, и смеется над рыболовными парусниками, которые улепетывают к берегу; жаркое солнце над отмелями — и Мейзи, брезгливо, вздернув носик, нюхает воздух; Мейзи бежит вослед ветру, что взвихривает и разметывает береговой песок, который свистит в ушах, как шрапнель; Мейзи, бесстрастная и самоуверенная, плетет всякие небылицы перед миссис Дженнетт, а Дик подтверждает ее

слова бессовестными лжесвидетельствами; Мейзи осторожно перебирается с камня на камень, сжимая в руке револьвер и крепко стиснув зубы; и, наконец, Мейзи сидит на траве меж жерлом пушки и маком, который кивает желтой головкой. Эти картины чередой всплывали в памяти Дика, и последняя дольше всех стояла перед его внутренним взором. Дик упивался несказанным блаженством, дотоле неведомым его уму и сердцу, потому что никогда в жизни он ничего подобного не испытывал. Ему и на ум не могло взбрести, что в его воле было бы распорядиться своим временем куда разумней, нежели слоняться по Парку среди бела дня.

— День нынче выдался погожий, светлый, — сказал он себе, невозмутимо разглядывая свою тень. — Какой-нибудь дурачок сейчас радуется по этому поводу. Но вот и Мейзи.

Она шла навстречу от Мраморной арки, и ему бросилось в глаза, что неповторимая ее походка ничуть не изменилась с далекого детства.

— Почему же ты не в мастерской, когда сейчас самое подходящее время для работы? — осведомился Дик таким тоном, словно имел право задавать подобные вопросы.

— Лентяйничая. Просто-напросто лентяйничая. Мне не удался подбородок, и я его соскоблила. А потом плюнула на все да ушла погулять.

— Знаю я, как соскабливают. Но что ж такое ты рисовала?

— Прелестную головку, только ничего у меня не получилось — вот это ужас!

— Не люблю работать по выскобленному. Когда краска подсыхает, фактура получается грубой.

— Ну уж нет, если только соскоблить умеючи, тогда это совсем незаметно.

Мейзи движением руки показала, как она это делает. На ее белой манжете было пятно краски. Дик рассмеялся.

— Ты так и осталась неряхой.

— Уж кто бы говорил. Погляди лучше на собственную манжету.

— Да, разрази меня гром! Моя еще грязней. Похоже, что мы оба ничуть не изменились. Впрочем, давай-ка взглянемся попристальной.

Он придиричиво оглядел Мейзи. Голубоватая мгла осеннего дня растекалась меж деревьев Парка, и на ее фоне вырисовывались серое платье, черная бархатная шляпка на черноволосой головке, твердо очерченный профиль.

— Нет, ты не изменилась. И до чего ж это славно! А помнишь, как я защебил твои волосы замочком сумки?

Мейзи кивнула, сверкнув глазками, и повернулась к Дик у лицом.

— Обожди-ка, — сказал Дик, — что-то ты губки надула. Кто тебя обидел, Мейзи?

— Никто, я сама виновата. Боюсь, что мне никогда не видать успеха, я работаю не щадя сил, а все равно Ками говорит...

— «Continuez, mesdemoiselles. Continuez toujours, mes enfants»<sup>1</sup>. Ками способен только тоску нагонять. Ну, ладно, Мейзи, ты уж на меня не сердись.

— Да, именно так он и говорит. А прошлым летом он сказал мне, что я делаю успехи и в этом году он разрешит мне выставить мои картины.

— Но не здесь же?

— Конечно, нет. В Салоне.

— Высоко же ты хочешь взлететь.

— Я уже давно пытаюсь расправить крылья. А ты, Дик, где выставляешь свои работы?

— Я не выставляю вовсе. Я их продаю.

— В каком же жанре ты работаешь?

— Неужто ты не слыхала? — Дик взглянул на нее с изумлением. Да возможно ли такое? Он не знал, как бы поэффектней это преподнести. Они стояли неподалеку от Мраморной арки. — Давай пройдемся по Оксфорд-стрит, и я тебе кое-что покажу.

Кучка людей собралась перед витриной давно знакомого Дик у магазинчика.

— Здесь продаются репродукции некоторых моих работ, — сказал он с плохо скрываемым торжеством. Никогда еще успех не был ему так сладостен. — Вот как я рисую. Ну что, нравится?

Мейзи взглянула на изображение полевой батареи, которая стремительно мчится в бой под ураганым

---

<sup>1</sup> Продолжайте, барышни. Продолжайте неустанно, дети мои (фр.).

огнем. Позади них, в толпе, стояли двое артиллеристов.

— Они обрезали построения у пристяжной, — сказал один другому. — Она вся в мыле, зато остальные не подкачают. И вон тот ездовой правит получше тебя, Том. Погляди-ка, до чего умно он сдерживает узду.

— Третий номер загремит с передка на первом же ухабе, — последовал ответ.

— Не загремит. Вишь, как он крепко уперся ногой? Уж будь за него спокоен.

Дик глядел Мейзи в лицо и упивался наслаждением — дивным, невыразимым, грубым торжеством. Но она больше интересовалась толпой, чем картиной. Лишь это было ей понятно.

— До чего же мне хочется достичь такого успеха! Ох, как хочется! — промолвила она наконец со вздохом.

— Ты как я, в точности как я! — сказал Дик невозмутимо. — Погляди на лица вокруг. Эти люди в полнейшем восторге. Они сами не знают, отчего пялят глаза и разевают рты, но я-то знаю. Я знаю, что работа моя удачна.

— Да. Я вижу. Ох, как это прекрасно — прийти прямо к цели!

— Ну уж прямо, как бы не так! Мне пришлось долго мыкаться и искать. Ну, что скажешь?

— По-моему, это настоящий успех. Расскажи, как тебе удалось его достичь.

Они вернулись в Парк, и Дик поведал о своих похождениях со всей горячностью молодого человека, который разговаривает с женщиной. Рассказал он обо всем с самого начала, и «я», «я», «я» мелькали среди его воспоминаний, как телеграфные столбы перед глазами мчащегося вперед путника. Мейзи молча слушала и кивала. История жизненной борьбы и лишений ничуть ее не тронула. А Дик каждый эпизод завершал словами: «И после этого я еще лучше понял, как использовать всю палитру». Или светотень, или нечто другое, что он поставил себе задачей постичь или сделать. Единным духом он, увлекая ее за собой, облетел полмира и никогда еще не был так красноречив. В упоении он готов был подхватить эту девушку, которая кивала и говорила: «Понимаю. Дальше», — на руки и унести, потому что это ведь была Мейзи, и она понимала его, и принадлежала ему по праву, и оказалась желанней всех женщин на свете.

Вдруг он резко оборвал себя.

— Так я добился всего, чего хотел, — сказал он. — Мне пришлось вести за это жестокую борьбу. А теперь рассказывай ты.

Рассказ Мейзи был почти такой же серый, как ее платье. Долгие годы труда, упорство, питаемое безудержной гордыней, которую ничто не могло сломить, хотя скупщики картин посмеивались, а туманы мешали работать. Ками был неприветлив, даже язвителен, а девушки в чужих мастерских принимали Мейзи с оскорбительной вежливостью. Было несколько просветов, когда ее картины соглашались показать на провинциальных выставках, но то и дело она прерывала свой рассказ душераздирающими сетованиями:

— Вот видишь, Дик, я так тяжело работала и все равно не достигла успеха!

Тогда Дика охватывала щемящая жалость. Точно так же Мейзи сетовала, когда не могла попасть из револьвера в волнорез, а через полчаса она его поцеловала. И было это словно вчера.

— Ничего, — сказал он. — Послушай меня, поверь тому, что я тебе скажу. — Слова сами собой срывались с уст. — Все это вместе взятое не стоит цветка мака, который кивал головкой у форта Килинг.

Щеки Мейзи порозовели.

— Да, тебе хорошо говорить, ты достиг успеха, а я — нет.

— Дай же мне сказать. Ты все поймешь, я уверен. Мейзи, милая, мои речи могут показаться глупыми, но все эти десять лет... их словно не было вовсе, ведь я снова вернулся к тебе. Право же, все осталось по-прежнему. Неужто ты не понимаешь? Ты одинока, и я тоже. Зачем же огорчаться? Пойдем со мною, милая.

Мейзи ковьярля зонтиком песок. Они сидели в Парке на скамье.

— Я понимаю, — промолвила она, помолчав. — Но у меня работа, и я должна с ней справиться.

— Мы справимся вместе, милая. Я же тебе не помеха.

— Нет, я так не могу. Это моя работа — моя, моя, моя! Всю жизнь я прожила одна и принадлежу только себе. Я помню прошлое не хуже тебя, но это неважно. Ведь в то время мы были детьми и не знали, что нас ждет впереди. Дик, ты только о себе думаешь. А мне в буду-

шем году, кажется, может улыбнуться удача. Не отнимай же у меня последней надежды.

— Прости, милая. Я виноват, я наговорил глупостей. У меня и в мыслях не было, чтоб ты пожертвовала всей своей жизнью только потому, что я снова тебя встретил. Я уйду к себе в мастерскую и буду терпеливо ждать.

— Но, Дик, я не хочу... не могу терять тебя теперь... едва мы встретились.

— Располагай мною. И, пожалуйста, прости. — Дик с жадностью вглядывался в ее сконфуженное личико. И глаза его сияли торжеством, поскольку он не мог допустить даже мысли, что Мейзи рано или поздно не полюбит его, коль скоро он ее любит.

— Это было нехорошо с моей стороны, — сказала Мейзи, помолчав еще дольше, — нехорошо думать только о себе. Но ведь я была так одинока! Нет, ты меня понял не в том смысле. И теперь, когда мы снова встретились... это, конечно, глупо, но я не хочу тебя терять.

— Еще бы. Ведь у тебя есть я, а у меня ты.

— Нет, это не так. Но ты всегда меня понимал и можешь очень помочь мне в работе. Ведь ты все знаешь и умеешь. Ты должен мне помочь.

— Думаю, что ты права, или же я сам себя не знаю. Стало быть, ты не хочешь расставаться со мной навсегда и готова принять мою помощь?

— Да. Но запомни, Дик, ничего такого между нами не будет. Потому я и сказала, что нехорошо с моей стороны думать только о себе. Но пускай все остается как есть. Мне очень нужна твоя помощь.

— Можешь на меня положиться. Дай только сообразить. Первым делом мне надо поглядеть твои картины и особое внимание обратить на этюды, а уж тогда оценить твои возможности. Почитай, что пишут в газетах обо мне! Я стану давать тебе дельные советы, и ты будешь им следовать. Ведь правда, Мейзи?

Глаза Дика снова сверкали дьявольским торжеством.

— Ты так великодушен — просто слов нет, до чего ты великодушен. Это потому, что в душе ты лелеешь несбыточную надежду, я знаю, и все-таки я не хочу тебя терять. Смотри же, потом не пеняй на меня.

— Я не закрываю глаза на правду. И вообще королева всегда безупречна. Меня поражает не то, что ты ду-

маешь только о себе. Поразительно то, как бесцеремонно ты хочешь меня использовать.

— Вот еще! Для меня ты всего-навсего Дик... да еще — художник, чьи картины пользуются спросом.

— Вот и прекрасно: в этом я весь. Но, Мейзи, ты ведь веришь, что я тебя люблю? Я не хочу, чтоб ты обманывала себя и считала, будто мы с тобой как брат и сестра.

Мейзи взглянула на него и потупила взор.

— Как это ни нелепо, но... я верю. Лучше бы нам расстаться сразу, пока ты на меня не рассердился. Но... но та девушка, что живет со мной, у нее рыжие волосы, она импрессионистка, и у нас с ней разные взгляды.

— Сдается мне, у нас с тобой тоже. Но это не беда. Ровно через три месяца, считая с нынешнего дня, мы вместе над этим посмеемся.

Мейзи сокрушенно качнула головой.

— Я знала, что ты не поймешь, и тебе будет еще больней, когда ты все узнаешь. Взгляни мне в лицо, Дик, и скажи, что же ты видишь.

Они встали и мгновение смотрели друг на друга. Туман сгущался, приглушая городской шум, который доносился из-за ограды Парка. Дик призвал на помощь все свои знания о людях, купленные столь дорогой ценою, и постарался разгадать, что же таят в себе эти глаза, рот и подбородок под черной бархатной шляпкой.

— Ты прежняя Мейзи, и я тоже прежний, — сказал он. — Оба мы с норовом, но кто-то из нас вынужден будет покориться. А теперь поговорим о ближайшем будущем. Надо мне зайти да посмотреть твои картины — лучше всего, пожалуй, когда та рыжая будет где-нибудь неподалеку.

— Воскресенье — самый удобный день для этого. Приходи по воскресеньям. Мне многое надо тебе сказать, о многом посоветоваться. А сейчас мне пора идти и браться за работу.

— Постарайся к будущему воскресенью разузнать про меня все подробности, — сказал Дик. — Не верь мне на слово, очень прошу. А теперь до свиданья, милая, и да хранит тебя небо.

Мейзи шнырнула прочь, как серая мышка. Дик смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, но он не мог

слышать, как она презрительно бранила сама себя: «Я дрянная, несносная девчонка, я только о себе думаю. Но ведь это же Дик, а Дик все поймет».

Никто еще не сумел объяснить, что получится, когда неодолимая сила столкнется с неколебимым препятствием, хотя многие над этим серьезно размышляли, точно так же, как теперь размышлял Дик. Он пробовал уверить себя, что само его присутствие и беседы за какие-нибудь считанные недели благотворно повлияют на душу Мейзи. Потом он вспомнил выражение ее лица.

— Если я хоть что-то смыслю в человеческих лицах, — сказал он вслух, — ее лицо выражало что угодно, кроме любви... Придется мне самому пробудить в ней чувство, а девушку с такими губами и подбородком покорить нелегко. Но что правда, то правда. Она знает, чего хочет, и добивается своего. А все же какая дерзость! Я! Из всего рода человеческого именно я понадобился ей для этого! Но как бы там ни было, ведь это Мейзи. Тут уж деваться некуда, и до чего ж я рад видеть ее вновь. Вероятно, мысль об ней годами подспудно таилась у меня в голове. Мейзи использует меня, как я некогда использовал старого Бина в Порт-Саиде. И будет совершенно права. Досадно, да что поделаешь. Я стану ходить к ней по воскресеньям — как повеса, который вздумал приволокнуться за горничной. В конце концов она не устоит. И все же... такие губы нелегко покорить. Я все время буду жаждать их поцеловать, а вместо этого придется рассматривать ее художества — ведь я даже понятия не имею, в какой манере она рисует и какие берет сюжеты — да рассуждать об Искусстве — о Дамском Искусстве! В свое время оно, правда, меня выручило, теперь же встало поперек пути. Пойду-ка домой да займусь этим самым Искусством.

На полпути к мастерской Дика вдруг потрясла чудовищная мысль. Мысль эту навеяла какая-то одинокая женщина, мелькнувшая в тумане.

«Ведь Мейзи одна-одинешенька во всем Лондоне, живет с какой-то рыжей импрессионисткой, у которой небось желудок, как у страуса. Этим рыжим все нипочем. А Мейзи такая хрупкая и слабенькая. Подобно всем одиноким женщинам, они едят сухомятку — когда и что придется, с непременною чашкой чая. Я не забыл еще, какую свиначью жизнь ведут студенты в Париже. И ведь она в лю-

бой миг может заболеть, а я буду бессилен ей помочь. Ох! Женатому и то в десять раз легче».

Торпенхау пришел в мастерскую Дика под вечер и бросил на друга взгляд, исполненный той суровой любви, какая рождается между мужчинами, которых сплотили нелегкая совместная работа, общие привычки и заветные, но труднодостижимые цели. Это благая любовь, когда возможны споры с пеной у рта, взаимные упреки и самая беспощадная откровенность, но любовь все же не умирает, а, наоборот, только крепнет, не подвластная ни долгой разлуке, ни силам зла.

Дик подал Торпенхау заранее набитую табаком трубку совета и молча ждал. Он думал о Мейзи, о том, что могло бы ей понадобиться. До сих пор он привык думать только о Торпенхау, который и сам вполне способен был о себе подумать, и теперь ему так непривычно было думать о ком-то еще. Вот когда, наконец, по-настоящему пригодится его банковский счет. Он мог бы, как грубый дикарь, навесить на Мейзи самые богатые украшения — массивное золотое ожерелье на тонкую шейку, браслеты на округлые ручки, дорогие кольца на пальчики — холодные, бесчувственные, не украшенные ни единым перстнем, — те самые, которые он совсем недавно держал в руках. Но глупо даже допустить такую мысль, ведь Мейзи не примет ни одного колечка, а лишь посмеется над золотыми побрякушками. Нет уж. Куда приятней было бы сидеть с ней по вечерам, обняв ее шею и чувствуя, что она склонила головку ему на плечо, как и подобает любящим супругам. А сейчас ботинки Торпенхау так ужасно скрипят и зычный его голос забивает уши. Дик насупил брови, выругался шепотом, потому что до сих пор он полагал, будто весь успех выпал на его долю по праву, в награду за былые тяготы; а теперь вот у него на пути стоит женщина, которая признает его успех и совершенно пренебрегает им самим.

— Послушай, дружище, — сказал Торпенхау, который уже несколько раз делал тщетные попытки завязать разговор, — уж не обиделся ли ты часом на меня за мою недавнюю болтовню?

— На тебя? Да ничуть. С чего ты это взял?

— Тогда — печень расстроилась?

— Человек с железным здоровьем даже не знает, есть ли у него печень. Просто-напросто я малость встре-

возможен общим положением дел. Наверно, душа не на месте.

— Человек с железным здоровьем даже не знает, есть ли у него душа. Да и к чему тебе такая роскошь?

— Все получилось само собой. Кто это сказал, что все мы — живые островки, которые кричат друг другу ложь среди океана взаимонепонимания?

— Кто бы это ни сказал, он прав — только ошибся на счет взаимонепонимания. По-моему, между нами взаимопонимания быть не может.

Синеватый табачный дым клубился под потолком, нависал над головами. И Торпенхау спросил вкрадчиво:

— Дик, это женщина?

— Провалиться мне на месте, ежели в ней есть хотя бы малейшее сходство с женщиной, а если ты еще раз заикнешься об этом, я сниму себе новую мастерскую, с красными кирпичными стенами и белоснежной лепниной, где среди дешевых пальм в деревянных кадках будут стоять в пышном цвету бегонии, петунии и гладиолусы, найму оркестр из венгров в голубых мундирах, закажу для всей своей пачкотни гипсовые рамы, отделанные бархатом и расцвеченные анилиновой краской, созову всех особ женского пола, которые так лихо умеют верещать, ахать и причитать над тем, что в ихних заумных каталогах именуется Искусством, и тебе, Торп, придется оказывать им достойный прием, напялив табачно-желтую велюровую куртку, солнечно-золотистые штаны и оранжевый галстук. Будешь доволен.

— Дик, ты просто слабак. Некогда человек, который не тебе чета, ругался на чем свет стоит в связи с одним достопамятным случаем. Ты перестарался, в точности как и он. Само собой, это не мое дело, но весьма утешительно предвидеть, что в подлунном мире тебе уготована достойная кара. Мне неизвестно, воспоследует ли она с небес или же с земли, но в любом случае она неминуема. Тебе необходимо задать жару.

Дик содрогнулся.

— Ну ладно, пусть так, — сказал он. — Когда от моего островка останутся одни осколки, я тебя кликну.

— А я зайду с фланга да сотру эти осколки в порошок. Но мы мелем сущий вздор. Давай-ка лучше в театр сходим.

## ГЛАВА VI

«Хоть с тобой и тысяча верных людей,  
Не тебе коня на скаку осадить,  
Королева Волшебниц не будет твоей,  
А сердце твое суждено ей разбить».

Из стремени ногу он вынул сам  
И повод отбросил прочь,  
И связан был по рукам и ногам  
Королевой Волшебниц в ту ночь.

*«Сэр Хагги и волшебницы»*

С тех пор минула не одна неделя, и как-то раз, в туманный воскресный день, Дик возвращался через Парк к себе в мастерскую.

— Надобно полагать, — подумал он вслух, — что, как и предсказывал Торп, мне задали жару. И это ранит больней, чем я ожидал, но ведь королева всегда безупречна и, что ни говори, рисовать она все-таки умеет.

Он только что виделся с Мейзи, которую посещал каждое воскресенье — и всякий раз за ним следили недреманные зеленые глаза импрессионистки, а эту рыжую стерву он возненавидел с первого же взгляда, — и теперь сторул со стыда. По воскресеньям он всегда надевал свой лучший костюм, шел в грязную трущобу к северу от Парка, где созерцал картины Мейзи, а потом давал ей указания и советы, сознавая, что даром они не пропадут и будут использованы соответственным образом. Так повелось меж ними, и после каждого из таких воскресных посещений любовь пылала все жарче, и сердце не раз готово было выпрыгнуть из груди от нестерпимого желания долго и страстно ее целовать. И в каждое воскресное посещение здравый смысл, который все-таки оказывался сильнее безрассудного сердца, предостерегал его, что Мейзи по-прежнему неприступна и сейчас лучше всего как можно спокойней раскрывать ей тайны художнического мастерства, кроме которого для нее ничего в жизни не существовало. Итак, ему было суждено еженедельно претерпевать эту пытку в маленькой мастерской посреди осклизлого, столь часто поливаемого дождями дворика на задах ветхого дома, в мастерской, где все было всегда расставлено по местам и никто туда не заглядывал, — ему суждено было претерпевать эту пытку и глядеть, как Мейзи разливает чай. Дик питал отвращение к чаю, но пил его с благоговением, поскольку мог, таким образом,

побыть с Мейзи еще немного, а рыжая сидела, развалилась всей своей рыхлой тушей, и молча пялила на него глаза. Она всегда не спускала с него взгляда. Лишь однажды за все это время она отлучилась ненадолго, и Мейзи успела показать Дик папку с тощей пачечкой вырезок из провинциальных газет — это были самые короткие и небрежные статейки, какие только мыслимы, и в них упоминалось о некоторых ее картинах, побывавших на каких-то захолустных выставках. Тут уж Дик не выдержал, наклонился и поцеловал запачканный краской пальчик, лежавший на газетном листке.

— Любовь моя, любовь моя, — прошептал он, — ужели ты дорожишь этой дрянью? Да брось ты ее в мусорную корзину!

— Сперва я должна заслужить чего-нибудь получше, — упрямо возразила Мейзи, захлопывая папку.

Тогда Дик, преисполненный совершеннейшим презрением к своим почитателям и глубочайшим сердечным чувством к девушке, которую видел перед собой, предложил собственноручно нарисовать картину, дабы Мейзи могла ее подписать и тем самым приумножить число столь драгоценных для нее вырезок.

— Но это же просто ребячество, — возразила Мейзи, — вот уж никак от тебя этого не ожидала. Картина должна быть моя. Моя, моя, моя!

— Тогда ступай размалевывать стены в домах богатых пивоваров. Это получится у тебя как нельзя более эффектно.

Дик испытывал к себе отвращение и утратил всякую выдержку.

— Я способна сделать и кое-что получше, Дик, — возразила она, и голос у нее был, как у той сероглазой малявки, которая некогда с таким бесстрашием разговаривала с миссис Дженнетт.

Дик готов был втоптать себя в грязь, но тут в мастерской появилась рыжая девица.

В следующее воскресенье Дик принес и положил к ногам Мейзи свои скромные дары: карандаши, которые разве только не рисовали сами собой, и краски, которым, по его мнению, цены не было, причем выказал подчеркнутое внимание к новой, еще не законченной картине. При этом ему еще пришлось объяснить, в чем смысл его веры. У Торпенхау волосы встали бы дыбом, если б он услы-

шал, как бойко Дик проповедовал собственное свое благовестие об Искусстве.

Месяц назад Дик и сам подивился бы этому ничуть не меньше; но такова была воля Мейзи, которой это доставляло истинное наслаждение, и он лез из кожи вон, дабы сделать для нее явным то, что для него самого было сокровенным таинством и творческой загадкой. Так легко сделать что угодно, если знаешь, с какого боку подступиться; но так мудро в ясных словах объяснить свою сложную теорию.

— Если б ты дала мне кисть, я мог бы все мигом поправить, — сказал Дик, в отчаянье глядя на подбородок, который, как жалобно сетовала Мейзи, «получился не как живой» — тот самый подбородок, что она в свое время соскоблила, — но научить тебя этому, боюсь, едва ли возможно. Специфический темный колорит в духе старых голландских мастеров мне нравится, но рисуешь ты, по моему, слабовато. Изображение получается в искаженном ракурсе, словно ты сроду не писала с натуры, да еще ты переняла у Ками главный его недостаток и, в точности как он, изображаешь человеческое тело в тени словно бы размытым. И еще, сама того не замечая, ты уклоняешься от трудностей. Поверь, сейчас тебе необходимо заниматься только рисунком. Рисунок не позволяет никаких уклонений от трудностей. А вот когда пишешь маслом, это куда проще, и порой какие-нибудь броские, искусно наложенные мазки на трех квадратных дюймах холста перекрывают все изъяны — уж я-то знаю. Но ведь это бесчестно. Займись хоть на какое-то время рисунком, и тогда я смогу верней определить твои способности, как говаривал старина Ками.

Мейзи противилась: рисунок как таковой ее вовсе не интересовал.

— Мне все ясно, — сказал Дик. — Ты желаешь писать прелестные головки с цветочными венками на шее, чтоб прикрыть слабость формы. — Тут рыжая девица коротко хохотнула. — Тебе угодно писать пейзажи со стадами по брюху в траве, дабы прикрыть этим твою беспомощность в рисунке. Ты хочешь прыгнуть выше головы. Чувством цвета ты, несомненно, обладаешь, зато формой не овладела. Но чувство цвета даруется от природы — лучше забудь о нем и думать, — а вот владеть формой тебя вполне можно обучить. Право, все эти твои прелестные головки — кстати, иные из них отнюдь недурны — не помогут

тебе сдвинуться с мертвой точки. Рисунок же заставит тебя идти либо вперед, либо назад, и сразу выявятся все твои слабости.

— Но ведь другие... — заикнулась было Мейзи.

— На других нечего кивать. Будь у них такая же золотая душа, как у тебя, вот тогда иное дело. А так, заруби себе на носу, только твоя собственная работа решит, суждено ли тебе выстоять иль пасть, и думать о других значит лишь попусту тратить время.

Дик умолк, и вся страстная тоска, которую он до сих пор беспощадно в себе подавлял, снова вспыхнула в его взоре. Он поглядел на Мейзи, и взгляд его вопрошал красноречивее всяких слов. Не пришла ли пора покинуть бесплодную пустыню, где нет ничего, кроме холстов и скучных наставлений, и соединиться для Жизни и Любви?

Мейзи согласилась на новый метод обучения с такой пленительной готовностью, что Дика охватило нестерпимое желание сейчас же, без дальних слов, подхватить ее на руки и отнести в ближайшее бюро, где регистрируют браки. Лишь ее безропотное повиновение каждому его слову, высказанному вслух, и полнейшее безразличие к невысказанному стремлению обезволили и сковали его душу. Здесь, в этой мастерской, он мог сказать веское слово — правда, лишь на краткое время от половины второго пополудни до семи вечера, зато в *этот* промежуток ему действительно подчинялись. Мейзи привыкла обращаться к нему с многочисленными вопросами — от упаковки картин и вплоть до того, как быть, если из камня валит дым. Рыжая девица никогда не просила у него совета. Однако она и не возражала против его посещений, но при этом упорно не спускала с него глаз. Вскоре он увидел — едят здесь, когда и что придется. Как он и заподозрил с самого первого дня, обычно девушки довольствовались чаем, консервированными овощами и галетами. Вообще-то считалось, что они ведут хозяйство по очереди, каждая через неделю, но в действительности обе жили беспечно, как птахи небесные, и лишь поденщица иногда кое-что делала по дому. У Мейзи почти все деньги уходили на плату натурщицам, а рыжая девица покупала самые дорогие холсты и краски, хотя способна была лишь на грубую мазну. Умудренный опытом, который был дорогой ценой приобретен в припортовых кварталах, Дик счел своим долгом предостеречь Мейзи, что постоянное недоедание в конце концов безвозвратно подорвет ее ра-

ботоспособность, а это будет для нее горше смерти. Мейзи вняла этому предостережению и старалась не забывать, что есть и пить нужно вовремя. В долгие зимние вечера, которые обычно повергали Дика в тоску, сознание, что в одном мелком житейском вопросе он добился своего, но в остальном бессилён по-прежнему, словно на шею ему навесили кочергу в задымленной гостиной, сознание это обжигало его, как удар хлыста.

Он надеялся, что уж тут-то последний предел его страданий, но в один из воскресных дней рыжеволосая изъявила желание сделать этюд его головы, вежливо попросила посидеть смирно и — это было сказано не без ехидства — тем временем смотреть на Мейзи. Он не нашел в себе мужества отказаться и просидел сиднем битых полчаса, вспоминая всех тех людей, которых некогда сам выставил на посмешище во имя своего ремесла. Особенно живо ему припомнился Бина — тот, который в свое время сам был художником и так горестно сетовал на свое падение.

Однотонный этюд был груб и примитивен, но передавал безмолвное ожидание, неутоленную тоску и, главное, рабскую покорность мужчины, который сам к себе относится с горькой насмешкой.

— Продайте его мне, — предложил Дик без долгих раздумий. — Можете сами назначить любую цену.

— Я запросила бы непомерно много, но, смею надеяться, вы будете ничуть не менее признательны, если я...

Еще непросохший листок выпорхнул из рук девушки и упал на золу в холодном камине. Когда она извлекла его оттуда, он был безнадежно замаран.

— Ах, он совсем испорчен! — воскликнула Мейзи. — А я даже взглянуть не успела. Похоже получилось?

— Спасибо, — вполголоса обронил Дик, обращаясь к рыжей девице, и поспешно удалился.

— Как он меня ненавидит! — сказала рыжая. — И как он любит тебя, Мейзи!

— Вот еще глупости! Конечно же, я знаю, что Дик ко мне очень привязан, но ведь он занят своей работой, а я своей.

— Да, он к тебе привязан, и, думается мне, готов признать, что у импрессионизма все же есть известные достоинства. Но, Мейзи, разве ты сама не видишь?

— Не вижу? Чего ж я не вижу?

— Да ровно ничего. Поверь, если б я могла приковать взгляд какого-нибудь мужчины так, как ты приковала его нежный взгляд, я... я просто не знаю, чего бы я только не сделала. Но меня он ненавидит. Ох, как ненавидит!

Она была не совсем права. Ненависть Дика смягчилась от благодарности, а через несколько минут он и думать забыл о рыжей девице. В душе осталось лишь чувство стыда, которое терзало его, когда он шел через окутанный туманом Парк.

— В который-нибудь из таких дней быть беде, — сказал он, закипая яростью. — Но Мейзи не виновата: напротив, она по-своему права, совершенно права, и я не могу ее ни в чем упрекнуть. Эта история тянется без малого три месяца. Всего-навсего три месяца!.. А ведь мне пришлось десять лет биться как рыба об лед, чтоб только понять, хотя бы приблизительно понять, как надо работать. Да, это истинная правда; но тогда мне не подпускали шпильки, не скребли меня скребками и не шпыняли каждое воскресенье. Ох, милая моя малютка, уж если я когда-нибудь настою на своем, кому-то из нас придется несладко. Но нет, она не такая. Перед ней я всегда останусь круглым дураком, вот как сейчас. В день своей свадьбы я отравлю эту рыжую тварь — она омерзительна, — а покамест пойду к Торпу да отведу душу.

За последнее время Торпенхау уже не раз пытался читать Дикю нотации, внушая ему, что легкомыслие грешно, и Дик выслушивал все это без единого слова. В первые недели после того, как началось его искушение по воскресным дням, он с головой ушел в работу, прилагая невероятные старания к тому, чтоб Мейзи по крайней мере могла всерьез оценить его художественное мастерство. Но ведь он сам поучал Мейзи не интересоваться ничьими картинами, кроме ее собственных, и она безоговорочно усвоила эти поучения. Она следовала его советам, но нисколько не интересовалась его картинами.

— От твоих полотен исходит запах табака и крови, — сказала она однажды. — Неужели ты не способен рисовать никого, кроме солдатни?

«Я могу написать твой портрет, да такой, что все ахнут», — подумал Дик — это было еще до того, как рыжая девица безжалостно отсекла ему голову, — но вслух сказал только:

— Ты уж меня не обессудь.

И потом целый вечер он выматывал душу из Торпенхау, кошунственно понося распроклятое Искусство. Вскоре, сам того не замечая и не желая, он утратил всякий интерес к собственной работе. Ради Мейзи, ощущая в то же время потребность сохранить свое достоинство, которое он, как ему казалось, терял с каждым воскресеньем все более, он не позволял себе сознательно унижаться до низкопробной пачкотни, но, коль скоро Мейзи пренебрегала даже самыми лучшими его картинами, он вообще забросил работу и лишь убивал время, считая дни от воскресенья до воскресенья. Недели тянулись в полнейшем безделье, и Торпенхау сперва таил свое возмущение в глубине души, а потом, в один из воскресных вечеров, когда Дик вернулся, совершенно изнемогший от того, что долго и мучительно сдерживал свои чувства к Мейзи, напустился на него, осыпая упреками. Были сказаны ругательные словеса, после чего Торп удалился держать совет с Нильгау, который случайно зашел к нему потолковать о политике европейских держав.

— Стало быть, он вконец обленился? Раздосадован и махнул на все рукой? — осведомился Нильгау. — Ну, едва ли это причина для беспокойства. Вероятней всего, Дик просто дурит из-за какой-то девчонки.

— Но что ж в этом хорошего?

— Ровно ничего. Она может сбить Дика с пути, и до известного времени работа его пойдет прахом. Она может даже в один прекрасный день пожаловать прямо сюда и устроить сцену на лестничной площадке: в подобных случаях надо быть готовым решительно ко всему. Но покуда Дик сам про нее не расскажет, лучше его не трогать. У него очень трудный характер.

— Еще бы. И это, к сожалению, хуже всего. Но он такой своенравный, самоуверенный, кого угодно пошлет ко всем чертям.

— Со временем жизнь выбьет из него дурь. В конце концов он поймет, что невозможно весь свой век носиться по бурному жизненному морю, имея при себе лишь вымазанную липкими красками палитру да бойкую кисть. Тебе он очень дорог?

— Будь моя воля, я принял бы на себя все невзгоды, уготованные ему по заслугам. Но беда в том, что никому не дано спасти своего ближнего.

— Это справедливо, только здесь беда похуже, потому что нет увольнительных в эту войну. Дик должен

сам пройти суровую школу, подобно всем нам. К слову, раз уж речь зашла о войне, весной на Балканах начнутся бои.

— Это давно не новость. Но любопытно знать, удасться ли нам отправить туда Дика, когда придет пора?

Вскоре явился сам Дик, и ему задали этот же вопрос.

— Дохлый номер, — обронил он отрывисто. — Мне и здесь хорошо, а от добра добра не ищут.

— Да неужто ты всерьез принимаешь ту шумиху, которую подняли вокруг тебя газетные борзописцы? — спросил Нильгау. — Ведь через какие-нибудь полгода твою известность ожидает самый печальный конец — публике надоест твоя манера, и она пожелает чего-нибудь посвежей, — а ты куда денешься?

— Останусь здесь, в Англии.

— Хотя мог бы поработать на славу там, бок о бок с нами? Какой вздор! Туда еду я, едет Беркут, едет Торп, Кассаветти тоже едет, и вся наша братия, работы хватит на всех, одна баталия будет следовать за другой, и ты такого наглядишься, что сможешь стяжать себе известность, которой хватило бы на трех Верешагиных.

— Угм! — хмыкнул Дик, посасывая трубку.

— А ты вместо этого намерен остаться здесь и воображаешь, будто весь мир только и делает, что с восхищением глазееет на твои картины? Да пораскинь же умом, постарайся себе представить, какая наполненная жизнь у самого обыкновенного человека, когда он думает о своих повседневных нуждах и радостях. Ежели наберется тысячонок двадцать людишек, которые улучат минутку, свободную от жратвы и свинячьего хрюканья, дабы мельком бросить равнодушный взгляд на что-либо им совершенно безразличное — вот тебе, пожалуйста, самая настоящая слава, известность или же, наоборот, дурная репутация, в зависимости от вкуса благородного невежды.

— Я знаю это ничуть не хуже вашего. Смею заверить, что и ваш покорный слуга способен кое-что сообразить.

— Провалитесь мне на месте, если это правда.

— Так *провалитесь*, а впрочем, можете хоть и удавиться, — скорее всего, именно такая судьба вам и уготована, вас вздернут на виселице разъяренные турки, приняв за шпиона. Ого-го! Я устал, смертельно устал, и во мне не осталось ни капли добродетели.

Дик плюхнулся в кресло и через минуту уснул крепким сном.

— Вот это прескверный знак, — произнес Нильгау вполголоса.

Торпенхау убрал горящую трубку, которую Дик обронил себе на жилет и едва не прожог в нем дыру, а самому спящему подsunул подушку под голову.

— Тут уж ничего не поделаешь, ровно ничего, — сказал он. — Это очень и очень твердый орешек, но я его все равно люблю. Вот рубец от удара, который ему нанесли в Судане, когда враги прорвали наше каре.

— Я нисколько не удивился бы, если б узнал, что он малость спятил.

— А я удивился бы, и даже очень. Такого сумасшедшего, но ловкого делягу я сроду не видывал.

Тут Дик оглушительно захрапел.

— Ну уж таких штучек никакая дружба не выдержит. Проснись, Дик, нечего здесь дрыхнуть, ежели тебе угодно подымать такой шум.

— Случалось мне примечать, — сказал Нильгау, посмеиваясь в бороду, — что кот, который всю ночь шастал по крышам, вот так же дрыхнет потом целый день. Это соответствует законам природы.

Дик удалился неверными шагами, протирая заспанные глаза и позевывая. А ночью, когда на него напала бессонница, его осенила мысль, до того простая и до того блестящая, что ему оставалось лишь недоумевать, как это она не пришла раньше. Притом мысль была весьма коварная. Он заявится к Мейзи в будний день, пригласит ее прогуляться, посадит в поезд и повезет к форту Килинг, в те самые края, где они бродили вдвоем десять лет назад.

— Как правило, — внушал он утром своей отраженной в зеркале физиономии с намыленным подбородком, — опасно вновь возвращаться на старый след. Одно пробудит воспоминания о другом, повеет холодом, и душу переполнит печаль, но если верно, что не бывает правил без исключения, то в данном случае это стократ верней. Пойду-ка к Мейзи, не теряя времени даром.

По счастью, когда он пришел, рыжая девица отлучилась за покупками, а Мейзи в блузе, перепачканной красками, билась над своей картиной. Она отнюдь не обрадовалась Дику, поскольку он, придя в будний день, позволил себе недопустимую вольность, и ему пришлось призвать на помощь все свое мужество, дабы объяснить, чего он хочет.

— Я ведь знаю, как ты переутомилась за последнее время, — закончил он веско, с многозначительным видом. — Так недолго вконец подорвать здоровье. Давай-ка отправимся на прогулку.

— Куда же? — устало спросила Мейзи.

Она долгое время простояла у мольберта и совсем обессилела.

— Да куда тебе будет угодно. Сядем завтра в поезд и сойдем на любой станции. Всюду найдется местечко, где можно позавтракать, а к вечеру я привезу тебя обратно.

— Если завтра будет солнечно, у меня пропадет целый рабочий день.

Мейзи взмахнула большой палитрой из орехового дерева, не зная, на что решиться.

Дик проглотил бранные слова, готовые сорваться с его губ. Он еще не выучился быть терпеливым с девушкой, которая всю свою жизнь без остатка вложила в работу.

— Если ты, моя дорогая, станешь бояться упустить каждый проблеск солнца, то потеряешь несравненно больше, нежели один-единственный рабочий день. Переутомление еще убийственней праздности. Будь же благодарна. Я зайду за тобой завтра ранним утром, сразу после завтрака.

— Но ты, конечно, пригласишь и . . .

— Даже не подумаю. Хочу побыть с тобой наедине, и точка. К тому же мы с ней ненавидим друг друга. Она сама отказалась бы от такой поездки. Значит, до завтра. И да пошлет нам бог солнечный день.

Дик ушел счастливый и ради такого случая даже не прикасался к работе. Он подавил в себе дикое желание заказать специальный поезд, зато купил широкую накидку из шкуры кенгуру, подбитую мехом черной куницы, после чего забыл обо всем окружающем и погрузился в размышления.

— Завтра я уеду с Диком на целый день за город, — сказала Мейзи своей рыжей подруге, когда та, усталая и нагруженная тяжелыми покупками, вернулась с Эджверроуд.

— Что ж, он это заслужил. А я, пока тебя не будет, велю хорошенько вымыть пол в мастерской. Он грязен до неприличия.

Мейзи уже который месяц не знала отдыха и ждала предстоящей прогулки с нетерпением, но и с опаской.

«Дик такой милый, когда рассуждает разумно, — думала она, — но ведь он непременно станет докучать мне всякими глупостями, а я не смогу его ничем утешить или обнадежить. Если б он только был разумным, я относилась бы к нему куда благосклонней».

Наутро, когда Дик заявился в мастерскую и увидел, что Мейзи, в сером драповом пальто и черной шелковой шляпке, уже поджидает у двери, он просиял от радости. Воистину, такой богине подобает обитать в мраморных дворцах, а не в грязных трущобах, где стены грубо отделаны под мореный дуб. Рыжая подружка на миг увлекла ее в глубь мастерской и торопливо чмокнула в щечку. Мейзи удивленно вздернула брови: она не привыкла к подобным изъявлениям чувств.

— Не изомни мне шляпку, — сказала она, отпрянув, и сбежала по ступенькам к Дику, который ожидал ее у пролетки.

— Ты не замерзнешь? Плотно ли ты позавтракала? Дай-ка я укутаю тебе колени мехом.

— Спасибо, мне очень удобно. Куда же мы поедем, Дик? Ах, пожалуйста, не надо так громко петь. Ведь прохожие подумают, что мы сошли с ума.

— Пускай себе думают — если такое усилие не опасно для их жизни. Они нас знать не знают, а я их тоже знать не хочу. Ей-же-ей, Мейзи, ты ослепительно хороша!

Мейзи устремила взгляд вдаль и не ответила. Было солнечное зимнее утро, дул студеный ветерок, и щеки девушки расцвели румянцем. А высоко, в бледно-голубом небе, таяли одно за другим белоснежные облачка, беззаботные воробьи стайками собирались у водосточных канав и извозничьих бирж, возвещая оглушительным щебетом приближение весны.

— Как дивно прогуляться за город в такую погоду, — сказал Дик.

— Но куда ты меня везешь?

— Погоди, скоро сама увидишь.

Они доехали до вокзала Виктории, и Дик пошел брать билеты; Мейзи уютно сидела в зале ожидания у камелька, и на миг ее посетила мысль, что куда как приятней послать в кассу мужчину, вместо того чтобы самой локтями прокладывать себе дорогу в толпе. Дик усадил ее в пульмановский вагон — потому что там тепло, — и за такую расточительность она наказала его строгим, него-

дующим взглядом, а поезд меж тем уже выехал за черту города.

— И все же хотелось бы мне знать, куда мы едем, — сказала девушка в двадцатый раз.

Но вот, к концу их пути, за окном мелькнуло название незабываемой станции, и лицо Мейзи озарила улыбка.

— Ох, Дик, ну и хитрец же ты!

— Знаешь, мне подумалось, что тебе, может, будет приятно снова посетить эти края. Ведь ты не бывала здесь с той давно минувшей поры?

— Нет. Я совсем не хотела видеть миссис Дженнетт, а больше тут и видеть-то нечего.

— Ну, это как сказать. Гляди-ка. Вон ветряная мельница машет крыльями над картофельным полем. Эти места еще не успели застроить. А помнишь, как я тебя запер на мельнице?

— Помню. Ну и трепку получил же ты за свою проказу! Но я на тебя не ябедничала.

— Она сама догадалась. Я тогда подпер дверь палкой и пригрозил, что сейчас же похороню Мемеку заживо на картофельном поле, и ты поверила. В те времена ты была так доверчива.

Оба рассмеялись и высунулись в окно, узнавая и вспоминая многочисленные знакомые приметы, связанные с их общим прошлым. Дик не отрываясь смотрел на пухлую щечку Мейзи, которая почти касалась его щеки, и видел, как под нежной белой кожей бьются жилки. Он был в восторге, хвалил себя за ловкую выдумку и предвкушал чудесную награду, которую получит вечером.

Когда поезд остановился, они вышли и как бы новыми глазами увидели старинный городок. Первым делом они с почтительного расстояния оглядели домик, где жила миссис Дженнетт.

— А вдруг она сейчас возьмет да выйдет из дверей, что ты тогда сделаешь? — спросил Дик с комическим ужасом.

— Скорчу ей рожу.

— Покажи, какую, — сказал Дик, вспомнив детские шалости.

Мейзи скорчила уморительную рожицу, обратив лицо к обветшалому домишке, и Дик залился смехом.

— Стыд и срам, — произнесла Мейзи, подражая голосу миссис Дженнетт. — Ну-ка, Мейзи, живо домой, будешь зубрить наизусть молитвы, Евангелие и Послания

Святых Апостолов три воскресенья кряду. Я так старалась, учила тебя уму-разуму и каждое воскресенье накладывала тебе за обедом тройную порцию. Я знаю, это Дик вечно подбивает тебя на всякие проказы. А ты, Дик, если не способен быть благородным человеком, постарался бы хоть...

Она вдруг умолкла, припомнив, когда и по какому поводу эти слова были произнесены.

— ...вести себя по-благородному, — с живостью подхватил Дик. — Совершенно верно. А теперь давай позавтракаем да прогуляемся пешком к форту Килинг — или ты хочешь, чтоб я взял извозчика?

— Нет уж, пойдем пешком из уважения к здешним местам. Гляди, ведь здесь почти все осталось, как было!

По знакомым, ничуть не изменившимся улицам они пошли к морю, чувствуя в душах неодолимую власть прошлого. Вскоре они очутились возле кондитерской, которой так интересовались в те времена, когда получали на карманные расходы шиллинг на двоих.

— Дик, у тебя есть мелочь? — спросила Мейзи рассеянно, словно разговаривала сама с собой.

— Всего-навсего три пенса, и если ты надеешься купить на два пенса мятных лепешек, тебя ждет горькое разочарование. Миссис Дженнетт утверждает, что благородной девице не пристало кушать мятные лепешки.

Тут оба опять рассмеялись, и опять Мейзи залилась румянцем, а в жилах у Дика взыграла молодая кровь. Они с аппетитом позавтракали, дошли до моря и двинулись к форту Килинг через голый, иссеченный ураганами пустырь, на котором никому и в голову не приходило что-либо построить, такое пренебрежение вызывал он у всякого уважающего себя человека. С моря налетел студеный ветер и засвистел в ушах.

— Мейзи, — сказал Дик, — а ведь кончик носа у тебя словно берлинской лазурью выкрашен. Давай побежим наперегонки, я готов бежать сколько угодно и куда угодно, все равно ведь обгону.

Она огляделась на всякий случай и со смехом пустилась бежать так проворно, как только позволяло ей узкое пальто, но вскоре начала задыхаться.

— А ведь когда-то мы могли пробежать целые мили, — сказала она, едва переводя дух. — Трудно поверить, что теперь не очень-то побегаешь.

— Делать нечего, моя дорогая, возраст уже не тот. Вот что значит малоподвижная, нездоровая городская жизнь. Когда мне приходило желание дернуть тебя за волосы, ты могла пробежать хоть три мили и при этом визжала так, будто тебя режут. Уж я-то знал, ты для того визжала, чтоб напустить на меня миссис Дженнетт, а она хватала трость и...

— Дик, ни разу в жизни я не старалась нарочно сделать так, чтоб она тебя наказала.

— Ну, конечно же, ни разу. Боже правый! Взгляни на море.

— Да ведь оно такое же, как всегда! — сказала Мейзи.

Торпенхау расспросил мистера Битона и узнал, что Дик, принаряженный, тщательно выбритый, ушел из дому в половине девятого утра, перекинув через руку нечто похожее на дорожный плед. А в полдень заглянул Нильгау сыграть партию в шахматы да посплетничать всласть.

— Дело из рук вон плохо, даже хуже, чем я ожидал, — сказал ему Торпенхау.

— Я уверен, что это ты про Дика, ведь с ним всегда что-нибудь не так! Ты возишься с ним, как квочка со своим единственным цыпленком. Да пускай себе бесится, ежели ему охота. Можно спустить шкуру со щенка, но не с вполне самостоятельного молодого человека.

— Тут замешана не просто женщина. Она для него единственная. И к тому же молоденькая девушка.

— Почему ты знаешь?

— Он вскочил ни свет ни заря и в полдевятого уже ушел из дому — вскочил среди ночи, разрази меня гром! Такое бывало с ним только в армии. Но даже тогда, ежели помните, в Эль-Магрибе уже завязался бой, а нам пришлось стаскивать с него одеяло. Сущее безобразие.

— Конечно, это выглядит странно. Но, может, он решил наконец купить лошадь? Разве не мог он ради такого дела встать спозаранку?

— А может, он решил купить еще и огненную колесницу! Нет уж, ежели б дело касалось лошади, он сказал бы нам начистоту. Верьте моему слову, это девушка.

— Поразительная уверенность! А вдруг она замужем, и тогда все проще простого.

— Ежели у вас нет чувства юмора, то у Дика есть. Какой полоумный дурак встанет до зари только для того, чтоб побывать у чужой жены? Это девушка.

— Ладно, пускай девушка. Надеюсь, она ему втолкует, что на свете, кроме него, есть и другие мужчины.

— Она помешает его работе. Она вздохнуть ему не даст свободно, женит его на себе и безвозвратно погубит в нем художника. Мы и слова вымолвить не успеем, а он уже сделается добродетельным супругом и... никогда ему не бывать в настоящем деле.

— Все может стать, но, когда это произойдет, мир не развалится на куски... Ого-го! Дорого бы я дал, чтоб поглядеть, как Дик «с мальчишками повесничать начнет». Об этом нечего и беспокоиться. Все в воле Аллаха, а мы можем только быть свидетелями дел его. Давай-ка лучше сыграем в шахматы.

Рыжеволосая девица меж тем лежала на кровати, устремив неподвижный взгляд в потолок. Шаги пешеходов по тротуару приближались и замирали вдали, словно непрерывные поцелуи, которые сливаются в один бесконечно долгий поцелуй. Руки она вытянула вдоль тела и в ярости то сжимала, то разжимала кулаки.

Поденщица, которая подрядилась мыть пол в мастерской, постучала в дверь:

— Прощенья просим, мисс, но для мытья полов есть два, а то и три разных мыла, одно желтое, другое крапчатое, третье же супротив всякой заразы. Вот я, стало быть, и говорю себе: прежде, говорю, чем несть ведро в коридор, надобно зайти сюда да спросить, которое мыло вам угодно, чтоб я могла отмыть ваш пол. Ведь желтое мыло, мисс, оно...

В этих словах не было ничего особенного, но рыжеволосая вдруг пришла в бешенство, соскочила с постели и повысила голос почти до крика:

— Да не все ли *мне* равно, что там у вас за мыло? Берите любое! Слышите — *любое!*

Поденщица обратилась в бегство, а рыжеволосая посмотрела на себя в зеркало и закрыла лицо руками. Казалось, будто она разгласила какую-то постыдную тайну.

## ГЛАВА VII

Из алых роз и белых роз  
Букет любимой я поднес.  
Но их она брать не хотела —  
Голубых раздобыть велела.

Полсвета в ту пору я обыскал,  
А цветов таких нигде не видал;  
Полсвета объехав, всех спрашивал я,  
Но на смех лишь подымали меня.

Наверно, она и в мире ином  
Голубые розы отыщет с трудом.  
Ох, зря искал я такой букет:  
Прекрасней роз алых и белых — нет!

*«Голубые розы»*

Море и впрямь ничуть не изменилось. За илистыми отмелями начиналось мелководье, и колокол звенел на Мэрейзонском сигнальном бакене, колеблемом приливными волнами. На белом песчаном берегу покачивались и перешептывались меж собой сухие стебельки желтого мака.

— Я не вижу старого мола, — негромко произнесла Мейзи.

— Скажем спасибо и за то, что еще уцелело. Наверняка, с тех пор как мы покинули эти места, в форте не прибавилось ни одной пушки. Пойдем взглянем.

Они подошли к валу форта и сели в укромном, защищенном от ветра уголке под осмоленным жерлом сорокафунтовой пушки.

— Вот если б Мемека тоже был здесь, с нами! — сказала Мейзи.

И оба надолго замолчали. Потом Дик взял Мейзи за руку и прошептал ее имя. Она покачала головой, устремив взгляд в морскую даль.

— Мейзи, милая, неужели и это ничто не изменит?

— Нет! — процедила она сквозь стиснутые зубы. — Иначе я... сказала бы тебе напрямик. Но сказать мне нечего. Ох, Дик, прошу тебя, будь же благоразумен.

— А вдруг когда-нибудь ты передумаешь?

— Нет, никогда, я совершенно уверена.

— Но почему?

Мейзи подперла рукой подбородок и, все еще не отрывая глаз от моря, выпалила скороговоркой:

— Я прекрасно знаю, Дик, чего ты от меня хочешь, но я не могу тебе этого дать. Тут не моя вина, право, не

моя. Если б я была способна полюбить... но я же не способна. Это чувство мне совершенно недоступно.

— Милая, ты серьезно?

— Ты был очень добр ко мне, Дикки, и я могу отплатить за твою доброту только одним — сказать тебе правду. Я не имею права лгать. Я и без того сама себя презираю.

— Но за что же?

— За то... за то, что я так много у тебя беру и ничего не даю взамен. Я дрянная, я только о себе думаю и, признаюсь, мне совестно.

— Да пойми ты раз и навсегда, что я сам себе хозяин, и если я поступаю именно так, а не иначе, ты-то ни в чем не повинна. Мейзи, милая, ты решительно ни в чем не должна себя упрекать.

— Должна. Только если мы станем говорить об этом, будет еще хуже.

— Вот и не говори.

— Но как же? Ведь стоит тебе хоть на минуту очутиться со мной наедине, ты сразу начинаешь говорить про это, а когда мы не одни, это написано у тебя на лице. Ты не знаешь, как я порой себя презираю.

— Боже правый! — вскричал Дик и едва удержался, чтобы не вскочить на ноги. — Скажи же мне правду, Мейзи, истинную правду, хоть раз в жизни! Может, я... докучаю тебе своими признаниями?

— Нет. Нисколько.

— В противном случае ты призналась бы мне?

— Думаю, что я дала бы тебе понять.

— Спасибо. Иначе моя судьба была бы роковой. Но ты должна научиться прощать влюбленному мужчине его слабости. Ведь влюбленный всегда несносен. Ты, конечно, знала это и раньше?

Последний вопрос Мейзи не удостоила ответом, и Дик принужден был его повторить.

— Само собой, ко мне пытались подступиться и другие мужчины. Они докучали мне, когда моя работа бывала в самом разгаре, настаивали, чтоб я их выслушивала.

— И ты выслушивала?

— Только поначалу. А они не могли понять, отчего я так равнодушна. И наперебой расхваливали мои картины, причем я все принимала за чистую монету. Я гордилась похвалами, пересказывала их Ками, и — этого я никогда не забуду — однажды Ками посмеялся надо мной.

— А ты, Мейзи, очень не любишь, когда над тобой смеются?

— Терпеть не могу. Сама я никогда не смеюсь над другими, разве только в тех случаях, когда они плохо работают. Дик, скажи честно, какого ты мнения о моих картинах — обо всех, которые видел.

— Честность, честность и снова честность, — изрек Дик те самые слова, которыми, бывало, дразнил ее давным-давно. — Но скажи мне, что говорит Ками.

Мейзи ответила не без колебания:

— Он... он говорит, что в моих картинах есть чувство.

— Да как у тебя язык повернулся солгать мне прямо в глаза? Не забывай, что я сам учился у Ками целых два года. Я знаю доподлинно, как он говорит.

— Я не солгала.

— Ты поступила еще хуже: сказала полуправду. Ками склоняет голову набок — вот так — и говорит: «Il y a du sentiment, mais il n'y a pas de parti pris»<sup>1</sup>.

Дик свирепо грассировал, подражая Ками.

— Да, это самое он и говорит, и мне начинает казаться, что он прав.

— Ясное дело, прав.

В мире были только два человека, которых Дик считал справедливыми как в словах, так и в поступках. Ками был одним из этих двоих.

— И вот теперь ты говоришь то же самое. Тут недолго потерять всякую надежду.

— Прости, пожалуйста, но ведь ты сама просила меня говорить правду. И кроме того, я слишком тебя люблю, чтоб кривить душой, когда речь идет о твоих работах. Они сильны, они свидетельствуют о настойчивости, которую ты проявляешь порой — но не всегда, — а изредка чувствуются незаурядные способности, но, право, неизвестно, чего ради все это сделано. По крайней мере на меня это производит именно такое впечатление.

— Да ведь всякая работа делается неизвестно чего ради. И ты знаешь это не хуже меня. Я хочу только добиться успеха.

— Но ты избрала неверный путь. Неужели Ками никогда тебе этого не объяснял?

---

<sup>1</sup> Есть чувство, но нет замысла (фр.).

— Хватит кивать на Ками. Я хочу знать твое мнение. Начнем с того, что моя работа никуда не годится.

— Я ничего подобного не сказал и даже мысли такой не допускаю.

— Тогда, стало быть, это дилетантство?

— Вот уж чем даже и не пахнет. Милая моя, ты труженица, уходишь в работу с головой, и за это я перед тобой преклоняюсь.

— Неужели и ты втайне надо мной смеешься?

— Нет, милая. Пойми, ты для меня дороже всех на свете. Закутай плечи вот этой накидкой, а то продрогнешь.

Мейзи закуталась в мягкие куньи меха, вывернув наизнанку серую шкуру кенгуру.

— Что за прелесть, — сказала она задумчиво, касаясь подбородком воздушного меха. — Но все-таки скажи, почему я избрала неверный путь, желая достичь хотя бы скромного успеха?

— Именно потому, что ты только этого и желаешь. Неужто, милая, тебе не понятно? Настоящая работа не принадлежит — и не подвластна — тому, кто ее делает. Она привносится для него, или же для нее, откуда-то извне.

— Но как это совместить с...

— Минуточку. Нам дано лишь изучить практические приемы своего ремесла, овладеть кистями и красками, вместо того чтоб им служить и ничего не бояться.

— Это мне понятно.

— А все прочее привносится извне. Ну, ладно. Если у нас достанет терпения и времени развить свои возможности, мы бываем способны или не способны сотворить что-либо стоящее. Тут крайне важно умело и кропотливо овладеть самыми основами нашего ремесла. Но стоит нам только помыслить об успехе, о том впечатлении, какое наша работа может произвести на публику, допустить хоть малейшую мысль о дешевой популярности — и сразу же мы теряем свою творческую силу, свежесть манеры и все прочее. Я по крайней мере в этом убедился. Вместо того чтоб спокойно обдумывать работу и отдавать ей все свое мастерство, мы начинаем суетиться и думать о том, чего не в силах ни ускорить, ни остановить хоть на мгновение. Понимаешь?

— Тебе легко так говорить. Твои картины всем нравятся. Разве сам ты никогда не мечтаешь о том, чтобы выставиться?

— Еще как часто. Но всякий раз я бываю за это наказан и не могу рисовать в полную силу. Это просто, как дважды два. Если мы относимся к работе с пренебрежением, используем ее для своих личных целей, она мстит нам за это таким же самым пренебрежением, а коль скоро мы гораздо слабее, страдаем-то мы, а не она.

— Но я вовсе не отношусь к работе с пренебрежением. Ты же сам знаешь, она для меня — все на свете.

— Как не знать. Но сознаешь ты это или нет, после двух мазков, которые ты делаешь ради себя, лишь третий ты делаешь ради своей картины. Милая, само собой, это не твоя вина. Я сам работаю точно так же и знаю это. Большинство выучеников французской школы, как и представители всех наших школ, заставляют учеников трудиться в поте лица ради славы и гордыни своих учителей. Слышал я, что мои картины известны во всем мире, а у Ками вечно несли окошечку про ихнюю мазню, я же, по глупости, наивно верил, будто человечество жаждет, чтоб его превознесли выше небес, и облагодетельствовали, и изругали на все корки, и только моя кисть способна все это сделать. И я впрямь верил этому, разрази меня гром! Когда бедная моя голова чуть не лопалась от замыслов, которые я никак не мог претворить на полотне, потому что плохо знал свое ремесло, я предавался суетным мыслям о собственном величии и готовился восхитить мир.

— Но ведь порой это и впрямь удается?

— В редчайших случаях, милая, причем лишь со злым умыслом. И даже если вопреки всему что-то удается, это все равно такая малость, а мир так огромен, что разве только одна миллионная человечества не останется равнодушной. Мейзи, пойдем со мной, и я покажу тебе, как велик мир. Работа все одно что хлеб насущный — это ясно само собой. Но постарайся понять, ради чего ты работаешь. Я знаю райские уголки, куда мог бы тебя взять, — хотя бы маленький архипелаг южнее экватора. Плынешь туда по штормовым волнам много недель, и океанская глубь черна, а ты, словно впередсмотрящий, глядишь вдаль изо дня в день, и, когда видишь, как восходит солнце, становится страшно — так пустынен океан.

— Но кому же все-таки становится страшно — тебе или солнцу?

— Солнцу, само собой. А в океанской пучине раздаётся гул, и с небес тоже доносятся какие-то звуки. На ост-

рове растут орхидеи, которые смотрят на тебя так выразительно, разве только сказать ничего не умеют. Там, с высоты трехсот футов, обрушивается водопад, и прозрачно-зеленые его струи увенчаны кружевной серебристой пеной, в скалах роятся миллионы диких пчел; и с пальм, глухо ударяясь оземь, падают крупные кокосовые орехи; и ты приказываешь служанке с кожей цвета слоновой кости подвесить меж деревьев длинный желтый гамак, украшенный, словно спелый маис, пышными кистями, и ложишься в него, и слушаешь, как жужжат пчелы и шумит водопад, и засыпаешь под этот шум.

— А работать там можно?

— Само собой. Всегда нужно хоть что-то делать. Натягиваешь холст меж пальмовых стволов, а критику пускай попугаи наводят. Если же они затеют драку, ты бросишь в них спелым плодом манго, и он лопнет при падении, брызжа пенистым соком. Таких уголков многие сотни. Поедем — и ты увидишь сама.

— Нет, такой остров мне не нравится. Похоже, что это царство лени. Расскажи про другие места.

— Ну, тогда как тебе покажется красный город, огромный и мертвый, с домами из красного кирпича, где средь камней зеленеют ростки алоэ, а вокруг желтая, как мед, песчаная пустыня? Там, Мейзи, сорок усопших царей покоятся в богатых гробницах, одна великолепней другой. Глядишь на дворцы, улицы, базары, водоемы, и тебе кажется, будто здесь и поныне живут люди, а потом вдруг видишь, как серая белочка в полном одиночестве потирает нос лапкой посреди рыночной площади и павлин, словно изукрашенный драгоценными камнями, с важностью шествует через резные двери и распускает хвост у ажурного мраморного щита. А вот и обезьянка — маленькая бурая обезьянка — бежит через главную площадь выпить из водоема глубиной в сорок футов. Она спускается к воде, цепляясь за лианы, а другая обезьянка держит ее за хвост, чтоб она не упала.

— И это не выдумка?

— Я был там и видел все своими глазами. Потом вечерет, оттенки света мало-помалу меняются, и вот ты словно оказываешься внутри огромного опала. А перед самым закатом солнца, как по часам, в городские ворота врывается ошетилившийся дикий кабан, обнажив клыки и роняя из пасти пену, а за ним весь его многочисленный выводок. Тут ты проворно карабкаешься на плечи без-

глазого черного каменного истукана и глядишь с высоты, как кабан выбирает себе подходящий дворец для ночлега и вступает туда, помахивая хвостом. Но вот пробуждается прохладный ночной ветерок, пересыпает пески, и становится слышно, как пустыня окрест поет себе колыбельную: «Закрываю глазки я», — и темнота будет окутывать все, пока не взойдет луна. Мейзи, любовь моя, поедем со мною, я покажу тебе весь мир. Он, право, прекрасен, и, право, чудовищен — но ничего чудовищного ты не заметишь, — и глубоко безразличен к нашим картинам, которым мы оба посвятили жизнь, безразличен решительно ко всему: в нем всякий занят только своими заботами да предается любви. Поедем со мной, и я научу тебя готовить винный напиток с пряностями, и подвешивать гамак, и... поверь, я научу тебя тысяче всяких дел, и ты сама узнаешь, какие бывают краски, и мы вместе изведем, что такое любовь, и тогда, быть может, нам будет дано создать что-нибудь достойное. Поедем же!

— Но ради чего? — спросила Мейзи.

— Да разве можешь ты сделать что бы то ни было, если ты не видела ровно ничего или по крайней мере всего того, что без труда могла бы увидеть? И ведь я люблю тебя, моя дорогая. Поедем со мной. Здесь тебе делать нечего, здесь ты всем чужая, и в жилах твоих есть примесь цыганской крови — это по лицу видно. А я... самый запах соленых морских просторов меня волнует. Давай поплаваем в открытом море и будем счастливы!

Говоря это, он вскочил на ноги и, стоя в тени, которую отбрасывала пушка, смотрел на девушку. Короткий зимний вечер уже угас, и зимняя луна, незаметно для них, взошла над тихим морем. Серебристая песчаная кромка отмечала ту границу, которой достигал прилив, покрывая отмели невысокими илистыми дюнами. Ветерок замер, наступила мертвая тишина, только где-то вдали слышно было, как пасущийся осел хрустел мерзлой травой. В воздухе, пронизанном светом луны, разнеслись приглушенные звуки, частые, как барабанная дробь.

— Что это? — встрепенувшись, спросила Мейзи. — Будто чье-то сердце бьется. Но где?

Дик до того рассердился, когда его мольбы были так грубо прерваны, что не сразу мог спокойно ответить и долго прислушивался к звукам, которые потревожили тишину. Мейзи, по-прежнему сидя под пушечным жерлом, смотрела на него с испугом. Ей так хотелось, чтобы

он вел себя благоразумно и перестал будоражить ее своими заморскими фантазиями, такими понятными и вместе с тем непонятными ей. Но когда он начал прислушиваться, она поразилась неожиданной перемене в его лице.

— Это пароход, — сказал Дик, — пароход с двумя винтами, сколько можно определить на слух. Отсюда его не видно, но, похоже, он проплывает где-то у самого берега. Ага! — воскликнул он, когда красная ракета пронзила мглу. — Такой сигнал дается, когда оставляют за кормой Ла-Манш.

— Неужели кораблекрушение? — спросила Мейзи, не понимавшая смысла его слов.

Дик, не отрываясь, смотрел на море.

— Кораблекрушение! Какой вздор! Просто пароход сообщает о своем отплытии. Красная ракета с полубака — а вот загорелся зеленый фонарь на корме, и еще две красные ракеты с капитанского мостика.

— Что же все это значит?

— Просигналил пароход линии «Скрещенные ключи», совершающий рейс в Австралию. Но какой же именно пароход? — Голос Дика звучал теперь совсем по-иному, казалось, он разговаривал сам с собой, и Мейзи это показалось обидным. На мгновение лунный свет пронизал мглу и осветил длинные, темные борта парохода, который медленно выходил из Ла-Манша. — Он четырехмачтовый, трехтрубный — и осадка у него глубокая. Стало быть, это либо «Барралонг», либо «Бхутия». Но нет — у «Бхутии» более крутые обводы. Ясное дело, что «Барралонг», он уходит в Австралию. Уже через неделю над ним воссияет Южный Крест — какое счастье привалило старому корыту! Вот это счастье!

Устремив глаза к морю, он поднялся на вал, чтобы лучше видеть, но туман вновь сгустился над водой, и удары парходных винтов уже замирали вдали. Мейзи окликнула его с легкой досадой, и он спустился к ней, все еще глядя в сторону моря.

— Видела ли ты хоть раз в жизни, как сияет Южный Крест? — спросил он. — Это дивное зрелище!

— Нет, — обронила она с пренебрежением, — не видела и не хочу видеть. Если тебя это восхищает, почему бы тебе самому не уехать туда, чтоб поглядеть?

Она подняла лицо, которое до тех пор прятала в темный куний мех, окутывавший ее шею, и глаза ее сверк-

нули, как брильянты. Лунный свет облек серую шкуру кенгуру в ледяную серебристую изморозь.

— Разрази меня гром, Мейзи, ты сейчас похожа на языческого божка, каких много понатыкано на этом плато. — Взглядом она дала понять, что отнюдь не польщена таким сравнением. — Прости, пожалуйста, — продолжал Дик. — На Южный Крест совсем не интересно глядеть в одиночестве. А парохода-то уж и не слышать.

— Дик, — произнесла она невозмутимо, — положим, я действительно пойду за тобой — нет, ты покуда помолчи, — положим, я пойду за тобой вот такая, какая есть, и буду чувствовать то же, что тогда, в детстве.

— Но, надеюсь, не станешь относиться ко мне только как к брату? Ведь ты же сама сказала это — в Парке.

— У меня никогда не было брата. Предположим, я скажу: «Увези меня в те заветные края, и там, быть может, со временем я полюблю тебя по-настоящему», — как ты поступишь?

— Найму извозчика и велью отвезти тебя домой. Или нет: попросту прогоню, хоть пешком иди. Но тебе, милая, это не по силам. А я не стал бы рисковать. Ты достойна того, чтоб я набрался терпения и ждал, пока ты не пойдешь за мной без оглядки.

— Неужели ты и вправду этому веришь?

— Кажется, да, хоть я и сам сомневаюсь. А тебе такое никогда не приходило в голову?

— Да-а... И теперь мне очень совестно.

— Даже больше прежнего?

— Ты не можешь прочесть мои мысли. И мне страшно вымолвить все начистоту.

— Ну и пусть. Ты же обещала сказать мне правду — по крайней мере хоть сказать.

— Я знаю, как я неблагодарна, и тем не менее... тем не менее, хотя я не сомневаюсь, что ты любишь меня, и очень ценю твою дружбу, все же... все же я отвернулась бы от тебя, если б могла благодаря этому достичь своей цели.

— Милая моя крошка! Эти чувства мне знакомы. Они не способствуют плодотворной работе.

— Но ты не рассердился? Вспомни, ведь я сама себя презираю.

— Для меня все это не слишком лестно — хотя иного нечего было и ожидать, — но я ничуть не рассердился.

Я тебя жалею. Право, ты давным-давно, много лет назад, должна была преодолеть свое мелочное честолюбие.

— Ты не смеешь разговаривать со мною свысока! Я хочу достичь лишь того, ради чего трудилась долгие годы. Тебе это досталось легче легкого, и... и, по-моему, это несправедливо.

— Но что я могу поделать? Я отдал бы десять лет жизни, лишь бы обеспечить тебе желанный успех. Но я бессилён помочь: тут даже я бессилён.

Мейзи невнятно огрызнулась. А Дик продолжал:

— И твои слова, которые я сейчас услышал, свидетельствуют, что ты на ложном пути и успеха тебе не видать. Ради него нельзя жертвовать чужими судьбами — в этом я убедился на горьком опыте. Приходится жертвовать собой, подчиняться суровой жизненной необходимости, не щадить себя, никогда не испытывать удовлетворенности своей работой, кроме той минуты, когда ты только готовишься к ней приступить и замысел едва родился.

— Как могу я этому поверить?

— Поверишь ты или нет, все равно. Таков всеобщий закон, который не изменится от того, угодно ли тебе принять его или же отвергнуть. Сам я стараюсь покориться, но у меня ничего не получается, и вот из-под моей кисти выходит жалкая пачкотня. Но, как бы то ни было, запомни, что у всякого на одну удачную работу приходится по меньшей мере четыре неудачных. Зато одна эта удача сама по себе окупает все прочее.

— Но разве не отрадно, когда расхваливают твои работы, пусть даже неудачные?

— Еще как отрадно. И все же... Хочешь, я расскажу тебе один случай? Рассказ будет не из приятных, но, когда мы вместе, мне кажется, что я могу разговаривать с тобой как мужчина с женщиной.

— Слушаю.

— Некогда в Судане я шел через поле, где перед этим мы вели трехдневный бой. Там осталось тысяча двести трупов, и мы не успели их похоронить.

— Какой ужас!

— Я в то время работал над большой монументальной картиной и далеко не был уверен, что она понравится английской публике. Так вот, глядя на это поле, я многое понял. Оно было словно усеяно разноцветными ядовитыми грибами, и... до тех пор я ни разу еще не видел, как такое множество людей вновь обращается в прах, из

которого некогда был сотворен человек. И я начал понимать, что мужчины и женщины — лишь материал для работы, а все их слова или поступки бессмысленны. Ясно? Строго говоря, с точно таким же успехом можно прикинуть ухом к палитре в надежде, что краски вдруг заговорят.

— Дик, это невысказано!

— Минуточку. Ведь я же не случайно подчеркнул: строго говоря. К несчастью, человек всегда неизбежно или мужчина или женщина.

— Хорошо еще, что ты хоть это признаешь.

— Только не по отношению к тебе. Ты не женщина. Но, Мейзи, люди заурядные должны жить, работать и знать свое место. Это и приводит меня в бешенство. — Не переставая говорить, он швырнул в море камешек. — Я знаю, мне нет нужды обращать внимание на всякие пересуды. Я понимаю, что они только портят дело. И однако, черт их всех побери, — тут еще один камешек полетел в воду, — я невольно начинаю мурлыкать от удовольствия, когда меня гладят по шерстке. Даже если у человека на лбу написано, что он врет без зазрения совести, его лживая лесть мне приятна, и рука моя теряет твердость.

— А если он не льстит?

— Тогда, моя ненаглядная, — тут Дик усмехнулся, — я забываю, что эти дары вверены мне лишь на сохранение, и готов пустить в ход палку, лишь бы такой человек полюбил и оценил мою работу. Все это унижительно. Но, думается мне, даже будь художник ангелом, изображай он людей с полнейшим беспристрастием, он проиграл бы в мастерстве ровно столько, сколько выиграл бы в бойкости.

Мейзи рассмеялась, представив себе Дика в обличье ангела.

— И тебе, видимо, кажется, — сказала она, — что всякая похвала идет во вред работе.

— Мне не кажется. Это закон — такой же неукоснительный, как в доме у миссис Джэннетт. Да, всякая похвала неизбежно идет во вред работе. И я рад, что ты видишь это с такой ясностью.

— Мне это ничуть не улыбается.

— Мне тоже. Но... приказ есть приказ: что ж поделаешь? Хватит ли у тебя сил устоять в одиночку?

— Должно хватить.

— Милая, позволь, я тебе помогу. Мы способны по-

служить друг другу надежной опорой и постараемся идти только прямым путем. Нам не миновать заблуждений, но и это лучше, нежели брести на ощупь порознь. Мейзи, неужто ты не понимаешь, что я прав?

— Я сомневаюсь в том, что мы уживемся. Ремесло у нас одно, и мы друзья, но ведь дружба дружбой, а дело врозь.

— Попался бы мне под руку человек, который выдумал эту дурацкую поговорку. Наверно, сам он жил в пещере и жрал сырым медвежатину. Уж я бы заткнул ему глотку наконечниками от его собственных стрел. Ну, что еще?

— Я была бы тебе плохой женой. Я по-прежнему думала и беспокоилась бы прежде всего о своей работе. Четыре дня в неделю со мной вообще невозможно разговаривать.

— Ты рассуждаешь так, будто, кроме тебя, никто в мире не брался за кисть. Неужели ты полагаешь, что я сам чужд беспокойства, волнений, чувства собственного бессилия? Твое счастье, если ты испытываешь все это только четыре дня в неделю. Но какая разница?

— Очень большая — если это бывает и с тобой.

— Да, и я умею это уважать. А другой едва ли сумеет. Вдруг он станет над тобой смеяться? Но тут не о чем и разговаривать. Если ты можешь так думать — значит, ты не любишь меня — все еще нет.

Прилив уже почти затопил илистые отмели, и водная поверхность не раз подернулась рябью, прежде чем Мейзи решилась заговорить.

— Дик, — сказала она задумчиво, — я глубоко убеждена, что ты гораздо лучше меня.

— Собственно, к теме нашего разговора это не относится — но в каком смысле я лучше?

— Сама толком не знаю, но ты так умно говорил о работе и обо всем прочем. А еще ты такой терпеливый. Да, ты лучше меня.

Дик живо вообразил, как безотраднa жизнь обыкновенного человека. И не нашел ничего такого, что могло бы преисполнить его сознанием собственного превосходства. Он поцеловал край меховой накидки.

— Почему, — продолжала Мейзи, притворяясь, будто не заметила этого, — ты видишь то, чего мне не дано видеть? Я не верю в то, во что веришь ты, и все же верю в твою правоту.

— Бог свидетель, если я и увидел хоть сколько-нибудь, то оказался способен на это лишь благодаря тебе, и я знаю, что одной тебе я мог это сказать. С тобой все на миг будто стало ясным, но я сам не следую собственным поучениям. Ты помогала бы мне... Мы одни на всем белом свете, и... ведь тебе хорошо со мной?

— Ну конечно. Ты даже представить себе не можешь, как бесконечно я одинока!

— Поверь, я очень хорошо себе это представляю.

— Два года назад, когда я еще только сняла дом, я часто бродила по заднему дворику и пыталась плакать. Но я не умею плакать. А ты?

— Давненько уж не пробовал. Но что у тебя было? Переутомление?

— Сама не знаю. Но мне казалось, будто я, безнадежно больная, нищая, умираю с голоду в Лондоне. Эта мысль мучила меня целыми днями, и мне было страшно — невыносимо страшно!

— Мне тоже знаком этот страх. Ничто не может с ним сравниться. Иногда я просыпаюсь от него среди ночи. Но ты бы не должна была знать такого чувства.

— А ты откуда знаешь?

— Это неважно. Скажи-ка, твой капитал, который приносит триста фунтов годовых, надежно помещен?

— В Национальном банке.

— Отлично. Если кто-нибудь станет советовать тебе поместить деньги на более выгодных условиях — если даже это посоветую я сам, — не слушайся. Никогда не трогай капитала, не давай займы ни гроша никому на свете — даже твоей рыжей подружке.

— Перестань делать мне внушения! По-моему, я не так уж глупа.

— В мире полным-полно мужчин, которые за триста фунтов годовых готовы продать душу, и женщины тоже частенько заходят поболтать и перехватить где пятерку, а где десятку: женщина забывает о совести, когда нужно вернуть долг. Береги свои деньги, Мейзи, ведь нет ничего ужасней, чем нищенская жизнь в Лондоне. Я сам немало натерпелся. Разрази меня гром, даже я изведаль страх! А нужно быть бесстрашным.

Каждому человеку суждено испытать уготованные ему терзания — и если он не преодолеет в себе этот кошмар, то может докатиться до самого презренного малодушия. Дик на собственной шкуре испытал, как беспросветна и

невыносима нужда, проникся отвращением к ней до самых глубин души, и, словно для того, чтобы он не возмнил о себе слишком много, воспоминания прошлого постоянно преследовали его и жгли стыдом, когда он сбывал перекупщикам свои картины. Подобно тому, как Нильгау невольно охватывала дрожь при виде зеленой глади озера или мельничной плотины, а Торпенхау всегда пугался руки, занесенной для удара саблей или копьем, сам презирая себя за это, так Дик страшился нищеты, которую некогда испытал, отчасти из собственной прихоти. Ему досталось бремя более тяжкое, чем его друзьям.

Мейзи следила за выражением его лица, таким изменчивым в лунном свете.

— Но ведь теперь у тебя много денег, — сказала она, стараясь его успокоить.

— И все равно этого мало. . . — начал он с безудержной злостью. Потом рассмеялся: — Мне всегда будет для ровного счета не хватать трех пенсов.

— Почему же именно трех пенсов?

— Как-то я взялся отнести чемодан одному человеку от Ливерпульского вокзала до Блэкфрайрского моста. Подрядился за шесть пенсов — ты не смейся, это я серьезно, — деньги мне нужны были позарез. Но он не постеснялся уплатить мне всего три пенса, да и то медью, а не серебром. С тех пор, сколько бы я ни заработал, ничто не возместит мне недоплаченные три пенса.

Эти слова как-то неподобающе звучали в устах человека, только что изрекавшего поучения о святости труда. Они резали слух Мейзи, которая предпочитала, чтобы ей платили восторженными рукоплесканиями, имеющими истинную ценность уже хотя бы потому, что все до них так падки. Она вынула кошелечек и с самым серьезным видом извлекла оттуда трехпенсовик.

— Вот, — сказала она. — Я хочу сама уплатить тебе, Дикки, и пускай это никогда больше тебя не тревожит: ведь это такой пустяк. Ну что, теперь ты получил сполна?

— Получил, — ответил земной апостол бескорыстного творчества, принимая монетку. — Я вознагражден тысячекратно, и отныне вопрос исчерпан. Эту монетку я повешу на свою часовую цепочку и не расстанусь с ней до конца жизни. А ты, Мейзи, сущий ангел.

— Мне что-то надоело сидеть на месте, да и зябко становится. Боже правый! Накидка вся побелела, и твои усы тоже! Я даже не заметила, какой сегодня мороз.

Пальто Дика покрылось на плечах легким налетом инея. Он и сам забыл о холоде. Оба дружно рассмеялись, и этот смех положил конец всяким серьезным разговорам.

Чтобы согреться, они побежали прочь от моря через пустырь, потом остановились поглядеть на прилив во всем его великолепии при лунном свете и на колючий кустарник, который чернел близ берега. Дик испытывал особенное удовольствие от того, что Мейзи воспринимает цветовые оттенки точно так же, как и он — улавливает голубизну в белом тумане, сиреневый проблеск в серых сумерках, — и все вокруг представляется ей не уныло однообразным, а играющим тысячами разных красок. Лунный свет проник в душу Мейзи до самых глубин, и она, обычно такая замкнутая, разоткровенничалась, стала рассказывать о себе и обо всем, чем она была увлечена, — о Ками, мудрейшем из наставников, о девушках, которые занимаются в его мастерской: о полячках, готовых работать до изнеможения, если их не остановить; о француженках, таких трудолюбивых и талантливых на словах, но отнюдь не на деле; об англичанках, усердствующих сверх всякой меры и не способных понять, что поверхностный интерес к делу очень далек от таланта; об американках, чьи резкие голоса, нарушающие тишину знойного дня, могут вконец расстроить и без того напряженные нервы, а если поужинать с ними, непременно живот разболится; о неистовых русских, с которыми нет решительно никакого сладу, — они вечно рассказывают такие ужасы о всякой нежити, что другие девушки визжат, будто их режут; о тупоголовых немках, которые приезжают, чтобы научиться чему-то одному, и, достигнув цели, уезжают такими же тупоголовыми и всю жизнь только копируют чужие картины. Дик слушал, зачарованный голосом Мейзи. Ему живо вспомнилось прошлое.

— Вижу я, там мало что изменилось, — сказал он. — И краски по-прежнему крадут во время завтрака?

— Не крадут. Заимствуют, вот как это называется. Ну конечно же. Я скромна и заимствую только ультрамарин, но есть такие, которые заимствуют даже еще не разведенные свинцовые белила.

— Я сам это делал. Когда видишь палитру, висящую без присмотра, трудно устоять перед искушением. Всякая краска, которая плохо лежит, становится всеобщим достоянием — даже если ее уже развели маслом. Зато каждый приучается беречь свои тюбики.

— Я хотела бы позаимствовать твою палитру, Дик. Может, вместе с ней мне достался бы и твой успех.

— Надо бы отчитать тебя хорошенько, да уж ладно, воздержусь. Как много в мире разнообразия, а ты этого не хочешь видеть, хотя что значит успех, или жажда успеха, или даже самый грандиозный успех по сравнению с... Нет, не стану снова затевать этот разговор. Нам пора назад, в Лондон.

— Дик, прости меня, но...

— Успех тебе гораздо дороже, чем я.

— Не знаю. Не уверена.

— Чем ты меня вознаградишь, если я укажу тебе короткий и верный путь и ты достигнешь всего, чего желаешь, — восторгов, шумихи, суеты и прочего? Обещаешь ли ты беспрекословно мне повиноваться?

— Конечно.

— Прежде всего, как бы ты ни была увлечена работой, никогда не забывай поесть вовремя. На прошлой неделе ты два раза не завтракала, — сказал Дик наугад, но при этом не слишком рисковал ошибиться, поскольку знал, с кем имеет дело.

— Нет, нет — поверь, всего один раз.

— Все равно это никуда не годится. И обедать надо плотно, а не ограничиваться чашкой чая с галетами только потому, что готовить обед хлопотно.

— Да ты просто смеешься надо мной!

— В жизни своей я не говорил более серьезно. Любимая, неужели ты до сих пор не поняла, как бесконечно ты дорога мне? Мне чудится, будто весь мир в заговоре против нас и тебе постоянно грозит смертельная простуда, несчастный случай, потоп, ограбление, смерть от непосильной работы и голода, а я даже не вправе тебя оберегать. Ведь я далеко не уверен, что у тебя хватает здравого смысла одеться потеплее, когда на дворе мороз.

— Дик, с тобой просто невозможно разговаривать, честное слово! Жила же я как-то и без тебя, разве нет?

— Тогда я был далеко и ничего не знал. Но теперь я здесь и готов пожертвовать всем на свете ради того, чтоб иметь право не пустить тебя на улицу, когда идет дождь.

— Ты готов пожертвовать ради этого даже своим успехом?

Тут уж Дик с превеликим трудом удержался от грубости.

— Знаешь, Мейзи, миссис Дженнетт справедливо говорила, что с тобой никакого терпения не хватит! Ты слишком долго прожила взаперти во всяких учебных заведениях и теперь полагаешь, будто люди только тобой и интересуются. Да во всем мире наберется немногим больше тысячи человек, которые хоть сколько-нибудь смыслят в живописи. Вспомни, я видел более тысячи трупов, они усеивали поле, как поганки. Успех создает лишь ничтожная горстка людей. А всем прочим наплевать — решительно наплевать. Насколько я могу судить, каждый мужчина, пожалуй, спорит со своей Мейзи.

— Бедняжка Мейзи!

— Вернес, бедняжка Дик! Ужели ты думаешь, что он в борьбе за то, что для него дороже жизни, захочет хоть прикоснуться к какой-то картине? А если б он и захотел этого, если б этого захотел даже весь мир и миллиард зрителей начал бы превозносить меня и петь мне хвалу, разве это вселило бы спокойствие в мою встревоженную душу, если я знал бы, что ты отправилась за покупками на Эджвер-роуд и ходишь под дождем без зонтика? Ну, будет, пойдем на станцию.

— Но ведь там, на берегу, ты сказал... — робко начала Мейзи.

Дик простонал с отчаяньем:

— Ну да, сказал, сам знаю. Кроме работы у меня ничего нет, в ней вся моя жизнь, на нее вся моя надежда, и я уверен, что постиг закон, которому она подчиняется. Но во мне еще сохранилось чувство юмора — хотя ты почти вышибла его из меня. И при этом я понимаю, что для человечества моя работа значит не так уж много. Слушайся моих слов и не обращай внимания на мои поступки.

У Мейзи хватило благоразумия не касаться больше спорных вопросов, и они вернулись в Лондон, очень довольные своей поездкой. Когда поезд подкатил к перрону, Дик в упоении разглагольствовал о том, как прекрасны прогулки на свежем воздухе. Он обещал купить Мейзи верховую лошадь — самую дивную лошадь, на которую еще не надевали узды, — для себя же приобретет скакуна, арендует конюшню милях в двенадцати от Лондона, и Мейзи, исключительно для укрепления здоровья, станет выезжать с ним на прогулки три раза в неделю.

— Что за глупости, — сказала Мейзи, — ведь это же неприлично.

— Но у кого во всем Лондоне достанет сейчас любопытства или смелости спросить у нас отчета, если нам угодно будет поступить так или иначе?

Мейзи окинула взглядом фонари, туманную мглу и опостылевшую сутолоку на улицах. Пожалуй, Дик был прав; но какая-то кляча не могла заменить Искусство, каким оно ей представлялось.

— Порой ты бываешь очень мил и умен, но куда чаще ты невыносимо глуп. Я не приму от тебя в подарок никаких лошадей и не позволю тебе проводить меня сегодня до дому. Сама доеду. Но изволь дать мне обещание. Ты больше никогда не станешь вспоминать о тех трех пенсах, которые тебе недоплатили, ладно? Не забудь, ты все получил сполна, и я не допущу, чтоб из-за такого пустяка ты презирал мир и работал спустя рукава. Ты способен на очень многое и поэтому не смеешь мелочиться.

Так роли поменялись, и она достойно отомстила за себя. Дику же оставалось только помочь ей сесть в коляску.

— До свиданья, — сказала она просто. — Приходи в воскресенье. Дик, какой чудесный день мы с тобой провели! Почему так не бывает всегда?

— Потому что любовь подобна работе над рисунком: необходимо идти либо вперед, либо назад, оставаться же на одном месте невозможно. Кстати, не прекращай работать над рисунком. Счастливо тебе, и ради меня... ради всего святого, береги здоровье.

Он повернулся и в задумчивости пошел домой. Минувший день нисколько не оправдал его надежд, но все же — и на это не жаль потратить многие дни — он как-то сблизился с Мейзи. Остальное было лишь делом времени, а награда стоила того, чтобы терпеливо ждать. И теперь он вновь безотчетно направился к реке.

— Как она сразу все поняла, — сказал он, глядя на воду. — В мгновение ока нащупала больное место и выкупила мою грешную душу. Боже, как быстро она все поняла! И сказала, что я лучше ее! Лучше ее! — Он рассмеялся, думая о нелепости этой мысли. — Едва ли девушки хотя бы смутно догадываются, какова жизнь мужчин. Нет, не догадываются, иначе... они не стали бы выходить за нас замуж.

Он вынул подарок Мейзи и смотрел на него, словно на какое-то чудо, на залог душевного понимания, которое

в конце концов завершится полнейшим счастьем. Но до тех пор Мейзи беззащитна в Лондоне и окружена опасностями. А среди этого многолюдья, как в дикой пустыне, опасностям нет числа.

Дик обратился к Судьбе с бессвязной мольбой, будто язычник, и бросил серебряную монетку в реку. Если суждено страстись какому-нибудь несчастью, вся тяжесть падет на него и не коснется Мейзи, потому что у него нет сокровища драгоценней этого трехпенсовика. Пускай это просто мелкая монетка, но ее подарила Мейзи, и Темза приняла жертву, так что теперь наверняка удалось умиловить Судьбу.

Бросив монетку в воду, он на время освободился от мыслей о Мейзи. Он сошел с моста и, насвистывая, поспешил домой, потому что после целого дня, впервые проведенного наедине с женщиной, испытывал сильную потребность в мужском разговоре среди клубов табачного дыма. И куда более заманчивое желание охватило его, когда перед ним, словно призрак, возник «Барралонг», — он мчался, рассекая волны и подняв все паруса, в те широты, над которыми сияет Южный Крест.

## ГЛАВА VIII

Было два у Гайаваты,  
Как сказал я, верных друга,  
Музыкант был Чайбайабоб  
И силач великий Квазинд.

*«Гайавата»*

Торпенхау нумеровал последние страницы какой-то рукописи, а Нильгау, который зашел сыграть в шахматы и остался потолковать о политике, просматривал начало, отпуская пренебрежительные замечания.

— Это довольно-таки выразительно и бойко, — сказал он, — но серьезного разбора политического положения в Восточной Европе здесь и в помине нету.

— Мне лишь бы настроичить сколько требуется, и дело с концом... Тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять — ну вот, как будто и все? Получится одиннадцать или двенадцать столбцов отменной брехни. Ого! — Торпенхау сложил листки в стопку и замурлыкал себе под нос:

— Ягнят продаю, продаю ягнят,  
Но будь я, как сам король, богат,  
Я не стал бы кричать: «Продаю ягнят!»

Вошел Дик, держась самоуверенно и даже несколько вызывающе, но чувствуя себя на вершине блаженства.

— Вернулся, наконец? — спросил Торпенхау.

— Допустим. А вы тут что подделываете?

— Работаем. Слушай, Дикки, ты ведешь себя так, будто тебе принадлежит весь Английский национальный банк. За воскресенье, понедельник и вторник ты ни разу не взял в руки кисть или карандаш. Это сущее безобразие.

— Замыслы приходят и уходят, дети мои. Они исчезают, как дым, когда мы с вами покуриваем табачок, — возразил Дик, набивая трубку. — И более того. . . — Он нагнулся и сунул в камин бумажный жгут. — Аполлон далеко не всегда натягивает тетиву своего лука. . . Нильгау, к черту ваши дурацкие шуточки!

— Здесь не место проповедовать теорию вдохновения свыше, — сказал Нильгау, вешая обратно на гвоздь огромные, хитроумно сделанные мехи, которыми Торпенхау раздувал огонь в камине. — Мы же предпочитаем грубые орудия ремесла. Во! То место, на котором сидят.

— Не будь вы таким жирным здоровяком, — сказал Дик, озираясь в поисках оружия, — я бы вас. . .

— Не смейте затевать здесь возню. В прошлый раз вы разворотили половину мебели, когда перебрасывались подушками. Дик, поздоровайся лучше с Дружком. Ты только погляди на него.

Дружок спрыгнул с дивана и терся о колени Дика, царапая когтями его башмаки.

— Славный ты мой! — воскликнул Дик, подхватив пессика на руки и целуя его в черную отметину над правым глазом. — Как делишки, Дружочек? Этот урод Нильгау прогнал тебя с дивана? Куси его, мистер Другс.

Дик усадил пессика на живот Нильгау, который всей своей тушей развалился на диване, и Дружок принялся его трепать, словно хотел растерзать в клочья, покуда толстяк не придавил его подушкой, после чего песик притих, часто дыша и высунув язык всем напоказ.

— Сегодня утром, Торп, прежде чем ты продрал глаза, этот проказник Дружок успел сделать вылазку на улицу. Я видел, как он лебезил перед приказчиком мяс-

ной лавки на углу, когда тот отпирал двери. Можно подумать, будто хозяин его голодом морит, — сказал Дик.

— Ну-ка, Другс, признавайся, правда ли это? — строго спросил Торпенхау.

Песик забился под подушку, выставив лишь упитанный белый задик, словно этот разговор его более не интересовал.

— Сдается мне, что еще один блудливый кобель тоже совершил сегодня вылазку, — заметил Нильгау. — Чего ради ты вскочил ни свет ни заря? Торп полагает, что ты собираешься купить лошадь.

— Он прекрасно знает, что со столь серьезным делом мы могли бы справиться только все втроем. Нет, просто мне стало грустно и одиноко, вот я и съездил взглянуть на море и на проплывающие суденышки.

— Куда же это ты съездил?

— В одно местечко на берегу Ла-Манша. Кажется, оно называется Ухни, или Плюхни, или как там бишь его, не упомню, но это всего в двух часах езды от Лондона, и можно увидеть корабли на плаву.

— Ну и что же, встретился среди них какой-нибудь знакомый?

— Только «Барралонг», который отплывал в Австралию, да одесский транспорт с зерном стоял под разгрузкой. День выдался холодный, но так приятно было подышать соленым морским воздухом.

— Стало быть, это ради встречи с «Барралонгом» ты напялил парадные штаны? — осведомился Торпенхау, ткнув пальцем.

— Да ведь у меня нет ничего другого, ежели не считать рабочего комбинезона. И кроме того, я хотел оказать морю уважение.

— И тебя не манил простор? — любопытствовал Нильгау.

— До безумия. Лучше не говори. Зря я поехал.

Торпенхау и Нильгау обменялись многозначительным взглядом, а Дик меж тем нагнулся, разглядывая обувь под вешалкой.

— Вот эта пара подойдет, — заявил он наконец. — Не могу сказать, чтоб ты проявил хоть малую толику вкуса при выборе домашних туфель, но были б они впору, вот что главное.

Он сунул ноги в просторные мокасины и удобно развалился в глубоком кресле.

— Это моя любимая пара, — сказал Торпенхау. — Я как раз собирался сам ее надеть.

— Какой срам, ты только о себе думаешь. Едва заподозришь, что я хоть минутку хочу провести в свое удовольствие, немедленно норовишь мне так или иначе досадить. Ищи себе другую обувь.

— Скажи спасибо, Торп, что Дик у не по росту твоя одежда. Оказывается, у вас все общее, — сказал Нильгау.

— У Дика нет ничего такого, что я решил бы надеть. Деньжатами у него, правда, всегда разжиться можно.

— Черт тебя побери, неужто ты шарил в моих тайниках? — осведомился Дик. — Вчера я припрятал соверен в жестянке из-под табака. Ну мыслимо ли аккуратно платить по счетам, когда...

Тут Нильгау принялся хохотать, и Торпенхау вторил его смеху.

— Припрятал вчера соверен! Плохо же ты умеешь считать. Месяц назад ты дал мне взаймы пять фунтов. Помнишь? — спросил Торпенхау.

— Конечно, помню.

— А помнишь ли, что через десять дней я вернул деньги и ты сунул их в жестянку?

— Да неужто, разрази меня гром? А я-то думал, они в какой-нибудь из коробок с красками.

— Думал! С неделю назад я зашел к тебе в мастерскую взять табачку и нашел эти деньги.

— Как же ты ими распорядился?

— Сводил Нильгау в театр и накормил обедом.

— Да будь у тебя вдвое больше денег, накормить Нильгау досыта тебе не удалось бы все равно, — разве только армейскими консервами. А эти деньги я рано или поздно нашел бы сам. Ну чего вы смеетесь?

— Как ни кинь, а ты редкостный простака, — сказал Нильгау, все еще посмеиваясь при воспоминании об обеде. — Ну да ничего. Мы оба изрядно потрудились на своем веку, тебе же, бездельнику, эти деньги достались незаслуженно, и мы правильно поступили, когда их потратили.

— Заслушаться можно — до того приятно звучат такие слова в устах человека, который, между прочим, набил брюхо за мой счет. Ничего, в ближайшие же дни я заставлю вас поплатиться, и этот обед вам боком выйдет. А покамест не сходить ли нам в театр?

— Прикажешь обуться, одеваться — и *еще* мыться? — проворчал Нильгау с ленцой.

— Ладно, я отказываюсь от этой затеи.

— А что, ежели мы для разнообразия — ну, положим, в виде редчайшего исключения, — мы с вами, слышите, *мы*, возьмем угли и холст да поработаем немного?

Торпенхау произнес это многозначительно, однако Дик только вытянул ноги в мягких мокасинах.

— Этот болтун определенно помешался на мысли о работе! У меня же если б и были неоконченные эскизы, то нету модели. Будь у меня модель, так нет фиксатива, а я всегда закрепляю свои рисунки углем с вечера. Но будь у меня даже фиксатив и десятка два фотографий, чтоб выбрать подходящий фон, все равно я пальцем не пошевелил бы весь нынешний вечер. Нет настроения.

— Дружок, псина, он ленивая скотина, правда? — заметил Нильгау.

— Ну ладно же, я *впрямь* готов кое над чем поработать, — заявил Дик и вскочил на ноги. — Сейчас принесу книгу «Нунгапунга», и к «Сказанию о Нильгау» прибавится еще одна иллюстрация.

— Не слишком ли ты на него заседаешь? — спросил Нильгау, когда Дик вышел из комнаты.

— Может, и слишком, но я знаю, на что он способен, стоит ему только захотеть. Меня бесит, когда расхваливают его старые работы, в то время как он должен еще столько сделать. Нас с вами ограничивают. . .

— Воля рока и наши возможности, а это особенно печально. Когда-то я мечтал достичь большего.

— Я тоже об этом мечтал, зато теперь мы знаем свой потолок. Но пропади я пропадом, если я могу хотя бы отдаленно себе представить, на что способен Дик, ежели всерьез возьмется за дело. Оттого-то я так встревожен.

— А потом, в благодарность за все твои старания, он от тебя отвернется — и поделом — ради какой-то юбки.

— Дорого бы я дал, чтоб знать. . . как вы думаете, где он был сегодня?

— У моря. Ты обратил внимание на его глаза, когда он говорил о море? Он весь встрепенулся, как ласточка, готовая к осеннему перелету.

— Это правда. Но был ли он там один?

— Не знаю и знать не хочу, но ему явно не сидится на месте, он весь как в лихорадке. Готов к походу, хочет

на простор. Признак безошибочный. Что бы он ни говорил раньше, сейчас его манят далекие края.

— Быть может, в этом его спасение, — заметил Торпенхау.

— Пожалуй — ежели ты решишься взять на себя ответственную роль спасителя: что до меня, я терпеть не могу залезать людям в душу.

Дик вернулся и принес большой, с металлическими застежками альбом, который Нильгау давно и хорошо знал, но всегда недолюбливал. В этом альбоме Дик на досуге зарисовывал всевозможные сценки, какне во всех уголках мира наблюдал сам или же представлял себе с чужих слов. Но особенно благодарный материал давали ему своеобразная внешность и бурная жизнь Нильгау. Когда мало было истинных случаев, он восполнял этот пробел самыми безудержными фантазиями и изображал в весьма неприглядном виде вымышленные факты биографии Нильгау — как тот сочетался браком со многими африканскими принцессами, как вероломно продавал целые армейские корпуса махдистам, дабы обзавестись арабскими женами, как в Бирме самые искусные специалисты разукрасили его татуировкой, как он взял интервью (дрожа от страха) у желтолицего палача на обгаженном кровью эшафоте в Кантоне и, наконец, как душа его переселялась в тела китов, слонов и попугаев. Время от времени Торпенхау сочинял к этим рисункам стихотворные подписи, и в конце концов получилась презабавная галерея, так как Дик, учитывая название книги, в переводе значившее «Обнаженный», счел за благо везде и всюду изображать Нильгау в чем мать родила. Поэтому последний рисунок, на котором сей многострадальный муж требовал в военном министерстве удовлетворить его притязания на египетскую медаль, едва ли можно было назвать приличным. Дик удобно расположился за письменным столом Торпенхау и стал перелистывать альбом.

— Какой бесценной находкой вы, Нильгау, были бы для Блейка! — заметил он. — Некоторые из этих рисунков изобилуют редкостным богатством розовых тонов, каких не увидишь даже в природе. «Нильгау, окруженный махдистами, во время купанья» — ведь это же истинная правда, не так ли?

— Жалкий пачкун, это купанье едва не стало для меня последним в жизни. А что, Дружок еще не представлен в «Сказании»?

— Нет. Этот проказник не совершил ничего достойного, он умеет только жрать да душить кошек. Ну-с, посмотрим. Вот вы в образе святого на витраже в соборе. Сколь эффектно расписаны ваши телеса. Будьте благодарны мне за то, что я с таким искусством увековечил вас для потомков. Через полвека вы будете продолжать жить в редкостных и диковинных репродукциях по десять гиней за штуку. Ну-с, что послужит сюжетом на этот раз? Семейная жизнь Нильгау?

— Таковой в единственном числе не существует.

— Стало быть, многосемейная жизнь Нильгау. Само собой разумеется. Многотысячные толпы его жен на Трафальгарской площади. Извольте. Они стеклись сюда из всех стран мира, дабы присутствовать на бракосочетании Нильгау с прелестной англичанкой. Рисовать лучше всего сепией. Чудесная краска, просто прелесть.

— Ты бессовестно расточаешь свое время, — сказал Торпенхау.

— Успокойся: это полезное упражнение, чтоб рука сохранила твердость, — в особенности ежели рисовать сразу, без карандашного эскиза. — И Дик проворно взялся за дело. — Вот памятник Нельсону. Еще мгновение — и Нильгау воздвигнется рядом.

— Прикрой как-нибудь его наготу хоть теперь.

— Беспременно — я увенчаю его цветами флёрдоранжа, а ее — фатой, ведь как-никак они сочетаются законным браком.

— Вот черт, что ни говори, а лихо он управляется! — воскликнул Торпенхау, заглядывая через плечо Дика, который троекратным движением кисточки обрисовал жирную спину и могучие плечи на фоне гранита.

— Подумать только, — продолжал Дик, — что было бы, имей мы возможность представить на всеобщее обозрение хоть немногие из этих трогательных картинок всякий раз, как Нильгау нанимает бойкого писака, дабы он откровенно высказал публике свое мнение о моих картинах.

— Признай, однако, что всякий раз, как мне приходит в голову подобная мысль, я предупреждаю тебя заблаговременно. Знаю, что не в моих силах разнести тебя так, как ты того заслуживаешь, и поэтому я перепоручаю дело третьим лицам. Юному Маклейгену, например. . .

— Не-ет. . . одну секундочку, дружище: извольте простереть вашу мощную руку, дабы она эффектно выресо-

вывалась на фоне темных обоев, а то вы только и знаете, что болтать да браниться. Вот, левое плечо и рисовать незачем. Ведь я должен прикрыть его фатой в самом буквальном смысле, Куда подевался мой перочинный нож? Ну-с, что вы хотели сказать об этом юнце Маклейгене?

— Я только отдал приказ к выступлению, дабы... дабы он раздолбал тебя за то, что ты принципиально не желаешь создать произведение, которое переживет века.

— И тогда этот безмозглый юнец, — тут Дик откинулся назад и, прищулив один глаз, стал разглядывать неоконченный рисунок, — имея чернильницу и полагая, что он обладает независимыми взглядами, облил меня грязью во всех газетенках. Право же, Нильгау, вы могли бы нанять для такого дела кого-нибудь, уже выросшего из пеленок. Скажи, Торп, как, по-твоему, удалось мне наконец достойно запечатлеть свадебный убор?

— Да как это ты, черт возьми, ухитрился тремя мазками и двумя штрихами так выделить этот убор? — удивился Торпенхау, который не уставал восхищаться художественной изобретательностью Дика.

— Все зависит от того, как положены эти мазки и штрихи. Если б Маклейген столько же смыслил в своем деле, он написал бы лучше.

— Но в таком случае, почему ты не положил эти самые треклятые мазки на полотно, достойное пережить века? — допытывался Нильгау, приложивший немало усилий, дабы нанять для вразумления Дика молодого борзописца, который чуть ли не во всякое время суток, за исключением сна, неустанно рассуждал о смысле и предназначении Искусства, единого и неделимого, как он утверждал в своих писаниях.

— Минуточку, дайте же мне подумать, как наилучшим образом расположить шествие жен. Ведь у вас их целая уйма, и мне придется только набросать их карандашом — всех этих миданок, парфянок, эдомитянок... Так вот, стало быть, я презрел ничтожество, пагубность и нелепость всяких попыток преднамеренно сделать что-либо, как говорится, на века и довольствуюсь сознанием, что уже сделал самое лучшее на сегодня, а потому не стану повторять ничего подобного, по крайней мере в ближайшие часы, а может, и годы. Вероятнее же всего — никогда.

— Как так? Неужто у тебя в мастерской хранится твое лучшее произведение? — поразился Торпенхау.

— Или ты его уже продал? — подхватил Нильгау.

— Отнюдь. Оно не в мастерской и не продано. Более того, продать его невозможно, и вряд ли кто-либо знает, где оно сейчас. Право же, я не... Однако число жен на северной стороне площади катастрофически растет. Обратите внимание, как праведно негодуют бронзовые львы!

— Сказал бы без обиняков, в чем дело, — потребовал Торпенхау, и Дик оторвался от альбома.

— Об этом мне напомнило море, — ответил он, помолчав. — А лучше бы не вспоминать. Штуковина весит несколько тысяч тонн, если только не разрубить ее на части.

— Брось валять дурака, Дик. Тебе незачем становиться перед нами в позу.

— Никакой позы нет и в помине. Это сама правда. Некогда я плыл из Лимы в Окленд на чудовищном, дряхлом, ни к черту не годном пассажирском пароходике, который напоследок использовался как грузовой транспорт и принадлежал захудалой итальянской фирме. Это была умопомрачительная посудина. Нам отгрузили запас угля из расчета не более пятнадцати тонн в сутки, и мы бывали на вершине блаженства, когда с превеликим трудом удавалось довести скорость до семи узлов. Вслед за тем мы стопорили машины и дожидались, покуда не остынут раскалившиеся подшипники, да гадали, не расселся ли пущее прежнего треснувший вал.

— Ты был стюардом или кочегаром?

— В ту пору я случайно разбогател и поэтому плыл пассажиром, иначе, думается, неминуемо работать бы мне там стюардом, — сказал Дик с полнейшей невозмутимостью и вновь принялся рисовать шествие разъяренных жен. — Нас, пассажиров из Лимы, оказалось всего двое, и на судне, в сущности, почти не было людей, зато оно кишмя кишело крысами, тараканами и скорпионами.

— Но какое же отношение это имеет к картине?

— Наберитесь терпения. В свое время та посудина совершала пассажирские рейсы из Китая с китаезами на борту, и всю нижнюю палубу тогда занимали две тысячи коек, предназначенных для этих свиных хвостиков. Все койки были за ненадобностью сожжены в топке, и старое корыто пустовало от носа до кормы, свет же просачивался вниз лишь через тесные люки — а при таком свете работа вызывает нестерпимую досаду, но в конце концов я кое-как приспособился. Долгие недели я слонялся без дела. Мореходные карты были истрепаны до последней

возможности, и капитан не рисковал проложить курс южнее, справедливо опасаясь, что там его застигнет шторм. Поэтому он прилагал все старания, дабы благополучно пройти острова Дружбы, и я спускался на нижнюю палубу и писал картину на левом борту, в носовом отсеке. Там я нашел немного коричневой краски и немного зеленой, какой красят шлюпки, да еще черной, употребляемой для покрытия судовых механизмов, других же красок у меня не было.

— Пассажиры, конечно, решили, что ты с ума спятил.

— С нами плыл только один пассажир, да и то женщина, но ей я обязан замыслом своей картины.

— И что же это была за особа?

— У нее в жилах текла негритянская, еврейская и кубинская кровь, чему вполне соответствовал ее нравственный облик. Она была неграмотна, не имела ни малейшего желания выучиться грамоте, но частенько спускалась на нижнюю палубу и глядела, как я рисую, капитану же это было не по душе, потому что он вез ее задаром, а ему приходилось иногда торчать на мостике.

— Все ясно. Ты, разумеется, не скучал.

— В жизни своей я не проводил время с таким удовольствием. Для начала, когда на море подымалось волнение, мы решительно не знали, пойдем ли мы через минуту ко дну или же каким-то чудом выплывем; зато когда наступал штиль, мне казалось, что я в раю: эта женщина смешивала для меня краски и болтала на ломаном английском, а капитан то и дело спускался на нижнюю палубу якобы потому, что опасался пожара. Сами понимаете, он мог застигнуть нас врасплох в любую секунду, а я замыслил великолепную картину и вынужден был писать ее, имея в своем распоряжении всего три краски.

— Что же натолкнуло тебя на этот замысел?

— Две строчки из стихотворения По:

Ни ангелы неба в горнем краю, ни демоны бездны морской не могли  
Вовек разлучить душу мою с душою красавицы Эннабел Ли.

Он возник сам собой — из моря. Я изобразил битву за обладание обнаженной душой, захлебывающейся в зеленых морских водах, и та женщина послужила мне моделью и для дьяволов, и для ангелов — для дьяволов и для ангелов моря, а меж сонмами их вот-вот утонет бедная душа. Это трудно выразить словами, но когда на нижней палубе бывало светло, картина смотрелась пре-

восходно, так что даже дрожь пробирала. Семь футов на четырнадцать, сделано при переменчивом свете и на такой именно свет рассчитано.

— И эта женщина тебя поистине вдохновляла? — спросил Торпенхау.

— Она да еще море вокруг — прямо-таки несказанно. Картина была весьма и весьма далека от совершенства. Помнится, я из кожи лез, произвольно видоизменяя перспективу множество раз, но все же это лучшее мое произведение. Вероятно, та посуда давно уже пошла на слом или ко дну. Эх! Славное было время!

— Но что же дальше?

— На этом все и кончилось. Когда я сошел на берег, судно зафрахтовали для перевозки шерсти, причем даже грузчики до последней возможности старались держаться подальше от моей картины. Я искренне убежден, что их здорово напугали глаза демонов.

— Ну а женщина?

— Когда я закончил работу, она тоже перепугалась. Прежде чем спуститься вниз и взглянуть на картину, она всякий раз считала за благо перекреститься, от греха подальше. Всего-то навсего три краски, и больше взять неоткуда, и морской простор далеко окрест, и простор для любовных утех, и над всем этим угроза смерти, бог ты мой!

Дик давно уже оторвался от своего рисунка и глядел вдаль, словно пронизывая взором стены.

— А почему бы тебе снова не попробовать испытать нечто в подобном роде? — спросил Нильгау.

— Да потому, что такую благодать невозможно обрести с помощью поста и молитвы. Вот когда судьба снова дарует мне грузовой пароход, и женщину еврейско-кубинских кровей, и новый сюжет для картины, и прежнюю, давно утраченную жизнь, тогда это, пожалуй, будет возможно.

— Здесь тебе судьба ничего этого не дарует, — сказал Нильгау.

— Нет, сам знаю. — Дик резким движением захлопнул альбом. — В этой комнате жарница, как в печке. Отворите окно, ежели кому не лень.

Облокотившись о подоконник, он взгляделся в мрачную тьму Лондона, простертого внизу. Дом возвышался над всем кварталом, и отсюда открывался вид на добрую сотню труб — изогнутые надтрубные козырьки напомина-

ли спины сидящих кошек, а вокруг виднелись еще какие-то уродливые и таинственные сооружения из кирпича и цинка, утвержденные на железных опорах и скрепленные кривыми скобами. В северной стороне, на Пиккадилли и на Лестерской площади фонари разливали медное зарево над черными кровлями, а к югу тянулась длинная вереница огней, светившихся над Темзой. По железнодорожному мосту прогрохотал поезд, заглушив на мгновение неумолчный уличный шум. Нильгау вынул часы, взглянул на циферблат и сказал отрывисто:

— Ночной почтовый отбыл в Париж. Можешь ехать отсюда хоть до Санкт-Петербурга, была бы только охота.

Дик высунулся из окна чуть ли не по пояс, всматриваясь куда-то далеко за реку. Торпенхау подошел и встал рядом, а Нильгау тем временем тихонько приблизился к фортепьяно и поднял крышку. Дружок разлегся на диване, стараясь захватить как можно больше места и всем своим видом давая понять, что потеснить его не так-то просто.

— Ну что, — сказал Нильгау, обращаясь к двум спинам, — неужто вы все это видите в первый раз?

На реке прогудел буксирный пароход, подтягивая баржи к причалу. И снова в комнату вторгся уличный шум. Торпенхау толкнул Дика локтем.

— Здесь хорошо денежки наживать, да плохо жить-поживать, Дикки, верно я говорю?

Подпирая рукой подбородок и все так же всматриваясь в темную даль, Дик ответил словами небезызвестного генерала:

— Боже мой, вот славно было бы разграбить этот город!

Дружок ощутил на своей шерстке прохладный ночной ветерок и жалобно чихнул.

— Из-за нас бедный песик схватит простуду, — сказал Торпенхау. — Идем же. — И они отошли от окна. — В недалеком будущем тебя, Дик, похоронят в Кенсел Грине, если там еще найдется свободное местечко, похоронят в двух шагах от какого-нибудь человека, лежащего там вместе с женой и детьми.

— Упаси меня Аллах от такого конца! Лучше я уеду, прежде чем это произойдет! Мистер Другс, соблаговолите потесниться, дайте прилечь.

Дик плюхнулся на диван и, зевая во весь рот, потрещивал бархатистые уши Дружка.

— Этот дребезжащий сундук давным-давно не настраивали, Нильгау, — сказал Торпенхау. — Кроме вас, к нему никто и не прикасается.

— Нелепая блажь, — буркнул Дик. — Нильгау только тогда и приходит, когда меня нет дома.

— Тебя никогда нет дома. Валяйте, Нильгау, распевайте во все горло, а он пускай слушает.

— Вся жизнь у Нильгау — обман и разбой,  
Его писанина — что Диккенс с водой;  
Но стоит Нильгау песню запеть,  
Сам Махди на месте готов помереть!

Дик процитировал подпись Торпенхау из книги «Нунгапунга».

— Нильгау, а как в Канаде называется антилопа вашей породы?

Тот рассмеялся. Пение было единственным талантом, которым он мог блеснуть в обществе, и это с давних пор испытывали на себе корреспонденты в палатках, раскинутых в дальних странах.

— Что же мне спеть? — спросил он, поворачиваясь на вертящемся табурете.

— «Моль Роу пред утренней зарей», — предложил Торпенхау наугад.

— Нет, — резко возразил Дик, и Нильгау взглянул на него с удивлением.

Эта старая матросская песня, одна из немногих, которую он целиком помнил наизусть, не отличалась особым благозвучием, но прежде Дик много раз выслушивал ее, даже не моргнув глазом. Без дальнейших разговоров Нильгау затянул тот знаменитый напев, что сливается воедино и глубоко трогает сердца морских бродяг:

— Простите-прощайте, испанские девы,  
Простите-прощайте, о девы Испании.

Дик взволнованно заерзал на диване, представив себе, как «Барралонг» с плеском рассекает зеленые морские воды, держа курс туда, где сияет Южный Крест. И вот припев:

— Будем петь и гулять мы, как принято это у истых матросов  
английских,  
Будем петь и гулять на соленых морях, и далеких, и близких,  
Подле старой Англии бросим в проливе мы лот,  
От Уэссана до Силли сорок пять лиг не в счет.

— Тридцать пять, тридцать пять, — возмущенно поправил Дик. — Нельзя так легкомысленно исказить это священное писание. Валяйте дальше, Нильгау.

— Первый остров на нашем пути.  
Землей Мертвеца назывался, —

продолжали они хором и допели конец громовыми голосами.

— Песня была бы куда лучше, если б курс лежал в иные края — скажем, к Уэссанскому маяку, — проговорил Нильгау.

— Который неистово крутится, как взбеленившийся ветряк, — заметил Торпенхау. — Спойте нам еще что-нибудь, Нильгау. Сегодня вы в ударе и ревете не хуже парходного гудка среди тумана.

— Спойте «Лоцмана на Ганге»: вы пели это вечером на биваке перед Эль-Магрибом. К слову сказать, любопытно, многие ли из тех, которые вам подпевали, живы до сих пор?

Торпенхау задумался, припоминая.

— Разрази меня гром! По-моему, только мы с тобой. Рэйно́р, Викери и Динс — все в могиле. Винсент заразился в Каире оспой, приехал сюда больной и умер. Да, уцелели только ты, я да Нильгау.

— Гм! А теперь здешние художники, которые всю жизнь проработали в теплых, удобных мастерских, под охраной полисменов, торчащих на каждом углу, еще осмеливаются утверждать, что я запрашиваю за свои картины слишком дорого.

— Дитя мое, тебе платят за работу, это не страховые жизни, — сказал Нильгау.

— Я рисковал жизнью ради работы. Хватит нравочений. Пойте-ка лучше «Лоцмана». Кстати, где вы эту песню сложили?

— У надгробья, — ответил Нильгау. — У надгробья в одной дальней стране. И сочинил к ней аккомпанемент, который изобилует неподражаемыми басовыми созвучиями.

— Ох уж эта гордыня! Ну, запевайте.

И Нильгау запел:

— Я отдал швартовы, братва, и плыву по бурным волнам,  
Выйти приказано в море мне, стоять на якоре вам.  
Ни разу июньским утром я не прощался с землей  
С легким сердцем таким и совестью чистой такой.

Джо, мой мальчик, плечом к плечу, мы вклинимся в их заслон,  
Не рубить, а колоть мы будем, братва, из ножен кортики вон.  
Чарнок кричит: «Ряды вздой, прорвемся и дело покончим скорей,  
Манит меня бледная вдовушка, Джо, смуглянка же будет твоей!»

Джо, невинный младенец (скоро стукнет тебе шестьдесят),  
Если так темна твоя кожа, в этом кто виноват?  
У Кейти глаза голубые, с чего же твои черны,  
Послушай, зачем, словно углем, они так загрязнены?

Теперь все трое дружно распевали хором, и густой бас, перекрывая остальных, звучал в ушах Дика, как рев ветра в открытом море:

— Орудийный залп на рассвете, с аркебузами — живо! — вперед!  
Адмирала голландского сердце до дна измерил мой лот.

Лотом Ганг измерьте, отлив уж близок, ей-ей,  
Отдам я концы вместе с Чарноком за смуглой невестой своей.  
Поклон мой Кейти в Фэрлайте — Холвелл, спасибо вам;  
Живо! Наш курс на небо по синим зыбучим пескам.

— И отчего это такой вздор тревожит душу? — сказал Дик, пересаживая Дружка с коленей к себе на грудь.

— Смотря какую душу, — отозвался Торпенхау.

— Душу человека, который ездил взглянуть на море, — сказал Нильгау.

— Я не знал, что оно взволнует меня столь глубоко.

— Это говорят все мужчины перед прощанием с женщиной. Но легче расстаться с тремя женщинами, чем со смыслом своей жизни и со своей стихией.

— Да ведь женщина может стать... — едва не проговорился Дик.

— Смыслом жизни, — заметил Торпенхау. — Нет, ей это не дано. — По лицу его скользнула мрачная тень. — Она только твердит о своем сочувствии, о желании помочь в работе и обо всем том, с чем мужчина легко может совладать сам. А потом присылает по пять записок на дню, справляясь, почему это ты, негодник этакий, не торчишь подле нее, не теряешь драгоценное время.

— Оставь свои обобщения, — сказал Нильгау. — Прежде чем дойдет до пяти записок в день, надо через многое пройти и вести себя соответствующим образом. А ты, сынок, лучше этого и не пробуй.

— Не надо было мне ездить к морю, — сказал Дик, стараясь переменить разговор. — А вам не надо было петь.

— Море никому не посылает по пяти записок на дню, — возразил Нильгау.

— Нет, но теперь надо мной тяготеет роковая судьба. Это живучая старая ведьма, и я жалею, что некогда связался с ней. Почему мне не было суждено родиться, вырасти и умереть в какой-нибудь лачуге?

— Слышите, как он предает поруганию свою первую любовь! Почему, черт возьми, ты не хочешь внять ее зову? — сказал Торпенхау.

Прежде чем Дик успел ответить, Нильгау громовым голосом, от которого задребезжали стекла, затянул «Морских волков», а эта песня, как известно всем, начинается словами: «Море, злая старуха», — и после двух весьма выразительных куплетов следует припев, тягучий, как визг лебедки, когда судно со скрипом тянут через перекат, а рядом, выбиваясь из сил, бредут по гальке матросы.

— «Родные матери наши!  
Море роднее вас;  
Оно нам ласкает глаз!» —  
Воскликнули волки морские, —

Нильгау пропел этот куплет дважды, надеясь такой наивной уловкой обратить на него внимание Дика. Но Дик жаждал услышать о прощании моряков с женами.

— «Любимые жены наши!  
Море любимей вас;  
Вновь пробил разлуки час!» —  
Воскликнули волки морские.

Бесхитростные слова песни звучали, как всплески волн у бортов ветхого парходика из Лимы, на котором Дик когда-то смешивал краски, предавался любовным утехам, рисовал в полутьме дьяволов и ангелов, зная, что в любое мгновение капитан, ревнивый итальянец, может всадить ему нож между лопаток. Он дрожал, как в лихорадке, от тяги к странствиям, эта болезнь, которая серьезней многих недугов, признаваемых медициной, вспыхнула, разыгралась, побуждая его, хотя он любил Мейзи больше всего на свете, пуститься в путь, и ему захотелось вновь изведать прежнюю бурную греховную жизнь — драки, брань, азартные игры, ласки ветреных женщин и случайную дружбу; опять подняться на борт корабля, и почувствовать близость моря, и черпать у него

вдохновение для новых картин; потолковать с Бина среди песков, подступающих к Порт-Саиду, пока Желтолицая Тина готовит напитки; услышать ружейную пальбу, увидеть, как дым вздымается клубами, редет и густеет вновь, а потом из него выныривают темные лоснящиеся рожи, и среди этого ада каждый должен сам сохранить свою голову и только ее, не пренебрегая никаким оружием. Это казалось невысказанным, совершенно невысказанным, но...

— «Отцы наши, старцы в могилах!  
Море старше вас;  
В зеленой своей стихии  
Оно упокоит нас!» —  
Воскликнули волки морские.

— Так чего же медлить? — спросил Торпенхау, нарушив долгое молчание, воцарившееся после песни.

— Ты же сам, Торп, не так давно отказался от кругосветного путешествия.

— С тех пор прошел не один месяц, и я возражал лишь против того, чтоб ты старался побольше заработать на путевые расходы. Здесь ты уже расстрелял свои патроны и все они попали в цель. Езжай, поработай в иных краях да наберись свежих впечатлений.

— А заодно сгони лишний жирок: ты так растолстел, что даже смотреть противно, — присовокупил Нильгау, вскочив со стула и ухватив Дика за правый бок. — Вон какой стал мягонький — чистое сало, а все от обжорства. Дикки, тебе просто необходимо размяться и сбавить вес.

— Все мы тут зажрались, Нильгау. Вот вы, если вам доведется еще раз выступить в поход, шлепнетесь на землю, поморгаете глазами, а потом вас одолеет одышка и вы помрете от удара.

— Пустое. Садись на корабль. Плыви снова в Лиму или в Бразилию. В Южной Америке вечно воюют.

— Уж не думаете ли вы, что мне нужны советы, куда ехать? Видит бог, беда лишь в том, что трудно будет остановиться. Но я сказал, что остаюсь, и слово мое верное.

— Когда так, тебя похоронят в Кенсел Грине, и ты утучнишь собою землю наравне со всеми, — сказал Торпенхау. — Ужель тебя беспокоят обязательства перед заказчиками? Уплати неустойку да поезжай. У тебя доволь-

но денег, чтоб путешествовать с королевской роскошью, ежели угодно.

— Торп, у тебя чудовищные представления о радостях жизни. Право, я уже вижу себя в каюте первого класса на борту плавучего отеля водоизмещением в шесть тысяч тонн: и вот я расспрашиваю младшего механика, отчего крутятся машины и не слишком ли сильная жара в кочегарке. Ого! Я поплыл бы, как подобает бродяге, если б вообще имел такое намерение, но у меня его нет. Ладно уж, для начала ограничусь небольшой прогулкой.

— Что ж, по крайности, это лучше, чем ничего. Куда же именно ты решил прогуляться? — спросил Торпенхау. — Для тебя, старина, нет ничего полезительней.

Нильгау заметил, как лукаво блеснули глаза Дика, и промолчал.

— Перво-наперво я отправлюсь в конюшни Рэтрея, возьму там напрокат какую-нибудь клячу и осторожноенько проеду на ней не далее Ричмонд-Хилла. Оттуда я вернусь шажком, чтоб ненароком ее не загнать, ведь если она будет в мыле, Рэтрей обрушит на меня свой гнев. Сделаю это завтра же, разомнусь да подышу свежим воздухом.

Плюх! Дик едва успел заслониться рукой от подушки, которую швырнул ему в лицо взбешенный Торпенхау.

— Он и впрямь должен размяться и подышать воздухом, — сказал Нильгау, наваливаясь на Дика всей своей тяжестью. — Мы ему сейчас устроим и то, и другое. Торп, хватайте каминные мехи.

Тут разговор перешел в потасовку, потому что Дик упорно не разевал рта, но Нильгау плотно зажал ему нос, и все же не так-то легко оказалось втиснуть ему меж зубами горловину мехов; и даже когда это удалось сделать, он все еще отдувался, тщетно пытаясь побороть мощную струю воздуха, покуда щеки его не затрещали от натуги; когда же враги, изнемогая от смеха, обессилели, он принялся с такой яростью колотить их по головам диванной подушкой, что она лопнула по швам и перья разлетелись во все стороны, после чего Дружок, который сражался за Торпенхау, был засунут в полупустой чехол, откуда ему предоставили выкарабкиваться самому, и это удалось ему далеко не сразу, — довольно долго он елозил по полу, напоминая собой большую зеленую сосиску с живой, растревоженной начинкой, а когда наконец выбрался на

свет и готов был потребовать удовлетворения за обиду, три столпа, на которых зиждился его мир, выбирали у себя из волос перья.

— Нет пророка в своем отечестве, — с горечью изрек Дик, отряхиваясь. — Теперь уж нипочем не отчистить со штанов этот поганый пух.

— Все пойдет тебе только на пользу, — сказал Нильгау. — Ты размялся и подышал воздухом.

— Только на пользу, — подтвердил Торпенхау, отнюдь не подразумевая едва прекратившееся дурачество. — Теперь ты будешь знать всему истинную цену и не обленишься окончательно в тепличной обстановке этого города. Поверь моему слову, старый друг. Я говорю откровенно и не стал бы кривить душой. А то у тебя все шуточки.

— Видит бог, ничего подобного нет, — возразил Дик живо и с полнейшей серьезностью. — Плохо же ты меня знаешь, если так думаешь.

— Но я так не думаю, — сказал Нильгау.

— Какие вообще могут быть шуточки у нас с вами, когда нам известно доподлинно, что такое жизнь и смерть? Конечно, мы прикидываемся шутниками, чтобы не отчаяться или не впасть в другую крайность. Разве я не вижу, дружище, что ты постоянно тревожишься за меня и стараешься наставить меня, как работать лучше? Неужто ты полагаешь, что я сам над этим не задумываюсь? Но ты бессилен мне помочь... бессилен... даже ты. Я должен выиграть игру сам и только своим умом.

— Внимайте, внимайте! — возгласил Нильгау.

— Знаешь ли, какое единственное в своем роде событие из «Сказания о Нильгау» я до сих пор не изобразил в книге «Нунгапунга»? — продолжал Дик, обращаясь к Торпенхау, несколько удивленному такой пылкостью.

В альбоме действительно оставалась чистая страница, предназначенная для неосуществленного рисунка, который долженствовал изобразить величайший из всех подвигов, какие Нильгау совершил за свою жизнь: когда-то в юности этот удалец, забыв, что он со всеми своими потрохами принадлежит нанявшей его газете, скакал по выжженной солнцем колючей траве в арьергарде бригады Бредова в тот день, когда кавалеристы атаковали артиллерию Канробера, прикрытую, насколько было известно,

двумя десятками батальонов, дабы подоспеть на выручку разбитому 24-му германскому полку и выиграть время, когда должна была решиться судьба Вионвиля, а также доказать, прежде чем уцелевшие вернутся во Флавиньи, что кавалерия способна атаковать, смять и разгромить непоколебимую пехоту. И всякий раз, как Нильгау приходило в голову, что он мог бы лучше прожить жизнь, получать более солидные доходы и иметь на совести несравненно меньше грехов, он утешал себя воспоминанием: «Я сражался в бригаде Бредова под Вионвилем», — и, воспрянув духом, бывал готов к любой менее серьезной схватке, в которую, возможно, придется вступить на другой же день.

— Знаю, — сказал он серьезно. — Меня всегда радовало, что вы опустили этот эпизод.

— Я опустил его, потому что Нильгау объяснил мне, какой это был урок для германской армии и чему учил Шмидт своих кавалеристов. Я не знаю немецкого. Как бишь он говорил? «Берегите время, а уж строй себя сбережет». И я, старина, должен скакать к своей цели в собственном ритме.

— Tempo ist Richtung<sup>1</sup>. Ты хорошо усвоил урок, — сказал Нильгау. — Торп, пускай он идет один. Его право.

— Быть может, я совершаю самую худшую ошибку, какую только можно совершить, — ошибку просто чудовищную. Но я должен сам убедиться в этом, сам все сообразить, а не равняться на идущего рядом. Невозможность уехать причиняет мне гораздо больше мучений, чем ты полагаешь, но я просто не могу этого сделать, и все тут. Я должен работать по своему разумению и жить по своему разумению, потому что сам в ответе и за то, и за другое. Только не думай, Торп, будто я отношусь к этому легкомысленно. В случае чего я сумею сам запалить серу и ввергну себя в пекло без посторонней помощи, благодарю покорно.

Водворилось тягостное молчание. Потом Торпенхау спросил вкрадчиво:

— А что предложил губернатор Северной Каролины губернатору Южной Каролины?

— Прекрасное предложение. Ведь у нас так давно капли спиртного во рту не было. У тебя, Дик, есть все

---

<sup>1</sup> Темп определяет направление (нем.).

задатки, чтоб стать самым отъявленным наглецом, — сказал Нильгау.

— Я выплюнул изо рта все перья, достойный Другс, и на душе сразу полегчало. — Дик поднял с полу все еще злющего песика и ласково потрепал его по спине. — Ты, Дружок-Малышок, ни за что ни про что очутился в наволочке и должен был вслепую выбираться оттуда, а это, бедняжка, показалось тебе обидным. Ну, не беда. Sic volo, sic jubeo, stet pro ratione voluntas <sup>1</sup>, и не фыркай мне в лицо, потому что я изъясняюсь по-латыни. Спокойной ночи.

И он вышел.

— Поделом же тебе, — сказал Нильгау. — Я предупреждал, что бесполезно с ним спорить. Ему это не по нраву.

— В таком случае он изругал бы меня на чем свет стоит. Ничего не понимаю. Ему не сидится на месте, он весь как в лихорадке, но упорствует. Надеюсь, по крайности, что в один прекрасный день ему не придется уехать вопреки собственному желанию, — сказал Торпенхау.

Очутившись у себя, Дик задался вопросом — и вопрос этот заключался в том, стоит ли весь мир, и все, что есть на лице его, и жгучее желание все это увидеть, единственного трехпенсовика, брошенного в Темзу.

«Так вышло потому, что я посмотрел на море, и недостойно даже думать об этом, — решил он. — В конце концов, когда у нас будет медовый месяц, мы совершим свадебное путешествие — но поедем не слишком далеко. И все же... все же я не знал, что море обладает надо мной столь неодолимой властью. Пока Мейзи была рядом, это не так остро чувствовалось. Винаваты треклятые песни. Вот он опять горланит».

Но Нильгау на сей раз запел «Ноктюрн для Джулии» Геррика, и Дик, не дав ему закончить, вновь появился на пороге, не вполне одетый, но совершенно спокойный, невозмутимый и жаждущий выпивки. Его порыв нахлынул и иссяк, подобно тому, как у форта Килинг за приливом неотвратимо следует отлив.

---

<sup>1</sup> Так хочу, так повелеваю, пусть воля заменит доводы рассудка (лат.).

## ГЛАВА IX

Если я глину простую взял  
И ей искусно форму придал,  
Получился бог, не простой комок, —  
Тем больше славы на долю мою.

Если ты глину простую взял  
И руками ее нечистыми мям,  
Напрасен твой труд, он ляжет под спуд, —  
Тем больше позора на долю твою.

*«Два горшечника»*

Всю следующую неделю Дик не притрагивался к работе. Наконец снова наступило воскресенье. Этого дня он всякий раз ожидал с робостью и нетерпением, но, с тех пор как рыжеволосая нарисовала его портрет, он ощущал в душе гораздо более робости, чем нетерпения.

Выяснилось, что Мейзи решительно отринула его совет серьезно заняться рисунком. Она горячо увлеклась нелепой затеей написать «прелестную головку». Дик не без труда сдержал досаду.

— Тогда что толку давать тебе советы? — сказал он язвительно.

— Но ведь я пишу картину — настоящую картину, и я уверена, что Ками позволит мне выставить ее в Салоне. Надеюсь, ты не против?

— Нет, отчего же. Но ведь ты не успеешь к открытию выставки.

Мейзи несколько смутилась. Ей стало не по себе.

— Из-за этой выставки мы уезжаем во Францию на месяц раньше, чем предполагалось. Здесь я только подготовлю эскиз для картины, а закончу в студии Ками.

У Дика замерло сердце, и он готов был в негодовании развенчать свою королеву, хотя она всегда безупречна. «Именно теперь, когда я возомнил, будто мне удалось чего-то достичь, она уезжает ловить журавля в небе. Этак и рехнуться недолго!»

Но спорить не приходилось, потому что рыжеволосая была тут как тут, в мастерской. И Дик ограничился лишь взглядом, полным неизъяснимой укоризны.

— Жаль, — сказал он, — по-моему, ты совершаешь ошибку. Но какую же картину ты задумала написать?

— Свой замысел я почерпнула из одной книги.

— Это уже плохо. Никак не годится писать картины по книгам. И кроме того...

— Дело было так, — объяснила рыжеволосая, стоя у

него за спиной. — Я читала Мейзи вслух «Град беспроедной ночи». Вы знаете эту книгу?

— Более или менее. Боюсь, что я высказался опрометчиво. Там есть живописные места. Что же пленило ее воображение?

— Образ Меланхолии:

Напряжены ее крыла,  
Могучие, как у орла,  
И все ж они земной гордыни бремя  
Подъять бессильны в высь небес.

И дальше. (Мейзи, дорогая, принеси чай.)

Печать раздумий скорбных на челе,  
У пояса ключи, наряд не ослепляет,  
Хоть в пышных складках весь, он неприступно строг  
И тяжек, как свинец, от головы до ног,  
Ступни ж безжалостно всех слабых попирают.

В голосе девушки звучало ленивое презрение, которого она даже не пыталась скрыть. Дик поморщился.

— Но ведь это уже сделал один скромный художник, некто Дюрер, — сказал он. — Как там говорится в стихах?

Уж три столетия и шесть десятков лет  
Плоды его фантазии нетленны.

С таким же успехом можно заново писать «Гамлета». Пустая трата времени.

— Ничего подобного, — возразила Мейзи, со стуком ставя на стол чашки как бы в подтверждение своих слов. — Я непременно это сделаю. Неужто тебе не ясно, что за великолепное получится произведение?

— Да какая, к черту, может быть работа без достаточной подготовки? Заимствовать сюжет всякий дурак сумеет. Нужна подготовка, чтоб осуществить замысел, — подготовка и убежденность, а не бездумная погоня за случайной прихотью.

Дик процедил эти слова сквозь зубы.

— Ты попросту ничего не понимаешь, — сказала Мейзи. — А я полагаю, что мне это удастся.

И снова за спиной у Дика зазвучал голос:

— Страдалица, работает она неутомимо.  
Работает, душой скорбящая, больная,  
И воля у нее несокрушима,

Рука тверда, ум отдыха не знает,  
Ее страданья претворяя в труд. . .

Сдается мне, что Мейзи намерена изобразить на картине самое себя.

— Восседающей на троне из своих же отвергнутых картин? И не подумаю, милая моя. Меня пленил замысел как таковой. Тебе, Дик, не по душе прелестные головки. И едва ли ты способен их изобразить. Ты обожаешь только кровь и трупы.

— Это уже прямой вызов. Если ты способна изобразить Меланхолию, а не просто печальную женскую головку, то я способен на большее и докажу это. Много ли ты вообще смыслишь в Меланхолиях?

Теперь уж Дик был совершенно убежден, что на свете не много найдется людей несчастнее его.

— Она была женщина, — сказала Мейзи, — и долго страдала, пока чаша страданий не переполнилась. Тогда она начала надо всем этим смеяться, а я решила нарисовать ее и отдать картину в Салон.

Рыжеволосая девушка встала и, посмеиваясь, вышла за дверь.

Дик бросил на Мейзи покорный и безнадежный взгляд.

— Не будем говорить о картине, — сказал он. — Но ты и впрямь хочешь вернуться к Ками за месяц до срока?

— Я должна, чтобы вовремя закончить картину.

— И это единственное, чего ты хочешь?

— Конечно. Оставь глупости, Дик.

— Но ведь у тебя нет способностей. Есть лишь кое-какие мыслишки да мелочные побуждения. Просто непостижимо, откуда в тебе столько упорства, что ты вот уж десять лет ни о чем, кроме работы, думать не можешь. Итак, ты уезжаешь — на целый месяц раньше?

— Этого требует моя работа.

— Твоя работа — тьфу! . . . Но нет, извини, я не хотел тебя обидеть. Пусть так, дорогая. Конечно, твоя работа этого требует, а я. . . я лучше прощусь с тобой до будущего воскресенья.

— Ты даже не выпьешь чаю?

— Нет, спасибо. Ведь ты позволишь мне уйти, дорогая? Тебе же от меня ничего не нужно, а заниматься рисунком бесполезно.

— Лучше бы ты остался, и мы поговорили бы о моей картине. Когда хоть одна-единственная картина имеет успех, это непременно привлекает внимание ко всем остальным. Я убеждена, что у меня есть удачные работы, только никто их не замечает. И напрасно ты так грубо их разругал.

— Прости меня. Мы еще поговорим о Меланхолии как-нибудь в воскресный день. Таких дней будет еще четыре — да, один, два, три, четыре, — а потом ты уедешь. До свиданья, Мейзи.

Мейзи в задумчивости стояла у окна до тех пор, пока не вернулась ее подруга, которая была чуть бледнее обычного.

— Дик ушел, — сказала Мейзи. — А я как раз собралась поговорить с ним о своей картине. Но он только о себе думает, не так ли?

Подруга открыла было рот, словно хотела что-то сказать, но тут же снова сомкнула губы и продолжала читать про себя «Град беспросветной ночи».

А Дик тем временем расхаживал в Парке вокруг дерева, которому уже не первое воскресенье изливал душу. Он ругался на чем свет стоит, и, чувствуя, что английский язык бессилен выразить всю его ярость, стал сетовать на арабском, который как бы нарочно предназначен для изъявления горестных чувств. Он был недоволен наградой, полученной за долготерпеливое повиновение; в равной мере он был недоволен собой; и прошло немало времени, прежде чем он убедил себя, что королева всегда безупречна.

— Пустой номер, — сказал он. — Когда дело касается ее прихотей, я для нее ровным счетом ничего не значу. Но в Порт-Саиде мы после проигрыша удваивали ставку и гнули свое. Это она-то хочет написать Меланхолию! Да у нее нет ни способностей, ни внутреннего чутья, ни подготовки. Одно только желание. Древнее проклятье, которое легло на Рувима, тяготеет и над ней. Совершенствоваться в рисунке она не соизволит, потому что это тяжелый труд. И все же она оказалась сильнее меня. Но я заставляю ее признать, что могу гораздо лучше изобразить эту самую Меланхолию. Конечно, она и тогда не удостоит меня своей благосклонности. Она говорит, что я умею рисовать только кровь и трупы. Не уверен, что у нее самой в жилах течет кровь, а не вода. Но я все равно ее люблю и буду любить, я хочу этого, только бы мне

удалось смирить ее непомерное тщеславие. Я напишу истинную Меланхолию — это будет «Меланхолия, непостижимая для ума». Сейчас же примусь за дело, будь она трижды прок... благословенна.

Он обнаружил, однако, что замысел не рождается по заказу, и сейчас голова его занята лишь мыслью об отъезде Мейзи. В следующее воскресенье она показала ему свои совсем грубые эскизы, но он проявил к ним мало интереса. Время летело стрелой, близилась пора, когда Мейзи будет далеко от него и уже не вернется, хоть бей в набат по всей Англии. Несколько раз он пытался поведать Дружку о «бесполох ничтожествах», но песик наслушался на своем веку столько излияний от Дика и Торпенхау, что даже не повел ухом, похожим на лепесток тюльпана.

Дик удостоился позволения проводить девушек. Они отплывали из Дувра в Кале ночным пароходом, а вернуться намеревались в августе. Стоял февраль, и Дик казалось, что с ним поступили бессердечно. Мэйзи у себя в домике была так занята сборами и упаковкой картин, что ни о чем другом не могла и думать. Дик поехал в Дувр и слонялся там целый день, не находя себе места. Позволят ли ему Мейзи в последний миг себя поцеловать? Он мечтал схватить ее сильной рукой, как хватали при нем женщин в Южном Судане, и увлечь за собой. Но Мейзи не даст себя увлечь. Она взглянет на него серыми глазами и скажет: «Дик, ты только о себе думаешь!» И смелость его покинет. Уж лучше, пожалуй, просто выпросить у нее поцелуй.

Этот поцелуй показался особенно желанным, когда Мейзи, выйдя из ночного почтового поезда в сером плаще и серой дорожной шляпке, поднялась на пристань, по которой гулял ветер. Рыжеволосая выглядела далеко не столь привлекательно. Ее зеленые глаза ввалились, губы пересохли. Дик велел погрузить чемоданы на борт и подошел к Мейзи, которая стояла в темноте под капитанским мостиком. Рыжеволосая смотрела, как с грохотом летят в носовой трюм посылки и ящики.

— Сегодня будет сильная качка, — сказал Дик. — Вы пойдете против ветра. Ну, а можно мне как-нибудь приехать тебя навестить?

— Ни в коем случае. Я буду очень занята. При первой возможности, если ты мне понадобишься, я сама тебя позову. Но, так или иначе, я напишу тебе из Витри-на-

Марне. Мне нужно будет еще не раз с тобой посоветоваться. Ох, Дик, ты много мне помогал! Так много!

— Спасибо тебе за эти слова, милая. Но ведь между нами ничего не изменилось?

— Я не умею лгать. Нет, не изменилось — именно в этом смысле. Только не считай меня неблагодарной.

— К чертовой матери благодарность! — прошипел Дик, отвернувшись к борту.

— Зачем же огорчаться? Сам знаешь, при таком положении я могу лишь испортить жизнь тебе, а ты — мне. Помнишь, что ты сказал в Парке, когда рассердился на меня? Одного из нас придется сломить. Неужели ты не можешь дождаться дня, когда это случится?

— Нет, любимая. Я не хочу, чтоб это сбылось, ты нужна мне такая, как есть.

Мейзи покачала головой.

— Бедняжка Дик, ну что могу я на это сказать?

— Не надо ничего говорить. Можно я тебя поцелую? Один-единственный раз, Мейзи. Клянусь, больше я не попрошу. Тебе это ничего не стоит, а для меня будет верным знаком твоей благодарности.

Мейзи подставила щечку, и Дик под покровом темноты получил наконец заслуженную награду. Это был только один поцелуй, но зато очень долгий, поскольку они не уговорились заранее об его длительности. Мейзи разгневанно отстранилась, а Дик стоял, смущенный и весь охваченный трепетом.

— До свиданья, милая. Не бойся, я ведь не помышлял ни о чем дурном. Виноват. Пожалуйста, береги себя, желаю тебе успехов в работе — особенно над Меланхолией. Я и сам хочу ее написать. Передай от меня привет Ками и старайся не пить сырую воду. Питьевая вода плоха во всяком захолустье, но во Франции она худшая в мире. Напиши мне, если что понадобится, а теперь до свиданья. Поклон твоей подруге, как бишь ее зовут, и... возможно, я поцелую тебя еще раз? Нет... Что ж, воля твоя. До свиданья.

Сердитый окрик вразумил его, что не полагается взбегать стремглав по грузовому трапу. Он спрыгнул на пристань, когда пароход уже отчаливал, и всем своим сердцем стремился ему вослед.

«А ведь ничто, решительно ничто на всем белом свете, кроме ее упрямства, не вынуждает нас расстаться. И эти ночные парходики, которые плавают в Кале, совсем кро-

хотные. Скажу Торпу, чтоб он прописал об них в газетах. Вон, эту скорлупку уже валяет по волнам».

Мейзи долго стояла на том месте, где Дик ее оставил, а потом услышала рядом хрипловатое покашливание. Глаза рыжей девушки пылали ледяным пламенем.

— Он тебя поцеловал! — сказала она. — Как могла ты позволить ему это, когда он тебе безразличен? Как посмела ты принять его поцелуй? Ох, Мейзи, пойдем в туалет. Меня тошнит — нестерпимо тошнит.

— Но мы только что отчалили. Спускайся вниз, дорогая, а я еще побуду здесь. Я не люблю вони из машинного отделения. . . Бедняжка Дик! Он заслужил один поцелуй — всего один. Но я не думала, что это так меня напугает.

Дик вернулся в Лондон на другое утро, как раз к завтраку, который заказал накануне по телеграфу. И он был крайне недоволен, найдя у себя в мастерской лишь пустые тарелки. Он взревел, как медведь в знаменитой сказке, и тотчас же пришел Торпенхау с виноватым выражением на лице.

— Тс-с! — сказал он. — Не надо шуметь. Это я забрал твой завтрак. Пойдем ко мне, и я покажу, зачем он понадобился.

Дик в изумлении остановился у порога, увидев на диване девушку, которая тяжело дышала во сне. Дешевая соломенная шляпка, голубое в белую полоску платье, скорей пригодное для июня, чем для февраля, подол, забрызганный грязью, жакетка, отороченная мехом и лопнувшая по швам на плечах, замызганный зонтик и, главное, стоптанные донельзя туфли говорили сами за себя.

— Послушай, дружище, это просто ужасно! Таких девиц сюда приводить нельзя. Они же обворовывают квартиры.

— Это может показаться ужасным, согласен, но когда я возвращался после завтрака, она забрела в наш подъезд, и ее шатало. Сперва я подумал, что она пьяна, но шатало ее от истощения. Я не мог бросить девушку на произвол судьбы, привел сюда и накормил твоим завтраком. Она чуть не падала в обморок от голода. А едва поела, уснула как убитая.

— Знакомое недомогание. Вероятно, она пробавлялась одними сосисками. Торп, право, ты должен был сдать ее полисмену за притворный обморок в приличном доме. Вот бедняжка! Взгляни только на ее лицо! Здесь

нет и следа порока. Только глупость — вялая, непроходимая, жалкая, суетная глупость. Да, характерная головка. Ты обратил внимание, как сквозь плоть проступают кости на лице и особенно на скулах?

— Варвар бесчувственный! Нельзя отталкивать падшую женщину. Неужто мы не сумеем ей помочь? Ведь она буквально с ног валилась от голода. Чуть не упала мне на руки, а когда дорвалась до еды, поглотила все, как дикий зверь. Даже смотреть было страшно.

— Я могу дать ей денег, только она их, верней всего, пропьет. Но проснется ли она когда-нибудь?

Девушка открыла глаза и посмотрела на мужчин испуганным и вместе с тем вызывающим взглядом.

— Ну как, вам стало лучше? — спросил Торпенхау.

— Ага. Спасибочки. Не больно часто попадаются такие любезные кавалеры, как вы. Спасибочки.

— Давно ли вы демобилизованы с действительной службы? — поинтересовался Дик, заметив шрамы и ссадины на ее руках.

— Да вы-то почему знаете, что я служила? Но ваша правда. Я была прислугой за все. Только мне это пришлось не по нраву.

— А теперь, когда вы сами себе хозяйка, это вам по нраву?

— Неужто можно подумать такое, ежели на меня поглядеть?

— Навряд ли. Минуточку. Не будете ли вы столь любезны повернуться к свету?

Девушка повиновалась, и Дик стал пристально разглядывать ее лицо — так пристально, что она попятилась, словно хотела спрятаться за спиной Торпенхау.

— Глаза подходящие, — сказал Дик, расхаживая по комнате. — Как нарочно созданы для моей картины. А в конечном счете глаза определяют тип всего лица. Само небо послало мне ее в вознаграждение за то, что оно у меня отняло. Теперь, когда бремя еженедельных посещений свалилось с моих плеч, я могу взяться за работу всерьез. Да, ее явно послало само небо. Так. Поднимите-ка лицо чуть выше.

— Полегче, друг мой, полегче. Эдак ты перепугаешь ее до смерти, — заметил Торпенхау, видя, что девушка вся дрожит.

— Скажите ему, чтоб он меня не бил! Ну пожалуйста, скажите, чтоб не бил! Нынче меня уже избил один муж-

чина за то, что я с ним заговорила. И пускай не глядит на меня так! Он ужас до чего злющий. Пускай не глядит на меня! Когда он так глядит, мне кажется, будто я совсем голая!

Слабенькая девушка не выдержала потрясения и расплакалась навзрыд, как ребенок. Дик отворил окно, а Торпенхау распахнул двери настежь.

— Ну полно же,— сказал Дик, стараясь ее утешить.— Если вы боитесь, что мой друг позовет полисмена, можете убежать через эти двери. Но вас никто не намерен трогать.

Еще несколько минут девушка судорожно рыдала, потом принужденно улыбнулась.

— Вас решительно никто не тронет. А теперь послушайте меня. Я из тех людей, которых называют художниками. Знаете ли вы, что делают художники?

— Это которые рисуют черной и красной краской вывески для ростовщиков.

— Они самые. Правда, я еще не возвысился до вывесок. Этим занимаются только маститые академики. А я хочу нарисовать ваш портрет.

— Зачем?

— Просто так, потому что у вас премилая мордашка. Моя мастерская на этом же этаже, через площадку, будете приходиться туда три раза в неделю к одиннадцати утра да сидеть смирно, чтоб я мог вас рисовать, а я за это стану платить вам каждую неделю три фунта. Вот покамест фунт в задаток.

— За здорово живешь? Ну и дела! — Девушка повертела монету на ладони и опять разревелась, что было уже совсем глупо. — И вы, благодетели, не боитесь, что я вас одурачу?

— Нет. На это способны только бессовестные девушки. Не забудьте адрес. Кстати, как вас зовут?

— Бесси... Бесси... А фамилия вам без надобности. Ну, Бесси Голь. Голь Перекатная, ежели хотите. Сами-то вы кто будете? Только все едино, нашей сестре никто не говорит настоящего имени.

Дик вопросительно посмотрел на Торпенхау.

— Я Хелдар, а фамилия моего друга — Торпенхау. Приходите непременно. Вы где живете?

— На Южном берегу... Снимаю комнату за пять шиллингов шесть пенсов в неделю. А вы не шутили, когда обещались платить мне три фунта?

— Сами увидите. И вот что, Бесси, не приходите накрашенной. Это портит кожу, и кроме того, у меня есть всякие краски, какие только душе угодно.

Бесси ушла, вытирая щеки рваным носовым платком. Друзья переглянулись.

— А ты, брат, молодчина, — сказал Торпенхау.

— Боюсь, что верней будет назвать меня дураком. Не наше дело возвращать на путь добродетели всякую Голь Перекатную. И не дело пускать женщину на наш этаж.

— Может, она больше и не придет.

— Придет, ежели убедилась, что здесь ей будет сытно и тепло. Я уверен, что придет, к моему несчастью. Но запомни, дружище, она никакая не женщина: она нужна мне только как модель. Заруби это себе на носу.

— Еще чего выдумал! Да ведь она просто жалкое чучело — панельная девка, только и всего.

— Это тебе сейчас кажется. Вот погоди, дай ей отъестся и освоится. Такие блондиночки быстро полнеют. Через недельку-другую, когда жалкий страх в ее глазах рассеется, ты ее не узнаешь. Она ободрится, повеселеет и станет для меня бесполезной.

— Но ведь ты, конечно, взял ее только из милосердия?.. И мне в угодую?

— Я не имею обыкновения играть с огнем в угодую кому бы то ни было. Я же сказал, что само небо послало ее мне для работы над Меланхолией.

— Сроду не слышал о такой особе.

— Ну что это за друг, который не умеет понимать без слов? Ты должен угадывать мои мысли. Заметил ли ты, каким я стал брюзгой?

— Само собою. Но мало ли по какому поводу ты, бывает, брюзжишь, начиная со скверного табака и кончая бессовестными перекупщиками. А с некоторых пор ты перестал со мной откровенничать.

— Это было возвышенное и вдохновенное брюзжание. Ты должен был догадаться, что оно относится к Меланхолии. — Дик умолк, взял друга под руку и прошелся с ним по комнате. Потом толкнул его в бок. — Ну, *теперь* до тебя дошло? Жалкая растерянность Бесси и ужас в ее глазах совпадают с кое-какими признаками скорби, которую я недавно пережил сам. Столь же важны цвета, оранжевый и черный, каждый с двумя оттенками. Но я не могу растолковывать такие тонкости натошак.

— Право, это похоже на бред. Слушай, Дик, вместо того чтоб нести вздор о лицах, глазах и всяких переживаниях, продолжал бы ты лучше и впредь малевать своих солдат.

— Ты так полагаешь?

Дик начал притопывать каблуками, подпевая:

— Надуты все, как индюки, когда полна сума,  
Гогочут и хохочут, и всюду им раздолье;  
На радостях сходя с ума, когда трещит сума,  
От горя сходят все с ума, став перекатной голью.

А потом, чтобы отвести душу, он сел и написал Мейзи письмо на четырех страницах, полное советов и благих пожеланий, дав клятву целиком посвятить себя работе, как только снова явится Бесси.

Девушка пришла ненакрашенная и одетая без всяких претензий, как ей было велено, но при этом то робела, то напускала на себя преувеличенную развязность. Когда же она убедилась, что надо только смиренно сидеть на месте, а больше от нее ничего не требуют, то осмелела и начала высказываться по поводу обстановки в мастерской без стеснения и зачастую вполне справедливо. Она радовалась теплу, удобству и избавлению от страха перед побоями. Дик сделал несколько этюдов ее головы в одну краску, но подлинный образ Меланхолии ему пока еще не удавался.

— В каком беспорядке вы держите свои кисти да краски! — сказала Бесси через несколько дней, чувствуя себя уже совсем непринужденно. — Небось и одежду так же плохо блюдете. Мужчинам завсегда невдомек, как надобно вдевать нитку в иголку и пришивать пуговицы.

— Я покупаю одежду, чтоб ее носить, и ношу, покуда она не истреплется вконец. А как поступает в таких случаях Торпенхау, мне неведомо.

Бесси старательно обшарила комнату Торпенхау и извлекла на свет целую грудку рваных носков.

— Сколько поспею, заштопаю прямо здесь, — сказала она, — а остальные возьму домой. Знаете ли, я цельные дни сижу дома сложа руки, как благородная, и обращаю на других девушек не больше внимания, чем на мух. Зазря я словечка не скажу, но живо могу им рты заткнуть, ежели мне докучают, будьте уверены. Нет уж, теперь у меня совсем другая жизнь. Я запираю

дверь, и им остается только обзывать меня через замочную скважину, а я сижу себе, как благородная, зная только носки штопаю. На мистере Торпенхау носки так и горят.

«Я ей плачу три фунта в неделю и позволяю наслаждаться своим обществом. Но мне она и не подумает штопать носки. А Торп разве только изредка удостоит ее кивком, когда встретит на лестничной площадке, и ему она перештопала все носки. Таковы женщины», — подумал Дик и, прищурясь, поглядел на Бесси. Как он и предсказывал, сытная и спокойная жизнь преобразила девушку до неузнаваемости.

— Чего вы на меня так смотрите? — выпалила она. — Перестаньте. Когда вы так смотрите, от вас не жди добра. Вы про меня плохо думаете?

— Поглядим еще на твое поведение.

Поведение Бесси было безупречно. Только когда она кончала позировать, стоило немалого труда выпроводить ее на унылую, серую улицу. Ей куда больше нравилась мастерская, глубокое кресло у камелька, где она подолгу засиживалась, штопая носки, дабы оправдать этим свое присутствие. А потом приходил Торпенхау, и Бесси охотно рассказывала удивительные и невероятные случаи из своего прошлого и еще более удивительные истории о теперешней своей жизни, которая так сильно изменилась в лучшую сторону. Она разливала чай, будто имела на это полное право; и Дик порой замечал, что Торпенхау заглядывается на стройную, хорошо сложенную девушку, а Бесси сновала по комнате, и Дик еще сильнее скучал по Мейзи, прекрасно понимая, куда устремлены мысли друга. Бесси неустанно заботилась о белье Торпенхау. Она редко с ним разговаривала, но случалось, они беседовали о чем-то на площадке.

— Такого дурака, как я, днем с огнем не сыщешь, — сказала себе Дик. — Ведь я же знаю, как влечет к камельку того, кто бродит по улицам чужого города, а нашу жизнь в лучшем случае можно назвать одинокой и замкнутой, к чужим несчастьям мы равнодушны. Наверное, и Мейзи иногда испытывает это чувство. Но прогнать Бесси я не могу. Такое начало не сулит ничего доброго. И как знать, далеко ли зайдет дело.

Однажды вечером, уже в сумерки, когда позировать больше было нельзя, Дик задремал, но вскоре его разбу-

дил дрожащий голос, который доносился из комнаты Торпенхау. Он вскочил.

— Ну что теперь делать? Войти туда неловко... Ага, Дружок, вот умница!

Терьер толкнул носом дверь Торпенхау, перешел площадку и улегся на кресле, где только что дремал Дик. Распахнутая настежь дверь осталась незамеченной, и Дик из своей мастерской увидел, как Бесси в полумраке обращалась к Торпенхау с жалобной мольбой. Она стояла на коленях, простирая к нему стиснутые руки.

— Я знаю... сама знаю, — говорила она хрипло, — это очень дурно с моей стороны, но сил у меня никаких нету. Вы ведь добрый, ужас до чего добрый... только меня вы будто не замечаете. А я-то стараюсь, все белье ваше перештопала... ей-ей. Нет, вы поймите, я вовсе не прошу вас на мне жениться. Такого у меня и в мыслях нету. Но неужто вы не мож... не можете жить со мной, покуда не сыщется мисс Добродетель? Я знаю, что сама-то я мисс Грешница, но я готова работать на вас до кровавых мозолей. И не такая уж я дурнушка. Скажите, вы согласны?

Когда Торпенхау ответил, Дик с трудом узнал его голос:

— Послушай-ка. Это невозможно. Ежели начнется война, я в любую минуту могу получить приказ ехать невесть куда. В любую минуту, моя крошка.

— Ну и что с того? Хоть покуда вы здесь, ежели так. Только покуда вы здесь. Мне совсем немного надобно и... вы еще не знаете, как вкусно я умею стряпать.

Она повисла у него на шее.

— Ладно... только... покуда я здесь...

— Торп! — окликнул его Дик из своей мастерской. Он едва мог сдержать волнение в голосе. — Зайди сюда на минутку, дружище. Мне нужна твоя помощь.

«Господи, хоть бы он меня послушался!»

Бесси невнятно пробормотала какое-то ругательство. Она боялась Дика и в ужасе сбежала с лестницы, но, казалось, минула целая вечность, прежде чем Торпенхау вошел в мастерскую. Он встал у камина, закрыл лицо руками и взревел, как раненый буйвол.

— Какого дьявола ты еще суешься? — спросил он после долгого молчания.

— Кто тут во что суется? Твой собственный здравый смысл давно уже говорит тебе, что нельзя делать такие

глупости. Испытание, святой Антоний, оказалось не из легких, но ты его уже выдержал.

— Не надо было мне глазеть на нее, когда она расхаживала по комнатам, как хозяйка. От этого я и потерял голову. Легко ли устоять одинокому человеку? — пожаловался Торпенхау.

— Вот теперь ты рассуждаешь здраво. Да, нелегко. Но коль скоро сейчас нет смысла втолковывать тебе, как обременительно иметь содержанку на стороне, знаешь ли, как ты должен поступить?

— Нет. Если б я только знал...

— Ты должен совершить увлекательное путешествие, чтоб воспрянуть духом. Поезжай в Брайтон, или в Скарборо, или на мыс Прол, полюбуйся на проплывающие корабли. Да не мешкай. Разве это не перст судьбы? Я присмотрю за Дружком, только уезжай поскорее. Против рожна не попрешь. Враг человеческий силен. Лучше убраться от него подальше. Собирай вещи — и в путь.

— Пожалуй, твоя правда. Но куда же мне все-таки ехать?

— А еще специальный корреспондент называется! Сперва собери вещи, потом спрашивай.

Через час Торпенхау сел на извозчика и исчез в ночной тьме.

— По дороге сам решишь, куда отправиться, — напутствовал его Дик. — Для начала езжай на Юстонский вокзал и — это уж непременно — нынче же напейся допьяна.

Он вернулся к себе и зажег все свечи, так как ему показалось, что в мастерской очень темно.

— Ох, Иезавель! Маленькая нечестивая Иезавель! Боюсь, что завтра ты меня возненавидишь... Дружок, ко мне!

Но Дружок, лежавший на коврике у камина, только перевернулся с боку на бок, и Дик в задумчивости пошевелил его ногой.

— Я сказал, что в ней нет порока. И ошибся. Она утверждала, что умеет вкусно стряпать. А это предумышленный грех. Да, Дружок, мужчина неизбежно губит свою душу, но ежели женщина утверждает, что умеет вкусно стряпать, это хуже всякой погибели.

## ГЛАВА X

«Что летит со мной рядом, хочу я знать?»

«Ваш враг, с ним должны вы сразиться, милорд».

«Почему не могу я его обскакать?»

«Это тень вечерняя мчится, милорд».

«Поверни же, мой конь, и врага растопчи!»

«Он простерт уж у вас за спиной, милорд».

Победить вы хотите заката лучи:

Скоро все покроется тьмой, милорд».

*«Бой у Хериотова брода»*

— Вот уж поистине веселенькое житье, — сказал Дик по прошествии нескольких дней. — Торп уехал, Бесси меня возненавидела, образ Меланхолии никак не удается, Мейзи пишет редко и скупо, да еще, кажется, у меня желудок расстроен. Как по-твоему, Дружок, с чего это голова раскалывается от боли, а в глазах рябит? Может, пора глотать какие-нибудь пилюли, чтоб подлечить печень?

Дик только что выдержал пренеприятное объяснение с Бесси. Девушка уже в пятидесятый раз попрекнула его за то, что он принудил Торпенхау уехать. Она облила Дика презрением и ясно дала понять, что позирует ему только ради денег.

— Мистер Торпенхау в десять раз лучше вашего, — добавила она напоследок.

— Ясное дело. Поэтому он и уехал. Я остался бы здесь и спал с тобой.

Девушка села, подперла рукой подбородок и взглянула на него с презрением.

— Это со мной-то! Да будь моя воля, вам бы несдобровать. Не бойся я виселицы, убила бы вас на месте. Прямо на месте. Вы мне верите?

Дик устало улыбнулся. Мало радости жить с мыслью о работе, которая никак не удается, с фокстерьером, который не может говорить, и в обществе женщины, которая говорит без умолку. Он хотел ответить, но в этот миг в углу мастерской всколыхнулась тонкая завеса и обволокла его, словно воздушная ткань. Он протер глаза, но серая пелена не рассеялась.

— А все потому, что желудок у меня вконец расстроен. Дружок, придется нам сходить к доктору. Это не дело, глаза надо беречь, чтоб добывать хлеб насущный и бананьи косточки для таких вот славных песиков.

Доктор, приветливый седоволосый старичок, практиковавший по соседству, слушал молча, пока Дик не

заговорил о серой дымке, которая появилась в мастерской.

— Всякий из нас время от времени требует мелкой починки и заплаток, — застрекотал он. — Как и корабль, любезный друг, — в точности, как корабль. Порой возникает трещина в корпусе, и мы обращаемся к хирургу, порой неисправен такелаж, это по моей части, порой застопорит головную машину, тогда требуется психиатр, а порой впередсмотрящий теряет остроту зрения, и нужно показаться окулисту. Советую вам показаться окулисту. Мелкая починка время от времени требуется всякому из нас, только и всего. Обязательно покажитесь окулисту.

Дик разыскал окулиста — самого знаменитого в Лондоне. Он был уверен, что местный доктор ничего не смыслит в своем деле, и более чем уверен, что Мейзи поднимет его на смех, если ему придется носить очки.

— Я слишком долго пренебрегал предостережениями милорда желудка. Оттого, Дружок, у меня и рябит в глазах. Но вижу я ничуть не хуже прежнего.

Когда он вошел в скупое освещенный коридор, который вел в приемную окулиста, его едва не сбил с ног какой-то человек. Он стремглав выбежал на улицу, но Дик успел заглянуть ему в лицо.

— Явно из пишущей братии. Форма лба в точности как у Торпа. До чего же он мрачен. Вероятно, узнал, что дела его плохи.

При этой мысли Дика объял настоящий ужас, такой ужас, что у него перехватило дух, и он вошел в приемную, где стояла массивная резная мебель, а на стенах, оклеенных темно-зелеными обоями, висели блеклые цветные литографии. Среди них он заметил репродукцию одного из своих рисунков.

Множество людей дожидались приема. Взгляд Дика привлек сборник рождественских песнопений в алом, тисненном золотом переплете. К доктору часто приводили детей, и такие книги с крупным шрифтом лежали здесь для того, чтобы их занять.

— Низкопробное идолопоклонническое Искусство, — сказал Дик, придвинув книгу к себе. — Судя по изображениям ангелов, сборник этот издан в Германии.

Он открыл книгу наугад, и в глаза ему бросились стишки, напечатанные красными буквами:

Возрадовалась истинно Мария  
И сразу все втроем,

Узрев, как сын ее Христос содеял чудо:  
Слепых Он исцелил при сем;  
Слепых Он исцелил, и вот господня воля  
Для нас превыше всех святых.  
Отцу, и сыну, и святому духу слава  
Во веки всех веков, аминь!

Дик читал и перечитывал эти стишки, а когда подошла наконец его очередь, сел в кресло, и доктор наклонился над ним. Луч света, отраженный зеркальцем, ослепил его, и он моргнул. Доктор ощупал на голове шрам от сабельного удара, и Дик коротко рассказал, как его ранили. Когда луч перестал бить в глаза, он увидел лицо доктора, и его снова охватил ужас. А доктор говорил какие-то туманные слова. Дик уловил среди них лишь «шрам», «лобная кость», «зрительный нерв», «соблюдайте крайнюю осторожность» и «необходимо избегать умственного напряжения».

— Каков ваш приговор? — едва вымолвил он. — Ведь я художник, мне дорога каждая минута. Что же вы посоветуете?

Снова словесный водоворот, но теперь смысл был понятен.

— У вас не найдется чего-нибудь выпить?

В этом кабинете с задернутыми шторами приговоры выносились многократно, и у подсудимых часто возникла потребность подкрепить силы. Дик почувствовал в руке рюмку с коньяком.

— Насколько я понял, — сказал он, поперхнувшись обжигающим горло напитком, — вы находите у меня поражение зрительного нерва или что-то в этом роде, а стало быть, надежды нет. Много ли мне остается времени, если я буду избегать тягот и волнений?

— Вероятно, около года.

— Бог ты мой! Ну, а если я не стану себя беречь?

— Право, затрудняюсь сказать. Невозможно в точности установить всю глубину поражения вследствие сабельного удара. Шрам у вас застарелый, и... вы говорите, что долгое время подвергались в пустыне ослепляющему воздействию солнечных лучей? И к тому же злоупотребляли зрением, отделявая свои рисунки до мельчайших штрихов? Право, я затрудняюсь.

— Простите, пожалуйста, но для меня это полнейшая неожиданность. С вашего позволения я посижу здесь еще минутку, прежде чем уйти. Я вам глубоко признателен

за то, что вы сказали мне правду. Но это полнейшая неожиданность, право же, полнейшая неожиданность. Спасибо.

Дик вышел на улицу, где его восторженно встретил Дружок.

— Плохи наши дела, песик! Хуже некуда. Пойдем-ка в Парк да поразмыслим немного.

Они дошли до памятного Дикю дерева и уселись под ним, потому что у Дика от ужаса подкашивались ноги и нестерпимо саднило под ложечкой.

— Отчего это обрушилось на меня так неожиданно? Словно выстрел в спину. Ведь это, Дружок, все равно что быть похороненным заживо. Через какой-нибудь год, ежели даже соблюдать всяческие предосторожности, нас окутает непроницаемая тьма, и мы уже никого не будем видеть, не сможем осуществить ни одного своего желания, живи хоть до ста лет. — Дружок радостно завил хвостом. — Нет, Дружок, тут надо поразмыслить всерьез. Попробуем испытать, каково быть слепым.

Дик зажмурился, и перед ним во мраке уже витали огненные крючья и пыточные колеса. Но когда он открыл глаза и посмотрел в глубь Парка, зоркость его не претерпела никакого ущерба. Сперва он все видел явственно, потом же вокруг вновь медленно завертелся ослепительный фейерверк.

— Да, малыш, дела наши совсем дрянь. Пойдем домой. Если б Торп был сейчас со мною!

Но Торпенхау был на юге Англии, где вместе с Нильгау осматривал доки. От него приходили лишь короткие и загадочные письма.

Дик ни в радости, ни в горе никогда не искал чьей-либо поддержки.

В своей опустелой мастерской, где одному из углов суждено было навсегда украситься серой дымкой, он убеждал себя, что если судьбой ему предназначено ослепнуть, никакой Торпенхау его все равно не спасет.

— Не могу же я вызвать его и заставить прервать поездку для того лишь, чтоб он сидел тут и выражал мне сочувствие. Я должен справиться собственными силами, — сказал Дик.

Он лежал на диване, покусывая ус и стараясь представить себе, что он будет чувствовать, когда навеки погрузится в беспросветный мрак. Потом ему вспомнилось необычайное зрелище, которое он некогда наблюдал в

Судане. Широкий наконечник арабского копья распорол солдата чуть ли не надвое. Сперва бедняга не почувствовал боли. Но когда он опустил глаза, то увидел, что истекает кровью. Тупое недоумение на его лице выглядело столь смехотворно, что Дик и Торпенхау, которые сами еще не успели перевести дух и опомниться после жестокой схватки не на жизнь, а на смерть, громогласно расхохотались, и солдат словно готов был подхватить этот хохот, но губы его искривила жалкая ухмылка, признак предсмертной агонии, и он, стеная, рухнул у их ног. Припомнив этот кошмар, Дик и теперь засмеялся. Он попал в подобное же положение. «Но мой срок еще не настал», — внушал он себе.

Он расхаживал по мастерской, поначалу медленно, но вскоре подстегиваемый неодолимым ужасом, пустился почти бегом. Чудилось ему, будто какая-то черная тень неотступно преследует его, гонит все вперед и вперед; а в затуманенных глазах сплетались багровые круги и роились алые точки, словно капли крови от булавочных укулов.

— Спокойно, Дружок, спокойно. — Дик произнес это вслух, стараясь себя ободрить. — Конечно, хуже некуда. Но что же теперь делать? Ведь надо что-то делать. Времени отпущено совсем мало. Еще сегодня утром я не поверил бы этому, но теперь совсем другое дело. Дружок, что сделал Моисей, когда свет потух?

Дружок умильно осклабился во всю пасть, как и приличествует благовоспитанному терьеру, но никакого совета не подал.

— «Будь вдоволь времени, тогда, Дружок, и робость не беда... Но слышу, настигает нас...» — Он с отвращением вытер лоб, покрытый испариной. — Что же мне делать? Что делать? Просто ума не приложу, мысли путаются, но что-то делать надо, иначе я совсем рехнусь.

Дик снова забегал по мастерской, но порой останавливался, извлекая на свет свои давно заброшенные полотна и старые альбомы с эскизами: он безотчетно искал успокоения в работе, обращаясь к ней, как к чему-то такому, что не может ему изменить.

— И ты никуда не годишься, и ты тоже никуда не годишься, — твердил он всякий раз, взглянув на очередную картину или эскиз. — Довольно с меня солдатни. Это мне

не удавалось. Внезапная гибель вот-вот настигнет меня самого, и все это смертоубийство слишком похоже на мою судьбу.

День угасал, и на мгновение Дику померещилось, что слепота уже напала на него врасплох, застилая все вокруг густеющей тьмой.

— Всесильный Аллах! — возопил он в отчаянье. — Помоги моему долготерпению, а я уж не возропшу, когда придет возмездие. Но что делать мне теперь, пока свет еще не померк?

Ответа не последовало. Дик медлил, стараясь совладать со своими чувствами. Пальцы у него тряслись, а ведь он всегда гордился их твердостью; он чувствовал, что губы его тоже трясутся и холодный пот струится по лицу. Ужас терзал его душу, он жаждал немедленно взяться за работу и хоть что-то довести до конца, но помраченный рассудок вновь напоминал ему о неотвратимо грядущей слепоте.

— Право же, это унижительно, — сказал он, — но, по счастью, Торпенхау в отъезде и не может видеть, до чего я докатился. Доктор посоветовал избегать волнений. Дружок, иди ко мне, я тебя приласкаю.

Песик взвизгнул, потому что Дик едва не задушил его в объятиях. Но когда он услышал в сумерках человеческий голос, то собачьим своим умом сообразил, что ему-то ничто не угрожает. . .

— Аллах милосерд, Дружок. Конечно, он мог бы обойтись с нами и благосклонней, но об этом потолковать мы еще успеем. Кажется, я нащупал теперь правильный путь. Все эти эскизы головы Бесси были нелепостью, из-за них, песик, твой хозяин чуть не остался в дураках. Зато теперь все яснее ясного — «Меланхолия, непостижимая для ума». Здесь непременно должны быть черты Мейзи, потому что она никогда не будет моей, но и черты Бесси тоже, ведь она все знает про Меланхолию, хотя сама не знает, что знает это; я стану рисовать, и все закончится смехом. Таково мое желание. Будет она хихикать или ухмыляться? Нет, она будет откровенно хохотать с полотна, и всякий, кто сам изведал скорбь, будь то мужчина или женщина, непременно. . . как это сказано в стихах?

Услышит зов, душой узнает друга  
В тот миг, когда кипит смертельный бой.

«Смертельный бой»? Ну что ж, это лучше, чем писать картину лишь ради того, чтоб досадить Мейзи. Теперь у меня получится, потому что я сам все прочувствовал до глубины души. Дружок, вот я вздерну тебя за хвост. Ты предскажешь мою судьбу. Ко мне.

Дружок безропотно повис в воздухе.

— Совсем как подопытный кролик. И все же ты молодчина, мой верный песик, ты даже не пикнул, когда я тебя вздернул безо всякой пощады. Это судьба.

Дружок снова улегся в кресле, то и дело поглядывая на Дика, который расхаживал взад-вперед по мастерской, потирая руки и посмеиваясь. Уже поздней ночью Дик написал Мейзи нежнейшее письмо, в котором справлялся о ее здоровье, но умолчал о своем собственном, а когда наконец его сморил сон, ему привиделась та Меланхолия, чей образ еще предстояло создать. Лишь рассвет пробудил его и заставил вспомнить о том, что ему суждено в недалеком будущем.

Он тотчас же принялся за работу, негромко насвистывая, и вскоре преисполнился той прозрачной, проникновенной творческой радости, которая так редко выпадает на долю смертного, если только он не возомнил себя равным богу и не отрицает того, что в предназначенный час его жизнь оборвется. Дик позабыл и Мейзи, и Торпенхау, и Дружка, примостившегося теперь у его ног, но не преминул рассердить Бесси, и без того уж сердитую, довел ее до бешенства, дабы только уловить жгучие искры в ее глазах. Он работал самозабвенно, отбросив всякие мысли об уготованной ему роковой участи, одержимый своим замыслом и поэтому неподвластный земной суете.

— Нынче, видать, у вас радость, — сказала Бесси.

Дик описал муштабелем какие-то круги, словно свершая магическое действие, подошел к буфету и опрокинул стаканчик спиртного. Вечером, после целого дня работы, когда вдохновение наконец иссякло, он снова наведалься к буфету и после нескольких таких посещений обрел уверенность, что окулист просто-напросто врал, поскольку он, Дик, так ясно все видит. Ему представлялось даже, как он приготовит для Мейзи уютную квартирку, и тогда уж она волей или неволей станет его женою. Наутро эти мечтания исчезли, но буфет со всем своим содержимым по-прежнему был к его услугам. Он снова принялся за работу, а в глазах мельтешили крапинки, закорючки, пятна, пока он не подкрепился у буфета, и тогда Меланхо-

лия, как на холсте, так и в его воображении, стала еще прекрасней. Он предавался сладостной беспечности, присущей тем людям, которые еще живут среди ближних, но знают, что болезнь вынесла им смертный приговор, а страх приводит лишь к пустой трате быстротечного времени, и предпочитают ему безудержное веселье. Дни протекали без особых событий. Бесси всегда приходила в урочное время, и хотя Дику чудилось, будто голос девушки доносится откуда-то издалека, лицо ее он по-прежнему видел близко и отчетливо, и вот уже Меланхолия воссияла на полотне в облике женщины, которая извела всю скорбь в мире и теперь хохочет над нею. Правда, углы мастерской подернулись серой дымкой, а потом вовсе канули во тьму; рябь перед глазами и головные боли причиняли тяжкие страдания, и было трудно читать письма Мейзи и еще трудней на них отвечать. Он не мог написать ей о своем несчастье, не мог смеяться, когда она описывала свою работу над Меланхолией, всякий раз уверяя, что картина почти закончена. Но дни, заполненные неистовым трудом, и ночи, овеянные безумными грезами, вознаграждали за все, а буфет был ему лучшим другом. Бесси совсем замкнулась в себе. Когда Дик рассматривал ее, прищурился глазами, она злобно взвизгивала. А потом хмурилась или глядела на него с отвращением, стараясь разговаривать как можно меньше.

Торпенхау отсутствовал полтора месяца. Наконец невразумительное письмо возвестило о его скором приезде.

«Новость! Потрясающая новость! — писал он. — Нильгау уже знает, и Беркут тоже. Мы все приезжаем в четверг. Приготовь завтрак да приведи в порядок свое снаряжение».

Дик показал письмо Бесси, а она обругала его за то, что он вынудил Торпенхау уехать и загубил ее жизнь.

— Ну уж, — грубо сказал Дик, — лучше тебе быть здесь, чем путаться с каким-нибудь пьяным скотом на улице.

Он чувствовал, что избавил Торпенхау от опаснейшего соблазна.

— Навряд ли это хуже, чем торчать с пьяным скотом в мастерской. А *вы* за три недели ни разу трезвым не были. Пьете без просыпу, да еще воображаете, будто вы лучше меня!

— Это как же понимать?

— Как понимать! Вот узнаете, пускай только мистер Торпенхау возвратится.

Ждать пришлось недолго. Бесси встретила Торпенхау на лестнице, но он не удостоил ее внимания. Он привез столь важную новость, что никакая Бесси на свете не могла его заинтересовать, а Нильгау и Беркут топали вслед за ним по лестнице, громогласно призывая Дика.

— Пьет беспробудно, — шепнула Бесси. — Вот уж, почитай, целый месяц.

Она украдкой проскользнула за мужчинами, чтобы увидеть, как свершится правосудие.

Они с веселыми возгласами ввалились в мастерскую, где их что-то уж слишком бурно приветствовал жалкий, отошавший, изможденный, сутулый страдалец, — давно не бритый, с сизой щетиной на подбородке, он тревожно поглядывал на них исподлобья. Хмель действовал так же активно, как сам Дик.

— Тебя ли я вижу? — спросил Торпенхау.

— Вот все, что от меня осталось. Присаживайся. Дружок в добром здравии, а я хорошо поработал.

Он покачнулся, едва устояв на ногах.

— Вижу, как ты поработал, такого с тобой сроду не бывало. Ну и дела, ведь ты. . .

Торпенхау многозначительно поглядел на своих друзей, и они ушли, решив позавтракать где придется. Тогда он высказался; но дружеские упреки слишком сокровенны и задушевы, чтобы их печатать, а Торпенхау употребляет столь образные и сильные выражения, не считаясь с приличиями, и презрение его было столь неизъяснимо, что никто не узнает доподлинно про этот разговор с Диком, который только моргал, жмурился и хватал друга за руки. Потом виновный испытал потребность хоть как-то оправдаться. Он был убежден, что нисколько не погрешил против добродетели, и к тому же у него были причины, совершенно не известные Торпенхау. Сейчас он все объяснит.

Он встал, с трудом распрямил плечи и заговорил, смутно различая лицо собеседника.

— Ты прав, — сказал он. — Но и я прав тоже. После твоего отъезда у меня что-то приключилось с глазами. Я пошел к окулисту, и он посветил мне газогенератором — то бишь газопроводом — прямо в глаза. Это было уже давненько. Он сказал: «Рубец на голове. . . сабельная рана и зрительный нерв». Это ты заметь. Зна-

чит, я ослепну. Но, прежде чем ослепнуть, я хочу закончить одну работу; мне кажется, я непременно должен ее закончить. Я уже и сейчас вижу плохо, но когда бываю пьян, зрение обостряется. Я сам не знал, что бываю пьян, куда мне не сказали, и все же работу необходимо продолжать. Вот она, можешь поглядеть, ежели хочешь.

Он указал на почти готовую Меланхолию, ожидая изъяснений восторга.

Торпенхау хранил молчание, и Дик тихонько заплакал от радости, что вновь видит друга, от горестного сознания своей провинности — если он и впрямь совершил провинность, — после которой Торпенхау стал таким отчужденным и безразличным, и от детской обиды, уязвленный в своем тщеславии, потому что Торпенхау ни единым словом не похвалил его изумительную картину.

Долгое время спустя Бесси заглянула в замочную скважину и увидела, что Торпенхау обнял Дика за плечи, и они, как бывало, расхаживают по мастерской. Тут она произнесла до того непристойные слова, что возмутила даже Дружка, который терпеливо ожидал своего хозяина на лестничной площадке.

## ГЛАВА XI

Жаворонок поет, бога хваля,  
И куропатка скликает птенцов,  
А я уж забыл, как бродил по полям,  
По цветущим коврам лугов.  
Горько не знать ни ночи, ни дня,  
Но горше знать, что мой час наступил  
И охотничий рог трубит без меня,  
А ведь некогда сам я в него трубил.

*«Единственный сын»*

Третий день после своего возвращения Торпенхау встретил с тяжелым сердцем.

— Стало быть, ты утверждаешь, что не можешь работать без виски? Обычно бывает как раз наоборот.

— Вправе ли пьяница клясться своей честью? — спросил Дик.

— Да, если прежде он был таким же славным малым, как ты.

— Тогда даю тебе честное слово, что это так, — сказал Дик, лихорадочно шевеля пересохшими губами. — Друг мой, я уже едва различаю твое лицо. Целых два

дня ты не позволяешь мне выпить ни капли — ежели признать, что прежде я беспробудно пьянствовал, — и я даже не притронулся к работе. Не удерживай меня больше. Ведь в любой миг я могу совсем ослепнуть. Точки, пятна, головные боли и тягостные мысли одолевают меня пуще прежнего. Клянусь, я вижу вполне ясно, когда... когда бываю в подпитии, как ты изволишь выражаться. Пускай Бесси позирует мне еще всего три раза, и дай мне это самое... ну, чего я жажду, а там картина будет готова. Ведь за три дня я не сдохну. В худшем случае допьюсь до белой горячки.

— Ладно, но ежели я дам тебе три дня, можешь ты обещать мне бросить после этого работу и... все прочее, пускай даже картину не удастся закончить?

— Нет, не могу. Ты не представляешь себе, как много значит для меня эта картина. Но, конечно же, ты волен кликнуть на помощь Нильгау, вы повалите меня на пол и скрутите веревками. За картину я готов драться, но за виски не стану.

— Что ж, ваяляй. Даю тебе три дня, хотя ты надрываешь мне сердце.

Дик снова взялся за дело и работал как одержимый; зеленый змий не покидал его и рассеивал рябь перед глазами. Меланхолия была почти закончена и во всех отношениях получилась именно такой или почти такой, как он мечтал. Дик подшучивал над Бесси, которая неустанно напоминала ему, что он «пьяный скот»; эти попреки ничуть его не затрагивали.

— Бесс, ты просто не понимаешь. Впереди уже показалась земля, вскоре мы бросим якорь и поразмыслим над сделанным. Когда я окончу картину, уплачу тебе за целых три месяца, а как только примусь за новую... впрочем, это неважно. Ежели ты получишь плату за три месяца, то, надеюсь, не будешь меня так ненавидеть?

— Ну, еще чего! Я вас ненавижу и буду ненавидеть по гроб жизни. Мистер Торпенхау не хочет со мной даже разговаривать. Он только разглядывает всякие карты да листает книжицы в красных обложках.

Бесси предпочла умолчать о том, что она снова попыталась взять Торпенхау измором, но он, выслушав все мольбы, подхватил ее, чмокнул в щечку, а потом выставил за дверь и посоветовал быть умницей. Почти все время он проводил в обществе Нильгау, толкуя о близкой войне, о транспортных судах и тайных приготовлениях,

которые полным ходом шли в доках. Дика он не желал видеть до тех пор, пока картина не будет закончена.

— Дик работает над выдающимся произведением, — сказал он Нильгау, — в совершенно необычном для него духе. Но при этом напивается до чертиков.

— Пускай. Оставь его. Как только он придет в чувство, мы увезем его подышать свежим воздухом. Бедняга Дик! Но и тебе, Торп, не позавидуешь, когда он совсем потеряет зрение.

— Конечно, случай тяжелый: «И да поможет бог тому, кто с нашим Дейви цепью скован». Хуже всего, что мы понятия не имеем, как скоро это случится, и, по-моему, Дик так беспробудно пьет главным образом оттого, что тяготится неизвестностью и ожиданием.

— Вот злорадствовал бы тот араб, который когда-то полоснул его саблей по башке, ежели б узнал про это!

— Пускай бы злорадствовал сколько влезет, когда б мог. Но ведь его нет в живых. Правда, для нас это плохое утешение.

Под конец третьего дня Торпенхау услышал призывающий голос Дика.

— Готово! — восклицал он. — Свершилось! Ну, входи же! Разве она не очаровательна? Разве не прелестна? Я извлек ее со дна преисподней, но ведь она стоит этого!

Торпенхау взглянул на голову хохочущей женщины — у нее были пухлые губы, ввалившиеся глаза, и она хохотала с полотна, в точности как задумал Дик.

— Кто подвигнул тебя на такое дело? — спросил Торпенхау. — Ведь это чуждая тебе манера, да и замысел тоже. Ну и лицо! Ну и глаза, ну и бесстыжая рожа! — Он невольно запрокинул голову и захохотал, совсем как женщина на картине. — Она проиграла последнюю игру — видимо, и раньше жизнь не больно-то ее баловала. А теперь она ко всему равнодушна. Верно ли я понял?

— Совершенно верно.

— Но откуда эти губы и подбородок? Ни малейшего сходства с Бесс. . .

— Их. . . их я взял у другой. Но ведь хорошо? Изумительно хорошо? И я не зря вылакал столько виски? Я справился с делом. Только я мог с ним справиться, и вот моя лучшая работа. — Он порывисто перевел дух и прошептал: — Боже правый! Что бы только я не написал через десять лет, ежели уже теперь сумел написать это! . . . Кстати, Бесс, как твое мнение?

Девушка кусала губы. Она злилась на Торпенхау за то, что он ее словно не замечал.

— Такой гадкой и грязной пачкотни я сроду не видывала, — ответила она, отворачиваясь.

— Многие будут того же мнения, моя крошка. . . Послушай, Дик, в постановке головы есть что-то коварное, змеиное, но я никак не соображу, откуда это берется, — сказал Торпенхау.

— В том-то вся хитрость, — ответил Дик, самодовольно посмеиваясь, потому что его поняли так глубоко. — Я не мог устоять перед искушением и вот шегольнул разок. Хитрость эту придумали французы, поэтому для тебя она вновь: но все дело в том, что голова слегка повернута, а одна щека чуть укорочена, самую малость, от подбородка до мочки левого уха. Кроме того, под ухом слегка сгущена тень. Недостойная хитрость, но таков уж был мой замысел, и я счел себя вправе к этому прибегнуть. . . Ах ты моя красавица!

— Амины! Она и вправду красавица. Теперь я это чувствую.

— Точно так же почувствует всякий, кто сам изведал скорбь! — подхватил Дик, хлопнув себя по ляжке. — Такой человек увидит в ней воплощение собственного горя, и тогда, тысяча чертей, он запрокинет голову и захохочет, в точности как она, испытывая невыносимую жалость к самому себе. Я вложил в нее живой трепет своего сердца и свет своих глаз, а дальнейшее мне безразлично. . . Я устал — невыносимо устал. Пожалуй, мне надо поспать. Убери бутылку с виски, она отслужила свое, да уплати Бесс тридцать шесть фунтов и еще три сверх обещанного, на счастье. Ну и прикрой картину.

Едва договорив, он уснул в кресле, бледный и изможденный. А Бесси тщетно ловила руку Торпенхау.

— Неужто вы никогда больше не захотите со мной поговорить? — спрашивала она.

Но Торпенхау не сводил глаз с Дика.

— Какая прорва тщеславия в этом человеке! Завтра же примусь за него всерьез и сделаю все возможное. Он это заслужил. А? Что такое, Бесс?

— Ничего. Я только приберу здесь и уйду восвоися. Вы не могли бы уплатить мне деньги за три месяца прямо сейчас? Он ведь велел.

Торпенхау выписал чек и отправился к себе. Бесси добросовестно прибрала мастерскую, потом приотворила

дверь, чтобы в случае чего улизнуть, вылила на тряпку добрых полбутыли скипидара и стала яростно тереть лицо Меланхолии. Но краски поддавались с трудом. Тогда она схватила нож и стала скоблить картину, растирая тряпкой каждый след. Через каких-нибудь пять минут от картины осталась лишь уродливая исполосованная мешанина красок. Тогда она швырнула перепачканную тряпку в камин, показала язык спящему Дик, проговорила шепотом: «Остался в дураках», — повернулась и сбежала вниз по лестнице. Пусть ей никогда больше не суждено увидеть Торпенхау, зато она достойно отомстила тому, кто встал между нею и ее любезным, да еще так часто и жестоко над ней насмехался. Получая деньги по чеку, Бесси испытала истинное блаженство. А потом маленькая разбойница перешла по мосту через Темзу и затерялась среди серой пустыни на Южном берегу.

Дик проспал в кресле до позднего вечера, после чего Торпенхау растормошил его и велел лечь на кровать. Голос у Дика был хриплый, но глаза ярко блестели.

— Давай еще раз взглянем на мою картину, — потребовал он, как балованный и упрямый ребенок.

— Нет, сейчас спать — только спать, — сказал Торпенхау. — Ведь ты болен, хотя, быть может, сам того не замечаешь. Мечешься, как ошалевший кот.

— Завтра же буду здоров. Спокойной ночи.

Проходя через мастерскую, Торпенхау сдернул завесу, прикрывавшую картину, и едва не выдал себя отчаянным криком: «Все стерто!.. Все соскоблено и смыто! Если Дик увидит, он окончательно сойдет с ума! И без того уж он вот-вот впадет в горячку. Эта Бесс — злобная чертовка! Только женщина способна сделать такое!.. А ведь еще не просохли чернила на чеке, который я ей выписал! Завтра Дик будет рвать и метать. Во всем виноват я, подобрал ее с панели, спасти хотел. Ох, бедный мой Дик, бог карает тебя немилосердно!»

В ту ночь Дик не мог уснуть от радости и еще потому, что давно пылавшие перед глазами и уже привычные пыточные колеса исчезли и вместо них с грохотом извергались разноцветные вулканы.

— Ну и палите сколько влезет, — сказал он вслух. — Я свое дело сделал, и теперь будь что будет.

Он умолк и лежал недвижно, устремив глаза в потолок, в крови его бушевал застарелый хмель, порождая бредовые видения, мозг обжигали стремительно возни-

кавшие и тут же исчезающие мысли, сухие руки подергивались. Вдруг ему почудилось, будто он рисует лицо Меланхолии на вращающемся куполе, усеянном миллионами огней, раскачиваясь на шатких мостках, а все его великолепные мысли воплотились в человеческие образы и внизу, в сотнях футов под ним, дружно возносят ему хвалу, но тут в висках у него что-то лопнуло, звонко, как туго натянутая тетива лука, сияющий купол обрушился, исчез без следа, и он остался в одиночестве среди непроницаемой ночной тьмы.

— Надо уснуть. Как здесь темно. Зажгу-ка я свет да еще разок полюбуюсь на Меланхолию. К тому же ночь, кажется, сегодня лунная.

Тогда-то Торпенхау услышал, что его зовет незнакомый голос, дребезжащий, пронизанный смертельным страхом.

«Он посмотрел на картину!» — такова была первая мысль Торпенхау, который тотчас же прибежал и увидел, что Дик сидит на кровати, молотя кулаками в воздухе.

— Торп! Торп! Ты где? Умоляю, подойди скорей!

— Но что случилось?

Дик вцепился ему в плечо.

— Что случилось! Я пролежал долгие часы в темноте, я звал тебя, но ты не слышал. Торп, мой старый друг, не уходи. Вокруг темнота. Сплошная темнота, пойми!

Торпенхау поднес свечу к самым глазам Дика, но в глазах этих не было даже проблеска света. Тогда он зажег газовую гарелку, и Дик услышал, как загудело пламя. Он стискивал плечо Торпенхау с такой силой, что тот скривился от боли.

— Не покидай меня. Ведь ты меня не покинешь? Я ничего не вижу. Понимаешь? Всюду черно. . . черным-черно. . . и мне кажется, будто я проваливаюсь в эту черноту.

— Спокойно, держись.

Торпенхау обнял Дика и осторожно встряхнул его раз-другой.

— Вот так легче. А теперь молчи. Я посижу смирно, и этот мрак вскоре отступит. Кажется, вот-вот будет просвет. Тс-с!

Дик нахмурил лоб, с отчаяньем вперив глаза в пустоту. Ночь была холодная, и у Торпенхау мерзли ноги.

— Я отлучусь на минутку, ладно? Только надену халат и домашние туфли.

Дик обеими руками ухватился за спинку кровати и ждал, надеясь, что темнота вот-вот рассеется.

— Как долго тебя не было! — воскликнул он, когда Торпенхау вернулся. — Вокруг все та же чернота. Чем это ты стучал там, у двери?

— Вот кресло... плед... подушка. Буду ночевать здесь. А теперь ложись: утром тебе станет лучше.

— Не станет! — Это прозвучало, как отчаянный вопль. — Господи! Я ослеп! Ослеп, и тьме уже не будет конца. — Дик порывался вскочить, но Торпенхау держал его обеими руками и так сильно давил подбородком на плечо, что он едва дышал. Он мог лишь хрипло твердить: «Я ослеп!» — и обессиленно трепыхался.

— Спокойно, Дик, спокойно, — сказал ему в ухо басовитый голос, а руки держали его мертвой хваткой. — Стисни зубы и молчи, дружище, тогда никто не посмеет назвать тебя трусом.

Торпенхау сжал его что было сил. Оба тяжело дышали. Дик неистово мотал головой и стонал.

— Пусти, — вымолвил он, задыхаясь. — У меня трещат ребра. Но никто... никто не посмеет назвать меня трусом... даже все силы тьмы и прочая нечисть, верно я говорю?

— Ложись. Худшее уже позади.

— Да, — покорно согласился Дик. — Но можно, я все-таки буду держать тебя за руку? Я чувствую, мне необходима поддержка. А то я проваливаюсь в темную бездну.

Торпенхау протянул ему из кресла свою огромную волосатую лапу. Дик отчаянно вцепился в нее и через полчаса уснул крепким сном. Тогда Торпенхау осторожно отнял руку, склонился над Диком и нежно поцеловал его в лоб, как целуют порой на поле брани смертельно раненного товарища, чтобы облегчить его последние минуты.

Когда забрезжил рассвет, Торпенхау услышал, как Дик что-то шепчет про себя. Захлестываемый волнами горячечного бреда, он бормотал скороговоркой:

— Как жаль... как невыносимо жаль, но надо вытерпеть все, что тебе положено, мой мальчик. Для всякого дня довольно слепоты, и даже если оставить в стороне всяческие Меланхолии и нелепые мечты, все равно надо признать горькую истину — как признал я, — что короле-

ва всегда безупречна. Торпу этого не понять. Я объясню ему, когда мы продвинемся дальше, в глубь пустыни. Эти матросы перепутали все снасти! Еще минута, и буксирный трос перетрется, хотя он толщиной в целых четыре дюйма. Ну, ведь я же предупреждал — вот, готово! Зеленые волны вскипают белоснежной пеной, пароход развернуло, он зарывается носом в воду. Какое зрелище! Надо будет зарисовать. Но нет, я же не могу. У меня поражены глаза. Это одна из десяти казней египетских, мутная пелена над мутным Нилом. Ха! Торп, вот и каламбур получился. Смейся же, каменная статуя, да держись подальше от троса... А не то, Мейзи, дорогая, этот трос хлестнет по тебе, сбросит в воду и испортит платье.

— Ну и ну! — сказал Торпенхау. — Такое я уже слышал. В ту ночь, на речном берегу.

— Если ты выпачкаешься, она наверняка обвинит меня, поэтому не подходи к волнорезу так близко. Мейзи, это нечестно. Ага! Я так и знал, что ты промажешь. Целься левой и ниже, дорогая. Но в тебе нет убежденности. Есть все, что угодно, кроме убежденности. Не сердись, милая. Я отдал бы руку на отсечение, только бы ты хоть немного поступилась своим упрямством. Правую руку, если б это тебе помогло.

— Дальше я слушать не должен. Живой островок кричит среди океана взаимонепонимания, да еще как громко. Но, думается мне, он кричит правду.

А Дик все бормотал бессвязные слова. И каждое из них было обращено к Мейзи. То он пространно разъяснял ей тайны своего искусства, то яростно проклиная свою глупость и рабское повиновение. Он молил Мейзи о поцелуе — прощальном поцелуе перед ее отъездом, уговаривал вернуться из Витри-на-Марне, если это только возможно, и в бреду постоянно призывал все силы, земные и небесные, в свидетели, что королева всегда безупречна.

Торпенхау слушал внимательно и узнал о жизни Дика во всех подробностях то, что дотоле было от него сокрыто. Трое суток кряду Дик бредил о своем прошлом, после чего забылся целительным сном.

— Вот бедняга, и какие же мучительные переживания выпали ему на долю! — сказал Торпенхау. — Просто представить невозможно, что не кто-нибудь, а именно

Дик добровольно покорился чужой воле, как верный пес! И я еще упрекал его в гордыне! Мне следовало помнить заповедь, которая велит не судить других. А я осмелился судить. Но что за исчадие ада эта девица! Дик — болван разнесчастный! — пожертвовал ей свою жизнь, а она, стало быть, пожертвовала ему лишь один поцелуй.

— Торп, — сказал Дик, лежа на кровати, — пойди прогуляйся. Ты слишком долго просидел со мной в четырех стенах. А я встану. Эх! Вот досада. Даже одеться не могу без чужой помощи. Чепуха какая-то!

Торпенхау помог другу одеться, отвел его в мастерскую и усадил в глубокое кресло. Дик тихонько сидел, с тревожным волнением ожидая, что темнота вот-вот рассеется. Но она не рассеялась ни в этот день, ни на следующий. Тогда Дик отважился обойти мастерскую ощупью, держась за стены. Он больно стукнулся коленом о камин и решил продолжать путь на четвереньках, время от времени шаря рукой впереди себя. Торпенхау, вернувшись, застал его на полу.

— Я тут занимаюсь географическими исследованиями в своих новых владениях, — сказал Дик. — Помнишь того черномазого, у которого ты выдал глаз, когда прорвали каре? Жаль, что ты не сохранил этот глаз. Теперь я мог бы им воспользоваться. Нет ли мне писем? Все письма в плотных серых конвертах с вензелем наподобие короны отдавай прямо мне в руки. Там ничего важного быть не может.

Торпенхау подал конверт с черной буквой «М» на оборотной стороне. Дик спрятал его в карман. Конечно, письмо не содержало ничего такого, что надо было скрывать от Торпенхау, но принадлежало оно только Дику и Мейзи, которая ему уже принадлежать не будет.

«Когда станет ясно, что я не отвечаю, она прекратит мне писать, и это к лучшему. Теперь я ей совсем не нужен, — рассуждал Дик, испытывая меж тем неодолимое искушение открыть ей правду. Но он противился этому всем своим существом. — Я без того уже скатился на самое дно. Не буду же молить ее о сострадании. Помимо всего прочего, это было бы жестоко по отношению к ней».

Он силился отогнать мысли о Мейзи, но у слепых слишком много времени для раздумий, а физические силы, словно волны, вновь приливали к Дику, и в долгие

пустые дни, окутанные могильным мраком, душа его терзалась до последних глубин. От Мейзи пришло еще одно письмо, и еще. А потом наступило молчание, и Дику, когда он сидел у окна, за которым в воздухе дрожало знойное летнее марево, представлялось, что ее покорила другой, более сильный мужчина. Воображение, обостренное окружающей чернотой, рисовало ему эту картину во всех подробностях, и он часто вскакивал, охваченный неистовством, метался по мастерской, наткнулся на камин, который, казалось, преграждал ему путь со всех четырех сторон. Хуже всего было то, что в темноте даже табак не доставлял никакого удовольствия. От былой надменности не осталось и следа, она уступила место безысходному отчаянью, которое не могло укрыться от Торпенхау, и безрассудной страсти, которую Дик тайком поверял ночами лишь своей подушке. Промежутки меж этими приступами протекали в невыносимом томлении и в невыносимой тьме.

— Пойдем погуляем по Парку, — сказал однажды Торпенхау. — Ведь с тех пор, как начались все эти невзгоды, ты ни разу не выходил из дому.

— Чего ради? В темноте нет движения. И кроме того... — Он подошел к двери и остановился в нерешимости. — Меня могут задавить на мостовой.

— Но ведь я же буду с тобою. Спускайся помаленьку.

От уличного шума Дик пришел в смятение и с ужасом повис на руке Торпенхау.

— Представь себе, каково брести на ощупь, отыскивая ногой обочину! — сказал он с горечью уже у самых ворот Парка. — Остается лишь возроптать на бога и подохнуть.

— Часовому не положено рассуждать, когда он на посту, даже в столь приятных выражениях. А вон и гвардейцы, разрази меня гром, это они!

Дик распрямил спину.

— Подведи меня к ним поближе. Мы полюбуемся на них. Бежим прямо по траве. Я чувствую запах деревьев.

— Осторожней, тут ограда, правда, невысокая. Ну вот, молодец! — Торпенхау каблуком вывернул из земли пучок травы. — Понюхай-ка, — сказал он. — Дивно пахнет, правда? — Дик с наслаждением вдохнул запах зелени. — А теперь живо, бегом.

Вскоре они очутились почти у самого строя. Гвардейцы примкнули штыки, и, когда Дик услышал бряцание, ноздри его затрепетали.

— Давай ближе, еще ближе. Они ведь в строю?

— Да. Но ты откуда знаешь?

— Нюхом чую. О мои герои! Мои красавцы! — Он весь подался вперед, словно и вправду мог видеть. — Когда-то я их рисовал. А кто нарисует теперь?

— Сейчас они зашагают. Не вздрогни от неожиданно сти, когда грянет оркестр.

— Эге! Можно подумать, что я какой-нибудь новобранец. Меня пугает только тишина. Давай ближе, Торп! .. еще ближе! Бог мой, я отдал бы все, только б увидеть их хоть на минутку! .. хоть на полминутки!

Он слышал, как военная жизнь кипела совсем рядом, слышал, как хрустнули ремни на плечах барабанщика, когда он оторвал от земли огромный барабан.

— Он уже занес скрещенные палки над головой, — прошептал Торпенхау.

— Знаю. Я знаю! Кому и знать это, как не мне? Тс-с!

Палки опустились, барабан загрохотал, и гвардейцы зашагали под гром оркестра. Дик чувствовал на лице дуновение воздуха, который всколыхнула поступь множества людей, слышал, как они печатают шаг, как скрипят на ремнях подсумки. Барабан размеренно грохотал в такт музыке. Мотив напоминал веселые куплеты, звучащие как бодрый марш, под который лучше всего шагать в строю:

Мне надо, чтоб был он здоров и силен,  
Чтоб был огромен, как слон,  
И чтоб приходил по субботам домой  
Трезвый как стеклышко он;  
Чтоб крепко умел он меня любить  
И крепко умел целовать;  
Чтоб мог обоим он нас прокормить,  
Вот тогда не решусь я ему отказать.

— Что с тобой? — спросил Торпенхау, когда гвардейцы ушли и Дик понурил голову.

— Ничего. Просто тоскливо стало на душе — вот и все. Торп, отведи меня домой. Ну зачем ты меня сюда привел?

## ГЛАВА XII

Погребли его трое, он был их четвертый друг.

Земля набилась ему и в глаза, и в рот;

А их путь лежал на восток, на север, на юг, —

Сильный должен сражаться, но слабого гибель ждет,

Вспоминали трое о том, как четвертый пал, —

Сильный должен сражаться, но слабого гибель ждет.

«Мог бы с нами он быть и поныне, — каждый из них толковал, —

А солнце все светит, и ветер, крепчая, нам в лица бьет».

*«Баллада»*

Нильгау разгневался на Торпенхау. Дику было приказано лечь в постель — слепые всегда вынуждены подчиняться зрячим, — но, едва возвратившись из Парка, Дик не уставал проклинать Торпенхау за то, что он жив, и род людской за то, что все живы и могут видеть, а сам он мертв, как мертвы слепцы, которые только в тягость ближним. Торпенхау помянул некую миссис Гамидж, и расвирепевший Дик ушел к себе в мастерскую, где снова принялся перебирать три нераспечатанных письма от Мейзи.

Нильгау, грузный, неодолимый и воинственный, остался у Торпенхау. Рядом сидел Беркут, Боевой Орел Могучий, а между ними была расстелена большая карта, утыканная булавками с черными и белыми головками.

— Насчет Балкан я ошибся, — сказал Нильгау, — но теперь уж ошибки быть не может. В Южном Судане нам придется все повторить сызнова. Публике это, само собой, безразлично, но правительству отнюдь нет, оно сохраняет спокойствие и занято приготовлениями. Вы сами это знаете не хуже моего.

— Помню, как нас кляли, когда наши войска были отозваны от Омдурмана. Рано или поздно мы должны за это поплатиться. Но я никак не могу поехать, — сказал Торпенхау, указывая на отворенную дверь: ночь была нестерпимо жаркая. — Неужто вы способны меня осудить?

Беркут, покуривая трубку, промурлыкал, как откормленный кот:

— Никто и не думает тебя осуждать. Ты на редкость великодушен и все прочее, но каждый — в том числе и ты, Торп, — обязан выполнить свой долг, когда речь идет о деле. Я знаю, это может показаться жестоким, но Дик — погибший человек, песенка его спета, ему крышка, он

gastados<sup>1</sup>, опустошен, кончен, безнадежен. Кое-какие деньги у него есть. С голоду он не умрет, и ты не должен из-за него сворачивать с пути. Подумай о своей славе.

— Слава Дика была впятеро громче моей и вашей, вместе взятых.

— Только потому, что он подписывался без разбора под всеми своими работами. А теперь баста. Ты должен быть готов к походу. Можешь назначить любые ставки, ведь из нас троих ты самый талантливый.

— Перестаньте меня искушать. Покамест я остаюсь здесь и буду присматривать за Диком. Конечно, он опасен, как медведь, в которого всадили пулю, но, думается, ему приятно знать, что я с ним рядом.

Нильгау отпустил нелестное замечание по адресу слабодушных болванов, которые из жалости к подобным же болванам губят свою будущность. Торпенхау вскипел, не в силах сдержать гнева. Забота о Дике, требовавшая постоянного напряжения, лишила его выдержки.

— Возможен еще и третий путь, — задумчиво произнес Беркут. — Поразмысли над этим и воздержись от глупостей. Дик обладает — или, верней, обладал — крепким здоровьем, привлекательной внешностью и бойким нравом.

— Эге! — сказал Нильгау, не забывший того, что случилось в Каире. — Кажется, я начинаю понимать. . . Торп, мне очень жаль.

Торпенхау кивнул в знак прощения.

— Но вам было жаль гораздо больше, когда он отбил у вас красотку. . . Валяйте дальше, Беркут.

— В пустыне, глядя, как люди гибнут, я часто думал, что ежели б весть об этом мгновенно облетела свет и можно было бы примчаться, как на крыльях, у смертного овра каждого из обреченных оказалась бы женщина.

— И пришло бы услышать чертову пропасть самых неожиданных исповедей. Нет уж, спасибо, пускай лучше все остается как есть, — возразил Нильгау.

— Нет уж, давайте всерьез поразмыслим, нужен ли сейчас Дику тот неумелый уход, который Торп может ему предоставить. . . Сам-то ты как полагаешь, Торп?

— Ясное дело, нет. Но как же быть?

— Выкладывай все начистоту перед Советом. Ведь мы же друзья Дика. А ты ему особенно близок.

---

<sup>1</sup> Выдохшийся (*искаж. исп.*).

— Но самое главное я подслушал, когда он был в беспомощности.

— Тем больше у нас оснований этому верить. Я знал, что мы доберемся до истинного смысла. Кто же она?

И тогда Торпенхау поведал обо всем в коротких и ясных словах, как подобает военному корреспонденту, который владеет искусством сжатого изложения. Его выслушали молча.

— Мыслимо ли, чтоб мужчина после стольких лет вновь возвратился к своей глупой детской влюбленности! — сказал Беркут. — Мыслимо ли такое, скажите на милость?

— Я излагаю только факты. Теперь он не говорит об этом ни слова, но когда думает, что я не смотрю на него, без конца перебирает те три письма, которые она ему прислала. Как же мне быть?

— Надо поговорить с ним, — сказал Нильгау.

— Ну да! И написать ей — а я, прошу заметить, не знаю даже ее фамилии, — да умолять, чтоб она приехала и опекала его из жалости. Вы, Нильгау, когда-то сказали Дику, что вам его жаль. Помните, что за этим последовало? Так вот, ступайте к нему сами, уговорите во всем признаться и воззвать к этой самой Мейзи, кто бы она ни была. Я совершенно убежден, что он всерьез посягнет на вашу жизнь: а ведь с тех пор, как он ослеп, физических сил у него изрядно прибыло.

— Ясно как день, что у Торпенхау только один выход, — сказал Беркут. — Пускай едет в Витри-на-Марне, это по линии Безьер — Ланды, туда от Тургаса проложена однопутная ветка. В семидесятом пруссаки раздолбали этот городок снарядами, потому что на холме, в тысяче восьмистах ярдах от местной церкви высился тополь. Там сейчас расквартирован кавалерийский эскадрон — во всяком случае, должен быть расквартирован. А где мастерская, о которой упоминал Торп, сказать не могу. Пускай сам разыскивает. Маршрут я указал. Торп правдиво объяснит этой девице, как обстоят дела, и она поспешит к Дику — тем более ежели, по собственным словам Дика, «ничто, кроме ее проклятого упрямства, не могло вынудить их расстаться».

— Их совместный доход составит четыреста двадцать фунтов годовых. Дик никогда не путал счет, даже в бреду. Торп, у тебя нет ни малейшего повода отказаться от поездки, — сказал Нильгау.

Вид у Торпенхау был крайне растерянный.

— Но ведь это бессмысленно и невозможно. Не стану же я тащить ее сюда за волосы.

— Наша работа — та самая, которую так щедро оплачивают, — в том и заключается, чтоб делать бессмысленное и невозможное — обычно безо всякой причины, лишь бы только угодить публике. А тут есть причина, и очень важная. Все прочее — вздор. До возвращения Торпенхау мы с Нильгау переберемся сюда. В самое ближайшее время город наводнят оголтелые корреспонденты, и здесь будет их штаб-квартира. Вот и еще причина спровадить Торпенхау. Поистине провидение помогает тому, кто помогает ближнему, и притом... — Беркут, который говорил уверенно и плавно, вдруг сбился на торопливый шепот: — Не можем же мы допустить, чтоб Дик висел у тебя на шее, когда начнут драться. Это единственная возможность получить свободу, и Дик сам будет тебе благодарен.

— Будет — но от этого не легче! Конечно, я могу съездить и попытаться что-то сделать. Мне трудно себе представить, чтоб разумная женщина отказалась от Дика.

— Вот и внуши это его девице. Я своими глазами видел, как ты уломал злобную махдистскую ведьму и она щедрой рукой отсыпала тебе фиников. А то, что предстоит теперь, в десять раз легче. Так вот, к завтрашнему вечеру чтоб духу твоего здесь не было, поскольку мы с Нильгау уже завладеем помещением. Приказ отдан. Изволь выполнять.

— Дик, — спросил Торпенхау на другое утро, — могу я как-нибудь тебе помочь?

— Нет! Отстань. Сколько раз тебе напоминать, что я слепой?

— Может, надо сходить, сбежать, раздобыть, принести чего-нибудь?

— Нет. Убирайся к черту, хватит скрипеть тут сапожищами.

— Бедный малый! — пробормотал Торпенхау. — Видно, в последнее время я засел у него в печенках. Нужно, чтоб он слышал подле себя легкие женские шаги. — И продолжал громко: — Что ж, превосходно. Ежели ты такой самостоятельный, я уеду дней на пять. Простись же со мной. О тебе позаботится домоправитель, а мои комнаты займет Беркут.

Дик сразу помрачнел.

— Но ты вернешься хотя бы через неделю? Я знаю, что стал вспыльчив, но без тебя мне никак не обойтись.

— Разве? Вскоре ты будешь вынужден без меня обходиться и порадуешься избавлению.

Дик ощупью вернулся в кресло, недоумевая, что могут значить эти слова. Он вовсе не желал, чтоб за ним присматривал домоправитель, но и нежные заботы Торпенхау были ему в тягость. Он сам не знал, чего хочет. Тьма, его окружавшая, не рассеивалась, а нераспечатанные письма Мейзи вконец обветшали и истрепались, потому что он не выпускал их из рук. Он уже никогда в жизни не прочитает их своими глазами; но Мейзи могла бы написать еще, и это принесло бы новое утешение. Нильгау сделал ему подарок — комок мягкого ярого воска для лепки. Он решил чем-нибудь занять Дика. Несколько минут Дик ощупывал и мял воск пальцами.

— Ну на что это похоже, в конце-то концов? — сказал он удрученно. — Возьмите назад. Вероятно, то обостренное осязание, которое дано слепым, я обрету в лучшем случае лет через пять — десять. Кстати, вы не знаете, куда это уехал Торп?

Нильгау ответил, что не знает.

— Но мы поживем у него, покуда он не вернется. Может, тебе нужна наша помощь?

— Сделайте милость, оставьте меня. Только не сочтите это неблагодарностью: просто мне лучше, когда я один.

Нильгау тихонько фыркнул, а Дик вновь предался унылым раздумьям и сетованиям на свою судьбу. Он давно уже забыл о своих работах, сделанных в прошлом, и само желание работать его покинуло. Он испытывал к себе бесконечную жалость и находил в своей тихой скорби единственное утешение. Но телом и душой он стремился к Мейзи — только к Мейзи, которая одна могла бы его понять. Правда, разумом он сознавал, что Мейзи, поглощенная собственной работой, останется к нему безразличной. Жизненный опыт подсказывал, что женщины бросают того, кто остался без денег, и когда человек упал, другие топчут его немилосердно.

— Но все же, — возразил Дик самому себе, — она по крайней мере могла бы использовать меня, как я когда-то использовал Бина, — хоть для этюдов. Мне ведь не нужно ничего, только бы снова быть с ней рядом, пускай бы даже я при этом знал, что за ней волочится кто-то другой. Бр-р! Я жалок, как побитый пес.

На лестнице чей-то голос затянул веселую песенку:

Когда мы решим уехать, уехать, уехать в дальнюю даль,  
Возопят кредиторы, возропщут, заплачут навзрыд,  
Пронюхав о том, что покинем мы в будущий вторник свой дом  
И из Англии в Индию плаванье нам предстоит.

Потом послышались тяжелые, уверенные шаги, дверь Торпенхау со стуком распахнулась, там яростно спорили, и кто-то заорал во все горло:

— Во, взирайти, мои молодчики, мио раздобыло фляго нуово патенто фирмо, высоко сорто — какво? Само через себя сразу открыто, когда надо.

Дик вскочил. Он сразу узнал знакомый голос. «Это Кассаветти вернулся с континента. Теперь я знаю, что побудило Торпа уехать. Где-то уже дерутся, а я... я никому не нужен!»

Нильгау тщетно требовал тишины.

— Это он ради меня старается, — сказал Дик с горечью. — Птички собираются улетать и не хотят, чтоб я об этом проведал. Я слышу голоса Мортена из Сэзерленда и Маккея. Там у них целое сборище, добрая половина лондонских военных корреспондентов, а я... я никому не нужен.

Спотыкаясь, он побрел через лестничную площадку и ввалился в квартиру Торпенхау. Сразу же он понял, что там полным-полно людей.

— Где дерутся? — спросил он. — Неужто наконец на Балканах? Тогда почему никто мне об этом не сказал?

— Мы полагали, что тебе это не интересно, — ответил Нильгау в замешательстве. — А воевать будет в Судане, дело известное.

— Вот счастливы! Позвольте, я посижу здесь и послушаю ваши разговоры. Валяйте без стеснения, я не стану вас смущать, как череп на пиру... Кассаветти, ты где? Я слышу, ты насилуешь английский язык по-прежнему.

Дика усадили в кресло. Он услышал, как зашелестели военные карты, и разговор возобновился, пленяя его воображение. Все говорили разом, толкуя о цензуре, о железнодорожных линиях, о перевозочных средствах, о снабжении питьевой водой, о стратегических способностях генералов — и все это в таких выражениях, от которых доверчивые читатели пришли бы в ужас, — вызывая, самоуверенно, презрительно, с громовым хохотом. Все ликовали, уверенные, что война в Судане вот-вот раз-

разится. Так утверждал Нильгау, и следовало быть на чеку. Беркут уже успел послать в Каир телеграмму, требуя лошадей; Кассаветти умудрился выкрасть заведомо ложный список колонн, которым якобы в самые ближайшие дни будет отдан боевой приказ выступить, и громко прочитал этот список, прерываемый издевательскими выкриками, а потом Беркут представил Дику какого-то никому не известного художника, которого Центрально-южное агентство намеревалось послать в район военных действий.

— Это его боевое крещение, — сказал Беркут. — Посоветуй ему что-нибудь полезное — к примеру, как ездить верхом на верблюдах.

— Ох уж эти верблюды! — возопил Кассаветти. — Не миновать мне снова выучать садить себя в седло, а я себя избаловал. Во, мои молодчики, я через истинно знаю все военное дело. Первременно выступят Аргалширо-Сэзэрлендски королевски карабинеры. Так говорил верный люд.

Взрыв хохота заглушил его слова.

— Сядь и нишкни, — сказал Нильгау. — Даже в военном министерстве еще нет списков.

— А будут ли брошены части на Суакин? — спросил кто-то.

Тут галдеж усилился, возгласы перемешались, и можно было слышать лишь обрывки фраз:

— Много ли египетских войск отправят туда?

— Помогай бог феллахам! . .

— Через Пламстедские болота проходит железная дорога, там движение налажено.

— Теперь наконец-то проложат линию от Суакина до Берберы. . .

— Канадские лодочники слишком уж робеют. . .

— Я предпочту иметь на борту полупьяного черномазого лоцмана. . .

— А кто командует колонной, которая двинется напрямик через пустыню? . .

— Нет, скалу в излучине у Гизы до сих пор так и не взорвали. Придется опять волоком. . .

— Скажите мне, наконец, прибудет ли подкрепление из Индии, не то я всем головы проломлю. . .

— Карту, карту не разорвите. . .

— Говорю вам, эта война затевается с целью оккупации, чтоб не было больше помех для южноафриканских компаний.

— В тех краях чуть ли не каждый колодец кишит волосатой глистой...

Тут Нильгау, отчаявшись утихомирить крикунов, взревел, как пароходный гудок в тумане, и грохнул обоими кулаками о стол.

— Но где же все-таки Торпенхау? — спросил Дик, спеша воспользоваться тишиной.

— Торп куда-то запропал. Небось влюбился без памяти, — ответил Нильгау.

— Но он сказал, что останется здесь, — прибавил Беркут.

— Да неужто? — вскричал Дик и выругался. — Ну, нет. Я сильно сдал за последнее время, но ежели вы с Нильгау крепко его подержите, я сам этим займусь и вышибу из него дурь. Останется здесь, скажите на милость. Да вы все ему в подметки не годитесь. Под Омдурманом предстоит серьезное дело. Теперь уж мы не отступим. Но я забыл о своем несчастье. Как хотелось бы мне поехать с вами.

— Нам тоже хотелось бы этого, Дикки, — сказал Беркут.

— А мне в особенности, — подхватил художник, нанятый Центрально-южным агентством. — Но позвольте спросить...

— Я могу посоветовать вам только одно, — перебил его Дик, направляясь к двери. — Ежели в рукопашном бою кто-нибудь полоснет вас саблей по голове, не обороняйтесь. Пускай зарубит насмерть. Это будет самый лучший исход. Благодарю за радушный прием.

— У Дика отважная душа, — сказал Нильгау через час, когда все, кроме Беркута, разошлись.

— Призыв боевой трубы — святое дело. Ты видал, как он весь встрепенулся? Вот бедняга! Пойдем, надо его проведать, — сказал Беркут.

Волнение, вызванное недавним разговором, уже улеглось. Когда они вошли в мастерскую, Дик сидел за столом, уронив голову на руки. Он даже не пошевелился.

— Как тяжко, — простонал он. — Прости меня, боже, но это невыносимо тяжко. И ничего не поделаешь, жизнь идет своим чередом. Свидимся ли мы с Торпом до его отъезда?

— Да. Конечно, свидитесь, — ответил Нильгау.

### ГЛАВА XIII

Солнце село, и вот уже целый час  
Я не знаю, той ли дорогой иду,  
Заплутался я и при свете дня,  
Как же ночью, во мраке, свой дом найду?

*«Старинная песня»*

— Мейзи, пора спать.

— В такую жару мне все равно не уснуть. Но ты не беспокойся.

Мейзи облокотилась о подоконник и смотрела на залитую лунным светом прямую тополиную аллею. Лето в Витри-на-Марне было в разгаре, и вся округа изнывала от зноя. Трава на лугах была выжжена, глина по берегам рек спеклась и стала твердой, как кирпич, цветы у обочин давным-давно увяли, а засохшие розы в саду клонились к земле на поникших стебельках. В тесной мансарде с низким потолком стояла невыносимая духота. Лунный свет на стене мастерской Ками в доме напротив, казалось, еще пуще накалял жаркую ночь, а металлическая рукоять, свисавшая на шнуре с большого колокола подле запертых ворот, отбрасывала черную, словно нарисованную тушью тень, которая назойливо лезла в глаза и вызывала у Мейзи досаду.

— Этакая дрянь! Без нее вокруг было бы белым-бело, — тихонько ворчала Мейзи. — Да еще и ворота проделаны где-то сбоку, а не в середине ограды. Раньше я этого не замечала.

В такой час Мейзи бывало трудно угодить. Во-первых, она изнемогала от жары, стоявшей уже не одну неделю; во-вторых, ее работы, в особенности эту женской головки, предназначенный для Меланхолии, которую не удалось закончить к открытию выставки в Салоне, оставляли желать лучшего; в-третьих, Ками на днях сказал ей это без обиняков; в-четвертых — и в-последних, а стало быть, об этом даже думать не стоило, — Дик, которого она считала своей собственностью, целых полтора месяца ей не писал. Она сердилась на жару, на Ками, на свою работу, но больше всего на Дика.

Сама она написала ему три письма и в каждом излагала новую трактовку образа Меланхолии. Дик не откликнулся. Тогда она решила тоже ему не писать. Осенью, вернувшись в Англию — приехать туда раньше не позволяла гордость, — она поговорит с ним серьезно. Она то-

сковала по их воскресным встречам гораздо больше, чем готова была признать даже в глубине души. Ками только твердил свое: «Continuez, mademoiselles, continuez toujours» — и все знойное лето, непрерывно повторяя этот докучливый совет, стрекотал, словно кузнечик, — старый, поседелый кузнечик в черном чесучевом пиджачке, белых панталончиках и широкополой шляпе. А Дик, бывало, как хозяин, расхаживал по ее тесной мастерской в в Лондоне, к северу от тенистого зеленого Парка, говорил слова, вдесятеро худшие, чем «continuez», а потом выхватывал у нее кисть и показывал, где кроется ошибка. В его последнем письме, припомнила Мейзи, были лишь скучные назидания, он советовал не рисовать на солнце-пеке и не пить воды из колодцев в сельских местах; да еще повторил это трижды — будто не знал, что Мейзи вполне может сама о себе позаботиться.

Но чем же он теперь так занят, что с тех пор даже не удосужился ей написать? На аллее послышались приглушенные голоса, и она выглянула в окно. Кавалерист из маленького городского гарнизона любезничал с кухаркой Ками. Лунные блики скользили по ножнам его сабли, которые он придерживал рукой, чтобы они не звякнули в столь неподходящее мгновение. Чепец густой тенью скрывал лицо кухарки, стоявшей вплотную к солдатику. Он обнял ее за талию, потом раздался звук поцелуя.

— Фу! — сказала Мейзи и отошла от окна.

— Что там такое? — спросила ее рыжеволосая подруга, которая беспокойно металась на постели.

— Да ровно ничего, просто какой-то солдатик целовался с кухаркой, — ответила Мейзи. — А теперь они ушли.

Она снова выглянула в окно, накинув поверх ночной рубашки шаль, чтобы ее не просквозило. Поднялся легкий ветерок, и внизу иссушенная солнцем роза закивала головкой, будто знала какие-то вечные тайны, которые ни за что не могла выдать. Неужели Дик забыл о ее и о своей работе, неужели он пал так же низко, как Сюзанна и солдатик? Это невозможно! Роза кивнула головкой над единственным неопавшим листком. Раздался шорох, словно какой-то шаловливый чертенок поскреб лапкой за ухом. Это невозможно, «потому что, — подумала Мейзи, — он мой, мой, мой! Он сам так сказал. Конечно,

мне все равно, чем он там занимается. Хотя это повредит его работе и моей тоже».

А роза все кивала с той легкомысленной беспечностью, на какую только способны цветы. Не было решительно никаких причин, которые препятствовали бы Дик у развлекаться, как ему угодно, но ведь он самим провидением в лице Мейзи призван помогать ей, Мейзи, работать. А работать означало писать картины, которые изредка брали в Англии на провинциальные выставки, о чем свидетельствовала папка с газетными вырезками, но отвергали в Салоне всякий раз, как Ками, которого она буквально изводила мольбами, разрешал ей послать их туда. И впредь, видимо, ей суждено писать точно такие же картины, которые точно так же отвергнут. . .

Рыжеволосая заворочалась, комкая простыни.

— В эту жару никак не уснешь, — простионала она, и Мейзи с досадой ненадолго прервала свои размышления.

Все будет точно так же. Ей придется делить свою жизнь между тесной мастерской в Англии и просторной мастерской Ками в Витри-на-Марне. Нет, она перейдет к другому учителю и с его помощью добьется успеха, который принадлежит ей по праву, если только беспрестанный труд и отчаянные усилия дают человеку право хоть на что-нибудь. Однажды Дик сказал ей, что проработал десять лет, постигая тайны своего ремесла. Она тоже проработала десять лет, и десять лет ничего не значат. Дик сказал, что десять лет ничего не значат, — но это относилось только к ней. И он же — этот человек, которому теперь недосуг даже ей написать, — сказал, что будет ждать ее десять лет и рано или поздно она вернется к нему. Так было сказано в том самом дурацком письме, где он толковал про солнечный удар и дифтерит; потом он вовсе перестал писать. А теперь гуляет по улицам при лунном свете и целует кухарок. Как хотелось ей дать ему достойную отповедь — не в ночной рубашке, конечно, а в пристойном платье, строго и надменно. Но ведь если он целует других девушек, то, даст она эту отповедь или нет, ему безразлично. Он только посмеется над нею. Ну ладно же. Она вернется в свою мастерскую и станет писать картины, которые пойдут нарасхват, ну и все прочее. Мысли вращались медленно, как мельничное колесо, оборот за оборотом, неуклонно повторяясь, а за спиной ерзала и металась рыжеволосая.

Мейзи подперла рукой подбородок и окончательно решила, что Дик — отъявленный негодяй. Дабы оправдать такое решение, она с неженской последовательностью стала взвешивать все обстоятельства дела. Когда-то он был мальчиком и признался ей в любви. А потом поцеловал ее — поцеловал в щечку, — и неподалеку кивал головкой желтый мак, совсем как эта гадкая высохшая роза в саду. Потом они долго не виделись, и многие мужчины признавались ей в любви — но она была поглощена только работой. Потом мальчик вернулся к ней и при второй встрече снова признался в любви. А потом он... чего он только не делал. Он не жалел для нее ни времени, ни сил. Он разговаривал с нею об Искусстве, о домашнем хозяйстве, о живописной технике, о чайной посуде, о соленых огурцах, которыми часто закусывают — и при этом употреблял очень грубые выражения, — о кистях из собачьего волоса. Лучшие кисти, какие у нее были, подарил он — ими она работала каждый день; он дарил ей также полезные советы, а время от времени и взгляд. Какой это был взгляд! Словно у побитого пса, который по первому зову готов ползти к ногам хозяйки. А она не вознаградила его, но зато — тут она утерла рот кружевным рукавом рубашки — он удостоился чести ее поцеловать. И притом в губы. Какой стыд! Ведь этого достаточно и даже более чем достаточно, неужели ему показалось мало? А если ему мало, разве он не отплатил сполна тем, что перестал писать и, быть может, целует других девушек?

— Мейзи, тебя просквозит. Ложись наконец, — слышался истомленный голос подруги. — Я глаз не могу сомкнуть, когда ты торчишь у окна.

Мейзи только пожалала плечами и промолчала в ответ. Она все предавалась размышлениям о несправедливости Дика и о многих несправедливостях, в которых он совсем не был повинен. При безжалостном свете луны нечего было и думать уснуть. Свет этот словно застилал серебристым инеем стекла верхних окон мастерской в доме напротив; и она, как замороженная, не могла отвести взгляда, а мысли все больше туманились. Тень от металлической рукояти укоротилась, снова вытянулась и потом исчезла совсем, когда луна закатилась где-то вдали, за пастбищем, и темную аллею быстрыми скачками пересек заяц, торопясь укрыться в своей норе. Вот уже потянул предраассветный ветерок, дыша прохладой, всколыхнул

высокие травы на склонах холмов, и к берегу обмелевшей от засухи реки спустились на водопой стада. Мейзи уронила голову на подоконник, и спутанные черные волосы накрыли ее руки.

— Мейзи, проснись. Тебя же просквозит.

— Хорошо, хорошо, дорогая. — Потягиваясь, она кое-как доплелась до постели, словно сонный ребенок, зарылась лицом в подушки и пролепетала: — Но все же... все же... жаль, что он мне не пишет.

Наступил день и, как всегда, принес с собою будничную работу в мастерской, запах красок и скипидара, однообразные наставления Ками, который был никудышным художником, но бесценным учителем, если только удавалось к нему приноровиться. Мейзи весь день это никак не удавалось, и она с нетерпением ждала окончания занятий. Она знала заранее верные признаки: Ками непременно сунет руки за спину, скомкает полы чесучового пиджачка, его блеклые голубые глаза, не видящие уже ни людей, ни картин, устремятся куда-то в прошлое, и ему вспомнится некий Бина.

— Все вы справились с делом отнюдь не плохо, — скажет он. — Но не забывайте, что мало обладать навыками, художественной выразительностью, способностями и даже собственной манерой. Необходима еще убежденность, она-то и ведет к совершенству. У меня было множество учеников, — тут его подопечные начинали откалывать кнопки или собирать тюбики с красками, — многое множество, но никто не успевал лучше Бина. Все, что могут дать занятия, труд, знания, он постиг в равной мере. Когда он прошел мою школу, то должен был сделать все, что может сделать человек, который владеет цветом, формой и знаниями. Но у него не было убежденности. И вот я уже который день не имею никаких известий о Бина — лучшем своем ученике, — хотя много воды утекло с тех пор, как мы расстались. А вы уже который день охотно расстаетесь со мной. *Continuez, mesdemoiselles*, и, главное, всегда с убежденностью.

После этого он уходил в сад, покуривал и предавался скорби о безвозвратно утерянном Бина, а его подопечные разбегались по своим домикам или задерживались в мастерской, решая, как лучше воспользоваться вечерней прохладой.

Мейзи взглянула на свою злополучную Меланхолию, едва сдержала желание скорчить ей рожу и уже собра-

лась домой, решившись все-таки написать Диду, как вдруг увидела рослого всадника на белом строевом коне. Каким образом удалось Торпенхау менее чем за сутки покорить сердца кавалерийских офицеров, расквартированных в Витри-на-Марне, вселить в них уверенность, что Франция отстоит врагам и увенчает себя славой, заставить полковника прослезиться от избытка дружеских чувств и заполучить лучшего коня во всем эскадроне, на котором он и прискакал к мастерской Ками, остается тайной, которую могут постичь только специальные корреспонденты.

— Прошу прощения, — сказал он. — Вероятно, мой вопрос покажется нелепым, но, понимаете ли, я не знаю фамилии той, которую ищу: скажите, нет ли здесь молодой особы по имени Мейзи?

— Я и есть Мейзи, — услышал он ответ из-под широкой соломённой шляпы.

— В таком случае разрешите представиться, — продолжал незнакомец, сдерживая норовистого коня, который плясал под ним, взрывая копытами ослепительно белую пыль. — Я Торпенхау. Дик Хелдар — мой лучший друг, и он... он... понимаете ли, он ослеп.

— Ослеп! — бессмысленно повторила Мейзи. — Не может быть, чтобы он ослеп.

— И все же он ослеп на оба глаза вот уже без малого два месяца.

Мейзи подняла лицо, покрывшееся прозрачной бледностью.

— Нет! Нет! Он не ослеп! Я не могу поверить, что он ослеп!

— Быть может, вам угодно лично убедиться в этом?

— Как, теперь... вот так сразу?

— Нет, помилуйте! Парижский поезд прибывает только в восемь вечера. Времени вполне достаточно.

— Это мистер Хелдар прислал вас ко мне?

— Никак нет. Дик ни за что не сделал бы такого. Он сидит у себя в мастерской и беспрестанно перебирает чьи-то письма, которые не может прочесть, потому что ослеп.

Из-под огромной шляпы раздались горькие рыдания. Мейзи понурила голову и ушла к себе в домик, где рыжеволосая девица, лежавшая на диване, встретила ее жалобами на головную боль.

— Дик ослеп! — воскликнула Мейзи, порывисто дыша, и ухватилась за спинку стула, чтобы не упасть. — Мой Дик ослеп!

— Как!

Рыжеволосая разом вскочила с дивана.

— Из Англии приехал какой-то человек и сказал мне об этом. А Дик не писал целых полтора месяца.

— Ты поедешь к нему?

— Мне надо подумать.

— Подумать! Я на твоём месте сию же минуту помчалась бы в Лондон, прямо к нему, и стала бы целовать его в глаза, целовать, целовать, пока не исцелила бы их своими поцелуями! Если ты не поедешь, я поеду сама. Ох, что это я говорю? А ты глупая дрянь! Спешу к нему! Спешу!

Шея у Торпенхау покрылась волдырями от солнечных лучей, но он, улыбаясь с неиссякаемым терпением, дождался Мейзи, которая вышла на солнцепек с непокрытой головой.

— Я еду, — сказала девушка, не поднимая глаз.

— В таком случае вам следует быть на станции Витри к семи вечера.

Это прозвучало как приказ в устах человека, привыкшего к беспрекословному повиновению. Мейзи промолчала, но была благодарна за то, что можно не вступать в пререкания с этим великаном, который так властно всем распоряжался и одной рукой сдерживал горячего, пронзительно ржавшего коня. Она вернулась в домик, где горько плакала ее рыжая подруга, и остаток жаркого дня промелькнул среди слез, поцелуев — впрочем, довольно скупых, — нюханья ментоловых порошков, укладывания вещей и переговоров с Ками. Поразмислить она могла и позже. Сейчас долг повелевал ей спешить к Дику — прямо к Дику, который пользуется дружбой такого необычайного человека и теперь сидит, объятый темнотой, перебирая ее нераспечатанные письма.

— А как же ты? — спросила она подругу.

— Я? Что ж, я останусь здесь и... закончу твою Меланхолию, — ответила та с вымученной улыбкой. — Напиши мне обо всем непременно.

В тот вечер Витри-на-Марне облетела легенда о каком-то сумасшедшем англичанине, который, безусловно, под влиянием солнечного удара, напоил в стельку гарнизонных офицеров, так что все они свалились под стол,

взял строевого коня и прямо на глазах у людей, по английскому обычаю, похитил одну из тех вовсе уж сумасшедших англичанок, что учатся рисовать под руководством добрейшего мосье Ками.

— Все они такие странные, — сказала Сюзанна своему солдатику, стоя с ним при лунном свете у стены мастерской. — Эта вечно ходила да глаза таращила, а сама ничегошеньки вокруг не видала, но на прощанье расцеловала меня в обе щеки, будто родную сестру, да еще подарила — вот, гляди, — десять франков!

Солдатык сорвал контрибуцию с обоих даров; не зря он считал себя бравым воякой.

По дороге в Кале Торпенхау почти не разговаривал с Мейзи; но он старался предупреждать все ее желания и достал ей билет в отдельное купе, где никто ее не тревожил. Он был очень удивлен тем, как легко уладилось дело.

— Надо дать ей спокойно обдумать положение, это самое правильное. Судя по всему, что наговорил Дик в беспамятстве, она командовала над ним как хотела. Любопытно знать, правится ли ей, когда командуют над ней самой.

Мейзи упорно молчала. Она сидела в купе, надолго закрывая глаза и стараясь представить себе, каким бывает ощущение слепоты. Она получила приказ немедленно вернуться в Лондон и уже почти радовалась, что все сложилось именно так. Право же, это лучше, чем самой заботиться о багаже и о рыжей подруге, которая ко всему относилась с полнейшим безразличием. Но в то же время у нее появилось смутное чувство, что она, Мейзи — не кто другой — навлекла на себя позор. Поэтому она старалась оправдать перед собою свое поведение и скоро вполне преуспела в этом, а на пароходе Торпенхау подошел к ней и безо всяких околичностей стал рассказывать, как Дик ослеп, умалчивая о некоторых подробностях, но зато пространно излагая горестные речи, которые тот произносил в бреду. Вдруг он оборвал свой рассказ, будто это ему наскучило, и ушел покурить. Мейзи злилась на него и на себя.

Едва она успела наскоро позавтракать, пришлось мчаться из Дувра в Лондон, после чего — и теперь уж она не смела возмущаться даже в душе — ей бесцеремонно велели ждать в подъезде, возле какой-то темной металлической лестницы, а Торпенхау взбежал наверх

разузнать, как обстоят дела. И снова при мысли, что с ней обращаются, как с нашкодившей девчонкой, ее бледные щеки зарделись. Во всем виноват Дик, вот ведь взбрела ж ему в голову глупость ослепнуть.

Наконец Торпенхау привел ее к затворенной двери, которую распахнул бесшумно. Дик сидел у окна, уронив голову на грудь. В руках он держал три конверта, перебирая их снова и снова. А того рослого человека, который всем так властно распоряжался, уже не было рядом, и дверь мастерской со стуком захлопнулась у нее за спиной.

Услышав стук, Дик поспешно сунул письма в карман.

— Привет, Торп. Это ты? Я ужасно соскучился.

Голос у него был безжизненный, какой обычно бывает у слепых. Мейзи отпрянула в угол. Сердце ее неистово колотилось, и она прижала руку к груди, стараясь унять волнение. Глаза Дика усталились на нее, и только теперь она по-настоящему поняла, что он слеп. Когда в поезде она смыкала и размыкала веки, то была всего лишь ребяческая игра. А этот человек действительно слеп, хотя глаза его широко раскрыты.

— Это ты, Торп? Мне сказали, что ты вот-вот вернешься.

Молчание, видимо, удивляло и даже сердило Дика.

— Нет, это всего-навсего я, — услышался в ответ сдавленный, едва различимый шепот.

Мейзи с трудом заставила себя пошевелить губами.

— Гм! — задумчиво проговорил Дик, не двигаясь с места. — Это нечто новое. К темноте я помаленьку привык, но вовсе не желаю, чтоб мне к тому же чудились голоса.

Неужели он не только ослеп, но и потерял рассудок, если разговаривает сам с собой? Сердце Мейзи заколотилось еще отчаянней, она с трудом переводила дух. Дик медленно побрел по мастерской, ощупывая по пути столы и стулья. Споткнувшись о коврик, он выругался, упал на колени и начал шарить по полу, отыскивая помеху. Мейзи живо вспомнилось, как уверенно он, бывало, шагал по Парку, словно весь мир был его владением, как всего лишь два месяца назад, словно хозяин, расхаживал по ее мастерской, как легко взбежал по трапу парохода, на борту которого она отплыла в Кале. От сердцебиения ей сделалось дурно, а Дик подбирался все ближе, ловя слухом ее дыхание. Она невольно вытянула руку, то ли же-

лая отстранить его, то ли, наоборот, привлечь к себе. Вот рука коснулась его груди, и он откачнулся, словно от выстрела.

— Это Мейзи! — промолвил он с глухим рыданием. — Как ты здесь очутилась?

— Я приехала... приехала тебя проведать, если можно.

Дик на мгновение твердо сжал губы.

— В таком случае не угодно ли присесть? Видишь ли, у меня не совсем ладно с глазами, и...

— Знаю. Знаю. Но почему ты не уведомил меня?

— Я не мог писать.

— Так мог бы попросить мистера Торпенхау.

— С какой стати я должен посвящать его в свои дела?

— Да ведь это он... он привез меня сюда из Витрина-Марне. Он решил, что я должна приехать к тебе.

— Как, неужели что-нибудь стряслось? Могу я тебе помочь? Нет, не могу. Я же совсем забыл.

— Ох, Дик, я глубоко раскаиваюсь! Я приехала, чтобы сказать тебе об этом и... Позволь, я снова усажу тебя в кресло.

— Оставь! Я не ребенок. Ты все делаешь только из жалости. У меня и в мыслях не было тебя звать. Я больше ни на что не годен. Я конченный человек, мне крышка. Забудь меня!

Он ошупью добрался до кресла и сел, грудь его высоко вздымалась.

Мейзи смотрела на него, и страх, обуревавший ее душу, вдруг исчез, уступив место жгучему стыду. Дик высказал правду, которую от нее тщательно скрывали все время, когда она стремглав мчалась сюда, в Лондон; ведь он в самом деле конченный человек, ему крышка — теперь он уже не полновластный хозяин, а просто злополучный бедняга; не художник, до которого ей бесконечно далеко, не победитель, требующий поклонения, — лишь жалкий слепец сидел перед ней в кресле и едва сдерживал душившие его слезы. Она испытывала к нему самое глубокое, самое неподдельное сострадание — такого чувства она еще не знала в жизни, и все же сострадание это было бессильно заставить ее лицемерно отрицать истинность его слов. И она застыла на месте, храня молчание, — сгорая от стыда, но не имея сил справиться с невольным разочарованием, поскольку еще недавно она

чистосердечно верила в полное свое торжество, стоит ей только приехать; теперь же ее переполняла лишь жалость, которая не имела ничего общего с любовью.

— Ну? — сказал Дик, упрямо не поворачивая к ней лица. — У меня и в мыслях не было нарушать твой покой. Что же такое стряслось?

Он угадывал, что у Мейзи перехватило дыхание, но точно так же, как и она, не ожидал неистового потока чувств, захлестнувших их обоих. Люди, которым обычно нелегко пролить хоть одну слезинку, плачут безудержно, когда прорываются наружу самые глубинные источники, сокрытые в их душах. Мейзи рухнула на стул и разрыдалась, спрятав лицо в ладонях.

— Я не могу! . . . Не могу! — восклицала она с отчаяньем. — Поверь, я не могу. Я же не виновата. Я так горько раскаиваюсь. Ох, Дикки, я так раскаиваюсь.

Дик порывисто распрямил поникшие плечи, эти слова хлестали его, словно бич. А рыдания не умолкали. Тяжко сознавать, что не достало сил выстоять в час испытания и приходится отступить при малейшей необходимости чем-то пожертвовать.

— Я себя глубоко презираю, поверь. Но я не могу. Ох, Дикки, ведь ты не станешь просить, чтобы я . . . не станешь, правда? — скулила Мейзи.

На миг она подняла голову, и, волею случая, в этот миг глаза Дика обратились прямо на нее. Небритое лицо было смертельно бледным и застывшим, а губы кривились в насильственной улыбке. Но более всего ужаснули Мейзи незрячие глаза. Ее Дик ослеп, и вместо него появился какой-то чужой человек, которого она едва узнала по голосу.

— Кто тебя просит о чем бы то ни было, Мейзи? Я же сказал, что все решено. Какой толк огорчаться? Ради всего святого, полно тебе плакать: право, это сущие пустяки.

— Ты не знаешь, как я себя ненавижу. Ох, Дик, помоги. . . помоги мне!

Мейзи никак не могла совладать с неистовыми рыданиями, и Дик забеспокоился не на шутку. Спотыкаясь, он подошел, обнял ее, и она склонила голову ему на плечо.

— Тише, милая, тише! Не плачь! Ты совершенно права и ни в чем не должна себя упрекать — как и прежде. Просто тебе немного не по себе после дорожной спешки

и, по всей вероятности, ты не успела позавтракать. Что за скотина этот Торп! Взбрело же ему в башку привезти тебя сюда!

— Я сама захотела приехать. Поверь, я сама, — решительно возразила она.

— Ну и прекрасно. Вот ты приехала, повидала меня, и я... я тебе бесконечно признателен. Когда ты немного успокоишься, пойди и чего-нибудь поешь. Скажи, ты очень устала с дороги?

Мейзи плакала уже не так горько и впервые в жизни порадовалась тому, что может на кого-то опереться. Дик нежно погладил девушку по плечу, но движения его были неуверенны, потому что ему не сразу удалось это плечо отыскать.

Наконец она высвободилась из его объятий и ожидала дальнейшего, охваченная трепетом и глубоко удрученная. Он ощупью побрел к окну, надеясь, что там, поодаль от нее, буря, которая бушевала в его сердце, понемногу уляжется.

— Ну, теперь тебе полегчало? — спросил он.

— Да, но только... ведь ты не возненавидишь меня?

— Разве я способен тебя возненавидеть? Боже упаси! Это я-то?

— Тогда... тогда не могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Если хочешь, ради этого я останусь в Англии. И, пожалуй, буду иногда тебя навещать.

— Нет, милая, это ни к чему. Пощади меня, не приходи больше, умоляю. Я не хочу тебя обидеть, но, посуди сама, наверное, было бы лучше, если б ты ушла прямо сейчас.

Он чувствовал, что у него не хватит мужества долго выдерживать эту пытку.

— Поделом мне, много я и не заслужила. Я уйду, Дик. Но я так несчастна.

— Пустое. Тебе незачем беспокоиться, поверь, будь это не так, я сказал бы прямо. Обожди, милая. Сперва прими от меня подарок. Я решил сделать его тебе еще в ту пору, когда со мной приключилась беда. Это моя Меланхолия: она была очаровательна, когда я видел ее в последний раз. Сохрани же ее ради меня, но можешь и продать, если когда-нибудь окажешься без средств. Даже по самой бедной цене ты получишь за нее несколько сот фунтов. — Он стал ощупью перебирать свои полотна. —

Она в черной раме. Эта рама, что у меня в руках, черная? Да, вот она. Ну, что скажешь?

Он обратил к Мейзи холст, покрытый уродливой, исполосованной мешаниной красок, и вперил в нее пустые глаза, будто мог увидеть ее удивление и восторг. У нее была теперь одна, только одна-единственная возможность сделать для него доброе дело.

— Ну как?

Голос его зазвучал тверже, уверенней, внятней, ведь он знал, что говорит о лучшем своем произведении. Мейзи взглянула на уродливую пачкотню, и от безумного желания захохотать у нее сжало горло. Но ради Дика — что бы ни означала эта сумасбродная нелепица — надо было сдержаться. Глотая слезы и не отрывая взгляда от искалеченной картины, она ответила с затаенным вздохом:

— Да, Дик, это *очень* хорошо.

Он уловил ее короткий судорожный порыв, который счел заслуженной данью восхищения.

— Значит, ты принимаешь мой подарок? Если хочешь, я велю доставить картину тебе на дом.

— Я? Ну да... спасибо. Ха-ха!

Она чувствовала, что надо скорей бежать отсюда, иначе этот смех, который ужаснее всяких слез, задушит ее насмерть. Она повернулась и бросилась наутек, задыхаясь и не разбирая дороги, поспешно сбежала вниз по лестнице, где не встретила ни души, кликнула извозчика, вскочила в пролетку и поехала через Парк прямо к себе. Дома, в маленькой гостиной, откуда были вывезены почти все вещи, она села и стала думать о Дике, обреченном на слепоту и бесцельное прозябание до конца жизни, о том, как сама она теперь будет выглядеть в собственных глазах. И сильнее скорби, стыда и унижения был страх перед холодной яростью, которой встретит ее рыжеволосая подружка. Раньше Мейзи никогда ее не боялась. Только поймав себя на мысли: «Но ведь он меня ни о чем не просил», — она поняла, как глубоко сама себя презирает.

Вот и весь сказ о Мейзи.

Дику же были уготованы еще более мучительные терзания. Сперва он недоумевал, как могла Мейзи, хотя он сам велел ей уйти, покинуть его, не сказав на прощанье ни одного теплого слова. Он захлебывался от

злости на Торпенхау, который обрек его на такое унижение и лишил последних остатков покоя. А потом черные мысли одолели его, и он в одиночестве, объятый этой чернотой, вынужден был бороться со своими желаниями и тщетно взывать о помощи. Королева всегда безупречна, но на этот раз, сохранив безупречную верность работе, она нанесла своему единственному подданному удар более тяжкий, нежели он сам мог предполагать.

— Я потерял единственное, что было у меня в жизни, — сказал он, когда первый приступ горя прошел и мысли начали проясняться. — А Торп наверняка возомнил, будто все подстроил с дьявольской ловкостью, и у меня не хватит решимости потолковать с ним начистоту. Надо спокойно об этом поразмыслить.

— Привет! — сказал Торпенхау, войдя в мастерскую через два часа, которые Дик провел в раздумье. — Вот я и вернулся. Надеюсь, тебе полегчало?

— Торп, право, я не нахожу слов. Подойди сюда.

Дик глухо закашлялся, и впрямь не находя ни слов, ни сил, дабы сохранить сдержанность.

— А к чему слова? Вставай-ка лучше и давай пройдемся.

Торпенхау был очень доволен собой. Он обнял Дика за плечи, и они, как обычно, стали прохаживаться по мастерской, но Дик долго еще молчал, погруженный в свои мысли.

— Как же ты все-таки об этом пронюхал? — спросил он наконец.

— Видишь ли, Дикки, если хочешь сохранить свои тайны, не позволяй себе впадать в бред. Конечно, с моей стороны это была вопиющая наглость: но видел бы ты, как лихо я скакал на едва обьеженном эскадронном коне там, во Франции, под палящим солнцем, ты бы лопнул со смеху. А нынче вечером у меня будет изрядный тарарам. Кроме прочих, придут еще семеро, сущие дьяволы...

— Знаю — скоро начнутся бои в Южном Судане. Недавно я вторгся в твою комнату, когда они держали там совет, и после этого приуныл. Ты уже собрался в дорогу? А для кого будешь писать?

— Я еще не заключил договора. Хотел сперва поглядеть, как пойдут твои дела.

— Значит, ты остался бы со мной, если... если бы дела приняли скверный оборот?

Дик задал вопрос в осторожной форме.

— Не требуй от меня слишком многого. В конце концов, я самый обыкновенный человек.

— Ты сделал весьма успешную попытку стать ангелом.

— Мда-а!.. Ну а сегодня ты побываешь на нашем сборище? К утру мы будем в изрядном подпитии. Все уверены, что война неминуема.

— Вряд ли, дружище, если ты не будешь настаивать. Лучше я посижу здесь, в тишине.

— И подумаешь без помех? Я отнюдь не намерен тебя упрекать. Ты больше, чем всякий другой, заслуживаешь спокойствия.

В тот вечер на лестнице царила невообразимая суматоха. Корреспонденты прямо из театра, из мюзик-холла или со званого обеда валили к Торпенхау, чтобы обсудить план действий на случай, если неминуемые боевые операции начнутся в скором времени. Торпенхау, Беркут и Нильгау созвали всех своих собратьев по перу, с которыми им доводилось вместе работать; и мистер Битон, домоправитель, утверждал, что за всю свою долгую, изобилующую событиями жизнь еще не видывал столь отчаянных людей. Они орали и распевали песни так громко, что переполошили весь дом; почтенные мужчины в летах не отставали от юнцов. Ведь впереди их ожидали опасности войны, и все они прекрасно понимали, чем это пахнет.

Дик, который сидел у себя, сначала был несколько озадачен шумом, доносившимся через площадку, а потом вдруг рассмеялся.

«Если пораскинуть умом, положение и впрямь самое что ни на есть смехотворное. Мейзи совершенно права, бедная девочка. Я и не подозревал, что она умеет так горько плакать; но теперь мне известно, что думает Торп, и я уверен, что он сдуру остался бы дома и пытался бы меня утешать — если б только знал правду. Кроме того, не очень-то приятно сознавать, что тебя выбросили на свалку, как поломанный стул. Я должен справиться с этим в одиночку — мне ведь не привыкать. Если войны не будет и Торпу все станет известно, я предстану в дурацком виде, и только. А если будет война, я

не должен никому мешать. Дело есть дело, и я хочу быть один... один. Но до чего ж они там разгулялись!»

Кто-то забарабанил в дверь мастерской.

— Выходи, Дик, будем веселиться, — слышался голос Нильгау.

— Я бы рад, да не могу. Настроение у меня совсем не веселое.

— А вот я сейчас кликну ребят, и они выволокут тебя, как барсука из норы.

— Пожалуйста, старина, избавьте меня от этого. Честное слово, мне охота побыть одному.

— Будь по-твоему. Может, прислать тебе чего-нибудь? Скажем, шампанского? Кассаветти уже начал горланить песни о солнечном юге.

С минуту Дик серьезно обдумывал это предложение.

— Нет, спасибо. У меня и без того голова трещит.

— Невинный младенец. Вот к чему приводят волнения юной души. Горячо поздравляю тебя, Дик. Я ведь тоже соучастник заговора, который был затеян ради твоего блага.

— Катитесь к черту и... позовите сюда Дружка.

Песик вбежал на пружинистых лапах, крайне взбудораженный, потому что весь вечер его ласкали и баловали. Когда хором подхватывали припев, он с упоением подвывал; но, очутившись в мастерской, он сразу сообразил, что здесь не место для изъявления восторгов, и примостился на коленях у Дика, ожидая, когда придет время спать. Потом он лег вместе с Диком, который всю ночь напролет прислушивался, как бьют часы, и считал каждый удар, а наутро мысль работала с мучительной четкостью. Дик выслушал поздравления Торпенхау, принесенные уже в более торжественной форме, а также подробный рассказ о ночном кутеже.

— Но ты что-то невесел и мало похож на счастливого избранника, — заметил Торпенхау.

— Не беспокойся — это уж мое дело, у меня все хорошо. Стало быть, решено, ты едешь?

— Да. От Центрально-южного, как всегда. Они предложили мне более выгодные условия против прежних, и я согласился.

— Когда же в путь?

— Послезавтра. Через Бриндизи.

— Слава богу.

Дик сказал это от всего сердца.

— Право слово, ты весьма бесцеремонно даешь понять, что рад от меня избавиться. Но человеку в твоём положении позволительно думать только о себе.

— Я вовсе не то хотел сказать. Тебя не затруднит получить до отъезда по моему чеку сотню фунтов?

— Не маловато ли на хозяйственные расходы?

— Ну нет, это я просто... готовлюсь к свадьбе.

Торпенхау принес деньги, пересчитал по отдельности пятерки и десятки, сложил их аккуратными пачками и спрятал в ящик письменного стола.

— Теперь, надо полагать, я досыта наслушаюсь всяких бредней про эту девчонку, прежде чем уеду. Боже, дай мне набраться кротости и вытерпеть все причуды влюбленного! — сказал он себе втихомолку.

Но Дик больше и словом не обмолвился ни о Мейзи, ни о будущей свадьбе. Он только все время торчал в дверях, когда Торпенхау укладывал вещи, и донимал его бесконечными вопросами по поводу предстоящей кампании, так что Торпенхау в конце концов начал сердиться.

— Дикки, ты просто скотина, ну можно ли так скрывать и вариться в собственном соку? — сказал он вечером накануне отъезда.

— Да... да, пожалуй, ты прав. Но, как по-твоему, сколько будет длиться война?

— Дни, недели или месяцы. Кто знает. Может, даже годы.

— Я тоже хотел бы поехать.

— Боже правый! Тебя решительно невозможно понять! Неужто ты позабыл, что скоро женишься — и, между прочим, благодаря мне?

— Нет, конечно, не позабыл. Я женюсь... такая моя судьба. Я женюсь. И признателен тебе от души. Разве я уже не говорил этого?

— Но вид у тебя такой, будто тебя ждет не женитьба, а виселица, — сказал Торпенхау.

На другой день Торпенхау простился с Диком и оставил его в одиночестве, которого он так жаждал.

## ГЛАВА XIV

Все ж пред концом, хоть уж был копыеносцами нашими взят он,  
Все ж пред концом, хоть уж саблей бессильный отбиться один,  
Все ж пред концом, уж во власти враждебных солдат, он  
Им, правоверный, приказывал, словно рабам властелин:  
Все ж пред концом, нечестивыми раненный, смят, он  
Ярость насилья, неволи жестокость познал, —  
Все ж пред концом, уже тьмой беспросветной объят, он  
Громко к Аллаху воззвал и с несломленной верою пал.

«Кызылбаши»

— Прошу прощенья, мистер Хелдар, но... дозволейте полюбопытствовать, не ожидается ли каких перемен? — спросил мистер Битон.

— Нет!

Дик только что проснулся в том безысходном отчаянье, с каким встречал каждое новое утро, и отнюдь не был расположен к любезности.

— Само собой, сэр, это впрямь меня не касается, и вообще я завсегда говорю: «Занимайся своим делом, и пускай никто не суется в чужие дела», — но мистер Торпенхау перед отъездом дал мне понять, что вы, ежели можно так выразиться, надумали перебраться в собственный дом — да еще какой дом, с двумя квартирами внизу и наверху, и там вас будут лучше обихаживать, чем здесь, хоть я и стараюсь одинаково угождать всем жильцам. Верно я говорю?

— Эх! Я мог бы перебраться разве только в сумасшедший дом. Но все же не трудитесь отправлять меня туда раньше времени. Пожалуйста, подайте завтрак и уходите.

— Смеею надеяться, сэр, я не сказал ничего дурного, но, право слово, смею надеяться, я делаю все, что только в человеческих силах, для всякого, кто здесь квартирует — и особенно для тех, кому выпала в жизни тяжкая доля, — вот, к примеру, как вам, мистер Хелдар. Вы ведь любите копченую сельдь с молоками? Сельдь с молоками совсем не то, что с икрой, такую достать куда трудней, но я завсегда говорю: «Не беда, ежели надобно малость потрудиться, только бы сделать жильцам удовольствие».

Мистер Битон ушел, и Дик остался в одиночестве. Торпенхау давно уехал; кутежи в его комнатах прекратились, и теперь Дик кое-как влачил свою жизнь, которую он слабодушно считал не лучше смерти.

Тяжко жить одному, в вечной темноте, не различая дней и ночей; засыпать от утомления среди дня и внезапно вскакивать на холодном рассвете. Поначалу Дик, едва пробудившись, начинал ощупью бродить по коридорам, пока не заслышит чей-нибудь храп. Это означало, что день еще не наступил, и он понуро плелся восвояси. Со временем он приучил себя смиренно лежать до тех пор, пока в доме не поднимется шумное оживление и пока наконец мистер Битон не скажет ему, что пора вставать. Одевшись — а теперь, когда Торпенхау уехал, одевание стало делом долгим и хлопотным, потому что воротнички, галстуки и прочие предметы туалета, как назло, прятались в самых дальних углах комнаты и Дик вынужден был отыскивать их, ползая по полу и стучаясь головой о стулья и сундуки. Одевшись, он решительно не знал, чем себя занять, и сидел, предаваясь печальным размышлениям, которые прерывались за день только три раза, когда ему приносили поесть. Целая вечность отделяла завтрак от обеда, а обед от ужина, и хоть сотни лет моли небо помутить твой разум, все равно бог останется глух к этим молитвам. Напротив, разум обострился, мысли мчались в бурном круговороте, вертелись впустую, как скрипучие мельничные жернова, когда нет помола; и все же мозг не уставал, не давал покоя. Он рождал мысли, воскрешал образы и картины прошлого. Он пробуждал воспоминания о Мейзи, о былых успехах, об отважных скитаниях на суше и на море, об упоении работой и радости, когда эта работа по-настоящему удавалась, а воображение рисовало все, что ждало бы его впереди, если бы только глаза по-прежнему служили ему верой и правдой. Когда же от усталости мысли наконец прерывались, душу Дика непрерывно захлестывали волны иступленного, нелепого страха, — он все время боялся умереть с голоду, испытывал ужас при мысли, что невидимый потолок вот-вот обрушится ему на голову, опасался, что в доме вспыхнет пожар и он погибнет в пламени, как последняя вошь, и еще его терзали иные кошмары, вовсе не связанные со страхом смерти. Тогда Дик, понуриив голову, стискивал подлокотники кресла и, весь в поту, боролся с собой до тех пор, пока звяканье тарелок не возвещало, что ему принесли поесть.

Мистер Битон подавал еду, когда у него бывало свободное время, и Дик привык выслушивать его простран-ные разглагольствования о неисправных газовых рожках,

о пришедших в негодность трубах, которые никак нельзя починить, о мудреных способах заколачиваяния гвоздей, на которые надо повесить картины, о прегрешениях по-денщиц и служанок. За неимением лучшего даже сплетни о прислуге обретают захватывающий интерес, а замена водопроводного крана становится целым событием, которое дает пищу для толков не на один день.

Раз-другой в неделю, по утрам, мистер Битон брал Дика с собой на рынок, где он подолгу торговался, прежде чем купить рыбу, фитили для ламп, горчицу, саговую крупу и еще всякую всячину, а Дик тем временем переступал с ноги на ногу и развлекался, перебирая жестянки или бесцельно теребя моток шпагата на прилавке. Порой мистеру Битону случалось встретить кого-нибудь из знакомцев, и тогда Дик смиренно дожидался в стороне до тех пор, пока мистер Битон не спохватывался, что пора возвращаться.

Такая жизнь отнюдь не прибавляла Дику уважения к себе. Он перестал бриться, считая это опасным делом, а пользоваться услугами цирюльника отказывался, потому что это значило бы выставить напоказ свою немощь. Он не мог присмотреть за тем, чтобы одежда его была вычищена как следует, а коль скоро он и прежде не заботился о своей внешности, теперь он превратился в последнего неряху. Слепец не может соблюдать опрятность во время еды по крайней мере первые несколько месяцев, пока не привыкнет к окружающей темноте. Если же он требует чужой помощи и недоволен, когда эта помощь ему не оказывается, то поневоле должен заявить о себе и выказать твердость. Но тогда последний лакей поймет, что он слепой, а стало быть, никчемный человек. Поэтому умный предпочтет затаиться и тихонько сидеть дома. Развлечения ради можно не спеша, по одному, вытаскивать щипцами угли из ящика и складывать их кучкой на каминной решетке, ведя счет каждому, а потом аккуратно, уголек за угольком, водворять на место. Можно вспоминать арифметические задачи и при желании решать их в уме; можно разговаривать с самим собой или с кошкой, если она удостоит его своим посещением, а будучи опытным художником, можно рисовать пальцем в воздухе; но это все равно что пытаться с закрытыми глазами изобразить на картине живую свинью. Можно подходить к полкам, пересчитывать книги и расставлять их по формату; или же пересчитывать

рубашки, вынутые из платяного шкафа, и раскладывать их по две и по три на кровати, отбирая те, у которых истрепались манжеты или оторвались пуговицы. Но даже такое занятие в конце концов становится утомительным; а время ползет медленно, очень медленно.

Дик получил разрешение посещать домашнюю кладовку, где мистер Битон хранил молотки, краны, гайки, длинные отрезки газовых труб, бутылки с керосином и куски веревок.

— Ежели б я не знал, где у меня чего лежит, право слово, мне никогда не сыскать бы нужную вещь. Вам, поди, и невдомек, сэр, экая прорва всяких мелочей надобна, чтоб содержать меблированные комнаты, — сказал мистер Битон. Он дернул дверную ручку, как бы собираясь уйти. — Тяжкая у вас доля, сэр, как я погляжу, *очень* даже тяжкая. Что же вы дальше думаете делать, сэр?

— По-прежнему платить за квартиру и еду. Разве этого мало?

— У меня и в мыслях не было сомневаться, сэр, что платить вы будете сполна, но я не раз говаривал своей супружнице: «У него тяжкая доля, потому как он не старик и даже не в пожилых летах, а совсем еще молод. *Потому-то* ему так тяжело приходится».

— Пожалуй, вы правы, — сказал Дик рассеянно.

Эту струну в нем задевали столь часто, что он уже ничего не чувствовал — почти ничего.

— Вот я и подумал, — продолжал мистер Битон, все еще делая вид, что намерен уйти, — может, вы пожелаете, чтоб мой сынишка Алф иной раз, вечером, почитал вам вслух газеты. Он у меня отменно читает, особливо ежели принять в соображение, что ему всего-то девять годков от роду.

— Буду очень признателен, — сказал Дик. — Только уж позвольте мне отблагодарить его за труды.

— Помилуйте, сэр, об *этом* мы вовсе не думали, хотя, само собой, тут уж воля ваша. Но слышали бы вы, как он поет «Мамуля — лучший друг сынули!» Эх!

— Я с охотой послушаю и пение. Пускай зайдет ко мне вечером и прихватит газеты.

Алф оказался пренеприятным ребенком, который слишком много о себе воображал, потому что в школе его наградили кучей похвальных листов, и незаслуженно гордился своим пением. Мистер Битон пришел с ним вместе

и весь сиял, внимая, как его отпрыск с грехом пополам визгливо тянул песенку из восьми куплетов на манер беспризорников из лондонских предместий, а потом отец выслушал похвалы и удалился, предоставив мальчику читать сообщения из-за границы. Через десять минут Алф вернулся к родителям бледный и перепуганный.

— Говорит, что не может больше терпеть, — объяснил он.

— Неужто, Алф, ему не понравилось, как ты читаешь? — спросила миссис Битон.

— Нет. Он меня очень даже хвалил. Сроду, говорит, не слышал такого чтения, только он вынести не может того, что пропечатано в газетах.

— Видать, проигрался на бирже. Ты про биржу ему читал, Алф?

— Нет, там было только про войну где-то далеко, куда послали солдат, — длинно-предлинно, мелкими буквами и со всякими непонятными словами. Он дал мне полкроны за то, что я так хорошо читал. И обещался снова меня позвать, когда захочет, чтоб ему еще чего-нибудь почитали.

— Это приятно слышать, но, право слово, за полкроны — Алф, положи монету в копилку, да сию же секунду, у меня на глазах — он мог бы продержать тебя подольше. А то он не успел даже по-настоящему оценить, как отменно ты читаешь.

— Я думаю, лучше оставить его в покое: такие люди всегда этого желают, ежели душа не на месте, — сказал мистер Битон.

Хотя Алф читал специальную корреспонденцию Торпенхау невыразительно и бестолково, в Дике пробудился демон беспокойства. Сквозь гнусавое чтение ему слышался рев верблюдов в военном лагере близ Суакина, соленые шутки и хохот солдат у кипящих котлов, горький запах дыма от костров, раздуваемых ветром пустыни.

В ту ночь он молил бога лишить его рассудка, считая, что достоин такой милости уже хотя бы потому, что до сих пор не застрелился. Эта молитва не получила ответа, да и сам Дик в глубине души понимал, что остался жить лишь благодаря неистребимой способности относиться ко всему с юмором, а вовсе не в награду за какую-то особую добродетель. Покончить самоубийством, убеждал он себя, было бы просто смехотворно и унижительно

в столь серьезном положении, да к тому же это значило бы расписаться в малодушии и трусости.

— Просто любопытства ради, — сказал он кошке, которая жила теперь у него вместо Дружка, — мне охота знать, сколько это будет тянуться. На ту сотню фунтов, что Торп получил по моему чеку, я могу прожить год. В банке у меня тысячи две или три, не меньше, — выходит, я обеспечен еще лет на двадцать или тридцать. А потом я останусь при своих ста двадцати фунтах дохода, но к тому времени еще нарастут проценты. Ну-ка, прикинем. Двадцать пять... тридцать пять — мужчина, как говорится, в расцвете лет... сорок пять — уже полная зрелость, самое время делать политическую карьеру... пятьдесят пять — «безвременно скончался в возрасте пятидесяти пяти лет», как пишут в газетах. Фу! До чего ж эти христиане боятся смерти! Шестьдесят пять — уже почтенные годы. Семьдесят пять — вполне можно дожить. Да, киска, это сущий ад! Еще пятьдесят лет одиночного заключения в темноте! Ты умрешь, и Битон умрет, и Торп умрет, и Мейзи... все умрут, а я буду жить, изнывая от томительного безделья. Мне ужасно жаль себя. Но хоть бы кто другой меня пожалел. Похоже, что я останусь в здравом уме до самой смерти, но боль никак не утихает. А тебя, киска, когда-нибудь подвергнут вивисекции! Привяжут крепко-накрепко к столику и начнут потрошить — но ты не бойся: будет сделано все возможное, чтоб ты не испустила дух. Ты останешься жить и тогда пожалеешь о том, что не жалела меня. А вдруг Торп еще вернется, или... если б я только мог поехать к Торпу и Нильгау, пускай даже я был бы для них обузой.

Кошка ушла, не дослушав, а вскоре явился Алф и увидел, что Дик разговаривает с ковриком у камина.

— Вам письмо, сэр, — сказал он. — Ежели угодно, я прочитаю.

— Дай-ка его мне на минутку, а потом я решу.

Протянутая рука едва заметно дрогнула, и в голосе слышался затаенный трепет. Ведь вполне могло оказаться... Но нет, письмо было не от Мейзи. Он определил это безошибочно, потому что слишком часто ощупывал три нераспечатанных конверта. Все же на миг в нем шевельнулась безумная надежда, что она решила ему написать, ведь он не понимал, что бывает непреодолимое зло, когда уже нет возврата к прошлому, пусть даже тот, кто в этом повинен, со слезами и самым искренним

душевым раскаянием стремится все искупить. И лучше обоим, виновному и потерпевшему, навсегда забыть это зло, раз уж его невозможно исправить, как низкопробную работу, выпущенную в свет.

— Ну что ж, читай, — сказал Дик, и Алф старательно забубнил, как его выучили в школе:

— *«Я могла бы подарить вам такую любовь, такую верность, о каких вы не смели даже мечтать. Неужели вы полагаете, будто для меня имело значение, что вы собой представляете? Но вы предпочли все пустить на ветер и остались ни с чем. Только ваша молодость может вас оправдать».*

— Вот и все, — сказал мальчик и отдал листок, который тут же полетел в камин.

— Что было в письме? — спросила миссис Битон, когда Алф вернулся.

— Не знаю. По-моему, это какое-то руководство или наставление не пускать людей на ветер в молодости.

«Должно быть, я невольно что-то растоптал, когда свободно пользовался жизнью и мог идти, куда мне хотелось, а теперь это существо воспряло и нанесло удар в отместку. Как бы то ни было, спаси его бог — если только это не шутка. Но, право, ума не приложу, кому могло бы вздуматься преподнести мне подобную шутку... Любовь и верность, когда остался ни с чем. Звучит очень заманчиво. Неужели я и впрямь потерял нечто такое?»

Дик долго думал, но не мог припомнить, когда или как он умудрился вызвать у какой-то женщины столь несуразные побуждения.

И все же это письмо, касавшееся предметов, о которых он предпочитал не вспоминать, ранило его так больно, что он пришел в неистовство и не мог успокоиться целые сутки. Когда сердце его, преисполненное отчаяния, едва не разрывалось на части, он весь, телом и душой, казалось, неудержимо проваливался в бездонную тьму. Тьма ужасала его, и он исступленно порывался вернуться к свету. Но возврата не было, свет оставался недостижимым. Когда же он, совершенно измученный, весь в испарине, с трудом переводил дух, стремительное, неудержимое падение возобновлялось, ужас нарастал, становился все мучительней, побуждал его опять вступить в ту же безнадежную борьбу. Потом он засыпал на несколько минут, и ему снилось, будто он прозрел. А после

пробуждения все повторялось той же неотвратимой чередой, так что он окончательно изнемог, и в его мозгу закружились безотвязные мысли о Мейзи и о несбывшихся мечтах.

Наконец пришел мистер Битон и предложил ему прогуляться.

— Нынче на рынок идти не надо, стало быть, ежели угодно, могу сводить вас в Парк.

— Нет уж, черт бы его взял, — промолвил Дик. — Пройдемся по улицам. Я люблю слышать голоса прохожих.

Сказав так, он покривил душой. Слепые, недавно пораженные своим тяжким увечьем, терпеть не могут зрячих, которые беспечно разгуливают на воле, вместо того чтоб брести ощупью, с вытянутыми руками, — но у Дика не было ни малейшего желания идти в Парк. С тех пор как Мейзи захлопнула за собой дверь, он побывал там один-единственный раз вместе с Алфом. Но Алф вскоре забыл о нем и убежал к друзьям ловить пескарей в Серпантинном пруду. Дик дожидался его целых полчаса, после чего, чуть не плача от злости и негодования, обратился к первому встречному, который помог ему добрести до полисмена, а тот охотно оказал любезность и проводил его до извозчичьей стоянки напротив Алберт-холла. Дик не пожаловался мистеру Битону на забывчивость Алфа, но... совсем не так случалось ему гулять по Парку в былые времена.

— Какие же улицы вам удобны? — сочувственно спросил мистер Битон.

По его понятиям, чтоб отдохнуть на славу, следует всем семейством, прихватив кульки со всякой снедью, отправиться в Грин Парк и посидеть там на травке в свое удовольствие.

— Ведите к реке, — сказал Дик, и они повернули к реке, причем Дик жадно прислушивался к этому плеску, пока они не свернули от Блэкфрайрского моста на проспект Ватерлоо, где мистер Битон принялся объяснять, какие живописные виды открываются вокруг.

— А по другой стороне, ежели только не ошибаюсь, — сказал он, — идет та самая молодая женщина, которая приходила к вам на дом, и вы рисовали с нее портрет. У меня отменная память на лица, только вот имена ни в жизнь не могу упомянуть, кроме, известное дело, тех жильцов, какие платят в срок!

— Догоните ее, — сказал Дик. — Это Бесси Голь. Скажите, что я хочу с ней поговорить. Да поживей, любезнейший!

Мистер Битон перебежал мостовую, едва увертываясь от omnibusов, и остановил Бесси, шедшую на север. Она сразу узнала сурового человека, который встречал ее грозным взглядом, когда она подымалась по лестнице в мастерскую Дика, и первым ее побуждением было бежать со всех ног.

— Ведь это вы служили в натурщицах у мистера Хелдара? — сказал мистер Битон, заступая ей дорогу. — Вы самая и есть. Он дожидается на той стороне, хочет с вами поговорить.

— Чего ради? — робко пролепетала Бесси.

Она припомнила — или, вернее сказать, до сих пор не забыла — судьбу, которая некогда постигла едва законченную картину.

— А того ради, что он так просил, ведь сам он слепой, света не видит.

— Стало быть, пьян?

— Нет. Форменно слепой. Напрочь лишился зрения. Вон там дожидается.

Мистер Битон указал на Дика, который стоял, приклонившись к парапету моста, — обросший щетиной, сутуленный человечек в грязном пальто и торчавшем наружу замусоленном красном шарфе. Такого нечего было бояться. Ежели он даже погонится за мной, подумала Бесси, то вскорости отстанет. Она перешла на другую сторону, и Дик просиял. Ведь он так долго был лишен удовольствия поговорить с женщиной.

— Надеюсь, вы здоровы, мистер Хелдар? — спросила Бесси не без смущения.

Мистер Битон стоял рядом, важный, как дипломатический посланник, и внушительно сопел.

— Я совершенно здоров, и — разрази меня гром! — я очень рад видеть... то бишь слышать тебя, Бесс. А ты, с тех пор как получила деньги, хоть бы разок зашла нас проведать. Но я понимаю, тебе это ни к чему. Ты идешь куда-нибудь по делу?

— Нет, просто гуляю, — ответила Бесси.

— Неужели опять взялась за старое? — спросил Дик, понизив голос.

— Боже упаси! Я внесла залог, — последнее слово Бесси произнесла с особенной гордостью, — и меня взяли

на работу в бар, там я и проживаю, так что теперь я строго себя блюду. Ей-же-ей.

Мистер Битон не имел особых причин верить в возвышенность человеческих чувств. Поэтому он, даже не попросив извинения, бесшумно испарился, чтоб вновь заняться своими газовыми рожками. Бесси смотрела ему вслед с некоторым беспокойством; но Дик, видимо, не знал, какое зло она ему причинила, а если это так...

— Качать пиво вручную ужас как тяжело, — продолжала она, — и вот у нас поставили такую машину, надо только опустить монету в щелку, и готово, а ежели за день бывает какая недостача... но я не верю, что машина умеет считать. А вы?

— Я видел только, как она действует. Мистер Битон...

— Он ушел.

— Тогда мне придется просить, чтоб ты довела меня до дому. Я в долгу не останусь. Сама видишь, что со мной.

Он обратил к ней незрячие глаза, и она все увидела.

— Может, ты занята? — спросил он нерешительно. — Если для тебя это затруднительно, я могу попросить полисмена.

— Нисколечки. Я заступаю в семь и кончаю в четыре. Самое лучшее время.

— Боже правый! А я решительно ничего не делаю. Мне очень хотелось бы иметь хоть какую-нибудь работу. Ну пойдем, Бесс.

Он повернулся и чуть не сбил с ног какого-то прохожего, который отскочил и сердито выругался. Бесси взяла его за руку без единого слова — как некогда без единого слова повиновалась его приказам повернуть лицо к свету. Некоторое время они шли молча, и девушка ловко помогала ему пробираться через толпу.

— А где... где теперь мистер Торпенхау? — осмелилась она спросить наконец.

— Уехал в пустыню.

— Это где ж такое?

Дик указал вправо.

— Сперва надо плыть на восток до устья реки, — ответил он. — Потом на запад, потом на юг и снова на восток, вдоль всей южной оконечности Европы. А потом снова на юг, бог весть в какую даль.

Бесси ровным счетом ничего не поняла из этого объяснения, но воздержалась от дальнейших расспросов и благополучно довела Дика до дома.

— Сейчас мы будем пить чай со сдобными булочками, — оживленно сказал он. — Ты даже не представляешь себе, Бесси, как я рад, что снова тебя нашел. Отчего ты вдруг исчезла без следа?

— Решила, что вам нету больше во мне нужды, — ответила она, осмелев, поскольку окончательно убедилась, что он ничего даже не подозревает.

— Собственно, так оно и было... но потом... да что уж там, все одно я рад нашей встрече. Идем наверх, ты ведь помнишь куда.

Бесси отвела его в мастерскую — на лестнице им никто не встретился — и затворила дверь.

— Экий тут у вас беспорядок! — первым делом сказала она. — Видать, не прибирают уже который месяц.

— Нет, Бесс, всего лишь несколько недель. Да что с них взять, ведь им до меня нет дела.

— Не знаю, что, по-вашему, с них можно взять. А только они тоже должны совесть иметь, ежели им деньги плачены. Ну и пылица, просто страсть. Под ней даже мольберта не видно.

— Он мне теперь ни к чему.

— Всюду пылица, и на картинах, и на полу, и на вашей одежде. Вот я сейчас потолкую с прислугой.

— Позвони и вели подать чай.

Дик ошупью добрался до кресла, в котором привык сидеть. Бесси смотрела на него и, насколько это было доступно ее душе, в ней шевельнулось сострадание. Но она обрела и неведомое ей дотоле захватывающее чувство своего превосходства, которое явственно слышалось в ее голосе.

— И давно вы таким стали? — спросила она сердито, словно и в его слепоте была повинна прислуга.

— Каким таким?

— Да вот как теперь.

— На другой же день, едва ты получила чек и ушла, а я закончил свою картину: больше я ее не видел.

— Стало быть, с тех самых пор вас и обирают. Уж я-то знаю, как ловко они обделывают делишки.

Женщина может любить одного мужчину и презирать другого, но в силу самой своей природы сделает все, чтобы спасти даже того, кого презирает, от бессовестного

обмана. Любимый сумеет сам за себя постоять, а вот такой скудоумный бедняга нуждается в защите.

— Не думаю, чтоб мистер Битон так уж меня обирал, — сказал Дик.

А Бесси бойко сновала по комнате, и он с захватывающим наслаждением прислушивался к шелесту ее юбок и к легкой, проворной поступи.

— Чаю и сдобных булочек, — отрывисто потребовала она, позвав звонком служанку. — Заварить две ложечки, а после добавить еще одну. Да не в старом чайнике, как раньше, когда я приходила сюда. В нем заварка плохо настаивается. Новый подайте.

Служанка ушла посрамленная, а Дик рассмеялся. Но тут же он закашлялся от пыли, которую подняла Бесси, решительно хозяйничая в мастерской.

— Что ты там делаешь?

— Навожу порядок. У вас тут свинарник, а не комната. И как вы это терпели?

— А что мне еще оставалось? Ладно, мети дальше.

Бесси продолжала усердно мести, и в самый разгар уборки вошла миссис Битон. Муж, вернувшись домой, рассказал ей о случившемся, а под конец присовокупил наиболее подходящее из своих изречений: «Не делай другим того, чего сам себе не желаешь». И вот она соблаговолила лично пожаловать в мастерскую, дабы поставить на место эту бесстыжую девку, которая так дерзко потребовала булочек и заварки в новом чайнике, будто имела на все это полное право.

— Ну, готовы булочки? — спросила Бесс, продолжая выметать пыль.

Теперь это была уже не уличная шлюха, а благопристойная молодая женщина, ведь с тех пор, как она получила деньги по чеку и внесла залог, ей доверили подавать пиво в приличном заведении. На ней было новое черное платье, и она без малейшей робости встретила миссис Битон, после чего обе женщины обменялись взглядами, каковые Дик оценил бы по достоинству, если б мог видеть. Все обошлось без слов. Бесси одержала верх, и миссис Битон отправилась печь булочки, изливая перед мужем свое уничтожающее презрение ко всяким натурщикам, потаскушкам, шлюхам и прочим подобным тварям.

— Мы ничего не выгадаем, ежели вмешаемся, Лиз, — сказал он. — Алф, ступай-ка играть на улицу. Когда это-

му жильцу не перечишь, из него можно веревки вить, но скажи ему поперек хоть слово, он становится сущим дьяволом. С тех пор, как он ослеп, мы изрядно попользовались от него по мелочам, так что пускай делает, чего хочет. Само собой, слепому все эти вещи без надобности, но ежели дойдет до суда, мы не оберемся неприятностей. Да, я сам подозвал к нему эту девушку, потому как у меня самого чувствительное сердце.

— Даже слишком чувствительное!

Миссис Битон с досадой вывалила булочки на тарелку, вспомнив смазливых служанок, которым ей не раз приходилось отказывать от места из-за определенных подозрений.

— Я нисколько этого не стыжусь, и нельзя судить человека слишком строго, ежели он завсегда платит в срок. Я умею ладить с молодыми людьми, ты умеешь для них стряпать, и я говорю: пускай каждый занимается своим делом, тогда все будет тихо-мирно. Подай им булочки, Лиз, да не вздумай пререкаться с девчонкой. Больно уж тяжкая у него доля, и ежели ему перечить, он в ответ сыплет такими ругательствами, каких я сроду от своих жильцов не слыхивал.

— Вот так-то лучше, — сказала Бесси, садясь за чайный столик. — Спасибо, миссис Битон, вы можете уйти.

— Это я и собиралась сделать, не извольте сомневаться.

Бесси не удостоила ее больше ни одним словом. Она знала, что именно таким образом сражают наповал своих соперниц благородные дамы, а женщина, которая работает в перворазрядном баре, уже, можно сказать, без десяти минут благородная.

Она взглянула через стол на Дика и была неприятно удивлена. Ворот его усеивали крошки еды; рот, заросший косматой, всклокоченной бородой, угрюмо кривился; лоб избородили глубокие морщины; волосы на впалых висках были какие-то грязновато-серые, то ли от седины, то ли неведомо отчего. Глубоко несчастный и безнадежно опустившийся, этот человек вызывал у нее сострадание, но в глубине души она невольно испытывала еще и злорадность, видя, до чего теперь жалок и унижен тот, кто прежде сам ее унижал.

— Эх! Как приятно чувствовать, что ты здесь, рядом, — сказал Дик, потирая руки. — Ну, Бесси, расска-

жи подробно, как ты преуспеваешь в своем баре и как тебе вообще живется.

— Да уж будьте спокойны. Ежели б вы могли на меня поглядеть, сами увидели бы, как я себя блюду. А вот *вам*, сдается мне, не очень-то сладко приходится. С чего это вы вдруг ослепли? И почему об вас никто не заботится?

Дик был слишком благодарен за саму возможность слышать ее голос, и его нисколько не задело то, как она с ним разговаривает.

— Когда-то, очень давно, меня ранили в голову, и от этого пострадали глаза. А заботиться обо мне теперь никто не станет. С какой стати? К тому же, право, мистер Битон делает для меня все, что нужно.

— Неужто у вас не было знакомых молодых людей и девушек, еще раньше... до болезни?

— Быть-то были, да я не хочу, чтоб они видели меня таким.

— Так вот зачем, значит, вы отрастили бороду. Сбрейте ее, она вам совсем не к лицу.

— Помилуй боже, моя крошка, да разве стану я теперь думать о том, что мне к лицу?

— А как же. Когда я приду в другой раз, чтоб ее и в помине не было. Ведь мне можно прийти?

— Я буду только благодарен. Боюсь, что раньше я дурно обращался с тобой. И ты на меня сердилась.

— Еще как.

— Поверь, я от души сожалею. Приходи, когда только будет возможность и желание. Видит бог, ни одна живая душа обо мне не вспомнит, кроме тебя и мистера Битона.

— Много *он* об вас помнит, да и *она* тоже, — при этих словах девушка трянула головой. — Живите как знаете, им и горя мало; станут они утруждаться, как бы не так! Это с первого взгляда видать. А я еще приду, и приду с охотой, только вы наперед побрейтесь да перендитесь — на вас даже глядеть неловко.

— У меня была где-то целая куча одежды, — сказал он беспомощно.

— Знаю. Велите мистеру Битону достать ваш новый костюм, я его вычищу и стану за ним следить. Всякий может ослепнуть, мистер Хелдар, но это вовсе не значит, что он должен быть грязен, как трубочист.

— Неужели я грязен, как трубочист?

— Ох, мне так вас жаль, просто сердце разрывается! — воскликнула она, увлеченная внезапным порывом, и схватила его за руки.

Он невольно наклонился вперед, как бы стремясь поцеловать ее — эту единственную женщину, которая пожалела его теперь, когда он уже не был столь горд, чтобы отвергнуть жалость. Она сразу встала, собираясь уйти.

— Ну нет, об таких глупостях и думать позабудьте, сперва вам надобно привести себя в приличный вид. Это вовсе не трудно, стоит лишь побриться да переодеться, всего-то делов.

Он услышал, как она натягивает перчатки, и тоже встал, чтобы проститься с ней. Она подошла к нему сзади, бесстрашно чмокнула его в затылок и убежала так же стремительно, как в тот день, когда расправилась с Меланхолией.

— Подумать только, я поцеловала мистера Хелдара, — говорила она себе, — и это после всего, что я от него натерпелась, после всего! Уж больно мне его жаль, а ежели б он побрился, на него можно бы, пожалуй, и заглядеться, но... Ох эти Битоны, совести у них нету, когда они так с ним обходятся! Ведь на Битоне была его рубашка, я знаю наверняка, будто своими руками ее выгладила. Что ж, завтра погляжу... Доведаться бы, много ли у него денег. Может, это выйдет получше моего бара — утруждаться вовсе не надобно, а жизнь у меня будет такая же приличная, само собой, ежели никто не прощухает.

Дик отнюдь не был благодарен Бесси за такой прощальный подарок. Всю ночь напролет затылок у него горел от ее поцелуя, но, как бы то ни было, он счел наконец разумным побриться. На другое же утро он велел себя побрить и сразу ободрился. Чистая одежда, свежее белье и сознание, что на свете есть женщина, не безразличная к его внешности, дали ему силы выше поднять понурую голову: на время он освободился от мыслей о Мейзи, которая могла бы, будь все по-иному, подарить ему этот поцелуй и еще целый миллион поцелуев.

— Надо хорошенько подумать, — сказал он себе после завтрака. — Для этой девушки я наверняка ничего не значу, сомнительно даже, придет она еще или нет, но если она изъявит согласие заботиться обо мне за деньги, и денег не пожалею. Ведь никто другой во всем мире не захочет взять на себя такой труд, а ей я могу платить

столько, что она будет довольна. Она выросла на панели и теперь считает за честь работать в баре: я дам ей все, чего она пожелает, пускай только приходит сюда, разговаривает со мной и заботится о моих нуждах. — Он потер свежевыскобленный подбородок, чувствуя смятение при одной мысли, что она вдруг не придет. — Наверно, я и впрямь был грязен, как трубочист, — продолжал он. — Я считал излишним следить за собою. Я знал, что пачкал одежду за едой, но не обращал на это внимания. Если она не придет, это будет жестоко с ее стороны. Она должна прийти. Мейзи пришла всего один раз, на большее ее не хватило. Но она совершенно права. У нее есть цель, ради которой стоит работать. А эта девчонка только знай себе пиво накачивает, хотя, быть может, ей вскружил голову какой-нибудь красавчик и они весело проводят время. Подумать только, она может обмануть меня ради любого приказчика. Как же я опустился.

В душе у него раздался вопль:

— «Это будет мучительней всего пережитого! Это станет напоминать, и растревлять, и пробуждать, и терзать, и в конце концов сведет тебя с ума!»

— Знаю, знаю! — вскричал Дик, в отчаянье ломая руки. — Но боже милосердный! Неужели горемычный обездоленный слепец навек обречен не ведать в жизни иных радостей, кроме как есть три раза в день и носить замусоленную жилетку? Я хочу, чтоб она пришла.

И она пришла задолго до вечера, потому что в ту пору никакой красавчик не кружил ей голову и она думала лишь о богатой поживе, дабы потом беспечно предаваться праздности до конца своих дней.

— Ну вот, теперь вас и узнать нельзя, — сказала она одобрительно. — Вы стали совсем прежний — благородный человек, который знает себе цену.

— Выходит, я заслужил еще один поцелуй? — спросил Дик, слегка краснея от смущения.

— Может статься — но покамест вы его не получите. Сядемте да подумаем, чем я могу вам помочь. Мистер Битон вас обирает, это яснее ясного, ведь теперь вы не можете проверить счета и хозяйственные книги. Правду я говорю?

— Конечно, Бесси, лучше б ты приходила ко мне и сама вела мое хозяйство.

— В этот дом мне ходить нету никакой возможности — сами знаете не хуже моего.

— Знаю, но я готов переехать куда-нибудь, только б ты согласилась.

— Я все одно буду об вас заботиться, как сумею, но работать за двоих мне не расчет.

Намек был вполне прозрачный.

Дик рассмеялся.

— Ты еще не забыла, где лежит моя чековая книжка? — сказал он. — Торп перед отъездом распорядился подвести полный баланс. Можешь взглянуть своими глазами.

— Она завсегда лежала под жестянойкой с табаком. Вот!

— Ну-с?

— Ого! Четыре тысячи двести десять фунтов, девять шиллингов и один пенс! Вот это да!

— Пенс можешь не считать. Как видишь, я недурно заработал за один год. Надеюсь, этой суммы, если прибавить к ней ежегодный доход в сто двадцать фунтов будет достаточно?

Теперь Бесси уверилась, что беспечная жизнь и красивые наряды почти у нее в руках, но надо было еще показать, что она хорошая хозяйка и заслуживает этого.

— Да, но вам придется съехать отсюда, и ежели мы учиним проверку, думается мне, станет ясно, что мистер Битон изрядно уворовал по мелочам. Прежде у вас было куда больше всякого добра.

— Не беда, пускай себе пользуется. Только одно я непременно хочу взять с собой — ту картину, для которой ты мне позировала — и кляла меня последними словами. Мы покинем этот дом, Бесс, и уедем хоть на край света.

— Беспременно, — пробормотала она в замешательстве.

— Не знаю, куда мне деваться от самого себя, но сделаю все, что в моих силах, и ты сможешь покупать всякие тряпки, какие твоей душе угодно. Право, ты не пожалеешь. Поцелуй же меня, Бесс. О, всемогущие боги! Как чудесно вновь обнять женщину!

И тут сбылось пророчество, изреченное в мыслях. Если б он мог так обнять Мейзи, если б он поцеловал ее и она ответила на поцелуй — вот тогда... Он крепче прижал девушку к груди, потому что боль обожгла его, словно удар хлыста. А она меж тем искала способа объяснить ему, какая жалкая судьба постигла Меланхолию.

Но в крайнем случае, ежели этот человек и взаправду хочет, чтоб она осталась с ним и принесла ему утешение — ведь стоит ей уйти, и он наверняка снова погрязнет в тоске, — ежели так, он лишь слегка огорчится, не более того. Даже любопытно поглядеть, чем это кончится, а жизнь научила ее считать за благо, когда мужчина побаивается своей подруги.

Она смущенно засмеялась и выскользнула из его рук.

— На вашем месте я и думать забыла бы об этой картине, — начала она, пытаясь отвлечь его внимание.

— Да ведь картина где-то здесь, только заставлена другими полотнами. Поищи-ка, Бесс: ты знаешь ее не хуже, чем я.

— Знать-то знаю... но...

— Но что же? Ты ведь умница и сможешь продать ее перекупщику. Женщины умеют торговаться, как никто из мужчин. За такую вещь можно выручить восемь, а то и девять сотен фунтов, это будет совсем не лишним для... для нас. Просто долгое время мне не хотелось про нее вспоминать. Она так тесно связана с моей жизнью. Но мы не оставим и следа от прошлого, освободимся до конца — да? Начнем все сначала, Бесс.

Теперь она глубоко раскаивалась, потому что знала цену деньгам. Но вполне могло стать, что слепой переоценивает собственную работу. Мужчины, уж это известно, до нелепости хвалятся делом своих рук. Она виновато хихикнула, как служанка, которая сломала хозяйскую трубку и теперь пробует оправдаться.

— Вы уж меня извините, но, помните, я... я осерчала на вас перед отъездом мистера Торпенхау?

— Даже очень, моя крошка. И, честное слово, я готов признаться, что ты имела право на это.

— Тогда я... неужто мистер Торпенхау и впрямь вам не сказал?

— Чего не сказал? Господи, да брось ты волноваться попусту, лучше поцелуй меня еще разок.

Он начал понимать, уже не в первый раз за свою жизнь, что поцелуи подобны медленно пьянящему зелью. Чем больше их вкушаешь, тем больше хочется. Бесс тотчас поцеловала его и шепнула:

— Я до того рассердилась, что стерла эту картину скипидаром. Но вы на меня не сердитесь, правда?

— Что? Ну-ка повтори!

Он стиснул ей запястье.

— Я ее проскипидарила и соскоблила ножом, — проговорила Бесси, запинаясь. — Думала, вы нарисуете другую, такую же в точности. Ведь вы нарисовали другую? Ой, пустите руку, мне же больно.

— Осталось от нее хоть что-нибудь?

— Н-ничего, почитай, даже никакой видимости. Вы уж извините... я не думала, что это вас так разогорчит. Я хотела только пошутить. Вы не будете бить меня?

— Бить тебя! Нет! Но мне надо подумать.

Он все еще стискивал ее запястье и стоял, устремив невидящие глаза на коврик. Потом тряхнул головой, как норовистый бычок, который порывался бежать, но получил удар кнутом по носу и вынужден снова покорно плестись на бойню. Много недель он отгонял прочь самую мысль о Меланхолии, потому что она была частью его погибшей жизни. Когда же Бесси вернулась к нему и появились хоть какие-то виды на будущее, Меланхолия — еще более прекрасная в его воображении, чем некогда на холсте, — воскресла вновь. Она могла бы приумножить его доходы, что позволило бы ему ублажать Бесс и окончательно выкинуть из головы Мейзи; а кроме того, он вкусил бы почти забытое наслаждение успехом. И вот теперь, из-за глупости зловредной девчонки, впереди не осталось ничего — даже надежды когда-нибудь привязаться к этой самой девчонке всерьез. Но всего ужасней то, что он, введенный в заблуждение, выглядел тогда смешным в глазах Мейзи. Женщина способна простить мужчину, который погубил ее работу, дело всей ее жизни, если только он дарит ей свою любовь; мужчина может простить всякого, кто погубит его единственную любовь, но никогда не простит уничтожения своей работы.

— Пст... пст... пст, — процедил Дик сквозь зубы, потом тихонько рассмеялся. — Это дурной знак, Бесси, и — ежели принять в соображение многое множество разных обстоятельств — поделом мне такая кара за все, что я натворил. Разрази меня гром! Вот почему Мейзи от меня убежала. Подумала, наверно, что я совсем рехнулся, — и винить ее не приходится! Картина погибла безвозвратно — ведь так? Что же побудило тебя это сделать?

— Больно уж я тогда осерчала. Но теперь другое дело... теперь я горько жалею об ней.

— Сомнительно... но все равно, это уже не имеет значения. Я сам виноват, потому что совершил ошибку.

— Какую ошибку?

— Этого тебе не понять, моя дорогая. Боже всемогущий! Подумать только, презренный комок грязи вроде тебя оказался на моем пути и выбил меня из седла!

Дик разговаривал сам с собой, а Бесси судорожно пыталась высвободить руку от его крепкой хватки.

— Я не комок грязи, вы не смеете так меня обзывать! Я сделала это, потому что ненавидела вас, но теперь я жалею, потому... потому что вы...

— То-то и оно — потому что я слепой. Нет ничего превыше деликатности в житейских мелочах.

Бесси разразилась рыданиями. Она не могла стерпеть, чтоб ее удерживали против воли; ей было страшно видеть слепое лицо, его странное выражение, и к тому же она жалела, что ее величайшая месть вызвала у Дика только смех.

— Хватит плакать, — сказал Дик и обнял ее снова. — Ты ведь просто-напросто хотела поступить по справедливости.

— Я... я не комок грязи, и ежели вы станете так меня обзывать, я больше никогда не приду.

— Ты не знаешь, что ты со мной сделала. Я не сержусь — право же, ничуть. Помолчи минутку.

Бесси съежилась в его объятиях. А он первым делом подумал о Мейзи, и мысль эта была невыносима, словно кто-то прижег ему раскаленным железом кровавую рану.

Для мужчины не проходит безнаказанно попытка сблизиться с испорченной женщиной. Первая горечь — первое чувство утраты, это лишь пролог к пьесе, потому что бесконечно справедливое провидение, которое тешится, заставляя людей страдать, предопределило, дабы мучения неотвратимо возобновлялись, и притом в пору высшего блаженства. Такую боль равно обречен изведать всякий, кто отринул свою единственную любовь или сам был ею отринут, а потом, среди ласк новой подруги, принужден это осознать. Лучше остаться в одиночестве и страдать только от одиночества, пока есть возможность отвлечься, занимаясь повседневной работой. Когда же потеряно и это средство, такого человека остается лишь пожалеть и предоставить самому себе.

Обо всем этом и о многом другом размышлял Дик, прижимая Бесси к груди.

— Наверное, Бесс, ты даже не знаешь, — сказал он, поднимая голову, — что бог справедлив и грозен, но к

тому же он умеет позабавиться. А мне поделом — право, поделом! Будь Торп здесь, он понял бы это: ему ведь тоже досталось от тебя, моя девочка, но только самую малость. Я его спас. Хоть бы кто-нибудь это оценил.

— Пустите меня, — сказала Бесс, и лицо ее омрачилось. — Пустите.

— Всему свое время. Ты училась когда-нибудь в воскресной школе?

— Никогда. Пустите, вам говорю: вы надо мной смеетесь.

— Вовсе нет. Я смеюсь над собой... Вот: «Других спасал, а себя самого не может спасти». Это изречение в школах не зазубривают. — Он отпустил ее руку, но преграждал дорогу к дверям, и она не могла убежать. — Какое бесчисленное множество бед может натворить одна ничтожная девчонка!

— Я жалею... ужас как жалею об вашей картине.

— Зато я нисколько. Я благодарен тебе за то, что ты ее испортила. О чем, бишь, мы говорили перед тем, как ты помянула про это дело?

— О переезде... и о деньгах. Чтоб мы с вами уехали.

— Да, конечно, мы уедем... вернее, уеду я.

— А я как же?

— Ты получишь полсотни фунтов за то, что испортила картину.

— Стало быть, вы уже не хотите...

— Боюсь, что нет, моя дорогая. Не горюй, ты получишь полсотни фунтов в полное свое распоряжение, купишь красивых тряпок.

— Вы ж сами сказали, что не можете без меня.

— Еще совсем недавно это была правда. Но теперь мне лучше, спасибо. Подай-ка мою шляпу.

— А ежели не подам?

— Это сделает Битон, и ты потеряешь полсотни фунтов. Только и всего. Давай шляпу.

Бесси выругалась шепотом. Ведь она пожалела этого человека со всей искренностью и почти с такой же искренностью поцеловала его, потому что он не лишен привлекательности; ее радовала мысль, что как-никак она до поры до времени станет оказывать ему покровительство, а главное, должен кто-то распоряжаться четырьмя тысячами фунтов! Теперь же, только потому, что она проболталась и чисто по-женски не устояла перед искушением самую малость его уколоть, не будет у нее ни денег, ни

вожделенной обеспеченности, ни нарядов, ни приличного общества, ни возможности разыгрывать из себя благородную даму.

— Набей мне трубку. Хоть табак и утратил вкус, неважно, мне надо все обдумать. Бесс, какой сегодня день недели?

— Вторник.

— А почтовый пароход отплывает по четвергам. Какой же я был дурак — слепой дурак! Двадцати двух фунтов хватит, чтоб вернуться домой. Накинем десятку на непредвиденные расходы. Остановлюсь у мадам Бина, по старой памяти. Всего, стало быть, тридцать два фунта. Да еще в сотню обойдется последнее путешествие — черт возьми, видел бы меня сейчас Торп, глаза бы выпучил от удивления! — значит, в общей сложности выходит сто тридцать два фунта, остается еще семьдесят восемь на бакшиш — без этого мне не обойтись — и на разные разности. Чего ты плачешь, Бесс? Ты не виновата, девочка; виноват лишь я сам. Утри же глаза, глупенькая, смешная мышка, и проводи меня! Надо взять балансовую и чековую книжки. Обожди минуточку. Четыре процента с четырех тысяч фунтов — чистая прибыль обеспечена — составят сто шестьдесят фунтов в год, да сто двадцать — тоже чистоганом, — всего двести восемьдесят, а двести восемьдесят да еще триста обеспечат одинокой женщине возможность купаться в роскоши. Бесс, идем в банк.

Дик велел Бесси, окончательно сбитой с толку, поскорей отвести его в банк, припрятав в бумажнике отдельно двести десять фунтов, а потом в Пиренейско-Восточное пароходство, где он коротко объяснил, что ему нужно.

— Первый класс до Порт-Саида, одноместную каюту поближе к багажному трюму. Какой пароход отправляется в рейс?

— «Колгонк», — ответил кассир.

— Старая дырявая калоша. Как на нее попасть, катером из Тилбери или с Галлеонской пристани через доки?

— С Галлеонской пристани. Двенадцать сорок, четверг.

— Спасибо. Сдачу, пожалуйста. Я плохо вижу — вас не затруднит отсчитать деньги мне в руку?

— Если б все вот так покупали билеты, вместо того чтоб донимать нас болтовней о своих чемоданах, жизнь была бы вполне сносной, — сказал кассир своему прия-

телю, который пытался втолковать взволнованной многодетной мамаше, что во время плаванья сгущенное молоко прекрасно заменяет младенцам парное. Холостой девятнадцатилетний юнец говорил это с искренним убеждением.

— Ну вот, — промолвил Дик, когда они вернулись в мастерскую, и хлопнул по бумажнику, в котором лежали билет и деньги, — теперь над нами не властен ни человек, ни дьявол, ни женщина — а это всего важнее. До четверга я должен покончить с тремя мелкими делами, но твоя помощь, Бесс, мне уже не потребуется. Приходи в четверг к девяти утра. Мы позавтракаем, и ты проводишь меня до пристани.

— Что же вы надумали?

— Надумал уехать, само собой. Чего ради мне здесь оставаться?

— Да разве можете вы об себе заботиться?

— Я все могу. Раньше я этого не понимал, но я могу решительно все. И многое уже сделал. Такая смелость заслуживает поцелуя, ежели Бесси мне не откажет. — Как ни странно, Бесси отказала, и Дик рассмеялся. — Пожалуй, ты права. Что ж, приходи послезавтра в девять, тогда и получишь свои денежки.

— Это наверняка?

— Я не обманщик, сама увидишь, когда придешь, сдержу я слово или нет. Но как долго, как бесконечно долго еще ждать! До свиданья, Бесси! Ступай да пришли ко мне мистера Битона.

Домоправитель не заставил себя ждать.

— Сколько стоит все имущество в моей квартире? — повелительно спросил Дик.

— Не знаю, что и сказать, сэр. Тут есть очень хорошие вещи, но есть и вконец обветшалые.

— Они застрахованы на двести семьдесят фунтов.

— Страховая оценка еще ничего не значит, сэр, хотя я не стану утверждать...

— До чего ж вы болтливы, черт бы вас взял совсем! Вы изрядно урвали всякого добра у меня и у других жильцов. А на днях вы говорили, что подумываете оставить место и открыть собственный ресторанчик. Я вас прямо спрашиваю, извольте прямо и отвечать.

— Полста, — сказал мистер Битон, даже не моргнув глазом.

— Накиньте еще столько же, иначе я переломаю половину мебели, а остальное сожгу.

Он ощупью добрался до этажерки красного дерева, на которой лежала куча альбомов, и выломал одну ножку.

— Грешно вам, сэр, — сказал домоправитель с беспокойством.

— Это моя собственность. Сотняга или...

— Сотняга, уж будь по-вашему. Но починка этажерки станет мне, по крайности, в три фунта и шесть шиллингов.

— Я так и знал. Какой же вы отъявленный мошенник, если сразу согласились удвоить цену!

— Надеюсь, никто из жильцов не изволит на меня обижаться, особливо вы, сэр.

— Оставим это. Завтра же принесите деньги и распорядитесь уложить всю мою одежду в коричневый кожаный чемодан. Я уезжаю.

— Как же это, ежели вы обязаны предупредить за три месяца?

— Я уплачу неустойку. Велите уложить вещи, а меня оставьте в покое.

Мистер Битон рассказал об этом неожиданном отъезде жене, и она решила, что во всем виновата Бесси. Но муж смотрел на дело более снисходительно.

— Оно конечно, такого мы никак не ждали, — но ведь от него навсегда неизвестно чего ждать. Вот послушай только!

Из комнаты Дика доносилось пение:

— Мы уже никогда не вернемся, друзья,  
Мы уже не вернемся сюда;  
Мы пойдем к чертям, да простится нам,  
Что мы не вернемся сюда!  
Пусть земля нас манит иль вода, друзья,  
Пусть земля нас манит иль вода;  
Но мы никогда не вернемся, друзья,  
Мы уже не вернемся сюда!

— Мистер Битон! Мистер Битон! Куда к черту запропастился мой пистолет?

— Беги скорей, он хочет застрелиться — совсем, видать, с ума спятил! — воскликнула миссис Битон.

Мистер Битон постарался успокоить Дика, который метался по своей спальне и далеко не сразу сообразил, отчего это его уверяют, что «завтра все отыщется, сэр».

ности, будет проявлять чудеса находчивости и красноречия, а потом затеет со мной склоку из-за того, что в своем докладе я будто бы исказил его речь. А под конец я снова встречу с подсудимым — ведь его, конечно же, не повесят, а заставят линовать бумагу для бухгалтерских бланков в Окружной тюрьме, — и стану подбадривать его разговорами о том, что есть надежда пристроить его надзирателем в тюрьму на Андаманских островах.

Уложение о наказаниях для Индийских провинций и те, кому поручено его применять, достаточно серьезно относятся к убийству, какими бы мотивами оно ни было вызвано. Я считал, что сержанту Рэйнзу очень повезет, если он отделается семью годами. Он целую ночь копил обиду, а потом без всяких объяснений уложил своего подчиненного с двадцати шагов. Все это мне было известно. Если повезет и если в дело не подпустят какого-нибудь тумана, то семь лет; к счастью для сержанта Рэйнза, в роте его любили.

В тот же вечер — ни один день не тянется так долго, как день убийства, — я повстречал Ортериса с собаками, и он мне сразу заявил, что имеет прямое отношение к делу.

— Буду свидетелем выступать, — сказал он. — Когда Маки появился, я на веранде стоял. Он от миссис Рэйнз шел. Квигли, Парсонс и Трот, они все на внутренней веранде были. Чего они слышать-то там могли? Ничего. А сержант Рэйнз, он на веранде стоит и разговаривает со мной, а Маки, тот идет через площадь и говорит: «Ну что, говорит, сержант, у тебя из-под шлема ничего пока не вылезит?» А Рэйнз, он прямо задохнулся от злости. «Господи! говорит. Больше, говорит, не могу этого терпеть!» Схватил мою винтовку и выстрелил в Маки. Понятно?

— Ты, значит, был с винтовкой на внешней веранде? — спросил я. — Что ты там с ней делал?

— Что делал? Я ее чистил, — сказал Ортерис с тем наглым взглядом выпученных глаз, которым он всегда сопровождает самую откровенную ложь.

С таким же успехом Ортерис мог утверждать, что он там танцевал нагишом: никогда еще не случалось, чтобы его оружие требовало чистки через двадцать минут после осмотра. Но ведь Окружному суду ничего не будет известно о его привычках.

милля Мейзи, а также названия двух банков, в которых эти деньги хранились.

— Быть может, завещание составлено не по всей форме, но ни у кого нет даже малейшего права его оспаривать, и адрес Мейзи я указал. Войдите, мистер Битон. Вот моя подпись: она вам знакома, вы ведь не раз ее видели. Прошу вас и вашу жену ее заверить. Спасибо. Завтра вы отвезете меня к владельцу дома, я уплачу неустойку за отъезд без предупреждения и оставлю эту бумагу у него на случай, если со мной что случится в пути. А теперь растопим камин в мастерской. Не уходите, вы будете подавать мне бумаги по мере надобности.

Никому не дано знать, пока сам этого не испытаешь, каким жарким пламенем горит ворох счетов, писем и квитанций, накопившихся за целый год. Дик затолкал в камин все бумаги, какие были в мастерской, — кроме трех нераспечатанных писем; потом сжег альбомы, эскизные тетради, чистые и незаконченные полотна без разбора.

— Подумать только, экую кучу хлама может накопить жилец, ежели он долго не съезжает с квартиры, — сказал наконец мистер Битон.

— Это верно. Осталось еще что-нибудь?

Дик обшарил столы.

— Ничегошеньки, а камин раскалился чуть не до красна.

— Превосходно, теперь уж вам не достанутся рисунки, которые стоят самое малое тысячу фунтов. Хо-хо! Целую тысячу, ежели я не позабыл, на что был когда-то способен.

— Воля ваша, сэ, — услышал он вежливый голос.

Мистер Битон был совершенно уверен, что Дик спятил с ума, иначе он не отдал бы свою роскошную мебель за бесценюк. А картины только загромождали помещение, и даже лучше было от них избавиться.

Теперь оставалось лишь передать короткое завещание в надежные руки: но это пришлось отложить до завтра. Дик обшарил пол, подобрал последние клочки бумаги, еще и еще раз удостоверился, что ни словечка, ни малейшего следа не осталось от его прошлой жизни в ящиках комода или письменного стола, а потом уселся у камина и встал, только когда огонь угас и в ночной тишине послышался гул остывающего железа.

## ГЛАВА XV

С душой, исполненной неистовых борений,  
Какими ныне я повелеваю,  
С мечом подъятым, на коне крылатом  
В бесплодную пустыню улетаю.  
Там с черным рыцарем из сонма привидений  
Я призван на ристалище сразиться —  
На десять миль за светопреставленье  
Мой конь, я верю, как стрела промчится.  
*«Песенка сумасшедшего из Бедлама»*

— Прощай, Бесс. Я обещал тебе полсотни. Вот целая сотня, все, что Битон дал за мою мебель. Накупишь себе нарядов на первое время. В конце концов, ты славная девочка, хоть и доставила нам с Торпом кучу неприятностей.

— Ежели повстречаете мистера Торпенхау, передайте ему привет.

— Непременно, моя дорогая. А теперь помоги мне подняться по трапу и отыскать каюту. Скорей на борт, и девушка... и я свободен, вот что я хотел сказать.

— Но кто же будет присматривать за вами на пароходе?

— Главный стюард, ежели деньги чего-нибудь стоят. Доктор, когда придем в Порт-Саид, ежели я хоть немного знаю докторов Пиренейско-Восточной линии. А там бог мне поможет, как помогал всегда.

Бесс отыскала каюту Дика, пробравшись среди неистовой суматохи через толпу провожающих и плачущих родственников. Он поцеловал ее и лег на койку, дожидаясь, когда палуба опустеет. Давно привыкший передвигаться в темноте по своей квартире, он хорошо представлял себе расположение всех судовых отсеков, а необходимость самостоятельно заботиться о себе, о своих удобствах пьянила его, как вино. Едва пароход, рассекая воду винтом, поплыл вдоль доков, он уже свел знакомство с главным стюардом, щедро ему заплатил, обеспечил себе удобное место за столом, распаковал вещи и с блаженным чувством расположился в каюте. Все здесь было так знакомо, что ему почти не приходилось нащупывать дорогу. Потом бог явил великую милость: от усталости Дик забылся глубоким сном, не успев предаться мыслям о Мейзи, а когда проснулся, пароход уже вышел из устья Темзы и бороздил шумные воды пролива.

Грохот машин, запах нефти и краски, привычные звуки за переборкой пробудили в нем радостную готовность идти навстречу новой судьбе.

— Как чудесно вернуться к жизни!

Он зевнул, сладко потянулся и вышел на палубу, где узнал, что пароход уже почти на траверсе Брайтонского маяка. Это не сравнить с открытым морем, как не сравнить Трафальгарскую площадь с ширью полей; настоящий простор открывается лишь за Уэссаном; но все равно Дик уже ощущал на себе целительное воздействие морской стихии. Мелкая зыб раскачивала пароход, заставляя его беспомощно рыскать носом; а волна, набежавшая с кормы, окатила ют и сложенные штабелем новехонькие палубные кресла. Дик услышал всплески и звон разбитого стекла, ощутил на лице жгучие удары брызг, с наслаждением принюхался и начал пробираться в курительную возле штурвальной рубки. Там его настиг бурный порыв ветра, сорвал с него шляпу, и он остался стоять в дверях с непокрытой головой, а стюард из курительной, угадав в нем бывшего мореплавателя, заметил, что после выхода из Ла-Манша волнение еще усилится, а в Бискайском заливе, чего доброго, начнет даже штормить. Оба эти предсказания сбылись, и Дик почувствовал себя на верху блаженства. В море позволительно и даже необходимо крепко хвататься за пиллерсы, распорки и тросы, переходя с места на место. На суше человек, который нащупывает дорогу, заведомо слеп. В море даже слепой, если он не подвержен морской болезни, может вместе с судовым доктором посмеиваться над слабостью своих спутников. Дик рассказывал доктору про всякие удивительные случаи — а такие рассказы, если умеючи их преподнести, ценятся дороже серебра, — курил с ним до глубокой ночи и так расположил к себе этого легкомысленного человека, что тот обещал уделить Дикун несколько часов по прибытии в Порт-Саид.

А море то бушевало, то успокаивалось по воле ветров, машины днем и ночью тянули свою бесконечную песню, солнце с каждым новым восходом припекало все жарче, индеец-цирюльник Том по утрам брил Дика под приподнятой решеткой люка, куда задувал прохладный ветерок, над палубой растянули тенты, пассажиры оживились, и вот наконец пароход пришел в Порт-Саид.

— Отведите меня, — попросил Дик доктора, — к мадам Бина — если, конечно, вы знаете ее заведение.

— Эге! — сказал доктор. — Как не знать. Известное дело, все друг друга стоят, но вам, я полагаю, ведомо, что это один из самых грязных притонов во всем городе. Вас сперва ограбят, а потом зарежут.

— Как бы не так. Вы только отведите меня туда, дальше уж я сам о себе позабочусь.

Так он очутился у мадам Бина, где жадно вдыхал незабываемый запах Востока, который витает повсеместно от Суэца до Гонконга, и вволю наговорился на грубом жаргоне Леванта. Знойный ветер хлопал его по спине, словно старого друга, ноги увязали в песке, а рукав, когда он поднял к носу, был горяч, как свежеиспеченный хлеб.

Мадам Бина улыбнулась без тени удивления, когда Дик вошел в бар, который был одним из источников ее дохода. Если бы не досадная помеха, не эта беспросветная тьма вокруг, Дику могло бы показаться, будто вовсе не прерывалась прежняя жизнь, наполнявшая его уши нестройным гулом. Кто-то откупорил бутылку крепчайшего голландского джина. Запах напомнил Дику о мосье Бина, который, между прочим, говорил об искусстве и о своем падении. Бина умер; мадам сообщила это, когда ушел доктор, неприятно удивленный, насколько вообще может удивиться судовой доктор, ласковым приемом, оказанным Дику. А Дик был очень доволен.

— Здесь меня помнят, хотя прошел целый год. А там, за морями, уже успели забыть. Мадам, когда вы освободитесь, я хотел бы всерьез поговорить с вами наедине. Как чудесно снова вернуться сюда.

Вечером она вынесла на песчаный двор железный столик и под села к нему вместе с Диком, а рядом, в доме, буянили, веселились, изрыгали ругательства и угрозы. Загорелись звезды, вдали мерцали огни судов, проплывавших по Каналу.

— Да. Война способствует торговле, мой друг, но тебе чего тут делать? Мы тебя не позабыл.

— Я был далеко, в Англии, и там ослеп.

— Но сперва успевал прославиться. Здесь, даже здесь мы об этом слышали — я и Бина. Ты изображал Желтолицая Тина — она еще жива — так часто и хорошо, что Тина завсегда смеялась от удовольствия, как только почтовый пароход привозил газета. Всякий раз мы видели на твои рисунки чего-то знакомое. И всякий раз они приносили тебе славу и деньги.

— Я не нищий — я вам хорошо заплачу.

— Мне ничего не надобно. Ты уж за все заплатил сполна. — Тут она добавила шепотом: — *Mon Dieu*<sup>1</sup>, совсем молоденький и вдруг ослеп! Какой ужас!

Дик не мог видеть ее лица, выразившего глубокую жалость, как не мог видеть себя с поседелыми волосами на висках. Он вовсе не искал жалости; ему не терпелось снова добраться до передовых позиций, и он высказал свое желание напрямик.

— Куда ж это? В Канале полным-полно английские корабли. Иногда поднимается стрельба, как бывало, когда здесь шла война, — десять лет назад. За Каиром сейчас дерутся, но как ты попадешь туда, ежели у тебя нет корреспондентский пропуск? В пустыне тоже все время дерутся, но и туда пробраться не есть возможно, — сказала она.

— Я должен ехать в Суакин.

Из газетного сообщения, которое ему прочитал Алф, он знал, что Торпенхау находится при войсковой колонне, прикрывающей прокладку железнодорожной ветки от Суакина до Берберы. Пароходы Пиренейско-Восточной линии не заходят в этот порт, зато мадам Бина знает всякого, кто может хоть сколько-нибудь помочь делом или советом. Конечно, это сомнительные личности, но они умеют преодолевать любые препятствия, что всего важнее, когда нужно действовать.

— Но под Суакином все время дерутся. Тамошняя пустыня все время плодит людей — снова и снова. Да еще таких свирепых! Зачем тебе в Суакин?

— Там мой друг.

— Твой друг! Чхх! Стало быть, твой друг есть смерть!

Мадам Бина хлопнула жирной рукой по столу, налила Дику еще стаканчик и пристально взгляделась в его лицо при свете звезд. Она не удивилась, когда он упрямо кивнул и сказал:

— Нет. Он человек, но... ежели б даже так... неужто вы меня осуждаете?

— Я осуждай? — Она визгливо засмеялась. — Кто я такая, чтоб осуждать кого бы то ни было — кроме тех, которые норвят не заплатить за выпивку. Но это ужасно.

---

<sup>1</sup> Боже мой (фр.).

— Я должен ехать в Суакин. Придумайте, как мне помочь. За год многое изменилось, моих прежних знакомцев здесь уже нет. Египетский плавучий маяк ходит по Каналу до Суакина... и почтовые пароходы... но даже там...

— Хватит тебе думать об этом. Я знаю все, мне и думать. Ты поедешь... поедешь и найдешь своего друга. Только без глупостей. Посиди здесь, покуда в доме не угомонятся — я должен идти к гостям, — а потом ложись спать. Ты поезжай, непременно поезжай.

— Завтра?

— Когда будет первый возможность.

Она говорила с ним, как с ребенком.

Он остался сидеть за столиком, прислушивался к голосам, которые доносились из гавани и с окрестных улиц, раздумывал, скоро ли наступит конец, а потом мадам Бина уложила его в постель и велела спать. В домике орали, пели, плясали и веселились, мадам Бина попевала всюду, одним глазом следила, чтоб все платили за выпивку и девочки были расторопны, а другим высматривала людей, которые могли быть полезны Дику. Ради этого она улыбалась хмурым и молчаливым туркам, которые служили офицерами в полках, сформированных из феллахов, обхаживала киприотов, занимавших мелкие должности в военном интендантстве, и осыпала любезностями торгашей неизвестной национальности, поставлявших верблюдов для армии.

Ранним утром она надела приличествующее случаю платье алого шелка с поблекшей золотой вышивкой на груди и ожерелье из поддельных брильянтов, сварила шоколад и отнесла Дику.

— Ты не стесняй себя, ведь я есть годная тебе в мать, не так ли? Выпей шоколад да съешь булочка. Вот так у нас во Франции по утрам поят сынков шоколадом в награда за хорош поведений. — Она присела на край кровати и продолжала шепотом: — Все есть улажено. Ты поедешь на плавучем маяке. Надобно дать взятку, десять английских фунтов. Правительство капитану не платит. Приплывешь в Суакин на сетвертый день. С тобой будет Джордж, погонщик мулов, родом из Греция. Ему тоже десять фунтов. Платить буду я сама: они не должны знать, что у тебя есть деньга. Джордж довезет тебя до тот места, куда подрядился доставить муль. Потом он вернется ко мне, здесь есть его подружка, а ежели я не

получать из Суакина телеграмма, что ты добрался благополучно, девчонке отвечать за него.

— Спасибо, — Дик сонно взял чашку. — Вы очень добры, мадам.

— Будь моя воля, я говорил бы тебе: оставайся здесь и не делай глупость. Но, сдастся мне, это для тебя не есть лучший выход. — Она посмотрела на свое закапанное вином платье с печальной улыбкой. — Нет, ты поезжай, беспременно поезжай. Так будет лучше всего. Мой мальчик, так будет лучше всего. — Она наклонилась и поцеловала Дика в лоб. — Вот я и пожелала тебе добрый утр, — сказала она, собираясь уйти. — Когда оденешься, мы потолкуем с Джордж и все приготовим. Но перво-наперво надо открывай твой чемодан. Дай мне ключи.

— За последнее время на мою долю выпало небывалое множество поцелуев. Надеюсь, в следующий раз меня поцелует Торп. Но он скорей меня обругает за то, что я навязался ему на шею. Да уж ладно, это ведь не надолго... Ну-с, мадам, помогите мне принарядиться для гильотины! Ведь там, в пустыне, будет не до обмундировки.

Он рылся среди своего новехонького снаряжения, ощупывал шпоры. Можно по-разному носить тщательно вычищенные армейские ботинки, голубые обмотки без единого пятнышка, куртку и бриджи цвета хаки и белый тропический шлем. Настоящий воин всегда неутомим, прекрасно владеет собой, готов к походу и полон бодрости.

— Все должно быть в полном порядке, — объяснил Дик. — Потом я перепачкаюсь, зато сейчас приятно чувствовать, что я хорошо одет. Все ли у меня как следует?

Он ощупал револьвер, тщательно спрятанный под широкой блузой на правом бедре, потрогал пальцем воротничок.

— Лучше я не могу, — сказала мадам, смеясь сквозь слезы. — Сам гляди... но я совсем позабыл...

— Я очень доволен. — Он погладил тугие, без морщинки, обмотки. — А теперь пойдем, отыщем капитана, Джорджа и плавучий маяк. Да поскорей, мадам.

— Но тебе нельзя показываться со мной в порт средь белый день. Сам посуди, вдруг какие-нибудь благородны англичанки...

— Нет больше никаких англичанок, а ежели и есть, для меня они не существуют. Ведите.

Хотя Дик сгорал от нетерпения, плавучий маяк отчалил только под вечер. Мадам успела изрядно надоесть и Джорджу, и капитану, внушая им, как лучше устроить Дика. Очень немногие из тех, кто имел честь быть с ней знакомым, осмеливались пренебрегать ее советами. Такого послушника мог в аду игорного дома зарезать неизвестный человек, воспользовавшись самым ничтожным поводом.

Шесть дней — два из них пришлось простоять в забитом судами Канале — плавучий маяк добирался до Суакина, где должен был принять на борт главного смотрителя маяков; Дик всячески старался успокоить Джорджа, который не находил себе места от страха за свою ненаглядную подружку и, казалось, склонен был винить Дика в неприятностях, выпавших ему на долю. Когда плавание кончилось, Джордж взял его под свою опеку, и они вместе отправились в раскаленный добела порт, заваленный материалами и всевозможными грузами для строительства линии Суакин — Бербера, от разобранных на части старых локомотивов до сложенных кучами скоб и шпал.

— Ежели вы будете при мне, — сказал Джордж, — никто не потребует пропуска и не спросит, чего вам тут надо, у всех дел по горло.

— Да, но сперва я хотел бы потолковать с кем-нибудь из англичан: может, обо мне еще помнят. В былые времена меня здесь знали — я тогда кое-что значил.

— Былые времена здесь давно уж ушли в былое. На кладбищах нету свободного местечка. А теперь послушайте. Новая линия проложена до Танаи-эль-Хассана — это семь миль. Там разбит лагерь. Говорят, что за Танаи-эль-Хассаном английские войска перешли в наступление и все припасы им будут доставлять по этой линии.

— Ага! Лагерь служит им базой. Понятно. Это куда лучше, чем драться с суданцами среди голой пустыни.

— Оттого-то даже мулов везут в железном поезде.

— Как в железном?

— Все вагоны обшиты железом, потому как их до сих пор обстреливают.

— Броневой поезд. Чем дальше, тем лучше! Продолжай же, верный Джордж.

— Я повезу мулов нынче вечером. Поезд берет только тех, кому надобно в лагерь по важному делу. Стрелять начинают совсем близко от города.

— Молодчики — они всегда так действовали!

Дик с наслаждением вдыхал запах горячей пыли, разогретого железа и облупившейся краски. Поистине прежняя жизнь встречала его как нельзя радушнее.

— Вот сгоню всех мулов и повезу их нынче же вечером, но сперва вы должны послать в Порт-Саид телеграмму и подтвердить, что я доставил вас сюда в целости.

— Крепко же мадам держит тебя в руках. Разве ты не пырнул бы меня ножом, будь у тебя такая возможность?

— Нету у меня никакой возможности, — сказал грек. — Ведь *она* оставила мою девочку при себе.

— Понятно. Нелегко выбирать между любовью к женщине и легкой поживой. Сочувствую тебе, Джордж.

До телеграфа они дошли беспрепятственно, потому что всем вокруг вздохнуть было некогда, а на свете вряд ли нашлось бы менее подходящее место для увеселительной прогулки, чем Суакин. Лишь на обратном пути молодой английский офицер спросил Дика, что ему здесь нужно. Дик был в дымчатых очках и ответил на ходу, держа Джорджа под локоть:

— От египетского правительства — с мулами. Мне приказано доставить их помощнику суперинтенданта в Танаи-эль-Хассане. Желаете проверить документы?

— Ну что вы, нет. Прошу прощения. Я не имел права даже спрашивать, но я вижу вас в первый раз, и...

— Я намерен отправиться сегодня вечером, — дерзко заявил Дик. — Надеюсь, погрузка мулов не встретит препятствий?

— Платформы для скота видны прямо отсюда. Но советую поторопиться.

Молодой офицер отошел, недоумевая, что за жалкая судьба постигла человека, который разговаривает как образованный англичанин и промышляет заодно с греком, погонщиком мулов. А Дик впал в уныние. Можно гордиться, обставив английского офицера, но самый ловкий ход не доставляет удовольствия, когда приходится вести игру в беспросветной темноте, спотыкаться на каждом шагу и думать, без конца думать о том, что могло бы быть, если бы обстоятельства сложились по-иному, и все шло бы совсем не так, как теперь.

Джордж перекусил вместе с Диком и ушел за мулами. Его подопечный одиноко сидел под навесом, спрятав лицо в ладонях. Перед его плотно зажмуренными гла-

зами мелькало лицо Мейзи, смеющееся, с приоткрытым ртом. А вокруг не затихали суматоха и шум. Ему стало страшно, хотелось позвать Джорджа.

— Ну как, ваши мулы готовы?

Голос молодого офицера прозвучал над его плечом.

— Ими занимается мой помощник. Я... я, знаете ли, страдаю воспалением глаз и плохо вижу.

— Разрази меня гром! Дело дрянь. Вам надо полежать в госпитале. Знаю по себе. Это все равно что ослепнуть.

— Ваша правда. А когда отбывает броневой поезд?

— В шесть. Нужен целый час, чтоб покрыть эти семь миль.

— А суданцы совершают налеты, да?

— Раза три в неделю, как стемнеет. Дело в том, что я временно назначен командиром поезда. На ночь мы обычно отгоняем его порожняком в Танаи.

— Наверно, близ Танаи большой лагерь?

— Очень большой. Как-никак он обеспечивает всю нашу воинскую колонну в пустыне.

— И сильно она удалилась?

— Миль на тридцать, а то и на сорок — там жарко, как в пекле, и нет ни капли воды.

— А в полосе между Танаи и нашими войсками спокойно?

— Более или менее. По правде говоря, сам я не решился бы пересечь ее в одиночку или даже со взводом солдат, но разведчикам каким-то чудом удается пройти.

— Им это всегда удавалось.

— Значит, вы уже бывали здесь?

— Участвовал почти во всех боях с начала прошлой войны.

«Был кадровым, а теперь разжалован», — сразу решил офицер и прекратил расспросы.

— Вон ваш помощник гонит мулов. Право, кажется странным...

— Что я промышляю доставкой мулов? — закончил Дик.

— Я не хотел говорить прямо, но вы угадали. Простите, пожалуйста, сам знаю, что позволяю себе слишком много, но вы разговариваете как человек, который учился в интернате. Это слышно с первого слова.

— Да, я окончил интернат.

— Так я и думал. Поверьте, я не хочу затронуть ваши чувства, но, видимо, вам не очень-то повезло? Я увидел, как вы сидите, закрыв лицо руками, и решился заговорить.

— Спасибо. Я в таком тяжком и скверном положении, что хуже некуда.

— Может быть... поймите, я сам окончил интернат. Может быть, я... давайте считать, что вы берете у меня займы и...

— Вы очень добры, но, клянусь честью, денег у меня сколько угодно... Признаться, вы можете оказать мне одну услугу, и я буду благодарен вам до конца жизни. Позвольте мне ехать на передней платформе. Ведь перед локомотивом есть платформа?

— Да. Но откуда вы это знаете?

— Мне уже приходилось ездить на броневом поезде. Только дайте мне увидеть... вернее, услышать, какая пойдет потеха, и я буду глубоко признателен. Я еду как гражданское лицо, на собственный риск.

Офицер поколебался с минуту.

— Ну ладно, — сказал он. — Все думают, что вагоны идут порожняком, а там, на месте, просто некому меня распекать.

Джордж и целая орава добровольцев с криками погрузили мулов, и узкоколейный поезд, весь окованный листовым железом толщиной в три восьмых дюйма, так что он походил на длинный гроб, был готов к отправлению.

Две платформы перед локомотивом защищала сплошная броня, только первая платформа имела впереди амбразуру для пулемета, а вторая — бойницы в боковых бортах. Обе они образовывали целое сооружение с железными сводами, под которыми неистово шумели десятки два артиллеристов.

— До Уайтчепела — последний поезд! Позвольте, ваша милость, препроводить вас в купе первого класса! — крикнул кто-то, когда Дик вскарабкался на переднюю платформу.

— Бог ты мой! И впрямь живой пассажир объявился на рейсе Кью, Танаи, Эктон, Илинг. Вот «Эхо», пожалте, сэр. Спецвыпуск! «Стар», пожалте, сэр... Прикажете поставить грелку для ног? — подхватил другой.

— Спасибо. Я сам поставлю, сколько с меня причитается, — ответил Дик, и между присутствующими уста-

новились самые дружеские отношения, а когда пришел офицер, все замолчали, и поезд с громыханием тронулся по неровному полотну.

— Отсюда куда сподручней стрелять по суданцам на открытой местности, иначе их не проймешь, — заметил Дик из своего угла.

— Ну, их все одно не проймешь. Вот, начинается! — отозвался офицер, когда в борт ударила пуля. — По крайней мере одна перепалка за ночной рейс нам обеспечена. Обычно они нападают на хвостовую платформу, где командует мой помощник. На его долю и приходится самое пекло.

— Но не сегодня! Слушайте! — сказал Дик.

Вслед за трескотней крупнокалиберных пуль послышались яростные вопли и выкрики. Сыны пустыни любили вечерние развлечения, а поезд был превосходной мишенью.

— Не угостить ли их очередью из пулемета? — спросил офицер лейтенанта саперной службы, управляющего локомотивом.

— Сделайте одолжение! Это мой участок дороги. Если мы не дадим им отпора, они устроят здесь сущий ад.

— Так точно!

— *Rrr-r-rah!* — изрыгнул пулемет из всех своих пяти стволов, едва офицер нажал на спуск.

Пустые гильзы со звоном посыпались на пол, и платформа заволочло дымом. В хвосте поезда началась беспорядочная пальба, из темноты доносились ответные выстрелы и неумолчные завывания. Дик распростерся на платформе, с безумным наслаждением лоя звуки и запахи.

— Бог бесконечно милостив — я уже и не надеялся снова это услышать. Задайте им жару, ребята. Ну-ка, задайте им жару! — вскричал он.

Поезд остановился перед каким-то препятствием, солдаты вышли на разведку, но тотчас, сыпля ругательствами, возвратились за лопатами. Сыны пустыни завалили рельсы песком и камнями, и пришлось задержаться на добрых двадцать минут, чтоб расчистить путь. Потом медленное продвижение возобновилось, но впереди еще предстояли трудности, опять выстрелы, опять крики, частый грохот и треск пулеметов, а напоследок возня с вывороченным рельсом, после чего наконец поезд оказался

под защитой укреплений в шумном лагере близ Танаэль-Хассана.

— Теперь вы сами понимаете, почему на дорогу уходит целых полтора часа, — сказал офицер, вынимая ленты из своего любимого пулемета.

— Зато была потеха. Я мог лишь желать, чтоб дело длилось вдвое дольше. Какое, наверное, было захватывающее зрелище! — сказал Дик с горестным вздохом.

— После нескольких таких вечеров это надоедает. Кстати, когда управитесь со своими мулами, зайдите ко мне в палатку, там есть чем подкрепиться. Я Беннил из пулеметной команды, приданной артиллерийским войскам; только будьте осторожны возле палатки, не то споткнетесь о веревку в темноте.

Но для Дика все было скрыто в темноте. Он различал лишь запахи верблюдов, тюков сена, кипящего варева, дымных костров, просмоленной парусины палаток и вынужден был стоять на том месте, где высадился из поезда, криками призывая Джорджа. От задних платформ доносились дробные удары копыт о железную обшивку, ржание и фыркание. Джордж выгружал мулов.

Локомотив пыхтел чуть ли не в самые уши Дику; свежий ветер пустыни овеивал ему ноги; он был голоден, изнемогал от усталости и чувствовал, что покрыт грязью, — он попытался отряхнуть эту грязь. Но старания были тщетны; тогда он засунул руки в карманы и стал припоминать, сколько раз ему приходилось в неведомой глуши ожидать поездов или верблюдов, мулов или лошадей, чтоб добраться до места. В те дни он мог все видеть — лишь немногие способны были соперничать с ним в зоркости, — и военный лагерь, где солдаты едят при свете звезд, неизменно радовал глаз. Взору открывались краски, огни, движение, без которых в жизни не может быть настоящей радости. В эту ночь ему предстоял последний путь сквозь тьму, которая никогда не рассеется, и он даже не узнает, какое расстояние преодолел. А потом он вновь стиснет руку Торпенхау — ведь Торпенхау наверняка жив, и полон сил, и подвизается на воинском поприще, где некогда стяжал славу человек по прозвищу Дик Хелдар: его отнюдь не следует путать со слепым, беспомощным бродягой, откликающимся на то же имя. Да, он отыщет Торпенхау и как можно глубже окунется в прежнюю жизнь. Тогда он забудет все: Бесси, которая погубила Меланхолию и едва не погубила его

жизнь; Битона, который живет в странном, призрачном городе, где полно металлических крючьев, газовых горелок и никому не нужного хлама; ту непостижимую женщину, которая предложила ему любовь и верность, когда он остался ни с чем, но не подписала своего имени; а главное, Мейзи, которая по-своему бесспорно права, как бы она ни поступила, но, увы, из этой дали представляется такой недосягаемо прекрасной.

Рука Джорджа легла ему на плечо и вернула его к действительности.

— И что дальше?

— Ну да, правда. Что ж дальше? Отведи меня к верблюжатам. Отведи туда, где сидят разведчики, когда возвращаются из пустыни. Они сидят подле своих верблюдов, и верблюды едят зерно с черного покрывала, подвешенного за углы, и люди едят тут же, как верблюды. Отведи меня туда!

Земля в лагере была неровная, ухабистая, и Дик не раз спотыкался о кочки. Разведчики сидели подле своих верблюдов, как и предсказал Дик. В кострах горел кизяк, мерцающий свет озарял бородатые лица, а рядом отдыхали верблюды, пофыркивая и всхрапывая. Дик отнюдь не рассчитывал ехать в пустыню с обозом. Это вызвало бы назойливые расспросы, а поскольку слепому не место на передовых позициях, его, по всей вероятности, заставили бы вернуться в Суакин. Он должен ехать самостоятельно и без промедления.

— Теперь надо изловчиться в последний раз — сделать самое трудное, — сказал он. — Мир вам, братья!

Джордж осторожно подвел его к ближайшему костру, вокруг которого сидели разведчики. Их шейхи торжественно наклонили головы, а верблюды, почуяв европейца, опасливо косились на него, как наседки, высиживающие яйца и готовые вот-вот вскочить на ноги.

— Нужен верблюд и погонщик, чтоб доставить меня в расположение действующих частей сегодня же ночью, — сказал Дик.

— Мулаид? — спросил чей-то голос, пренебрежительно назвав верблюда лучшей вьючной породы, какую он знал.

— Бишаринец, — возразил Дик с полнейшей серьезностью. — Нужен бишаринец, да чтоб спина не была потерта. У тебя, конечно, такого нет, безмозглая твоя башка.

Прошли минуты две или три. И тогда:

— Наши верблюды стреножены на ночь. Из лагеря никого не выпускают.

— Даже за деньги?

— Гм! Э-э! Английские деньги?

Снова гнетущее молчание.

— Сколько?

— Двадцать пять английских фунтов на руки погонщику, как только я доберусь до места, и столько же на руки шейху, который отдаст их погонщику, когда тот вернется.

Это было поистине королевское вознаграждение, и шейх, зная, что наверняка получит свою долю за посредничество, уже склонялся в пользу Дика.

— За неполную ночь пути — пятьдесят фунтов. Земля, и колодцы, и плодоносные деревья, и жены обеспечены такому человеку до конца дней. Кто согласен? — спросил Дик.

— Я, — отозвался голос. — Я готов... но из лагеря никого не выпускают.

— Болван! Я же знаю, что верблюд может порвать путы и часовые не стреляют, когда его ловят. Двадцать пять фунтов и потом еще двадцать пять. Но мне нужен чистокровный верховой бишаринец: вьючного верблюда я не возьму.

Началась торговля, и через полчаса шейх, получив задаток, стал шептаться с погонщиком. Дик расслышал, как погонщик шепнул:

— Далеко ехать не придется. Сойдет любая вьючная скотина. Разве я дурак, чтоб гонять своего верблюда ради слепца?

— И хотя я ничего не вижу, — Дик слегка повысил голос, — зато ношу при себе такую штуку, которая имеет целых шесть глаз, и погонщик будет сидеть впереди. Если к рассвету мы не доберемся до английских войск, он умрет.

— Но где, во имя бога, эти войска?

— Если ты не знаешь, пускай едет другой. Ты *наверняка* знаешь? Помни, для тебя это вопрос жизни и смерти.

— Знаю, — угрюмо сказал погонщик. — Отойди от моего верблюда. Сейчас я его освобожу.

— Не торопись. Джордж, поддержи-ка верблюду голову. Я хочу ощупать морду. — Он шарил руками по шку-

ре, пока не отыскал полукруглое клеймо, по которому узнают бишаринца, легконогого верхового верблюда. — Так, хорошо. Режь веревки. Да помни, благодать Аллаха не осенит того, кто вздумает обмануть слепого.

Люди у костров посмеивались над незадачливым погонщиком. Ведь он намеревался подменить своего верблюда медлительным вьючным одром с потертой спиной.

— Отойди! — заорал он и хлестнул верблюда плетью под брюхо. Дик повиновался, почувствовав, как натянулся повод, который он сжимал в руке, и тут раздался крик: — О Аллах! Он удрал!

С ревом и фырканием верблюд ринулся в пустыню, следом устремился погонщик, вопя и причитая. Джордж схватил Дика за руку и бегом, хотя тот спотыкался и едва не падал, потащил его мимо сердитого часового, который давно привык к тому, что верблюды частенько убегают.

— Что за шум? — крикнул он.

— Проклятый верблюд уволок мое снаряжение, все дочиста, — ответил Дик, прикидываясь простым солдатом.

— Ну, беги, да гляди, как бы тебе не перерезали глотку — заодно с твоим верблюдом.

Крики смолкли, едва верблюд скрылся за бугром: погонщик сразу отозвал его назад и заставил опуститься на колени.

— Садись первый, — сказал Дик. Потом он взгромоздился сзади и легонько пощекотал погонщику затылок стволом револьвера. — Езжай, во имя Аллаха, да поживее. Прощай, Джордж. Кланяйся от меня мадам и будь счастлив со своей девушкой. Вперед, сын преисподней!

Через несколько минут все вокруг погрузилось в глубокую тишину, нарушаемую лишь поскрипыванием седла и глухим неустанным топотом верблюжьих копыт. Дик устроился поудобнее, плавно покачиваясь на скаку, ту же затянул пояс и чувствовал, как темнота проплывает мимо. Целый час он ощущал лишь быстрое движение вперед.

— Резвый верблюд, — сказал он наконец.

— Я всегда кормил его досыта. Он мой собственный и самых чистых кровей, — ответил погонщик.

— Езжай.

Дик склонил голову на грудь и пытался думать, но мысли путались, его одолевал сон. В полузабытьи ему

чудилось, будто он у миссис Дженнетт и она наказала его, велев выучить духовный гимн. Он совершил какой-то тяжкий проступок, наверно, согрешил в воскресный день, и сидел, запертый в своей комнате. Но ему удавалось повторить лишь две первые строчки гимна:

Когда Израиль, избран богом,  
Свершал исход из плена свой. . .

Он твердил эти строчки снова и снова, тысячи раз. Погонщик повернулся в седле, норовя при малейшей возможности завладеть револьвером и на этом окончить путь. Дик очнулся, огрел его рукояткой по голове и отчаянным усилием стряхнул с себя сон. Когда верблюд взбирался по крутому склону, кто-то, затаившийся в колючем кустарнике, пронзительно крикнул. Грянул выстрел, а потом опять настала тишина, навеявая дремоту. Дик больше не мог думать. Он слишком устал, оцепенел, обессилел и время от времени клевал носом, но сразу просыпался, тревожно вздрагивая и тыкая погонщика револьвером.

— Светит ли луна? — спросил он сонным голосом.

— Вскорости уж вовсе зайдет.

— Как жаль, что я не могу ее видеть. Придержи верблюда. Дай мне хотя бы услышать голос пустыни.

Погонщик повиновался. Мертвое безмолвие всколыхнул короткий порыв ветра. Он прошелестел в увядшей листве кустарника где-то поодаль и затих. Кучка сухой земли оторвалась от края водомоины и с легким шорохом осыпалась на дно.

— Езжай. До чего ж холодная нынче ночь.

Те, кому случалось бодрствовать, ожидая утра, знают, как последний час перед рассветом растягивается на множество вечностей. Дику казалось, будто с того мгновения, когда его впервые объяла тьма, он только и делал, что болтался среди пустоты. Раз в тысячелетие он ощущал шляпки гвоздей на седельной луке и тщательно пересчитывал их все до единой. Еще через века он перекладывал револьвер из правой руки в левую и ронял свободную руку, которая бессильно повисала вдоль тела. При этом он словно смотрел на себя из недоступно далекого Лондона — смотрел с укоризной. Но едва он протягивал руку к холсту, чтобы изобразить желто-бурую пустыню при свете заходящей луны, черную тень верблюда и двоих пригнувшихся всадников, оказывалось, что рука

эта сжимает револьвер и онемела от запястья до самого плеча. Мало того, он был в темноте и никакого холста не мог видеть.

Погонщик что-то проворчал, и Дик вдруг ощутил перемену.

— Кажется, светает, — прошептал он.

— Уже рассвело, а вон и войска. Ну как, хорошо я управился?

Верблюд вытянул шею и заревел, когда ветер донес едкий запах других верблюдов в расположении войск.

— Вперед. Надо поскорей добраться. Вперед.

— В лагере какое-то движение. Такую пылцу подняли, что мне и не видать, чего там делается.

— А мне, по-твоему, легче? Вперед!

Они услышали невнятные голоса, визг и фырканы верблюдов, хриплые крики солдат, которые снаряжались, готовясь встретить наступающий день. Раздались одиночные выстрелы.

— Это нас обстреливают? Но ведь они же видят, что я англичанин, — сказал Дик с возмущением.

— Но стреляют-то из пустыни, — отозвался погонщик, припадая к седлу. — Вперед, сынок! Наше счастье, что рассвет не застал нас часом раньше.

Верблюд устремился прямо к колонне, и выстрелы позади участились. Сыны пустыни приготовили самую неприятную неожиданность, задумав атаковать английские войска на рассвете, и теперь пристреливались по единственной движущейся цели за пределами лагеря.

— Какая удача! Какая грандиозная, потрясающая удача! — воскликнул Дик. — Конечно же, «сейчас начнется битва, мама». О, бог был ко мне бесконечно милостив! Только вот. . . — Терзаясь мучительной мыслью, он на миг сомкнул веки. — Мейзи. . .

— Слава Аллаху! Доехали, — сказал погонщик, когда верблюд миновал арьергард и опустился на колени.

— Вы кто, черт возьми? С донесением или еще зачем? Велики ли вражеские силы за тем хребтом? Как вам удалось проскочить? — посыпались вопросы.

Вместо ответа Дик набрал полную грудь воздуха, расстегнул пояс и, не слезая с седла, закричал во всю мочь сиплым от изнеможения и пыли голосом:

— Торпенхау! Эгей, Торп! Ау-у, Тор-пен-хау!

Бородатый человек, который выгребал из костра уголек, чтоб раскурить трубку, поспешил на этот крик, а

солдаты арьергарда повернулись кругом и начали стрелять по клубкам дыма, которые завивались над окрестными пригорками. Постепенно из разрозненных белых облачков образовались длинные завесы сплошной белизны, тяжело повисли среди рассветного безветрия, потом всколыхнулись волнами и поплыли по низинам. Солдаты на позиции кашляли и ругались, потому что дым их собственных выстрелов застилал глаза, они двигались вперед, пробираясь сквозь этот дым. Чей-то раненый верблюд вскочил на ноги, истошно взревел и захлебнулся булькающим хрипом. Ему перерезали горло, чтоб не подымал паники. Раздался глухой предсмертный стон человека, сраженного пулей; потом вопль, исполненный боли, и нарастающий грохот пальбы.

Для расспросов времени не было.

— Слезай, друг! Слезай да прячься за верблюда!

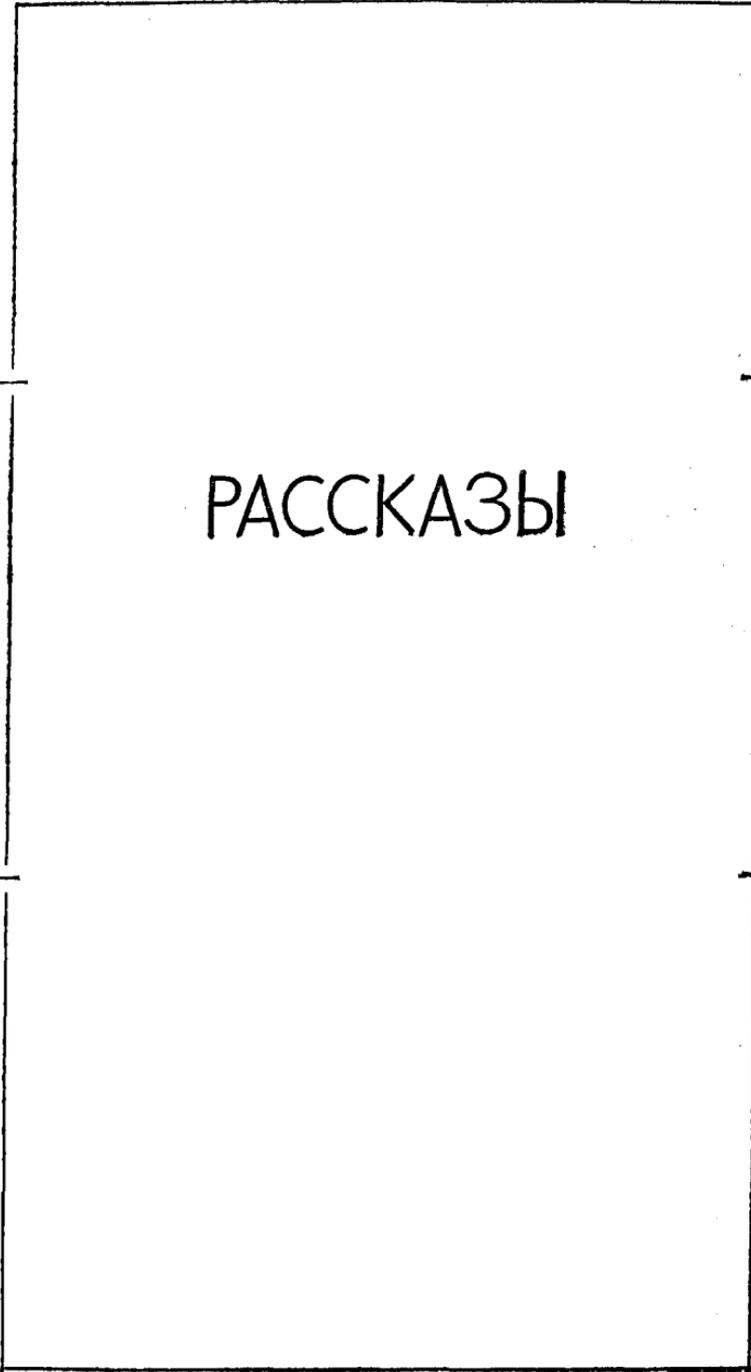
— Нет. Умоляю, веди меня вперед, прямо в бой.

Дик повернулся к Торпенхау и вскинул руку, пытаясь поправить шлем, но не рассчитал усилия и сбил его с головы. Торпенхау увидел поседелые виски и лицо, одряхлевшее, как у старика.

— Слезай, болван распроклятый! Дикки, ложись!

И Дик покорно лег, а вернее, рухнул, как срубленное дерево, боком повалился с седла к ногам Торпенхау. Удача сопутствовала ему до конца, до свершения последнего милосердия, когда благословенная пуля пробилась ему голову.

Торпенхау упал на колени и укрылся за верблюдом, держа на руках тело Дика.

A rectangular frame with a double-line border. On the left and right vertical sides, there are two pairs of short horizontal tick marks, one pair near the top and one pair near the bottom, suggesting a scale or measurement.

РАССКАЗЫ

---

## БЕЗУМИЕ РЯДОВОГО ОРТЕРИСА

О чем я мечтал с пересохшим ртом?  
О чем я просил судьбу под о.нем?  
О чем помолюсь я перед концом?

О том,

Чтоб рядом стоял дружок.

Со мной он разделит воды глоток,  
Глаза по смерти закроет мне,  
Домой отпишет моей родне, —  
Дружка да пошлет нам бог! 1

*Казарменная баллада*

Мои друзья Малвени и Ортерис однажды собрались поохотиться. Лиройд все еще лежал в лазарете, оправляясь после лихорадки, которую подхватил в Бирме. Они послали за мной и не на шутку разобиделись, когда я прихватил с собой пива — в количестве почти достаточном, чтобы удовлетворить двоих рядовых линейного полка и меня.

— Мы вас не из корысти приглашали, сэр, — с укоризной сказал Малвени. — Мы ведь и так рады вас видеть.

Ортерис поспешил спасти положение:

— Ну уж, раз принес, не откажемся. Что мы с тобой за гуси такие, мы просто два пропавших томми, брюзга ты ирландская. За ваше здоровье!

Мы проохотились все утро и подстрелили двух одичавших собак, четырех мирно сидевших на ветке зеленых попугаев, одного коршуна около площадки, где сжигали трупы, одну удиравшую от нас змею, одну речную черепаху и восемь ворон. Добыча была богатая. Гордые, мы уселись на берегу реки перекусить воловьим мясом и солдатским хлебом, как выразился Малвени, и, в ожидании очереди на единственный имевшийся у нас складной нож, постреливали наугад по крокодилам. . . Выпив все пиво, мы побросали бутылки в воду и открыли по ним пальбу. Потом ослабили пояса, растянулись на теплом песке и закурили. Продолжать охотиться нам было лень.

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Корнеева.

Ортерис, лежа на животе и подперев голову кулаками, испустил тяжелый вздох. Потом тихо выругался в пространство.

— С чего это? — спросил Малвени. — Недопил, что ли?

— Вспомнил Тоттнем-Корт-роуд и одну девчонку в тех краях. Здорово она мне нравилась. Эх, проклятая жизнь солдатская!

— Ортерис, сынок, — торопливо перебил его Малвени, — не иначе, ты расстроил себе нутро пивом. У меня у самого так бывает, когда печенка бунтует.

Ортерис, пропустив мимо ушей слова Малвени, медленно продолжал:

— Я томми, пропащий томми, томми за восемь ана, воруяга-собачник Томми с номером взамен порядочного имени. Какой от меня прок? А останься я дома — женился бы на той девчонке и держал бы лавочку на Хэммерсмит Хай: «С. Ортерис, набивает чучела». В окошке у меня была бы выставлена лисица, как на Хейлсбери в молочной, имелся бы ящичек с голубыми и желтыми стеклянными глазами, и женушка звала бы: «В лавку! В лавку!», когда зазвонит дверной колокольчик. А теперь я просто томми, пропащий, забытый богом, дующий пиво томми. «К ноге — кругом — вольно! Смирно! Приклады вверх! Первая шеренга напра-, вторая нале-во! Шагом марш! Стой! К ноге! Кругом! Холостыми заряжай!» И мне конец.

Ортерис выкрикивал обрывки команд погребальной церемонии.

— Заткнись! — заорал Малвени. — Палил бы ты над могилами хороших людей, сколько мне приходилось, так не повторял бы попусту этих слов! Это хуже, чем похоронный марш в казармах свистеть. Налился ты до краев, солнце не жарит — чего тебе еще надо? Стыдно мне за тебя. Ничуть ты не лучше язычника — команды всякие, глаза стеклянные, видишь ли. . . Может, вы урезоните его, сэр?

Что я мог поделать? Разве мог указать Ортерису на какие-то прелести солдатской жизни, о которых он сам бы не знал? Я не капеллан и не субалтерн, а Ортерис имел полное право говорить что вздумается.

— Пусть его, Малвени, — сказал я. — Это все пиво.

— Нет, не пиво! — возразил Малвени. — Уж я-то знаю, что будет. На него уже это накатывало, ох, как худо, кому и знать, как не мне: я ведь парня люблю.

Мне опасения Малвени показались необоснованными, но я знал, что он по-отечески заботится об Ортерисе.

— Не мешайте, дайте душу излить, — как будто в полузабытьи произнес Ортерис. — Малвени, ты разве запретишь твоему попугаю орать в жаркий день, когда клетка ему розовые лапки жжет?

— Розовые лапки! Это у тебя, что ли, розовые лапки, буйвол? Ах ты, — Малвени весь собрался, готовясь к сокрушительной отповеди, — ах ты слабонервная девица! Розовые лапки! Сколько бутылок с ярлыком Басса выдуло наше сбесившееся дитяtko?

— Басс ни при чем, — возразил Ортерис. — Тут кое-что погорчее. Тоска у меня, домой хочу!

— Нет, вы слышите! Да он поплывет домой в мундире без погон не позже, как через четыре месяца!

— Ну и что? Все едино! Почему ты знаешь, может, я боюсь сдохнуть раньше, чем получу увольнительные бумаги.

Он опять принялся нараспев повторять погребальные команды.

С этой стороной характера Ортериса я еще не был знаком, однако для Малвени она, очевидно, не была новостью, и он относился к происходившему весьма серьезно. Пока Ортерис бормотал, уронив голову на руки, Малвени шепнул мне:

— С ним всегда этак бывает, когда его допекут младенцы, из которых нынче сержантов делают. Да и от безделья бесится. Иначе от чего еще — ума не приложу.

— Ну и что тут страшного? Пусть выговорится.

Ортерис начал петь веселенькую пародию на «Шомпольный корпус», полную убийств, сражений и внезапных смертей. При этом он глядел за реку, и лицо его показалось мне чужим. Малвени сжал мне локоть, чтобы надежнее привлечь внимание.

— Что страшного? Да все! С ним вроде припадка. Я уже видал, все наперед знаю. Посреди ночи вскочит он с койки и пойдет к пирамиде свое оружие шарить. Потом подкрадется ко мне и скажет: «Еду в Бомбей. Ответь за меня на утренней переключке». Тут мы с ним бороться начнем, не раз так бывало, он — чтоб сбежать, а я — чтоб его удержать, и оба угодим в штрафную книгу за нарушение тишины в казармах. Уж я его и ремнем лупил, и башку расшибал, и уговаривал, но когда на него найдется — все без толку. А ведь когда мозги у него в порядке,

лучше парня не сыщешь. И ночка же сегодня будет!.. Только бы он в меня не стрельнул, когда я подыматься буду, чтоб его с ног сбить. Вот о чем я молю денно и ночью.

Этот рассказ представил дело в менее приятном свете и вполне объяснил тревогу Малвени. Он попытался было вывести Ортериса из припадка и громко крикнул (тот лежал поодаль):

— Эй ты, бедняга с розовыми лапками и стеклянными глазками! Переплывал ты Иравади ночью, как подбаивает мужчине, или прятался под кроватью, как в тот раз при Ахмед-Кхеле?

Это было одновременно грубое оскорбление и заведомая ложь — Малвени явно затевал ссору. Но на Ортериса словно столбняк нашел. Он ответил медленно, без всякого раздражения, тем же размеренно-певучим голосом, каким выкрикивал погребальные команды:

— Сам знаешь, я переплывал Иравади ночью, когда город Лангтангпен брали, нагишом переплывал и ничего не боялся. А где я был при Ахмед-Кхеле, ты тоже знаешь, и еще четыре проклятущих патана знают. Но тогда был крайний случай, про смерть я и не думал. А теперь я стосковался по дому, и все тут! Не то чтобы я к мамочке хотел — меня дядя вырастил, — нет, я по Лондону стосковался. По всяким там его звукам, по знакомым местам, по вонии лондонской. Под Воксхолл-бридж всегда апельсиновой кожурой, асфальтом и газом пахнет. Проехать бы по железной дороге в Боксхилл с девчонкой на коленях и с новенькой глиняной трубкой в зубах. А огни на Стрэнде! Всех-то ты знаешь в лицо, и фараон — твой старый друг, подберет тебя пьяного, как, бывало, подбирал раньше, когда ты еще грязным мальчишкой валялся под темными арками неподалеку от Темпла. Ни тебе караула, будь он проклят, ни тебе раскрошенных скал, ни тебе хаки — ты сам себе хозяин, глазей со своей девчонкой на то, как Общество спасения вылавливает утопленников из Серпентайна по воскресным дням. И все-то я оставил, чтобы служить Вдове за морем, а тут и баб нет, и выпивки путной нет, и смотреть не на что, делать нечего, говорить не о чем, чувствовать нечего и думать не о чем. Господь с тобой, Стэнли Ортерис, ты глупей всех дураков в полку, считая и Малвени! Вдова сидит себе дома в золотой короне, а ты торчишь тут, Стэнли Ортерис, собственность Вдовы, отпетый болван!

Он повысил к концу голос и завершил монолог шестиэтажной англо-туземной бранью. Малвени промолчал, но бросил на меня взгляд, словно призывая внести покой во взбудораженную душу Ортериса.

Я вспомнил, как однажды на моих глазах в Равалпинди человека, допившегося до белой горячки, отрезвили, подняв его на смех. В некоторых полках поймут, что я имею в виду. Я подумал, не удастся ли и нам таким же способом отрезвить Ортериса, хотя он и был совершенно трезв. Поэтому я сказал:

— Какая польза ворчать и бранить Вдову?

— Не думал я ее бранить! — отозвался Ортерис. — Упаси бог, чтобы я сказал про нее что плохое, — никогда, если б даже мог сию минуту дать деру.

Я воспользовался удобным моментом.

— Какой толк зря болтать языком? Ну, скажите честно — удрали бы вы прямо сейчас, представься вам случай?

— Ого, еще как! — выпалил Ортерис, вскакивая как ужаленный.

Малвени тоже вскочил.

— Что это вы задумали?

— Помочь Ортерису добраться до Бомбея или до Карачи, куда он пожелает. А вы доложите, что он ускользнул от вас до завтрака, оставив ружье на берегу.

— Мне придется это доложить? — с расстановкой произнес Малвени. — Ладно. Раз уж Ортериса не отговорить, а вы, сэр, друг ему и мне, держите его сторону, то я, Теренс Малвени, клянусь доложить, как вы велите, а я своих клятв не нарушаю. Но так и знай, — он подступил к Ортерису и потряс перед его носом охотничьим ружьем, — попадешься мне еще на дороге — готовь кулаки!

— Будь что будет! — проговорил Ортерис. — Отошнела собачья жизнь. Помогите, сэр. Не дурачьте меня. Дайте мне удрать!

— Раздевайтесь! — приказал я. — Поменяемся одеждой, тогда я скажу, что делать дальше.

Я надеялся, что нелепость моего предложения образумит Ортериса, но он скинул сапоги и мундир едва ли не быстрее, чем я расстегнул ворот рубашки. Малвени схватил меня за руку.

— Он в припадке, сэр, припадок-то еще не прошел. Клянусь честью и душой, нас с вами еще притянут за соучастие в дезертирстве. Подумайте, сэр, двадцать восемь

дней нам дадут или пятьдесят шесть, все равно позор — черный позор для него и для меня!

Я никогда не видел Малвени таким взволнованным.

Ортерис, однако, не терял спокойствия; едва мы успели поменяться одеждой и я преобразился в рядового линейного полка, он отрывисто сказал:

— Так! Продолжайте! Что дальше? Вы меня не морочите? Что мне делать, чтоб спастись из здешней преисподней?

Я сказал ему, что если он подождет два-три часа у реки, я съезжу верхом в пост и привезу сотню рупий. С этими деньгами он дойдет до ближайшей маленькой станции миль за пять отсюда и там возьмет билет первого класса до Карачи. Зная, что на охоту он ушел без денег, из полка не сразу телеграфируют в приморские порты, а сперва поищут его по туземным деревушкам вдоль реки. А там никому в голову не придет искать дезертира в вагоне первого класса. В Карачи он купит белую пару и постарается сесть на торговый пароход.

Здесь он меня прервал. Ему бы только добраться до Карачи, а дальше он справится сам. Я велел ему дожидаться, не сходя с места, пока стемнеет настолько, что я смогу съездить в поселок, не привлекая внимания моим костюмом. Надо сказать, что господь в своей премудрости вложил в грудь британского солдата, зачастую неотесанного скота, детски доверчивое сердце, чтобы он верил своим офицерам и шел за ними в огонь и в воду. Далеко не с такой легкостью он доверяется гражданским лицам, но, раз поверив, верит уже свято, как собака. Я имел честь пользоваться дружбой рядового Ортериса с перерывами более трех лет, и дружба наша была по-мужски честной и прямой. Поэтому он не сомневался, что все, сказанное мною, чистая правда, а не просто слова, брошенные на ветер.

Мы с Малвени оставили его в высокой траве на берегу и, прячась в зарослях, направились к моей лошади. Солдатская рубашка немилосердно царапала мне кожу.

До сумерек пришлось ждать около двух часов. Мы разговаривали об Ортерисе шепотом и напрягали слух, чтобы уловить какие-нибудь звуки с той стороны, где он находился. Но не слышали ничего, кроме ветра, свистевшего в высокой траве.

— Сколько я его лупил, — горячо сказал Малвени, — раз чуть до смерти не зашиб. Ну, никак из его безмозг-

лой башки помрачения не выбить. Хоть ты тресни! И ведь нельзя сказать, чтобы он от природы был безмозглый, так-то он толковый и покладистый. В чем тут причина? То ли в воспитании дело — ведь его никто не воспитывал. То ли в образованности — ее и в помине нет. Вот вы человек ученый, ответьте-ка!

Но мне было не до ответа. Я размышлял, сколько еще продержится Ортерис на берегу, и неужели я все-таки буду вынужден сдержать слово и помочь ему дезертировать.

Едва наступила темнота, я с тяжелым сердцем начал седлать лошадь, и тут вдруг до нас донеслись дикие вопли с реки.

Злые духи оставили рядового Стэнли Ортериса, № 22 639, из роты «Б». Их, как я и надеялся, изгнали одиночество, темнота и ожидание. Мы пустились бегом и увидели, как он в панике мечется в траве — без сюртука (без моего сюртука, разумеется). Он, как помешанный, выкликал наши имена.

Когда мы подбежали к нему, он обливался потом и дрожал, как испуганная лошадь. С превеликим трудом нам удалось его успокоить. Он ныл, что на нем гражданское платье, и хотел немедленно содрать его с себя. Я велел ему раздеться, и мы в одно мгновение вторично поменялись одеждой.

Шорох собственной пропотевшей рубахи и скрип сапог, казалось, привели его в себя. Он прижал ладони к глазам и сказал:

— Что на меня нашло? Я не спятил, солнцем меня не хватило, а вел себя невесть как, и нес невесть что, и натворил. . . Что я такое натворил?

— Что натворил? — повторил Малвени. — Опозорил себя, хоть это еще полбеды, но ты еще роту «Б» опозорил, а что хуже всего — опозорил меня! А ведь не кто, как я, учил тебя быть солдатом, когда ты был еще дрянным, плаксивым, неуклюжим новобранцем. Да ты и сейчас не лучше, Стэнли Ортерис!

Ортерис смолчал. Потом расстегнул тяжелый пояс, утыканный значками полдюжины полков, над которыми одержал победу его собственный полк, и протянул Малвени.

— Драться я с тобой не могу, Малвени, рост не позволяет, — сказал он, — да и все равно ты меня поколотишь.

Вот, держи ремень — можешь разрубить меня пополам, если хочешь.

Малвени обернулся ко мне.

— Оставьте нас одних, сэр, нам надо с ним потолковать.

Я оставил их и по дороге домой раздумывал об Ортерисе и о моем приятеле, которого я люблю, рядовом Томми Аткинсе вообще.

Но так ни до чего и не додумался.

### ДОЧЬ ПОЛКА

Джейн Хардинг, обвенчалась ты  
С сержантом в Олдершоте  
И с ним моря переплыла  
На славном нашем флоте.

(Хор)

Знакома ль вам Джейн Хардинг,  
Джейн Хардинг,  
Джейн Хардинг,  
Джейн Хардинг, та, которой мы  
Гордимся в нашей роте?

*Старая казарменная баллада*

— Если джентльмен не умеет танцевать черкесский танец, так нечего ему и соваться, другим мешать.

Так сказала мисс Маккенна, и сержант, мой визави, всем своим видом выразил согласие с ней. Мисс Маккенна внушала мне страх: в ней было шесть футов росту, сплошные рыжие веснушки и огненные волосы. Одета она была без всяких штук: белые атласные туфли, розовое муслиновое платье, ядовито-зеленый пояс из какой-то набивной ткани, черные шелковые перчатки и в волосах желтые розы. Посему я сбежал от мисс Маккенна и в полковой лавке разыскал моего приятеля, рядового Малвени, — он прилип к стойке с напитками.

— Значит, сэр, вы плясали с малышкой Джханси Маккенна? Она вот-вот за капрала Слейна выйдет. Будете разговаривать с вашими дамами и господами, так не забудьте помянуть, что танцевали с малышкой Джханси. Тут есть от чего загордиться.

Но я не загордился. Я был полон смирения. По глазам рядового Малвени я видел, что у него есть в запасе история; кроме того, я знал: задержись он у стойки по-

дольше — и не миновать ему еще парочки нарядов. А набрести на уважаемого друга, когда он отстаивает наряд у караулки, очень неприятно, особенно если в это время вы прогуливаетесь с его командиром.

— Пошли на плац, Малвени, там прохладнее. И расскажите мне об этой мисс Маккенна — кто она, и что она, и почему ее зовут Джханси.

— Вы что ж, никогда не слыхали про дочку мамыши Пампуши? А думаете, будто знаете все на свете! Вот раскюрю трубку и пойдем.

Мы вышли. Над нами было звездное небо. Малвени уселся на орудейный передок и, по своему обыкновению зажав трубку в зубах, свесив тяжелые кулаки между колен и лихо сдвинув на затылок головной убор, начал:

— Когда миссис Малвени, я хочу сказать — мисс Шедд, еще не стала миссис Малвени, вы, сэр, куда моложе были, да и армия здорово с тех пор переменялась. Нынче ребята ни в какую не хотят жениться, потому и настоящих жен — этаких, знаете, самостоятельных, преданных, горластых, здоровенных, душевных, жилистых баб — у нас намного меньше, чем когда я был капралом. Потом меня разжаловали, но все равно я был капралом. Мужчина в ту пору и жил, и умирал в своем полку, ну, и, понятно, женой обзаводился, если он был мужчина. Когда я был капралом — господи боже мой, весь полк с того времени и перемереть успел, и опять народился! — сержантом моим был папаша Маккенна, человек, понятно, женатый. А жена его — я о первой говорю, наш Маккенна еще два раза потом женился — мисс Бриджит Маккенна, была родом из Портарлингтона, моя землячка. Как там ее девичье имя, я забыл, но в роте «Б» все звали ее мамаша Пампуша, — такая у нее была округлая личность. Барабан, да и только! И эта самая Пампуша — упокой господи ее душеньку! — только и знала, что рожать. И когда этих пискунов стало не то пятеро, не то шестеро на перекличке, Маккенна побожился, что начнет их нумеровать при крещении. Но Пампуша требовала, чтобы их называли по фортам, где они рождались на свет. И появились у нас в роте и Колаба Маккенна, и Муттра Маккенна — весь, можно сказать, округ Маккенна, — и эта самая малышка Джханси, которая сейчас отплясывает там. Рожала Пампуша младенцев одного за другим и одного за другим хоронила. Нынче они у нас помирают как

ягнята, а тогда мерли как мухи. Моя малышка Шедд тоже померла, но я это не к тому. Что прошло, то прошло; у миссис Малвени больше детей не было.

О чем это я? Да, так вот, жара в то лето была адская, и вдруг приходит приказ из какого-то чертова издата, забыл его название, полку переквартироваться в глубь округа. Может, они хотели узнать, как по новой железной дороге войска будут передвигаться. И провалиться мне на месте, они узнали! Глазом еще не успели моргнуть, как узнали! Мамаша Пампуша только-только похоронила Муттру Маккенна. Погода стояла зловредная, у Пампуши одна Джханси и осталась, четырех лет от роду. За четырнадцать месяцев пятерых детей схоронить — это не шутка, понимаете вы это?

Отправились мы по такой жарнице на новое место — да разразит святой Лаврентий того типа, который сочинил этот приказ! Дали они нам два состава, а нас восемьсот семьдесят душ. Во второй состав зачихали роты «А», «Б», «В» и «Г» да еще двадцать женщин — понятно, не офицерских жен — и тринадцать детей. Ехать ни мало, ни много шестьсот миль, а железные дороги были тогда еще в новинку. Провели мы ночь в утробе нашего поезда, ну, и ребята в своих мундирах прямо на стенки стали лезть, пили что попало, жрали гнилые фрукты, и ничего мы с ними поделывать не могли — я тогда был капралом, — а на рассвете открылась у нас холера.

Молитесь всем святым, чтобы никогда вам не довелось увидеть холеру в воинском поезде. Это вроде как божий гнев с ясного неба. Добрались мы до промежуточного лагеря — знаете, вроде Лудхианы, только сортом похуже. Командир полка тут телеграмму дал в форт — а до форта триста миль по железной дороге, — помощь, мол, шлите. И уж верьте слову, в помощи мы нуждались. Состав еще остановиться не успел, а уже со станции всех как корова языком слизнула. Пока командир составлял телеграмму, там ни единой души не осталось, кроме телеграфиста, да и тот оттого только не удрал, что зад от сиденья оторвать не мог, — как его, труса черномазого, ухватили за загривок да сдавили ему глотку, так до конца и не отпустили. Наступило утро, в вагонах все орут, на платформе грохот — людей перед отправкой в лагерь выстраивают на перекличку, а они во всей амуниции на землю брякаются. Не мое дело объяснять, что такое холера. Наш доктор — тот, может, и объяснил бы, да он, бедняга, вы-

валился из вагонных дверей на платформу, когда мы трупы выволакивать стали. Помер ночью — и не он один. Мы семерых уже холодных вытащили, и еще добрых два десятка еле дышали, когда мы их несли. А женщины сбились в кучу и выли от страха.

Тут командир полка — забыл его имя — говорит: «А ну, отведите женщин в манговую рощу. Заберите их из лагеря. Им тут не место».

Мамаша Пампуша сидит рядом на своих узлах и малышку Джханси успокаивает. «Идите в манговую рощу, — говорит командир. — Не мешайте мужчинам».

«Черта с два я уйду», — отвечает Пампуша, а малышка Джханси уцепилась за ее подол и пищит: «Черта с два уйду!» И вот поворачивается Пампуша к другим женщинам и говорит: «Вы, сучьи дочери, прохладиться уйдете, а наши парни помирать будут, так выходит? — говорит она. — Им воды надо принести. А ну, беритесь за дело!»

И тут она засучивает рукава и идет к колодцу за лагерем, а малышка Джханси рядом семенит с *лотой*<sup>1</sup> и веревкой в руках, и все женщины идут за Пампушей как овцы, кто с ведром, кто с кастрюлей. Набрали они воды в эти посудины, и мамаша Пампуша во главе своего бабьего полка марш-маршем в лагерь, а там вроде как на поле боя после отступления.

«Маккенна, муженек, — говорит она, а голос у нее что твоя полковая труба, — успокой мальчиков, скажи, что Пампуша сейчас займется ими, всем даст выпить, и притом задаром».

Тут мы во всю глотку гаркнули «ура!» — почти, можно сказать, заглушили вопли наших бедных парней, которых одолевала холера. Почти, да не совсем.

Были мы все тогда еще желторотые, в холере ни черта не смыслили. Так что толку от нас не было никакого. Парни бродили по лагерю, как одуревшие бараны, ждали, кто следующий на очереди, и только твердили шепотом: «За что же это наказание, господи? За что?» Вспомнить страшно. И все время среди нас, как заведенная, взад-вперед, взад-вперед, ходила мамаша Пампуша и с ней малышка Джханси — так она и стоит перед глазами: на головенке шлем с какого-то покойника, ремешки на пузе болтаются — ходила наша Пампуша, воды давала попить и даже по глотку бренди.

---

<sup>1</sup> Лота (*хинд.*) — круглый металлический горшок.

Иной раз Пампуша не выдержит, запричитает, — лицо у нее щекастое, багровое, и по нему слезы текут: «Ох вы мальчишки мои, бедняги мертвенькие, сердечные мои!» Но чаще она подбадривала ребят, чтобы они держались, а малышка Джханси повторяла, что к утру все будут здоровы. Это она от матери переняла, когда Муттра в лихорадке горела и Пампуша ее выхаживала. К утру будут здоровы! Для двадцати семи наших ребят то утро так во веки веков и осталось утром на кладбище святого Петра. И под этим окаяннным солнцем еще двадцать человек заболело. Но женщины трудились как ангелы, а мужчины как черти, покуда не приехали два доктора и не вызволили нас.

Но перед самым их приездом мамаша Пампуша — она стояла тогда на коленях возле парня из моего отделения, в казарме его койка была как раз справа от моей, — так вот, Пампуша начала ему говорить те слова из Писания, которые любого за сердце берут, и вдруг как охнет: «Держите меня, ребята, мне худо!» Но ее солнечный удар хватил, а не холера. Она позабыла, что у нее на голове только старая черная шляпа. Померла Пампуша на руках у Маккенны, муженька, и когда ребята ее хоронили, все, как один, ревмя ревели.

В ту же ночь задул здоровенный ветрище, и дул, и дул, и дул, пока все палатки не полегли, но и холеру он тоже сдул, и ни один человек больше не заболел, когда мы десять дней в карантине отсиживались. Но, поверьте мне на слово, до ночи эта самая холера раза четыре с палатки на палатку перекидывалась и такие кренделя выписывала, будто как следует набралась. Говорят, ее с собой Вечный Жид уносит. Пожалуй, так оно и есть.

— Вот оттого, — неожиданно закончил Малвени, — малышка Джханси и стала, какая она есть. Когда Маккенна помер, ее взяла к себе жена сержанта квартирмейстерской части, но все равно она из роты «Б». И вот эту историю, которую я вам сейчас рассказал, я ее в каждого новобранца вколачиваю, учу строю, а заодно и обхождению с Джханси Маккенна. Я и капрала Слейна ремнем заставил сделать ей предложение.

— Да ну?

— Вот вам и ну. Из себя она не так чтоб очень, но она дочь мамаша Пампуши, и мой долг пристроить ее. За день до того, как Слейна произвели в капралы, я го-

ворю ему: «Слушай, Слейн, если я завтра подниму на тебя руку, это будет нарушение субординации, но вот поклянусь райской душенькой мамыши Пампуши, или ты побожишься мне, что сию минуту сделаешь предложение Джханси Маккенна, или я нынче же ночью спущу с тебя шкуру вот этой бронзовой пряжкой. И без того позор роте «Б», что девка так засиделась», — говорю я ему. Вы что думаете, я позволю щенку, который всего-навсего три года отслужил, перечить мне и наперекор моему приказу поступать? Не выйдет дело! Слейн пошел как миленький и сделал ей предложение. Он хороший парень, этот Слейн. Вскоро отправится он в комиссариат и наймет на свои сбережения свадебную карету. Вот так я и пристроил дочку мамыши Пампуши. А теперь идите и пригласите ее еще раз потанцевать.

И я пошел и пригласил.

Я преисполнился уважения к мисс Джханси Маккенна. Был я у нее и на свадьбе.

Об этой свадьбе я, может быть, расскажу вам на днях.

### ПОПРАВКА ТОДСА

Увы, обычай наш таков:  
Совета ждать от стариков,  
Кадающих власти,  
Хотя всевышний лишь детей  
Сподобил мудрости своей —  
На наше счастье<sup>1</sup>.

*Притча о Чхаджу Бхагате*

Так вот: мама Тодса была на редкость очаровательная женщина, а Тодса знала вся Симла, от мала до велика. Большинству мужчин в Симле доводилось спасать Тодса от смерти. Он постоянно ускользал от своей *айи*<sup>2</sup> и ежедневно рисковал жизнью, пытаясь выяснить, что будет, если потянуть за хвост мула на горной артиллерийской батарее. В возрасте шести лет этот бесстрашный маленький язычник стал первым в истории мальчишкой, который нарушил олимпийское спокойствие Законодательного Совета.

Случилось это следующим образом.

---

<sup>1</sup> Перевод Д. Шнеерсона.

<sup>2</sup> А й я (*хинд.*) — няня.

Любимый козленок Тодса вырвался на волю и поскакал в гору по Буалоганджской дороге; Тодс погнался за ним, и скоро оба очутились на лужайке перед летней резиденцией вице-короля, прилегавшей к «Петергофу». Там как раз шло заседание Совета. Окна были раскрыты — погода стояла жаркая. Красный улан, дежуривший на веранде, хотел прогнать Тодса, но Тодс был лично знаком и с этим уланом, и с большинством членов Совета. К этому времени Тодс уже крепко ухватил за ошейник своего козленка — и козленок тащил его через цветник.

— Скажи *салам*<sup>1</sup> длинному советнику-сахибу и попроси его помочь мне отвести домой моего Моти! — задыхаясь, крикнул Тодс.

Советники услышали шум за окнами, и через некоторое время перед резиденцией вице-короля можно было наблюдать ужасную картину: советник по правовым вопросам и вице-губернатор, под наблюдением и руководством главнокомандующего и вице-короля, помогали маленькому, взъерошенному, перепачканному мальчику в матроске умирять упрямого, драчливого козленка. Они вывели козленка на аллею, и Тодс с победой отправился домой и сообщил маме, что *все* советники-сахибы помогали ему ловить Моти. В ответ мама отшлепала сыночка за то, что он мешает людям управлять Империей, но на следующий день, встретив советника по правовым вопросам, Тодс переговорил с ним с глазу на глаз и обещал оказать ему всяческую помощь и поддержку, если когда-нибудь советнику тоже понадобится поймать козленка.

— Спасибо, Тодс, — сказал советник.

Примерно восемьдесят *джампани*<sup>2</sup> в Симле и еще примерно сорок *саисов*<sup>3</sup> души не чаяли в маленьком Тодсе. Встречаясь с ними, Тодс говорил приветственно: «О брат!» Тодсу не приходило в голову, что кто-то может не подчиниться его приказу, и, когда мама Тодса бывала не в духе, он выступал посредником между нею и слугами. Мир и порядок в доме зависели от Тодса: его обожали все домочадцы, от *дхоби*<sup>4</sup> до мальчишки, присматривающего за собаками. Даже Фатех Хан, гнусный бездельник из Масури, старался не огорчать Тодса — боялся презрения своих товарищей.

<sup>1</sup> С а л а м (*хинд.*) — приветствие, поклон.

<sup>2</sup> Д ж а м п а н и (*хинд.*) — носильщик паланкинов.

<sup>3</sup> С а и с (*хинд.*) — конюх, грум.

<sup>4</sup> Д х о б и (*хинд.*) — мужчина-прачка.

Итак, от Буалоганджа до Малой Симлы повсюду почитали Тодса, и сам он тоже считал себя справедливым правителем. Он, разумеется, умел говорить на урду, но вдобавок владел многими менее важными языками — например, *чхоти боли*<sup>1</sup>, на котором изъясняются женщины — и с одинаковым успехом беседовал и с лавочниками, и с горцами-кули. Тодс был сообразителен не по годам; общение с туземным населением открыло ему глаза на горькую правду жизни — на ее жестокость и убожество. Сидя за столом перед стаканом молока и переводя свои мысли с местного наречия на английский язык, Тодс изрекал порой такие афоризмы, что его мама вздрагивала и клялась будущим летом отправить сына домой.

Как раз когда Тодс был в зените славы, Законодательный Совет разрабатывал текст нового билля для Предгорья, который должен был отчасти изменить действовавшее раньше земельное законодательство; хотя этот билль уступал по значительности Пенджабскому земельному биллю, ему все же суждено было повлиять на жизнь нескольких сотен тысяч человек. Советник по правовым вопросам долго сооружал, укреплял, украшал и дополнял проект нового билля и наконец добился превосходных результатов — на бумаге. Затем Совет стал дорабатывать, как говорится, второстепенные детали. Как будто англичане, сочиняющие законы для местного населения, умеют разбираться в том, какие детали второстепенны, а какие первостепенны для местных жителей! Новый билль был величайшим шагом вперед в смысле «охраны интересов арендатора». Один из его пунктов определял максимальный срок земельной аренды в пять лет; высказывалось соображение, что если, мол, позволить землевладельцу привязать арендатора к земле на больший срок, то он из арендатора все соки выжмет. Цель билля заключалась в том, чтобы привлечь в Предгорье независимых земледельцев, и с этнической, и с политической точек зрения эта цель была правильна. Только одним был новый билль нехорош: он решительно никуда не годился. Говоря о жизни земледельца в Индии, нельзя забывать о его сыне: законы должны учитывать не только нынешнее поколение, но и следующее — учитывать, конечно, с точки зрения местного жителя. И как ни стран-

---

<sup>1</sup> Чхоти боли (*хинд.*, буквально: малая речь) — жаргонная разновидность урду.

но, индийские крестьяне, и уж тем более на севере страны, вовсе не любят, чтобы их интересы охраняли при помощи законов: в одной деревне нагов, например, крестьяне предпочитали питаться павшими интендантскими мулами, выкапывая их из земли. . . Но это к нашей истории не относится.

По многим причинам, и мы их объясним позднее, новый билль не понравился земледельцам, которых он касался. Туземный член Совета знал о Пенджабе и пенджабцах не больше, чем о Чэринг Кроссе. В Калькутте он заявил, что билль «полностью соответствует чаяниям многочисленного и важного для страны класса крестьян», — и еще многое в этом же духе. Что же касается советника по правовым вопросам, то его связи с местными жителями ограничивались знакомством с говорящими по-английски *дарбари*<sup>1</sup> и с его собственными *чапраси*<sup>2</sup> в красных мундирах. Личного интереса к делам Предгорья никто не проявил. Чиновникам на местах было не до того, чтобы протестовать. К тому же новый билль затрагивал лишь мелких землевладельцев. Тем не менее советник по правовым вопросам страстно желал, чтобы его проект не содержал ошибок, ибо он был человек добросовестный и притом нервный. Он не знал, что, если хочешь выяснить мнение крестьян, есть только один путь: сойтись с ними накоротке; и даже этот путь может не привести к желанным результатам. Советник сделал все, что мог, — он постарался в меру своих способностей. И проект его поступил в Законодательный Совет на окончательную отделку; у Тодса как раз в это время появилась привычка каждое утро объезжать базар в Большой Симле: он играл с обезьяной *бани*<sup>3</sup> Дитта Мала и слушал, как слушают все дети, разговоры взрослых — на этот раз о новой причуде лорда-сахиба.

Но вот однажды в доме у мамы Тодса устроили прием, и на прием пришел советник по правовым вопросам. Тодс лежал в постели, но не спал, и, услышав, что мужчины с веселым смехом принялись за кофе, он встал, надел поверх пижамы красный фланелевый халат и босиком отправился к гостям. Понимая, что в такой момент его не прогонят, он пристроился возле отца.

<sup>1</sup> Д а р б а р и (хинд.) — придворный.

<sup>2</sup> Ч а п р а с и (хинд.) — служитель при канцелярии, сторож, курьер.

<sup>3</sup> Б а н и я (хинд.) — торговец, купец.

— Вот что приходится терпеть несчастным, которые обзаводятся семьей! — воскликнул отец Тодса.

Он дал сыну три сливы, налил ему воды в стакан из-под кларета и приказал сидеть тихонько и не мешать. Тодс знал, что его отправят спать, как только он доест сливы, и неторопливо посасывал их, со светским видом прихлебывал подкрашенную вином воду и слушал, как гости беседуют между собой. Советник по правовым вопросам, обсуждавший служебные дела с главой департамента, упомянул о своем билле, назвав его полностью: «Указ о реорганизации *райятвари*<sup>1</sup> в районах Предгорья». Тодс услышал знакомое слово и громко сказал своим детским голоском:

— А, об этом я все знаю! Он уже *мараммат*<sup>2</sup>, советник-сахиб?

— *Мара*. . . что? — спросил советник.

— *Мараммат*, починенный? Сделали его *тхик*<sup>3</sup>, как Дитта Мал хотел?

Советник подошел и сел возле Тодса.

— А что тебе известно о райятвари, человечек? — спросил он.

— Я не человечек, а Тодс, и мне известно все! И Дитта Мал, и Чога Лал, и Амир Натх, и все мои. . . сто тысяч моих друзей рассказывали мне про райятвари.

— В самом деле? Что же они тебе рассказывали?

Тодс подобрал ноги под свой красный фланелевый халат и сказал:

— Надо подумать.

Советник терпеливо ждал. Наконец Тодс участливо спросил:

— Наверное, вы не умеете говорить как я, советник-сахиб?

— Нет, к сожалению, не умею, — сказал советник.

— Что ж, — сказал Тодс, — надо подумать по-английски.

С минуту он молчал, приводя в порядок свои соображения о райятвари, а потом неторопливо заговорил, мысленно переводя с местного наречия на английский язык, как делают многие дети из английских семей, живущих в Индии. Учтите, что длинная, складная речь, приведен-

---

<sup>1</sup> Райятвари (*хинд.*) — система арендных отношений, имевшая распространение в Северной Индии.

<sup>2</sup> Мараммат (*хинд.*) — починенный, исправленный.

<sup>3</sup> Тхик (*хинд.*) — правильный, хороший.

ная ниже, не является точной записью: Тодс спотыкался иногда, и советник помогал ему наводящими вопросами.

— Дитта Мал говорит, что это вздор, который выдумали дураки, — начал Тодс. — Но только, по-моему, вы не дурак, советник-сахиб, — поспешно добавил он. — Вы ведь поймали моего козленка. И еще Дитта Мал говорит: «Я не дурак. Так почему *саркар*<sup>1</sup> думает, будто я несмышленое дитя? Я сам могу решить — плохая ли земля или хорошая, плохой хозяин или хороший. Отдам я за землю скопленные деньги, проживу на ней пять лет со своей женой, и жена родит мне сына». У Дитта Мала уже есть дочка, но он говорит, что у него будет еще сын. Он говорит: «А через пять лет новый *бандобаст*<sup>2</sup> велит мне уходить с земли. А если я не захочу? Тогда надо новые печати на все бумаги ставить и новые *теккас*<sup>3</sup> платить — и когда это? Может быть, в разгар жатвы. Если человек идет к судье один раз в жизни — это хорошо, это мудрый закон; а если два раза — это *джаханнум*<sup>4</sup>». И Дитта Мал правильно говорит, — серьезно объяснял Тодс. — Все мои друзья так говорят. И еще Дитта Мал говорит: «Каждые пять лет новые теккас платить, и каждые пять лет всем чапраси платить и всем *вакилам*<sup>5</sup>, и каждые пять лет в суд ходить или с земли уходить?! Зачем мне уходить? Что я — дурак? Если я дурак и за сорок лет не научился отличать плохую землю от хорошей, мне лучше умереть. Вот если новый бандобаст скажет: «Иди к судье через пятнадцать лет!» — это будет хорошо и мудро. Через пятнадцать лет мой сын станет мужчиной, а я уже буду в пепел превращен; мой сын возьмет себе землю — может быть, другую землю — и заплатит за нее теккас, один раз заплатит, а потом и у него сын родится, и через пятнадцать лет тоже станет мужчиной. Зачем каждые пять лет писать бумаги? Только *дукх*<sup>6</sup> — и больше ничего. Кто теперь землю берет? Не молодые люди, а старики. И не богачи, а торговцы, скопившие немного денег. Оставьте нас в покое на пятнадцать лет — вот чего мы хотим. А саркар думает, будто мы дети несмышленые».

---

<sup>1</sup> Саркар (*хинд.*) — правительство.

<sup>2</sup> Бандобаст (*хинд.*) — порядок, уложение.

<sup>3</sup> Теккас (*англ. tax*) — налог.

<sup>4</sup> Джаханнум (*хинд.*) — преисподняя, ад.

<sup>5</sup> Вакил (*хинд.*) — ходатай по делам, адвокат.

<sup>6</sup> Дукх (*хинд.*) — беда, мучение.

Тут Тодс заметил, что гости слушают его, и замолчал.

— Ты все сказал? — спросил советник.

— Все, что помню, — сказал Тодс. — Но вы пойдите и посмотрите, какая большая у Дитта Мала обезьяна! Она совсем как советник-сахиб.

— Тодс! Отправляйся спать! — сказал ему отец.

Тодс подобрал полы халата и ушел.

А советник хлопнул ладонью по столу.

— Черт побери! — сказал он. — Мальчонка прав. Короткий срок аренды — слабое место всего проекта.

Он скоро ушел, обдумывая слова Тодса. Разумеется, он не отправился на базар играть с обезьяной бани, чтобы как следует разобраться в положении; он поступил еще умнее: стал наводить справки и все время принимал в расчет, что настоящий местный житель — настоящий, а не полукровка, которого учили в университете, — пуглив, как жеребенок. И в конце концов советник убедил нескольких человек — из числа тех, кого касался новый билль, — высказать свое истинное мнение; их мнение совпало с данными Тодса.

В соответствующий пункт билля внесли поправку. А у советника по правовым вопросам зародилось подозрение, что от туземных членов Совета не больше толку, чем от орденов, которые они носят на груди. Но он отринул свое подозрение как недостойное либерала. Он был убежденный либерал.

По базарам же скоро разнеслась весть, что это Тодс поднял вопрос о пересмотре сроков аренды по новому биллю. Если бы мама Тодса не вмешалась, он ужасно объелся бы фруктами, фисташковыми орехами, кабульским виноградом и миндалем, потому что веранда его дома вдруг оказалась заставлена корзинами, полными всех этих лакомств. И пока Тодс не уехал домой, он оставался в Симле фигурой гораздо более популярной, чем сам вице-король. Но как это произошло, маленький Тодс не имел ни малейшего понятия.

В ящике, где тот советник по правовым вопросам хранит свои бумаги, до сих пор лежит черновик «Указа о реорганизации райятвари в Предгорье», и против двадцать второго пункта, вписанного синим карандашом и скрепленного подписью советника, значится: «поправка Тодса».

## ХРАНИТЬ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

С раскаленной на солнце скалы,  
Резвым козьим копытом задет,  
Рухнул камень  
В горный пруд — средоточие мглы,  
И на дно, где теряется след,  
Канул камень.

Это все было предрешено —  
И удар, и паденье, и мрак;  
Знал ли камень,  
Что ему уготовано дно  
И что жизнь его кончится так?  
Знал бы камень!..

Ты, о каменщик тверди земной!  
Ты, пред кем мы должны быть равны!  
Ты, кем светоч небесный зажжен!  
Рассуди же —  
В чем он грешен, что проклят тобой  
И низвергнут на дно с вышины,  
В беспросветность навек погружен,  
Опускаясь все ниже и ниже?..<sup>1</sup>

*Из неопубликованных записок  
Макинтоша Джелалуддина*

Свет ли в окне твоём, дева младая,  
Ночь ли простерла покров темноты?  
Денно и но-о-о...

При этих словах он повалился на верблюжонка, спавшего в караван-сараяе, где жили торговцы лошадьми и самые отъявленные мошенники Центральной Азии, и поскольку он был мертвецки пьян, а ночь стояла темная, то подняться сам не смог, пока я не пришел ему на помощь. Так я познакомился с Макинтошем Джелалуддином. Если бродяга, да еще пьяный, распевает «Песнь молодой девы», он заслуживает внимания. Макинтош отделился от верблюжонка и сказал довольно невнятно:

— Я... я... немного того... накачался, но если окунуться в Логгерхед, сразу приду в себя... Да, слушайте, вы поговорили с Симондсом насчет кобылы, что там у нее с коленом?

Между тем Логгерхед, где запрещено ловить рыбу, а браконьерство невозможно, находился в шести тысячах утомительных миль отсюда, рядом с «Месопотамией», ко-

<sup>1</sup> Стихи в рассказе переведены И. Комаровой.

нюшни же Чарли Симондса — еще полумилей дальше, за конными загонами. Странно было слышать эти полузабытые названия в майскую ночь в Султанском караван-сараяе, среди верблюдов и лошадей. Но тут пьяница, по видимому, опомнился и сразу начал трезветь. Мы прислонились к верблюду, и, указав в угол караван-сарая, где горел фонарь, мой новый знакомец сказал:

— Я живу вон там. И буду крайне признателен, если вы соблаговолите помочь моим бунтующим ногам проследовать туда, ибо я пьян сильнее обычного, просто феноменально надрался. Но к голове моей это не относится: «Мой мозг здесь восстает. . .» — как там дальше? Голова моя гарцует, или, верней сказать, покачивается на навозной куче и держит тошноту в узде.

Я помог ему пройти между стреноженными, теснившимися друг к другу лошадьми, и он рухнул на край террасы перед цепочкой лацуг туземцев.

— Благодарю вас, премного благодарен! О луна и малютки звезды! Подумать только, что можно так позорно. . . Да и зелье было скверное. Овидий в изгнании и то пил лучше. Куда лучше. Хоть холодное. А у меня, увы, и льда-то не было! Спокойной ночи! Я бы представил вас своей жене, да только я пьян, а она дикарка.

Из темноты комнаты показалась женщина-туземка и начала бранить его, а я тогда ушел. Мне давно не доводилось встречать такого занятого бродягу, и со временем он стал моим другом. Он был высок, хорошо сложен, светловолос и основательно потрепан пьянством, так что на вид ему можно было дать лет пятьдесят, хотя сам он уверял, что ему тридцать пять. Если в Индии человек начинает опускаться и друзья не отправляют его срочно на родину, то, с точки зрения людей респектабельных, он скатывается очень низко. К тому времени, когда он принимает чужую веру, как это сделал Макинтош, спасти его уже нет надежды.

Почти в каждом большом городе вы услышите от туземцев о двух-трех сахибах, принявших индуизм или мусульманство; чаще всего они принадлежат к низшей касте и живут более или менее по обычаям новой веры. Но познакомиться с ними удается редко. Как говорил сам Макинтош:

— Если уж я поступился верой ради желудка, то во все не жажду стать добычей миссионеров и не стремлюсь к известности.

В самом начале нашего знакомства Макинтош предостерег меня:

— Запомните. Я не объект для вашей благотворительности. Мне не нужно ни ваших денег, ни вашей еды, ни ваших обносков. Я редкостный вид животного — пропойца, который содержит сам себя. Если угодно, могу с вами покурить, ибо должен признать, что табак с базара противопоказан моему нёбу, и могу брать у вас книги, те, которыми вы не слишком дорожите. Скорее всего, я спущу их за бутылку какой-нибудь мерзкой здешней бурды. Взамен вы будете пользоваться тем гостеприимством, какое я способен оказать вам в моем доме. Вот *чарпай*<sup>1</sup> — на ней можно сидеть вдвоем, а на этом блюде время от времени и едз бывает. Распить же бутылку здесь, каюсь, всегда удастся. Словом, милости прошу в мои бедные покои.

Итак, меня допустили в дом к Макинтошу — меня и мой дорогой табак. Но не больше. К сожалению, забулдыгу, живущего в караван-сараяе, нельзя навещать днем. Ваши друзья, покупающие там лошадей, могут истолковать это неверно. Соответственно, я вынужден был встречаться с Макинтошем после наступления темноты. Он посмеялся над этим и просто сказал:

— И совершенно правильно! В те времена, когда я занимал свое прежнее положение в обществе, притом значительно более высокое, чем вы, я бы сделал то же самое. Подумать только! Ведь когда-то я... — он произнес это так, будто его разжаловали из командиров полка, — когда-то я учился в Оксфорде!

Вот чем объяснялось упоминание о конюшне Чарли Симондса.

— У вас, — медленно продолжал Макинтош, — такого преимущества нет, но, с другой стороны, судя по вашему виду, вами не владеет страсть к спиртному. Так что я полагаю, из нас двоих вы счастливее. Хотя и не уверен. Простите, что я говорю так, покуривая ваш великолепный табак, но вы прискорбно невежественны во многих вопросах.

Мы сидели на его кровати, так как стульев в комнате не было, и смотрели, как поят на ночь лошадей, а его жена готовила в это время обед. Мало приятного, когда бродяга разговаривает с вами покровительственно, но

---

<sup>1</sup> Чарпай (*хинд.*) — кровать с веревочной сеткой.

в данный момент я был у него в гостях, хотя, кроме поношенного пальто из альпака́ да пары брюк из мешковины, он ничего не имел. Макинтош вынул трубку изо рта и продолжал рассуждать:

— Если рассмотреть вопрос со всех сторон, то я сомневаюсь, счастливее ли вы меня. Я имею в виду не ваши крайне скудные познания в классической филологии и даже не ваше терзающее слух латинское произношение, а ваше безмерное невежество относительно вещей, находящихся непосредственно перед вами. Вот, например, — он показал на какую-то женщину, которая, сидя у колодца посреди караван-сарая, чистила самовар. Она резко открывала и закрывала кран, быстро выпуская из него маленькими порциями воду. — Есть тысячи разных способов чистить самовары. Если бы вы знали, почему она выбрала именно этот, вы понимали бы, что имел в виду испанский монах, говоря:

Славя троицу, сок я пью  
В три глотка.  
Коли в глотке сухо,  
Арианн чашу свою  
Осушает единым духом,

а также знали бы многое другое, что сейчас скрыто от вас. Как бы то ни было, обед у миссис Макинтош готов. Пойдемте и отведаем его по обычаю здешних людей, о которых вы, кстати, тоже ничего не знаете.

Женщина-туземка протянула руку к блюду вместе с нами. Это было нарушением правил. Жене всегда следует ждать, пока насытится муж. Макинтош Джелалуддин, извиняясь, объяснил:

— Этот английский предрассудок я так и не сумел изжить, а она меня любит. За что — не могу понять. Судьба свела нас три года назад в Джаландхаре, с тех пор она со мной. Полагаю, что она женщина порядочная, и знаю, что она искусно готовит.

Говоря это, он погладил женщину по голове, и она тихо заворковала. Миловидной ее трудно было назвать.

Макинтош так и не сказал мне, кем он был до своего падения. Будучи трезвым, он блистал ученостью и хорошими манерами; когда же напивался, первое преобладало над вторым. А напивался он обычно раз в неделю и

пил в течение двух дней. В это время его жена ухаживала за ним, а он ораторствовал на всех языках, кроме своего родного. Однажды он принялся читать наизусть «Атланту в Калидоне» и дочитал до самого конца, постукивая в такт ритму стиха ножкой кровати. Но большей частью он произносил речи по-гречески или по-немецки. Его память воистину была свалкой ненужных знаний. Как-то он, начиная понемногу трезветь, сказал, что я — единственное разумное существо в том аду, куда он спустился, — Вергилий в царстве теней, как он выразился, — и что в обмен на мой табак он перед смертью вручит мне материалы для нового «Ада», который сделает меня более знаменитым, чем Данте. Затем он заснул на лошадиной попоне и проснулся совершенно успокоенный.

— Знаете, — сказал он, — когда достигаешь последней степени деградации, всякие мелочи, волнующие при ином образе жизни, перестают иметь значение. Прошлой ночью душа моя витала среди богов, но не сомневаюсь, что мое грешное тело корчилось здесь в грязи.

— Вы были отвратительно пьяны, если вы имеете в виду это, — заметил я.

— Конечно, я был пьян, пьян в стельку. Я, сын чело- века, чье имя вам знать не к чему, я, с почетным званием окончивший колледж, в котором вы даже окошка для продажи спиртного и то не видели, — я был омерзительно пьян. Но обратите внимание, как легко я это переношу. Просто не замечаю. Не замечаю вовсе, ведь у меня даже голова не болит, хотя, казалось бы, это мой удел. А занимай я высокое положение в обществе, какие ужасные кары постигли бы меня, как горько бы я раскаивался! Поверьте мне, мой недостаточно образованный друг, высшее подобно низшему, если говорить о крайних степенях того и другого.

Он перевернулся на попоне, подпер голову кулаками и продолжал:

— Клянусь душой, которую я потерял, и совестью, которую убил, я *разучился* чувствовать, поверьте мне. Я, как бог, отличаю добро от зла, но ни то, ни другое меня не трогает. Есть чему позавидовать, правда?

Если человеку больше не грозит головная боль с похмелья, это плохой признак. Глядя на растянувшегося на попоне Макинтоша, с его иссиня-бледными губами и во-

лосами, завесившими глаза, я ответил, что, по-моему, в бесчувственности нет ничего хорошего.

— Ради всего святого, не говорите так! Уверяю вас, что это одно из самых завидных качеств. Подумайте, сколько у меня возможностей утешаться!

— Так ли уж много, Макинтош?

— Еще бы! А ваши потуги быть язвительным неуклюжи, сарказм — это оружие человека образованного. Так вот: во-первых, мне служит утешением моя эрудиция, мои познания в классической истории и литературе, пусть несколько замутненные неумеренными возлияниями, но все же значительно превосходящие ваши. Кстати о возлияниях — как раз вспомнил, что, прежде чем моя душа прошлой ночью вознеслась к богам, я продал пикеринговского Горация, которого вы столь любезно дали мне почитать. Теперь он у старьевщика Дитта Мала. Я получил десять ана, а выкупить его можно за рупию. Второе мое утешение — верная любовь миссис Макинтош, этой лучшей из жен. Третье — памятник, прочнее бронзы, который я создавал все те семь лет, что пребывал на дне.

Макинтош замолчал и медленно пересек комнату, чтобы выпить воды. Он качался и был очень слаб.

Уже не раз он упоминал о своем «сокровище», о каких-то ценностях, которыми владеет, но я всегда считал это пьяным бредом. Нищета его была столь же непомерна, как и гордость. Он не отличался любезностью, но много знал о туземцах, среди которых прожил целых семь лет, так что знакомство с ним стоило поддерживать. Он насмеялся даже над Стриклендом, считая его невеждой; «невежественный Запад и Восток» — называл он его. Гордился же он прежде всего тем, что вышел из Оксфорда и был человеком редких и блестящих способностей; это могло быть и правдой, и похвалой — не мне судить, я сам не так много знаю; а во-вторых, тем, что «держит руку на пульсе местной жизни», — это было сущей правдой. Принадлежность к Оксфорду делала его, на мой взгляд, слишком кичливым — он вечно толковал о своей образованности. А вот то, что он стал Макинтошем Джелалуддином — мусульманским *факиром*, — было для меня интереснейшей находкой. Он искурил не один фунт моего табаку и передал мне не одну унцию полезных сведений. Но в подарок ни разу не согласился ничего принять, даже когда наступившие холода начали терзать его бедную

исхудалую грудь, прикрытую лишь бедным захудалым пальто из альпака. Он страшно сердился и заявлял, что я его оскорбляю и что в больницу он не собирается. Пусть он жил как скотина, но умереть должен разумно, как подобает человеку.

Он в самом деле умер от воспаления легких и вечером перед смертью послал мне замусоленную записку с просьбой прийти и помочь ему встретить конец.

У постели плакала его туземка жена. Макинтош, укутанный в бумажное покрывало, был слишком слаб, чтобы протестовать, когда я набросил на него меховое пальто. Но голова его по-прежнему напряженно работала, а глаза горели. Он отказался от услуг врача, которого я привел с собой, да так грубо, что возмущенный старик сразу ушел, а Макинтош еще несколько минут поносил меня и только потом успокоился.

Немного погодя он велел жене достать из углубления в стене «Книгу». Она принесла большую охапку пожелтевших, неодинаковых по размеру листов, завернутых в обрывок нижней юбки; все листы были пронумерованы и исписаны мелким неразборчивым почерком. Макинтош погрузил руку в эту кипу и любовно поворошил ее.

— Вот, — сказал он, — это мой труд — книга Макинтоша Джелалуддина, повествующая о том, как он жил, и что видел, и что приключилось с ним и со многими другими, а кроме того, это история жизни, прегрешений и смерти матушки Матурин. Насколько книга Мирзы Мурада Али Бека превосходит все, что написано о жизни туземцев, настолько моя книга превзойдет книгу Мирзы.

Здесь, как согласятся все, кто знаком с книгой Мирзы Мурада Али Бека, Макинтош замахнулся слишком высоко. На вид трудно было представить, что в этих листах заключено нечто ценное, но Макинтош перебирал их так, будто это были банкноты. Потом медленно произнес:

— Несмотря на обилие пробелов в вашем образовании, вы были добры ко мне. Представ перед богами, я расскажу им о вашем табаке. Я многим вам обязан, вы сделали для меня много хорошего. Но я ненавижу оставаться в долгу. И посему завещаю вам этот монумент прочнее бронзы — мою единственную книгу; местами она

примитивна и несовершенна, но зато какое великолепие на других страницах! Не знаю, поймете ли вы ее. Это дар более почетный, чем... Тьфу! Я, кажется, мелю вздор! Вы жестоко искромсаете ее. Выкинете жемчужины, которые вы, филистер, именуете «латинскими цитатами», и будете подравнивать стиль, пока не обкорнаете его под свой косноязычный жаргон, но ведь всю-то книгу вы не сможете уничтожить! Завещаю ее вам. Этель!.. опять в голове мутится! Миссис Макинтош, будьте свидетельницей, что я передал сахибу все эти бумаги. Вам, душа моей души, они ни к чему, а вы, — повернулся он ко мне, — надеюсь, не дадите этой книге погибнуть, оставив ее в том виде, в каком она сейчас. Она безоговорочно ваша, эта история Макинтоша Джелалуддина, которая на самом деле является историей не Макинтоша Джелалуддина, а человека куда более достойного, чем он, и женщины еще более достойной. Слушайте меня! Я не пьян и не брежу. Эта книга сделает вас знаменитым.

Я сказал «спасибо», и туземка вручила мне узел с бумагами.

— Единственное мое дитя, — произнес Макинтош с улыбкой.

Он быстро угасал, но продолжал говорить, пока хватало дыхания. Я ждал конца, зная, что в шести случаях из десяти умирающие призывают перед смертью мать. Он повернулся на бок и сказал:

— Расскажите всем, как она к вам попала. Никто вам не поверит, но по крайней мере мое имя не умрет. Я, конечно, понимаю, вы расправитесь с моими записями безжалостно. Часть из них нужно изъять, ведь публика глупа — чопорна и глупа. Когда-то я был ее слугой. Но уж коверкайте книгу осторожно, как можно осторожнее. Это великая книга, и я заплатил за нее семью годами смертных мук.

Он умолк, несколько раз вздохнул и начал бормотать по-гречески какую-то молитву. Туземка горько заплакала. Наконец он приподнялся на постели и произнес громко и раздельно:

— Не виновен, господи!

Потом упал навзничь и уже до самой кончины лежал неподвижно. Туземка выбежала на середину каравансарая, металась среди лошадей, вопила и била себя в грудь — она любила его.

Пожалуй, последние, предсмертные слова Макинтоша дают представление о том, что ему пришлось когда-то пережить, но, кроме груды бумаг, увязанных в старую тряпку, я не обнаружил в комнате никаких свидетельств того, кто он и кем был.

Бумаги оказались безнадежно перепутаны.

Стрикленд помог мне разобрать их и сказал, что автор либо бессовестный лгун, либо чрезвычайно выдающаяся личность. Он склонялся к первому. В один прекрасный день вы сможете судить об этом сами. Рукопись пришлось основательно почистить и выкинуть всякую греческую чепуху перед каждой из глав.

Если эту книгу когда-либо напечатают, то, может быть, кто-нибудь вспомнит этот рассказ, который я публикую как доказательство того, что автор «Книги о матушке Матурин» не я, а Макинтош Джелалуддин.

Я не хочу, чтобы ко мне применяли слова о «плаще гиганта».

#### **И ВЫРЫЛИ ЯМУ**

Мистер Хокинс Мумрат, чиновник бенгальской гражданской службы Ее Величества, слег в постель, чтобы умереть от брюшного тифа, и, будучи человеком весьма упорным, так близко подошел к исполнению своего намерения, что все его друзья, два доктора и правительство, которому он служил, признавали его безнадежным и на основании ложных слухов некоторые газеты в самый канун наступившего кризиса напечатали весьма лестные некрологи, которые три недели спустя мистер Мумрат, сидя в постели, изучал с большим интересом. Странно читать о себе в прошедшем времени и отрадно обнаружить при этом, что, несмотря на все твои недостатки, мир мог бы в твоём лице «лишиться превосходного человека».

Газеты всегда заканчивают такими размышлениями свои некрологи, посвященные незаметным и безобидным бенгальским чиновникам. Все это совсем не показалось забавным мистеру Мумрату.

Нежная любовь правительства предоставляет в пользование его служителей на Востоке роскошь, которая и не снилась другим цивилизациям. Состоящий на жалованье у государства доктор закрыл Мумрату глаза —

правда, не насовсем, ибо Мумрат настоял на том, чтобы вновь открыть их; субсидируемый правительством гробовщик купил государственный лес для казенного гроба, и великолепное кладбище Святой Голгофы-ин-Партибус в соответствии с существующими положениями приготовило выложенную кирпичом могилу с надгробием, бордюром, с кирпичными опорами для гроба. Стоимость этой могилы составляла 175 рупий 14 ана, включая аренду земли навечно.

Инструкции правительства относительно уборки, перевозки и хранения служивших ему покойников разработаны в мельчайших деталях, но эти подробности не публикуются ни в каких приложениях к положениям о жалованьях и пенсиях по тем же причинам, по которым один прусский офицер не оставлял своих убитых и раненых слишком долго на виду у батареи, находящейся под обстрелом.

Мистер Мумрат выздоровел и приступил к работе к немалой досаде младших чиновников, надеявшихся получить повышение по службе в связи с его кончиной. Гробовщик выгодно продал гроб одному тучному армянскому купцу из Калькутты, а состоящий на государственном жалованье врач благодаря воскрешению Мумрата из мертвых значительно расширил свою практику. Кладбище Святой Голгофы-ин-Партибус осталось при своей свежерытой могиле с надгробием и красивым кирпичным бордюром в ожидании тела, тем временем спокойно подписывавшего бумаги в конторе, расположенной в трех милях отсюда. Пришло время подводить счета за год, и обнаружилось, что одна могила стоимостью в 175 рупий 14 ана осталась неоплаченной. В документах на все другие могилы значились имена покойных слуг правительства. Только одно место в списке оставалось незаполненным.

Тогда Ахутош Лал Дэб, заместитель младшего помощника бухгалтера расчетного отдела, лишь недавно назначенный на этот важный пост и ревностно отстаивающий интересы государства, сделал официальный запрос кладбищу, желая получить сведения относительно содержимого этой могилы и «имея честь и проч.»

Кладбище официально ответило, что в этой могиле вообще нет никакого содержимого, а есть одна абсолютная пустота; вышеупомянутая могила была заказана для мистера Хокинса Мумрата и «имеет честь оставаться. . .».

Ахутош Лал Дэб имел честь указать на то, что, поскольку могила не была использована, правительство ни в коем случае не может заплатить за нее. Кладбище хотело знать, нельзя ли перенести этот счет на следующий год, «впредь до занятия могилы».

Ахутош Лал Дэб сказал, что он не собирается путать счета, что расхождения в счетах — корень всех недостатков и растрат. Да соблаговолит кладбище привести счета в порядок на финансовой базе текущего года.

Дирекция кладбища готова была себя похоронить, чтобы узнать, каким образом добиться этого; ведь, действительно, на облицовку могилы было израсходовано более двух тысяч обожженных кирпичей. Между тем, жаловалась она, бухгалтерия правительственного кирпичного завода ждала уплаты за весь материал.

Ахутош Лал Дэб написал: «Направить дело мистеру Мумрату». Дирекция кладбища полуофициальным порядком направила дело мистеру Мумрату. Их это поразило, так как вопрос казался довольно деликатным, но приказ есть приказ.

Хокинс Мумрат ответил, что он имеет честь быть совершенно здоровым и что ему совершенно не нужно никакой могилы, ни с кирпичной облицовкой, ни без таковой. Он посоветовал директору кладбища самому лечь в эту могилу и остаться в ней. Кладбище препроводило это письмо Ахутошу Лал Дэбу для принятия к сведению и для отдачи дальнейших распоряжений.

Ахутош препроводил его правительству провинции, которое подшило его к множеству других дел и совершенно забыло о нем.

В заброшенную могилу заползла тучная кобра и отложила яйца среди кирпичей. Прошли дожди, и нежная травка украсила кирпичный пол.

Дирекция кладбища написала Ахутошу Лал Дэбу, извещая его о том, что мистер Мумрат не заплатил за могилу, и предложила, чтобы эта сумма была удержана из его месячного жалованья. Ахутош Лал Дэб препроводил это письмо Хокинсу Мумрату в качестве напоминания.

Хокинс Мумрат разразился бранью, но, вдоволь наругавшись, он почувствовал страх. Брюшной тиф расшатал его нервы. Он написал в бухгалтерию, протестуя против

несправедливости, заключавшейся в требовании предварительной уплаты за могилу. Ежегодные вычеты на пенсию или на пособие вдовам совершенно справедливы, но вычет такого рода является требованием незаконным, к тому же еще издевательским.

Ахутош Лал Дэб ответил, что стиль мистера Мумрата не соответствует стилю, принятому в официальной переписке, и предложил ему смягчить его и уплатить за могилу.

Хокинс Мумрат бросил письмо в огонь и написал правительству провинции.

Правительство провинции имело честь указать на то, что это дело касается исключительно мистера Хокинса Мумрата и бухгалтерии. Оно не видело никаких оснований для вмешательства до тех пор, пока деньги не будут действительно удержаны из его жалованья. В таком случае, если мистер Хокинс Мумрат обратится с жалобой в соответствующие инстанции, он сможет, если будут соблюдены все соответствующие формальности, получить деньги обратно за вычетом стоимости его последнего письма, на котором не хватало марок. Дирекция кладбища написала Ахутошу Лал Дэбу и приложила копию счета за могилу, настаивая на каком-то урегулировании вопроса.

Ахутош Лал Дэб удержал 175 рупий 14 ана из месячного жалованья Мумрата. Мумрат написал жалобу в соответствующую инстанцию. Правительство провинции ответило, что расходы на все казенные могилы находятся исключительно в ведении Верховного правительства, которому это письмо и было препровождено.

Мумрат написал в Верховное правительство. Верховное правительство имело честь разъяснить, что дирекция кладбища Святой Голгофы-ин-Партибус находится под непосредственным контролем правительства провинции, которому Верховное правительство имело честь препроводить его послание.

Мумрат послал дирекции кладбища телеграмму соответствующего содержания.

Дирекция кладбища телеграфировала:

«Верхное управление налогов и финансов, Управление внутренних дел правительства провинции. Обратитесь в Департамент земледелия и государственных сборов для выяснения подробных данных о могиле».

Мумрат обратился в Департамент земледелия и государственных сборов. Сей Департамент имел честь разъяснить, что он занимается только зелеными насаждениями вокруг кладбища. Озеленением кладбищенских дорожек занимается Департамент лесного хозяйства.

Мумрат препроводил все письма Ахутошу Лал Дэбу с требованием немедленного возвращения удержанных денег в соответствии со статьей 431-А Дополнительного приложения для Бенгалии.

Он придумал ссылку на эту статью «pro te nata»<sup>1</sup>, будучи хорошо знаком с психологией индийских бабу<sup>2</sup>.

Бланк Департамента земледелия и государственных сборов испугал Ахутоша Лал Дэба еще больше, чем ссылка на статью. Он в смятении возместил вычет и компенсировал расходы правительства на эту выплату за счет средств кладбища.

Директор кладбища хотел узнать, что имел в виду Ахутош Лал Дэб.

Правительство провинции хотело знать, что имел в виду Ахутош Лал Дэб.

Департамент земледелия и государственных сборов, Департамент лесного хозяйства и Государственный склад шорных товаров, поставлявший кожаные ремни для гробов, — все хотели знать, что же, черт побери, имел в виду Ахутош Лал Дэб.

Ахутош Лал Дэб направлял каждого из них к мистру Хокинсу Мумрату, который выехал на кладбище, чтобы в одиночестве отпраздновать свою победу у изголовья выложенной кирпичом могилы с опорами кирпичной кладки.

Мама-кобра грелась на солнце на краю могилы, окруженная своими малютками, ибо выводок удался на славу. Хокинс Мумрат невзначай наступил на хвост почтенной леди, и она укусила его в лодыжку.

Хокинс Мумрат поспешно вернулся домой и скончался через пять часов и три четверти.

И тогда Ахутош Лал Дэб сделал запись в «Книге текущих счетов», и в Индии воцарился мир.

---

<sup>1</sup> Сообразно с обстоятельствами (лат.).

<sup>2</sup> Бабу (бенг.) — господин, обычное наименование бенгальских чиновников.

## БЕЗ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЦЕРКВИ

Я встретил осень, не прожив весны.  
Все закрома до времени полны:

Год подарил мне бремя урожая  
И, обессилив, облетел, как сад,  
Где не расцвет я видел, а распад.  
И не рассвет сиял мне, а закат:

Я был бы рад не знать того, что знаю.

«Горькие воды»

1

— А если будет девочка?

— Мой повелитель, этого не может быть. Я столько ночей молилась, я посылала столько даров к святыне шейха Бадла, что я знаю: бог даст нам сына — мальчика, который вырастет и станет мужчиной. Думай об этом и радуйся. Моя мать будет его матерью, пока ко мне не вернуться силы, а мулла Паттанской мечети вычислит, под каким созвездием он родился — дай бог, чтобы он увидел свет в добрый час! — и тогда, тогда тебе уже не наскучит твоя рабыня.

— С каких это пор ты стала рабыней, моя царица?

— С самого начала, — и вот теперь милость небес снизошла на меня. Как могла я верить в твою любовь, если знала, что ты купил меня за серебро?

— Но ведь это было приданое. Я просто дал деньги на приданое твоей матери.

— И она спрятала их и сидит на них целый день, как наседка. Зачем ты говоришь, что это приданое? Меня, еще девочку, купили, как танцовщицу из Лакхнау.

— И ты жалеешь об этом?

— Я жалела раньше; но сегодня я радуюсь. Ведь теперь ты меня никогда не разлюбишь? Ответь мне, мой повелитель!

— Никогда. Никогда!

— Даже если тебя полюбят *мем-лог*, белые женщины одной с тобой крови? Ты ведь знаешь — я всегда смотрю на них, когда они выезжают на вечернюю прогулку: они такие красивые.

— Что из того? Я видел сотни воздушных шаров; но потом я увидел луну — и все воздушные шары померкли. Амира захлопала в ладоши и засмеялась.

— Ты хорошо говоришь, — сказала она и добавила

с царственным видом: — Довольно. Я разрешаю тебе уйти, — если ты хочешь.

Он не двинулся с места. Он сидел на низком красном лакированном ложе, в комнате, где, кроме сине-белой ткани, застилавшей пол, было еще несколько ковриков и целое собрание вышитых подушек и подушечек. У его ног сидела шестнадцатилетняя женщина, в которой для него почти целиком сосредоточилась вселенная. По всем правилам и законам должно было быть как раз наоборот, потому что он был англичанин, а она — дочь бедняка мусульманина: два года назад ее мать, оказавшись без средств к существованию, согласилась продать Амиру, как продала бы ее насильно самому Князю Тьмы, предложи он хорошую цену.

Джон Холден заключил эту сделку с легким сердцем; но получилось так, что девушка, еще не достигнув расцвета, без остатка заполнила его жизнь. Для нее и для сморщенной старухи, ее матери, он снял небольшой стоявший на отшибе дом, из которого открывался вид на обнесенный глинобитной стеной многолюдный город. И когда во дворе у колодца зацвели золотистые ноготки и Амира окончательно обосновалась на новом месте, устроив все сообразно со своими вкусами, а ее мать перестала ворчать и сетовать на то, что кухонное помещение плохо приспособлено для стирки, что базар далеко и вообще вести хозяйство слишком хлопотно, — Холден вдруг понял, что этот дом стал его родным домом. В его холостяцкое бунгало в любой час дня и ночи мог ввалиться кто угодно, и жить там было неуютно. Здесь же он один имел право переступить порог и войти на женскую половину дома: стоило ему пересечь двор, как тяжелые деревянные ворота запирались на крепкий засов, и он оставался безраздельным господином своих владений, где вместе с ним царил только Амира. И вот теперь оказалось, что в это царство готовится вступить некто третий, чье предполагаемое появление поначалу не вызвало у Холдена восторга. Оно нарушало полноту его счастья. Оно грозило сломать мирный, размеренный порядок жизни в доме, который он привык считать своим. Но Амира была вне себя от радости, и не меньше ликовала ее мать. Ведь любовь мужчины, особенно белого, даже в лучшем случае не отличается постоянством, но — так рассуждали обе женщины — беглянку-любовь могут удержать цепкие ручки ребенка.

— И тогда, — повторяла Амира, — тогда он и не взглянет в сторону белых женщин. Я ненавижу их — ненавижу их всех!

— Рано или поздно он вернется к своему племени, — отвечала ей мать, — но, с божьего соизволения, этот час придет еще не скоро.

Холден продолжал сидеть молча; он размышлял о будущем, и мысли эти были невеселы. Двойная жизнь чревата многими осложнениями. Только накануне начальство, проявив завидную расторопность, распорядилось отправить его на две недели в дальний форт — замещать офицера, у которого захворала жена. Передававший этот приказ не нашел ничего лучшего как присовокупить бодрым тоном, что Холден-то счастливец: он не женат, и руки у него не связаны. Сообщить о своем отъезде он и пришел к Амире.

— Это нехорошо, — медленно сказала она, — но и не так плохо. При мне моя мать, и со мной ничего не случится, если только я не умру от радости. Поезжай и делай свою работу, и гони прочь тревожные мысли. Когда наступит мой срок, я надеюсь... нет, я знаю. И тогда — тогда ты вернешься, и возьмешь его на руки, и будешь любить меня вечно. Твой поезд уходит нынче в полночь, ведь так? Иди же и не отягощай из-за меня свое сердце. Но ты не пробудешь там долго? Ты не станешь задерживаться в пути и разговаривать с белыми женщинами, не знающими стыда? Возвращайся скорее, жизнь моя.

Холден прошел через двор, чтобы отвязать застоявшуюся у ворот лошадь, и по дороге отдал седому старику сторожу заполненный телеграфный бланк, наказав ему в случае необходимости тотчас послать телеграмму. Больше он ничего сделать не мог и с ночным почтовым отправился в свое вынужденное изгнание — с таким чувством, будто едет с собственных похорон. Там, на месте, он все дни со страхом ждал телеграммы, а все ночи напролет ему представлялось, что Амира умерла. Вследствие этого свои служебные обязанности он исполнял отнюдь не безупречно и в обращении с коллегами был далеко не ангелом.

Две недели прошли, а из дому не было никаких вестей. Тотчас по возвращении Холден, раздираемый беспокойством, вынужден был на целых два часа застрять на обеде в клубе, где до него как сквозь сон доносились чьи-то голоса: ему наперебой объясняли, что как заме-

ститель он вконец оскандалился, а все его сослуживцы теперь просто души в нем не чают. Потом, уже ночью, он мчался верхом через город, и сердце его готово было выскочить. На стук в ворота никто не отозвался: Холден повернул было лошадь, чтобы та ударом копыт сбила ворота с петель, но тут как раз появился Пир Хан с фонарем и придержал стремя, пока Холден спешился.

— Что слышно? — спросил Холден.

— Не мне сообщать такие новости, покровитель убогих, но... — и старик протянул трясущуюся руку ладонью вверх, как человек, принесший добрую весть и по праву ждущий награды.

Холден бегом пересек двор. Наверху светилось окно. Лошадь, привязанная у ворот, заржала, и как бы в ответ из дома донесся тонкий, жалобный звук, от которого у Холдена вся кровь бросилась в голову. Это был новый голос; но он еще не означал, что Амира жива.

— Кто дома? — крикнул он, стоя на нижней ступеньке узкой каменной лестницы.

В ответ раздался радостный возглас Амиры, а потом послышался голос ее матери, дрожащий от старости и гордости:

— Здесь мы, две женщины — и мужчина, твой сын.

Шагнув через порог, Холден наступил на обнаженный кинжал, который был положен там, чтобы отвратить несчастье; — и клинок переломился под его нетерпеливым каблуком.

— Аллах велик! — почти пропела Амира из полумрака комнаты. — Ты принял его беды на свою голову.

— Прекрасно, но как ты, жизнь моей жизни? Женщина, ответь, как твоя дочь?

— Ребенок родился, и в своей радости она забыла о муках. Ей скоро будет лучше; но говори тихо.

— Ты здесь — и скоро мне будет совсем хорошо, — проговорила Амира. — Мой повелитель, ты так долго не приезжал! Какие подарки ты привез мне? Нет, сегодня я припасла для тебя подарок. Посмотри, моя жизнь, посмотри! Ты никогда не видел такого ребенка. Ах, у меня нет даже сил высвободить руку...

— Лежи спокойно и не разговаривай. Я с тобой, бечари<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Бечари (хинд.) — бедняжка.

— Ты хорошо говоришь: нас связала крепкая веревка, которую уже не разорвать. Тебе довольно света? Посмотри: на его коже нет ни пятнышка! Никогда еще не было на свете такого мальчика. Слава Аллаху! Из него вырастет ученый человек, *пандит*, — нет, королевский солдат. А ты, моя жизнь, ты любишь меня так же, как раньше? Ведь я теперь такая худая и слабая. Ответь мне правду.

— Да. Я люблю тебя так же, как любил всегда, — всем сердцем. Лежи спокойно, мое сокровище, и отдыхай.

— Тогда не уходи. Сядь рядом — вот так. Мать, господину этого дома нужна подушка. Принеси ее. — Новорожденный чуть заметно пошевелился под боком у Амиры. — О! — сказала она, и голос ее дрогнул от нежности. — Этот мальчик — богатырь от рождения. Какой он сильный! Как он толкает меня! Свет не видел ничего подобного! И он наш, наш сын — твой и мой. Положи ему руку на голову; только будь осторожен — ведь он так мал, а мужчины так неуклюжи.

Стараясь не дышать, одними кончиками пальцев Холден прикоснулся к покрытой пухом головке.

— Он уже мусульманин, — сказала Амира. — Пока я лежала ночами без сна, я шептала ему призыв к молитве и повторяла исповедание веры. Чудо, что он родился в пятницу, как и я. Он так мал, но уже умеет хватать пальчиками. Только осторожно, жизнь моя!

Холден дотронулся до беспомощной крохотной ручки — и она еле ощутимо обхватила его палец. Это прикосновение пронзило его до самого сердца. До сих пор все мысли Холдена были поглощены Амирой. Теперь же он начал осознавать, что в мире появился еще кто-то — только трудно было сразу поверить, что это его собственный сын, человек, наделенный душой. И он погрузился в раздумье, сидя рядом с задремавшей Амирой.

— Уходи, сахиб, — сказала шепотом мать Амиры. — Нехорошо, если она увидит тебя, проснувшись. Ей нужен покой.

— Я ухожу, — покорно согласился Холден. — Вот деньги. Позаботься о том, чтобы мой сын ни в чем не нуждался и рос здоровым.

Звон серебра разбудил Амиру.

— Я не наемная кормилица, — произнесла она слабым голосом. — При чем тут деньги? Неужели из-за них

я стану заботиться о нем больше или меньше? Мать, отдай эти деньги назад. Я родила сына моему повелителю.

Тут силы окончательно покинули ее, и, едва успев договорить, она погрузилась в глубокий сон. Холден, успокоенный, неслышно спустился по лестнице и вышел во двор. Его встретил, прищелкивая языком от удовольствия, старик сторож Пир Хан.

— Теперь в этом доме есть все, что нужно, — сказал он и без дальнейших объяснений сунул в руки Холдену старую саблю, оставшуюся еще с тех времен, как Пир Хан служил в королевской полиции. От колодца донеслось козье бляенье.

— Две козы, — сказал Пир Хан, — две самых лучших козы. Я купил их за большие деньги; и раз не будет пира по случаю рождения, все мясо достанется мне. Хорошенько рассчитай удар, сахиб! Сабля не очень надежная. Подожди, пока козы перестанут щипать цветы и поднимут голову.

— Зачем это? — спросил изумленный Холден.

— Как зачем? Надо принести искупительную жертву, иначе новорожденный не будет защищен от злого рока и может умереть. Покровитель убогих знает, какие слова полагается говорить.

Холден и в самом деле заучил когда-то слова жертвенной молитвы, вовсе не думая, что в один прекрасный день ему придется произнести их всерьез. Сжимая в руке эфес сабли, он вдруг снова ощутил слабое пожатие пальчиков ребенка — и страх потерять этого ребенка подступил ему к сердцу.

— Бей! — сказал Пир Хан. — Когда в мир приходит новая жизнь, за нее платят другой жизнью. Смотри, козы подняли голову. Бей с оттяжкой, сахиб!

Плохо понимая, что он делает, Холден дважды рубанул саблей и пробормотал мусульманскую молитву, которая гласит: «Всемогущий! Ты дал мне сына; приношу тебе жизнь за жизнь, кровь за кровь, голову за голову, кость за кость, волос за волос, кожу за кожу!» Привязанная к изгороди лошадь дернулась и всхрапнула, почуяв запах свежей крови, фонтаном брызнувшей на сапоги Холдена.

— Хороший удар! — сказал Пир Хан, обтирая клинок. — В тебе погиб великий воин. Иди с легким сердцем, рожденный небом. Я твой слуга и слуга твоего

сына. Да живет твоя милость тысячу лет... а козье мясо я могу взять себе? — И довольный Пир Хан удалился, разбогатеv на целое месячное жалованье.

Сгущались сумерки; над землей низко стлался туман. Холден вскочил в седло и пустил лошадь рысью. Его переполняла отчаянная радость, вдруг сменявшаяся приливами неясной и, казалось бы, беспредметной нежности. Волны этой нежности охватывали его, подступали к самому горлу, и он ниже нагибался над седлом, прищипывая лошадь. «В жизни не испытывал ничего подобного, — думал он. — Заеду, пожалуй, в клуб немного рассеяться».

Ярко освещенная бильярдная была полна народу: как раз начиналась игра в пул. От света и шумного общества голова у Холдена пошла кругом, и он во все горло запел:

Как был я в Балтиморе, красотку повстречал!

— В самом деле? — отозвался из угла секретарь клуба. — А не сказала тебе случайно эта красотка, что у тебя с сапог течет? Боже правый, да они в крови!

— Ерунда! — сказал Холден, снимая с подставки свой кий. — Разрешите присоединиться? Это не кровь, а роса. Я ехал по высокой траве. Черт возьми! Сапоги и верно ни на что не похожи!

Будет дочка — замуж кто-нибудь возьмет;  
Будет сын — служить пойдет в королевский флот!  
В ки-ителе си-инем — чем не молодец! —  
Станет капита-аном...

— Желтый по синему — зеленому играть, — монотонно выкликнул маркер.

— «Станет капита-аном...» Маркер, у меня зеленое? «Станет капита-аном...» — а! скверный удар! — «...как был его отец!»

— Непонятно, с чего это ты так развеселился, — ядовито заметил некий ревностный чиновник из молодых. — Нельзя сказать, чтобы начальство было в восторге от твоей работы на месте Сандерса.

— Выходит, надо ждать нахлобучки сверху? — сказал Холден с рассеянной улыбкой. — Ничего, переживем как-нибудь.

Разговор завертелся вокруг неисчерпаемой темы — о служебных обязанностях каждого и о том, как они

исполняются; и Холден понемногу успокоился. Он пробыл в клубе допоздна и с неохотой возвратился в свое пустое и темное холостяцкое бунгало, где его встретил слуга, по-видимому, полностью осведомленный о делах хозяина. Большую часть ночи Холден провел без сна, а когда под утро забылся, ему пригрезилось что-то приятное.

## 2

— Сколько ему уже?

— Слава Аллаху! Только мужчина способен задать такой вопрос! Ему скоро будет шесть недель, жизнь моя; и сегодня вечером мы с тобой поднимемся на крышу, чтобы сосчитать его звезды. Так полагается. Он родился в пятницу, под знаком Солнца, и мне предсказали, что он переживет нас обоих и будет богат. Можем ли мы пожелать лучшего, любимый?

— Что может быть лучше! Поднимемся на крышу, ты считаешь звезды — только сегодня их немного, потому что небо в тучах.

— Зимние дожди запоздали; нынче они прольются не в срок. Пойдем, пока не скрылись все звезды. Я надела свои лучшие драгоценности.

— Самую лучшую ты забыла.

— Да! Наше сокровище. Мы его тоже возьмем. Он еще никогда не видел неба.

Амира стала подыматься по узкой лестнице, ведущей на плоскую крышу дома. Правой рукой она прижимала к груди ребенка, завернутого в пышное покрывало с серебряной каймой; он лежал совершенно спокойно и глядел из-под чепчика широко раскрытыми глазами. Амира и впрямь нарядилась по-праздничному. Нос она украсила алмазной сережкой, которая подчеркивает изящный вырез ноздрей и в этом смысле выполняет роль европейской мушки, оттеняющей белизну кожи; на лбу у нее сверкало сложное золотое украшение, инкрустированное камнями местной обработки — изумрудами и плавленными рубинами; ее шею мягко охватывал массивный обруч из кованого золота, а на розовых щиколотках позвякивали серебряные цепочки. Как подобает мусульманке, она была одета в платье из муслина цвета зеленой яшмы; обе руки, от плеча до локтя и от локтя до кисти, были

унизаны серебряными браслетами, перевитыми шелковинками; на запястьях, как бы оттеняя их тонкость, красовались хрупкие браслеты из дутого стекла — и на фоне всех этих восточных украшений бросались в глаза тяжелые золотые браслеты совсем иного толка, которые Амира особенно любила, потому что они были подарены Холденом и вдобавок защелкивались хитрым европейским замочком.

Они уселись на крыше, у низкого белого парапета; далеко внизу поблескивали огни ночного города.

— Там есть счастливые люди, — сказала Амира. — Но я не думаю, что они так же счастливы, как мы. И белые женщины, наверно, не так счастливы. Как ты думаешь?

— Я знаю, что они не могут быть так счастливы.

— Откуда ты знаешь?

— Они не кормят сами своих детей — они отдают их кормилицам.

— В жизни я такого не видела, — со вздохом сказала Амира, — и не желаю видеть. Айи! — она прислонилась головой к плечу Холдена. — Я насчитала сорок звезд, и я устала. Погляди на него, моя любовь, он тоже считает.

Младенец круглыми глазенками смотрел на темное небо. Амира передала его Холдену, и сын спокойно лежал у него на руках.

— Какое имя мы ему дадим? — спросила она. — Посмотри! На него нельзя насмотреться вдоволь! У него твои глаза. Но рот...

— Твой, моя радость. Кто знает это лучше меня?

— Такой слабый рот, такой маленький! Но эти губки держат мое сердце. Отдай мне нашего мальчика, я не могу без него так долго.

— Я подержу его еще немножко. Он ведь не плачет.

— А если заплачет, сразу отдашь? Ах, ты так похож на всех мужчин! Мне он только дороже, если плачет. Но скажи мне, жизнь моя, как мы его назовем?

Крохотное тельце прижималось к самому сердцу Холдена — нежное и такое беспомощное. Холден боялся дышать: ему казалось, что любое неосторожное движение может сломать эти хрупкие косточки. Дремавший в клетке зеленый попугай, которого во многих индийских семьях почитают как хранителя домашнего очага,

вдруг заерзал на своей жердочке и спросонья захлопал крыльями.

— Вот и ответ, — промолвил Холден. — Миан Митту сказал свое слово. Назовем нашего сына в его честь. Когда он подрастет, он будет проворен в движениях и ловок на язык. Ведь на вашем... ведь на языке мусульман Миан Митту и значит «попугай»?

— Зачем ты отделяешь меня от себя? — обиделась Амира. — Пусть его имя будет похоже на английское — немного, не совсем, потому что он и мой сын.

— Тогда назовем его Тота: это похоже на английское имя.

— Хорошо! Тота — так тоже называют попугая. Прости меня, мой повелитель, что я осмелилась тебе противоречить, но, право же, он слишком мал для такого тяжелого имени, как Миан Митту... Пусть он будет Тота — наш маленький Тота. Ты слышишь, малыш? Тебя зовут Тота!

Она дотронулась до щеки ребенка, и тот, проснувшись, запищал; тогда Амира взяла его на руки и стала убаюкивать чудодейственной песенкой, в которой были такие слова:

Злая ворона, не каркай тут и не буди нашу детку.  
В джунглях на ветках сливы растут — целый мешок  
за монетку,  
Целый мешок за монетку дают, целый мешок за монетку.

Окончательно уверившись, что сливы стоят ровно монетку и в ближайшее время не подорожают, Тота прижался к матери и уснул. Во дворе у колодца пара гладких белых быков терпеливо жевала свою вечернюю жвачку; Пир Хан, с неизменной саблей на коленях, примостился рядом с лошадю Холдена и сонно посасывал длиннейший кальян, другой конец которого, погруженный в чашечку с водой, издавал громкое бульканье, похожее на кваканье лягушек в пруду. Мать Амиры пряла на нижней веранде. Деревянные ворота были заперты на засов. Перекрывая отдаленный гул города, наверх донеслась музыка свадебной процессии; промелькнула стайка летучих лисиц, заслонив на мгновенье диск луны, стоявшей над самым горизонтом.

— Я молилась, — сказала Амира, — я молилась и просила двух милостей. Первая — чтобы мне позволено было умереть вместо тебя, если небесам будет угодна твоя

смерть; и вторая — чтобы мне позволено было умереть вместо ребенка. Я молилась пророку и Биби Мириам. Как ты думаешь, услышат они меня?

— Малейший звук, если он слетит с твоих губ, будет услышан всеми.

— Я ждала правдивых речей, а ты говоришь мне льстивые речи. Услышится ли моя молитва?

— Как знать? Милосердие бога бесконечно.

— Так ли это? Не знаю. Послушай! Если умру я, если умрет мой сын, что будет с тобой? Ты переживешь нас — и вернешься к белым женщинам, не знающим стыда, потому что голос крови силен.

— Не всегда.

— Верно: женщина может остаться глухой к нему, но мужчина — нет. В этой жизни, рано или поздно, ты вернешься к своему племени. С этим я еще могла бы примириться, потому что меня тогда уже не будет в живых. Но я печалюсь о том, что и после смерти ты попадешь в чужое для меня место — в чужой рай.

— Ты уверена, что в рай?

— А куда же еще? Кто захочет причинить тебе зло? Но мы оба — мой сын и я — будем далеки от тебя и не сможем прийти к тебе, и ты не сможешь прийти к нам. В прежние дни, когда у меня не было сына, я об этом не думала; но теперь такие мысли не оставляют меня. Об этом тяжело говорить.

— Будь что будет. Мы не знаем нашего завтра, но у нас есть наше сегодня и наша любовь. Ведь мы счастливы?

— Так счастливы, что хорошо было бы заручиться небесным покровительством. Пусть твоя Биби Мириам услышит меня: ведь она тоже женщина. А вдруг она мне позавидует?.. Негоже мужчинам боготворить женщину!

Эта непосредственная вспышка ревности рассмешила Холдена.

— Вот как? Почему же ты не запретила мне боготворить *тебя*?

— Ты — боготворишь *меня*?! Мой повелитель, ты щедр на сладкие слова, но я ведь знаю, что я только твоя служанка, твоя рабыня, прах у ног твоих. И я счастлива этим. Смотри!

Холден не успел подхватить ее — она наклонилась и прикоснулась к его ногам; потом, смущенно улыбаясь,

выпрямилась и крепче прижала ребенка к груди. В ее голосе внезапно прозвучал гнев:

— Это правда, что белые женщины, не знающие стыда, живут три моих жизни? Это правда, что они выходят замуж уже старухами?

— Они выходят замуж, как и все остальные — когда становятся взрослыми женщинами.

— Я понимаю, но говорят, что они могут выйти замуж в двадцать пять лет. Это правда?

— Правда.

— Аллах милосердный! В двадцать пять лет! Кто согласится по доброй воле взять в жены даже восемнадцатилетнюю? Ведь женщина стареет с каждым часом. Я в двадцать пять буду старухой, а люди говорят, что белые женщины остаются молодыми всю жизнь. Как я их ненавижу!

— Какое нам до них дело?

— Я не умею сказать. Я только знаю, что, может быть, сейчас живет на земле женщина на десять лет старше меня, и еще через десять лет она придет и украдет у меня твою любовь — ведь я буду тогда седой старухой, годной только в няньки сыну твоего сына. Это жестоко и несправедливо. Пусть бы они тоже умирали!

— Думай на здоровье, что тебе много лет; я-то знаю, что ты еще ребенок, и поэтому я сейчас возьму тебя на руки и снесу вниз!

— Тота! Осторожно, мой повелитель, береги Тоту! Вот ты и вправду неразумен, как малое дитя!

Холден подхватил Амиру на руки и понес ее, смеющуюся, вниз по лестнице; а Тота, которого мать предусмотрительно подняла повыше, взирал на мир безмятежным взглядом и улыбался ангельской улыбкой.

Он рос спокойным ребенком, и едва Холден успел свыкнуться с его присутствием, этот золотисто-смуглый малыш превратился в домашнего божка и всевластного деспота. Это было время полного счастья для Холдена и Амиры — счастья, спрятанного от всех, надежно укрытого в доме за деревянными воротами, которые неусыпно охранял Пир Хан. Днем Холден был занят работой и механически исполнял свои обязанности, от души сочувствуя тем, кого судьба обделила блаженством; он стал выказывать необыкновенный интерес к детям, и это неожиданное чадолюбие забавляло многих офицерских жен во время праздничных сборищ. С наступлением сумерек

он возвращался к Амире, которая спешила рассказать ему об удивительных подвигах Тота: как он вдруг захлопал в ладоши и совершенно сознательно, с явно выраженным намерением пошевелил пальчиками — а это безусловно чудо; как недавно он сам выполз на пол из своей низенькой кровати и продержался на ножках ровно столько времени, сколько понадобилось на три дыхания.

— На три долгих дыхания, — добавила Амира, — потому что сердце у меня остановилось от радости.

Вскоре Тота включил в сферу своего влияния животных — белых быков, качавших воду из колодца, серых белок, мангуста, жившего в норке во дворе, и в особенности попугая Миана Митту, которого он безжалостно дергал за хвост. Однажды Тота так разошелся, что попугай поднял отчаянный крик, на который прибежали Амира и Холден.

— Ах, негодный! Тебе некуда девать силу! Ведь это брат твой, ты носишь его имя! *Тоба, тоба!* Стыдно, стыдно! — укоряла ребенка Амира. — Но я знаю способ сделать моего сына мудрым, как Сулейман и Афлатун. Смотри! — Она достала из вышитого мешочка горсть миндаля. — Сейчас мы отсчитаем ровно семь. Во имя Аллаха!

Она водворила сердитого, взъерошенного Миана Митту в клетку и, присев рядом с ребенком, разгрызла орех и очистила ядрышко, уступавшее белизною ее зубам.

— Не смейся, моя жизнь, это проверенный способ. Смотри: одну половину я даю попугаю, а другую — нашему сыну. — Миан Митту осторожно взял в клюв свою долю, а оставшуюся половинку Амира с поцелуем вложила в ротик ребенку, и Тота стал сосредоточенно жевать ее, широко раскрыв глаза. — Так я буду делать семь дней подряд, и мальчик вырастет мудрецом и будет искусным оратором. Ну-ка, Тота, скажи, кем ты будешь, когда станешь мужчиной, а твоя мать поседет?

Тота подобрал свои толстые ножки, все в аппетитных складочках, и не пожелал отвечать. Он уже бойко ползал, но явно не собирался тратить весну своей жизни на праздные речи. Его идеал пока заключался в том, чтобы подергать за хвост попугая.

Когда Тота вырос уже настолько, что получил почетное право носить серебряный пояс (этот пояс да еще серебряный шейный амулет с изображением магического

квадрата составлял почти весь его наряд), он совершил рискованную вылазку во двор, подошел вперевалочку к Пир Хану и предложил ему все свое богатство за разрешение прокатиться на лошади Холдена: он успел ускользнуть из-под надзора бабки, которая торговалась на веранде с бродячими разносчиками. Пир Хан проследил за ним от умиления, возложил пухлые ножки мальчика на свою седую голову в знак верности юному господину, потом подхватил смельчака и отнес его к матери, божась и клянясь, что Тота станет предводителем народа еще прежде, чем у него вырастет борода.

Однажды жарким вечером, сидя вместе с отцом и матерью на крыше и наблюдая нескончаемые бои воздушных змеев, которых запускали мальчишки из города, Тота потребовал, чтобы и у него был змей и чтобы Пир Хан его запустил, — сам он еще боялся иметь дело с предметами превосходящих размеров. Когда Холден, рассмеявшись, назвал его ловкачом, Тота поднялся на ноги и медленно, с достоинством ответил, защищая свою новообретенную индивидуальность:

— *Хам кач нахин хай. Хам адми хай* (я не ловкач, я мужчина).

Этот протест заставил Холдена прикусить язык и серьезно задуматься о будущем Тоты. Но судьба подумала за него. Жизнь этого ребенка, ставшая таким средоточием счастья, не могла длиться долго. И она была отнята, как отнимается многое в Индии, — внезапно и без предупреждения. Маленький хозяин, как называл его Пир Хан, вдруг загрустил; он, не знавший, что значит боль, стал жертвой боли. Амира, обезумев от страха, всю ночь не смыкала глаз у его постели, а на утро следующего дня его жизнь унесла лихорадка — сезонная осенняя лихорадка. Поверить в его смерть было почти невозможно, и поначалу ни Амира, ни Холден не могли осознать, что лежащее перед ними неподвижное тельце — это все, что осталось от Тоты. Потом Амира стала биться головой об стену и бросилась бы в колодец во дворе, если бы Холден не удержал ее силой.

Только одно утешение было даровано Холдену. Когда он, уже днем, приехал к себе на службу, его ожидала там необычайно обильная почта, которая потребовала срочной разборки и на которой сосредоточилось все его внимание. Но он не способен был оценить эту милость богов.

Удар пули в первый момент ощущается как легкий толчок, и только секунд через десять — пятнадцать уязвленная плоть посылает душе сигнал бедствия. Ощущение боли пришло к Холдену так же постепенно, как перед тем — сознание счастья, и теперь он испытывал такую же настоятельную потребность сохранить тайну, ничем не выдать себя. Вначале было только чувство потери; он понимал, что нужно как-то утешить Амиру, которая часами сидела без движения, уронив голову на колени, и только вздрагивала, когда попугай на крыше принимался звать: «Тота! Тота! Тота!» Потом все его существование, все повседневное бытие ополчилось на него, как злейший враг. Ему казалось чудовищной несправедливостью, что по вечерам в саду, где играл военный оркестр, шумят и бегают чьи-то дети, а его собственный ребенок лежит в могиле. Прикосновение детской руки отзывалось в нем нечеловеческой болью, а рассказы восторженных отцов о последних подвигах их отпрысков как ножом резали по сердцу. Своим горем он ни с кем не мог поделиться. Ему негде было искать помощи, сочувствия, утешения. И мучительные дни завершались ежевечерним адом, когда Амира терзала его и себя бесконечными упреками и сомнениями, которые только и остаются на долю родителей, лишившихся ребенка: а вдруг они сами не уберегли его? а вдруг, прояви они чуть больше осторожности — самую чуточку! — ребенок остался бы жив?

— Может быть, — говорила Амира, — я не заботилась о нем так, как нужно. Скажи мне! Я помню один день, когда он долго играл на крыше, и было такое жаркое солнце, а я оставила его одного и пошла — несчастная! — пошла заплетать волосы! Может быть, в тот день солнце нажгло ему лихорадку. Если бы я увела его раньше, он был бы жив. Жизнь моя, скажи, скажи мне, что я не виновата! Ты ведь знаешь — я любила его так же, как люблю тебя. Скажи, что на мне нет вины, иначе я умру... умру!

— Клянусь богом, ты не виновата... ни в чем не виновата. Так было предначертано, и не в наших силах изменить судьбу. Что свершилось, свершилось. Не думай об этом, любимая.

— В нем было все мое сердце. Как могу я не думать о нем, когда каждую ночь моя рука обнимает пустоту? О, горе, горе! О Тота, вернись ко мне — вернись, пусть мы все будем вместе, как прежде!

— Тише, тише! Успокойся — ради себя самой, ради меня, если ты меня любишь.

— Когда ты так говоришь, я вижу, что тебе все равно, — разве это твое горе? У белых мужчин сердце из камня и душа из железа. Лучше бы я нашла себе мужа из собственного племени! Пусть бы он бил меня, лишь бы никогда не есть хлеб чужака!

— Я — чужой для тебя? для тебя, матери моего сына?

— А как же иначе, сахиб?.. О, прости, прости меня! Смерть ввергла меня в безумие. Ты жизнь моего сердца, свет моих очей, дыхание моей жизни: как могла я, несчастная, отвернуться от тебя хотя бы на мгновение! Если ты покинешь меня, у кого мне искать защиты? Не гневайся. Это говорила моя боль, а не я, твоя рабыня.

— Я знаю, знаю. Нас было трое, теперь нас двое. Тем важнее, чтобы мы были одно.

Как обычно, они сидели на крыше. Стояла ранняя весна; ночь была теплая, и на горизонте, под прерывистый аккомпанемент дальнего грома, плясали зарницы. Амира крепче прижалась к Холдену.

— Слушай, как вздыхает иссохшая земля — словно корова, ждущая дождя. Мне страшно. Когда мы считали звезды, все было совсем иначе. Но ведь ты любишь меня так же, как раньше? Ты не стал любить меня меньше теперь, когда нас не связывают прежние узы? Ответь мне!

— Я люблю тебя еще больше, потому что мы вместе испили чашу скорби, и наше общее горе выковало новые узы; ты сама это знаешь.

— Да, я знаю, — прошептала Амира. — Но я рада, что ты говоришь это, жизнь моя, ты, такой сильный и добрый. Я больше не буду ребенком; я буду взрослой женщиной, я буду тебе помогать. Послушай! Дай мне ситар, я тебе спою.

Она взяла легкий ситар, инкрустированный серебром, и запела песню о великом герое — радже Расалу. Но рука, перебиравшая струны, дрогнула, мелодия вдруг прервалась и где-то на низких нотах перешла в бесхитростную колыбельную о злой вороне:

В джунглях на ветках сливы растут — целый мешок

за монетку.

Целый мешок за монетку дают...

Полились слезы, и последовала очередная бессильная вспышка гнева против судьбы; потом Амира уснула, и правая рука ее во сне была откинута в сторону, словно оберегая кого-то, кого больше не было рядом.

После этой ночи для Холдена наступило некоторое облегчение. Неизбывная боль потери заставила его с головой уйти в работу, полностью занимавшую его мысли по девять-десять часов в сутки. Амира сидела дома одна и продолжала горевать, но и она, как свойственно женщинам, чуть-чуть повеселела, когда увидела, что Холден понемногу приходит в себя. Они снова узнали вкус счастья, но теперь вели себя осторожнее.

— Тота умер оттого, что мы его любили. Бог отомстил нам из ревности, — сказала Амира. — А теперь я повешила перед окном черный глиняный кувшин, чтобы отвести дурной глаз. Помни, мы не должны больше радоваться вслух; нужно тихо идти своим путем под небесами, чтобы бог не заметил нас. Верно я говорю, нелюбимый?

Она поспешила добавить это простодушное «не» в доказательство серьезности своих намерений, — но поцелую, который последовал за новым крещением, боги могли бы позавидовать. И все же начиная с этого дня они оба не уставали повторять: «Все это ничего, это ничего не значит», надеясь, что небесные власти услышат их.

Но небесным властям было не до того. Четыре года подряд они посылали тридцатимиллионному населению небывалые урожаи: люди ели досыта, и рождаемость катастрофически росла. Из округов поступали сведения о том, что плотность чисто земледельческого населения колеблется в пределах от девятисот до двух тысяч человек на квадратную милю территории, отягощенной плодами земными; и некий член парламента от Нижнего Тутинга, как раз совершавший турне по Индии — при полном параде, в цилиндре и во фраке, — кричал на всех углах о благотворных последствиях британского владычества и в качестве единственного еще возможного усовершенствования предлагал введение — с поправками на местные условия — самой передовой в мире избирательной системы, предполагающей всеобщее право на голосование. Он изрядно намозолил глаза всяким должност-

ным лицам, принимавшим его с многострадальными улыбками; когда же он в изысканных выражениях начинал восторгаться пышно цветущим местным деревом — даком, — улыбки становились особенно страдальческими: все знали, что эти кроваво-красные цветы распустились не ко времени и не к добру.

Однажды окружной комиссар Кот-Кумхарсена, заехав на денек в местный клуб, рассказал историю, которой он явно не придавал значения; но Холден, услышав конец его рассказа, похолодел.

— Слава богу, скоро мы от него избавимся. Видели бы вы его лицо! Честное слово, с него станется сделать запрос в палате — так он был поражен! Ехал на пароходе с одним пассажиром — сидел с ним рядом за столом, — и вдруг тот заболевает холерой и через восемнадцать часов отдает концы. Вы вот смеетесь, а депутат от Нижнего Тутинга был очень недоволен. По правде говоря, он и перетрусил порядком, так что теперь, просветившись, он в Индии не задержится.

— Неплохо было бы ему самому подцепить какую-нибудь хворобу. По крайней мере будет урок таким, как он: сиди дома и не суй нос куда не следует. А что это за слух насчет холеры? Для эпидемий вроде еще рано, — сказал один из присутствующих, недавно разорившийся на открытых соляных разработках.

— Сам не знаю, в чем дело, — с расстановкой ответил комиссар. — У нас сейчас саранча. На северной границе зарегистрированы отдельные случаи холеры — то есть это мы для приличия так говорим, что отдельные. В пяти округах погиб весенний урожай, а дождей пока что не предвидится. На дворе март месяц. Я, конечно, не собираюсь сеять панику, но мне сдается, что кормилица-природа нынче летом намерена взять большой красный карандаш и навести основательную ревизию в своей бухгалтерии.

— А я-то как раз собирался в отпуск! — сказал кто-то на другом конце комнаты.

— На отпуска в этом году особенно рассчитывать не придется, а вот повышения по службе наверняка будут. Я, между прочим, хочу похлопотать, чтобы правительство внесло канал, который мы уже сто лет роем, в список неотложных работ по борьбе с голодом. Нет худа без добра: может, удастся в конце концов дорыть этот несчастный канал.

— Значит, предстоит обычная программа? — спросил Холден. — Голод, лихорадка и холера?

— Ни в коем случае! Только недород на местах и эпидемические вспышки сезонных болезней. Именно это вы прочитаете в официальных сообщениях — если доживете до будущего года. Да вам-то что горевать? Семьи у вас нет, из города вывозить никого не надо, ни забот, ни хлопот. Вот остальным придется отправлять жен подальше в горы.

— Мне думается, что вы придаете слишком большое значение базарным толкам, — возразил молоденький чиновник секретариата. — Вот я, например, заметил...

— Замечай, замечай на здоровье, сынок, — отозвался окружной комиссар, — еще и не то скоро заметишь. А пока разреши *мне* заметить кое-что. — Тут он отвел чиновника в сторону и принялся ему втолковывать что-то насчет своего любимого детища — оросительного канала.

Холден отправился в свое холостяцкое бунгало, думая о том, что и он не один на свете; его охватил самый благородный из известных людям видов страха — страх за судьбу другого.

Прошло два месяца — и, как предрекал комиссар, Природа взялась за красный карандаш, чтобы навести ревизию. Не успела закончиться весенняя жатва, как по стране пронесся первый вопль голодающих; правительство, постановившее, что ни один человек не имеет права умереть с голоду, отправило в несколько округов пшеницу. Потом со всех сторон на Индию двинулась холера. Она поразила полумиллионную толпу паломников, пришедших поклониться местной святыне. Многие умерли прямо у ног своего божества; другие обратились в бегство и рассеялись по стране, распространяя смертельную болезнь. Холера брала приступом укрепленные города и уносила до двухсот жизней в сутки. В панике люди осаждали поезда, цеплялись за подножки, ехали на крышах вагонов, — но холера сопровождала их и в пути: на каждой станции из вагонов выносили мертвых и умирающих. Люди падали прямо на дороге, и лошади англичан пугались и вставали на дыбы, завидев трупы, черневшие в траве у обочин. Дождей все не было, и земля превратилась в железо, лишив человека возможности зарыться в нее и там найти последнее убежище от смерти. Офицеры и чиновники отправили свои семьи в горы и оставались на посту, заполняя согласно предписанию брешу,

возникавшие в боевых рядах. Холден, терзаемый страхом потерять самое драгоценное, что было у него на земле, выбивался из сил, уговаривая Амиру уехать вместе с матерью в Гималаи.

— Зачем мне уезжать? — спросила она однажды вечером, когда они сидели на крыше.

— Сюда идет болезнь, люди умирают; все белые женщины давно уехали.

— Все до одной?

— Конечно, все; ну, может быть, осталась какая-нибудь старая сумасбродка, которая нарочно рискует жизнью, чтобы досадить мужу.

— Не говори так: та, что не уехала, — сестра мне, и ты не должен называть ее плохими именами. Пусть и я буду сумасбродка: я тоже останусь. Я рада, что в городе нет больше белых женщин, не знающих стыда.

— С женщиной я говорю или с несмышленным младенцем? Если ты согласишься уехать, я отправлю тебя с почетом, как царскую дочь. Подумай, дитя! Ты поедешь в красной лакированной повозке, запряженной быками, с пологом, с красными занавесками, с медными павлинами на дышле. Я дам тебе для охраны двух ординарцев, и ты...

— Довольно! Ты сам несмышленный младенец, если думаешь о таких вещах. К чему мне все эти побрякушки? Ему это было бы интересно — он гладил бы быков и забавлялся попонами. Может быть, ради него — ты приучил меня к английским обычаям! — я бы уехала. Но теперь — не хочу. Пусть бегут белые женщины.

— Это мужья приказали им уехать, любимая.

— Прекрасно! Но разве ты мой законный супруг, чтобы отдавать мне приказы? Ты не муж мне; я просто родила тебе сына. Ты мне не муж — ты вся моя жизнь. Как же я могу уехать, когда я сразу узнаю, если с тобой приключится беда? Пусть беда будет не больше ногтя на моем мизинце — а правда, он совсем маленький? — я все равно ее почувствую, будь я в самом раю. Может быть, летом ты заболеешь, и тебе будет грозить смерть, *джани*<sup>1</sup>, — и ухаживать за тобой позовут белую женщину, и она украдет у меня последние крохи твоей любви!

— Но любовь не рождается за одну минуту, и ее место не у смертного одра.

---

<sup>1</sup> Д ж а н и (хинд.) — жизнь моя.

— Что ты знаешь о любви, каменное сердце! Хорошо, ей достанется не любовь, но слова твоей благодарности — а этого, клянусь Аллахом и пророком его и клянусь Биби Мириам, матерью твоего пророка, этого я не перенесу! Мой повелитель, любовь моя, я не хочу больше глупых разговоров; не отсылай меня. Где ты, там и я. Вот и все. — Она обняла его за шею и ладонью зажала ему рот.

Никакое счастье не может сравниться с тем, которое люди вырывают у судьбы, зная, что над ними уже занесен ее карающий меч. Они сидели обнявшись, смеялись и открыто называли друг друга самыми нежными именами, не страшась больше гнева богов. Город под ними корчился в предсмертных судорогах. На улицах жгли серу; в индуистских храмах пронзительно выли гигантские раковины, потому что боги в эти дни стали туговаты на ухо. В самой большой мусульманской мечети днем и ночью шла служба, и со всех минаретов почти непрерывно раздавался призыв к молитве. Из домов доносился плач по умершим; однажды они услышали отчаянный вопль матери, потерявшей ребенка. Когда занялся бледный рассвет, они увидели, как через городские ворота выносят мертвых; за каждым носилками шла кучка родственников. И, глядя на все это, они еще крепче обнялись и содрогнулись, охваченные страхом.

Ревизия была проведена основательно и беспощадно. Страна изнемогала; требовалась передышка для того, чтобы ее снова затопил поток жизни, такой дешевой в Индии. Дети, родившиеся от незрелых отцов и малолетних матерей, почти не сопротивлялись болезни. Парализованные страхом люди способны были только сидеть и ждать, пока Природа соблаговолит вложить меч в ножны, — а это в лучшем случае могло произойти не раньше ноября. Среди англичан тоже были потери, но образовавшиеся пустоты незамедлительно заполнялись. Помощь голодающим, строительство холерных барачков, раздача лекарств, попытки осуществить хоть какие-то санитарные мероприятия — все это шло своим чередом.

Холден получил приказ держаться наготове, чтобы в любой момент заменить того, кто следующим выйдет из строя. Он не видел Амиру по двенадцать часов в сутки, а между тем за три часа она могла умереть. Почему-то он был уверен в ее неминуемой смерти — уверен до такой степени, что когда он однажды поднял голову от

своего рабочего стола и увидел в дверях запыхавшегося Пир Хана, он громко рассмеялся и спросил: — Уже?

— Когда в ночи раздается крик и дух спирается в горле, какой талисман сможет уберечь от беды? Скорее, рожденный небом! В твой дом пришла черная холера!

Холден погнал лошадь галопом. Небо было затянуто тучами — близились долгожданные дожди; стояла невыносимая духота. Во дворе ему навстречу выбежала мать Амиры, причитая:

— Она умирает. Она не хочет жить. Она уже совсем как мертвая. Что мне делать, сахиб?

Амира лежала в той самой комнате, где родился Тота. Когда Холден вошел, она не шевельнулась: человеческая душа, готовясь отойти, ищет одиночества и ускользает в туманную область, пограничную между жизнью и смертью, куда нет доступа живым. Холера действует бесшумно и не вдается в объяснения. Амира на глазах уходила из жизни, как будто ангел смерти уже наложил на нее свою руку. Она прерывисто дышала, терзаемая то ли болью, то ли страхом; но и глаза ее, и губы были безучастны к поцелуям Холдена. Ни слова, ни действия уже не имели смысла. Оставалось только мучительное ожидание. Первые капли дождя простучали по крыше, и из города, иссушенного зноем, донеслись крики радости.

Отходившая душа вернулась на мгновение; губы Амиры зашевелились. Холден наклонился ниже, пытаясь уловить ее шепот.

— Не сохраняй от меня ничего, — сказала Амира. — Даже пряди волос. Она потом заставит тебя сжечь их. Я почувствую этот огонь в могиле. Ниже! Нагнись пониже! Помни только, что я любила тебя и родила тебе сына. Ты скоро женишься на белой женщине — пусть; но первую радость отцовства ты уже испытал — ее больше не будет. Вспоминай обо мне, когда родится твой новый сын — тот, которого ты перед всеми людьми назовешь своим именем. Да падут его беды на мою голову... Я клянусь... клянусь, — ее губы с трудом выдавливали последние слова, — нет бога, кроме... тебя, любимый!

И она умерла. Холден продолжал сидеть не двигаясь; в голове его была пустота. Наконец мать Амиры отдернула полог:

— Она умерла, сахиб?

— Она умерла.

— Тогда я оплачу ее, а потом обойду дом и соберу все, что в нем есть. Ведь все это будет теперь мое? Сахиб не будет больше жить в этом доме? Вещей здесь так мало, совсем мало, сахиб, а я старая женщина. Я люблю спать на мягком.

— Ради господ бога, помолчи. Уходи отсюда; плачь там, где тебя не будет слышно.

— Сахиб, через четыре часа ее придут хоронить.

— Я знаю ваши обычаи. Я уйду раньше. Остальное уже твое дело. Смотри, чтобы кровать, на которой... на которой она лежит...

— Ага! Эта прекрасная лакированная кровать! Я давно хотела...

— Чтобы кровать осталась там, где она стоит. Пусть никто до нее не дотрагивается. Все остальное в этом доме — твое. Найми повозку, погрузи все и уезжай; к рассвету завтрашнего дня в этом доме не должно быть ни одной вещи, кроме той, которую я велел сохранить.

— Я старая женщина, сахиб. Мертвых полагается оплакивать много дней. Начались дожди. Куда я пойду?

— Что мне до этого? Я все сказал. За домашнюю утварь ты выручишь тысячу рупий; вечером мой ординарец принесет тебе еще сотню.

— Это очень мало, сахиб. Подумай, сколько мне придется заплатить возчику!

— Если не уедешь немедленно, ничего не получишь. Я не хочу тебя видеть, женщина! Оставь меня наедине с мертвой!

Старуха, шаркая, поплелась вниз по лестнице: она так спешила прибрать к рукам все до последней нитки, что позабыла оплакать дочь. Холден остался сидеть у постели Амиры. По крыше барабанили потоки ливня, и этот шум не давал ему собраться с мыслями. Потом в комнате появились четыре привидения, с головы до ног закутанные в покрывала, с которых капала вода: они пришли обмывать покойницу и с порога молча уставились на Холдена. Он вышел и спустился во двор отвязать лошадь. Всего несколько часов назад, когда он приехал сюда, стояла томительная духота, а земля была покрыта толстым слоем пыли, в которой нога увязала по щиколотку. Теперь двор был затоплен водой, и в нем, словно в пруду, кишели лягушки. В подворотне бурлил мутно-желтый поток, и струи дождя под внезапными порывами ветра свинцовой дробью обрушивались на глинобитные стены.

В сторожке у ворот дрожал от холода Пир Хан; лошадь беспокойно переступала ногами в воде.

— Я знаю решение сахиба,— сказал Пир Хан. — Сахиб распорядился хорошо. Теперь в этом доме нет ничего. Я тоже уйду отсюда. Пусть мое сморщенное лицо никому не напоминает о том, что было. Кровать я могу привезти утром в твой другой дом; но помни, сахиб, это будет как нож в свежей ране. Я пойду молиться к святым местам, и денег я не возьму. Ты был добр ко мне; в твоём доме я ел досыта. Твое горе — мое горе. В последний раз я держу тебе стремя.

Он прикоснулся обеими руками к сапогу Холдена, прощаясь. Лошадь вынеслась за ворота; по обеим сторонам дороги скрипел и раскачивался бамбук, в зарослях весело квакали лягушки. Дождь хлестал в лицо Холдену; заслоняя глаза ладонью, он бормотал:

— Как жестоко! Как бесчеловечно!

На его холостяцкой квартире уже все знали. Он прочел это в глазах своего слуги Ахмед Хана, который принес ужин и в первый и последний раз в жизни положил руку на плечо господина со словами:

— Ешь, сахиб, ешь. Еда помогает забыть печаль. Со мной это тоже бывало. Тучи придут и уйдут, сахиб; тучи придут и уйдут. Ешь, я принес тебе хорошую еду.

Но Холден не мог ни есть, ни спать. Дождь этой ночью шел не переставая (по официальным сводкам, осадков выпало на восемь дюймов) и смыл с земли всю накопившуюся грязь. Рушились стены домов; приходили в негодность дороги; вода ворвалась на мусульманское кладбище и размыла неглубокие могилы. Дождь шел и весь следующий день, и Холден продолжал сидеть в четырех стенах, поглощенный своим горем. Утром третьего дня ему принесли телеграмму, состоявшую всего из нескольких слов: «Рикетс при смерти Миндони замены немедленно прибыть Холдену». И он решил, что до отъезда должен еще раз взглянуть на дом, который называл своим.

Ветер разогнал тучи, и от мокрой земли поднимался нар. Добравшись до дома, Холден увидел, что глинобитные столбы ворот, подмытые дождем, рухнули, и тяжелые деревянные створки, так надежно охранявшие его жизнь, уныло повисли на одной петле. Двор успел порастить травой почти по щиколотку; сторожка Пир Хана стояла пустая, и размокшая соломенная кровля провисла

между балками. На веранде обосновалась серая белка, и похоже было, что люди покинули этот дом не три дня, а тридцать лет назад. Мать Амиры вывезла все, кроме нескольких заплесневелых циновок. В доме царила мертвая тишина; только иногда из угла в угол, шурша, перебегали скорпионы. Стены в бывшей комнате Амиры и в бывшей детской тоже подернулись плесенью; узкая лестница, ведущая на крышу, вся была покрыта грязью, натекшей вместе с дождем. Холден постоял, посмотрел и снова вышел на дорогу — как раз в тот момент, когда у ворот остановил свою двуколку Дурга Дас, у которого Холден арендовал дом. Величественный, лучащийся любезностью, весь в белом, Дурга Дас самолично совершал объезд своих владений, проверяя, не пострадали ли крыши от дождя.

— Я слышал, — сказал он, — что сахиб не будет больше снимать этот дом?

— А что ты с ним сделаешь?

— Может быть, сдам кому-нибудь другому.

— Тогда я оставляю его пока за собой.

Дурга Дас немного помолчал.

— Не надо, сахиб, — сказал он. — Я тоже был молод... но все прошло, и сегодня я сижу в муниципалитете. Нет, не надо! Когда птицы улетели, к чему беречь гнездо? Я велю снести этот дом — дерево всегда можно продать. Дом снесут, а муниципалитет давно собирается проложить дорогу от берега реки, от места, где сжигают мертвых, до самой городской стены; здесь пройдет дорога, и тогда ни один человек не сможет сказать, где стоял этот дом.

### КОНЕЦ ПУТИ

Четверо мужчин, теоретически имеющих право на «жизнь, свободу и стремление к счастью», сидели за столом и играли в вист. Термометр показывал 40° жары в помещении. Окна были закрыты наглухо шторами, и в полутьме комнаты едва виднелись изображения на картах и выделялись белыми пятнами лица играющих. Ветхая рваная *панкха*<sup>1</sup> из беленого миткаля взбивала горя-

---

<sup>1</sup> П а н к х а (*хинд.*) — опухало, укреплявшееся под потолком и выполнявшее роль вентилятора. Обычно приводилось в движение вручную с помощью веревки, слугой, находившимся в другом помещении.

чий воздух и при каждом взмахе заунывно подвывала. Снаружи все застилал мрак, подобный мраку лондонского ноябрьского дня. Ни неба, ни солнца, ни горизонта — ничего, кроме багрового марева. Казалось, будто земля умирает от апоплексии.

Время от времени ни с того ни с сего, при полном безветрии, с земли вздымалось облако ржаво-коричневой пыли, окутывало, как наброшенная скатерть, верхушки иссохших деревьев и опять опускалось вниз. То вдруг крутящийся пылевой столб пронеслся по равнине мили две и, переломившись, падал вперед, хотя ничто не останавливало его бега — ни длинный низкий ряд нагроможденных шпал, белых от пыли, ни кучка глинобитных лагун, ни груды брошенных рельсов и брезента, ни единственное приземистое четырехкомнатное бунгало, принадлежавшее младшему инженеру, который ведал строительством этого участка Гандхарской железнодорожной линии.

Четверо мужчин, облаченных в легчайшие пижамы, играли, сварливо пререкаясь из-за первых и ответных ходов. Игроки они были не первоклассные, но и ради такого виста они преодолели немало препятствий. Мотрем, из геодезической службы Индии, покинув накануне вечером свой глухой пост в пустыне, проехал верхом тридцать миль и поездом еще сотню; Лаундз, чиновник из гражданской службы, выполнявший особые поручения в политическом департаменте, проделал столько же, чтобы на миг передохнуть от убогих интриг в обнищавшем княжестве, где местный правитель попеременно то пресмыкался, то бушевал, требуя своей доли жалких доходов, выжатых из замученных крестьян и отчаявшихся владельцев верблюдов. Спэрстоу, доктор этой железнодорожной линии, на сорок восемь часов бросил на произвол судьбы своих кули в бараках, охваченных холерой, бросил для того, чтобы еще разок провести время в обществе соотечественников. Хэмил, младший инженер, был хозяином дома. Стойко соблюдая традицию, он каждое воскресенье принимал у себя приятелей, если им удавалось вырваться. Когда кто-то из них не являлся, он слал телеграмму по последнему месту жительства нарушителя, чтобы выяснить, умер он или жив. На Востоке немало таких уголков, где жестоко и неблагородно терять из виду знакомых хотя бы лишь на какую-то неделю.

Не то чтобы игроки чувствовали особое расположение друг к другу. Они вздорили при каждой встрече, но тем не менее страстно жаждали встретиться, как жаждут пить, когда нет воды. Все они были люди одинокие, познавшие страх одиночества. Все были моложе тридцати, — а это слишком рано для такого рода познания.

— Пильзенского! — воскликнул Спэрстоу после второго роббера, вытирая лоб.

— Пиво, к сожалению, кончилось, да и содовой на сегодня вряд ли хватит, — отозвался Хэмил.

— Никудышный вы после этого хозяин! — буркнул Спэрстоу.

— Ничего не могу поделать. Я уже писал и телеграфировал, но поезда пока ходят нерегулярно. На прошлой неделе лед вышел весь — вот Лаундз знает.

— Хорошо, меня тогда не было. А впрочем, дали бы знать, я бы вам немного прислал. Уф! Хватит играть в такую жарницу, все равно играем как сапожники.

Эта колкость предназначалась Лаундзу, но тот в ответ на свирепый наскок только рассмеялся. Преступник он был закоренелый.

Мотрем поднялся из-за стола и заглянул в щель между ставнями.

— Денек прелесть! — заметил он.

Вся компания единодушно зевнула и занялась бессмысленным осмотром хэммиловского имущества: ружей, потрепанных романов, седел, сбруи, шпор и прочего. Они ощупывали их уж не менее двадцати раз, но делать было нечего — в полном смысле слова.

— Есть что-нибудь новенькое? — спросил Лаундз.

— «Вестник Индии» за прошлую неделю и вырезка из лондонской газеты. Отец прислал. Довольно занятно.

— Верно, опять про какого-нибудь члена приходского совета, баллотирующегося в парламент? — сказал Спэрстоу, всегда читавший газеты, когда удавалось их достать.

— Именно. Послушайте. Прямо в ваш адрес, Лаундз. Один тип выступал перед своими избирателями и разливался соловьем. Вот образец: «И я со всей решительностью утверждаю, что гражданская служба в Индии есть заповедник, призванный хранить английскую аристократию. А что же демократия, что массы извлекают из этой страны, которую мы шаг за шагом мошеннически захватываем? Отвечаю: ровным счетом ничего. Ее взяли

на откуп потомки аристократов, притом имея в виду исключительно собственные интересы. Они всячески стараются поддержать свои непомерные доходы, избежать всяких расспросов или подавить всякий интерес к характеру и способам их управления, а сами тем временем заставляют несчастного крестьянина потом и кровью платить за роскошь, в которой погрязли».

Хэммил помахал вырезкой над головой. Слушатели, на манер парламентской публики, разразились возгласами одобрения.

А Лаундз протянул задумчиво:

— Я бы отдал... отдал свое трехмесячное жалованье за то, чтобы этот джентльмен провел рядом со мной месяц и поглядел, как ведет себя свободный и независимый туземный правитель. Старый Пень, — такое непочтительное прозвище дал он почтенному, увешанному орденами радже, — извел меня за эту неделю просьбами о деньгах. Верите ли, последнее, что он отколол, — прислал мне в качестве взятки одну из своих жен!

— Вам повезло, — заметил Мотрем. — И вы приняли взятку?

— Нет. Но теперь жалею. Она премилое создание, рта не закрывая щебетала про то, в какой ужасной нужде живут царские жены. У милашек чуть не целый месяц не было новых платьев, а их супругу приспичило выписать из Калькутты новый экипаж с поручнями из чистого серебра, серебряными фонарями и всякими побрякушками в том же роде. Я пытался довести до его сознания, что он уже двадцать лет проматывает государственные доходы и что пора замедлить ход. Но он никак не хочет взять этого в толк.

— Так ведь у него под рукой родовая сокровищница в подвалах. Под его дворцом по меньшей мере три миллиона в драгоценностях и монетах, — сказал Хэммил.

— Видали вы когда-нибудь, чтобы раджа дотронулся до фамильных сокровищ? Это запрещено жрецами, исключение делается разве что в крайнем случае. Старый Пень добавил за свое правление к фамильным сбережениям добрые четверть миллиона.

— Отчего, черт возьми, так повелось? — поинтересовался Мотрем.

— Страна такая. Посмотрите, в каком состоянии народ, — тошно делается. Я был очевидцем того, как сборщики налогов поджидали, пока разродится дойная

верблюдица, и тут же угнали ее в счет долгов. А я что могу поделывать? Мне не заставить судейских чиновников представлять отчеты. Не выжать из командующего округом ничего, кроме идиотской улыбки, когда я вдруг узнаю, что войскам не платят уже три месяца. А Старый Пень принимается рыдать, стоит мне заговорить всерьез. Он шибко пристрастился к любимому царскому напитку под названием «ерш» — ликер вместо виски и минеральная вместо содовой.

— Правитель Джубела тоже к этому пристрастился. Но тут уж даже туземец долго не протянет, — вставил Спэрстоу. — Отдаст концы.

— И хорошо сделает. Тогда мы создадим регентский совет и приставим к юному принцу наставника, и через десять лет он получит страну назад со всеми накоплениями.

— После чего юный принц, обученный всем английским порокам, примется безудержно транжирить денюжки и за полтора года пустит на ветер десять лет трудов. Мне все это уже знакомо, — возразил Спэрстоу. — На вашем месте, Лаундз, я бы обращался с раджей помягче. Вас и без того возненавидят.

— Хорошо вам советовать — помягче. Со стороны рассуждать легко, но ведь свинарник не вычистишь пером, макая его в розовую водичку. Я знаю, на что иду. Пока еще ничего не случилось. Слуга у меня старый патан, он сам для меня готовит. Вряд ли его удастся подкупить, а пищу от моих «верных друзей», как они себя называют, я не принимаю. Но жизнь изматывающая. Я бы предпочел быть с вами, в вашем поселке, Спэрстоу. В его окрестностях по крайней мере пострелять можно.

— Вы так думаете? Я на сей счет другого мнения. Когда в день мрет по пятнадцать человек, хочется стрелять только в себя. И главное, эти горемыки ждут от тебя, что ты их спасешь, — вот что хуже всего. Видит бог, я все перепробовал. Последняя моя попытка была чистым шарлатанством, но старик выжил. Когда его принесли ко мне, он был в явно безнадежном состоянии. А я возьми и дай ему джину и острого соуса с кайенским перцем. Выздоровел. Но я не стал бы рекомендовать это средство.

— А каково обычно лечение? — поинтересовался Хэмил.

— Да, в сущности, очень простое. Хлородин, пилюля опиума, еще хлородин, коллапс, селитра, кирпичи к ногам

и — площадка для сожжения. Она одна собственно только и кладет конец всем бедам. Черная холера, сами понимаете. Бедняги! Но, надо сказать, мой аптекарь, шустрый Банси Лал, работает, как дьявол. Я представил его к повышению — если, конечно, он выйдет живым из этой передраги.

— А у вас какие шансы, старина? — спросил Мотрем.

— Не знаю, да и не очень это меня волнует. Но прошение я уже послал. А вы как там проводите время?

— Сажу в палатке под столом и плюю на секстант, чтобы не жег руки, — ответил представитель геодезической службы. — Промываю глаза, чтобы не заработать офтальмию, хотя от нее все равно никуда не денешься, и бьюсь, чтобы мой помощник наконец усвоил, что ошибка в пять градусов при замере угла не такой пустяк, как ему кажется. Я пребываю в полном одиночестве и буду пребывать до конца жаркого сезона.

— Везет Хэммилу, — Лаундз растянулся в шезлонге. — У него настоящая крыша над головой; правда, парусина под потолком порвалась, но тем не менее. Раз в день он регулярно встречает поезд. Он может достать пива и содовой, и даже положить туда льда, когда бог милостив. У него есть книги и картины (речь шла о репродукциях, вырванных из журнала «График») и вообще превосходного субподрядчика Джевинса, не говоря уже об удовольствии каждую неделю принимать нас.

Хэммил мрачно усмехнулся.

— Да, будем считать, что мне везет. Но Джевинсу повезло еще больше.

— Как? Вы хотите сказать? . .

— Да. Скончался. В прошлый понедельник.

— *Ап-се?*<sup>1</sup> — быстро спросил Спэрстоу, высказав вслух подозрение, которое промелькнуло в голове у всех. В хэммиловской округе холеры не было. Даже лихорадка дает человеку недельную отсрочку, поэтому внезапная смерть обычно наводит на мысль о самоубийстве.

— Я не стал бы никого осуждать — в такую погоду чего не натворишь, — продолжал Хэммил. — Думаю, с ним солнечный удар. На прошлой неделе, когда вы все разъехались, приходит он сюда на веранду и объявляет, что сегодня же вечером идет домой повидать жену, —

---

<sup>1</sup> *Ап-се* (хинд.) — сам собой, просто так.

это на Маркет-то стрит в Ливерпуле. Я привел аптекаря взглянуть на него, и мы уговорили его прилечь. Через час или два он протирает глаза и говорит — дескать, у него, кажется, был припадок, но он надеется, что вел себя вежливо. Джевинс всегда мечтал занять более высокое положение в обществе, поэтому старался подчеркнуть свои хорошие манеры.

— Ну и дальше?

— Дальше он отправился к себе в бунгало и принялся чистить ружье. Слуге сказал, что утром пойдет охотиться на лань. Естественно, он не вовремя задевает курок и ненароком простреливает себе голову. Аптекарь послал моему шефу докладную, и Джевинса похоронили где-то здесь. Я бы вам телеграфировал, Спэрстоу, да что вы могли поделаться?

— Странный вы субъект, — проронил Мотрем. — Помалкиваете, будто сами его убили.

— Бог ты мой, какая тут связь? — спокойно ответил Хэммил. — Мне же досталась еще и его доля работы. Пострадал от его смерти один я. Джевинс избавился от забот — по чистой случайности, естественно, но избавился. Аптекарь сначала вознамерился писать длинное, многословное заключение о самоубийстве. Хлебом не корми этих грамотных индусов, только дай поболтать.

— А почему вы не хотели представить смерть как самоубийство? — спросил Лаундз.

— Нет прямых доказательств. В этой стране у человека не так уж много привилегий, но ему хотя бы дозволено неудачно разрядить собственное ружье. А кроме того, мне и самому в один прекрасный день может понадобиться, чтобы кто-то замял такое же происшествие со мной. Живи и дай жить другим. Умри и дай умереть другим.

— Примите-ка таблетку, — посоветовал Спэрстоу, не спускавший глаз с бледного лица Хэммила. — Примите таблетку и не валяйте дурака. Все эти ваши разговоры — вздор. Самоубийство — просто способ увильнуть от работы. Будь я самым несчастным Иовом, я и то задержался бы на этом свете из одного любопытства — что будет дальше?

— Ну а я уже утратил такого рода любопытство, — ответил Хэммил.

— Печень пошаливает? — сочувственно осведомился Лаундз.

— Нет. Бессонница. Это пострашнее.

— Еще бы, черт возьми! — подхватил Мотрем. — Со мной это тоже случается, но потом проходит само собой. Что вы принимаете?

— Ничего. Какой толк? Я с пятницы и десяти минут не спал.

— Несчастный! Спэрстоу, помогите же ему. Теперь, когда вы сказали, я и правда вижу, что глаза у вас опухли и покраснели.

Спэрстоу, все так же наблюдавший за Хэммилом, негромко рассмеялся.

— Я займусь починкой позже. Как вы думаете, помещает нам сейчас жара прокатиться верхом?

— Куда? — устало отозвался Лаундз. — Нам и так ехать в восемь, тогда уж заодно и прокатимся. Не выношу лошадь, когда она из удовольствия превращается в необходимость. О, господи, чем бы заняться?

— Начнем в вист по новой, восемь шиллингов ставка и золотой мухур за роббер, — быстро предложил Спэрстоу.

— Предлагаю покер. В банк — месячное жалованье, верхнего предела нет, набавлять по пятьдесят рупий. Кто-то да вылетит в трубу до конца игры, — предложил Лаундз.

— Не могу сказать, чтобы меня так уж радовало, если кто-то из нашей компании проиграется, — возразил Мотрем. — Не бог весть какое развлечение, да и глупо. — Он шагнул к старенькому разбитому походному пианино — обломку хозяйства одной супружеской пары, которой принадлежало прежде бунгало, — и поднял крышку.

— Оно давно отработало свой срок, — сказал Хэммил. — Слуги растащили его по частям.

Пианино и в самом деле было безнадежно расстроено, но Мотрем умудрился привести непокорные клавиши в некоторое согласие и извлечь из разбитой клавиатуры нечто, отдаленно напоминающее призрак некогда популярной легкой песенки. Мотрем забарабанил увереннее, и мужчины в шезлонгах с пробудившимся интересом повернули к нему головы.

— Недурно! — одобрительно заметил Лаундз. — Черт побери! Последний раз я слышал эту мелодию в семьдесят девятом году или около того, как раз перед тем, как покинуть Англию.

— Э, нет! — с гордостью проговорил Спэрстоу. —

Я побывал дома в восьмидесятом. — И он пропел популярную в тот год уличную песенку.

Мотрем сыграл ее не очень умело, чем вызвал крику Лаундза, который предложил свои исправления. Мотрем бурно исполнил еще один короткий пассаж, уже более серьезного характера, и хотел было встать.

— Продолжайте, — остановил его Хэммил. — Я и не знал, что у вас есть музыкальные наклонности. Играйте, пока не истощится ваш репертуар. К следующей встрече я прикажу настроить пианино. Сыграйте что-нибудь бравурное.

Мелодии, которые искусство Мотрема и ограниченные возможности инструмента могли воспроизвести, были незатейливы, но мужчины внимали им с наслаждением, а в перерывах наперебой вспоминали все, что слышали и видели, когда в последний раз были на родине. Снаружи вдруг поднялась пыльная буря и с ревом пронеслась над домом, окутав его густой и удушливой, поистине ночной, тьмой; но Мотрем, не обращая ни на что внимания, продолжал играть, и сумасшедшее брэнчанье клавиш достигало ушей слушателей сквозь хлопанье рваной потолочной парусины.

В тишине, наступившей после промчавшегося урагана, Мотрем наигрывал, мурлыча себе под нос, потом незаметно перешел от более интимных шотландских песен к «Вечернему гимну».

— Все-таки воскресенье, — объяснил он, покачивая головой.

— Давайте дальше, не оправдывайтесь, — сказал Спэрстоу.

Хэммил расхохотался долгим безудержным смехом.

— Да, да, играйте же! Вы сегодня подносите сплошные сюрпризы. Я и не подозревал, что у вас такой дар изощренной иронии. Как там его поют?

Мотрем продолжал подбирать мелодию.

— Вдвое надо быстрее. Не слышится темы благодарности. Нужно это делать на манер польки «Кузнечик» — вот так.

И он запел *prestissimo*:<sup>1</sup>

Славлю ныне, господь, тебя,  
За благодать, что несешь, любя.

---

<sup>1</sup> Очень быстро (*ит.*).

Вот теперь слышно, что мы благодарны за благодать.  
Как там дальше?

Если я ночью томим тоской,  
Дай моим думам святой покой,  
От искушений мой сон храни,

Скорей, Мотрем!

От наваждений оборони.

Ну и лицемер же вы!

— Перестаньте кривляться! — оборвал его Лаундз. — Насмехайтесь вволю над чем угодно, но этот гимн оставьте в покое. Для меня он связан с самыми священными воспоминаниями.

— Летние вечера за городом, цветные стекла окон, меркнувший свет, ты и она рядышком, склонили головы над церковными гимнами, — подхватил Мотрем.

— Да, а толстый майский жук ударил тебя в глаз, когда ты шел домой. Аромат сена, луна величиной с шляпную картонку на верхушке копны, летучие мыши, розы, молоко и мошкара, — продолжал Лаундз.

— И еще наши матери. Помню, как сейчас: мама пела мне этот гимн в детстве, убаюкивая на ночь, — добавил Спэрстоу.

В комнате окончательно сгустилась темнота. Слышно было, как Хэммил беспокойно ерзает в шезлонге.

— И в результате вы поете благодарственные гимны, — раздраженным тоном проговорил он, — когда вы на семь сажен погрузились в ад! Мы недооцениваем умственные способности господ, притворяясь, будто мы что-то собой представляем, в то время как мы просто казнимые за дело разбойники.

— Примите две таблетки, — сказал Спэрстоу, — очень у вас казнимая, вот что.

— Наш миролюбивый Хэммил сегодня в отвратительном настроении. Не завидую я его кули завтра, — проговорил Лаундз, когда слуги внесли лампы и стали накрывать к обеду.

Спэрстоу улучил момент, когда все рассаживались за столом, на котором стояли жалкие отбивные из козлятины, яйца под острым соусом и пудинг из тапиоки, и шепнул Мотрему:

— Молодец, Давид!

— В таком случае присматривайте за Саулом, — последовал ответ.

— О чем вы там шепчетесь? — подозрительно спросил Хэммил.

— Говорим, что хозяин вы дрянной. Мясо не разрезать, — нашелся Спэрстоу, сопровождая свои слова добродушной улыбкой. — И это у вас называется обед?

— Я тут ни при чем. А вы ждали, что я закачу пир?

За едой Хэммил постарался обидеть всех гостей по очереди, отпуская намеренно оскорбительные замечания, и при каждом следующем выпад Спэрстоу толкал ногой под столом потерпевшего. При этом ни с одним он не посмел обменяться понимающим взглядом. Лицо у Хэммила побледнело и заострилось, глаза были неестественно расширены. Никто из гостей и не думал обижаться на его яростные нападки, но, как только обед закончился, все стали торопливо собираться.

— Не уходите. Вы только-только начали забавлять меня. Надеюсь, я ничего такого неприятного не сказал. Экие вы недотроги. — Тон его тут же переменялся, сделался униженным, молящим: — Слушайте, неужели вы в самом деле уедете?

— Где ем, там и сплю, выражаясь словами благословенного Джорокса, — проговорил Спэрстоу. — Я хочу взглянуть утром на ваших кули, если не возражаете. У вас, наверное, найдется, куда меня положить?

Остальные, сославшись на неотложные дела следующего дня, сели на лошадей и отбыли все вместе, сопровождаемые уговорами Хэммила приехать через неделю в воскресенье. Дорогой, едучи рядом с Мотремом, Лаундз облегчил свою душу:

— В жизни так не хотелось дать по физиономии хозяину дома за его собственным столом. Меня обвинил, что я плутую в висте, напомнил, что я ему должен. Вам прямо в лицо заявил, что вы чуть ли не лжец! Вы как-то недостаточно возмущены.

— Так и есть, — ответил Мотрем. — Жаль его! Видели вы, чтобы когда-нибудь старина Хэмми так себя вел? Бывало ли хоть отдаленно похожее?

— Это его не извиняет. Спэрстоу, не переставая, пинал меня, вот я и сдерживался. А то бы я...

— Ничего бы вы не сделали. Вы бы поступили, как Хэмми с Джевинсом: не стали бы осуждать его — в такую жару. Черт побери, пражка от уздечки прямо раска-

ленная! Давайте немного пустим рысью, осторожней, здесь полно крысиных нор.

Десять минут рыси исторгли у Лаундза, когда он наконец, обливаясь потом, остановился, уже вполне мудрое замечание:

— Хорошо, что Спэрстоу сегодня ночует у него.

— Да-а-а. Хороший он человек, Спэрстоу. Тут наши дороги расходятся. До следующего воскресенья, если меня за это время не доконает солнце.

— До воскресенья, если только министр финансов Старого Пня не подсыплет мне чего-нибудь в пищу. Доброй ночи и. . . благослови вас боже!

— Что с вами?

— Так, ничего, — Лаундз поднял хлыст и, огрев по боку кобылу Мотрема, добавил: — Славный вы парень, вот и все.

Кобыла в одно мгновение унеслась по песку на полмили.

Тем временем в инженерском бунгало Спэрстоу с Хэммилом курили каждый свою трубку молчания, пристально следя друг за другом. Вместительность холостяцкого жилья растяжима, и устройство его отличается простотой. Слуга убрал посуду со стола, внес две грубо сколоченные туземные кровати — легкие деревянные рамы с натянутой тесьмой — бросил на каждую по куску прохладной калькуттской циновки, поставил их рядом, пристегнул булавками к панкхе два полотенца так, чтобы бахрама почти задевала лица спящих, и возвестил, что ложа готовы.

Мужчины повалились каждый на свою постель, заклиная кули именем самого Иблиса раскачивать панкху без остановки. Все двери и окна плотно закрыли, потому что наружный воздух был как в раскаленной печи. Внутри дома, по свидетельству термометра, доходило всего до 40°, но жару усугублял удушливый смрад от давно нечищенных керосиновых ламп; вдыхая эту вонь, к которой присоединяется запах местного табака, обожженного кирпича и пересохшей земли, многие сильные люди падают духом, ибо так пахнет великая империя Индия, когда на шесть месяцев она превращается в ад. Спэрстоу умело взбил подушки, так что голова его оказалась значительно выше ног и он скорее полусидел, чем лежал. Спать на низкой подушке в жаркую пору небезопасно, если сложение у вас апоплексическое: вы и не заметите,

как, похрапывая и побулькивая, перейдете от естественного сна к забытию теплового удара.

— Взбейте подушки, — повелительно сказал доктор, увидев, что Хэммил приготовился распластаться во всю длину.

Пламя ночника горело ровно, по комнате раскачивалась тень от панкхи, и ее колыхание сопровождали рывки полотенец и тихое нытье веревки, трущейся о края дырки в стене. Панкха вдруг замедлила движение, почти остановилась. По лбу у Спэрстоу покатился пот. Надо бы, наверное, встать и обратиться с вразумляющей речью к кули. Панкха неожиданно дернулась и снова заколыхалась, от резкого толчка из полотенца выскочила булавка. Едва полотенец опять укрепили, как в поселке у кули забил барабан с мерностью толчков крови в чьем-то воспаленном мозгу. Спэрстоу повернулся на другой бок и тихо выругался. Хэммил не подавал никаких признаков жизни, он лежал неподвижно, в оцепенении, как труп, руки были вытянуты вдоль тела, пальцы сжаты в кулак. Но учащенное дыхание говорило о том, что он не спит. Спэрстоу взгляделся в застывшее лицо: челюсти были стиснуты, веки трепетали, кожа вокруг глаз собралась морщинами.

«Он весь сжался, так он сдерживает себя, — подумал Спэрстоу. — Зачем это притворство? И что же, в конце концов, с ним такое?»

— Хэммил!

— Да?

— Не заснуть?

— Никак.

— Голова горит? Распухло в горле? Какие еще ощущения?

— Никаких, спасибо. Мне вообще, знаете, не спится.

— Скверное самочувствие?

— Довольно скверное, спасибо. Это что там — барабан? Я сначала подумал, что это у меня в голове бухает. Спэрстоу, Спэрстоу, ради всего святого, дайте же чего-нибудь, чтобы я заснул, крепко заснул, хотя бы на шесть часов. — Он вскочил. — Я уже несколько дней не сплю нормально, я больше не могу — не могу!

— Бедняга!

— Это не помощь. Дайте мне чего-нибудь усыпляющего. Говорю вам, я с ума схожу. Я уже почти не соображаю, что говорю. Три недели как я продумываю и про-

изношу про себя каждое слово, прежде чем сказать его вслух. Я должен сложить каждую фразу в уме до единого слова, чтобы не нагородить чепухи. Разве этого не довольно, чтобы сойти с ума? Мне уже все вокруг представляется в искаженном виде, я потерял чувство осязания. Помогите мне заснуть. Ради господ бога, Спэрстоу, помогите мне заснуть по-настоящему. Недостаточно дать мне просто задремать. Усыпите меня накрепко.

— Хорошо, дружище, хорошо. Спокойнее. Не так уж ваши дела плохи.

Теперь, когда лед сдержанности был сломан, Хэммил самым буквальным образом цеплялся за доктора, как испуганный ребенок.

— Вы исщипали мне всю руку.

— Я вам шею сверну, если вы мне не поможете. Нет, я не то хотел сказать. Не сердитесь, старина. — Хэммил стер пот с лица, стараясь совладать с собой. — Правду говоря, мне немного не по себе, аппетит пропал; может быть, вы мне дадите какого-нибудь снотворного — бромистого калия, скажем.

— Бромистого вздора! Почему вы мне раньше не сказали? Отпустите мою руку, я поищу у себя в портсигаре чего-нибудь подходящего.

Он порылся в одежде, выкрутил подлиннее фитиль, раскрыл небольшой серебряный портсигар и подступил к ожидавшему Хэммилу с изящнейшим миниатюрным шприцем.

— Последнее прибежище цивилизации, — сказал он, — но я терпеть не могу им пользоваться. Протяните руку. Что ж, мускулы ваши от бессонницы не пострадали. Крепкая шкура, точно буйвола колешь. Ну вот, через несколько минут морфий подействует. Ложитесь и ждите.

По лицу Хэммила расплзлась идиотическая улыбка неподдельного блаженства.

— Мне кажется, — прошептал он, — мне кажется, я засыпаю. Черт возьми, какое божественное ощущение! Спэрстоу, вы должны отдать мне портсигар насовсем, вам... — голос замер, голова упала на подушку.

— Как бы не так, — Спэрстоу поглядел на неподвижное тело. — А теперь, мой друг, поскольку бессонница такого рода вполне способна ослабить нравственный момент в пустячном вопросе жизни и смерти, я позволю себе расстроить ваши замыслы.

Он босиком прошлепал в седельную, расчехлил двенадцатизарядку, экспресс и револьвер. С первой он отвинтил курки и спрятал их на дно седельной сумки, со второго снял замок и засунул его в большой платяной шкаф. У револьвера он откинул рукоять и вышиб каблуком высокого сапога шпильку.

— Готово, — проговорил он, стряхивая с пальцев пот, — эти небольшие меры предосторожности по крайней мере дадут тебе время одуматься. Что-то уж слишком тебя привлекают несчастные случаи в оружейной.

Но когда он поднимался с колен, раздался хриплый глухой голос Хэммила:

— Болван несчастный!

Спэрстоу не раз приходилось слышать такой голос — голос человека, очнувшегося от бреда, которому недолго осталось жить на этом свете,

Он самым настоящим образом вздрогнул от испуга. Хэммил стоял в дверях, раскачиваясь от обессиляющего смеха.

— Честное слово, вы прямо невероятно гуманны, — с трудом выговорил он, медленно подыскивая слова. — Но пока я не собираюсь накладывать на себя руки. Слушайте, Спэрстоу, ваше снадобье не действует. Что же мне делать? Что мне делать?

Глаза его были полны панического ужаса.

— Надо лечь и дать ему время и возможность подействовать. Ложитесь сейчас же.

— Боюсь. Оно опять подействует только наполовину, и на этот раз мне уже будет не удрать. Знаете, чего мне сейчас стоило спастись? Обычно я быстр на ноги, а тут вы мне их точно спутали.

— Да, да, понимаю. Идите лягте.

— Нет, я вовсе не брежу. Вы со мной, однако, сыграли жестокую шутку. Я ведь, знаете, мог и умереть.

Как губка стирает написанное с грифельной доски, так некая неведомая Спэрстоу сила стерла с лица Хэммила все, что отличает лицо взрослого мужчины, и он стоял в дверях с выражением давно утраченной ребяческой наивности. Сон вернул Хэммила в полное страхов детство.

«А что, если он сейчас умрет?» — подумал Спэрстоу. А вслух сказал:

— Хватит, сын мой, давайте-ка назад в постель и рассказывайте все по порядку. Вам, стало быть, не удалось заснуть, а остальная чепуха что значит?

— Место... там внизу есть такое место, — проговорил Хэммил искренне и просто. Лекарство действовало волнами, и в зависимости от того, обострялись его чувства или притуплялись, его бросало от осознанного страха взрослого сильного мужчины к безотчетному ужасу ребенка. — Господи помилуй, Спэрстоу, все последние месяцы я этого боялся. Каждая ночь превращалась для меня в ад. Но я твердо знаю: я ничего не сделал плохого.

— Не шевелитесь, я сделаю вам еще один укол. Мы прекратим ваши кошмары, идиот вы безмозглый!

— Да, но дайте дозу побольше, чтобы я заснул и не мог выйти из сна. Вы должны меня усыпить накрепко, а не просто дать мне задремать. Иначе так трудно бежать.

— Знаю, знаю, сам такое испытал. Точно такие симптомы, как вы описываете.

— Да не смейтесь же надо мной, будьте вы прокляты! Еще до того, как меня одолела эта ужасная бессонница, я старался лежать, опираясь на локоть, — я положил себе в постель шпору, чтобы она вонзилась в меня, если я засну и упаду. Смотрите!

— Черт побери! Да он пришпорен, как лошадь! Как будто его терзает кошмар наступающей мести! А мы-то считали его таким здравомыслящим. Пошли нам господь разумения! Вы ведь любите поговорить, дружище?

— Да, иногда. Но когда мне страшно, я хочу только бежать. А вы?

— А как же. Прежде чем я уколю вас второй раз, попробуйте рассказать поточнее, что вас тревожит.

Хэммил минут десять шептал прерывистым голосом, а Спэрстоу пристально смотрел в его зрачки и раза два провел рукой перед его глазами.

Под конец рассказа на свет опять появился серебряный портсигар и последними словами Хэммила, которые он произнес, откидываясь на спину, были: «Покрепче усыпите меня, а то, если меня поймают, я умру... умру!»

— Да, да, все мы раньше или позже умрем, и слава богу, он кладет предел нашим страданиям, — сказал Спэрстоу, устраивая подушку под головой у спящего. — А ведь, пожалуй, если я сейчас чего-нибудь не выпью, я

помру раньше времени. Потеть я перестал, а между тем воротничок на мне тесный.

Он вскипятил себе обжигающе горячего чаю — превосходного средства против теплового удара, если вовремя выпить три-четыре чашки. Потом принялся наблюдать спящего.

— Незрячее лицо, плачет и не может вытереть слезы. Нда! Решительно, Хэммилу следует как можно скорее уехать в отпуск: в своем он уме или нет, но он, безусловно, загнал себя самым жестоким образом. Да пошлет нам господь разума!

В полдень Хэммил восстал от сна с отвратительным вкусом во рту, но с ясным взглядом и радостной душой.

— Судя по всему, вчера вечером я был в неважном состоянии? — спросил он.

— Да, я видал людей поздоровее. У вас, наверное, был солнечный удар. Послушайте: если я вам напишу сногшибательное медицинское свидетельство, попроситесь немедленно в отпуск?

— Нет.

— Почему? Он вам необходим.

— Да, но я еще продержусь, пока не спадет жара.

— Так зачем, если можно уехать сразу же?

— Единственный, кого можно сюда прислать, — Баркет, а он непроходимый дурак.

— Да забудьте вы про службу. И не воображайте, будто вы такой незаменимый. Пошлите прошение об отпуске телеграммой, если надо.

Хэммил замылся в смущении.

— Я продержусь до дождей, — повторил он уклончиво.

— Вам не продержаться. Телеграфируйте в управление насчет Баркета.

— Не стану. И если хотите знать почему, то, в частности, потому, что Баркет женат, жена только что родила, она сейчас в Симле, там прохладно, а у Баркета есть такой бесплатный билет, с которым он ездит в Симлу с субботы до понедельника. Жена его, бедняжка, еще не совсем здорова. Если Баркета переведут, она последует за ним. Если при этом она оставит ребенка в Симле, она изведется от тревоги. Если, несмотря на это, она все-таки решится ехать — тем более что Баркет из тех эгоистичных животных, которые вечно твердят, что место жены подле мужа, — то она не выживет. Везти сюда женщину

сейчас — убийство. Баркет сам щуплый, как крыса. Здесь он живо помрет. У нее, я знаю, денег нет, и она наверняка тоже долго не протянет. А я уже, так сказать, просолился и к тому же не женат. Погодите, когда наступит пора дождей, тогда пусть Баркет тут тощает дальше, вреда это ему не принесет.

— И вы хотите сказать, что готовы терпеть... то же, что уже пришлось терпеть... еще пятьдесят шесть ночей?

— Ну, теперь вы нашли для меня выход, и это будет не так уж трудно. Я всегда могу вызвать вас телеграммой. А потом, благо мне удалось заснуть, все пойдет хорошо. Как бы то ни было, отпуска я просить не стану. Сказано, и конец.

— Потрясающе! А я думал, нынче такие соображения уже не в моде.

— Ерунда! Вы бы и сами так поступили. Я чувствую себя другим человеком благодаря вашему портсигару. Вы теперь в лагерь?

— Да, но постараюсь к вам заглядывать раз в два дня, если получится.

— Мне не настолько плохо. Я не хочу, чтобы вы себя так затрудняли. Лучше потчуйте ваших кули джином с кетчупом.

— Значит, вам вправду лучше?

— Готов постоять за себя, но не стоять тут и болтать с вами на солнцепеке. Ступайте, дружище, да благословит вас небо!

Хэммил повернулся на каблуках; он знал, что сейчас очутится один на один со звенящей пустотой своего бунгало, но вдруг увидел фигуру, стоящую на веранде, — своего двойника. Однажды с ним уже было такое, когда он переутомился от работы и невыносимой жары.

— Худо — уже начинается, — сказал он себе, протирая глаза. — Если эта штука исчезнет сейчас целиком, как призрак, значит, у меня не в порядке только глаза и желудок. Но если она начнет двигаться по комнате, значит, у меня с головой плохо.

Он шагнул к фигуре, и та, как все призраки, порожденные переутомлением, естественно, продолжала сохранять одно и то же расстояние между собой и Хэммилом. Она скользнула в глубь дома и, достигнув веранды, растворилась в ослепительном свете сада, превратившись в плывущие пятна внутри глазных яблок. Хэммил отпра-

вился по своим делам и проработал до конца дня. Придя домой обедать, он обнаружил себя сидящим за столом. Двойник поднялся и поспешно удалился.

Ни одна живая душа не знает, каково пришлось Хэммилу в эту неделю. Усилившаяся эпидемия продержала Спэрстоу все это время среди кули, и ему только и удалось что дать Мотрему телеграмму с просьбой переночевать у Хэммила в бунгало. Но Мотрем находился за сорок миль от ближайшего телеграфа и ведать ни о чем не ведал, кроме своей геодезической службы, до того момента, как воскресным утром повстречался с Лаундзом и Спэрстоу, которые направлялись к Хэммилу на еженедельное сборище.

— Будем надеяться, у бедняги сегодня настроение получше, — заметил Лаундз, соскакивая с лошади у входа в дом. — Он, видно, еще не вставал.

— Сперва я взгляну, как он, — остановил его доктор. — Если спит, не станем его будить.

Минуту спустя он позвал их, и по его голосу они уже поняли, что произошло.

Панкху все еще раскачивали взад-вперед над постелью, но Хэммил покинул этот мир по крайней мере три часа назад.

Он лежал в той же позе — на спине, сжав пальцы в кулак, вытянув руки вдоль тела, — в какой неделю назад видел его Спэрстоу. В широко раскрытых глазах застыл страх, не поддающийся никакому описанию.

Мотрем, вошедший в комнату после Лаундза, нагнулся и слегка коснулся губами лба покойного.

— Счастливцев ты, счастливцев! — прошептал он.

Но Лаундз, первым встретивший взгляд покойника, вздрогнул и, понятившись, отошел в другой угол комнаты.

— Бедняга, бедняга! А я еще так злился на него в последний раз. Спэрстоу, надо было нам последить за ним. Он что — сам...

Спэрстоу с привычной ловкостью закончил осмотр, напоследок обойдя всю спальню.

— Нет, не сам, — отрубил он. — Следов никаких. Кликните слуг.

Слуги вошли, их было восемь или десять, они перешептывались и выглядывали друг у друга из-за плеча.

— Когда ваш сахиб лег спать? — спросил Спэрстоу.

— Мы думаем, в одиннадцать или в десять, — ответил камердинер Хэммила.

— Здоров он был? Хотя откуда тебе знать.

— По нашему разумению, он не был болен. Но три ночи он очень мало спал. Я это знаю, я видел, как он все ходил и ходил, а особенно в средней части ночи.

Когда Спэрстоу стал поправлять простыню, на пол со стуком упала большая охотничья шпора. Доктор издал стон. Камердинер, вытянув шею, посмотрел на труп.

— Что ты по этому поводу думаешь, Чама? — спросил Спэрстоу, уловив выражение, появившееся на темном лице.

— Рожденный небом — по моему ничтожному мнению, тот, кто был моим господином, — спустился в Подземные Края и там был схвачен, ибо недостаточно быстро бежал. Шпора показывает, что он боролся со Страхом. То же проделывают люди моего племени, только с помощью шипов, когда их сковывают чарами, чтобы легче было настичь их во сне, и они не осмеливаются заснуть.

— Чама, ты фантазер. Иди приготовь печати, чтобы наложить их на имущество сахиба.

— Бог сотворил рожденного небом. Бог сотворил меня. Кто мы такие, чтобы вникать в промысл божий? Я велю остальным слугам держаться подальше, пока вы будете пересчитывать вещи сахиба. Все они воры и что-нибудь стащат.

Своим спутникам Спэрстоу сказал:

— Насколько я могу разобраться, смерть могла наступить от чего угодно — от остановки сердца, от теплового удара, от любого другого удара судьбы. Придется заняться описью его пожитков и всем прочим.

— Он умер от страха, — настаивал Лаундз. — Посмотрите на его глаза! Бога ради, только не давайте хоронить его с открытыми глазами!

— От чего бы он ни умер, теперь все неприятности для него позади, — тихо проговорил Мотрем.

Спэрстоу что-то рассматривал в открытых глазах покойника.

— Подите сюда, — окликнул он. — Видите там что-нибудь?

— Я не могу смотреть! — жалобно простонал Лаундз. — Закройте ему лицо! Неужто есть такой страх на земле, чтобы привести человека в подобный вид? Это ужасно. Спэрстоу, да закройте же его!

— Нет такого страха... на земле, — отозвался Спэрстоу.

Мотрем заглянул через его плечо и пристально взгляделся в покойника.

— Ничего не вижу, кроме расплывчатых пятен в зрачке. Знаете сами, ничего там нет и быть не может.

— Сущая правда. Ладно, давайте прикинем. Уйдет полдня на то, чтобы сколотить какой ни на есть гроб, а умер он, должно быть, около полуночи... Лаундз, дружище, ступайте скажите, чтобы кули выкопали яму рядом с могилой Джевинса. Мотрем, обойдите весь дом вместе с Чамой, проследите, чтобы на все имущество наложили печати. Пришлите ко мне сюда двоих мужчин, я все улажу.

Двое слуг с могучими руками, воротясь к своим, поведали странную историю о том, как доктор-сахиб напрасно пытался вернуть к жизни их господина всякими колдовскими способами — подносил небольшую зеленую коробку по очереди к обоим глазам покойного, несколько раз щелкал ею и озадаченно бормотал, а потом унес зеленую коробку с собой.

Гулкий стук молотка по гробу — звук малоприятный, но люди опытные утверждают, что гораздо ужаснее тихое шуршание ткани, свист разматывающихся и наматывающихся лент, когда того, кто упал при дороге, обряжают для похорон и, постепенно обвивая, опускают вниз, пока спеленатая фигура не коснется дна, и когда никто не протестует против постыдно поспешного погребения.

В последний момент Лаундза охватили угрызения совести.

— А службу будете сами читать — от начала до конца? — спросил он.

— Да, собирался. Но по гражданской линии вы старше меня чином. Можете взять работу на себя, коли хотите.

— Я вовсе не это имел в виду. Просто я подумал, не поискать ли нам где-нибудь капеллана, я берусь ехать за ним куда угодно, — все-таки бедный Хэммиль заслужил, чтобы мы для него расстарались. Вот и все.

— Ерунда! — заявил Спэрстоу и приготовился произнести потрясающие душу слова, которыми открывается погребальная служба.

После завтрака они в молчании выкурили трубки в память об умершем. Потом Спэрстоу рассеянно заметил:

— Это не по медицинской части.

— Что именно?

— То, что можно прочесть в глазах покойника.

— Ради всего святого, оставьте вы эти страсти в покое! — взмолился Лаундз. — Я был свидетелем того, как туземец умер от страха, когда на него прыгнул тигр. Я-то знаю, что убило Хэммила.

— Ни черта вы не знаете! Но я сейчас попробую узнать.

И доктор, удалившись с кодаком в ванную комнату, минут десять плескал там воду и что-то ворчал. Затем послышался звон чего-то разлетевшегося вдребезги и появился Спэрстоу, очень бледный.

— Получился снимок? — спросил Мотрем. — Что вы там высмотрели?

— Ничего. Как и следовало ждать. Можете туда не ходить, Мотрем. Я разбил пластинку. Там ничего нет. Как и следовало ждать.

— А вот это уже бессовестное вранье, — отчетливо проговорил Лаундз, наблюдая, как доктор трясущейся рукой пытается разжечь погасшую трубку.

Долгое время в комнате стояло молчание. Снаружи свистел жаркий ветер, стонали сухие деревья. Вскоре, блестя медью и сверкая сталью в слепящем свете солнца, с пыхтением, извергая пар, подошел еженедельный поезд.

— Не поехать ли нам? — сказал Спэрстоу. — Пора приниматься за работу. Заключение о смерти я написал. Больше мы тут ничем помочь не можем. Пойдемте.

Никто не пошевелился. Перспектива путешествия по железной дороге в июньский полдень никого не прельщала. Спэрстоу, захватив шляпу и хлыст, пошел к выходу и в дверях обернулся:

Возможно, есть рай, и уж точно — ад.  
А нам место здесь. Не так ли, брат?

Однако ни у Мотрема, ни у Лаундза не нашлось ответа на его вопрос.

## «БАБЬЯ ПОГИБЕЛЬ»

О горестная повесть о делах,  
Давно минувших и злосчастных.

Ужас, замешательство, арест убийцы, которого требовалось изолировать от товарищей — все это было уже позади, когда я пришел на площадь перед казармами. Только человеческая кровь взывала с земли. Горячее солнце высушило ее, превратив в тусклую, тонкую, как позолота, пленку, которая от жары растрескалась на отдельные язычки; поднялся ветер, и эти язычки понемногу отделялись от земли, беззвучно загибаясь кверху. Наконец порыв ветра сдул их, и по площади полетел черный прах. В такую жару никому не хотелось стоять под солнцем на пустой желудок. Мужчины сидели в казарме, обсуждая случившееся. Солдатские жены сгрудились перед помещением для семейных, из которого слышался пронзительный голос женщины, бранившей последние словами.

В то утро, сразу после смотра, тихий и сдержанный сержант застрелил одного из своих капралов, а потом вернулся в казарму, уселся на чью-то койку и спокойно сидел, пока за ним не пришли.

Надлежало передать его в руки Окружного суда. Теперь из-за этого мстителя, который едва ли предвидел такое последствие своего выстрела, все мои планы полетят к черту, потому что мне никак не отвертеться от составления доклада о судебном разбирательстве. Обо всем, что будет происходить в суде, я знал заранее — знал в таких подробностях, что просто тошно становилось. Там будет винтовка — разумеется, невычищенная, с пятнами гари на конце ствола и вокруг казенной части; и у десятка рядовых, не играющих в деле никакой роли, возьмут под присягой показания касательно этой винтовки; и будет зной, удушающий зной, и мокрый от пота карандаш будет выскальзывать из пальцев; и опашало будет шуршать, и помощники защитника будут шушукаться на веранде, и командир части представит аттестат о моральных качествах подсудимого; присяжные будут сопеть и задыхаться, от летней формы свидетелей будет нести краской и мылом; и какой-нибудь несчастный метельщик потеряет голову под перекрестным допросом, а молоденький адвокат, который вечно выступает на стороне нижних чинов, не получая от них никакой благодар-

ности, будет проявлять чудеса находчивости и красноречия, а потом затеет со мной склоку из-за того, что в своем докладе я будто бы искажил его речь. А под конец я снова встречу с подсудимым — ведь его, конечно же, не повесят, а заставят линовать бумагу для бухгалтерских бланков в Окружной тюрьме, — и стану подбадривать его разговорами о том, что есть надежда пристроить его надзирателем в тюрьму на Андаманских островах.

Уложение о наказаниях для Индийских провинций и те, кому поручено его применять, достаточно серьезно относятся к убийству, какими бы мотивами оно ни было вызвано. Я считал, что сержанту Рэйнзу очень повезет, если он отделается семью годами. Он целую ночь копил обиду, а потом без всяких объяснений уложил своего подчиненного с двадцати шагов. Все это мне было известно. Если повезет и если в дело не подпустят какого-нибудь тумана, то семь лет; к счастью для сержанта Рэйнза, в роте его любили.

В тот же вечер — ни один день не тянется так долго, как день убийства, — я повстречал Ортериса с собаками, и он мне сразу заявил, что имеет прямое отношение к делу.

— Буду свидетелем выступать, — сказал он. — Когда Маки появился, я на веранде стоял. Он от миссис Рэйнз шел. Квигли, Парсонс и Трот, они все на внутренней веранде были. Чего они слышать-то там могли? Ничего. А сержант Рэйнз, он на веранде стоит и разговаривает со мной, а Маки, тот идет через площадь и говорит: «Ну что, говорит, сержант, у тебя из-под шлема ничего пока не вылезает?» А Рэйнз, он прямо задохнулся от злости. «Господи! говорит. Больше, говорит, не могу этого терпеть!» Схватил мою винтовку и выстрелил в Маки. Понятно?

— Ты, значит, был с винтовкой на внешней веранде? — спросил я. — Что ты там с ней делал?

— Что делал? Я ее чистил, — сказал Ортерис с тем наглым взглядом выпученных глаз, которым он всегда сопровождает самую откровенную ложь.

С таким же успехом Ортерис мог утверждать, что он там танцевал нагишом: никогда еще не случалось, чтобы его оружие требовало чистки через двадцать минут после осмотра. Но ведь Окружному суду ничего не будет известно о его привычках.

— И ты это повторишь под присягой? — спросил я.

— Слово в слово.

— Ну ладно, я об этом больше ничего знать не хочу. Только учти, что Квигли, Парсонс и Трот не могли совсем уж ничего не слышать, если они были там, где ты говоришь; и наверняка найдется какой-нибудь метельщик, который в это время торчал на площади. Вот увидишь.

— Не было метельщика. Был только букашка. С ним все в порядке.

Я понял, что без выдумок и тумана не обойдется, и почувствовал жалость к прокурору, которому придется вести дело.

Еще сильнее я пожалел его, когда разбирательство началось, — уж очень часто он выходил из себя и слишком близко к сердцу принимал всякую неудачу. Молоденький адвокат Рэйнза на этот раз сумел подавить свою неутолимую страсть к алиби и ссылкам на невменяемость; он обходился без фейерверков и акробатики и защищал своего клиента спокойно и трезво. К счастью, жаркий сезон только начинался и в суде еще не шли дела о стычках и стрельбе в казармах; и состав присяжных был хорош, даже для Индии, где из двенадцати человек всегда найдутся девять таких, которым не привыкать взвешивать свидетельские показания. Ортерис твердо стоял на своем и остался непоколебим на всех перекрестных допросах. Никто из гражданских не заметил этой странной подробности в его истории — присутствия винтовки на открытой веранде, — хотя кое-кто из свидетелей и не сдержал улыбки. Прокурор требовал виселицы, утверждая, что убийство было преднамеренным. Прошли те времена, доказывал он, когда такое убийство считалось позволительной мстью оскорбленного мужа. Существует Закон, говорил он, и Закон всегда готов вступить за простого солдата, которому нанесли обиду. Однако прокурор считал, что в данном случае приходится усомниться в том, что была нанесена достаточно серьезная обида. По его теории выходило, что лишь беспочвенные подозрения, вынашиваемые в течение длительного времени, привели сержанта к преступлению. Однако попытки прокурора пренебречь мотивами убийства провалились. Даже самым далеким от этой истории свидетелям была известна — и известна уже не одну неделю — причина преступления; и подсудимый, который, разумеется, узнал обо всем последним, только стонал за сво-

им барьером. Разбирательство вертелось вокруг вопроса о том, действительно ли Рэйнз стрелял в ослеплении от внезапного оскорбления, нанесенного ему в то утро; и из заключительной речи судьи стало ясно, что показания Ортериса оказались решающими. Ортерис весьма искусно дал понять, что лично он терпеть не может этого сержанта, который и на веранду-то вышел только затем, чтобы сделать ему разнос за нарушение дисциплины. Поддавшись слабости, прокурор задал Ортерису вопрос, без которого можно было бы обойтись.

— Не хочу никого обидеть, сэр, — ответил Ортерис, — но он меня назвал поганым адвокатишкой.

Суд ахнул.

Присяжные сказали: «Убийство», однако признали все смягчающие обстоятельства, какие только известны богу и человеку; прежде чем вынести приговор, судья прикладывал руку ко лбу; адамово яблоко у подсудимого ходило вверх и вниз, точно ртуть в барометре перед циклоном.

Приняв во внимание все, что только можно было принять во внимание, начиная от хорошего аттестата, выданного командиром, и кончая соображениями о безвозвратной утрате пенсии, службы и чести, подсудимому дали два года с отбыванием срока в Индии, так что ни о каком обжаловании не могло быть и речи. Прокурор с угрюмым видом собрал свои бумаги; караульные с грохотом взяли налево кругом, и подсудимый был передан гражданской охране, после чего его повезли в тюрьму на видавшей виды *тикка-гари*<sup>1</sup>.

Караульные и человек десять — двенадцать армейских свидетелей, как персоны не столь важные, получили распоряжение дожидаться того, что официально именовалось «вечерней прохладой», а потом отправляться обратно в лагерь. Все они собрались на одной из глубоких, выложенных красным кирпичом веранд перед пустыми камерами предварительного заключения и поздравили Ортериса, который держался со скромным достоинством. Я отослал свой доклад в контору и присоединился к ним. Глядя, как прокурор едет домой подкрепиться, Ортерис сказал:

— Мясник плешивый. Не нравится он мне. Но вот собака у него есть, колли... отличная собака! Я как раз

---

<sup>1</sup> Тикка-гари (*хинд.*, правильнее — тхика-гари) — наемный экипаж.

в Марри собираюсь на той неделе. За такую собаку где хочешь пятнадцать рупий дадут.

— Пожертвуй их на храм, — сказал Теренс, расстегивая ремень; он целых три часа простоял в карауле — на-вытяжку, да притом в шлеме.

— Еще чего! — весело сказал Ортерис. — С господя причитається на ремонт казармы второй роты. А ты, Теренс, совсем дошел, я вижу.

— Да уж я не молоденький, чего там. Сперва в карауле торчишь, ног под собой не чувствуешь, потом, — он презрительно хмыкнул, оглядывая кирпичную веранду, — на камнях сидишь.

— Погодите, я принесу подушки из коляски, — сказал я.

— Ну прямо праздник у нас сегодня, — заметил Ортерис.

Теренс медленно и осторожно опустился на кожаные подушки и вежливо сказал:

— Дай вам бог всегда сидеть на мягком и всегда иметь чем поделиться с другом. А вам-то не нужна подушка? Ох, хорошо. Приятно вытянуться. Дай-ка мне трубку, Стенли. Та-ак. . . Ну вот, еще один отправился к чертям собачьим из-за бабы. Сколько раз я караульным в суде стоял — раз сорок или пятьдесят, — а все привыкнуть не могу. Ненавижу я это дело.

— Если не ошибаюсь, вы стояли у Лоссона, у Ланси, у Дюгарда и у Стебинза, — сказал я.

— Верно, а до этих были десятки других, — он устало улыбнулся. — Но только для них же было бы лучше помереть до суда. Рэйнза сейчас в тюрьме небось передевают; придет он в себя немного и тоже поймет, что лучше было бы сразу на тот свет. Ему бы надо было бабу пристрелить, а потом себя, и дело с концом. А теперь и баба живая осталась — к Дине в то воскресенье приходила чай пить, — и сам тоже живой. Одному Маки повезло.

— Жарко ему, наверно, сейчас. . . там, куда он попал, — вставил я, поскольку мне было кое-что известно о достижениях покойного капрала.

— Точно, — заметил Теренс, сплевывая через перила веранды. — Но это только легкий марш против того, что ему досталось бы тут, если б он выжил.

— Ну нет. Он бросил бы ее, да и забыл — как всех прочих.

— А вы Маки хорошо знали, сэр? — спросил Теренс.

— Он был зимой в Патиале, стоял в почетном карауле, и мы с ним вместе ездили охотиться. По-моему, он был веселый тип!

— Ну теперь ему только и будет веселья что с боку на бок поворачиваться, — сказал Теренс. — Я и самого Маки знал хорошо, да и других таких же навидался; у меня глаз наметан. Он мог бросить ее и забыть, как вы сказали, сэр, но он был грамотный человек, образованный, и все свое образование на баб тратил. Язык у него был подвешен, он с ними разговаривать умел и делал с ними, что хотел. Но только в конце концов и разговоры эти, и образование против него бы обернулись. Я, может, не умею объяснить понятнее, что я хочу сказать, но только этот Маки был как две капли похож на одного типа, которого я раньше знал, — тот шел по этой же дорожке, да только дольше шел, и для него же хуже оказалось, что дольше шел. Погодите, дайте-ка вспомнить. Ага, я тогда в Черном Тиронском полку служил, а он к нам прямо из Портсмута попал, по набору. Как его звали-то? Ларри. . . Ларри Тай. Один человек из того набора сказал про него, что вот, мол, джентльмена обрили, так Ларри чуть не убил его за это. Крупный был мужчина, сильный, красивый, — есть бабы, которым ничего больше и не надо; но не все бабы таковы. А под этого Ларри все ложились — в целом божьем мире не сыскать было такой бабы, которая бы устояла перед ним. И он это отлично знал. Вот как Маки, которого теперь в аду поджаривают; и завлекал он их ни для чего другого, кроме как для самого гнусного распутства. Господь свидетель, не мне бы говорить, я тоже сколько лет девок за нос водил; но когда зло какое приключалось, я страсть как о том жалел; и если видел по глазам по ихним, что девке или бабе уже не до шуток, я всегда ноги в руки и — мама родная, прости и заступись, ради твоей памяти воздерживаюсь. Но этого Ларри, я думаю, не мать вскормила, а дьяволица; он ни одной юбке проходу не давал. Прямо как будто служба его была такая, как будто он на посту таком поставлен. А солдат он был хороший. Одна девка у него была — самого полковника гувернантка (а Ларри-то простой рядовой!), ее в казармах и не видали до него; еще одна была горничной у майора, притом помолвлена; а сколько у него было таких, о которых мы и не слышали никогда и только на Страшном суде узнаем! И такая уж была его природа кобелиная, что всегда он цеплял самых

лучших — не то чтобы самых красивых, а вот таких, про которых всякий на Библии готов поклониться, что у них никаких этаких глупостей и в голове не может быть. Поэтому-то, заметьте, ему все и сходило. Раз или два бабы совсем уж было брали его на крючок, но так и не поймали ни разу, и только под конец ему это отыгралось. Он со мной больше разговаривал, чем с другими, — считал, что я из того же пекла нечистый, что и он, только грамоты мне не хватает. «Ну что, похоже разве, — бывало, говорит, и голову гордо так держит, — похоже разве, чтоб я когда-нибудь попался? Ведь в конечном-то счете, что я собой представляю? Да ничего, говорит, рядовой, ничтожество. А где же это видано, чтобы такие женщины, с которыми я знаюсь, связывались с ничтожным рядовым? Номер десять тысяч четыреста семь!» Говорит так, а сам ухмыляется. Когда он нарочно не придуривался, по его разговору сразу можно было догадаться, что он действительно джентльмен.

«Не пойму я тебя, — говорю я ему, — но только я знаю, что душа у тебя, как у нечистого, и нам с тобой не по дороге. Немножко побаловаться в свое удовольствие — это я согласен, Ларри, но для тебя такое баловство даже и не удовольствие. Не пойму я этого».

«Ты много чего не поймешь, — говорит он. — И я тебе советую не судить тех, кто достойнее тебя».

«Достойнее! — говорю. — Господь с тобой, Ларри, что ж тут такого достойного? Срам и позор, и ты еще в этом убедишься».

«Нет, ты не такой, как я», — говорит он и гордо вскидывает голову.

«Благодарение святым, что не такой, говорю. Я если и натворил чего, так сам же об этом жалею. Вот придет твое времечко, говорю, попомнишь мои слова».

«Когда придет мое времечко, я к тебе явлюсь, чтоб ты утешил бедное привидение, отец Теренций», — говорит он, да и отправляется куда-то по своим пакостным делам: набираться жизнен-ного опыта, как он говорил. Дьявол он был, дьявол, адское создание! Вообще-то я не пасую перед людьми, такой уж у меня характер, но этого Ларри, ей-богу, боялся. Бывало, вернется в казарму, кели на затылке, завалится на койку и в потолок смотрит да молчит — только прыснет вдруг ни с того ни с сего, все равно как вода на дне колодца заплещется, и уж я знаю, что он задумывает новую пакость, и боязно

на душе становится. Давно это все было, так давно, но только я еще долго потом отойти не мог. Я ведь вам рассказывал, сэр, как после одной истории меня улещивали да страшали, чтобы я из Тиронского полка ушел?

— Из-за ремня и человеческой головы? — сказал я; Теренс еще ни разу не изложил мне эту историю от начала до конца.

— Вот-вот. Теперь всякий раз, как в карауле стою, мне прямо чудно делается, что я и сам под суд не попал. Но я своего противника ударил в честной драке, да к тому же он не сделал глупости — не помер. Для армии удача, что он не помер. Меня все уговаривали, чтобы я согласился на перевод, сам командир меня уламывал. Я и согласился — подводить командира не хотелось, а Ларри мне сказал, что это для него огромная потеря, хотя чего такого он во мне терял, не знаю. Так я и попал в Старый полк, предоставил этому Ларри отправляться в ад без моей помощи и уж думал, никогда его больше не встречу, разве что в суде после какой-нибудь стычки в казармах... Эй, это кто там с территории уходит? — зоркий глаз Теренса заметил белую форму, мелькнувшую за изгородью.

— Сержанта нет, уехал, — донесся голос.

— Сержанта нет, так я за него, и я тебе не позволю на базар бежать — ищи потом тебя посреди ночи с патрулем. Нелсон, это ведь ты там, я знаю, ну-ка вернись на веранду!

Разоблаченный Нелсон полпелся обратно к своим товарищам. С минуту на веранде слышалось ворчание; затем опять стало тихо, и Теренс повернулся на другой бок и продолжал: — После того дня я Ларри долго не видал. Перевод — это как смерть, всей прошлой жизни конец, а тут еще я на Дине женился, где уж старое помянуть. Скоро кампания началась, мы воевать отправились, и у меня сердце прямо надвое разрывалось; Дину-то я в Пинди, в казармах оставил. И уж теперь я в драку лез с оглядкой, но уж зато когда входил в раж, вдвое свирепей дрался. Помните, я вам рассказывал про стычку в Театре Сильвера?

— Чего это ты рассказывал про Театр Сильвера? — быстро проговорил Ортерис, оглянувшись на нас через плечо.

— Да ничего, дружок. Ты знаешь эту историю. Так вот, после того дела наш Старый полк соединили с ти-

ронцами — убитых подбирать, ну и, конечно, я пошел посмотреть, не встречу ли кого знакомого. И тут же наткнулся на Ларри! Как это я его не заметил, не понимаю; он остался такой же красавчик, только постарел, ну да причин к тому у него было предостаточно. «Ларри, — говорю я ему, — ну что, как ты?»

«Вы ошиблись, — отвечает он с этой своей джентльменской улыбочкой. — Тот, кого звали Ларри, умер три года назад. А меня зовут Бабья Погибель». Вижу, значит, сидит в нем прежний дьявол. Но мы были сразу после дела, и тут не до проповедей. Уселись поговорить о том, о сем.

«Я слышал, ты женился, — говорит он и трубкой попыхивает, не спеша. — Ну как, счастлив?»

«Буду счастлив, как в казармы вернемся, — отвечаю. — Сейчас у нас как бы разведка пополам с медовым месяцем».

«А я тоже женат», — говорит, и медленно так дым пускает, все медленнее и медленнее, и трубку прикрывает пальцем.

«Желаю тебе всего наилучшего, говорю. Новость-то отличная».

«Ты так думаешь?» — говорит; и тут пустился он толковать про кампанию. Еще на нем и пот-то не обсох после дела в Театре Сильвера, а он уже о новом бога молит. Я себе полеживаю и слушаю — отдыхаю в свое удовольствие. А он сперва говорил сидя, но после встал с земли и покачнулся этак, чуть не упал, и лицом скривился.

«Да ты уже получил больше, чем тебе положено, — говорю я. — Проверь-ка свое хозяйство, Ларри, похоже, что ты ранен».

Он вскинулся — как шомпол стал, прямой! — и обложил меня с головы до ног; и ирландской обезьяной обозвал, и прочим. Будь мы в казарме, я бы ему дал под ребра, и тем бы кончилось; но тут война, да мы еще после такого дела; всякий может выйти из себя. Одни в драку лезут, а другие — обниматься. Потом-то я был рад, что кулаки в карманах оставил. И как раз наш капитан Крук подходит, а он перед тем с одним офицериком молоденьким разговаривал, из тиронцев.

«Мы и сами до ручки дошли, — говорит мне капитан, — но у тиронцев дела еще хуже, некому командовать. Отправляйтесь-ка туда, Малвени, и побудьте там за млад-

шего сержанта, за капрала, за младшего капрала — одним словом, за всех сразу, пока вас не сменят».

Ну, отправился я и принялся за дело. Там один только офицерик оставался, и никто его не слушал. Самое время было кому-нибудь братья за солдат — мне и пришлось. Кого разговорами убеждал, а кого и без разговоров, но только к вечеру эти парни из Тиронского брали на караул, стоило мне трубку изо рта вынуть. Фактически я там всей ротой командовал, для того меня Крук и послал; и офицерик это знал, и сам я тоже знал, но рота ничего не знала. Это вот и есть, заметьте, положение, которого никакими деньгами и никакой выучкой не купишь: положение старого солдата, который знает офицерскую службу и всю ее выполняет, и притом честь офицеру отдает!

Потом тиронцев, во взаимодействии со Старым полком, отправили за горы, грабить там и страх наводить, без всякого толку и без всякой радости. Я лично считаю, что генерал чаще всего не знает, куда ему девать своих людей. Вот он их и посылает шастать по округе, а сам сидит себе, штаны протирает и делает вид, что размышляет. А когда они в силу своей природы ввяжутся в заваруху, которая им вовсе ни к чему, он говорит: «Будучи гениальным полководцем, я все это предвидел». Ну вот, шныряли мы туда-сюда, нарывались на ночные перестрелки да грабили пустые *сангары*<sup>1</sup>, в которых только и оставалось, что шило завалившее, да из-за каждой скалы нас угощали пулями, и мы вконец измотались — все, кроме Бабьей Погибели. Он прямо наслаждался стычками и стрельбой. Ей-богу, удержу не знал. Такие вот бестолковые кампании всегда губят лучших людей, и хотя я знал, что, попади я в передрагу, мальчишка офицерик всю роту пошлет меня спасать, я все-таки хоронился и как только слышу выстрел, прячусь за камни и ноги поджимаю, а чуть стрельба затихнет, пускаюсь наутек. И я этих тиронцев раз сорок выводил из-под огня! Но Бабья Погибель, тот никогда не отступал, стрелял из-за камней не переставая, а другой раз дождетса шквального огня, встанет в полный рост, да так, стоя, и палит. А по ночам в лагере устраивал засады, и как увидит тень — стреляет; спать вовсе не ложился. Офицерик мой, помилуй господи этого несмышленища, не понимал моей

---

<sup>1</sup> Сангар (*афг.*) — каменное укрепление в районах на границе между колониальной Индией и Афганистаном.

стратегии, не видел ее красоты, и когда мы раз в неделю сходились со Старым полком, он сразу топал к Круку, — глаза свои голубые выкатит, и давай на меня жаловаться. Я один раз слышал через полог палатки, как они толковали, — чуть в голос не засмеялся.

«Он все время бегаёт от огня, бегаёт, как заяц, — говорит про меня офицерик. — Это деморализует моих людей».

«Дурачок ты, — Крук ему отвечает и смеется. — Он тебя твоему же делу учит. Нападали на вас ночью хоть раз?»

«Нет», — говорит этот мальчишка; ему хотелось, чтоб нападали.

«А раненые есть?» — Крук спрашивает.

«Да нет, — отвечает, — не успевают ранить никого. Бегаем слишком быстро — за Малвени».

«Так чего же тебе нужно? — Крук ему говорит. — Теренс тебя уму-разуму учит, ловчее и не придумаешь. Ты вот не понимаешь этого, а он знает: всему свое время. Ты с ним не пропадешь, — говорит, — а я бы месячного жалованья не пожалел, чтобы услышать, какого он о тебе мнения».

Так что мальчишка успокоился, но вот Бабья Погибель, тот все время ко мне цеплялся, не нравились ему мои маневры.

«Мистер Малвени, — говорит он мне однажды вечером с таким презрением в голосе, — до чего хорошо у вас ноги стали работать! Среди джентльменов, говорит, среди джентльменов это принято называть не очень красивым словом».

«А среди нижних чинов принято иначе, — говорю я. — Иди к себе в палатку. Здесь команду я».

И таким голосом я ему это сказал, чтобы он понял, что играет собственной жизнью. Он не отошел, а будто отскочил от меня — это он-то, с его презрением, — словно я ему ногой поддал. В ту же ночь патаны устроили пикник на соседних холмах: палили по нашим палаткам так, что мертвый бы проснулся.

«Всем лечь! — говорю я. — Лечь и ни с места! Пусть они тратят свои боеприпасы».

И тут слышу чьи-то шаги; потом — наша винтовка подпевать начала. А я уютно так устроился, лежу себе, думаю о Дине и все такое; однако выполз, горн прихвативши, и гляжу — не готовят ли на нас атаку; вижу, наш

подпевала где-то у выхода из лагеря примостился; а на холмах дальнобойные орудия палят — так и вспыхивают каждую секунду. И звезды светят. И вижу я — это Бабья Погибель, без шлема и без ремня, сидит на скале. Кричит что-то, потом, слышу, говорит: «Как это они до сих пор не пристрелялись? Надо огня им показать». И снова принялся стрелять; в ответ новый залп грянул; свинец — длинные такие пули, патаны зубами их приплющивают — по скале зашлепал, точно лягушки в жаркую ночь. «Так-то лучше, — говорит Бабья Погибель. — О господи, долго ли еще ждать, долго ли ждать!» — и вдруг зажигает спичку и поднимает над головой.

«Спятил, думаю, взбесился совсем». И только я сделал шаг, хлоп — подошву мне с сапога сорвало и точно пощекотал меня кто между пальцами. Ну и попадание! Такой вот кус свинца, и ни кожу не задел, ни носок не порвал, только босиком меня оставил на камнях.

Схватил я Бабью Погибель, затащил его за камень и сам присел; пули так и защелкали по этому самому камню.

«На свою голову поганую проси огня, — говорю я и встряхиваю его хорошенько, — а мне лично неохота тут с тобой пропадать».

«Не вовремя ты пришел, — говорит он, — не вовремя. Еще бы минуточку, и они бы не промахнулись. Мать божья, говорит, ну чего ты ко мне привязался? Теперь все снова надо начинать», — и лицо руками закрыл.

«Ах, вот оно что, — говорю я и снова его встряхиваю. — Вот почему ты приказов не слушаешь!»

«Не смею на себя руки наложить, — говорит он, а сам раскачивается взад-вперед. — Решиться не могу. А чужая пуля не берет. За целый месяц ни разу не задело. Долго еще мне умирать, говорит, долго. Но я уж и теперь в аду, — тут он вскрикивать начал, как женщина. — Да, я уже в аду!»

«Господи, смилуйся над нами, — говорю; тут уж я разглядел, что у него на лице написано. — Да расскажи ты, что с тобой такое? Если не убийство у тебя на совести, то, может, дело еще поправимое?»

Тут он расхохотался.

«Помнишь, я в тиронских казармах говорил, что призраком к тебе явлюсь за утешением? Так оно и вышло. Не знаю, как мне прожить остаток жизни, Теренс.

Как я бился, сколько месяцев держался! А теперь и вино меня не берет. Теренс, говорит, я даже захмелеть не могу!»

Тут я понял, почему он говорит, что уже в ад попал: когда вино человека не берет — значит, душа у него насквозь прогнила. Но что я ему мог сказать?

А он снова завел:

«Перлы и алмазы, говорит, перлы и алмазы я отшвырнул вот этими руками; и с чем я остался? С чем я остался?»

Я чувствовал, как он трясется и дрожит, а над головой у нас свистел свинец, и я все гадал, хватит ли у офицера ума не дать людям выскочить под огонь.

«Пока я не задумывался, — говорит Бабья Погибель, — я и не понимал, не мог понять, чего лишился; а теперь вижу. Теперь вижу, говорит, когда, и где, и с какими словами я сам себя отправил прямо в ад. Но все равно, все равно, — говорит он, а сам весь извивается, — все равно счастье мне было не суждено. Слишком много я натворил. Как я мог верить ее клятвам — я, который сам всю жизнь только и делал, что нарушал свои клятвы, чтобы поглядеть на чужие слезы! Сколько их было. . . — говорит. — О, что мне делать? Что же мне делать?» И снова он стал раскачиваться взад-вперед и плакать — в точности как одна из тех женщин, о которых он говорил.

Половина его речей была для меня все равно что бригадная диспозиция, но кой-чего я все-таки ухватил; и догадался, в чем его беда: выходило, что божий суд взял-таки его за загривок, как я его и предупреждал в тиронских казармах. А между тем пули у нас над головой свистят все громче, и я, чтобы его отвлечь, говорю: «До того ли теперь, говорю. Патаны вот-вот в атаку пойдут на лагерь».

Только я это проговорил, как в двадцати шагах от нас патан появился — ползет на брюхе, в зубах нож. Бабья Погибель как вскинется да как заорет; тот увидел, да и бросился на него с ножом — а Бабья Погибель без винтовки, под скалой ее оставил. Но, знать, такая сила от него шла дьявольская, что у патана камень вывернулся из-под ноги; патан возьми и растянись во весь рост, только нож звякнул о камень! «Я же тебе говорил, что на мне каинова печать, — говорит Бабья Погибель. — Не убивай его. Рядом со мной он честный человек».

Мне было не до разговоров о честности патанов; я взял винтовку и врезал патану прикладом по лицу, а Бабьей Погибели сказал: «Быстрее в лагерь! Это, говорю, атака начинается».

Но атаки в ту ночь так и не было, хотя мы приготовились и ждали, чтобы к нам сунулись. Тот патан, как видно, в одиночку пожаловал, чтобы какую-нибудь подлость нам устроить. В конце концов Бабья Погибель отправился назад в палатку, и опять его качало и корежило, когда он шел, — что-то с ним было неладно. Ей-богу, я его пожалел, особенно потому, что из-за его беды я стал думать о том, что меня так и оставили капралом, хотя служил я за лейтенанта, и мысли мои были невеселые.

После той ночи мы с Бабьей Погибелью не раз сходились поговорить, и понемногу он мне рассказал то, о чем я и сам догадывался. Все его проделки, все его злодеяния против него обернулись, как вино оборачивается против человека, который пьет беспробудно целую неделю. Все слова его и все дела — а он один только и знал, сколько их было, — все это ему отыгралось, и душа его не знала ни минуты покоя. Суший ад это был, и без всякой наружной причины; притом — искренне говорю — он был бы рад в настоящий ад поскорее попасть. Никто другой не вынес бы таких мучений; такого человеческая природа просто вместить не может — ужасно, ужасно было глядеть на него! То были не адские мучения, а гораздо хуже. Женщин он дюжинами вспоминал, и прямо-таки с ума сходил от этого, и среди всех его женщин была одна, только одна, заметьте, которая хоть и не значилась ему женой, но в самых печенках у него засела. О ней-то он и говорил, что, мол, перлы и алмазы швырнул на ветер; и все ходил кругами, точно слепой *байл*<sup>1</sup> на масле, и все рассуждал, как он был бы счастлив с этой женщиной, — это он-то, который со счастьем разве что в аду мог повстречаться! Чем больше он о ней рассуждал, тем больше клял себя, что неслыханное счастье упустил, а потом снова назад осаживал и принимался плакаться о том, что все равно, мол, не суждено было ему счастье на этом свете. Бессчетное число раз я его видал таким — и в лагере, и на смотре, да что там, даже в деле: закроет глаза, и вдруг пригнетса, как будто штык блеснул перед ним. В такую минуту — он сам мне говорил — пронзала

---

<sup>1</sup> Б а й л (*хинд.*) — бык, вол.

его мысль об упущенном; пронзала, как раскаленное железо. Не слишком-то он стыдился того, что с другими женщинами сделал; а эта вот баба, о которой я говорю, за всех ему отплатила — да вдвойне, клянусь богом, вдвойне. Не думал я, что человек столько мучений может вынести; и как у него сердце не разорвалось от страданий? Нет, такого я не воображал, а уж я-то побывал, — тут Теренс принялся жевать мундштук своей трубки, — уж я-то побывал в переделках. Рядом с его мучениями все мои передряги и поминать не стоит... И чем тут было ему помочь? Молиться за него было бы все равно что мертвому припарки ставить.

Ну вот, наконец, кончились наши прогулки по холмам, без всяких потерь и без всякой славы тоже — и то, и другое моими стараниями. Кампания подходила к концу, и полки согнали вместе, чтоб разослать всех по домам. Бабы Погибель убивался, что делать ему больше нечего, — только и остается, что все время думать. Слышал я, как он разговаривал со своим оружием, пока драил его, — только чтобы не думать. И всякий раз, как он подымался с земли или с места брал, его дергало и в сторону вело, как будто ноги у него заплетались; я уже про это говорил. К доктору он не ходил, хоть я ему и советовал подумать о своем здоровье. За мои советы он меня обкладывал с головы до ног; но уж я знал, что обижаться на него — это все равно что офицерику нашего всерьез принимать; так что я ему не мешал, — пусть, думаю, язык почешет, раз ему от этого легче становится.

В один прекрасный день, когда полки наши уже возвращались, ходим мы с ним вокруг лагеря, и вот он остановился и правой ногой притопнул раза три-четыре, как-то нерешительно. «Что такое?» — спрашиваю. «Это земля?» — говорит; я думаю — совсем рехнулся, а тут как раз доктор подходит, он там бычка павшего анатомировал. Бабы Погибель бросился прочь, и тут нога у него дернулась, и как даст он мне по колену!

«Ну-ка погоди!» — говорит доктор; Бабы Погибель красный стал, что кирпич; все его морщины покраснели. Доктор ему командует: «Смир-на!» Бабы Погибель вытянулся. «А теперь глаза закрой, — доктор говорит. — Э, нет, за товарища не держись!»

«Бесполезно, — говорит Бабы Погибель, а сам пытается улыбнуться. — Я ведь тогда упаду, доктор, и вы это знаете».

«Упадешь? — говорю я. — Стой смирно и глаза закрой! С чего это ты упадешь?»

«Доктор знает, — отвечает он мне. — Пока мог, я держался, а теперь рад, что к концу идет. Но мне еще долго умирать, говорит, еще очень долго».

По лицу доктора было видно, что ему жалко Бабью Погибель; и он отправил его в лазарет. Я тоже с ним пошел, и от удивления в себя не мог прийти: Бабья Погибель оступался и чуть не падал на каждом шагу! Держался за мое плечо и все время набок заваливался и ногой взбрыкивал, точно хромой верблюд. Я в толк взять не мог, что за хворь егохватила; похоже было, будто по слову доктора началось с ним такое; будто он этого слова только и ждал, чтобы рассыпаться.

В лазарете он доктору что-то сказал, непонятное что-то.

«Святые паникадила! — говорит доктор. — Да кто ты такой, чтоб о своих болезнях рассуждать? Устав не соблюдаешь!»

«Недолго мне осталось уставу подчиняться», — говорит Бабья Погибель своим джентльменским голосом. Доктор так и подскочил, а он ему: «Считайте, что вам достался интересный случай, доктор Лаундз». Первый раз я слышал, чтобы доктора назвали по имени.

«Ну вот и все, Теренс, — говорит Бабья Погибель. — Мертвец я теперь, хоть и не досталось мне радости сразу умереть по-настоящему. Приходи иногда посидеть со мной, мучения мои облегчить».

А я-то собирался попросить Крука, чтоб он забрал меня обратно в Старый полк: военные действия закончились, тиронцы мне надоели сверх моих сил. Но тут я передумал, остался и ходил в лазарет навещать Бабью Погибель. Поверьте, сэр, он по частям разваливался у меня на глазах. Сколько времени он держался и через силу ходил как следует, этого я не могу сказать, но в лазарете его уже через пару дней было не узнать. Мы с ним за руку здоровались, и силы у него хватало, чтоб руку пожать, но тряслись у него пальцы так, что он и пуговицы застегнуть не мог.

«Мне еще умирать и умирать, — говорил он. — За грехи кару принимать — все равно что с полковой кассы проценты требовать. Получишь все сполна, но ждать чертовски долго».

А доктор у меня спросил однажды, негромко так: «Что у него на уме, у этого Тая? Отчего он себя поедом ест?»

«Да откуда мне знать, сэр?» — говорю я с невинным видом.

«Это ведь его тиронцы Бабьей Погибелью называют, а? — говорит доктор. — Тогда все ясно; глупо было и спрашивать. Ты приходи к нему почаще. Он только твоей поддержкой и живет».

«А что у него за болезнь такая, доктор?» — спрашиваю.

«Локомотус атакус называется, — говорит доктор. — Потому что атакует эта болезнь, как локомотив, если тебе известно, что такое локомотив. А атакует она тех, — говорит он и смотрит этак на меня, — тех, кого Бабьей Погибелью зовут».

«Шутки шутите, доктор», — я ему говорю.

«Шутки? — говорит. — Вот если тебе когда-нибудь почудится, что вместо честной казенной подметки у тебя войлок к сапогу прибит, тогда приходи ко мне, говорит, мы посмотрим, шутки это или нет».

Вы не поверите, сэр, но от его слов и от того, как Бабья Погибель на моих глазах рассыпался весь ни с того ни с сего, меня такой страх пробрал и так я этого атакуса перепугался, что целую неделю каждый пень и каждый камень сапогом пинал, проверял чувствительность в ногах.

Бабья Погибель лежал на своей койке (хотя его уже сто раз могли с ранеными отправить, он захотел со мной остаться), и мысли, какие он в голове держал, точили его день и ночь, ежечасно и ежеминутно, и весь он высох, точно кусок мяса на солнце, глаза у него сделались большими, как у филина, а руки тряслись и дергались.

Кампания была окончена, полки один за другим отправляли восвояси, и, как всегда, делалось это без толку и без понятия, точно перемещение полков — дело новое, неиспробованное. Отчего это так, сэр? Ведь девять месяцев в году где-нибудь да идет война; и так год за годом, год за годом, и можно было бы уже успеть немного навоюстричься снабжать войска. Так нет! Каждый раз мы ахаем, точно девицы, которые шли в церковь да испугались рыжего быка: «Владычица заступница! — вопят у нас и в интендантствах, и на железной дороге, и в казармах. — Да что ж нам делать-то теперь?» Приходит приказ

в Тиронский полк, и в Старый полк тоже, и еще в полдюжины полков: «Выступать!»; потом, глядишь, опять все заглохло. Наконец снялись божьей милостью и пошли через Хайберский перевал. С нами отправляли больных, и я чувствовал, что половину растрясут на доли<sup>1</sup> до смерти, но они были готовы рискнуть жизнью, лишь бы поскорее до Пешавара добраться. Шли мы не в колонне, и, так как Бабья Погибель даже не пробовал вставать, я все время около его доли держался. «Эх, что ж я не подох в горах!» — то и дело говорил он, лежа за занавеской доли, и глаза закатывал, и голову на грудь ронял, — все мысли его терзали, покою ему не давали.

А Дина ждала меня в Пинди в казармах, но я не спешил и шагал со всей осторожностью, потому что известно: когда человеку до счастья рукой подать, тут на него беда и сваливается. Видал я раз одного батарейного ездового, который рысью скакал, распевая во всю глотку: «Родина, милая родина», и за поводья не держался; так вот, он на моих глазах свалился под пушку — на полуслове песня оборвалась, — и лафетом его разможило, точно лягушку на мостовой. Нет уж! Я не стал спешить, хотя, господь свидетель, душой я был уже в Пинди. Бабья Погибель понимал, что у меня на уме. «Ступай, Теренс, говорит, я ведь знаю, что тебя в Пинди ждет». «Ничего, говорю, подождет еще немного».

Знаете перевал перед Джамрудом, — после него еще дорога девять миль по равнине идет до Пешавара? Весь Пешавар там был, на этой дороге, — мужчины, женщины, ребятишки, оркестры, день и ночь поджидали своих. Часть войск лагерями стала вокруг Джамруда, а другие продолжали двигаться в Пешавар, к своим казармам. Перевалили мы рано на рассвете, всю ночь перед тем не спали; перевалили и угодили в самую толпу. Святая владычица! Вовек мне не забыть этого нашего возвращения. Еще и не рассвело как следует, и вдруг из сумерек донеслось: «Все горести прочь в эту чудную ночь!» — это какой-то оркестр принял нас за последние четыре роты Линкольнширского полка. Мы как заорем — объяснили им, кто мы такие, — и тогда они грянули «Зеленые мундиры». У меня аж мороз пошел по коже, тем более все это на пустой желудок. А прямо за нашим арьергардом шотландцы шли, остатки ихнего полка, — горстка юбочников

---

<sup>1</sup> Доли (хинд.) — носилки, паланкин.

и с ними четыре волынишки; наяривают за милую душу и задами виляют, скачут, как кролики; а там туземный полк, — вопят как резаные. Вы такого отродясь не слышали! Мужчины, точно бабы, ревели, и я их не сужу, честное слово. Но что меня совсем доконало, так это оркестр Уланского полка: одеты все с иголочки, сияют, точно ангелы, впереди большой барабан, литавры серебром сверкают! Своих они поджидали, а те за нами шли. Грянули они «Кавалерийский марш»; и эти бедолаги-кавалеристы, все раненые да больные, отозвались, — да еще как! Прямо заплясали в своих седлах. Мы попробовали было гаркнуть им чего-нибудь веселое, когда они мимо нас проходили, но вышло у нас то ли кашель, то ли всхлип — значит, многие среди наших то же чувствовали, что и я. Да, чуть не забыл! Там были еще Ночные Налетчики, они свой второй батальон поджидали, и вот идет батальон, а перед ним — лошадь полковника, под седлом и без всадника. Очень они этого полковника любили, а он по дороге помер, возле Али-Масджид. Ну, подождали они, пока весь батальон подойдет, да и заиграли похоронный марш и двинули в Пешавар медленным шагом, — конечно, приказа им такого не было, потому что кому охота в такой день похоронный марш слушать? У всех, кто слышал их, аж кишки перевертывались. Прямо поперек нашего строя шли, в этих своих черных мундирах, точно трубочисты, страшные, как смерть; другие оркестры обкладывали их как только могли. А они и не слушали никого: топают за телом, и хоть бы что: будь там хоть коронация, они и ее остановили бы. Нам было приказано в Пешавар шагать, и мы проскочили мимо Налетчиков чуть не бегом, и молча, лишь бы поскорее от этой музыки уйти. Вот как получилось, что мы впереди всех оказались.

У меня еще в ушах звенел их марш, когда я вдруг нутром почувствовал, что Дина здесь; и вот слышу крик, вижу — две женщины, одна на лошади, другая на пони, скачут по дороге во весь опор! Я сразу, сразу понял! Одна была жена тиронского полковника, старика Бейкера, — волосы седые развеваются, а сама толстая, кругленькая, так и прыгает в седле; ну а другая — моя Дина; не усидела она в Пинди. Полковница встала перед колонной, поперек дороги, как стена, и старика Бейкера чуть с лошади не сволокла, обхватила его за шею и всхлипывает: «Малыш! мой малыш!»; а Дина влево свернула и поска-

кала к флангу, и тут-то я крикнул — сколько уж месяцев этот крик во мне копился! — «Дина! Дина!» До смерти не забуду! Она из Пинди пешком пришла; потом уж ей полковница одолжила пони. И всю-то долгую ночь они плакали и обнимались, нас поджидая.

Ну вот, идет она рядом со мной, за руку меня держит, сорок вопросов разом мне задает и требует, чтобы я пречистой девой поклялся, что нет во мне пули ни одной, ни даже маленькой, и тут я вспоминаю про Бабью Погибель. А он все это время за нами следил, и лицо у него было, как у черта, которого на сковородке передержали. Не хотел я, чтобы Дина это увидела, потому что когда бабу счастье переполняет, она такая чувствительная делается, на ней любой пустяк может тлетворно отразиться. Задержал я занавеску, а Бабья Погибель лег и застонал.

Когда пришли мы в Пешавар, я отправил Дину в казармы, меня дожидаться, а сам таким богачом себя чувствовал, что решил проводить Бабью Погибель до госпиталя; это уж было последнее, что я мог для него сделать. А чтобы он не задыхался от пыли и жары, я носильщиков повел по дороге, на которой не было войск; и вот идем мы, разговариваем с ним через занавески, как вдруг он говорит:

«Дай мне взглянуть. Ради всего святого, дай мне взглянуть». Я так был занят своими мыслями о Дине и о том, как уберечь его от пыли, что по сторонам и не глядел. А там женщина какая-то верхом ехала, сразу за нами; после мы с Диной вспомнили, что эта самая женщина еще на дороге из Джамруда нам попадалась. Дина говорит, она кружила над нашим левым флангом, точно воздушный змей.

Остановил я носилки, чтоб занавески поправить, и тут она мимо проезжает шагом, а Бабья Погибель так ее глазами провожает, точно с седла хочет ее стащить.

«Идите за ней», — говорит нам; всего три слова, но никогда я не слыхал такого голоса у человека, никогда в жизни. По голосу его и по лицу я понял, что она-то и была эти самые «перлы и алмазы», о которых он твердил, когда на него находило.

Мы шли за ней, пока она не завернула в ворота одного двора возле арки Эдуарда. На веранде были какие-то девицы, но они убежали в дом, как только нас увидели. Поглядел я на дом и сразу понял, что собой представляет его хозяйка; без всякой разведки понял. Когда

кругом войска стоят, без таких женщин не обходится. У нас их было три или четыре, и всех в конце концов полиция прогнала. Подошли к веранде, Бабыя Погибель дыханье перевел и говорит: «Остановитесь». И тут — и тут он захрипел так, будто у него сердце выскакивало из груди, и на ноги поднялся; клянусь небом! Стоит, а пот по лицу так и катится! Войди покойный Маки сейчас к нам на веранду, и то было бы не так удивительно. Откуда у него силы взялись, бог его знает — или дьявол! Но это было как если бы мертвец восстал вдруг из могилы — лицом он был мертвец, дыханием мертвец, и все же дьявольская сила его держала, отдавала команды его рукам, ногам и телу.

А эта женщина стояла на веранде. Она, видно, была когда-то красавицей, но глаза у нее совсем провалились; оглядела она Бабыю Погибель с головы до ног, жутко так. «Ага, — говорит она и откидывает ногой хвост своей амазонки. — Женатый мужчина пришел! А что, говорит, ему здесь нужно?»

Бабыя Погибель ничего не сказал, только пена у него выступила на губах, он ее отер рукой и глядит на эту женщину, как она стоит перед ним вся размалеванная — глядит на нее и глядит, глаз не сводит.

«А ведь и впрямь, — говорит она и смеется; а слышали вы, как жена Рэйнза смеялась, когда Маки упал? Нет? Ну, повезло вам. — И впрямь, говорит, уж кто-кто, а ты имеешь полное право сюда прийти. Ты меня на путь вывел, ты мне дорогу указал, говорит. Гляди теперь, твоя ведь все это работа. Ты мне говорил, помнишь, что если женщина одному была неверна, она изменит и другому: Так и вышло, говорит, так и вышло, я ведь всегда любой урок на лету схватывала, Эллис. Гляди теперь хорошенько, говорит, это я и есть, та самая, кого ты называл своей женой перед богом». Сказала и снова засмеялась.

Бабыя Погибель стоял на солнце и молчал. Потом не то застонал, не то закашлялся, и я думал, это предсмертный хрип, но он по-прежнему глаз с нее не сводил, даже и не моргнул ни разу. А у нее ресницы были — хоть скрепляй ими солдатскую палатку, такие длинные.

«Зачем ты пришел? — говорит она, и не торопится. — Что тебе тут делать? Семейю мою ты еще пять лет назад сгубил — сделал так, что муж мне стал немил; покой ты у меня отнял, тело мое умертвил, душу проклятью предал — и все только из любопытства! Ну как с тех пор

твой жиз-нен-ный опыт? Наопытничал с другими бабами? Нашел такую, которая больше тебе отдала, чем я? Или я не готова была умереть ради тебя, Эллис? Или ты этого не знаешь? Знаешь, дружок! Знаешь — если только твоя лживая душа хоть один раз в жизни признала правду!»

А Бабья Погибель поднял голову и говорит: «Знаю!» — и замолчал опять. Все время, пока она говорила, адская сила держала его навтыжку, как на параде; стоит на самом солнцепеке, а пот так и льется из-под шлема. Рот у него кривился и дергался, и говорить он почти совсем не мог.

«Зачем ты пришел? — говорит она, визгливо так, а прежде голос у нее был точно колокольчик. — Отвечай! Или ты проглотил свой бесовский язык, который погубил всю мою жизнь? Раньше ты за словом в карман не лез».

Тут Бабья Погибель совладал с собой и сказал просто, как ребенок: «Можно, говорит, мне войти?»

«Мой дом открыт и днем, и ночью», — отвечает она со смехом. Бабья Погибель пригнулся и руку вскинул, будто закрывался от чего. Адская сила его еще держала, крепко держала, потому что тут он — пропади моя душа! — тут он поднялся по ступенькам на веранду, это он-то, который месяц трупом в лазарете провалялся!

«Ну что?» — говорит она и глядит на него, а лицо у нее совсем белое сделалось, только рот покрашенный на нем горит, точно яблочко в центре мишени.

Он голову поднял, медленно-медленно, и долго-долго на нее смотрел, а после зубы сжал, весь передернулся и через муку свою говорит:

«Я умираю, Иджипт, умираю».

Да-да, так и сказал, и я запомнил имя, которым он ее назвал. Лицом он посерел, как мертвец, но глаз не сводил с нее: глаза его были прикованы, прямо прикованы к ней. И тут она вдруг руки к нему протянула и говорит: «Иди ко мне!» А голос у нее при этом — чудо золотое! «Умри у меня на груди!» — говорит, и Бабья Погибель повалился вперед, а она его подхватила; женщина была сильная, крупная.

Я и отвернуться не успел, как душа его отлетела; вырвалась из тела с последним хрипом; а она уложила его в шезлонг и говорит мне: «Господин солдат, может, вы переждете да с какой-нибудь из девушек поболтаете? Ему на таком солнце не выдержать дороги».

Ну я-то знал, что ему теперь никакое солнце уже не повредит, но ответить ей я не смог и отправился с пустыми носилками доктора разыскивать. А доктор все это время подкреплялся, то завтракал, то обедал, и нагнулся по самые уши.

«Быстро ты набрался,— говорит он мне, когда я ему обо всем рассказал,— если тебе привиделось, что этот полупокойник по верандам разгуливает. Еще когда я его в Джамруде видел, в нем жизни оставалось на одну понюшку. Тебя, пожалуй, под арест надо посадить».

«Винным духом, доктор, тут и впрямь несет откуда-то,— говорю я ему без всяких шуток.— Это я чувствую. Но только вам бы надо пойти на тело поглядеть».

«Экая пакость,— говорит он,— в такое место гнусное идти. Как она из себя, красивая?» А сам уж припустил.

Эти двое все еще на веранде были, где я их оставил; и по тому, как каркали вороны и как у нее голова лежала, я сразу понял, что там стряслось. Никогда больше я не видел, чтобы женщина из пистолета в себя стреляла. Обычно они выстрела боятся; но «перлы и алмазы» не побоялась.

Тронул доктор ее черные волосы — они у Бабьей Погибели по всей груди рассыпались, — и тут хмель с него соскочил. Долго он стоял, задумавшись, руки в карманах, и наконец говорит мне: «В обоих случаях смерть произошла от естественных причин, да, от естественных причин. В нынешнем нашем положении чем меньше придется солдатам копать могил, тем лучше. *Исивасте*<sup>1</sup>, говорит, исивасте, капрал Малвени, пусть этих похоронят вместе, на гражданском кладбище, за мой счет. И пусть, говорит, господь наш всеблагой обо мне так же позаботится, когда мое время придет. Ступай к жене, говорит, и будь счастлив. Я тут сам распоряжусь».

Когда я уходил, он все еще стоял, задумавшись. Так их и похоронили — вместе, на гражданском кладбище, по англиканскому обряду. Похороны в те дни шли с утра до ночи, и было не до формальностей. К тому же доктор — он после сбежал с женой майора... майора Вандейса, — доктор сам обо всем распорядился. А что между ними было доброго или худого, между Бабьей Погибелью и «перлами-алмазами», я не знаю, да и не узнаю никогда. Рассказал я только то, что видел своими глазами и слы-

---

<sup>1</sup> Исивасте (*хинд.*) — именно поэтому.

шал своими ушами. Много чего мне узнать довелось в жизни, много я испытал; потому и говорю, что Маки, который прямо в ад отправился от пули, — счастливчик; так уж бывает, сэр, что лучше мужчине умереть, чем живым остаться, а уж для бабы, так это в сорок миллионов раз лучше.

— Ну, подъем! — сказал Ортерис. — Пора идти.

Караульные и свидетели построились, утопая в глубокой белой пыли, и исчезли в вечерних сумерках. Весело отбивая шаг и насвистывая, они дошли до деревьев, росших возле церкви, и я услышал голос Ортериса, который устами, оскверненными недавним клятвопреступлением, затынул, к месту и вовремя, песню на залихватский плясовой мотив:

Умишка у старших не грех подзанять,  
Когда со своим туговато:  
По рту каравай себе подбирай, —  
Девчонка отшила солдата!  
Солдата! Солдата!  
Отшила девчонка солдата! <sup>1</sup>

### БЕЛЫЙ КОТИК

Усни, мой сыночек; так сладко качаться  
Ночною порою в ложбинке волны!  
А месяц все светит, а волны все мчатся,  
И снятся, и снятся блаженные сны.

Пучина морская тебя укачает,  
Под песню прибоя ты ночьку проспшишь;  
Ни рифы, ни мели в такой колыбели  
Тебе не опасны — усни, мой малыш.

*Котиковая колыбельная*

Все, о чем я сейчас расскажу, случилось несколько лет назад в бухте под названием Нововосточная, на северо-восточной оконечности острова Святого Павла, что лежит далеко-далеко в Беринговом море. Историю эту мне поведал Лиммершин — зимний королек, которого прибило ветром к снастям парохода, шедшего в Японию. Я взял королька к себе в каюту, обогрел и кормил до тех пор, покуда он не набрался сил, чтобы долететь до своего род-

<sup>1</sup> Перевод Д. Шнеерсона.

ного острова — того самого острова Святого Павла. Лиммершин — престранная птичка, но на его слова можно положиться.

В бухту Нововосточную не заходят без надобности, а из всех обитателей моря постоянную надобность в ней испытывают одни только котики. В летние месяцы сотни тысяч котиков приплывают к острову из холодного серого моря — и немудрено: ведь берег, окаймляющий бухту, как нарочно придуман для котиков и не сравнится ни с каким другим местом в мире.

Старый Секач хорошо это знал; каждый год, где бы его ни застала весна, он на всех парах — ни дать ни взять торпедный катер — устремлялся к Нововосточной и целый месяц проводил в сражениях, отвоеывая у соседей удобное местечко для своего семейства — на прибрежных скалах, поближе к воде. Секач был огромный серый самец пятнадцати лет от роду; плечи его покрывала густая грива, а зубы были как собачьи клыки — длинные и острые-преострые. Когда он опирался на передние лапы, его туловище поднималось над землей на добрых четыре фута, а весу в нем — если бы кто-нибудь отважился его взвесить — наверняка оказалось бы фунтов семьсот, не меньше. С головы до хвоста он был разукрашен рубцами — отметинами былых боев, но в любую минуту готов был ввязаться в новую драку. Он даже выработал особую боевую тактику: сперва наклонял голову набок, словно не решаясь взглянуть в глаза противнику, а потом с быстротой молнии вцеплялся мертвой хваткой ему в загривок — и тогда уж его соперник мог рассчитывать только на себя, если хотел спасти свою шкуру.

Однако побежденного Секача никогда не преследовал, ибо это строго-настрого запрещалось Береговыми Правилами. Ему нужно было всего-навсего закрепить за собой добытую в боях территорию, но поскольку ежегодно с приближением лета тем же занимались еще тысяч сорок, а то и пятьдесят его родичей, то рев, рык, вой и гул на берегу стояли просто ужасающие.

С небольшого холма, который зовется сопкой Гутчинсона, открывался вид на береговую полосу длиной в три с половиной мили, сплошь усеянную дерущимися котиками, а в пене прибоя мелькали там и сям головы новоприбывших, которые спешили выбраться на сушу и принять посильное участие в побоище. Они бились в волнах, они бились в песке, они бились на обточенных морем

базальтовых скалах, потому что были так же твердолобы и неуступчивы, как люди. Самки не появлялись на острове раньше конца мая или начала июня, опасаясь, как бы их в пылу сражения не разорвали на куски, а молодые, двух-, трех- и четырехлетние котики — те, что еще не обзавелись семьями, — торопились пробраться сквозь ряды бойцов подалее в глубь острова и там резвились косяками на песчаных дюнах, не оставляя после себя ни травинки, ни былинки. Такие котики звались холостяками, и собиралось их ежегодно в одной только Нововосточной не меньше двух-трех сотен тысяч.

В один прекрасный весенний день, когда Секач только что победно завершил свой сорок пятый бой, к берегу подплыла его супруга Матка — гибкая и ласковая, с кроткими глазами. Секач ухватил ее за загривок и без церемоний водворил на отвоеванное место, проворчав:

— Вечно опаздываешь! Где это ты пропадала?

Все четыре месяца, что Секач проводил на берегу, он по обычаю котиков не ел ни крошки и потому пребывал в отвратительном настроении. Зная это, Матка не стала ему перечить. Она огляделась вокруг и промурлыкала:

— Как мило, что ты занял наше прошлогоднее место!

— Надо думать! — мрачно отозвался Секач. — Ты только посмотри на меня!

Он был сверху донизу покрыт кровоточащими ранами, один глаз у него почти закрылся, а бока были изодраны в клочья.

— Ах, мужчины, мужчины! — вздохнула Матка, обмахиваясь правым задним ластом. — И почему бы вам не договориться между собой по-хорошему? У тебя такой вид, будто ты побывал в зубах у Кита-Касатки.

— Я с середины мая только и делаю, что дерусь. Нынешний год берег забит до неприличия. Местных котиков без счета, да вдобавок не меньше сотни луканнонских, и всем нужно устроиться. Нет чтобы сидеть на своем законном берегу — все лезут сюда.

— По-моему, нам было бы гораздо покойнее и удобнее на Бобровом острове, — заметила Матка. — Чего ради ютиться в такой тесноте?

— Тоже скажешь — Бобровый остров! Что я, холостяк какой-нибудь? Отправься мы туда, так нас засрамят. Нет уж, голубушка, полагается марку держать.

И Секач с достоинством втянул голову в плечи и приготовился вздремнуть, хотя ни на секунду не терял бое-

вой готовности. Теперь, когда все супружеские пары были в сборе, рев котиков разносился на много миль от берега, покрывая самый яростный шторм. По самым скромным подсчетам, тут скопилось не меньше миллиона голов — старые самцы и молодые мамыши, сосунки и холостяки; и все это разнокалиберное население дралось, кусалось, верещало, пищало и ползало, то спускалось в море целыми ротами и батальонами, то выкарабкивалось на сушу, покрывало берег, насколько хватал глаз, и повзводно совершало вылазки в туман. Нововосточная постоянно окутана туманом; редко-редко проглянет солнце, и тогда капельки влаги засветятся, как россыпи жемчуга, и все вокруг вспыхнет радужным блеском.

Посреди всей этой сутолоки и родился Котик, сын Матки. Как прочие новорожденные детеныши, он почти целиком состоял из головы и плеч, а глаза у него были светло-голубые и прозрачные, как водичка. Но мать сразу обратила внимание на его необычную шкурку.

— Знаешь, Секач, — сказала она, разглядев малыша как следует, — наш сынок будет белый.

— Клянусь сухой морской травой и тухлыми моллюсками! — фыркнул Секач. — Не бывало еще на свете белых котиков.

— Что поделаешь, — вздохнула Матка, — не бывало, а теперь будет.

И она запела-замурлыкала тихую песенку, которую все мамы первые шесть недель поют своим маленьким котикам:

Плавать в море, мой маленький, не торопись:  
Головенка потянет на дно.  
На песочке резвись  
И штормов берегись,  
Да злодея кита заодно.

Подрастешь — и не будешь бояться врагов:  
Уплывешь от любого шутя!  
А покуда терпи  
И силенки копи,  
Океанских просторов дитя!

Малыш, разумеется, еще не понимал слов. Поначалу он только ползал и перекаtywался с боку на бок, держась поближе к матери, но скоро научился не путаться под ногами у взрослых, в особенности когда его отец затевал с кем-то ссору и на скользких прибрежных камнях раз-

горался отчаянный бой. Матка надолго уплывала в море добывать пищу и кормила Котика только раз в два дня, но уж тогда он наедался вволю и рос как на дрожжах.

Чуть только Котик немного окреп, он перебрался на сушу подальше от берега и примкнул к многотысячной компании своих ровесников. Они тотчас же подружились: вместе играли, как щенята, наигравшись, засыпали на чистом песке, а после снова принимались за игру. Старые самцы не устаивали их вниманием, молодые держались особняком, и малыши могли резвиться сколько влезет.

Возвратившись с охоты, Матка сразу пробиралась к детской площадке и подавала голос — так овца кличет своего ягненка. Дождавшись, покуда Котик завершит в ответ, она напрямик направлялась к нему, врезаясь в толпу сосунков и расшвыривая их направо и налево. На детской площадке одновременно могло оказаться несколько сот мамаш, которые столь же решительно действовали передними лапами в поисках своего потомства, так что молодежи приходилось держать ухо востро. Но Матка резонно объяснила Котику: «Если ты не будешь бултыхаться в грязной воде, и не подцепишь чесотку, и не занесешь песок в свежую ссадину, и не вздумаешь плавать, когда на море большие волны, — ты останешься цел и невредим».

Как и маленькие дети, детеныши котиков от рождения не умеют плавать, но они не успокаиваются, пока не научатся. Когда наш Котик впервые отважился ступить в воду, набежавшая волна подхватила его и понесла, и сразу же головенка потянула его на дно — в точности как пела ему мама, — а задние лапы затрепыхались в воздухе; и если бы вторая волна не выбросила его на сушу, тут бы ему и конец.

После этой истории он поумнел и стал плескаться и барахтаться в прибрежных лужах, там, где волны только мягко перекатывались через него, и при этом все время глядел в оба — не идет ли часом страшная большая волна. За две недели он выучился работать лапами, потому что трудился всюду: нырял, выныривал, захлебывался, отфыркивался, то выбирался на берег и задремывал на песочке, то снова спускался к воде — пока наконец не почувствовал себя в своей стихии.

И тут — вы можете себе представить, какое веселое время началось для Котика и всех его сверстников. Чего только они не выдумывали: и ныряли под набегавшие

мелкие волны; и катались на пенистых гребнях бурунов, которые выносили их на берег с шумом и плеском; и стояли в воде торчком, опираясь на хвост и почесывая в затылке, как старые заправские пловцы; и играли в салки на скользких, поросших водорослями камнях. Бывало и так, что Котик вдруг замечал скользивший вдоль самого берега острый, похожий на акулий, плавник; и тогда, узнав Кита-Касатку — того самого, что непрочь поохотиться на несмышленных малышей, — наш Котик стрелой летел на сушу, а плавник неторопливо удалялся, словно попал сюда по чистой случайности.

В последних числах октября котики стали покидать остров Святого Павла и уплывать в открытое море. Многие семейства объединялись между собой; битвы за лежки прекратились, и холостякам теперь было раздолье.

— На будущий год, — сказала Котику мать, — и ты вырастешь и станешь холостяком; а пока надо учиться ловить рыбу.

И Котик тоже отправился в плавание через Тихий океан, и Матка показала ему, как спать на спине, поджав ласты и выставив из воды один только нос. Нет на свете лучше колыбели, чем океанские волны, и Котику спалось на них сладко. В один прекрасный день он ощутил странное беспокойство — кожу его словно подергивало и покалывало, но мать объяснила ему, что у него просто начинает вырабатываться «чутье воды» и что такое покалывание предвещает плохую погоду: значит, надо поскорее плыть прочь.

— Когда ты еще немножко подрастешь, — сказала она, — ты сам будешь знать, в какую сторону плыть, а пока что плыви за дельфином — Морской Свиньей: уж они всегда знают, откуда ветер дует.

Мимо как раз проплывал большой косяк дельфинов, и Котик что было сил пустился их догонять.

— Как вы узнаете, куда плыть? — спросил он, еле переводя дух.

Вожак дельфиньей стаи повел на него белым глазом, нырнул, вынырнул и ответил:

— Я чую непогоду хвостом, молодой человек! Если по хвосту бегут мурашки, это значит, что буря надвигается сзади. Плыви и учись! А если хвост у тебя защекочет к югу от Их Ватера (он подразумевал Экватор), то знай, что шторм впереди, и скорей поворачивай. Плыви и учись! А вода здесь мне что-то не нравится!

Это был один из многих-многих уроков, которые получил Котик, а учился он очень прилежно. Мать научила его охотиться на треску и палтуса, подстерегая их на мелких местах, и добывать морского налима из его укромного убежища среди водорослей; научила нырять на большую глубину и подолгу оставаться под водой, обследуя затонувшие корабли; показала, как весело там играть, подражая рыбкам — юркнуть в иллюминатор с одного борта и пулей вылететь с противоположной стороны; научила в грозу, когда молнии раскалывают небо, плясать на гребнях волн и махать в знак приветствия лапами проносящимся над водой тупохвостым Альбатросам и Фрегатам; научила выскакивать из воды на манер дельфинов, поджав лапы и оттолкнувшись хвостом, и подлетать вверх на три-четыре фута; научила не трогать летучих рыб, потому что они чересчур костлявы; научила на полном ходу, на глубине десяти морских саженей, вырывать из тресковой спинки самый лакомый кусок; и, наконец, научила не задерживаться и не глазеть на проходящие суда, паче всего на шлюпки с гребцами. По прошествии полугода Котик знал о море все, что можно было знать, а чего не знал, того и знать не стоило, и за все это время он ни разу не ступил ластом на твердую землю.

Но в один прекрасный день, когда Котик дремал в теплой воде неподалеку от острова Хуан-Фернандес, его вдруг охватила какая-то неясная истома — на людей нередко так действует весна, — и ему вспомнился славный твердый берег Нововосточной, от которой его отделяли семь тысяч миль; вспомнились ему совместные игры и забавы, пряный запах морской травы, рев и сражения котиков. И в ту же минуту он развернулся и поплыл на север — и плыл, и плыл без усталости, и по пути десятками встречал своих товарищей, и все они плыли в ту же сторону, и все приветствовали его, говоря:

— Здорово, Котик! Мы все теперь холостяки, и мы будем плясать Танец Огня в бурунах Луканнона и кататься по молодой траве. Но откуда у тебя такая шкурка?

Мех у нашего Котика был теперь чисто белый, и втайне он им очень гордился, но замечаний по поводу своей внешности терпеть не мог и потому только повторял:

— Плываем скорее! Мои косточки истосковались по твердой земле.

И вот наконец все они приплыли к родным берегам и услышали знакомый рев — это старые котики, их отцы, как обычно, дрались в тумане.

В ту же ночь наш Котик вместе с другими годовалыми юнцами отправился плясать Танец Огня. В летние ночи море между Нововосточной и Луканноном светится фосфорическим блеском. Плывущий котик оставляет за собою огненный след, от любого прыжка в воздух взлетает целый сноп голубоватых искр, а волны устраивают у берега настоящий праздничный фейерверк. Наплясавшись, все двинулись в глубь острова, на законную холостяцкую территорию, и катались там всласть по молоденьким росткам дикой пшеницы, и рассказывали друг другу о своих морских приключениях. О Тихом океане они говорили так, как говорят мальчишки о соседнем леске, который они облазили вдоль и поперек, собирая орехи; и если бы кто-нибудь подслушал и запомнил их разговор, он мог бы составить такую подробную морскую карту, какая и не снилась океанографам.

Как-то раз с сопки Гутчинсона скатилась вниз компания холостяков постарше — трех- и четырехлеток.

— Прочь с дороги, молокососы! — заревели они. — Море необъятно — что вы в нем смыслите? Сперва подрастите да доплывите до мыса Горн! Эй ты, недомерок, где это ты раздобыл такую шикарную белую шубу?

— Нигде не раздобыл, — сердито буркнул Котик, — сама выросла.

Но только он приготовился налететь на своего обидчика, как из-за высокой дюны появилось двое черноволосых, краснолицых людей, и Котик, никогда еще не видевший человека, поперхнулся и втянул голову в плечи. Холостяки подались назад на несколько ярдов и уселись, тупо глядя на обоих пришельцев. Между тем один из них был не кто иной, как Кирьяк Бутерин, самый главный по части промысла котиков на острове Святого Павла, а второй — его сын Пантелеймон. Они жили в селении неподалеку от котиковых лежбищ и, как обычно, пришли отобрать животных, которых погонят на убой (потому что котиков гонять, как домашний скот), для того чтобы потом изготовить из их шкур котиковые манто.

— Глянь-ка! — сказал Пантелеймон. — Белый котик!

Кирьяк Бутерин от страха сам почти что побелел — правда, это было трудно заметить под слоем сала и копоти, покрывавшим его плоское лицо: ведь он был алеут,

а алеуты не отличаются чистоплотностью. На всякий случай он забормотал молитву.

— Не трожь его, Пантелеймон! Сколько живу, я еще не видывал белого котика. Может, это дух старика Захарова, что потонул прошлый год в большую бурю?

— Избави бог, я и близко не подойду, — отозвался Пантелеймон. — Не было бы худа! А ну как то и впрямь старик Захаров? Я еще задолжал ему за чайчьи яйца!

— Не гляди на него, — посоветовал Кирьяк. — Отрежь-ка от стада вон тот косячок четырехлеток. Хорошо бы сегодня пропустить сотни две, да рано еще, ребята руку не набили, для начала будет с них и сотни. Давай!

Пантелеймон затрещал перед носом у холостяков самодельной трешоткой из моржовых костей, и животные замерли, пыхтя и отдуваясь. Тогда он двинулся прямо на них, и котики стали отступать, а Кирьяк обошел их с тыла и направил в глубь острова — и все покорно заковыляли наверх, даже не пытаясь повернуть обратно. Их гнали вперед на глазах у сотен и сотен тысяч их же товарищей, а те продолжали резвиться как ни в чем не бывало. Белый котик был единственный, кто кинулся к старшим с вопросами, но никто не мог толково ему ответить — все твердили, что люди всегда приходят и угоняют холостяков неизвестно куда, и длится это полтора-два месяца в году.

— Коли так, то пойду-ка и я за ними, — объявил наш Котик и пустился во всю прыть догонять косяк. Он так спешил, что глаза у него чуть не вылезли из орбит от напряжения.

— Белый нас догоняет! — закричал Пантелеймон. — Виданное ли дело, чтобы зверь по своей охоте шел на убой?

— Ш-ш! Не оглядывайся, — сказал Кирьяк. — Как пить дать, это Захаров! Не забыть бы сказать попу.

До убойного места было не больше полумили, однако на этот путь ушел добрый час: Кирьяк знал, что если зверей гнать слишком быстро, они «загорят», как выражаются промышленники, мех станет вылезать, и на свежесодранных шкурах образуются проплешины. Поэтому процессия двигалась медленно; она миновала перешеек Морских Львов и Дом Вебстера и наконец добралась до засольного сарая; откуда уже не виден был усеянный котиками берег. Наш Котик по-прежнему шлепал в хвосте, пыхтя и недоумевая. Он решил бы, что здесь уже конец

света, когда бы не слышал за собой рев своих сородичей на лежбище, похожий на грохот поезда в туннеле. Кирьяк уселся на замшелую кочку, вытащил из кармана оловянные часы-луковицу и дал животным остыть полчаса. Так они сидели друг против друга, и Котик слышал, как стучат по земле капли буса, скатываясь с шапки Бутерина. Потом появилось еще десятка с полтора людей, вооруженных дрыгалками — трехфутовыми, окованными железом дубинками; Кирьяк указал им зверей, «загоревших» во время отгона или покусанных товарищами, и люди ударами грубых сапог из моржовой кожи отшвырнули их в сторону; и тогда Кирьяк крикнул: «Поехали!», и люди с дубинками, кто во что горазд, замолотили котиков по голове.

Спустя десять минут все было кончено: на глазах у Котика его товарищей освеживали, вспарывая туши от носа к задним лапам, и на земле выросла грудa окровавленных шкур.

Такого Котик вынести уже не мог. Он повернулся и галопом помчался к берегу (котики способны проскакать небольшое расстояние очень быстро), и его недавно только отросшие усы топорщились от ужаса. Добравшись до перешейка Морских Львов, обитатели которого не жили в пене прибоя, он кубарем скатился в воду и принялся раскачиваться в бессильном отчаянии, горько-прегорько всхлипывая.

— Что еще там стряслось? — брюзгливо обратился к нему один из морских львов (обыкновенно они держатся особняком и ни во что не вмешиваются).

— *Скучно! Очень скучно!* — пожаловался Котик. — Убивают холостяков! Всех холостяков убивают!

Морской Лев повернул голову в ту сторону, где находились котиковые лежбища.

— Вздор! — возразил он. — Твои родичи галдят не меньше прежнего. Ты, верно, видел, как старик Бутерин обработал какой-нибудь косяк? Так он это делает уже почитай лет тридцать.

— Но ведь это ужасно! — сказал Котик, и тут как раз на него накатила волна; однако он сумел удержать равновесие и с помощью ловкого маневра лапами остановился в воде как вкопанный — в трех дюймах от острого края скалы.

— Недурно для одногодка! — одобрительно заметил Морской Лев, умеющий оценить хорошего пловца. — Да,

ты, пожалуй, прав: приятного тут мало, но ведь вы, котики, сами виноваты. Если вы из года в год упорно возвращаетесь на старые места, люди смотрят на вас как на свою законную добычу. Видно, вам на роду написано подставлять голову под дубинку — разве что отыщется для вас такой остров, куда не смогут добраться люди.

— А нет ли где такого острова? — поинтересовался Котик.

— Я двадцать лет без малого охочусь на палтуса, но безлюдных островов не встречал. Впрочем, я вижу, ты не робкого десятка и очень любишь приставать к старшим с расспросами. Плыви-ка ты на Моржовый остров и разыщи там Сивуча. Может, и услышишь от него что-нибудь дельное. Да погоди, не кидайся ты сразу плыть! Дотуда добрых шесть миль, и на твоём месте, голубчик, я бы сперва вылез на берег и часок соснул.

Котик послушался доброго совета: доплыл до своего берега, вылез на сушу и поспал полчаса, то и дело вздрагивая всей кожей — такая уж у котиков привычка. Проснувшись, он тут же пустился в путь к Моржовому острову — так называют небольшой островок, что лежит к северо-востоку от Нововосточной. На его скалистых уступах испокон веку гнездятся чайки, и, кроме птиц да моржей, там никого и нет.

Наш Котик сразу отыскал Сивуча — огромного, уродливого, неповоротливого тихоокеанского моржа, с жирной шеей и длиннющими клыками, покрытого противными наростами и ужасно невоспитанного. Выносить общество Сивуча можно только когда он спит, а в этот миг он как раз почивал сном праведника, выставив из воды задние лапы.

— Эй! Проснись! — рявкнул Котик что было сил — ему надо было перекричать чаек.

— Ха! Хо! Хм! Что такое? — сонно прохрипел Сивуч и на всякий случай ткнул клыками в бок своего соседа и разбудил его, а тот разбудил моржа, спавшего рядом, а тот следующего — и так далее, так что вскоре вся моржовая колония проснулась и недоуменно хлопала глазами, но Котика никто не замечал.

— Эге-гей! Вот он я! — крикнул Котик, подскакивая на волнах, как белый мячик.

— Ах, чтоб меня... ободрали! — произнес с расстановкой Сивуч, и все моржи поглядели на Котика — в точ-

ности так, как поглядели бы на дерзкого мальчишку пожилые завсегдагаи лондонского клуба, расположившиеся в креслах вздремнуть после обеда.

Котику решительно не понравилось выражение, которое употребил Сивуч: слишком живо стояла перед ним картина, с этим связанная. Поэтому он пристудил прямо к делу и крикнул:

— Не знаешь ли ты такого места для котиков, где нет людей?

— Ступай поищи, — ответил Сивуч, снова прикрыв глаза. — Плыви своей дорогой. У нас тут дела поважнее.

Тогда наш Котик подпрыгнул высоко в воздух и заорал во всю глотку:

— Слизнеед! Слизнеед!

Он знал, что Сивуч не поймал за всю жизнь ни одной рыбки и кормится одними водорослями да слизняками-моллюсками, хотя и строит из себя необыкновенно грозную персону. Разумеется, все птицы, сколько их было на острове, — и глупыши, и говорушки, и топорики, и чайки-ипатки, и чайки-моевки, и чайки-бургомистры, которых хлебом не корми, только дай понасмешничать, — все до одной тотчас же подхватили этот крик, и, если верить Лиммершину, минут пять на острове стоял такой гам, что даже пушечного выстрела никто бы не услышал. Все пернатое население что было мочи верещало и вопило: «Слизнеед! *Старик!*», а бедняга Сивуч знай кряхтел да ворочался с боку на бок.

— Ну? Теперь скажешь? — еле выдохнул Котик.

— Ступай спроси у Морских Коров, — ответил Сивуч. — Если они еще плавают в море, они тебе скажут.

— А как я узнаю Морских Коров? Какие они? — спросил Котик, отчаливая от берега.

— Изо всех морских жителей они самые мерзкие на вид! — прокричала одна особенно нахальная чайка-бургомистр, кружась перед самым носом у Сивуча. — Они еще противнее, чем Сивуч! Противнее и невоспитаннее! *Стари-и-ик!*

Провожаемый пронзительными воплями чаек, Котик поплыл назад к Нововосточной. Но когда он поделился с сородичами своим намерением отыскать в море остров, где котики могли бы жить в безопасности, то сочувствия он не нашел. Все в один голос твердили ему, что отгон — дело обычное, что так уж исстари повелось и что нечего было соваться на убойную площадку, коль

скоро он такой впечатлительный. Правда, тут имелось одно существенное отличие: никто из остальных котиков не видел, как бьют ихнего брата. Кроме того, как вы помните, наш Котик был белый.

Старый Секач, прослышав о похождениях сына, заметил:

— Думай-ка лучше о том, чтоб поскорее подрасти да стать, как твой отец, большим и сильным, да завести семью — и никто тебя пальцем не тронет. Лет через пять ты отлично сможешь за себя постоять.

И даже кроткая Матка сказала:

— Ты не в силах ничего изменить, Котик. Плыви поиграй.

И Котик поплыл в море, но даже когда он плясал Танец Огня, на сердце у него было невесело.

В ту осень он покинул родные берега в числе первых и пустился в дальний путь в одиночку, потому что в его упрямой головенке засела тайная мысль: во что бы то ни стало отыскать Морских Коров, если только они взаправду существуют, и с их помощью найти безлюдный остров, где котики могли бы жить в довольстве и покое. И он обшарил весь Тихий океан вдоль и поперек, и пересек его с севера на юг, проплывая до трехсот миль в сутки. На пути с ним было столько приключений, что ни в сказке сказать, ни пером описать: он еле спасся от Гигантской Акулы, ускользнул от Пятнистой Акулы, увильнул от Молот-Рыбы, перевидал всех бороздящих океан бездомных бродяг, болтунов и бездельников, свел знакомство с важными и чинными глубоководными рыбами, побеседовал с пестрыми моллюсками-гребешками, которые кичатся тем, что прочно приросли к морскому дну и сотни лет не двигаются с места; но ни разу он не встретил Морских Коров и нигде не обнаружил острова, который пришелся бы ему по вкусу.

Если берег попадался твердый и удобный и при этом достаточно отлогий, чтобы по нему легко было взбираться, то на горизонте непременно просматривался дымок китобойного судна, на котором топили ворвань, а Котик уже знал, что это значит. На многих островах он находил следы пребывания своих родичей, истребленных людьми, а Котик знал и то, что, посетив какой-либо берег однажды, люди снова вернутся туда.

Он свел дружбу с одним старым тупохвостым альбатросом, который порекомендовал ему остров Кергелен,

где всегда царит тишина и покой; но на пути к нему наш Котик попал в ужасную грозу с градом и чуть не расстался с жизнью среди щербатых береговых утесов. Отчаянно борясь с ветром, он все же пробился к острову и увидел, что и на Кергелене жили когда-то котики. И так было со всеми островами, где он побывал.

Лиммершин перечислил мне все эти острова, и список получился длинный, потому что Котик провел в странствиях целых пять лет, лишь на четыре летних месяца возвращаясь домой, где все потешались над ним и над его несуществующими островами. Он побывал на засушливых Галапагосских островах, расположенных на самом экваторе, и там чуть не испекся заживо; он побывал на островах Джорджии, на Оркнейских островах, на островах Зеленого Мыса, на Малом Соловьином острове, на острове Гофа, на острове Буве, на островах Крозе и еще на крохотном безымянном островке южнее мыса Доброй Надежды. И повсюду он слышал от Жителей Моря одну и ту же историю: было время, когда в этих местах водились котики, но люди истребили их всех. Даже когда наш путешественник, возвращаясь с острова Гофа, отклонился от курса на много тысяч миль и добрался до мыса Корриентес, он обнаружил там на утесах сотни три жалких, облезлых котиков, и они рассказали ему, что и сюда нашли дорогу люди.

Тут уж сердце его не выдержало, и он обогнул мыс Горн и решил плыть на север, домой. По пути он сделал остановку на небольшом островке, густо поросшем зелеными деревьями, и набрел там на старого-престарого, доживавшего свой век котика. Наш герой стал ловить для него рыбу и поведал ему все свои горести.

— А теперь, — сказал он напоследок, — я решил вернуться домой, и пускай меня гонят на бойню: мне уже все равно.

— Погоди, не отчаивайся, — посоветовал его новый знакомец. — Я последний из погибшего племени котиков с острова Масафуэра. Давным-давно, когда люди били нас сотнями тысяч, по берегам ходили слухи, что будто бы настанет такой день, когда с севера приплывет белый котик и спасет весь наш народ. Я стар и не доживу до этого дня, но, может быть, его дождутся другие. Попытайся еще разок!

Котик гордо закрутил свои усы (а усы у него выросли роскошные) и сказал:

— Во всем мире есть только один белый котик — это я; и я единственный котик на свете, неважно — белый или черный, который додумался до того, что надо найти новый остров.

Произнеся это, он ощутил новый прилив сил; но когда он добрался до дому, мать стала упрашивать его нынче же летом жениться и обзавестись семейством: ведь Котик был уже не холостяк, а самый настоящий секач. Он отрастил густую, волнистую белую гриву и с виду был такой же грузный, мощный и свирепый, как и его отец.

— Позволь мне повременить еще год, — упорствовал Котик. — Мне будет семь, а ты ведь знаешь, что семь — число особое: недаром седьмая волна дальше всех выплескивает на берег.

По странному совпадению, среди знакомых Котика нашлась одна молодая особа, которая тоже решила годик повременить до замужества; и Котик плясал с ней Танец Огня у берегов Луканнона в ночь перед тем, как отправиться в свое последнее путешествие.

На сей раз он поплыл в западном направлении, преследуя большой косяк палтуса, поскольку теперь ему требовалось не менее ста фунтов рыбы в день, чтобы сохранить кондицию. Котик охотился, пока не устал, а потом свернулся и улегся спать, покачиваясь в ложбинках воли, омывающих остров Медный. Окрестность он знал назубок; поэтому когда его вынесло на мель и мягко стукнуло о водоросли на дне, он тут же проснулся, пробурчал: «Гм-гм, прилив сегодня сильный!», перевернулся на другой бок, открыл под водой глаза и сладко потянулся. Но тут же он, словно кошка, подскочил кверху, и сон у него как рукой сняло, потому что совсем рядом, на отмели, в густых водорослях паслись и громко чавкали какие-то несусветные создания.

— Бур-р-руны Магеллана! — буркнул Котик себе в усы. — Это еще кто такие, кит их поберит?

Создания и впрямь имели престранный вид и не похожи были ни на кита, ни на акулу, ни на моржа, ни на тюленя, ни на белуху, ни на нерпу, ни на ската, ни на спрута, ни на каракатицу. У них было веретенообразное туловище, футов двадцать или тридцать в длину, а вместо задних ластов — плоский хвост, ни дать ни взять лопата из мокрой кожи. Голова у них была самой нелепой формы, какую только можно вообразить, а когда они отрывались от еды, то начинали раскачиваться на хвостах, цере-

монно раскланиваясь на все стороны и помахивая передними лапами — так толстяк в ресторане подзывает официанта.

— Гм-гм! — произнес Котик. — Как охота, почтеннейшие?

Вместо ответа загадочные существа продолжали кивать головой и помахивать лапами, точь-в-точь как дурацкий Привратник-Лягушка из «Алисы в Стране Чудес». Когда они опять принялись за еду, Котик заметил, что верхняя губа у них раздвоена: обе половинки то расходились в стороны на целый фут, то вновь сдвигались, захватив здоровенный пук водорослей, который затем торжественно отправлялся в рот и с шумом пережевывался.

— Неопрятно вы как-то едите, господа, — заметил Котик и, слегка раздосадованный тем, что его слова остались без внимания, продолжал: — Ладно, ладно, если у вас в передних лапах есть лишний сустав, нечего этим так уж козырять. Кланяться-то вы умеете, но я хотел бы знать, как вас зовут.

Раздвоенные губы шевелились и подергивались, зеленатые стеклянные глаза в упор глядели на Котика, но ответа он по-прежнему не получал.

— Вот что я вам скажу! — в сердцах объявил Котик. — Изю всех Жителей Моря вы самые мерзкие на вид! Вы еще хуже Сивуча! И еще невоспитаннее!

И вдруг его осенило — он вспомнил, что прокричала тогда Чайка-Бургомистр на Моржовом острове, и понял, что наконец нашел Морских Корова.

Пока они паслись на дне, сопя и чавкая, Котик подплыл поближе и стал обращаться к ним с вопросами на всех известных ему морских наречиях. Обитатели морей, как и люди, говорят на разных языках, а Котик за время своих путешествий изрядно понаторел в этом деле. Но Морские Корова молчали по одной простой причине: они лишены дара речи. У них только шесть шейных позвонков взамен положенных семи, и бывалые морские жители уверяют, что именно поэтому они не способны переговариваться даже между собой. Зато у них в передних лапах, как вы уже знаете, имеется лишний сустав, и благодаря его подвижности Морские Корова могут обмениваться знаками, отчасти напоминающими телеграфный код.

Бедняга Котик бился с ними до самого рассвета, покуда грива у него не встала дыбом, а терпенье не лопнуло, как скорлупа рака-отшельника. Но к утру Морские

Коровы потихоньку двинулись в путь, держа курс на север; то и дело они останавливались и принимались раскланиваться, как бы держа молчаливый совет, потом плыли дальше, и Котик плыл за ними. Про себя он рассудил так: «Если эти бессмысленные создания смогли уцелеть в море, если их не перебили всех до единого — значит, они нашли себе какое-то надежное прибежище, а что годится для Морских Коров, сгодится и для котиков. Только плыли бы они чуть побыстрее!»

Нелегко приходилось Котику: стадо Морских Коров проплывало всего миль сорок — пятьдесят в сутки, на ночь останавливалось кормиться и все время держалось близко к берегу. Котик прямо из кожи вон лез — он плавал вокруг них, плавал над ними, плавал под ними, но расшевелить их никак не удавалось. По мере продвижения к северу они все чаще останавливались для своих безмолвных совещаний, и Котик чуть было не отгрыз себе усы от злости, но вовремя заметил, что они плывут не наобум, а придерживаются теплого течения — и тут он впервые проникся к ним известным уважением.

Однажды ночью они вдруг стали резко погружаться, словно пущенные ко дну камни, и поплыли с неожиданной быстротой. Изумленный Котик кинулся их догонять — до сих пор ему и в голову не приходило, что Морские Коровы способны развить такую скорость. Они подплыли прямо к подводной гряде скал, перегораживавшей дно на подходе к берегу, и стали одна за другой нырять в черное отверстие у подножья гряды, на глубине двадцати саженей ниже уровня моря. Нырнув вслед за ними, Котик очутился в темном подводном туннеле — и плыл, и плыл так долго, что стал уже задыхаться, но тут как раз туннель кончился, и Котик, как пробка, выскочил на поверхность.

— Клянусь гривой! — вымолвил он, глотнув свежего воздуха и отфыркиваясь. — Стоило попотеть, чтобы сюда попасть!

Морские Коровы расплылись в разные стороны и теперь толклись, лениво пощипывая водоросли, у острова такой красоты, какие и не снились Котику. На многие мили вдоль берега тянулись гладкие, плоские каменные террасы, как нарочно созданные для котиковых лежбищ; за ними, в глубь суши, полого поднимались песчаные, укатанные пляжи, на которых могли резвиться малыши; здесь было все, чего только можно пожелать, — волны,

чтобы плясать на них, высокая трава, чтобы на ней нежиться, дюны, чтобы влезать на них и скатываться вниз. И самое главное — Котик понял благодаря особому чутью, которое никогда не обманет истинного Секача, что в этих водах еще не бывал человек.

Первым делом Котик удостоверился, что по части рыбы здесь тоже все в порядке, а потом не торопясь обследовал береговую линию и пересчитал все восхитительные островки, наполовину скрытые живописно клубящимся туманом. С севера, со стороны моря, тянулась цепь песчаных и каменистых отмелей — надежная защита от проходящих судов, которые не могли бы подойти к островам ближе, чем на шесть миль. От суши архипелаг отделялся глубоким проливом; на противоположном берегу его высились неприступные отвесные скалы, а под водою, у подножья этих скал, был вход в туннель.

— Ну прямо как у нас дома, только в десять раз лучше, — сказал Котик. — Видно, Морские Коровы умнее, чем я думал. Люди — даже если бы они сюда явились — по таким скалам спуститься не смогут; а на этих замечательных мелях любой корабль в два счета разлетится в щепки. Да, если есть в океане безопасное место, то оно тут и нигде больше.

И Котику вдруг вспомнилась его невеста, и ему захотелось поскорее вернуться к родным берегам; но перед тем как пуститься в обратный путь, он еще раз старательно обследовал новые места, чтобы дома рассказать о них во всех подробностях.

Потом он нырнул, отыскал и хорошенько запомнил вход в туннель и что было сил поплыл на юг. Опасаться было нечего: о существовании тайного подводного хода никто, кроме Морских Коров (а теперь и котиков!), не догадался бы. Котик и сам, вынырнув с противоположной стороны и оглянувшись, едва мог поверить, что проплыл под этими грозными скалами.

До Нововосточной он добирался целых шесть суток, хотя и очень спешил, и первая, кого он увидел, выйдя на сушу у перешейка Морских Львов, была его невеста, которая ждала его, как обещала; и в его глазах она сразу прочла, что он нашел наконец свой остров.

Но когда он рассказал братьям о своем открытии, то и холостяки, и его отец Секач, да и все остальные котики принялись потешаться над ним, а один из его сверстников объявил:

— Слушать тебя очень интересно, Котик, но, право, нельзя же так — свалиться как снег на голову и велеть нам собираться неизвестно куда. Не забывай, что мы тут кровь проливали, добывая себе лежки, покуда ты без забот и хлопот разгуливал по морям. Ты ведь никогда еще не дрался.

При этих словах все расхохотались, а говоривший вздернул голову и самодовольно покачал ею из стороны в сторону. Он как раз недавно женился и поэтому ужасно важничал.

— Верно, я не дрался, и драться мне пока незачем, — ответил Котик. — Я просто хочу увести вас туда, где вы все сможете жить в безопасности. Что толку в вечных драках?

— Ну, само собой, коли ты против драк, то я молчу, — сказал молодожен с нехорошим смешком.

— А поплывешь ты за мной, если я тебя побью? — спросил Котик, и глаза его зажглись зеленым блеском, потому что самая мысль о драке была ему ненавистна.

— Идет, — беспечно согласился молодожен. — Если только твоя возьмет — так тому и быть!

Не успел он договорить, как наш Котик кинулся на него и вонзил клыки в его жирный загривок. Потом он напрягся, проволока своего врага по песку, встряхнул его и швырнул оземь. Покончив с ним, он проревел во всеуслышанье:

— Я пять лет подряд бороздил моря для вашей же пользы! Я нашел остров, где вам будет покойно, но добром вас не убедить. Вас надо учить по-другому. Так берегитесь!

Лиммершин говорил мне, что за всю свою жизнь — а он ежегодно наблюдает не менее десяти тысяч сражений, — что за всю свою птичью жизнь он не видел подобного зрелища. Котик кинулся в бой очертя голову. Он напал на самого крупного секача, который ему подвернулся, схватил его за горло и колотил и молотил до тех пор, пока тот, полузадушенный, не запросил пощады; тогда он отшвырнул его прочь и принялся за следующего. Ведь наш Котик не соблюдал ежегодного летнего поста, как другие секачи; дальние морские экспедиции помогли ему сохранить отличную спортивную форму, а самое главное — он дрался первый раз в жизни. Его роскошная белая грива ошетибилась от ярости, глаза его горели, клыки сверкали — словом, он был великолепен.

Старый Секач, его отец, некоторое время наблюдал, как Котик в пылу сражения подбрасывает в воздух пожилых седых самцов, словно рыбешек, и раскидывает холостяков направо и налево, — и наконец не выдержал и заревел что было мочи:

— Он, может быть, безумец, но он лучший боец на свете! Не тронь своего отца, сын мой! Он с тобой!

Котик издал ответный боевой клич, и старый Секач присоединился к нему; усы его топорщились, он пыхтел, как паровоз, а Матка и невеста Котика притаились в укромном местечке и любовались подвигами своих повелителей. Славное было сражение! Они бились до тех пор, пока на берегу не осталось ни одного котика, который отважился бы поднять голову. И тогда они вдвоем величественным шагом прошли по полю брани взад и вперед, оглашая пляж победным ревом.

Ночью, когда сквозь туманную пелену прорывались отблески северного сияния, Котик взобрался на голую скалу и окинул взглядом разоренные лежки и своих израненных, окровавленных родичей.

— Надеюсь, — сказал он, — мой урок пойдет вам на пользу.

— Клянусь гривой! — отозвался старый Секач, с трудом распрямляя спину, потому что и ему крепко досталось за день. — Сам Кит-Касатка не мог бы их лучше отделать. Сын, я горжусь тобой, и скажу тебе больше — я поплыву за тобой на твой остров, если, конечно, он существует.

— Эй вы, жирные морские свиньи! Кто согласен плыть за мной к туннелю Морских Коров? Отвечайте, а то я опять примусь за вас! — загремел Котик.

По берегу пронесся ропот, еле слышный, как плеск прилива.

— Мы, мы, — выдохнули тысячи усталых голосов. — Мы согласны плыть за тобой, Белый Котик.

И Котик втянул голову в плечи и удовлетворенно прикрыл глаза. Он, правда, был теперь не белый, а красный, потому что был изранен от головы до хвоста. Но, само собой разумеется, гордость не позволяла ему ни считать, ни зализывать свои раны.

Неделю спустя во главе первой армии переселенцев (около десятка тысяч холостяков и старых самцов) Котик отплыл к туннелю Морских Коров, а те, кто предпочел остаться дома, честили их безмозглыми болванами. Но по

весне, когда земляки свидетелись на тихоокеанских рыбных банках, первые переселенцы порассказали столько чудес о своих островах, что все больше и больше котиков стало покидать Нововосточную.

Разумеется, дело это было не быстрое, потому что котики от природы тугодумы и подолгу взвешивают разные за и против. Но с каждым годом все больше их уплывало с берегов Нововосточной, Луканнона и соседних лежбищ и переселялось на счастливые, надежно защищенные острова. Там и сейчас проводит лето наш Белый Котик: он все растет, жиреет и набирается сил, а вокруг него резвятся холостяки и плещет море, не знающее человека.

### ЧУДО ПУРАН БХАГАТА

В ночь, когда с землею беда стряслась,  
Мы прокрались к нему в ту ночь,  
Потому что любили его, стремясь  
Не понять, но зато помочь.

И когда погрузилась земля во тьму  
И обрушился горный склон,  
Наш народец на помощь пришел к нему,  
Но, увы, не вернется он.

Плачьте, ибо, любя, его мы спасли,  
Любовью стремясь помочь  
Плачьте! Брат наш не встанет с земли,  
А люди нас гонят прочь.

*Погребальный плач лангуров<sup>1</sup>*

Жил некогда в Индии человек. Он был первым министром одного из полунезависимых туземных княжеств в северо-западной части страны. Человек этот принадлежал к касте брахманов — столь высокой, что самое понятие «каста» потеряло для него всякое значение. Его отец занимал важный государственный пост при патриархальном индийском дворе, среди разного пестро разряженного сброда, но сам Пуран Дас рано понял, что стародавний порядок вещей постепенно меняется, и, если хочешь добиться успеха, нужно ладить с англичанами и подражать им во всем, что они полагают хорошим. В то же время нужно быть в милости у своего раджи. Игра

---

<sup>1</sup> Перевод А. Кушнера.

была трудная, но спокойный, молчаливый молодой брахман вел ее хладнокровно, в чем ему немало помогало хорошее образование, полученное у англичан в Бомбейском университете, и постепенно, шаг за шагом поднимаясь вверх, он сделался первым министром. А это значит, что он обладал в действительности большей властью, чем его повелитель махараджа.

Когда старый раджа, относившийся с недоверием к англичанам, к их железным дорогам и телеграфу, умер, его молодой наследник, питомец наставника-англичанина, приблизил Пуран Даса к себе, и совместно, хотя Пуран Дас всегда следил, чтобы их деяния были поставлены в заслугу радже, они открыли школы для девочек, провели дороги, построили бесплатные лечебницы, устраивали выставки сельскохозяйственных орудий и каждый год выпускали Синюю книгу под названием «Моральное и материальное развитие княжества». Министерство иностранных дел и правительство Индии были в восторге. Очень немногие индийские княжества развиваются точно по указанному Англией пути; в отличие от Пуран Даса, который прикидывался, будто верит: что хорошо для англичан, вдвойне хорошо для азиатов, правители княжеств придерживались обратного мнения. Первый министр удостоился дружбы вице-королей, и губернаторов, и вице-губернаторов, и врачей-миссионеров, и просто миссионеров, и страстных любителей верховой езды — английских офицеров, которые приезжали охотиться в заповедниках княжества, а также всех многочисленных туристов, вояжировавших по Индии из конца в конец, когда спадала жара, и учивших индийцев уму-разуму. На досуге он назначал стипендии для изучающих медицину и промышленность по английскому образу и подобию и писал открытые письма в «Пионер», самую крупную в Индии ежедневную газету, в которых объяснял, каковы цели и намерения его повелителя махараджи.

Наконец Пуран Дас поехал с официальным визитом в Англию и должен был уплатить жрецам колоссальную сумму, когда вернулся домой, потому что даже самый высокопоставленный брахман теряет свою касту, если пересечет океан. В Лондоне Пуран Дас встречался и беседовал со всеми, кто того заслуживал, — с людьми, имена которых известны во всем мире, — и видел куда больше, чем о том рассказал. Высокonaучные универси-

теты присуждали ему почетные степени, он произносил речи и толковал о социальных преобразованиях в Индии с английскими дамами в вечерних туалетах, и скоро весь Лондон в один голос твердил: «Мы еще не встречали такого обворожительного человека ни на одном из званых обедов!»

Он вернулся в Индию в блеске славы; сам вице-король приехал в княжество специально, чтобы пожаловать радже большой крест Звезды Индии — сплошные брильянты, эмаль и ленты, — и на той же церемонии, под выстрелы тех же пушек Пуран Дас был возведен в звание кавалера ордена Индийской империи, так что теперь его имя писалось так: сэр Пуран Дас, К. О. И. И.

В тот вечер, за обедом в огромном вице-королевском шатре, он встал, с красной розой ордена, висящего на голубой ленте у него на шее, и в ответ на тост в честь раджи произнес речь, с искусством, в котором мало кто из англичан мог бы его превзойти.

А через месяц, когда в высушенном зном городе воцарился прежний покой, Пуран Дас совершил то, что никому из англичан и в голову бы не пришло — он умер для мира и мирских дел. Усыпанный брильянтами орден, а с ним и почетное звание, были возвращены индийскому правительству, государственные заботы были возложены на нового первого министра, и по всей иерархической лестнице началась сложная игра, ставкой в которой было продвижение на ступеньку выше.

Жрецы знали, что произошло, народ догадывался, но Индия — единственная страна, где можно поступить так, как тебе угодно, и никто не спросит у тебя отчета; и в том, что *диван*<sup>1</sup> сэр Пуран Дас, К. О. И. И., отказался от своего поста, дворца и власти, взял в руки чашу для подаяния и надел желтую хламиду саньяси — странствующего аскета, — люди не увидели ничего странного. Он был, согласно древнему закону, первые двадцать лет жизни — учеником, вторые двадцать лет — воином, хотя ни разу не брался за оружие, и третьи двадцать лет — хозяином дома. Он достойно использовал богатство и власть, заслуженно пользовался почетом, видел людей и города на родине и на чужбине, — там и там ему воздавали высокие почести. А теперь он все это стряхнул с себя прочь, как мы сбрасываем ненужный нам больше плащ.

---

<sup>1</sup> Д и в а н (перс.) — министр.

Когда босой, со шкурой антилопы и посохом с медным набалдашником под мышкой и чашей для подаяния из отполированной коричневой скорлупы кокосового ореха в руке, он выходил, опустив глаза долу, из городских ворот, за его спиной с бастионов стреляли пушки, салютуя его преемнику. Пуран Дас кивнул головой. Та жизнь окончилась; он не питал к ней ни любви, ни ненависти, — она трогала его столь же мало, как нас трогают смутные ночные сновидения. Он был теперь саньяси — бездомный бродячий нищий, чей насущный хлеб зависит от его ближних; но пока у индийцев есть хоть одна лепешка, они поделятся ею со жрецом и нищим, и тем не грозит голодная смерть. Он и раньше никогда не брал в рот мяса и даже рыбу ел изредка. На протяжении многих лет Пуран Дас ворочал миллионами, но ему лично вполне хватило бы на еду и пяти фунтов в год. Даже в то время, как его — знаменитость — носили в Лондоне на руках, Пуран Даса не оставляла мечта о тишине и покое, — он видел перед собой длинную, белую, пыльную дорогу со следами босых ног, по которой шло медленное, но непрерывное движение, ощущал едкий запах дыма, поднимающегося клубами к фиговым деревьям, под которыми в сумерках сидели за вечерней трапезой путники.

Когда настало время осуществить эту мечту, Пуран Дас предпринял должные шаги, и через три дня легче было бы отличить одну песчинку от другой на дне океана, чем бывшего первого министра среди миллионов скитающихся, встречающихся, расстающихся жителей Индии.

Вечером он расстилал шкуру антилопы там, где его заставляла темнота, — иногда в придорожном буддийском монастыре, иногда у глиняной гробницы святого Калы, где йоги, еще одна таинственная категория святых людей, принимали его так, как они принимают тех, кто знает истинную цену всем кастам и подкастам, иногда — на задворках небольшой деревушки, где дети робко приносили ему еду, приготовленную родителями, а иногда на пастбище, где пламя его сложенного из прутиков костра будило сонных верблюдов. Все было едино для Пуран Даса, или Пуран Бхагата, как он теперь звал себя. Та или эта земля, пища, те или эти люди — все было едино. Однако ноги сами вели его на север, с юга — к Рохтаку, от Рохтака — к Карналу, от Карнала — к руинам Саманы, а затем — вверх по высохшему руслу реки Гхаггар,

которое наполняется водой только тогда, когда в горах выпадают дожди. И вот однажды он увидел вдали очертания великих Гималаев.

И тогда Пуран Бхагат улыбнулся. Он вспомнил, что его мать была из славного раджпутского рода, уроженка Кулу, как все женщины с гор тосковавшая по снегам, — а если в твоих жилах есть хоть капля крови горцев, тебя в конце жизни повлечет в родные края.

— Там, — сказал Пуран Бхагат, обернувшись к нижним склонам хребта Сивалик, где кактусы стояли как семисвечные канделябры, — там я найду пристанище и обрету истину.

И в то время как он шел по дороге к Симле, в его ушах свистел прохладный ветер Гималаев.

В последний раз он проезжал здесь с большой помпой, в сопровождении бряцающего оружием кавалерийского эскорта, направляясь с визитом к добрейшему и учтивейшему из вице-королей, и они час напролет беседовали об общих друзьях в Лондоне и о том, что в действительности думает о положении в Индии простой народ. На этот раз Пуран Бхагат не наносил визитов; облокотившись на парапет Мал-роуд, он любовался великолепным видом равнины, раскинувшейся внизу на сорок миль, пока местный полицейский-мусульманин не сказал ему, что он мешает движению, и Пуран Бхагат почти-точно склонился перед Законом: ведь он знал ему цену и сам искал свой Закон. Он двинулся дальше и спал той ночью в Чхота Симле, которая кажется концом света, но для него была лишь началом пути. Он шел по Гималайско-Тибетской дороге, этой узкой тропе, пробитой динамитом в горном откосе или повисающей на подпорках из бревен над ущельями глубиной в тысячу футов; дороге, которая то ныряет в теплые, влажные глухие долины, то карабкается по голым и травянистым горным склонам, где солнце жжет, словно через зажигательное стекло, то вьется по сырым темным лесам, где циатея сверху донизу одевает стволы деревьев и фазаны призывают криком своих подруг. Ему встречались тибетские пастухи с собаками и отарами овец, на спинах которых были привязаны мешочки с бурой, и бродячие дровосеки, и закутанные в плащ или одеяло ламы из Тибета, совершавшие паломничество в Индию, и гонцы из небольших уединенных горных княжеств, мчавшиеся во весь опор на полосатых и пегих пони, а порой целая кавалькада —

раджа со свитой, направлявшийся в гости; но бывало, что за весь долгий ясный день он видел лишь черного медведя, который с ворчанием рыл под деревом землю внизу, в лощине. Когда Пуран Бхагат начал свой путь, грохот мира, оставленного позади, все еще звучал в его ушах, как звучит грохот туннеля некоторое время после того, как поезд вырвется на свет; но когда он переправился через Матинийский перевал, все затихло, и Пуран Бхагат остался наедине с собой. Он шел в раздумье, вопрошая ответа, глаза опустив в землю, мыслями воспарив в небеса.

Однажды вечером Бхагат пересек самый высокий перевал, какой до тех пор встретил — он взбирался туда целых два дня, — и перед ним по всему окоему протянулись чередой снежные вершины; горы высотой от пятнадцати до двадцати тысяч футов, казалось, были так близко, что до них можно докинуть камень, хотя они находились на расстоянии пятидесяти или шестидесяти миль. Седловина была увенчана густым темным лесом — гималайский кедр, сосна, черешня, дикая маслина, дикая груша, но в основном кедр, — и под сенью ветвей стоял покинутый храм богини Кали, она же Дурга, она же Шитала, которую иногда молят об исцелении от оспы.

Пуран Дас чисто вымел каменный пол, улыбнулся ослабившейся статуе, сделал из глины небольшой очаг в задней части святилища, кинул антилопью шкуру на свежие сосновые ветки, удобнее уложил посох *байраги*<sup>1</sup> — тяжелый, с медным набалдашником — под мышкой и сел отдохнуть.

Прямо под ним гора отвесно уходила вниз, на полторы тысячи футов, туда, где к крутому склону прилеплась деревушка: каменные домики с плоскими глиняными крышами. Вокруг, как лоскутные фартуки на коленях горы, лежали уступами крошечные поля; между гладкими каменными кругами токов для молотбы паслись коровы, казавшиеся сверху не больше жуков. Расстояние искажало размеры, и, глядя на горный скат по ту сторону долины, вы не сразу осознавали, что низкий кустарник — на самом деле сосновый лес в сотню футов высотой. Пуран Бхагат увидел орла, стремительно летевшего через огромную котловину, но он не покрыл и половины пути, как превратился в едва заметную точку. Над

---

<sup>1</sup> Байраги (*хинд.*) — отшельник, аскет.

долиной там и сям протянулись длинные и узкие полоски облаков; они цеплялись за уклон горы или поднимались вверх и таяли у перевала.

— Здесь я найду покой, — сказал Пуран Бхагат.

Для жителей гор не представляет труда подняться или спуститься на несколько сот футов, поэтому не успели в деревне увидеть дымок над покинутым храмом, как деревенский жрец взобрался по ступенчатому откосу, чтобы приветствовать незнакомца.

Встретив взгляд Пуран Бхагата — взгляд человека, привыкшего повелевать тысячами, — он поклонился до земли, без единого слова взял чашу для подаяния и, вернувшись в деревню, сказал:

— Наконец у нас появился святой. Еще никогда в жизни я не видел такого человека. Он с равнин, хотя кожа у него светлая; это брахман, первый среди брахманов.

Тогда женщины деревни спросили:

— Ты думаешь, он останется у нас? — и каждая постаралась состряпать для Бхагата блюдо повкуснее. Жители гор неприхотливы в еде, но благочестивая женщина может приготовить неплохие кушанья из гречишной, овсяной или ячменной муки, из маиса и риса, красного перца, рыбы, выловленной в горном ручье, меда из стоячих колод, торчащих в расселинах каменных стен, урюка и желтого имбиря, и когда жрец понес чашу Бхагату, она была полна до краев.

— Собирается ли он остаться здесь? — спросил жрец. — Нужен ли ему *чела* — ученик, чтобы просить для него подаяние? Есть ли у него одеяло на случай холодов? Хороша ли еда?

Пуран Бхагат поел и поблагодарил даятеля. Он подумывает остаться здесь.

— Этого ответа достаточно, — сказал жрец. — Пусть саньяси ставит чашу снаружи, в углубление между двумя искривленными корнями, и он каждый день будет находить там пищу; деревня почитает за честь, что такой человек, — тут жрец робко взглянул в лицо Бхагату, — решил поселиться в их краях.

Этот день был последним днем странствий Пуран Бхагата. Он пришел туда, куда ему было предначертано прийти, в царство безмолвия и простора. Время остановилось, и, сидя у входа в святилище, он не мог сказать, был ли он жив или мертв, что он такое — человек, пове-

литель себя самого, или часть гор, облаков, косых дождей и солнечного света. Он тихо повторял про себя божье имя тысячи тысяч раз, пока, с каждым следующим разом, ему не начинало казаться, что он постепенно покидает свое тело и воспаряет вверх, к вратам некоего чудесного откровения, но в тот самый миг, как врата приоткрывались, он с горестью ощущал, что плоть сильна и он вновь заперт в брэнной оболочке Пуран Бхагата.

Каждое утро полная чаша для подаяния бесшумно ставилась у храма в развилке между корнями. Иногда ее приносил жрец, иногда купец из Ладака, поселившийся в деревне и хотевший заслужить доброе имя, поднимался с трудом по тропинке, но чаще всего с едой приходила женщина, приготовившая ее накануне, и шептала еле слышно:

— Замолви за меня словечко перед богами, Бхагат. Заступись за такую-то, жену такого-то.

Изредка почетную миссию доверяли какому-нибудь смельчаку из детей, и Пуран Бхагат слышал, как он ставил чашу и бежал со всех ног обратно, но сам Пуран Бхагат ни разу не спускался в деревню. Она лежала, как карта, у его ног. Он видел вечерние сборища на круглых токах — только и было ровных площадок в деревне, — видел удивительную, несказанную зелень молодых рисовых ростков, фиолетовую просинь маиса, бело-розовые пятна гречихи и, в положенное время, пурпурное цветение амаранта, крохотные чечевицеобразные семена которого — ни бобы, ни злаки — идут на приготовление пищи, которую правверные индийцы могут есть во время постов.

Когда лето сменялось осенью, крыши домов превращались в квадратики чистого золота, потому что жители деревни сушили на них початки маиса. Высадка роев в ульи и сбор урожая, сев риса и молотья проходили перед глазами Пуран Бхагата там, внизу, на неровных клочках полей, словно вышитых цветным шелком, и он размышлял обо всем, что видел, и спрашивал себя, в чем конечный смысл этого всего.

Даже в густонаселенных районах Индии стоит человеку просидеть целый день неподвижно, и мимо него, словно мимо камня, пробегут бессловесные твари, а в этих пустынных краях зверье, хорошо знавшее храм Кали, очень скоро пришло посмотреть, кто вторгся в их владения. Первыми, естественно, появились лангуры,

крупные гималайские белобородые обезьяны, потому что они необычайно любопытны, и когда они перевернули чашку для еды и покатали ее по полу, и попробовали на зуб посох с медным набалдашником, и скорчили рожи антилопией шкуре, они решили, что неподвижное человеческое существо не опасно для них. Вечером они соскакивали с сосен и протягивали ладони, выпрашивая еду, а затем, грациозным прыжком, снова взлетали на ветви. Им нравилось тепло очага, и они так тесно обступали его, что Пуран Бхагату приходилось расталкивать их, чтобы подбросить дрова, а утром он частенько обнаруживал у себя под одеялом пушистую обезьяну. Днем та или другая из стаи сидела рядом с ним с невыразимо мудрым и грустным видом и, «жалуясь» на что-то вполголоса, глядела на покрытые снегом вершины.

За обезьянами пришел *барасингх* — большой олень, похожий на европейского благородного оленя, только более мощный. Он хотел почесать бархатистые рога о холодный камень статуи Кали и топнул копытом, увидев в святилище человека. Но Пуран Бхагат не шевельнулся, и вот, шаг за шагом, олень медленно подошел и понюхал его плечо. Пуран Бхагат провел прохладной ладонью по горевшим рогам, и прикосновение успокоило раздраженное животное; оно наклонило голову, и Пуран Бхагат осторожно соскреб с кончиков рогов мягкую кожу. Позднее олень привел олениху и олененка — кроткие создания, которые сразу принялись жевать одеяло саньяси, — но чаще всего он приходил ночью один, чтобы получить лесных орехов, и глаза его в мерцании огня светились зеленым светом. Последней появилась кабарга, самая робкая и чуть не самая маленькая из оленьков, ее большие кроличьи уши были сторожко подняты вверх; даже этой пятнистой бесшумной *мушк-набхи* понадобилось узнать, что означает свет в храме, и, появляясь и исчезая вместе с тенями от огня в очаге, ткнуться горбатым, как у лося, носом в колени Пуран Бхагата. Пуран Бхагат называл их всех «братья», и на его тихое «Бхай! Бхай!»<sup>1</sup> они выходили днем из лесу, если их слуха достигал его призыв. Сона, черный гималайский медведь, угрюмый и подозрительный, с у-образной белой отметиной на груди, не раз топал мимо храма, и, поскольку

---

<sup>1</sup> Брат (*хинд.*).

Бхагат не выказывал страха, Сона не выказывал злобы; не спуская с него глаз, медведь подходил поближе и просил свою долю ласки и хлеба или диких ягод. Часто на рассвете, когда Бхагат забирался на самую седловину перевала, чтобы полюбоваться, как розовая заря шествует по снежным вершинам, он слышал за спиной мягкую поступь и ворчание Соны; тот с любопытством засовывал переднюю лапу под упавшие стволы и вытаскивал ее оттуда с нетерпеливым рыком. Бывало и так, что шаги Бхагата будили свернувшегося клубком медведя, и огромный зверь вставал во весь рост, готовый к драке, но тут узнавал голос своего лучшего друга.

Считается, что отшельники-саньяси, живущие вдали от больших городов, могут творить чудеса с бессловесными тварями, но все чудо заключается в том, что они долго сидят неподвижно, не делают резких движений и не смотрят, во всяком случае в первое время, прямо на своего четвероногого гостя. Жители деревни видели силуэты оленей, кравшихся тенями по темному лесу позади храма; видели *минола*, гималайского фазана, сверкающего многоцветным нарядом перед статуей Кали, и лангуров, которые, сидя на корточках внутри храма, играли ореховой скорлупой. Кое-кто из детей слышал также, как за обломками скал «распевал» на манер всех медведей Сона, и за Бхагатом твердо укрепились слава чудотворца.

Однако сам он не думал ни о каких чудесах. Он верил в то, что все сущее — едино, одно огромное Чудо, а когда человек понимает это, он понимает, чего ему желать. Для Бхагата было неоспоримо, что в мире нет ни великого, ни ничтожного, день и ночь он стремился найти свой путь к средоточию всего сущего, обратно туда, откуда появилась его душа.

За годы размышлений волосы Бхагата отросли ниже плеч, в каменной нише рядом с антилопией шкурой появилась выбоина от посоха, на том месте между деревьями, где всегда стояла чаша для подаяния, сделалось углубление, почти столь же гладкое, как сама скорлупа кокоса, а каждый из зверей знал свое место у очага. Поля меняли окраску в зависимости от времени года; тока заполнялись зерном и пустели, и вновь заполнялись; и вновь, когда наступала зима, лангуры резвились между ветвями, опушенными снегом, а с приходом весны ма-

тери-обезьяны приносили своих детенышей с печальными глазами из долин, где было теплей. В самой деревне перемен было мало. Жрец постарел, и дети, приходившие раньше к Бхагату с чашкой еды, посылали теперь к нему своих детей; и когда у жителей деревни спрашивали, давно ли в храме Кали у перевала живет саньяси, они отвечали: «Он жил здесь всегда».

Однажды летом начались ливни, каких не было в горах многие годы. Все три теплых месяца долину окутывали тучи и пропитывал туман, обложные безнадежные дожди сменялись грозами. Облака чаще всего стелились ниже храма, Бхагат как-то целый месяц не видел своей деревни. Ее заволакивала плотная белая пелена, которая клубилась, колыхалась, набухала, ходила ходунном, но ни разу не разошлась, не оторвалась от подпиравших ее гор, по которым струилась вода.

Все это время Бхагат не слышал ничего, кроме шороха миллиона капель: сверху — срывающихся с деревьев, снизу — бегущих по земле, просачивающихся сквозь сосновые иглы, стекающих с завитков перепачканной землей папоротника и спешащих мутными потоками по свежим вымоинам на склонах. Но вот показалось солнце, и в воздухе поплыл аромат кедров и рододендронов и тот далекий свежий запах, который жители гор называют «запах снегов». Солнце жарко светило одну неделю, а затем все тучи собрались вместе, чтобы низвергнуться последним ливнем; вода хлестала землю, сдирая с нее кожу, и брызгала вверх фонтанами грязи. В тот вечер Пуран Бхагат подложил в очаг побольше дров, — ведь его «братьям» понадобится тепло; но, хотя Пуран снова и снова звал их, к храму не подошел ни один зверь, и он ломал себе голову, думая, что же случилось в лесу, пока его не одолел сон.

Глубокой ночью, когда не видно было ни зги, а дождь барабанил как тысяча барабанов, Пуран Бхагат проснулся оттого, что кто-то дергал за одеяло, и, протянув руку, встретил холодную лапку лангура.

— Здесь лучше, чем на дереве, — сонно сказал Бхагат, приоткрывая одеяло, — забирайся сюда и грейся.

Обезьяна схватила его за руку и потянула изо всех сил.

— А, ты голодна? — сказал Пуран Бхагат, — Подожди немного, сейчас я дам тебе поесть.

Когда он наклонился подкинуть в огонь дров, лангур подбежал к двери, заскулил, снова подбежал к Бхагату и стал тереть за ногу.

— В чем дело? Какая у тебя беда, брат? — спросил Пуран Бхагат, потому что глаза лангура говорили о многом, о чем не мог сказать его язык. — Если только один из твоих сородичей не попал в ловушку — а здесь их никто не ставит, — я не выйду наружу в такую погоду. Взгляни, брат, даже олень ищет защиты под кровом.

Рога оленя с грохотом ударились о камень, когда он вбежал в храм и налетел на статую улыбающейся Кали. Олень опустил голову, нацелил рога на Пуран Бхагата и, тревожно ударив копытом, с шумом выпустил воздух из ноздрей.

— Ай-ай-ай! — сказал Бхагат, щелкая пальцами. — Так-то ты оплачиваешь мне за ночлег?

Но олень толкнул его к дверям, и в эту самую минуту Пуран Бхагат услышал звук, подобный вздоху, увидел, как две каменные плиты пола отошли друг от друга, и под ними зачмокала вязкая земля.

— Теперь я понимаю, — сказал Пуран Бхагат. — Нечего винить моих братьев за то, что они не сидят этой ночью у огня. Гора рушится. И все же... зачем мне уходить? — Но тут глаза его упали на пустую чашу для подаяния, и выражение лица изменилось. — Они каждый день приносили мне пищу с тех самых пор... с тех самых пор, как я пришел сюда, и если я не поспешу, завтра в долине не останется ни одного человека. Да, мой долг — спуститься и предупредить их. Назад, брат, дай мне подойти к очагу.

Олень неохотно отступил на несколько шагов, а Пуран Бхагат сунул факел в самую середину очага и стал вертеть, пока факел не разгорелся.

— Вы пришли предупредить меня, — сказал он, поднимаясь. — А теперь мы поступим еще лучше. Скорей наружу, и позволь мне опереться о твою шею, брат, ведь у меня всего две ноги.

Правой рукой Бхагат ухватился за колючую холку оленя, левую, с факелом, отставил в сторону и вышел из храма в ненастную ночь. Не чувствовалось ни малейшего дуновения, но дождь чуть не загасил факел, пока олень спускался по склону, скользя на задних ногах. Когда они вышли из лесу, к ним присоединилось много других «братьев» Бхагата. Он слышал, хотя видеть он их не

мог, что вокруг теснятся обезьяны, а позади раздается «ух! ух!» Соны. Ветер свил длинные седые волосы Бхагата в жгуты; под босыми ногами хлюпала вода, желтое одеяние облепило изможденное старческое тело, но он неуклонно двигался вперед, опираясь на оленя. Теперь это был не святой отшельник, а сэр Пуран Дас, К. О. И. И., первый министр одного из самых больших княжеств, человек, привыкший повелевать, который шел, чтобы спасти людям жизнь. Они спускались вместе по крутой, покрытой водой тропе, Бхагат и его «братья», всё вниз и вниз, пока олень не наткнулся на каменную стену тока и фыркнул, учуяв Человека. Они были в начале единственной кривой деревенской улочки, и Бхагат ударил посохом в забранное решеткой окно домика кузнеца; ярко вспыхнул факел, прикрытый нависающей кровлей.

— Вставайте и выходите! — вскричал Пуран Бхагат и не узнал собственного голоса, ведь прошло много лет с тех пор, когда он обращался к людям. — Гора падает. Гора сейчас обрушится. Вставайте и выходите все, кто внутри!

— Это наш Бхагат, — сказала жена кузнеца. — Он стоит там со своим зверьем. Собери детей и позови других.

Зов перекидывался от дома к дому; животные, сгрудившиеся на узкой улочке, пугливо переступали с ноги на ногу и льнули к Бхагату. Нетерпеливо пыхтел медведь.

Люди поспешно выбежали наружу — их было всего навсего семьдесят душ — и при неровном свете факелов увидели, как Бхагат сдерживает напуганного оленя, обезьяны жалобно дергают его за подол и, сидя на задних лапах, ревет Сона.

— Скорей на ту гору! — закричал Пуран Бхагат. — Не оставьте никого позади! Мы за вами!

И люди побежали так быстро, как умеют бегать только горцы, — они знали, что при обвале нужно подняться на самое высокое место по другую сторону долины. С плеском они перебрались через речушку на дне ущелья и, задыхаясь, стали взбираться вверх по ступеням полей за рекой; Бхагат шел за ними со своими «братьями». Люди карабкались все выше и выше, перекликаясь, чтобы проверить, не потерялся ли кто-нибудь из них, а по пятам за людьми с трудом двигался олень, на котором повис слабевший с каждым шагом Пуран Бхагат. Нако-

нец на высоте пятисот футов олень остановился в глухом сосновом бору. Инстинкт, предупредивший его о надвигающемся обвале, сказал ему, что здесь он в безопасности.

Теряя сознание, Пуран Бхагат упал на землю; холодный дождь и крутой подъем отняли у него последние силы, но он успел еще крикнуть туда, где мерцали рассыпавшиеся огни факелов:

— Остановитесь и пересчитайте, все ли здесь! — а затем, увидев, что огни стали собираться вместе, шепнул оленю: — Останься со мной, брат. Останься... пока... я... не... уйду!..

В воздухе послышался вздох, вздох перешел в глухой шум, шум перерос в грохот, становившийся все громче и громче, и гора, на которой они стояли во мраке, содрогнулась от нанесенного ей удара. А затем минут на пять все потонуло в ровном, низком звуке, чистом, как басовое органное «си», отозвавшемся дрожью в самых корнях деревьев. Звук замер, и ропот дождя, барабанившего по траве и камням, сменился глухим шелестом воды, падавшей на мягкую землю. Этот шелест говорил сам за себя.

Никто из жителей деревни, даже жрец, не осмелился обратиться к Бхагату, спасшему им жизнь. Они скорчились под соснами, ожидая утра. Когда посветлело, они посмотрели на противоположную сторону долины: там, где раньше были лес, и поля на уступах, и пастбища, пересеченные тропинками, раскинулось веером кроваво-красное, как ссадина на теле горы, пятно, на его крутом откосе валялись кронами вниз несколько деревьев. Оползень высоко поднимался по склону, где нашли себе убежище люди и звери, запрудив поток, разлившийся озером кирпичного цвета. От деревни, от тропы, ведущей к храму, от самого храма и леса за ним не осталось и следа. На милю в ширину и две тысячи футов в высоту бок горы целиком обвалился, словно его срезали сверху донизу.

Деревенские жители один за другим стали пробираться меж соснами, чтобы вознести хвалу Бхагату. Они увидели стоящего над ним оленя, который убежал, когда они подошли ближе, услышали плач лангуров на ветвях деревьев и стенанья Соны на вершине горы, но Бхагат был мертв; он сидел скрестив ноги, опершись спиной о ствол, посох под мышкой, лицо обращено на северо-восток.

И жрец сказал:

— Мы зрим одно чудо за другим: ведь как раз в такой позе положено хоронить всех саньяси! Поэтому там, где он сейчас сидит, мы построим усыпальницу нашему святому.

И еще до истечения года они построили из камня и земли небольшое святилище и назвали гору горой Бхагата; и по сей день жители тех мест ходят туда с факелами, цветами и жертвоприношениями. Но они не знают, что святой, которому они поклоняются, это покойный сэра Пуран Дас, кавалер ордена Индийской империи, доктор гражданского права и философии, и прочая, и прочая, некогда первый министр прогрессивного и просвещенного княжества Мохинивала, почетный член и член-корреспондент многочисленных научных обществ, столь мало полезных на этом... да и на том свете.

#### «ОНИ»

Одна за другой сменялись предо мною чудесные картины природы, одна гора манила взор к иной, соседней, и, проехав таким образом половину графства, я почувствовал, что уже не в силах ничего воспринимать, а могу лишь переводить рычаг скоростей, и равнодушно смотрел на местность, которая стлалась под колеса моего автомобиля. Восточные равнины, усеянные орхидеями, южнее сменили известковые холмы, меж которых росли тимьян, остролист и пыльные, серые травы, а потом снова пышно зеленеющие пшеничные поля и смоковницы южного побережья, где шум прибоя слышится по левую руку на протяжении целых пятнадцати миль; и когда я наконец повернул в глубь страны через скопище округлых холмов, перемежаемых лесами, обнаружилось, что все знакомые мне приметы куда-то исчезли. За тем самым поселком, который считается крестным отцом столицы Соединенных Штатов, я увидел укромные спящие селения, где одни лишь пчелы бодрствовали и громогласно жужжали в листве восьмидесятифутовых лип, которые осеняли серые церковки, сооруженные нормандцами; сказочно красивые ручейки струились под каменными мостами, способными выдержать куда более тяжкие перевозочные средства, нежели те, которые впредь нарушат их мертвый покой; склады для хранения церковной деся-

тины были вместительней самих церквушек, а древняя кузница словно возвещала во всеуслышание, что некогда здесь обитали храмовники. Дикие гвоздики я увидел на общинном выпасе, куда, за целую милю вдоль древней, еще римлянами проложенной дороги, их оттеснили можжевельник, папоротники и вереск; а чуть подальше я вспугнул рыжую лисицу, которая собачьей побегой умчалась в раскаленную солнцем даль.

Когда лесистые холмы сомкнулись вокруг меня, я затормозил и попытался определить свой дальнейший путь по высокому известковому холму с округлой вершиной, которая на добрых полсотни миль служит ориентиром среди этих равнин. Я рассудил, что самый характер местности подскажет мне, как выехать на какую-нибудь дорогу, которая ведет на запад, огибая подножие холма, но не принял в соображение обманчивость лесного полога. Я повернул с излишней поспешностью и сразу утонул в яркой зелени, расплавленной жгучим солнечным светом, а потом очутился в сумрачном туннеле, где сухие прошлогодние листья роптали и шелестели под колесами. Могучий орешник, который не подрезали по меньшей мере полвека, смыкался над головой, и ничей топор не помог замшелым дубкам и березкам пробиться сквозь сплошное плетение его ветвей. Потом дорога резко оборвалась, и подо мною словно разостлался бархатистый ковер, на котором отдельными кучками, наподобие островков, виднелись уже отцветшие примулы да редкие колокольчики на белесых стебельках кивали в лад друг другу. Поскольку путь мой лежал под уклон, я заглушил мотор и свободным ходом начал петлять по палой листве, ежеминутно ожидая встречи с лесничим; но мне удалось лишь расслышать где-то вдали невнятный лепет, который один нарушал сумрачное лесное безмолвие.

А путь по-прежнему вел под уклон. Я готов был уже развернуться и ехать назад, включив вторую скорость, пока не увязну в каком-нибудь болоте, но тут сквозь плетение ветвей над головой у меня блеснуло солнце, и я отпустил тормоз.

Сразу же вновь началась равнина. Едва солнечный свет ударил мне в лицо, колеса моего автомобиля покатались по большому тихому лугу, среди которого внезапно выросли всадники десятифутового роста, с копьями наперевес, чудовищные павлины и величественные придворные дамы — синие, темные и блестящие, — все из

подстриженных тисов. За лугом — с трех сторон его, словно вражеские воинства, обступали леса — стоял древний дом, сложенный из замшелых, истрепанных непогодой камней, с причудливыми окнами и многоскатной кровлей, крытой розовой черепицей. Его полукружьем обмыкала стена, которая с четвертой стороны загораживала луг, а у ее подножия густо зеленел самшит высотой в рост человека. На крыше, вокруг стройных кирпичных труб, сидели голуби, а за ближней стеной я мельком заметил восьмиугольную голубятню.

Я оставался на месте; зеленые копыя всадников были нацелены мне прямо в грудь; несказанная красота этой жемчужины в чудесной оправе зачаровала меня.

«Если только меня не изгонят отсюда за то, что я вторгся в чужие владения, или же этот рыцарь не пронзит меня копьем, — подумал я, — то сейчас вон из той полуотворенной садовой калитки выйдут по меньшей мере Шекспир и королева Елизавета и пригласят меня на чашку чая».

Из окна верхнего этажа выглянул ребенок, и мне почудилось, будто малыш дружески помахал мне рукой. Но оказалось, что он звал кого-то, потому что тотчас же появилась еще одна светловолосая головка. Потом я услышал смех меж тисовых павлинов, повернул голову, желая увериться, что это не обман слуха (до того мгновения я безотрывно смотрел только на дом), и увидел за самшитами блеск фонтана, серебристого в свете солнца. Голуби на крыше ворковали в лад воркованию воды; но сквозь эти две мелодии я расслышал радостный смех ребенка, увлеченного какой-то невинной шалостью.

Садовая калитка — сделанная из прочного дуба и глубоко вдававшаяся в толщу стены — отворилась шире; женщина в большой соломенной шляпе неторопливо поставила ногу на искрошенную временем ступеньку и столь же неторопливо пошла по траве прямо ко мне. Я стал придумывать какое-нибудь извинение, но тут она подняла голову, и я увидел, что она слепая.

— Я слышала, как вы подъехали, — сказала она. — Ведь то был шум автомобиля, не правда ли?

— К несчастью, я, по-видимому, сбился с дороги. Мне следовало повернуть раньше, еще наверху... я никак не предполагал... — начал я.

— Но, право, я очень рада. Подумать только, автомобиль здесь, перед садом! Это такая приятная неужи-

данность... — Она повернулась, словно хотела оглядеться вокруг. — Вы никого не видели или все же кого-нибудь... как знать?

— Никого, с кем я мог бы поговорить, но дети разглядывали меня издали, мне кажется, с любопытством.

— Какие дети?

— Я только что видел двоих в окне и, по-моему, слышал детский голосок в саду.

— Ах, вы счастливец! — воскликнула она, и лицо ее просияло. — Конечно, я тоже их слышу, но и только. Стало быть, вы их видели и слышали?

— Да, — отвечал я, — и если я хоть что-нибудь смыслю в детях, кто-то из них резвится в свое удовольствие вон там, у фонтана. Удрал, я полагаю.

— А вы любите детей?

Я как мог постарался объяснить, почему отнюдь не питаю к детям отвращения.

— Конечно, конечно, — сказала она. — В таком случае вы все поймете. В таком случае вы не сочтете за глупость, если я попрошу вас проехать разок-другой через сад — как можно медленней. Я уверена, им будет интересно на это поглядеть. Они, бедняжки, такие крошечные. Им стараются скрасить жизнь, но... — Она простерла руки к лесу. — Ведь мы тут совершенно отрезаны от мира.

— С превеликим удовольствием, — сказал я. — Но мне не хотелось бы портить вам газоны.

Она повернула голову вправо.

— Минуточку, — сказала она. — Мы ведь у Южных ворот, правда? Вон там, за павлинами, есть мощеная дорога. Мы называем ее Павлинья аллея. Говорят, она видна прямо отсюда, а если вы сумеете обогнуть опушку и повернуть у первого павлина, то выедете прямо на эту дорогу.

Казалось кощунством нарушать волшебный сон этого дома ревом мотора, но я выехал с луга, двинулся по лесной опушке вплотную к деревьям и свернул на широкую, мощенную камнем дорогу возле фонтана, вода в котором была словно огромный сверкающий сапфир.

— Можно, я поеду с вами? — вскричала она. — Нет, нет, спасибо, я сама. Они обрадуются еще больше, если увидят меня.

Она с легкостью нашла ощупью автомобиль, поставила одну ногу на подножку и окликнула:

— Дети, ау, дети! Вы только поглядите, что сейчас будет!

Голос ее мог бы вызвать погибшие души из преисподней, столько в нем было нежности и страстного желания, и я ничуть не удивился, когда услышал за тисами ответный возглас. Вероятно, отозвался малыш, игравший у фонтана, но едва мы приблизились, он убежал, оставив на воде игрушечный кораблик. Я видел, как его синяя рубашонка промелькнула меж недвижных всадников. С большой торжественностью мы проехали всю аллею и по просьбе женщины повторили путь. На этот раз ребенок преодолел страх, но остался на почтительном расстоянии и был в нерешительности.

— Малыш нас разглядывает, — сказал я. — Быть может, он не прочь прокатиться.

— Они все такие робкие. Право, такие робкие. Но ведь вы, счастливец, можете их видеть! Давайте прислушаемся.

Я тотчас заглушил мотор, и влажная тишина, пронизанная запахом самшита, обволокла нас со всех сторон. Я слышал лишь щелканье ножниц, которыми садовник подрезал ветки, гудение пчел и какие-то невнятные звуки, — быть может, это ворковали голуби.

— Ах, неблагодарный! — сказала она утомленно.

— Вероятно, они просто робеют перед автомобилем. Девчушка в окне, судя по виду, сгорает от любопытства.

— Правда? — Женщина подняла голову. — Я была несправедлива. Ведь они в самом деле меня любят. Это единственное, ради чего стоит жить — ради их любви, не правда ли? Мне страшно подумать, каково было бы здесь без них. Кстати, разве здесь не прелестно?

— Пожалуй, я в жизни не видывал ничего прелестней.

— Все так говорят. Конечно, я и сама чувствую, но это ведь не совсем то.

— Значит, вы никогда... — начал я и осекся в смущении.

— С тех пор как я себя помню, — нет. Это случилось, когда мне было всего несколько месяцев от роду, так мне рассказывали. И все же я, видимо, что-то запомнила, иначе как могла бы я видеть цветные сны. А я вижу в снах свет и краски, но никогда не вижу их. Только слышу, совсем как в то время, когда не сплю.

— Во сне трудно видеть лица. Некоторым это удается, но большинство из нас лишено этого дара, — продолжал я, глядя на окно, откуда украдкой выглядывала малышка.

— Я тоже об этом слышала, — сказала она. — И еще говорят, будто никто не может увидеть во сне лицо умершего человека. Правда ли это?

— Пожалуй, да — хотя раньше я не задавался таким вопросом.

— Ну а как вы — вы сами?

Незрячие глаза обратились ко мне.

— Я никогда, ни в едином сне не видал лиц своих умерших близких или друзей, — ответил я.

— Тогда это не лучше слепоты.

Солнце скрылось за лесом, и длинные тени покрывали надменных всадников одного за другим. Я видел, как угас последний блик на конце глянцевитого листовенного копья и вся броская, жесткая зелень превратилась в мягкую черноту. Дом, приемля конец очередного дня, как и сотен тысяч дней, минувших ранее, казалось, еще глубже погрузился в свой безмятежный покой, осененный тенями.

— А хотелось вам когда-нибудь их увидеть? — спросила она после долгого молчания.

— Порой очень хочется, — ответил я.

Девочка отошла от окна, как только его накрыла тень.

— Ну вот! И мне тоже, только едва ли это суждено... Вы где живете?

— На другом конце графства — милях в шестидесяти отсюда, если не больше, и мне пора возвращаться. Ведь я не поставил на автомобиль яркую фару.

— Но еще не стемнело. Я это чувствую.

— Боюсь, что стемнеет прежде, чем я доеду. Нельзя ли попросить кого-нибудь указать мне, как выбраться на дорогу? Я безнадежно заблудился.

— Я велю Мэдлену проводить вас до перекрестка. Мы здесь так отрезаны от мира, что заблудиться не мудрено! Я поеду с вами к главному входу, только, пожалуйста, вы могли бы ехать помедленней, пока мы не обогнем стену? Моя просьба не кажется вам глупой?

— Обещаю сделать, как вы говорите, — сказал я, отпустил тормоз, и автомобиль сам тихонько тронулся по дороге, полого спускавшейся вниз.

Мы обогнули левое крыло дома с таким редкостным водостоком, что стоило ехать целый день ради одного этого зрелища, миновали большие, увитые розами ворота в красной стене и свернули к высокому фронтоу, который красотой и величием столь же превосходил задний фасад, сколь и все остальные, которые мне доводилось видеть.

— Он в самом деле так красив? — спросила она с тоской, когда я излил свои восторги. — И металлические изваяния вам тоже нравятся? А там, в глубине, запущенный сад, где растут азалии. Говорят, когда-то все это, наверное, было устроено для детей. Вы не поможете мне выйти? Я охотно проводила бы вас до перекрестка, но не могу оставить их. Это вы, Мэдден? Прошу вас, покажите этому джентльмену, как проехать к перекрестку. Он заблудился, но зато... видел их.

Дворецкий бесшумно прошел сквозь некое чудо, созданное из старого дуба и называемое, вероятно, парадной дверью, потом отступил в сторону и надел шляпу. А женщина смотрела на меня широко открытыми голубыми глазами, совершенно незрячими, и тут я впервые заметил, что она красива.

— Помните, — сказала она тихо, — если они вам понравились, вы непременно приедете еще.

И скрылась в доме.

Дворецкий сел в автомобиль и хранил молчание до тех пор, пока мы не подъехали почти к самым воротам, где среди кустарника вдруг мелькнула синяя рубашонка, и я резко свернул в сторону, боясь, как бы коварный бес, который побуждает мальчишек к шалостям, не принудил меня к детоубийству.

— Простите, сэр, — спросил вдруг дворецкий, — но зачем вы это сделали?

— Там ребенок.

— Наш маленький джентльмен в синем?

— Ну конечно.

— Он вечно повсюду бегаёт. Вы видели его у фонтана, сэр?

— Еще бы, несколько раз. Нам здесь поворачивать?

— Да, сэр. А наверху вам тоже довелось их видеть?

— В окне? Да.

— Раньше, чем госпожа вышла поговорить с вами, сэр?

— Чуть раньше. А почему вас это интересует?

Он помолчал немного.

— Просто я хотел увериться, сэр, в том, что... что они видели автомобиль; ведь когда вокруг бегают дети, хоть вы и правите, я уверен, с крайней осторожностью, все же недалеко и до беды. Только и всего, сэр. А вот перекресток. Дальше вы не съедете с пути. Благодарю вас, сэр, но это не в *наших* правилах, только не...

— Извините, — сказал я и сунул серебряную монету обратно в карман.

— Ну что вы, другие обычно не отказываются. Всего доброго, сэр.

Он замкнулся в непреступной важности своего слова, как в стальной башне, и зашагал прочь. Видимо, этот дворецкий дорожил честью дома и опекал детей, быть может, ради какой-то горничной.

Выехав на перекресток, где начинались дорожные столбы, я оглянулся, но неровные гряды холмов сплелись так тесно, что мне не удалось рассмотреть, где расположен дом. А когда я остановился у придорожной хижины и спросил, как называется это место, толстая торговка, продававшая сласти, прозрачно дала мне понять, что люди, которые разъезжают в автомобилях, не имеют права жить на свете — а уж тем более «разговаривать так, будто в карете ездят». Местные жители не отличались любезностью в обращении.

Вечером я проследил свой путь по карте, но не узнал ничего вразумительного. Старая ферма Хоукинса — так было обозначено это место, а в старинном справочнике графства, обычно поражавшем меня своей полнотой, о нем даже не упоминалось. Большой дом в тех краях, как свидетельствовала отвратительная гравюра, именовался Ходнингтон Холл и был построен в стиле восемнадцатого века с позднейшими украшениями в викторианском духе. Я в недоумении обратился к соседу — старику, глубоко пустившему корни в здешнюю почву, — и он назвал семейство, чья фамилия не говорила мне ровно ничего.

Приблизительно через месяц я поехал сюда снова — или, может статься, автомобиль мой избрал этот путь по собственной воле. Он миновал бесплодные известковые холмы, отыскал все повороты в лабиринте проселков под взгорьями, пробрался сквозь густолистые леса, которые высились, словно непреступные зеленые стены, выехал на перекресток, где я расстался с дворецким, а потом в моторе произошла какая-то неполадка, и я вы-

нужден был свернуть на травянистую прогалину, которая врезалась в ореховые заросли, объятые летней дремотой. Насколько я мог определить по солнцу и по крупномасштабной военной карте, здесь и был объезд того леса, который я в первый раз обзирал с высоты. Я принялся за ремонт всерьез и устроил целую мастерскую, аккуратно разложив на коврике блестящие инструменты, гачные ключи, насос и все прочее. В эту ловушку можно было заманить всех ребятишек на свете, а в такой чудесный день, решил я, здешние дети наверняка где-нибудь поблизости. Прервав работу, я прислушался, но лес был полон летних шумов (хотя у птиц уже кончилась брачная пора), и я не сразу различил осторожную поступь маленьких ножек, которые крались ко мне по палой листве. Я позвонил в колокольчик как мог заманчивей, но они обратились в бегство, и я пожалел о своей опрометчивости, потому что у ребенка внезапный шум вызывает самый настоящий ужас. Я провозился, вероятно, еще с полчаса, а потом услышал в глубине леса голос слепой женщины, которая крикнула: «Дети, ау, дети! Вы где?» — и звонкие отголоски этого зова долго еще отдавались в ленивой тишине. Она пошла ко мне, легко нащупывая путь меж стволами деревьев, и, хотя кто-то из детей, вероятно, цеплялся за ее юбку, он скрылся в густой листве, как заяц, едва она приблизилась.

— Это вы? — спросила она. — Тот самый человек, что живет на другом конце графства?

— Да, тот самый, что живет на другом конце графства.

— Тогда почему же вы не приехали поверху, через те леса? Они только что были там.

— Они были здесь всего несколько минут назад. Мне кажется, они знали, что мой автомобиль сломался, и прибежали поглядеть для забавы.

— Надеюсь, ничего серьезного не произошло? А почему ломаются автомобили?

— На это есть пятьдесят различных причин. Но мой автомобиль выискал пятьдесят первую.

Она весело рассмеялась моей нехитрой шутке и, заливаясь воркующим, пленительным смехом, сдвинула шляпу на затылок.

— Позвольте, я послушаю, — сказала она.

— Подождите! — воскликнул я. — Сейчас я сниму с сиденья подушку и подложу вам.

Она наступила на коврик, сплошь покрытый запасными частями, и наклонилась над ним с живым интересом.

— Какие чудесные вещицы! — Руки, заменявшие ей глаза, шарили в испещренном тенями солнечном свете. — Вот коробка... а вот еще одна! Да вы тут все разложили, как в магазине игрушек!

— Должен признаться, я вытащил многое, чтобы их привлечь. На самом деле половина этих штукоев мне совсем не нужна.

— Как это мило с вашей стороны! Я услышала колокольчик из верхнего леса. Вы говорите, они уже побывали здесь?

— Без сомнения. Почему они такие робкие? Тот малыш в синем, который только что был с вами, мог бы побороть страх. Он выслеживал меня, словно краснокожий индеец.

— Вероятно, их напугал колокольчик, — сказала она. — Когда я спускалась по склону, я слышала, как кто-то из них прошмыгнул мимо в смятении. Да, они робкие — очень робкие, даже меня дичатся. — Она обернулась через плечо и крикнула снова: — Дети, ау, дети! Поглядите только, что тут такое!

— Надо думать, они бегали гурьбой по своим делам, — предположил я, потому что позади нас начали перешептываться невнятные голоса, а потом вдруг раздался тоненький детский смех.

Я снова занялся починкой, а она наклонилась вперед, подперев ладонью подбородок, и с любопытством прислушивалась.

— Сколько же их всего? — спросил я наконец.

Работа была закончена, но я не видел необходимости уезжать.

Она слегка наморщила лоб в задумчивости.

— Сама точно не знаю, — сказала она просто. — Иногда их больше, иногда — меньше. Понимаете, они приходят и живут со мной, потому что я их люблю.

— Похоже, у вас тут весело, — сказал я, ставя на место ящик с инструментами, и едва эти слова сорвались у меня с языка, я почувствовал всю их неуместность.

— Вы... вы ведь не станете надо мной смеяться! — вскричала она. — У меня... у меня нет своих детей. Я никогда не была замужем. Иногда люди смеются надо мной из-за них, потому... потому...

— Потому что это не люди, а дикари, — возразил я. — Не обращайтесь внимания. Такие ничтожества смеются надо всем, чему нет места в их сытой жизни.

— Я, право, не знаю. Откуда мне знать? Я не хочу только, чтобы надо мной смеялись из-за *них*. Это тяжело. А кто лишен зрения... Я не хотела бы показаться глупой... — При этих словах подбородок у нее задрожал, как у ребенка. — Но, по-моему, мы, слепые, особенно чувствительны. Все извне ранит нас прямо в душу. Иное дело вы. Глаза служат вам такой надежной защитой... вы можете увидеть заранее... прежде чем кто-нибудь действительно ранит вас в душу. Все забывают об этом при общении с нами.

Я молчал, размышляя об этой неисчерпаемой теме — о жестокости христианских народов, не просто унаследованной от предков (потому что ее к тому же старательно воспитывают), жестокости, рядом с которой простое языческое варварство негра с Западного Берега выглядит чистым и безобидным. Размышляя, я целиком углубился в себя.

— Не надо этого! — сказала она вдруг и закрыла глаза ладонями.

— Чего?

Она повела рукой в воздухе.

— Вот этого! Оно... оно сплошь лиловое и черное. Не надо! Этот цвет причиняет боль.

— Но позвольте, откуда вы знаете цвета? — воскликнул я, потому что это было для меня истинным откровением.

— Цвета вообще? — спросила она.

— Нет. *Те* Цвета, которые вы сейчас себе представили.

— Вы сами знаете не хуже меня, — отвечала она со смехом, — иначе вы не задали бы такого вопроса. В мире их вовсе не существует. Они внутри *вас* — когда вы испытываете такую злобу.

— Вы говорите про тусклое лиловатое пятно, будто портвейн смешали с чернилами? — спросил я.

— Я никогда не видела ни чернил, ни портвейна, но цвета эти не смешанные. Они отдельны — совершенно отдельны.

— Вы говорите про черные полосы и зубцы на лиловом фоне?

Она кивнула.

— Да... если они вот такие, — тут она снова нарисовала пальцем зигзаг в воздухе, — но преобладает не лиловый, а красный — этот зловещий цвет.

— А какие цвета сверху... ну, того, что вы видите?

Она медленно наклонилась вперед и описала на коврике очертания самого Яйца.

— Вот как я их вижу, — сказала она, указывая травяным стебельком, — белый, зеленый, желтый, красный, лиловый, а когда человека, как вот сейчас вас, охватывает злорада или ненависть, — черный на красном.

— Кто рассказал вам про это — в самом начале? — спросил я.

— Про цвета? Никто. В детстве я часто спрашивала, какие бывают цвета — скажем, на скатертях, и занавесках, и коврах, — потому что одни цвета причиняют мне боль, а другие приносят радость. Мне объясняли. А когда я подросла, то стала видеть людей вот такими.

Она снова очертила то Яйцо, видеть которое дано лишь немногим из нас.

— И все это сами? — переспросил я.

— Все сама. Некому было мне помочь. И только потом я узнала, что другие не видят Цвета.

Она прислонилась к древесному стволу, сплетая и расплетая случайно сорванные травинки. Дети, прятавшиеся в лесу, подкрались ближе. Краем глаза я видел, как они резвятся там, словно бельчата.

— Теперь я уверена, что вы никогда не станете над мной смеяться, — заговорила она после долгого молчания. — И над *ними* тоже.

— Боже упаси! Нет! — воскликнул я, резко оборвав нить своих размышлений. — Человек, который смеется над ребенком — если только сам ребенок не смеется тоже, — это варвар!

— Право, я говорила не о том. Вы никогда не стали бы смеяться *над* детьми, но я думала — думала раньше, — что, возможно, вы способны смеяться из-за *них*. А теперь прошу извинения... Над чем вам хочется смеяться?

Я не издал ни звука, но она все поняла.

— Над тем, что вы еще вздумали просить у меня прощения. Если бы вы пожелали исполнить свой долг, будучи опорой государства и владелицей здешних земель, вам пришлось бы притянуть меня к суду за то, что я вторгся в чужие владения, еще на днях, когда я вло-

мился в ваши леса. С моей стороны это было постыдно... непростительно.

Прижавшись затылком к стволу, женщина эта, которая умела видеть обнаженную душу, посмотрела на меня долгим, пристальным взглядом.

— До чего забавно, — произнесла она полушепотом. — До чего же это забавно.

— Но что я такого сделал?

— Вам не понять... и все же вы понимаете Цвета. Ведь понимаете?

Она говорила со страстью, решительно ничем не оправданной, и, когда она поднялась, я уставился на нее в замешательстве. Дети собрались в кружок за кустом куманики. Одна головка склонилась над чем-то совсем крошечным, и по движениям худеньких плеч я понял, что они приложили пальчики к губам. У них тоже была своя потрясающе важная детская тайна. Один лишь я, безнадежно чужой, стоял на солнцепеке.

— Нет, — сказал я и покачал головой, как будто мертвые глаза могли это видеть. — Что бы там ни было, я еще не понимаю. Быть может, пойму потом — если вы позволите мне приехать еще.

— Вы приедете еще, — отозвалась она. — Непременно приедете и побродите по лесу.

— Надеюсь, дети тогда уже привыкнут ко мне и позволят с ними поиграть — в виде особой милости. Вы же знаете, каковы дети.

— Тут требуется не милость, а право, — отвечала она, и я стал размышлять над смыслом ее слов, как вдруг из-за поворота дороги показалась женщина, вся встрепанная, простоволосая, покрасневшая, она испускала на бегу жалобные вопли, подобные мычанию. Это была уже знакомая мне языкастая толстуха, торговка сладостями. Слепая женщина услышала ее и шагнула навстречу.

— Что случилось, миссис Мейдхерст? — спросила она.

Толстуха закрыла лицо передником и начала буквально ползать в пыли, вопя, что ее внук смертельно заболел, а местный доктор уехал на рыбалку, и Дженни, мать ребенка, с ума сходит, и прочее в том же роде, с повторами и причитаниями.

— Где здесь поблизости есть другой доктор? — спросил я между приступами отчаяния.

— Мэдден вам покажет. Обогните дом и захватите его с собой. А я останусь здесь. Скорее!

Она отвела толстую в тень. Через две минуты я уже трубил во все иерихонские трубы у Дворца Красоты, и Мэдден, выйдя из буфетной, изъявил готовность помочь беде и как дворецкий, и как человек.

За четверть часа мы, беззастенчиво превышая скорость, покрыли пять миль и добрались до доктора. Он проявил большой интерес к автомобилям, и через полчаса мы высадили его у дверей торговки сладостями и остановились у дороги в ожидании приговора.

— Полезная штука эти автомобили, — сказал Мэдден, теперь уже просто как человек, а не как дворецкий. — Будь у нас автомобиль, когда заболела моя малышка, ей не пришлось бы умереть.

— Что же у нее было? — спросил я.

— Круп. Миссис Мэдден отлучилась из дому. Я поехал в повозке за восемь миль и привез доктора. Когда мы приехали, она уже задохнулась. А такой автомобиль спас бы ее. Сейчас ей было бы без малого десять лет.

— Это очень печально. Из нашего разговора на днях, когда вы провожали меня до перекрестка, я понял, что вы очень любите детей.

— Сэр, вы видели их опять... сегодня утром?

— Да, но они ужасно боятся автомобилей. Мне не удалось подманить ни одного ближе чем на двадцать шагов.

Он посмотрел на меня настороженно, как разведчик рассматривает чужого — отнюдь не как слуга своего господина, который ниспослан ему богом.

— Не знаю, в чем тут дело, — сказал он тихо, со вздохом.

Мы все еще ждали. Легкий ветерок с моря колыхал леса, простиравшиеся далеко окрест, а придорожные травы, за лето запорошенные белесой пылью, клонились и шелестели, как волны на отмели.

Из соседней хижины выбежала женщина, вытирая с рук мыльную пену.

— Я подслушивала на заднем дворе, — сказала она оживленно. — Он говорит, Артур безнадежно плох. Слышали, как он сейчас кричал? Безнадежно плох. Мое такое мнение, мистер Мэдден, что на той неделе придет черед Дженни бродить по лесу.

— Простите, сэр, но как бы ваш плащ не упал, — сказал Мэдден почтительно.

Женщина вздрогнула, поклонилась и поспешно ушла.

— Она сказала «бродить по лесу», как это понимать?

— Вероятно, это какое-то местное выражение. Я родом из Норфолка, — ответил Мэдден. — А здесь люди живут сами по себе. Она приняла вас за шофера, сэр.

Я увидел, как доктор вышел из двери, и следом появилась молодая женщина в отрепьях, которая цеплялась за его руку так, будто он мог вести за нее переговоры с самой Смертью.

— Какой уж есть, — выла она, — мы их все одно любим, как ежели б они законными родились. Это все одно — все одно! И ежели вы его спасете, доктор, бог одинаково возрадуется. Не отымайте его у меня. Мисс Флоренс подтвердит мои слова. Не уходите, доктор!

— Знаю, знаю, — сказал врач, — но теперь ребенок на время успокоился. А мы как можно скорей привезем сиделку и лекарство.

Он сделал мне знак подъехать, и я старался не смотреть на дальнейшее; но я видел лицо молодой женщины, покрытое пятнами и окаменевшее от горя, а когда мы тронулись, почувствовал, как рука без обручального кольца стиснула мне колено.

Доктор не был лишен чувства юмора и, помнится, сказал, что теперь мой автомобиль должен верно послужить Эскулапу, и гонял меня и его безо всякой пощады. Первым делом мы доставили миссис Мейдхерст и слепую женщину к больному ребенку, чтобы они позаботились о нем, пока не прибудет сиделка. Затем мы вторглись в чистенький городок, центр графства, чтобы добыть лекарства (доктор сказал, что у ребенка воспаление головного и спинного мозга), а когда в местной клинике, окруженной и осажденной перепуганным скотом, который пригнали на ярмарку, нам объявили, что свободных сиделок сейчас нет, мы буквально пролетели насквозь все графство. Мы вступали в переговоры с владельцами огромных особняков, куда вели аллеи, над которыми смыкались кроны вековых деревьев, — и пышнотелые супруги этих влиятельных господ вставали из-за чайного стола, чтобы выслушать неугомонного доктора. Наконец белокурая дама, которая восседала под ливанским кедром в окружении целой свиты борзых собак — все они люто ненавидели автомобили, — вручила доктору, а он принял, словно милость от какой-нибудь принцессы, письменное распоряжение, и мы помчались на предельной скорости через парк, за много миль, во французский

монастырь, где нам взамен выдали бледную, трепещущую монашенку. Она стояла в автомобиле на коленях, непрерывно перебирая четки, а я напрямик, по бездорожью, следуя произвольным указаниям доктора, снова выехал к хижине торговли сладостями. День тянулся долго и был насыщен безумными событиями, которые сгущались и рассеивались, словно пыль, летевшая из-под колес моего автомобиля; будто какая-то плоскость рассекла чуждые и непостижимые жизни, а мы мчались сквозь них под прямым углом; домой я уехал затемно, в полном изнеможении, и ночью мне снились сшибающиеся бычьи рога; монашенки с круглыми от страха глазами, бродящие по саду среди могил; благопристойные господа, пьющие чай под тенистыми деревьями; серые, пропахшие карболкой коридоры клиники; робкие шаги детей в лесу и рука, стиснувшая мне колено, когда автомобиль тронулся с места.

\* \* \*

Я собирался приехать снова через день-другой, но Судьбе было угодно задержать меня по многим причинам, и я попал в ту часть графства, когда давно уже отцвели бузина и дикие розы. Но вот наступил чудесный день, небо на юго-западе прояснилось, и до холмов, казалось, можно было дотянуться рукой, — день, когда дул порывистый ветерок, а в вышине плыли ажурные облака. Как-то само собою я оказался свободен и в третий раз повел автомобиль по знакомой дороге. Доехав до перевала через известковые холмы, я почувствовал, что мягкий воздух переменялся, и заметил, как он сверкает под солнцем; взглянув в сторону моря, я увидел синеву Ла-Манша, которая постепенно переходила в цвет полированного серебра, сероватой стали и тусклого олова. Корабль, груженный углем, шел близко к берегу, а потом свернул, огибая мель, и сквозь медно-желтую дымку я разглядел, как целый флот рыбачьих суденышек, стоявших на якоре, начал поднимать паруса. Позади меня, за высокой дюной, внезапный вихрь налетел на скрытые от взора дубы, и высоко в воздухе закружились сухие листья, первые вестники близкой осени. Когда я выехал на прибрежную дорогу, над кирпичными заводами плавал туман, а волны свидетельствовали, что за Ушантом штормит. Не прошло и получаса, как летняя Англия по-

дернулась холодной, серой пеленой. Она снова стала обособленным островом северных широт, и у врат ее, за которыми таилась опасность, ревели гудки всех судов мира, а в промежутках между их отчаянными воплями раздавался писк испуганных чаек. С моей шляпы стекала вода, скапливалась лужицами в складках коврика или струилась наружу, а на губах у меня оседала соль.

Когда я удалился от берега, запахло осенью, туман сгустился и морозящий дождь перешел в непрерывный ливень. Но все же последние цветы — мальвы у дороги, вдовушки среди полей и георгины в садах — ярко выделялись в тумане, и здесь, куда не долетали морские ветры, листва на деревьях почти не опала. Двери всех домиков были распахнуты, и босоногие ребятишки с непокрытыми головами удобно сидели на мокрых ступеньках и кричали «би-би» вслед незнакомцу.

Я решился заехать в хижину торговки сладостями, и миссис Мейджерст, все такая же толстая, встретила меня, не поскунясь на слезы. Сынишка Дженни, сказала она, умер через два дня после того, как приехала монашенка. И это, на ее взгляд, было самое лучшее, хотя страховые конторы по причинам, которые она не бралась объяснить, очень неохотно страхуют жизнь таких ублюдков.

— И, право слово, Дженни заботилась об Артуре весь первый год, будто он родился в законном браке, как сама Дженни.

Благодаря миссис Флоренс ребенка похоронили с пышностью, которая, по мнению миссис Мейджерст, затмила мелкие неприятности, сопутствовавшие его рождению. Она поведала мне, как выглядел гробик изнутри и снаружи, описала застекленный катафалк и вечнозеленую изгородь вокруг могилы.

— А что же мать? — спросил я.

— Дженни? Ну, она вскорости перестанет убиваться. Я сама пережила такое раза два. Она перестанет убиваться. Сейчас она бродит по лесу.

— В такую погоду?

Миссис Мейджерст поглядела на меня через прилавок, сощуриив глаза.

— Не знаю уж, только от этого легчает на сердце. Да, легчает. У нас тут говорят, что в конце концов тогда становится все едино, потерять или найти.

Право, мудрость старух превышает всей мудрости святых отцов, и я, продолжая путь по дороге, так глубоко

задумался над этим пророчеством, что едва не задавил женщину с ребенком в лесистом уголке близ ворот Дворца Красоты.

— Ужасная погода! — воскликнул я, резко затормозив перед поворотом.

— Не так уж она плоха, — миролюбиво отозвалась женщина из тумана. — Я к этому привычна. А вам, думается мне, лучше будет в доме.

Когда я вошел в дом, Мэдден принял меня с профессиональной учтивостью, любезно справился о состоянии автомобиля и предложил поставить его под навес.

Я дожидался в тихой зале, обшитой ореховыми панелями и обогреваемой чудесным, отделанным деревом камином, — здесь дышалось легко и царил безмятежный покой. (Мужчины и женщины с превеликим трудом порой ухитряются измыслить сколько-нибудь правдоподобную ложь; но дом, которому предназначено служить им храмом, может рассказать о своих обитателях лишь истинную правду.) На полу, разрисованном в черно-белую клетку, подле откинутого ковра были брошены игрушечная тележка и кукла. Я чувствовал, что дети убежали отсюда перед самым моим приходом — вероятней всего, спрятались, — либо взобрались по многочисленным маршам широкой полированной лестницы, которая величественно возвышалась над залой, либо в смущении затаились среди львов и роз на верхней резной галерее. А потом я услышал у себя над головой ее голос — она пела, как поют слепые, от души:

В радостях, под сада сенью...

И тут, откликаясь на этот призыв, во мне ожили все воспоминания о том, что было в начале лета.

В радостях, под сада сенью,  
Боже, грешных нас согрей,  
Хоть твое благословенье  
В скорби нам куда важней.

Она пропустила неуместную пятую строчку и повторила:

В скорби нам куда важней!

Я видел, как она перегнулась через перила на галерее, и ее сложенные руки сияли, словно жемчужины, на фоне дубового дерева.

— Это вы — с другого конца графства? — окликнула она меня.

— Да, я — с другого конца графства, — ответил я со смехом.

— Как долго вас не было. — Она проворно спустилась с лестницы, слегка касаясь одной рукою широких дубовых перил. — Прошло два месяца и четыре дня. Лето уже кончилось!

— Я хотел приехать раньше, но вмешалась Судьба.

— Так я и знала. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим камином. Мне не позволяют им заниматься, но я чувствую, что он плохо себя ведет. Задайте ему хорошенько!

Я взглянул по обе стороны глубокого камина, но отыскал лишь полуобгорелый кол и подтолкнул им в пламя обугленное полено.

— Он не гаснет никогда, ни днем, ни ночью, — сказала она, как бы стараясь что-то объяснить. — На всякий случай, понимаете ли, вдруг кто-нибудь придет и захочет погреть ноги.

— Здесь, внутри, еще очаровательней, чем снаружи, — пробормотал я.

Красноватый свет залил отполированные и тусклые от старости панели, а розы с эмблемы Тюдоров и львы на галерее словно ожили и обрели цвет. Выпуклое зеркало в раме, увенчанной орлом, вобрало все это в свою таинственную глубину, вновь искажая уже искаженные тени, и галерея стала похожа на борт корабля. К исходу дня надвинулась гроза, туман спустился вязкими клубами. Сквозь незанавешенные створки широкого окна мне было видно, как кони доблестных рыцарей вставали на дыбы и грудью встречали ветер, который бросал на них легионы сухих листьев.

— Да, дом, вероятно, красив, — сказала она. — Хотите посмотреть? Наверху еще довольно света.

Я поднялся вслед за ней по прочной, шириной с целый фургон, лестнице на галерею, куда выходили тонкие двери, украшенные резьбой в елизаветинском стиле.

— Вы пощупайте щеколды, они поставлены низко, чтобы дети могли достать.

Она распахнула легкую дверь внутрь.

— Кстати, а где они? — спросил я. — Сегодня я их даже не слышал.

Она помедлила с ответом. Потом сказала тихо:

— Я ведь их только слышу. Вот одна из их комнат — видите, все приготовлено.

И показала комнату со стенами из массивных досок. Там стояли низенькие столики и детские стульчики. Кукольный домик с приотворенной полукруглой передней стенкой соседствовал с большим, серым в яблоках конем-качалкой, покрытым мягким седлом, с которого ребенку легко было залезть на широкий подоконник, откуда был виден луг. Игрушечное ружье лежало в углу рядом с позолоченной деревянной пушкой.

— Наверняка они только что были здесь, — прошептал я.

В полутьме осторожно скрипнула дверь. Я услышал шелест одежды и легкие, быстрые шаги — резвые ноги перебежали смежную комнату.

— Я слышала! — вскричала она с торжеством. — И вы тоже? Дети, ах, дети, вы где?

Голос ее наполнил комнату, которая любовно вобрала в себя все до последнего, бесконечно нежного звука, но не было ответного возгласа, какой я слышал в саду. Мы торопливо шли по дубовым полам из комнаты в комнату: тут ступенька вверх, там три ступеньки вниз, по лабиринту коридоров, все время подшучивая над беглецами. С таким же успехом можно было бы обшаривать незакрытый садок, куда пустили одного-единственного хорька. Там были бесчисленные дверцы, ниши в стенах, узкие и глубокие щели окон, за которыми уже стемнело, и всюду они могли ускользнуть у нас за спиной; были заброшенные каминные, уходившие в стену футов на шесть, и множество дверей в смежных комнатах. Но главное, в этой игре им помогали сумерки. Несколько раз до меня долетали веселые смешки тех, кому удалось улизнуть, и я видел в конце коридора, на фоне то одного, то другого темнеющего окна, силуэты в детской одежде; но мы вернулись ни с чем на галерею, где пожилая женщина уже ставила в нишу зажженную лампу.

— Нет, мисс Флоренс, я ее нынче тоже не видала, — слышался ее голос, — но вот Терпин говорит, что ему надобно потолковать с вами насчет коровника.

— Ну конечно, мистеру Терпину я очень нужна. Позовите его в залу, миссис Мэдден.

Я поглядел вниз, в залу, освещенную лишь потускневшим огнем каминного, и там, в густой тени, наконец увидел их. Вероятно, они проскользнули вниз, когда мы бродили

по коридорам, и теперь полагали, что надежно укрылись за старой позолоченной кожаной ширмой. По правилам детской игры моя тщетная погоня была равносильна знакомству, но я затратил столько усилий, что решил заставить их подойти с помощью нехитрой уловки, которой дети терпеть не могут, и притворился, будто не замечаю их. Они притаились тесной кучкой, зыбкие, неверные тени, и лишь иногда короткая вспышка пламени выдавала их очертания.

— А теперь давайте пить чай, — сказала хозяйка. — Я должна была сразу предложить вам чаю, но как соблюдать хороший тон, если живешь одиноко и слынешь человеком не без, гм, чудачеств. — Потом она добавила с изрядной долей презрения: — Не подать ли вам лампу, чтобы вы видели, что едите?

— Мне кажется, огонь в камине гораздо приятнее.

Мы спустились в очаровательную темноту, и миссис Мэдден подала чай.

Я поставил свой стул поближе к ширме, готовый удивлять или удивляться, в зависимости от того, какой оборот примет игра, и с разрешения хозяйки, поскольку очаг всегда священен, наклонился поправить дрова.

— Откуда у вас эти прелестные прутики? — спросил я небрежно. — Пойдите, да ведь это счетные палочки!

— Ну конечно, — сказала она. — Ведь я не могу ни читать, ни писать, вот мне и приходится вести счета с помощью таких палочек, как делали наши предки. Дайте мне одну, и я вам все объясню.

Я подал ей прут орешника около фута длиной, и она быстро провела большим пальцем по зарубкам.

— Вот здесь удой молока в галлонах на приусадебной ферме за апрель прошлого года. Не знаю, что я делала бы без этих палочек. Один старый лесник выучил меня ими пользоваться. Все остальные считают такой способ устаревшим, но мои арендаторы относятся к нему с уважением. Вот и сейчас один из них пришел ко мне. Нет, пожалуйста, не беспокойтесь. Это жадный и невежественный человек — очень жадный. . . иначе он не пришел бы так поздно, когда уже стемнело.

— Стало быть, у вас большое имение?

— Слава господу, всего около двухсот акров я оставила за собой. Остальные шестьсот почти все сданы в аренду людям, которые знали моих родных, когда меня

еще на свете не было, но этот Терпин здесь совсем чужой. . . И он просто разбойник с большой дороги.

— Но я действительно не помешаю? . . .

— Нисколько. Вы в своем праве. У него нет детей.

— Кстати о детях! — сказал я и тихонько отодвинул свой низкий стул назад, так что он едва не коснулся ширмы, за которой они прятались. — Интересно, выйдут ли они ко мне?

У невысокой темной боковой дверки раздались невнятные голоса — голос Мэддена и чей-то густой бас, — и рыжеволосый великан, чьи ноги были обмотаны мешковиной, человек, в котором можно было безошибочно угадать арендатора, ввалился в комнату или, быть может, его втолкнули силой.

— Подойдите к камину, мистер Терпин, — сказала хозяйка.

— Ежели. . . ежели дозволите, мисс, я. . . я уж лучше у двери постою.

Говоря это, он цеплялся за щеколду, как испуганный ребенок. И я вдруг понял, что им владеет какой-то едва преодолимый страх.

— Ну?

— Я насчет нового коровника для телят — только и делов. Уже начинаются осенние грозы. . . но лучше, мисс, я зайду в другой раз.

Зубы у него стучали почти так же, как дверная щеколда.

— Не вижу в этом необходимости, — сказала она бесстрастно. — Новый коровник. . . м-м. . . Что написал вам мой поверенный пятнадцатого числа?

— Я. . . я думал, может, ежели я потолкую с вами, мисс, начистоту. . . Но вот. . .

Расширенными от ужаса глазами он оглядел комнату. Потом приоткрыл дверь, в которую вошел, но я заметил, что ее тотчас закрыли вновь — снаружи и твердой рукой.

— Он написал вам то, что я велела, — продолжала хозяйка. — У вас и без того уже слишком много скота. На ферме Даннетта никогда не было больше пятидесяти телят, даже во времена мистера Райта. Причем он кормил их жмыхами. А у вас их шестьдесят семь, и жмыхов вы им не даете. В этом пункте вы нарушили арендный договор. Вы губите ферму.

— Я... я привезу на той неделе минеральные удобрения... суперфосфат. Я уже почти что заказал грузовик. Завтра поеду на станцию. А потом, мисс, приду и потолкую с вами начистоту, но только днем, когда светло... Ведь этот джентльмен еще не уходит?

Он повысил голос почти до крика.

Перед этим я лишь чуточку отодвинул стул назад, чтобы слегка постучать по кожаной ширме, но он заметался, как пойманная крыса.

— Нет. Мистер Терпин, пожалуйста, выслушайте меня внимательно.

Она повернулась на стуле в его сторону, а он прижался спиной к двери. Она уличила его в старых, грязных уловках — он просит выстроить новый коровник за счет хозяйки, чтобы сэкономить на удобрениях и выкроить деньги для уплаты ренты за будущий год, это ясно, а прекрасные пастбища он истощил вконец. Я поневоле восхитился его невероятной жадностью, видя, как ради этого он стойко выносил неведомый мне ужас, от которого лоб его покрылся испариной.

Я перестал постукивать по ширме — тем временем обсуждалась стоимость коровника — и вдруг почувствовал, как мою опущенную руку тихонько взяли и погладили мягкие детские ладошки. Наконец-то я восторжествовал. Сейчас я обернусь и познакомлюсь с этими быстроногими бродяжками...

Краткий, мимолетный поцелуй коснулся моей ладони — словно дар, который нужно удержать, сжав пальцы: это был знак верности и легкого упрека со стороны нетерпеливого ребенка, который не привык, чтобы на него не обращали внимания, даже когда взрослые очень заняты, — пункт негласного закона, принятого очень давно.

И тогда я понял. У меня было такое чувство, словно я понял сразу, в самый первый день, когда взглянул через луг на верхнее окно.

Я слышал, как затворилась дверь. Хозяйка молча повернулась ко мне, и я почувствовал, что и она понимает.

Не знаю, сколько после этого прошло времени. Из задумчивости меня вывел стук выпавшего полена, я встал и водворил его на место. Потом снова сел почти вплотную к ширме.

— Теперь вам все ясно, — шепнула она, отделенная от меня скопищем теней.

— Да, мне все ясно... теперь. Благодарю вас.

— Я... я только слышу их. — Она уронила голову на руки. — Вы же знаете, у меня нет права — нет другого права. Я никого не выносила и не потеряла — не выносила и не потеряла!

— В таком случае вам остается лишь радоваться, — сказал я, потому что душа моя разрывалась на части.

— Простите меня!

Она притихла, а я вернулся к своим житейским делам.

— Это потому, что я их так люблю, — сказала она наконец прерывающимся голосом. — *Вот* в чем было дело, даже сначала... даже прежде, чем я поняла, что, кроме них, у меня никого и ничего нет. И я их так любила!

Она простерла руки туда, где лежали тени и другие тени таились в тени.

— Они пришли, потому что я их люблю... Потому что они были мне нужны. Я... я должна была заставить их прийти. Это очень плохо, как вы полагаете?

— Нет, нет.

— Я готова признать, что игрушки и... и все прочее — это вздор, но я сама в детстве ненавидела пустые комнаты. — Она указала на галерею. — И все коридоры пустые... И как было вынести, когда садовая калитка заперта? Представьте себе...

— Не надо! Не надо, помилосердствуйте! — воскликнул я.

С наступлением сумерек хлынул холодный дождь и налетел порывистый ветер, который хлестал по окнам в свинцовых переплетах.

— И по той же причине камин горит всю ночь. Мне думается, это не так уж глупо — как по-вашему?

Я взглянул на большой кирпичный камин, увидел, кажется, сквозь слезы, что он не огражден неприступной железной решеткой, и склонил голову.

— Я сделала все это и еще многое другое просто ради притворства. А потом *они* пришли. Я слышала их, но не знала, что они не могут принадлежать мне по праву, пока миссис Мэдден не сказала мне...

— Жена дворецкого? Что же она сказала?

— Одного из них — я слышала — она увидела. И я поняла. Ради нее! *Не* для меня. Сперва я не понимала. Пожалуй, начала ревновать. Но постепенно мне стало ясно — это лишь потому, что я люблю их, а не потому... Ах, нужно *непременно* выносить или потерять, — сказала

она жалобно. — Иного пути нет — и все же они меня любят. Непременно должны любить! Ведь правда?

В комнате воцарилась тишина, только огонь захлебывался в камине, но мы оба напряженно прислушивались, и то, что она услышала, по крайней мере, ей принесло утешение. Она совладала с собой и привстала с места. Я неподвижно сидел на стуле подле ширмы.

— Только не думайте, что я такое ничтожество и вечно сетую на свою судьбу, вот как сейчас, но... но я живу в непроницаемой тьме, а *вы* можете видеть.

Я и вправду мог видеть, и то, что представилось моему взору, укрепило во мне решимость, хотя это было очень похоже на расставание души с телом. Все же я предпочел остаться еще немного, ведь это было в последний раз.

— Значит, вы полагаете, это плохо? — вскричала она пронзительно, хотя я не вымолвил ни слова.

— С вашей стороны — нет. Тысячу раз нет. С вашей стороны это прекрасно... Я вам так благодарен, просто слов нет. Плохо было бы с моей стороны. Только с моей...

— Почему же? — спросила она, но закрыла лицо рукою, как во время нашей второй встречи в лесу. — Ах да, конечно, — продолжала она с детской непосредственностью, — с вашей стороны это было бы плохо. — И добавила с коротким, подавленным смешком: — А помните, я назвала вас счастливецом... однажды... при первой встрече. Вас, человека, который никогда больше не должен сюда приезжать!

Она ушла, а я еще немного посидел возле ширмы и слышал, как вверху, на галерее, замерли ее шаги.

## ДОМ ЧУДЕС

Новая опекунша из Церковного Совета ушла, просидев минут двадцать. Все это время миссис Эшкрофт говорила с ней так, как подобает солидной, пожилой женщине, которая знавала лондонское обхождение — она жила в кухарках у столичных господ, — и заработала себе на старость пенсию. Тем охотней поэтому она перешла на свой привычный, по-домашнему мягкий сассекский говорок, когда автобус доставил ей новую гостью — миссис Фетли, проехавшую в этот погожий субботний

мартовский день тридцать миль, чтобы навестить подругу. Они дружили с самого детства, но в последние годы судьбы их разошлись, и встречались они редко.

За месяцы разлуки так много накопилось у обеих на душе, так много разных нитей нужно было распутать и связать, что подруги долго не могли наговориться. Наконец миссис Фетли достала мешочек с разноцветными лоскутками — она собирала из них одеяло — и устроилась на кушетке у окна, выходящего в сад, за которым внизу, в долине, виднелось футбольное поле.

— Почти весь народ в Буштае сошел, — сказала она. — На футбол ехали. Так что последние пять миль не к кому и прислониться было. Ох, и растрясло ж меня!

— С тобой и со старой что сделается? — ответила хозяйка. — Кость у тебя как была неломкая, так и осталась.

Миссис Фетли довольно хмыкнула и, приложив друг к другу два лоскутка, оценивающе прищурилась.

— Что правда, то правда, хребет у меня крепкий. А то б давно переломился, считай, лет двадцать назад. Ведь жирка на мне отродясь не бывало. Или забыла?

Миссис Эшкрофт медленно — она никогда не спешила — покачала головой и снова склонилась над своей работой: она пришивала холщовую подкладку к плетеной из тростника корзинке для инструментов. Миссис Фетли разложила перед собой еще несколько лоскутков, и они заиграли в лучах весеннего солнца, пробивавшихся сквозь листья герани на подоконнике. Некоторое время женщины сидели молча.

— А что за птица ваша новая опекунша? — поинтересовалась миссис Фетли, кивнув на дверь. Она была очень близорука и в прихожей едва не сбила с ног даму из Церковного Совета.

Миссис Эшкрофт высоко подняла толстую иглу, выбирая место, куда бы ее вколоть.

— Ничего против не скажу. Одно плохо — новостей пока мало приносит.

— Которая к нам в Кейнслейде ходит, — сообщила миссис Фетли, — ей бы только языком молотъ. И рта не закроет, все ах да ох, словечка не вставить. Я ее и слушать перестала — про свое думаю.

— Нет, наша не трещотка. Губки подождет — ну прямо монашенка из Высокой церкви.

— А наша-то замужем. Только это ей не впрок, если

правду люди говорят... — Миссис Фетли вскинула ост-ренький подбородок: — У-у, хренобусы чертовы, разъездились! Весь дом ходуном от них ходит!

Облицованный черепицей дом и действительно задрожал, потому что мимо проезжали два открытых сорокаместных автобуса — специальный маршрут для болельщиков на матч в Буштае; за ними пыхтел еще один, местный, — обычный субботний рейс в главный город графства, за покупками; а от одной из переполненных гостиниц, преграждая путь потоку встречных автомобилей, пятилась на дорогу четвертая машина, чтоб присоединиться к процессии.

— Я гляжу, ты от крепких слов так и не отучилась, — заметила миссис Эшкрофт.

— Ой, да что ты! Это я только с тобой волю себе даю, а дома — ни-ни. Разве при внуках можно? Трое ведь их у меня. А ты корзинку кому справляешь, тоже внуку небось?

— Артуру, моей Джейн старшему.

— Да разве ж он где работает?

— Так ему корзинка не для работы, а в лес ходить.

— Повезло тебе: дешево отделалась. У меня так мой Вилли все деньги просит — на эти, как их там, проволоки воздушные. Натянет их во дворе, вместо бельевой веревки, и музыку из Лондона слушает. И я ведь, дура старая, даю ему, даю!

— А он, верно, обещает тебя за это поцеловать, да потом забывает. — Горько — себе самой, не подруге, — усмехнулась миссис Эшкрофт.

— Ох, и не говори. С парнями что сорок лет назад, что теперь. Все им отдай, а взамен — ничего. А мы-то, ду-рехи, им прощаем. Ведь всякий раз ему три шиллинга подавай, не меньше!

— Нынче к деньгам отношение легкое.

— Вот на той неделе, — подхватила миссис Фетли, — дочке заказ от мясника принесли: четверть фунта жира почечного. А она его обратно отсылает, чтоб порубили помельче. Некогда, говорит, самой возиться.

— Так это небось дороже стоит?

— Само собой. А ей, видишь, возиться некогда — в клуб надо идти, в вист играть.

— Ай-яй-яй, надо же!

Несколькими уверенными стежками миссис Эшкрофт закончила пришивать подкладку. Она едва успела закре-

пить нитку, как в саду появился ее внук, шестнадцатилетний парень, а за ним — и его очередная подружка.

— Ну что там, готово? — крикнул он, подлетел к окошку, схватил корзинку и тут же исчез, даже не сказав спасибо. Миссис Фетли глядела на него во все глаза.

— В лес собрались, на весь день, — объяснила миссис Эшкрофт.

— Ох, чую, — прищурилась гостья, — этот девок жалеть не станет. Ему только попадись. Да на кого ж это, черт, он так похож?

— Будто нас кто жалел. Сами должны уметь за себя постоять.

Миссис Эшкрофт начала накрывать на стол.

— Ну ты, Грейс, умела, спору нет.

— О чем это ты, не пойму.

— Да сама не знаю. Чего-то мне эта вспомнилась, из Рая. Как ее фамилия? Барнсли?

— Баттен. Полли Баттен. Ты про нее?

— Точно, Полли Баттен. Помнишь в Смолдине, на сенокосе, она на тебя с вилами кинулась, что ты у нее мужа отбила?

— А ты забыла, как я ей ответила: «Оставь его себе, так уж и быть, разрешаю?» — с добродушной улыбкой отозвалась как ни в чем не бывало миссис Эшкрофт.

— Разве такое забудешь. Мы все прямо ахнули. Сейчас, думаем, она ей вилами грудь пропорет.

— Ну да, не с ее характером на такое решиться. Это ведь Полли. На словах-то горазда, а вот как до дела дойдет. . .

— Я так думаю, — сказала, помолчав, миссис Фетли. — У мужчины, если за него две бабы спорят, положение глупее не бывает. Что твоя собака, когда ей с двух сторон свистят.

— Может, оно и так. А с чего ты про старое вспомнила?

— Да все внук твой: я ведь его с малых лет толком и не видела. А тут, смотрю, и голова, и плечи, и ухватки все — вылитый Джим Баттен, будто воскрес. По Джейн-то твоей ничего не заметно, но парень. . .

— Всякое бывает. И не бойся, нашлись охотники на этот счет посудачить. Своих-то не нарожали.

— Ай-яй-яй, боже ты мой, боже! А Джим-то Баттен в могиле уже. . .

— Двадцать семь годов, — коротко ответила миссис

Эшкрофт. — Подсаживайся-ка к столу, попробуй моей стряпни.

Миссис Фетли попробовала и горячего, до горечи крепкого чая, и сухариков с маслом, и коржиков с изюмом, и домашних консервированных груш, и оладьев, к которым полагались холодные вареные свиные хвостики. Всему было воздано по заслугам.

— Да, — вздохнула миссис Эшкрофт, — я свой желудок обижать не привыкла. Ведь один раз живем.

— Ну, а тяжесть в животе не мучит? — поинтересовалась гостья.

— Как не мучить. . . Медсестра говорит, что меня в гроб скорей несварение сведет, чем нога. — Миссис Эшкрофт давно уже страдала от язвы на голени, и деревенская фельдшерница, которая регулярно навещала больную, хвалилась (если верить местным сплетням), что сделала ей уже сто три перевязки с тех пор, как стала тут работать.

— Ох, а какая ж ты ладная, проворная была! Раньше я на тебя все глядела да радовалась. Не ко времени тебя прихватило, до срока. — В голосе миссис Фетли звучала неподдельная приязнь.

— Своей доли не миновать. Слава богу, хоть на сердце пока не жалуюсь.

— Сердцем ты всегда была щедрая, на троих бы хватило. Есть о чем под старость вспомнить.

— Ну, *этим*, моя милая, и тебя, по-моему, судьба не обделила, — заметила миссис Эшкрофт.

— Всякое было. Годы-то молодые. . . О них только с тобой на пару и можно вспомнить. Знаешь ведь как: порознь старухи, вместе — молодухи. . .

Полуоткрыв рот, миссис Фетли невидящими глазами уставилась на яркий иллюстрированный календарь, висевший на стене. Дом снова содрогнулся от рева проезжавших машин, а внизу, в долине, почти столь же оглушительным криком отозвался переполненный стадион. Субботний отдых в деревне был в полном разгаре.

Некоторое время миссис Фетли говорила, не прерываясь. Наконец она промокнула платком глаза и закончила свою исповедь:

— А в том месяце прочитали мне из газеты объявление, что умер он. Конечно, мне о нем горевать не при-

стало — столько лет не виделись. Конечно, слова не сказать, слезы не пролить. . . Могила его в Истбурне, так и туда не поедешь — кто я ему, спрашивается. Один раз совсем уже на автобус собралась, да раздумала. Ведь дома расспросами замучат. Хоть так думала сердце утешить, а выходит — нельзя, даже этого нельзя.

— Но было же тебе хорошо с ним?

— Господи, какой разговор! Натешились мы с ним за четыре года, когда он в депо по соседству работал. . . А какие похороны знатные ему машинисты другие устроили!

— Выходит, грех тебе и жаловаться. Налить еще чашечку? . .

Близился вечер, солнце уже клонилось к закату, в воздухе повеяло прохладой, и женщины притворили дверь на улицу. В саду, пронзительно вереща, по голым ветвям яблони прыгали драчливые сойки. Миссис Эшкрофт облокотилась на стол и положила больную ногу на табуретку: теперь настала ее очередь исповедоваться. . .

— Подумать только! А муж твой что на это сказал? — воскликнула миссис Фетли, выслушав неспешный рассказ подруги.

— Сказал, убирайся, мол, на все четыре стороны, а ему плевать. Но я решила остаться и ходить за ним, ведь он с постели уже не вставал. Знал, что я его больного не брошу. Месяца два еще промучился, и вроде удар с ним случился — лежит словно каменный, не шевелится. А через пару дней приподнялся вдруг на кровати и говорит: «Молись, Грейс, чтоб тебе от мужиков того не досталось, чего они от тебя натерпелись». — «А сам-то», — отвечаю, потому что он у меня такой ходок был, такой ходок, ты же знаешь. А он мне: «Мы, говорит, оба хороши, но только я вот, считай, уже в могилу ступил, и что тебя ждет, мне как на ладони видно». Умер он в воскресенье, в четверг похоронили. А ведь любила я его, было время. . . Или казалось только. . .

— Такого я от тебя еще не слышала, — не удержалась миссис Фетли.

— Ты ж мне открылась, вот и я той же монетой плачу. Ну, помер он, я сразу письмо в Лондон шлю, миссис Маршалл. Я у ней еще девчонкой на кухне служила — давным-давно, даже в каком году не помню. Пишу ей,

так и так, совсем я теперь свободная. Обрадовалась. Им с мужем одним трудно, в возрасте оба, а я знаю, как им угодить. Помнишь, я к ним много раз нанималась подработать, когда денег не хватало или... Или когда муж в отлучке был... В вынужденной...

— Выходит, он тогда, в Чичестере, свои полгода отси-дел?— прошептала миссис Фетли. — Мы ведь так и не дознались, что там стряслось.

— Схлопотал бы побольше, да тот, другой, жив остался.

— Не из-за тебя ли они схлестнулись?

— Какое там! В тот раз он с замужней спутался, так это ее законный был. Ну, значит, овдовела я и снова к Маршаллам в кухарки поступила, ногами своими деревенскими господский паркет протирать. Обращение, само собой, джентльменское, иначе как «миссис» не величают. Это в тот год было, когда ты в Портсмут перебралась.

— Не в Портсмут, а в Хоршем, — поправила миссис Фетли. — Там как раз большое строительство начинали, мой-то вперед поехал, устроился, и я следом.

— Ладно, прожила я в Лондоне почти целый год: работы немного и питание хорошее — в день четыре раза. А на другой год, ближе к осени, хозяйева за границу поехали, во Францию, что ли. Но меня не рассчитали, велели дожидаться — они, мол, без меня как без рук. Ну, я в доме убралась, ключи сторожу сдала, а сама сюда нагрянула, к Бесси в гости, к сестре моей. Жалованье в кармане, так все мне рады.

— Точно, я тогда в Хоршеме жила, — вставила миссис Фетли.

— Ты-то, Лиз, помнишь прежние времена. Ни кино, ни клубов этих, а уж фасону, как у нынешних, и в помине не было. За любую работу брались, от лишнего шиллинга нос не воротили. Я после Лондона совсем квелая приехала. Надо, думаю, на свежий воздух, здоровье поправлять. Вот и нанялась на ферму в Смолдине. Раннюю картошку копали, кур щипали и все такое. Юбки подкоротила, в мужских сапогах хожу — выйди я в Лондоне в таком виде, то-то обсмеяли бы.

— Ну и как, поправила здоровье?

— Ах, Лиз, на уме-то у меня тогда совсем другое было. Сама знаешь, сердцу не прикажешь: как оно велит, так и будет. Кабы загодя знать, куда дорога выведет, а

то ведь пока до конца не пройдешь, не разберешься. Что творим, не ведаем, а ведаем, что сотворили.

— Кто же это был?

— Гарри Моклер. — Лицо миссис Эшкрофт искажилось от боли в ноге.

Миссис Фетли ахнула:

— Неужто Берта Моклера сын? Вот никогда бы не подумала!

Миссис Эшкрофт кивнула:

— А я вроде и себя уверила, что мне в поле захотелось, воздухом подышать.

— Что ж ты с этого поимела?

— Да как водится: сперва — все, а потом — хуже, чем ничего. И предупреждения мне были — сколько раз! — да я ни на что внимания не обращала. Жгли мы как-то мусор на дворе, до холодов еще далеко, я и говорю ему: «Не рано ли?» А он: «Нет, говорит, не рано. Чего всякое старье беречь, разделаться с ним — и баста!» А лицо суровое, будто каменное. Поняла я тут, что нашелся надо мной хозяин, нашелся — другими-то я сама помыкала.

— Да-да, — вздохнула гостья, — с ними всегда так. Или они перед нами стелются, или мы перед ними. Я сама больше люблю, когда по старинке, мужик голова.

— Вот и Гарри мой так больше любил. А по мне — наоборот милее. Ладно, приходит время, надо в Лондон обратно ехать. А я не могу, ну не могу — и все тут. Как раз в понедельник утром дело было, белье на плите кипятилось; зачерпнула я воды, да и обварила себе левую руку. Еще на две недельки задержалась.

— А стоило оно того? — спросила миссис Фетли и нашла глазами серебристый шрам над локтем, стягивавший морщинистую кожу.

Миссис Эшкрофт кивнула.

— Порешили мы тогда, что он за мной следом в Лондон поедет, на работу устроится. Рядом с нами, минут десять ходу, извозничий двор был. Взяли его туда, я договорилась. Сплетен про нас никаких не ходило, даже его мамаша ничего не заподозрила. Перебрался он в Лондон, шито-крыто, и всю зиму мы по соседству прожили.

— Денег на дорогу, само собой, ты ему дала, — уверенно заметила миссис Фетли.

Миссис Эшкрофт снова кивнула.

— Да что деньги! Все отдавала, себя всю отдала. Боже мой, господи, бывало, гуляем мы с ним вечерком,

улицы мощные, ботинки мозоли трут, а нам весело — хохочем, заливаемся. Ни с кем у меня так не было! И у него ни с кем! Ни разу!

Миссис Фетли сочувственно хмыкнула.

— И когда ж все кончилось?

— Когда он мне весь долг вернул, до последнего пенса. Тут я сразу поняла, к чему идет, но эти мысли прочь гоню, к уму не подпускаю. «Не знаю, говорит, как мне тебя и благодарить». А я ему: «Благодарить? Какие ж между нами счеты?» А он знай свое твердит, что благодарен, мол, и век моей доброты не забудет. Три вечера я держалась, все верить не хотела. Тогда он с другого конца заходить начал: работа, жалуется, ему неподходящая, другие работники над ним измываются и все такое. Не может мужик без вранья, коли бросить собрался. Слушаю я его, слушаю, поддакивать не поддакиваю, перебивать не перебиваю, а потом отколола брошку, что он подарил, и говорю: «Все ясно. Мне от тебя ничего не нужно!» Повернулась, да и пошла — одна со своим горем осталась. Он мне душу больше не травил — не заглянул ни разу, не написал. Домой к мамаше уехал.

— А признайся честно, ждала, наверно, что вернется? — безжалостно спросила миссис Фетли.

— Ждала, еще как ждала. Иду по тем улицам, где мы с ним гуляли, так будто камни под ногами стонут.

— Да, — вздохнула миссис Фетли, — оно больно бьет, хуже не бывает. И это все?

— Нет, не все. Проверишь или нет, только самое странное тут и началось.

— Что ж не поверить. Сдается мне, теперь-то тебе врать смысла нет?

— Верно, нет... Господи, как я в ту весну намучилась, злему врагу не пожелаю. Послал мне господь в наказание муки адовы. Да еще в придачу: в жизни у меня голова не болела, а тут — прямо раскальвается. Ну скажи на милость, у меня — и голова болит! Одно спасибо, так, бывало, прихватит, что и тоску заглушит...

— Э-э, ее не заглушишь. Она, как зуб, и тянет, и дергает, а надо терпеть, пока свое не отболит, не онемееет. А пройдет время — вроде ничего и не было.

— Как же ничего! На мою долю теперь до самой смерти хватит. А все через девчонку вышло, через Софи. Поденщица у нас была, миссис Эллис, придет и дочку с собой приводит. Худущая, глазастая, локти торчат, в

брюхе пусто — я все ее подкормить норовила. Вообще я ее особо не замечала, а уж когда с Гарри так обернулось — и подавно. А она по мне просто с ума сходила — знаешь, у девочек так бывает, когда у них начинается. Знай ластится, а прогнать духу не хватает... Вот раз как-то — зима уж на исходе была — присылает ее мать к нам попросить, что от обеда осталось. Заходит она в кухню, а у меня как раз голова страшно болела — в глазах темно, передником лоб закрутила и сижу. Цыкнула я на нее, а она: «Подумаешь, голова болит. Да я вас мигом вылечу». Я кричу: «Отойди от меня!», потому что терпеть не могу, когда мне виски растирают. «Не бойтесь, говорит, не трону я вас», — и за дверь. И что ты думаешь, десяти минут не прошло, отпустило меня, как рукой сняло. Ну, я обратно за работу взялась. Смотрю, входит моя Софи и сразу на кресло забирается, тихохонько, как мышка. Глазенки провалились, лицо перекошенное. «Что за напасть, спрашиваю, что стряслось?» — «Ничего, отвечает, просто теперь она у меня вместо вас болит». Я не поняла: «Кто болит?» — «Да голова. Я вашу болезнь на себя перевела», — а голосок хриплый, губы пересохли. «Глупости, говорю, голова у меня сама прошла, пока ты бегала. Лежи спокойно, я тебе чайку заварю». — Мне, отвечает, легче не будет. Подождать нужно, пока ваше время не выйдет. Долго у вас голова не проходит?» — «Хватит ерунду молоть, говорю, а то сейчас доктора позову». Думаю, уж не корь ли у нее начинается. А она мне: «Ах, миссис Эшкрофт, до чего ж я вас люблю!» — и ручонки свои худые ко мне тянет. Расстаяла я, взяла ее на руки, приголубила. «А у вас взаправду все прошло?» — спрашивает. «Взаправду, взаправду, отвечаю, и коли это ты для меня постаралась, большое тебе спасибо». — «Конечно, я, — шепчет и щекой о мою щеку трется. — Я одна этот секрет и знаю, больше никто!» И рассказывает, что бегала за меня просить, в этот самый Дом Чудес. . .

— Куда, куда? — встрепелась миссис Фетли.

— В Дом Чудес. Нет, ты не думай, я тогда тоже ни о чем таком не слыхивала. Да и у нее сперва толком ничего не поняла. Потом уж сообразила, что к чему, а вышло оно вот как. Стоит себе где-то дом пустой, без жильцов, долго стоит, и заводится в нем. . . ну, нечистая сила, чудеса разные творит. Стало быть, это уже не простой дом, а Дом Чудес. Ей это девчонка знакомая по секрету

рассказала — вместе у конюшен играли, где мой Гарри работал. А девчонка эта, говорит, только зимой в Лондоне живет, а летом не то с табором, не то с караваном кочует. Цыганка, видать.

— Да-а! Спору нет, цыгане много чего знают. Только про дома такие я первый раз слышу, а уж, слава богу, наслушалась на своем веку страстей всяких.

— Ну и вот, один Дом Чудес как раз рядом с нами оказался, на Уэдлоуз-роуд, третья или четвертая улица, как в зеленую лавку идти. Всего-то и надо, что у входа позвонить и сказать свое желание в щелку для писем. Я спрашиваю: «Ну и что, выполняют желания твои колдуны?» А она мне на это: «Какие колдуны!? Откуда ж им в Доме Чудес взяться? Там одна только *Мора* живет!»

— Господи спаси и помилуй! Слово-то какое жуткое! И где она только его подцепила? — ужаснулась миссис Фетли: *Морами* в народе называют призраки мертвых или, еще того хуже, живых людей.

— Так ей цыганка сказала. И знаешь, от всех этих разговоров стало мне как-то не по себе, да и она, смотрю, съежилась вся, притихла. Прижала я ее к груди и говорю: «Я вижу, ты мне хотела помочь, умница моя. Но что ж ты для себя ничего хорошего не попросила?» — «Не положено, отвечает. В Доме Чудес можно только от других беду отвести, на себя ее взять. У мамы тоже бывает голова болит — я ее сколько раз выручала, если сна со мной по-хорошему. А сегодня, видите, я и вам пригодилась. Ах, как я вас люблю, как люблю, миссис Эшкрофт. . .» И давай ко мне лезть со своими нежностями. А у меня на голове волосы чуть не дыбом стоят. Спрашиваю у нее, а какая она из себя, эта *Мора*. «Не знаю, говорит, не видела, только шаги слышала, когда она к дверям подходит. Загадаешь ей желание и назад». — «Значит, говорю, она дверь не открывает?» — «Нет, она с той стороны стоит и подхихикивает. Тут и надо сказать: «По моему хотенью, по твоему веленью, перейди беда с кого люблю на меня». И чего просишь, обязательно исполнится». Больше я ее распросами не донимала — жар у нее был, озноб сильный. Долго я с ней возилась, жалела, ласкала. Потом пришло время лампы зажигать. Зажгли, она еще полежала немного, и тут вскорости ей полегчало, голова прошла — уж у нее ли, у меня ли, не знаю. Слезла она на пол и давай с кошкой играть.

— Подумать только! — воскликнула миссис Фетли. — А ты. . . Ты с ней туда ходила?

— Нет, она меня звала, да я не пошла. Ребенок есть ребенок.

— Ну, а потом что?

— Потом я больше в кухне не оставалась, когда мне плохо было, а в комнате отлеживалась. Но в память мне этот случай крепко запал.

— Еще бы! А больше ты у ней ничего не выведала?

— Ничего. Она ведь только то и знала, что ей цыганка сказала. Верила просто, что помогает. . . Этот разговор у нас в мае был, а тут и лето подоспело: жарыща, ветер по мостовым конский навоз пересохший носит, не ступить, вонь страшная. . . Нынче, слава богу, такого не бывает. Промучилась я в Лондоне до осени, только перед самой уборкой хмеля отпуск получила. Собралась и опять сюда приехала, к Бесси в гости. Она все удивлялась, что это я такая тощая и под глазами мешки.

— А его видела?

Миссис Эшкрофт кивнула:

— На четвертый, нет, вру, на пятый день. Как раз среда была. Я еще раньше от его мамы узнала, что он снова в Смолдине работает, — прямо на улице к ней подошла, да и спросила. Правда, особо разговориться ей Бесси не дала — ты ж ее знаешь, тарыхтит без умолку, не перебить. Так вот, а в ту среду пошла я погулять, и пляшка за мной увязалась, за юбку держится. Только мы гостиницу Чентера обогнули, вдруг спиной чувствую — Гарри идет. А походка какая-то другая, не прежняя. Сильно же, думаю, он переменялся. Я шаг сбавила, слышу — и он сбавляет. Остановилась я тогда, будто на ребенке кофту поправить, чтоб ему меня обогнать пришлось. Ну, поравнялся он со мной, куда деваться-то, сказал только: «Добрый вечер», — и дальше побрел, еле ноги переставляет.

— Выпивши, что ли, был?

— Да какое там! Жалкий весь, иссохший, одежда мешком висит, шея и то мела белей. Уж не знаю, как сдержалась, не окликнула, как вдогонку не бросилась, не обняла. Застыла на месте, аж поперхнулась. Так до вечера и помалкивала. Вернулась домой, мы с Бесси детей уложили, поужинали, и тут я у ней спрашиваю: «Что это у вас Гарри Моклер сам не свой?» А она мне рассказы-

вает, что он в больнице два месяца пролежал — ногу лопатой поранил, когда в Смолдине старый пруд расчищали. Ну, а с грязью зараза попала, нога вздулась, а потом и по всему телу порча пошла. Всего-то две недели, как выписался и на работу вышел — в Смолдине возчиком. Доктор прямо сказал: дольше первых морозов ему не протянуть. А мамаша его всем рассказывает, что он уже и есть перестал, и по ночам не спит. Пот с него ручьем льет, даже когда лежит непокрытый и в комнате не жарко. А по утрам харкает страшно. «Жалко парня, говорю. Ну ничего, пойдет на уборку хмеля — может, полегчает». А сама пододвинулась к свету, нитку послюнила и спокойненько так се в иглу и вдела — даже бровью не повела. Зато ночью в бане заперлась (мне там стелили) и вся, ну прямо вся изревелась. Ты-то знаешь, из меня слезу выжать трудно — ведь при мне была, когда рожала я.

— Это верно, — согласилась миссис Фетли. — Да что рожать? Боль одна, и все тут.

— Ну, утром встала я с петухами, глаза холодным чаем умыла, так отекли. А под вечер пошла на кладбище, мужу на могилу цветы положить, для приличия, и по дороге встречается мне Гарри — как раз у того места, где сейчас военный памятник. Он с конюшни домой шел, прямо лицом к лицу столкнулись, и уж тут хочешь не хочешь — признаваться надо. Оглядела его с головы до ног и говорю негромко так: «Гарри, поедем обратно в Лондон. Отдохнуть бы тебе». — «Не могу, отвечает, нечем мне с тобой будет расплатиться». — «Да не нужно мне от тебя ничего, говорю. Вот как бог свят, ничего у тебя не прошу. Только поедем, покажешься там доктору». Взглянул он на меня так тяжело-тяжело. «Поздно, говорит. Пару месяцев еще протяну, и конец». — «Гарри, говорю, милый ты мой!» — и молчу, все слова в горле застряли. А он мне: «Спасибо, Грейс» (а своей милою не называет), и пошел дальше, к дому, а мамаша его — чтоб ей на том свете гореть! — еще с порога его высматривала и, как вошел, сразу дверь захлопнула.

Миссис Фетли потянулась было к подруге, чтобы погладить ее по руке, но та молча отстранилась.

— Пошла я дальше, несу цветы и вспоминаю, как муж мой меня тогда предупреждал. Значит, думаю, и вправду ему перед смертью все видно было, коли так оно

и вышло, как говорил. А уже на кладбище, как стала банку с цветами на могилу пристраивать, тут меня и ударило: ведь могу я ему помочь, *могу*, есть один способ. Доктор то ли поможет, то ли нет, а я — почему не попробовать? Сказано — сделано. Как раз на другое утро из Лондона счет от зеленщика пришел — деньги на это мне миссис Маршалл оставила. Только сестре не так объясняю: мол, меня срочно в Лондон вызывают, дом отпирать. Сразу и поехала, дневным поездом.

— Поехала, не побоялась? Неужели не страшно было?

— А чего мне бояться? Меня впереди что ждало? Один только позор мой да гнев божий. Гарри не вернешь — как, ну как его вернуть! А жар не проходит, сердце огнем горит. Одно только и оставалось — дотла сгореть.

— Ах ты господи, — сказала миссис Фетли и снова потянулась к миссис Эшкрофт, которая на этот раз не стала убирать руку.

— А как поняла я, что знаю, чем ему помочь, так на душе и полегчало. Пошла в зеленую лавку, заплатила по счету, получила расписку, спрятала ее в ридикюль, забежала к миссис Эллис, поденщице нашей, ключи взяла и дом открыла. Перво-наперво постелила себе постель — как вернусь, думаю, сразу лягу (было б с кем — так не с кем!). Потом чайник вскипятила и сижу в кухне — думаю. Когда поднялась, уже смеркаться начало. Духота была — ужас! Оделась, вышла, квиток из сумочки достала и в руках держу — будто адрес у меня там записан. Повернула на Уэдлоуз-роуд, нашла нужный дом, номер четырнадцать, небольшой такой (там на одной стороне все дома одинаковые, десятка два-три, и перед каждым садик огороженный), кухня вровень с землей, а вход повыше, по ступенькам надо подняться. Краска на дверях вся облупленная — сразу видно, давно бесхозный стоит. А кругом — ни души, одни кошки бегают. И жара, жара, просто сил нет! Я, как ни в чем не бывало, прохожу в калитку, поднялась наверх, дернула звонок. Зазвенел он, да гулко так: ясное дело, в доме пусто. Только отзвонил, слышу — внизу, в кухне, будто стул отодвигают. Потом слышу — шаги по лесенке зашаркали, будто полная женщина в шлепанцах открывать идет. Вот уже в прихожей шаги — половицы под ногами скрипнули. Вот уже к са-

мой двери подошла, затаилась. Нагнулась я тогда и в щель для писем говорю: «Что дурное Гарри Моклеру, милому моему, уготовано, все на себя беру, по своему хотению». Тут слышу — эта, за дверью-то, как выдохнула. Будто ждала — не дышала, а потом дух перевела.

— И ничего тебе не сказала?

— Ничего. Выдохнула так шумно: «Фу-ух...» — и назад зашаркала. Слышу — обратно в кухню спустилась, снова стул придвигает.

— А ты все время так у двери и стояла?

Миссис Эшкрофт кивнула.

— Постояла немного и пошла, а прохожий какой-то спрашивает: «Не знаете разве, что тут никто не живет?» — «Нет, не знаю, говорю, мне этот адрес дали — ошиблись, наверно». Доплелась я до дому и сразу в постель: совсем без сил была. А жара невыносимая, сон гонит: вздремну малость — встану, из угла в угол похожу и снова прилягу. Так до рассвета и промаялась. А как стало светать, пошла я в кухню чайник ставить и ногу себе зашибла, над самой лодыжкой. На старый вертел налетела: его миссис Эллис, когда последний раз убиралась, забыла на место в угол поставить. А потом... Потом стала дожидаться, когда хозяева придут.

— В пустом-то доме? — с ужасом в голосе перебила миссис Фетли. — Мало тебе одного пустого дома было!

— Да ведь и миссис Эллис, и Софи каждый день забегали. Мы втроем опять в доме чистоту навели, все вылизали. Уж чего-чего, а по хозяйству дела всегда найдутся. Так вот всю осень и зиму я в Лондоне и прожила.

— Неужели беду на себя не накликала? И ничего не случилось?

— Ничего, — улыбнулась миссис Эшкрофт. — Тогда еще ничего. А в конце ноября посылаю я Бесси десять шиллингов.

— Ты всегда была готова последнее отдать, — вставила миссис Фетли.

— И в ответ приходит письмо — ради него-то я и старалась. Узнаю, что уборка хмеля ему на пользу пошла, совсем поправился, что был он на уборке полтора месяца, а теперь снова возчиком в Смолдине работает. Так ли,

сяк ли — выздоровел и ладно. Только счастья мне за десять шиллингов не прибавилось: теперь меня другое гложет. Ведь умри он, так бы моим и остался... А нынче, того и гляди, другую заведет. Как подумаю об этом, прямо места себе не нахожу. А весной еще одна напасть прибавилась: открылся у меня на ноге, как раз где ботинок кончается, чирей мерзкий и никак не заживает, хоть ты тресни. Посмотрю на него — прямо мутит, ведь я телом очень чистая. Меня лопатой на куски разруби, так мигом все срастется, затянется! Тут миссис Маршалл ко мне доктора своего подослала. Отругал он меня: мол, надо было сразу к нему идти, а то сколько месяцев я с этим проходила, да еще крашеными чулками ногу терла. И нельзя, говорит, так много работать стоя. Нарыв-то у меня прямо над веной выскочил, а она и так сильно натруженная. «Теперь, говорит, он у вас долго не рассосется. Не вдруг заболело, не вдруг пройдет. Ноге покой нужен, повыше вверх ее держите. И не давайте свищу раньше времени затягиваться. Вон ведь нога у вас какая красивая!» И мокрую повязку наложил.

— Правильно, — твердо сказала миссис Фетли. — Мокрое только мокрым и лечат. Оно всю дрянь вытягивает, как фитиль в лампе...

— Вот-вот. Стала миссис Маршалл за мной следить, все присаживаться заставляла, и скоро нога почти совсем прошла. Но они меня все равно к Бесси отправили, долечиваться, а то ведь я не из таких, чтоб особенно рассиживаться, когда стоять требуется. Помнишь? Ты тогда уже здесь жила.

— Верно. Но у меня и в мыслях не было!

— Значит, не зря я скрывалась, — улыбнулась миссис Эшкрофт. — Пару раз видела я Гарри на улице. Поздоровел он, пополнел, окреп. Потом вдруг пропал куда-то, и узнаю я от его мамы, что у него лошадь взбрыкнула и угодила ему в бок. Слег он, жалуется, что болит. Тут Бесси ей возьми да и скажи: «Жаль, не женат ваш сынок, а то б жена за ним ходила». Старуха как на нее накинется: «Да мой сын, говорит, на женщин и глядеть не хочет. И я за ним, покуда жива, пригляжу получше любой другой. Уж я для него своих рук не пожалею!» Тут я поняла, что она его стеречь будет не хуже цепной собаки, и костей просить не станет.

Миссис Фетли тихонько засмеялась.

— Тот день,— снова заговорила миссис Эшкрофт,— я весь на ногах провела — доктора караулила, как он входил да выходил. Думали, ребро задето. Из-за этого у меня нарыв снова открылся, гной течет, сочится. А на следующее утро узнаю — ребра все целехонькие, и ночь он спокойно провел. Как услыхала я об этом, так себе и говорю: «Может, это случайно так вышло. Подожду-ка неделю, буду нарочно ногу беречь. Посмотрим, что получится». Сначала болей у меня не было, только слабость большая. А у него еще одна ночь спокойно прошла. Значит, думаю, надо продолжать, а поверить пока боюсь. И вот в субботу гляжу — появляется он, с лица и не скажешь, что хворал. Тут я чуть на колени не бросилась — хорошо, Бесси дома не было. «Ага, думаю, попался, дорогуша, не уйдешь. Мой ты теперь, до конца дней мой, хоть и не узнать тебе про это». «Господи, говорю, пошли мне ради него жизнь долгую!» Вот тогда злоба моя во мне и утихла.

— Насовсем? — поинтересовалась миссис Фетли.

— Ну не то чтобы насовсем, всякое бывает. Да только теперь я знаю, наверное знаю, что он без меня не может. Стала я свою ногу приучать, чтоб по команде болела. И надо же — приучила. Прикажу — заболит, прикажу — пройдет. И знаешь, Лиз, как странно: сперва я сама, только болячка затянется, беречь ее начинала. Боялась, не случилось ли с Гарри чего без меня. А потом смекнула — знак это мне такой, что все, мол, в порядке, можно не тревожиться. И уж больше не самовольничала.

— И долго эти передышки длились? — полюбопытствовала миссис Фетли.

— Как когда. Раза два почти по году были: все подживет, засохнет, только под корочкой ранка малюсенькая, чуть сочится. Потом вдруг, ни с того ни с сего, гноиться начнет. Значит, предупреждение это мне. Тут уж ничего не поделаешь — надо терпеть. Да только кто за меня работать будет! Вот и работаю; а совсем невою стану — начинаю ногу щадить, на стул вытягивать, она понемногу и стихнет. А болело как-то особенно — сразу чувствую, что с ним неладно. Ну, я тогда Бесси немного деньжат отошлю или детишкам гостинец — узнать, что с ним. И каждый раз что-нибудь да было! Вот так он и живет, не догадывается, что без меня давно бы пропал. Ведь сколько лет уже так, сколько лет!

— А тебе за это какая награда? — почти простонала миссис Фетли. — Видела хоть его?

— Видела пару раз, когда в отпуск приезжала. А как сюда совсем перебралась, то и почаше. Да только он ни на кого не глядит — и меня не замечает, и других тоже, одну мамашу свою признает. Уж я за ним следила, глаз не спускала. А про нее и говорить нечего: нет, так никого и не завел.

— И ведь сколько лет уже так, сколько лет, — повторила миссис Фетли. — А где он сейчас-то?

— С возчиков он давно ушел. Устроился хорошо — он тебе и тракторист, и шофер сразу. Когда на поле пашет, а когда и грузы перегоняет. Даже в Уэльсе, говорят, был! Мать свою навещает, не забывает, а я его месяцами не вижу. Да так оно и лучше! Работа такая, что на одном месте долго не сидит.

— Ну а если, примерно, все-таки... женился бы он?

Миссис Эшкрофт резко втянула воздух сквозь сжатые, все еще красивые и ровные зубы:

— Такого испытания мне пока господь не послал. Думаю, что и не пошлет — неужто муки мои не зачтутся?

— Зачтутся, дорогая. Непременно зачтутся.

— Иногда ведь ох как болит. Вот сестра придет — посмотришь сама. Она-то думает, я не знаю, что хуже некуда...

Миссис Фетли поняла. Людям редко достает мужества произнести вслух слово «рак». Такова уж природа человеческая.

— Может, у тебя еще что другое?

— Какое там другое! Не зря ведь старый Маршалл меня в кабинет вызывал и целую речь держал насчет моей верной службы. Само собой, я к ним временно много раз нанималась, но только пенсию никак не заработала. А они мне пожизненное содержание определили. Я сразу поняла, к чему это. Три года назад и поняла.

— Ну и что? Брось-ка ты!

— Ты что, не понимаешь? Ну сама рассуди, кто станет платить пятнадцать шиллингов в неделю человеку, коли он еще лет двадцать проживет?!

— Это ошибка, ошибка! — упорно повторяла миссис Фетли.

— Тут ошибки быть не может, когда края все торчком поднялись, наподобие воротника. Сама увидишь. И у До-

ры Уиквуд так было, под мышкой, — я ж сама ее обмывала.

Миссис Фетли ненадолго задумалась и затем склонила голову перед неизбежностью.

— Как по-твоему, дорогая, сколько тебе еще осталось?

— Не вдруг заболела, не вдруг и помру. Только если до следующей осени не свидимся, тогда, значит, прощай.

— Не знаю, как я смогу к тебе еще выбраться. Разве собаку взять. Детей-то съездить не попросишь, беспокойство им. . . Ведь я слепну, Грейс, слепну!

— Так вот почему ты доскутки свои только с места на место перекладывала. Никак я в толк взять не могла. . . Но муки зачтутся, правда ведь? И Гарри от меня не уйдет? Хоть ты скажи, не может же быть, чтоб все впустую. . .

— Зачтутся твои муки, зачтутся. За все тебе воздастся.

— Да мне ничего больше не нужно — только то, за что болью заплачено.

— Так и будет, как просишь, так и будет.

В дверь постучали.

— Это сестра, — сказала миссис Эшкрофт. — Рановато что-то сегодня. Открой ей.

Энергичной, быстрой походкой в комнату вошла молодая женщина. В руке она держала чемоданчик, и в нем громко звякали все ее склянки.

— Добрый вечер, миссис Эшкрофт, — начала она. — Я к вам сегодня пораньше заскочила, хочу на танцы поспеть. Вы не возражаете?

— Да что вы, милочка. Я уж свое оттанцевала. — Даже голос миссис Эшкрофт сразу переменялся: это снова была столичная кухарка, сдержанная и достойная. — Познакомьтесь, пожалуйста: моя старая подруга, миссис Фетли, заехала меня проведать. Мы с ней тут посидели, поговорили. . .

— Надеюсь, она вас не утомила? — В голосе фельдшерицы слышались ледяные нотки.

— Что вы, напротив, мне было очень приятно. Только вот слабость появилась, уже под конец.

— Вот видите. — Фельдшерица опустила на колени, держа наготове примочки. — Знаю я вас, старых подружек. Любите языки почесать, дай вам только волю.

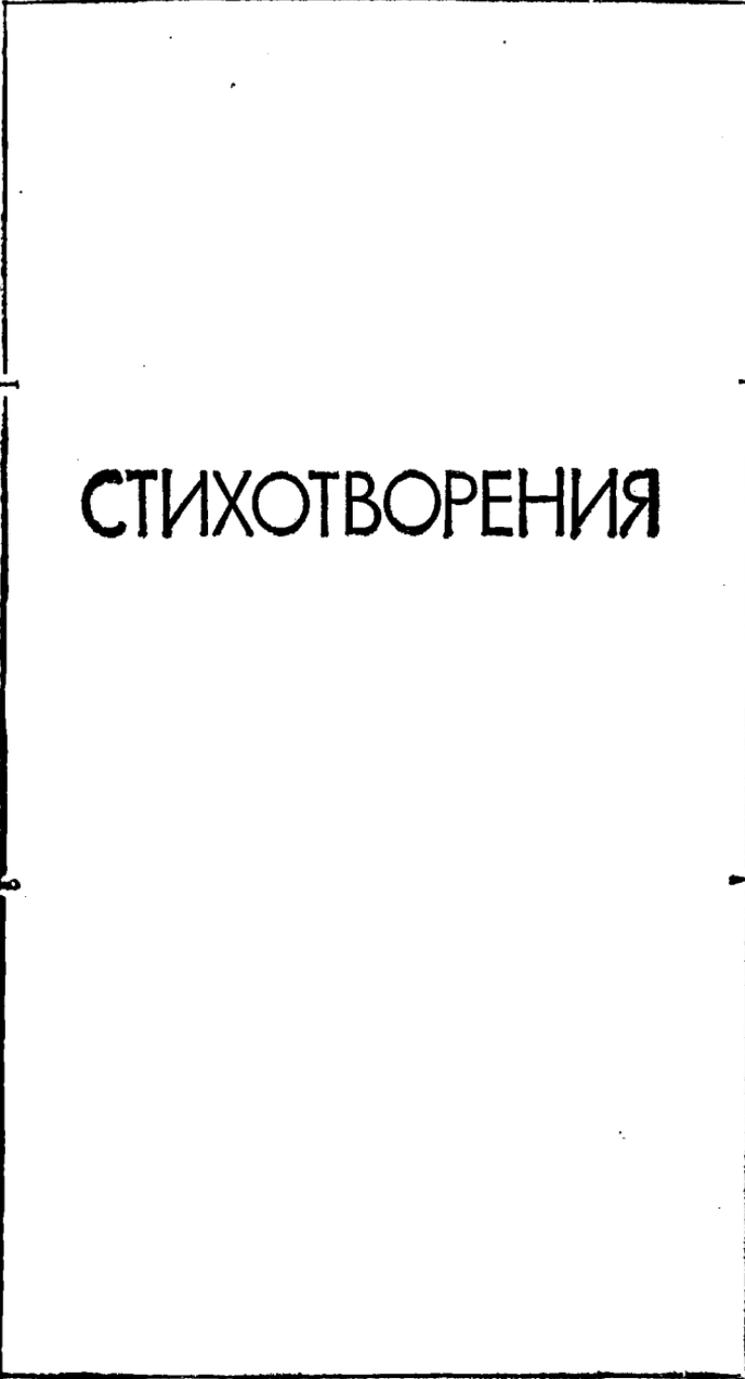
— Любим, любим, что греха таить, — сказала, поднимаясь с места, миссис Фетли. — Ну, мне, пожалуй, пора.

— Стой, взгляни сперва, — слабым голосом попросила миссис Эшкрофт. — Взгляни, пожалуйста.

Миссис Фетли взглянула и содрогнулась. Потом наклонилась к миссис Эшкрофт и поцеловала ее в желтый восковой лоб и в поблекшие серые глаза.

— Ведь муки зачтутся. . . Зачтутся? . .

Ее губы едва шевелились, но и сейчас еще их рисунок напоминал о том, какими они были прежде. Миссис Фетли на мгновение припала к ним, выпрямилась и пошла к двери.



СТИХОТВОРЕНИЯ

---

**ПРЕЛЮДИЯ**  
**К «ДЕПАРТАМЕНТСКИМ ПЕСЕНКАМ»**

Хлеб и соль я ел вместе с вами,  
С вами воду и водку пил;  
Смерть лихую средь вас наблюдал много раз  
И вашей жизнью я жил.

Знал я горести ваши и беды,  
Разделял с вами труд и привал, —  
Ну, скажите, друзья, разве в чем-нибудь я  
От вас когда отставал?

Написал я о вашей жизни,  
Посмешил досужий народ.  
Но раскиньте умом, — и тогда, что почем,  
Каждый из вас поймет!

**ГОМЕР ВСЕ НА СВЕТЕ**  
**ЛЕГЕНДЫ ЗНАЛ...**

Гомер все на свете легенды знал,  
И все подходящее из старья  
Он, не церемонясь, перенимал,  
Но с блеском, — и так же делаю я.

А девки с базара да люд простой  
И все знатоки из морской братвы  
Смекали: новинки-то с бородой, —  
Но слушали тихо — так же, как вы.

Гомер был уверен: не попрекнут  
За это при встрече возле корчмы,  
А разве что дружески подмигнут,  
И он подмигнет — ну так же, как мы.

Серые глаза — рассвет,  
Пароходная сирена,  
Дождь, разлука, серый след  
За винтом бегущей пены.

Черные глаза — жара,  
В море сонных звезд скольженье  
И у борта до утра  
Поцелуев отраженье.

Синие глаза — луна,  
Вальса белое молчанье,  
Ежедневная стена  
Неизбежного прощанья.

Карие глаза — песок,  
Осень, волчья степь, охота,  
Скачка, вся на волосок  
От паденья и полета.

Нет, я не судья для них,  
Просто без суждений вздорных  
Я четырежды должник  
Синих, серых, карих, черных.

Как четыре стороны  
Одного того же света,  
Я люблю — в том нет вины —  
Все четыре этих цвета.

#### **БАЛЛАДА О НОЧЛЕЖКЕ ФИШЕРА**

*Когда глазастый выплыл труп  
У стенки в тишине,  
Чтоб в Гарден-Риче затонуть,  
А в Кеджери сгнуть вполне, —  
Что Хугли мели рассказал,  
Мель рассказала мне.*

Шли к Фишеру в ночлежный дом  
Одни лишь моряки

Со всех концов, из всех портов,  
Кто с моря, кто с реки,  
И были щедры на вранье,  
Окурки и плевки.

О море пурпурном плели,  
Где хлеб их был суров,  
Плели про небо в вышине  
И бег морских валов,  
И черным им казался ром,  
Когда он был багров.

Шел сказ про гибель, и обман,  
И стыд, и страсть ко злу,  
И подкрепляли речь они,  
Произнося хулу,  
Сквозь гром проклятий кулаки  
Гремели по столу.

Датчанин, светлоглазый Ганс,  
Могучий, как атлет,  
Носил на выпуклой груди  
Ультрудин амулет —  
Дешевый крест из серебра,  
Спасающий от бед.

И был малаец Памба там,  
Безухий Джек-урод,  
Кок из Гвинеи, Карбой Джин,  
Лус из бискайских вод,  
Кабатчик — Честный Джек, что брал  
Себе весь их доход.

И был там Залем Хардикер —  
Бостонец, тощий хват,  
Британец, русский, немец, финн,  
Датчанин и мулат, —  
В ночлежке Фишера моряк  
Побыть без моря рад.

Без австриячки Анны здесь  
Никто не пьет вина,  
Из недр Галиции пришла  
В Джаун-Базар она,

Ей был знаком позора хлеб,  
Бесчестия цена.

Десяток душ под каблуком —  
Богат ее улов:  
Браслеты, платья и чулки —  
Дар многих моряков;  
В те дни гулял с ней Хардикер —  
Таков закон Портов.

И тут узнали моряки,  
Что ни соблазн, ни клад  
Мечты не могут удержать  
И страстью не манят,  
Когда датчанину в лицо  
Вперяла Анна взгляд.

Жизнь — бой, ну что ж! Бой — это нож  
И в Ховре, и кругом,  
И до заката тот умрет,  
Кто шелкал пробкой днем,  
В ночлежке Фишера горим  
Мы все любви огнем.

Был холоден датчанин Ганс,  
Могучий, как атлет,  
Тряслась от смеха грудь его  
И с нею амулет —  
Дешевый крест из серебра,  
Спасающий от бед.

«Ты с Хардикером говори,  
Гуляет он с тобой.  
Я завтра в море ухожу,  
Увижу Скаген мой  
И Каттегатом проплыву  
В Саро, к себе домой».

Страсть, обратившаяся в гнев,  
Приносит много зла,  
«Ты с Хардикером говори...» —  
Так Анна начала.  
Стон... вздох... «Меня он обозвал...»  
Тут драка и пошла.

Залема Хардикера крик,  
Взнесенная рука,  
И пляска теней на стене,  
И нож исподтишка,  
И на обломки стульев Ганс  
Пал тушею быка.

Он на колени к Анне лег  
Усталой головой:  
«Я завтра в море ухожу,  
В Саро, к себе домой,  
На пасху жду Ультруду я, —  
Корабль направлю мой

Я Каттегатом... но гляди...  
Огонь... маяк... погас...»  
И шепот стих, дух отошел,  
И слезы женских глаз  
Лились в ночлежке, там, где Ганс  
Свой смертный встретил час.

Так был убит датчанин Ганс,  
Могучий, как атлет,  
И Анна забрала себе  
Ультрудин амулет —  
Дешевый крест из серебра,  
Сласающий от бед.

#### ГРЕБЕЦ ГАЛЕРЫ

Хороша была галера: румпель был у нас резной,  
И серебряным тритоном нос украшен был стальной.  
Кандалы нам терли ноги, воздух мы хватали ртом,  
Полным ходом шла галера. Шли акулы за бортом.

Белый хлопок мы возили, слитки золота и шерсть,  
Сколько нигеров отменных мы распродали — не счесть.  
Нет, галеры лучше нашей не бывало на морях,  
И вперед галеру гнали наши руки в волдырях.

Как скотину, изнуряли нас трудом. Но в час гульбы  
Брали мы в любви и в драке все, что можно, у Судьбы,

И блаженство вырывали под предсмертный хрип других  
С той же силой, что ломали мы хребты валов морских.

Труд губил и женщин наших, и детей, и стариков.  
За борт мы бросали мертвых, их избавив от оков.  
Мы акулам их бросали, мы до одури гребли,  
И скорбеть не успевали, лишь завидовать могли.

Но — собратья мне порукой — в мире не было людей  
Крепче, чем рабы галеры и властители морей.  
Если с курса не сбивались мы при яростных волнах —  
Человек ли, бог ли, дьявол, — что могло внушить нам  
страх?

Шторм? Ну что ж, на предков наших тоже шли валы  
стенной,  
Но галера одолела самый страшный шторм земной.  
Скорбь? Недуги? Смерть? .. Оставьте! Да почли бы  
за позор  
Даже дети на галере отвечать на этот вздор.

Но сегодня — все. С галерой счеты кончены мои.  
Имя от меня осталось — там, на бимсе, у скамьи.  
Ну а мне — свобода видеть, как с соленой синевой  
Бьются люди, что свободны, кроме весел, от всего.

Но глаза мои слезятся: непривычен яркий свет.  
Лишь клеймо я заработал и оков глубокий след,  
От плетей рубцы и язвы, что вовек не заживут.  
Но готов за ту же плату я продолжить тот же труд.

И пускай твердят все громче, что недобрый час настал,  
Что накрыть галеру должен с Севера идущий вал.  
Если бунт поднимут негры, кровью палубы залив,  
Дрогнет кормчий, и галера врежется в прибрежный риф.

Не спускайте флаг на мачте, не расходуйте ракет:  
С моря к ней придут на помощь все гребцы минувших  
лет.

И себя привяжут люди, чья награда — цепь и кнут,  
К оскопившей их скамейке, и с веслом в руках умрут.

Войско сильных и увечных, ссыльных, нанятых,  
рабов —  
Все дворцы, лачуги, тюрьмы выставят своих бойцов  
В день, когда дымится небо, палуба в огне дрожит  
И у тех, кто тушит пламя, стиснуты в зубах ножи.

Я молю, чтоб в эту пору быть в живых мне повезло:  
Пусть дерется тот, кто молод, я приму его весло.  
И горжусь я, оставляя труд и муку за спиной,  
Что мужчины разделяли эту каторгу со мной.

### ПЕСНЬ КОНТРАБАНДИСТОВ

Коль, проснувшись в полночь, копыт услышишь  
стук,

Не трогай занавески и не гляди вокруг,  
Кто не любит спрашивать, тому и не солгут,  
Детка, спи, покуда Джентльмены не пройдут!

Двадцать пять лошадок

Рысью через мрак —

Водка для Священника,

Для Писца табак,

Письма для шпиона, шелк для леди тут.

Ты, детка, спи, покуда Джентльмены  
не пройдут!

Если, в дровяной сарай заглянув тайком,  
Смоленные бочонки увидишь с коньяком,  
Звать не надо никого, не затевай игру,  
Прикрой их досками опять, их уберут к утру!

Если у конюшни дверь — настезь всем ветрам,  
Если конь измученный распластался там,  
Если чинит мать пиджак, мокрый изнутри,  
Если весь изодран он — не болтай смотри!

Если красных с голубым встретишь ты солдат,  
Прикуси свой язычок, они пусть говорят.  
Если назовут тебя «душкой» невзначай,  
Где кто был, где кто сейчас, ты не разболтай!

Стук и шорох под окном в поздние часы  
Не должны тебя пугать, раз не лают псы.

Верный тут, и Пинчер тут, и оба молча  
Не дыхнут, покуда Джентльмены не пройдут!<sup>ждут,</sup>

Если будешь умницей, то получишь ты  
Куколку французскую редкой красоты,  
Кружевная шляпа, бархатный наряд —  
Это Джентльмены пай-девочке дарят!  
Двадцать пять лошадок  
Рысью через мрак —  
Водка для Священника,  
Для Писца табак.

Кто не любит спрашивать, тому и не солгут,  
Детка, спи, покуда Джентльмены не пройдут!

### ИЗГОИ

За темные делишки,  
За то, о чем молчок,  
За хитрые мыслишки,  
Что нам пошли не впрок,  
Мишенью нас избрали  
Параграфы статей —  
И поманили дали  
Свободою своей.

Нет, нас не провожали,  
Не плакали вослед;  
Мы смылись, мы бежали —  
Мы заматали след  
От наших злодеяний,  
А прощя — наших бед.  
За нами — каталажка,  
Пред нами — целый свет.

Ограбленные вдовы  
И сироты купцов  
За нами бестолково  
По свету шлют гонцов;  
Мы рыщем в океане,  
Они — на берегу.  
И это христиане,  
Простившие врагу!

Но вдосталь, слава богу,  
На свете славных мест,  
Куда забыл дорогу  
Наш ордер на арест;  
Но есть архипелаги,  
Где люди нарасхват,  
А мертвые бумаги  
Туда не допылят.

Там полдень — час покоя,  
Там ласков океан;  
Дворцовые покои,  
И в них журчит фонтан.  
Никто здесь не посмеет  
Прервать полдневный сон,  
Покуда не повеет  
Прохладой из окон.

Природа — загляденье,  
Погода — первый сорт,  
И райских птичек пенье,  
И океанский порт.  
И праздник, оттого что  
Раз в месяц круглый год  
Привозит нашу почту  
Британский пароход.

Мы поджидаем в баре  
Прибывших бедолаг —  
Не чопорные баре,  
Но парни самый смак.  
Мы важно тянем виски  
И с помом, и с самим,  
Но на борт — он английский! —  
К ним в гости не спешим.

А ночью незаконно  
Мы в Англии своей, —  
С князьями Альбиона  
Знакомим дочерей,  
И приглашают лорды  
На танец наших жен,  
Мы сами смотрим гордо,  
Покуда... смотрим сон.

О боже! Хоть понюшку  
Нам Англии отсыпь —  
Ту грязную речушку,  
Ту лондонскую хлипь,  
Задворки, закоулки  
И клочья тощих нив...  
А как там лорд Уорден?  
А как там наш Пролив?

### ЗА ЦЫГАНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ

Мохнатый шмель — на душистый хмель,  
Мотылек — на вьюнок луговой,  
А цыган идет, куда воля ведет,  
За своей цыганской звездой!

А цыган идет, куда воля ведет,  
Куда очи его глядят,  
За звездой вослед он пройдет весь свет —  
И к подруге придет назад.

От палаток таборных позади  
К неизвестности впереди  
(Восход нас ждет на краю земли) —  
Уходи, цыган, уходи!

Полосатый змей — в расщелину скал,  
Жеребец — на простор степей.  
А цыганская дочь — за любимым в ночь,  
По закону крови своей.

Дикий вепрь — в глушь торфяных болот,  
Цапля серая — в камыши.  
А цыганская дочь — за любимым в ночь,  
По родству бродяжьей души.

И вдвоем по тропе, навстречу судьбе,  
Не гадая, в ад или в рай.  
Так и надо идти, не страшась пути,  
Хоть на край земли, хоть за край!

Так вперед! — за цыганской звездой  
кочевой —  
К синим айсбергам стылых морей,  
Где искрятся суда от намерзшего льда  
Под сияньем полярных огней.

Так вперед — за цыганской звездой кочевой  
До ревущих южных широт,  
Где свирепая буря, как божья метла,  
Океанскую пыль метет.

Так вперед — за цыганской звездой кочевой —  
На закат, где дрожат паруса,  
И глаза глядят с бесприютной тоской  
В багровеющие небеса.

Так вперед — за цыганской звездой кочевой —  
На свиданье с зарей, на восток,  
Где, тиха и нежна, розовеет волна,  
На рассветный вползая песок.

Дикий сокол взмывает за облака,  
В дебри леса уходит лось.  
А мужчина должен подругу искать —  
Исстари так повелось.

Мужчина должен подругу найти —  
Летите, стрелы дорог!  
Восход нас ждет на краю земли,  
И земля — вся у наших ног!

#### ДУРАК

Жил-был дурак. Он молился всерьез  
(Впрочем, как Вы и Я)  
Тряпкам, костям и пучку волос —  
Все это пустою бабой звалось,  
Но дурак ее звал Королевой Роз  
(Впрочем, как Вы и Я).

О, года, что ушли в никуда, что ушли,  
Головы и рук наших труд —  
Все съела она, не хотевшая знать

(А теперь-то мы знаем — не умевшая знать),  
Ни черта не понявшая тут.

Что дурак растранижил, всего и не счесть  
(Впрочем, как Вы и Я) —  
Будущность, веру, деньги и честь.  
Но леди вдвое могла бы съесть,  
А дурак — на то он дурак и есть  
(Впрочем, как Вы и Я).

О, труды, что ушли, их плоды, что ушли.  
И мечты, что вновь не придут, —  
Все съела она, не хотевшая знать  
(А теперь-то мы знаем — не умевшая знать),  
Ни черта не понявшая тут.

Когда леди ему отставку дала  
(Впрочем, как Вам и Мне),  
Видит бог! Она сделала все, что могла!  
Но дурак не приставил к виску ствола.  
Он жив. Хотя жизнь ему не мила.  
(Впрочем, как Вам и Мне).

В этот раз не стыд его спас, не стыд,  
Не упреки, которые жгут, —  
Он просто узнал, что не знает она,  
Что не знала она и что знать она  
Ни черта не могла тут.

#### «МЭРИ ГЛОСТЕР»

Я платил за твои капризы, не запрещал ничего.  
Дик! Твой отец умирает, ты выслушать должен его.  
Доктора говорят — две недели. Врут твои доктора,  
Завтра утром меня не будет... и... скажи, чтоб вышла  
сестра.

Не видывал смерти, Дикки? Учись, как кончаем мы,  
Тебе нечего будет вспомнить на пороге вечной тьмы.  
Кроме судов, и завода, и верфей, и десятин,  
Я создал себя и миллионы, но я проклят — ты мне не сын!

Капитан в двадцать два года, в двадцать три женат,  
Десять тысяч людей на службе, сорок судов прокат.  
Пять десятков средь них я прожил и сражался немало  
лет,

И вот я, сэр Антони Глостер, умираю — баронет!  
Я бывал у его высочества, в газетах была статья:  
«Один из властителей рынка» — ты слышишь, Дик,  
это — я!

Я начал не с просьб и жалоб. Я смело взялся за труд.  
Я хватался за случай, и это — удачей теперь зовут.  
Что за судами я правил! Гниль и на щели щель!  
Как было приказано, точно, я топил и сажал их на мель.  
Жратва, от которой шалеют! С командой не совладать!  
И жирный куш страховки, чтоб рейса риск оправдать.  
Другие, те не решались, — мол, жизнь у нас одна.  
(Они у меня шкиперами.) Я шел, и со мной жена.  
Женатый в двадцать три года, и передышки ни дня,  
А мать твоя деньги копила, выводила в люди меня.  
Я гордился, что стал капитаном, но матери было видней,  
Она хваталась за случай, я следовал слепо за ней.  
Она уломала взять денег, рассчитан был каждый шаг,  
Мы купили дешевых акций и подняли собственный флаг.  
В долг забирали уголь, нам нечего было есть,  
«Красный бык» был наш первый клипер, теперь их  
тридцать шесть!

То было клиперов время, блестящие были дела,  
Но в Макассарском проливе Мэри моя умерла.  
У Малого Патерностера спит она в синей воде,  
На глубине в сто футов. Я отметил на карте — где.  
Нашим собственным было судно, на котором скончалась  
она,  
И звалось в честь нее «Мэри Глостер»: я молод был в те  
времена.

Я запил, минуя Яву, и чуть не разбился у скал,  
Но мне твоя мать явилась — в рот спиртного с тех пор я  
не брал.

Я цепко держался за дело, не покладая рук,  
Копил (так она велела), а пили другие вокруг.  
Я в Лондоне встретил Мак-Кулло (пятьсот было в кассе  
моей),  
Основали сталелитейный — три кузницы, двадцать  
людей.

Дешевый ремонт дешевки. Я платил, и дело росло,  
Патент на станок приобрел я, и здесь мне опять повезло,

Я сказал: «Нам выйдет дешевле, если сделает их наш завод»,  
Но Мак-Кулло на разговоры потратил почти что год.  
Пароходства как раз рождались, — работа пошла сама,  
Котлы мы ставили прочно, машины были — дома!  
Мак-Кулло хотел, чтоб в каютах были мрамор и всякий  
там клен,  
Брюссельский и утрехтский бархат, ванны и общий салон,  
Водопроводы в клозетах и слишком легкий каркас,  
Но он умер в шестидесятых, а я — умираю сейчас...  
Я знал — шла стройка «Байфлита», — я знал уже в те  
времена  
(Они возились с железом), я знал — только сталь годна.  
И сталь себя оправдала. И мы спустили тогда,  
За шиворот взяв торговлю, девятиузловые суда.  
Мне задавали вопросы, по Писанью был мой ответ:  
«Тако да воссияет перед людьми ваш свет».  
В чем могли, они подражали, но им мыслей моих  
не украть:  
Я их всех позади оставил потеть и списывать всласть.  
Пошли на броню контракты, здесь был Мак-Кулло силен,  
Он был мастер в литейном деле, но лучше, что умер он.  
Я прочел все его заметки, их понял бы новичок,  
И я не дурак, чтоб не кончить там, где мне дан толчок.  
(Помню, вдова сердилась.) А я чертежи разобрал.  
Шестьдесят процентов, не меньше, приносил мне  
прокатный вал.  
Шестьдесят процентов с браковкой, вдвое больше, чем  
дало б литье,  
Четверть миллиона кредита — и все это будет твое.  
Мне казалось — но это неважно, — что ты очень  
походишь на мать,  
Но тебе уже скоро сорок, и тебя я успел узнать.  
Харроу и Тринити-колледж. А надо б отправить в моря!  
Я дал тебе воспитанье, и дал его, вижу, зря.  
Тому, что казалося мне нужным, ты вовсе не был рад,  
И то, что зовешь ты жизнью, я называю — разврат.  
Гравюры, фарфор и книги — вот твоя колея,  
В колледже квартирой шлюхи была квартира твоя.  
Ты женился на этой костлявой, длинной как карандаш,  
От нее ты набрался спеси; но скажи, где ребенок ваш?  
Катят по Кромвель-роуду кареты твои день и ночь,  
Но докторский кеб не виден, чтоб хозяйке родить помочь!  
(Итак, ты мне не дал внука, Глостеров кончен род.)

А мать твоя в каждом рейсе носила под сердцем плод.  
Но все умирали, бедняжки. Губил их морской простор.  
Только ты, ты один это вынес, хоть мало что вынес с тех  
пор!

Лгун и лентяй и хилый, скарედный, как шенок,  
Роющийся в объедках. Не помощник такой сынок!  
Триста тысяч ему в наследство, кредит и с процентов  
доход,

Я не дам тебе их в руки, все пущено в оборот.  
Можешь не пачкать пальцев, а не будет у вас детей,  
Все вернется обратно в дело. Что будет с женой твоей!  
Она стонет, кусая платочек, в экипаже своем внизу:  
«Папочка! умирает!» — и старается выжать слезу.  
Благодарен? О да, благодарен. Но нельзя ли подальше  
ее?

Твоя мать бы ее не любила, а у женщин бывает чутье.  
Ты услышишь, что я женился во второй раз. Нет, это  
не то!

Бедной Эджи дай адвоката и выдели фунтов сто.  
Она была самой славной — ты скоро встретишься с ней!  
Я с матерью все улажу, а ты успокой друзей.  
Что мужчине нужна подруга, женщинам не понять,  
А тех, кто с этим согласны, не принято в жены брать.  
О той хочу говорить я, кто леди Глостер еще,  
Я нынче в путь отправляюсь, чтоб повидать ее.  
Стой и звонка не трогай! Пять тысяч тебе заплачу,  
Если будешь слушать спокойно и сделаешь то, что хочу,  
Докажут, что я — сумасшедший, если ты не будешь  
тверд.

Кому я еще доверюсь? (Отчего не мужчина он, черт?)  
Кое-кто тратит деньги на мрамор (Мак-Кулло мрамор  
любил).

Мрамор и мавзолеи — я зову их гордыней могил.  
Для похорон мы чинили старые корабли,  
И тех, кто так завещали, безумцами не сочли.  
У меня слишком много денег, люди скажут... Но я был  
слеп,

Надеясь на будущих внуков, купил я в Уокинге склеп.  
Довольно! Откуда пришел я, туда возвращаюсь вновь,  
Ты возьмешься за это дело, Дик, мой сын, моя плоть  
и крови!

Десять тысяч миль отсюда, с твоей матерью лечь я хочу,  
Чтоб меня не послали в Уокинг, вот за что я тебе плачу.

Как это надо сделать, я думал уже не раз,  
Спокойно, прилично и скромно — вот тебе мой приказ.  
Ты линию знаешь? Не знаешь? В контору письмо пошли,  
Что, смертью моей угнетенный, ты хочешь поплавать

вдали.

Ты выберешь «Мэри Глостер» — мной приказ давно уже  
дан, —

Ее приведут в порядок, и ты выйдешь на ней в океан.  
Это чистый убыток, конечно, пароход без дела держать...  
Я могу платить за причуды — на нем умерла твоя мать.  
Близ островов Патерностер в тихой, синей воде  
Спит она... я говорил уж... я отметил на карте — где  
(На люке она лежала, волны масляны и густы),  
Долготы сто восемнадцать и ровно три широты.  
Три градуса точка в точку — цифра проста и ясна.  
И Мак-Эндрю на случай смерти копия мною дана.  
Он глава пароходства Мáoри, но отпуск дадут старине,  
Если ты напишешь, что нужен он по личному делу мне.  
Для них пароходы я строил, аккуратно выполнил все,  
А Мака я знаю давненько, а Мак знал меня... и ее.  
Ему передал я деньги — удар был предвестник конца, —  
К нему ты придешь за ними, предав глубине отца.  
Недаром ты сын моей плоти, а Мак — мой старейший  
друг,

Его я не звал на обеды, ему не до этих штук.  
Говорят, за меня он молился, старый ирландский шакал!  
Но он не солгал бы за деньги, подох бы, но не украл.  
Пусть он «Мэри» нагрузит балластом — полюбуешься,  
что за ход!

На ней сэр Антони Глостер в свадебный рейс пойдет.  
В капитанской рубке, привязанный, иллюминатор  
открыт,

Под ним винтовая лопасть, голубой океан кипит.  
Плывет сэр Антони Глостер — вымпела по ветру  
летят, —

Десять тысяч людей на службе, сорок судов прокат.  
Он создал себя и миллионы, но это все суета,  
И вот он идет к любимой, и совесть его чиста!  
У самого Патерностера — ошибиться нельзя никак...  
Пузыри не успеют лопнуть, как тебе заплатит Мак.  
За рейс в шесть недель пять тысяч, по совести — куш  
хорош.

И, отца предав океану, ты к Маку за ним придешь.

Тебя высадит он в Макассаре, и ты возвратишься один,  
Мак знает, чего хочу я... И над «Мэри» я — господин!  
Твоя мать назвала б меня мотом — их еще тридцать  
шесть — ничего!

Я приеду в своем экипаже и оставлю у двери его;  
Всю жизнь я не верил сыну — он искусство и книги  
любил,

Он жил за счет сэра Антони и сердце сэра разбил.  
Ты даже мне не дал внука, тобою кончен наш род...  
Единственный наш, о мать, единственный сын наш —  
вот!

Харроу и Тринити-колледж, — а я сна не знал за барыш!  
И он думает — я сумасшедший, а ты в Макассаре спишь!  
Плоть моей плоти, родная, аминь во веки веков!  
Первый удар был предвестник, и к тебе я идти был готов.  
Но — дешевый ремонт дешевки — сказали врачи:

баловство!  
Мэри, что ж ты молчала? Я тебе не жалел ничего!  
Да, вот женщины... Знаю... Но ты ведь бесплотна  
теперь!

Они были женщины только, а я — мужчина. Поверь!  
Мужчине нужна подруга, ты понять никак не могла,  
Я платил им всегда чистоганом, но не говорил про дела.  
Я могу заплатить за прихоть! Что мне тысяч пять  
За место у Патерностера, где я хочу почивать?  
Я верую в Воскресенье и Писанье читал не раз,  
Но Уокингу я не доверюсь: море надежней для нас.  
Пусть сердце, полно сокровищ, идет с кораблем  
ко дну...

Довольно продажных женщин, я хочу обнимать одну!  
Буду пить из родного колодца, целовать любимый рот,  
Подруга юности рядом, а других пусть черт поберет!  
Я лягу в вечной постели (Дикки сделает, не предаст!),  
Чтобы был дифферент на нос, пусть Мак разместит  
балласт.

Вперед, погружаясь носом, котлы погасив, холодна...  
В обшивку пустого трюма глухо плещет волна,  
Журча, клокоча, качая, спокойна, темна и зла,  
Врывается в люки... Все выше... Переборка сдала!  
Слышишь? Все затопило, от носа и до кормы.  
Ты не видывал смерти, Дикки? Учись, как уходим мы!

## ТОМЛИНСОН

На Берклей-сквере Томлинсон скончался в два часа.  
Явился Призрак и схватил его за волоса,  
Схватил его за волоса, чтоб далеко нести,  
И он услышал шум воды, шум Млечного Пути,  
Шум Млечного Пути затих, рассеялся в ночи,  
Они стояли у ворот, где Петр хранит ключи.  
«Восстань, восстань же, Томлинсон, и говори скорей,  
Какие добрые дела ты сделал для людей,  
Творил ли добрые дела для ближних ты иль нет?»  
И стала голая душа белее, чем скелет.

«О, — так сказал он, — у меня был друг любимый  
там,  
И если б был он здесь сейчас, он отвечал бы вам».  
«Что ты любил своих друзей, — прекрасная черта,  
Но только здесь не Берклей-сквер, а райские врата.  
Хоть с ложа вызван твой друг сюда — не скажет он  
ничего.  
Ведь каждый на гонках бежит за себя, а не двое  
за одного».  
И Томлинсон взглянул вокруг, но выигрыш был  
небольшой,  
Смеялись звезды в высоте над голой его душой,  
А буря мировых пространств его бичами жгла,  
И начал Томлинсон рассказ про добрые дела.

«О, это читал я, — он сказал, — а это был голос  
молвы,  
А это я думал, что думал другой про графа  
из Москвы».  
Столпились стаи добрых душ, совсем как голубки,  
И загремел ключами Петр от гнева и тоски.  
«Ты читал, ты слыхал, ты думал, — он рек, — но толку  
в сказе нет!  
Во имя плоти, что ты имел, о делах твоих дай ответ!»  
И Томлинсон взглянул вперед, потом взглянул  
назад, —  
Был сзади мрак, а впереди — створки небесных врат.  
«Я так ощущал, я так заключил, а это слышал  
потом,  
А так писали, что кто-то писал о грубом норвежце  
одном».

«Ты читал, заключал, ощущал, — добро! Но  
в райской тишине,  
Среди высоких, ясных звезд, не место болтовне.  
О, не тому, кто у друзей взял речи напрокат  
И в долг у ближних все дела, от бога ждать наград.  
Ступай, ступай к владыке зла, ты мраку обречен,  
Да будет вера Берклей-сквера с тобою, Томлинсон!»

. . . . .  
Его от солнца к солнцу вниз та же рука несла  
До пояса Печальных звезд, близ адского жерла.  
Одни, как молоко, белы, другие красны, как кровь,  
Иным от черного греха не загореться вновь.  
Держат ли путь, изменяют ли путь — никто не отметит  
никак,  
Горящих во тьме и замерзших давно, поглотил их  
великий мрак.  
А буря мировых пространств леденила насквозь его,  
И он стремился на адский огонь, как на свет очага  
своего.  
Дьявол сидел среди толпы погибших темных сил,  
И Томлинсона он поймал и дальше не пустил.  
«Не знаешь, видно, ты, — он рек, — цены на уголь,  
брат,  
Что, пропуск у меня не взяв, ты лезешь прямо в ад.  
С родом Адама я в близком родстве, не презирай  
меня,  
Я дрался с богом из-за него с первого же дня.  
Садись, садись сюда на шлак и расскажи скорей,  
Что злого, пока еще был жив, ты сделал для людей».  
И Томлинсон взглянул наверх и увидел в глубокой  
мгле  
Кроваво-красное чрево звезды, терзаемой в адском  
жерле.  
И Томлинсон взглянул к ногам, пылало внизу светло  
Терзаемой в адском жерле звезды молочное чело.  
«Я любил одну женщину, — он сказал, — от нее пошла  
вся беда,  
Она бы вам рассказала все, если вызвать ее сюда».  
«Что ты вкушал запретный плод — прекрасная черта,  
Но только здесь не Берклей-сквер, но адские врата.  
Хоть мы и свистнули ее, и она пришла, любя,  
Но каждый в грехе, совершенном вдвоем, отвечает  
сам за себя».

И буря мировых пространств его бичами жгла,  
 И начал Томлинсон рассказ про скверные дела:  
 «Раз я смеялся над силой любви, дважды над смертным  
 концом,  
 Трижды давал я богу пинков, чтобы прослыть  
 храбрецом»,  
 На кипящую душу дьявол подул и поставил остыть  
 слегка:  
 «Неужели свой уголь потрачу я на безмозглого  
 дурака?»  
 Гроша не стоит шутка твоя, и нелепы твои дела!  
 Я не стану своих джентльменов будить, охраняющих  
 вертела».

И Томлинсон взглянул вперед, потом взглянул назад,  
 Легион бездомных душ в тоске толпился близ адских  
 врат.  
 «Это я слышал, — сказал Томлинсон, — за границу  
 прошлый год,  
 А это в бельгийской книге прочел покойный  
 французский лорд».

«Ты читал, ты слышал, ты знал, — добро! Но начни  
 сначала рассказ, —  
 Из гордыни очей, из желаний плотских согрешил ли  
 ты хоть раз?»

За решетку схватился Томлинсон и завопил:  
 «Пусти!  
 Мне кажется, я чужую жену сбил с праведного пути!»  
 Дьявол громко захохотал и жару в топку поддал:  
 «Ты в книге прочел этот грех?» — он спросил, и  
 Томлинсон молвил: «Да!»

А дьявол на ногти себе подул, и явился взвод  
 дьяволят:  
 «Пускай замолчит этот ноющий вор, что украл  
 человеческий наряд.  
 Просейте его между звезд, чтоб узнать, что стоит  
 этот урод,  
 Если он вправду отродье земли, то в упадке Адамов  
 род».

В аду малыши — совсем голыши, от жары им легко  
 пропасть,  
 Льют потоки слез, что малый рост не дает грешить  
 им всласть;  
 По угольям гнали душу они и рылись в ней без конца —

Так дети шарят в вороньем гнезде или в шкатулке  
 отца.  
 В ключьях они привели его, как после игр и драк,  
 Крича: «Он душу потерял, не знаем, где и как!  
 Мы просеяли много газет, и книг, и ураган речей,  
 И много душ, у которых он крал, но нет в нем души  
 своей.  
 Мы качали его, мы терзали его, мы прожгли его  
 насквозь,  
 И если зубы и ногти не врут, души у него не нашлось».  
 Дьявол главу склонил на грудь и начал воркотню:  
 «С родом Адама я в близком родстве, я ли его  
 прогоню?  
 Мы близко, мы лежим глубоко, но когда он  
 останется тут,  
 Мои джентльмены, что так горды, совсем меня  
 засмеют.  
 Скажут, что я — хозяин плохой, что мой дом —  
 общежитье старух,  
 И, уж конечно, не стоит того какой-то никчемный  
 дух».  
 И дьявол глядел, как отрепья души пытались в огонь  
 пролезть,  
 О милосердье думал он, но берег свое имя и честь:  
 «Я, пожалуй, могу не жалеть углей и жарить тебя  
 всегда,  
 Если сам до кражи додумался ты?» и Томлинсон молвил:  
 «Да!»  
 И дьявол тогда облегченно вздохнул, и мысль его  
 стала светла:  
 «Душа блохи у него, — он сказал, — но я вижу  
 в ней корни зла.  
 Будь я один здесь властелин, я бы впустил его,  
 Но Гордыни закон изнутри силен, и он сильнее моего.  
 Где сидят проклятые Разум и Честь, — при каждом  
 Блудница и Жрец,  
 Бываю там я редко сам, тебе же там конец.  
 Ты не дух, — он сказал, — и ты не гном, ты не книга,  
 и ты не зверь,  
 Не позорь же доброй славы людей, воплотись еще раз  
 теперь.  
 С родом Адама я в близком родстве, не стал бы тебя  
 я гнать,  
 Но припаси получше грехов, когда придешь опять.

Ступай отсюда! Черный конь заждался твоей души.  
Сегодня они закопают твой гроб. Не опоздай!

Спеши!  
Живи на земле и уст не смыкай, не закрывай очей  
И отнеси Сынам Земли мудрость моих речей:  
Что каждый грех, совершенный двумя, и другому  
вменен,  
И... бог, что ты вычитал из книг, да будет с тобой,  
Томлинсон!»

### ЭСКАДРЕННЫЕ МИНОНОСЦЫ

*Мощь шести тысяч лошадей  
Во имя одного,  
Строй уходящих кораблей —  
Гнев, двигатель всего:  
Мощь полосатых тел тиха,  
Путей их не постичь,  
Ждут Смерть, как Девы — жениха,  
Искатели добычи!*

Смешались небо и волна,  
И гасит дождь лучи,  
И помогает зыбь, мрачна,  
Всем подвигам в ночи.  
Огнями мысы не зажглись  
И банки не видны,  
Мы безнадежно отдались  
Слепой игре войны.

Ближе снопы лучей, и знай —  
Враг показал лицо;  
Яснее слышен пушек лай,  
Смыкается кольцо.  
Прямо в капкан дорога им,  
Порт не увидят свой.  
Спокойно! — можешь считать своим  
Прикрытье и конвой!

Незримы, мы следим, как шлют,  
Где отмели одни,  
Где глубина всего лишь фут,  
Тревожный свет они.

Опасность ждет не тут, не тут!  
(О, сокол среди мглы!)  
И только чайки подадут  
Сигнал с ночной скалы.

Итак — еще далек покой,  
Канал не ваш пока!  
Сирены слушай дикий вой —  
Ведь это смерть близка!  
Взгляни на авангард, и страх  
Подскажет в тишине:  
Недвижный остов на волнах,  
И мачты все в огне.

Пробоина! Глухой удар  
Карающ и незрим,  
Переходящий в пену пар,  
Пена, легка как дым,  
Дым, заслонивший глубину,  
Чья пасть добычу жрет,  
И, нефтью запятнав волну,  
Исчез водоворот.

На зыбких водах темный след —  
Злодей исчез среди тьмы, —  
Орудий хлопотливый бред  
По носу и с кормы!  
Бьет ужас среди мачт в воде,  
О помощи моля,  
Безумный страх знаком звезде  
И борту корабля.

Покуда в дыме все слилось  
И страхом все полны,  
Пронзай лучами их насквозь —  
Киты ослеплены!  
Привет тому, кто уцелел!  
Погибшему — венец!  
Назначен каждому удел,  
И бог за всех. *Конец!*

*Мощь шести тысяч лошадей —  
Над ними власть одна,  
Рука, ведущая везде,*

*Гнев, им рука сильна;  
Гром, павший средь полночных вод,  
И моря горький клич;  
Кипящий след, безумный ход —  
Искатели добыч!*

### САМАЯ СТАРАЯ ПЕСНЯ

Потому что прежде Евы была Лилят.

*Предание*

«Этих глаз не любил ты и лжешь,  
Что любишь теперь и что снова  
Ты в разлете бровей узнаешь  
Все восторги и муки былого!

Ты и голоса не любил,  
Что ж пугают тебя эти звуки?  
Разве ты до конца не убил  
Чар его в роковой разлуке?

Не любил ты и этих волос,  
Хоть сердце твое забывало  
Стыд и долг и в бессилье рвалось  
Из-под черного их покрывала!»

«Знаю все! Потому-то мое  
Сердце бьется так глухо и странно!»  
«Но зачем же притворство твое?»  
«Счастлива я, — поет старая рана».

### ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

Женщину эту сыскал я в полуночной темени,  
Крепко схватил и увел из чужого мне племени.  
Долго за нами гнались. Чувств ее я не знал еще,  
Но для меня ее смех прозвучал ободряюще.

Длинен был путь до своих, и неистовы мстители.  
В роще поток пред собой мы со страхом увидели.  
Моря рассерженный сын, вот он с рокотом пенится.  
Ждали мы стрелы врагов, похититель и пленница.

Я натянул тетиву, встав над самую кручею.  
Пленница прыгнула вниз на корягу плавучую,  
Шкуры с себя сорвала, парусами поставила,  
Бога ветров призвала, чтоб коряга отчалила.

Дерево ожило вдруг (миг волшебный, немислимый!),  
Выдрой оно понеслось. Так из заводи вышли мы.  
Понял я: мы спасены только силой небесною.  
Я задрожал, а она залилась звонкой песнею.

Берег остался вдали. Синева окружила нас.  
Замерло всё, и ни тьма, ни вода не страшила нас.  
Мы обнялись. Ничего больше было не надо нам.  
Тут занялось лоно вод светом новым, негаданным.

Солнечный диск над водой заиграл зорь багрянее.  
Царь мироздания предстал в нестерпимом сиянии.  
Мы изумились: от нас в полумиле, не далее,  
Чудно разверзлись врата искрометные, алые.

Нашим глазам показав огонь и бездну предвратную,  
Дереву бог повелел плыть дорогой обратною.  
Медленно-медленно вспять безбоязненно плыли мы,  
Плыли к убийцам своим, но святыми уж были мы.

Страх охватил всех мужчин, наземь рухнули  
женщины,  
Дети (им были для игр наши кости обещаны).  
К берегу тихо пристав, молча в отсветах пламени  
Мимо повергнутых тел шли мы, жрица и праведник.

### ПЕСНЬ МЕРТВЫХ

*Разносится песнь мертвых — над Севером, где впотьмах  
Всё смотрят в сторону Полюса те, кто канул во льдах.*

*Разносится песнь мертвых — над Югом, где взвыл  
сухостей,  
Где динго скулит, обнюхивая скелеты людей и коней.*



*...И Дрейк добрался до мыса Горн,  
И Англия стала империей.  
Тогда наш оплот воздвигся из вод,  
Неведомых вод, невиданных волн.  
(И Англия стала империей!)*

*Наш вольный приют даст братьям приют  
И днем, и глубокой ночью.  
Рискуй, голытьба, — на карте судьба,  
Не встретились там, так встретимся тут.  
(Днем или поздней ночью!)*

*Да будет так! Мы залогом тому,  
Что было сказано здесь.  
Покинув свой дом, мы лучший найдем,  
Дорога зовет, и грусть ни к чему.  
(И этим сказано всё!)*

## II

Наше море кормили мы тысячи лет  
И поныне кормим собой,  
Хоть любая волна давно солона  
И солон морской прибой:  
Кровь англичан пьет океан  
Веками — и все не сыт.  
Если жизнью надо платить за власть, —  
Господи, счет покрыт!

Поднимает здесь любой прилив  
Доски умерших кораблей,  
Оставляет здесь любой отлив  
Мертвецов на сырой земле —  
Выплывают они на прибрежный песок  
Из глухих пропастей дна.  
Если жизнью надо платить за власть —  
Господи, жизнью платить за власть! —  
Мы заплатили сполна!

Нам кормить наше море тысячи лет  
И в грядущем, как в старину.  
Нам, давным-давно пошедшим на дно,

Или вам, идущим ко дну, —  
Всем лежать среди снастей своих кораблей,  
Средь останков своих бригантин.  
Если жизнью надо платить за власть —  
Господи, жизнью платить за власть,  
Господи, собственной жизнью за власть! —  
Каждый из нас властелин!

#### ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ

Мы пили за королеву,  
За отчий священный дом,  
За наших английских братьев  
(Друг друга мы не пойдем).  
Мы пили за мирозданье  
(Звезды утром зайдут),  
Так выпьем — по праву и долгу! —  
За тех, кто родился тут!

Над нами чужие светила,  
Но в сердце свои бережем,  
Мы называем домом  
Англию, где не живем.  
Про жаворонков английских  
Мы слышали от матерей,  
Но нели нам пестрые лори  
В просторе пыльных полей.

Отцы несли на чужбину  
Веру свою, свой труд;  
Им подчинялись — но дети  
По праву рожденья тут!  
Тут, где палатки стояли,  
Ветер качал колыбель.  
Вручим любовь и надежду  
Единственной из земель!

Осушим наши стаканы  
За острова вдали,  
За четыре новых народа,  
Землю и край земли,

За последнюю пядь суши  
(Как устоять на ней?),  
За нашу честь и доблесть,  
За доблесть и честь друзей!

За тишь неподвижного утра  
И крыши наших домов,  
За марево выжженных пастбищ  
И некованных скакунов,  
За воду (спаси от жажды!),  
За воду (не поглоти!),  
За сынов Золотого Юга,  
За тысячи миль пути.

*За сынов Золотого Юга (встать!),  
За цену прожитых лет!  
Если что-то ты бережешь, ты и поешь*  
*о том,*  
*Если чем-то ты дорожишь, ты и стоишь*  
*на том:*  
*Удар — на удар в ответ!*

За стадо на пышных склонах  
И за стада облаков,  
За хлеб на гумне соседа  
И звук паровозных гудков,  
За привычный вкус мяса,  
За свежесть весенних дней,  
За женщин наших, вскормивших  
По девять и десять детей!

*За детей, за девять и десять (встать!),  
За цену прожитых лет!  
Если что-то мы бережем, мы и поем о том,  
Если чем-то мы дорожим, мы и стоим*  
*на том:*  
*Два удара — на каждый в ответ!*

За рифы, и водовороты,  
И дым грузовых кораблей,  
За солнце (но не замучай!),  
За ливень (но не залей!),  
За борозды в милю длиною,

За зиму в полгода длиной,  
За важных озерных чаек,  
За влажный ветер морской,  
За пастбище молний и грома,  
За его голубую высь,  
За добрые наши надежды  
И Доброй Надежды мыс,  
За безбрежные волны прерий,  
За безбрежные прерии вод,  
За империю всех империй,  
За карту, что вширь растет.

За наших кормилиц-язычниц,  
За язык младенческих дней  
(Их речь была нашей речью,  
Пока мы не знали своей).  
За прохладу открытой веранды,  
За искры в морских волнах,  
За пальмы при лунном свете,  
За светляков в камышах,  
За очаг Народа Народов,  
За вспаханный океан,  
За грозный алтарь Аббатства,  
Связующий англичан,  
За круговорот столетий,  
За почин наш и наш успех,  
За щедрую помощь слабым,  
Дарящую силой всех!

Мы пили за королеву,  
За отчий священный дом,  
За братьев, живущих дома  
(Бог даст, друг друга пойдем).  
До света — тосты и тосты  
(Но звезды вот-вот зайдут),  
Последний — и ноги на стол! —  
За тех, кто родился тут!

*Нас шестеро белых (встать!),  
Над нами встает рассвет.  
Если что-то мы бережем, мы и поем о том,  
Если чем-то мы дорожим, мы и стоим*

*на том:*

*Шесть ударов — на каждый в ответ!*

Мы протянем трос от Оркнея до мыса Горн  
(взять!), —

Во веки веков и днесь  
Это наша земля (и завяжем узел тугой),  
Это наша земля (и захватим ее петлей),  
Мы — те, кто родился здесь!

#### КОРОЛЕВА

«Романтика, прощай навек!  
С резною костью ты ушла, —  
Сказал пещерный человек, —  
И бьет теперь кремнем стрела.  
Бог плясок больше не в чести.  
Увы, романтика! Прости!»

«Ушла! — вздыхал народ озер. —  
Теперь мы жизнь влачим с трудом,  
Она живет в пещерах гор,  
Ей незнаком наш свайный дом,  
Холмы, вы сон ее блюсти  
Должны. Романтика, прости!»

И мрачно говорил солдат:  
«Кто нынче битвы господин?  
За нас сражается снаряд  
Плюющих дымом кулеврин,  
Удар никак не нанести!  
Где честь? Романтика, прости!»

И говорил купец, брезглив:  
«Я обошел моря кругом —  
Все возвращается прилив,  
И каждый ветер мне знаком.  
Я знаю все, что ждет в пути  
Мой бриг. Романтика, прости!»

И возмущался капитан:  
«С углем исчезла красота;  
Когда идем мы в океан,  
Рассчитан каждый взмах винта.

Мы, как паром, из края в край  
Идем. Романтика, прощай!»

И злился дачник, возмущен:  
«Мы ловим поезд, чуть дыша,  
Бывало, ездил почтальон,  
Опаздывая, не спеша.  
О, черт!» Романтика меж тем  
Водила поезд девять-семь.

Послушен под рукой рычаг,  
И смазаны золотники,  
И будят насыпь и овраг  
Ее тревожные свистки;  
Вдоль доков, мельниц, рудника  
Ведет умелая рука.

Так сеть свою она плела,  
Где сердце — кровь и сердце — чад,  
Каким-то чудом заперта  
В мир, обернувшийся назад.  
И пел певец ее двора:  
«Ее мы видели вчера!»

\* \* \*

Когда уже ни капли краски Земля не выжмет  
на холсты,  
Когда цвета веков поблекнут и наших дней сойдут  
цветы,  
Мы — без особых сожалений — пропустим Вечность  
или две,  
Пока умелых Подмастерьев не кликнет Мастер к синеве.

И будут счастливы умельцы, рассевшись в креслах  
золотых,  
Писать кометами портреты — в десяток лиг длиной —  
святых;  
В натурщики Петра, и Павла, и Магдалину призовут,  
И просидят не меньше эры, пока не кончат славный  
труд!

И только Мастер их похвалит, и только Мастер  
попрекнет —  
Работников не ради славы, не ради денежных щедрот,  
Но ради радости работы, но ради радости раскрыть,  
Какой ты видишь эту Землю, — Ему, велевшему ей —  
быть!

### ПОТЕРЯННЫЙ ЛЕГИОН

Легион, не внесенный в списки,  
Ни знамен, ни значков никаких,  
Разбитый на сотни отрядов,  
Пролагающий путь для других.  
Отцы нас благословляли,  
Нянчили, пичкали всласть,  
Нам хотелось не клубных обедов,  
А пойти, и открыть, и пропасть,  
(Эх, братцы!)  
Пойти, быть убитым, пропасть.

Кто травит рабовладельца,  
Кто за черных стоит горой,  
Кто вечно в погоне за нефтью,  
Кто — за своей мечтой,  
Кого в Саравак сдрейфовало,  
Кого сдрейфовало во Фляй,  
Кто делит свой завтрак с тигром,  
Кого угощает масай,  
(Эх, братцы!)  
Кроткий, вертлявый масай.

Острова мы окрасили красным,  
За жемчугом шли на дно,  
Ликовали над самородком,  
Жили голодно и бедно;  
Мы смеялись над миром: мужчины,  
Города и женщины — тлен!  
От мрачного Саид Бургаша  
До гор, где горюет Лобен,  
(Эх, братцы!)  
Нас будет помнить Лобен!

Края земли — наша мера,  
Океан нам привычен всем,  
В каждой драке под ветром дерется  
Легион, не ведомый никем.  
Как-то, и где-то, и всюду  
Мы первые там, где шумят, —  
На Маниле в свалке у кассы,  
На скачках конных бригад,  
(Эх, братцы!)  
Где полиции конный отряд.

Мы армию обгоняем,  
Мы за церковь воюем везде:  
Не выручит нас канонерка,  
Когда мы гибнем в воде.  
Но мы знаем — коль выйдут пули  
И нам не уйти назад,  
Легион, не внесенный в списки,  
Пошлет нам на помощь ребят,  
(Молодцы!)  
Пятьсот отборных ребят.

Тост (его мы тихонько выпьем) —  
За незаконный сброд,  
За наших предтеч безымянных,  
Джентльменский пиратский род.  
Тост, прежде чем разоидемся —  
Пароход паровоза не ждет, —  
Легион, не внесенный в списки,  
Отправляется снова в поход.  
Счастливо!

В палатки идем мы опять.  
Ура!  
Манерка и суп опять.  
Как дела?  
Вьючный конь и тропинка опять.  
На караул!  
Фургон и волы опять!

#### ЮЖНАЯ АФРИКА

Что за женщина жила  
(Бог ее помилуй!) —

Не добра и не верна,  
Жуткой прелести полна,  
Но мужчин влекла она  
Сатанинской силой.

Да, мужчин влекла она  
Даже от Сен-Джаста,  
Ибо Африкой была,  
Южной Африкой была,  
Нашей Африкой была,  
Африкой — и баста!

В реках девственных вода  
Напрочь пересохла,  
От огня и от меча  
Стала почва горяча,  
И жирела саранча,  
И скотина дохла.

Много страсти сберегла  
Для энтузиаста,  
Ибо Африкой была,  
Южной Африкой была,  
Нашей Африкой была,  
Африкой — и баста!

Хоть любовники ее  
Не бывали робки,  
Уделяла за труды  
Крохи краденой еды,  
Да мочу взамен воды,  
Да кизяк для топки.

Забивала в глотки пыль,  
Чтоб смирнее стали,  
Пронимала до кости  
Лихорадками в пути,  
И клялись они уйти  
Прочь, куда подале,

Отплывали, но опять,  
Как ослы, упрямы,  
Под собой рубили сук,

Вновь держали путь на юг,  
Возвращались под каблук  
Этой дикой дамы.

Все безумней лик ее  
Чтили год от года, —  
В упоенье, в забвении  
Отрекались от семьи,  
Звали кладбища свои  
Алтарем народа.

Кровью куплена твоей,  
Слаще сна и крова,  
Стала больше, чем судьбой,  
И нежней жены любой —  
Женщина перед тобой  
В полном смысле слова!

Встань! Подобная жена  
Встретится нечасто —  
Южной Африке салют,  
Нашей Африке салют,  
Нашей собственной салют  
Африке — и баста!

### **СЫН МОЙ ДЖЕК**

Сын мой Джек не прислал мне весть?  
*Не с этой волной.*  
Когда он снова будет здесь?  
*Не с этим шквалом, не с этой волной.*

А может, другим он вести шлет?  
*Не с этой волной.*  
*Ведь что утонуло, то вряд ли всплывет*  
*Ни с прибоем, ни с грозной волной.*

В чем же, в чем утешение мне?  
*Не в этой волне,*  
*Ни в одной волне,*  
*В том, что он не принес позора родне*  
*Ни с этим шквалом, ни с этой волной.*

Так голову выше! Ревет прибой  
С этой волной  
И с каждой волной.  
Он был сыном, рожденным тобой,  
Он отдан шквалу и взят волной.

### БАЛЛАДА О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест  
они не сойдут,  
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный  
господень суд.  
Но нет Востока, и Запада нет, что — племя, родина,  
род,  
Если сильный с сильным лицом к лицу у края  
земли встает?  
Камал бежал с двадцатью людьми на границу  
мятежных племен,  
И кобылу полковника, гордость его, угнал  
у полковника он.  
Из самой конюшни ее он угнал на исходе ночных  
часов,  
Шипы на подковах у ней повернул, вскочил и был  
таков.  
Но вышел и молвил полковничий сын, что разведчиков  
водит отряд:  
«Неужели никто из моих молодцов не укажет, где  
конокрад?»  
И Мохаммед Хан, рисальдара сын, вышел вперед  
и сказал:  
«Кто знает ночного тумана путь, знает его привал.  
Проскачет он в сумерки Абазай, в Бонаире он встретит  
рассвет,  
И должен проехать близ форта Букло, другого пути  
ему нет.  
И если помчишься ты в форт Букло, летящей птицы  
быстрей,  
То с помощью божьей нагонишь его до входа  
в ущелье Джагей.  
Но если он минул ущелье Джагей, скорей поверни  
назад:  
Опасна там каждая пядь земли, там Камала люди  
кишат.

Там справа скала и слева скала, терновник и груды  
 песка...  
 Услышишь, как шелкнет затвор ружья, но нигде  
 не увидишь стрелка».

И взял полковничий сын коня, вороного коня своего:  
 Словно колокол рот, ад в груди его бьет, крепче  
 виселиц шея его.

Полковничий сын примчался в форт, там зовут его  
 на обед,  
 Но кто вора с границы задумал догнать, тому  
 отдохнуть не след.

Скорей на коня и от форта прочь, летящей птицы  
 быстреей,

Пока не завидел кобылы отца у входа в ущелье  
 Джагей,

Пока не завидел кобылы отца, и Камал на ней  
 скакал...

И чуть различил ее глаз белок, он взвел курок  
 и нажал.

Он выстрелил раз, и выстрелил два, и свистнула  
 пуля в кусты...

«По-солдатски стреляешь, — Камал сказал, — покажи,  
 как едешь ты».

Из конца в конец по ущелью Джагей стая демонов  
 пыли взвилась,

Вороной летел как юный олень, но кобыла как серна  
 неслась.

Вороной закусил зубами мундштук, вороной дышал  
 тяжелей,

Но кобыла играла легкой уздой, как красотка  
 перчаткой своей.

Вот справа скала и слева скала, терновник и груды  
 песка...

И трижды шелкнул затвор ружья, но нигде он  
 не видел стрелка.

Юный месяц они прогнали с небес, зорю выстукал  
 стук копыт,

Вороной несется как раненый бык, а кобыла как лань  
 летит.

Вороной споткнулся о груды камней и скатился  
 в горный поток,

А Камал кобылу сдержал свою и наезднику встать  
 помог.

И он вышиб из рук у него пистолет: здесь не место  
 было борьбе.  
 «Слишком долго, — он крикнул, — ты ехал за мной,  
 слишком милостив был я к тебе.  
 Здесь на двадцать миль не сыскать скалы, ты здесь  
 пня бы найти не сумел,  
 Где, припав на колено, тебя бы не ждал стрелок  
 с ружьем на прицел.  
 Если б руку с поводьями поднял я, если б я опустил  
 ее вдруг,  
 Быстроногих шакалов сегодня в ночь пировал бы  
 веселый круг.  
 Если б голову я захотел поднять и ее наклонил  
 чуть-чуть,  
 Этот коршун несытый наелся бы так, что не мог бы  
 крылом взмахнуть».  
 Легко ответил полковничий сын: «Добро кормить  
 зверей,  
 Но ты рассчитай, что стоит обед, прежде чем звать  
 гостей.  
 И если тысяча сабель придут, чтоб взять мои кости  
 назад,  
 Пожалуй, цены за шакалий обед не сможет платить  
 конокрад;  
 Их кони вытопчут хлеб на корню, зерно солдатам  
 пойдет,  
 Сначала вспыхнет соломенный кров, а после вырежут  
 скот.  
 Что ж, если тебе нипочем цена, а братьям на жратву  
 спрос —  
 Шакал и собака отродье одно, — зови же шакалов,  
 нес.  
 Но если цена для тебя высока — людьми, и зерном,  
 и скотом, —  
 Верни мне сперва кобылу отца, дорогу мы съедем  
 потом».  
 Камал вцепился в него рукой и посмотрел в упор.  
 «Ни слова о псах, — промолвил он, — здесь волка  
 с волком спор.  
 Пусть будет тогда мне падаль еда, коль причину  
 тебе вред,  
 И самую смерть перешутишь ты, тебе преграды нет».  
 Легко ответил полковничий сын: «Честь рода я храню,

Отец мой дарит кобылу тебе, — ездок под стать  
 коню».

Кобыла уткнулась хозяину в грудь и тихо ласкалась  
 к нему.

«Нас двое могучих, — Камал сказал, — но она верна  
 одному...

Так пусть конокрада уносит дар, поводья мои  
 с бирюзой,

И стремя мое в серебре, и седло, и чапрак узорчатый  
 мой».

Полковничий сын схватил пистолет и Камалу подал  
 вдруг:

«Ты отнял один у врага, — он сказал, — вот этот  
 дает тебе друг».

Камал ответил: «Дар за дар и кровь за кровь  
 возьму,

Отец твой сына за мной послал, я сына отдам ему».

И свистом сыну он подал знак, и вот, как олень  
 со скал,

Сбежал его сын на вереск долин и, стройный, рядом  
 встал.

«Вот твой хозяин, — Камал сказал, — он разведчиков  
 водит отряд,

По правую руку его ты встань и будь ему щит  
 и брат.

Покуда я или смерть твоя не снимем этих уз,  
 В дому и в бою, как жизнь свою, храни ты с ним  
 союз.

И хлеб королевы ты будешь есть и помнить, кто ей  
 враг,

И для спокойствия страны ты мой разоришь очаг.  
 И верным солдатом будешь ты, найдешь дорогу свою,  
 И, может быть, чин дадут тебе, а мне дадут петлю».

Друг другу в глаза поглядели они, и был им неведом  
 страх,

И братскую клятву они принесли на соли и кислых  
 хлебах,

И братскую клятву они принесли, сделав в дерне  
 широкий надрез,

На клинке, и на черенке ножа, и на имени бога чудес.

И Камалов мальчик вскочил на коня, взял кобылу  
 полковничий сын,

И двое вернулись в форт Букло, откуда приехал один.  
Но чуть подскакали к казармам они, двадцать сабель  
блеснуло в упор,  
И каждый был рад обагрить клинок кровью жителя  
гор...  
«Назад, — закричал полковничий сын, — назад, и  
оружие прочь!  
Я прошлую ночью за вором гнался, я друга привел  
в эту ночь».

*О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест  
они не сойдут,  
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный  
господень суд.  
Но нет Востока, и Запада нет, что — племя, родина,  
род,  
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли  
встает?*

#### БАЛЛАДА О «БОЛИВАРЕ»

Снова мы вернулись в порт — семь морских волков.  
Пей, гуляй, на Рэдклиф-стрит хватит кабаков.  
Краток срок на берегу, — девки, не зевай!  
Протащили «Боливар» мы через Бискай!

Погрузились в Сандерленде, фрахт — стальные балки,  
Только вышли — и назад: скачет груз козлом.  
Починились в Сандерленде и поплыли валко:  
Холодрыга, злые ветры, бури — как назло.

Корпус, гад, трещал по швам, сплевывал заклепки,  
Уголь свален на корме, грузы — возле топки,  
Днище будто решето, трубы — пропадай.  
Вывели мы «Боливар», вывели в Бискай!

Маяки нам подмигнули: «Проходи, ребята!»  
Маловат угля запас, кубрик тоже мал.  
Вдруг удар — и переборка вся в гармошку смята,  
Дали крен на левый борт, но ушли от скал.

Мы плелись подбитой уткой, напрягая душу,  
Лязг как в кузнице и стук — заложило уши,

Трюмы залиты водой — хоть ведром черпай.  
Так потрюхал «Боливар» в путь через Бискай!

Нас трепало, нас швыряло, нас бросало море,  
Пьяной вцепится рукой, воеет и трясет.  
Сколько жить осталось нам, драли глотки в споре,  
Упоная, что господь поршень подтолкнет.

Душит угольная пыль, в кровь разбиты рожи,  
На сердце тоска и муть, ноги обморожены.  
Проклинали целый свет, — дьявол, забирай!  
Мы послали «Боливар» к черту и в Бискай!

Нос вздымало к небесам, мучило и гнуло,  
Вверх, и вниз, и снова вверх — ну, не продохнуть,  
А хозяйская страховка нас ко дну тянула,  
Звезды в пляске смерти освещали путь.

Не присесть и не прилечь — ничего болтанка!  
Волны рвут обшивку в хлам — ржавая, поганка!  
Бешеным котом компас скачет, разбирай,  
Где тут север, где тут юг, —  
так мы шли в Бискай!

Раз взлетели на волну, сверху замечаем:  
Мчит плавучий гранд-отель весь в огнях кают.  
«Эй, на лайнере! — кричим. — Мы тут загораем,  
Вам, салаги, бы сюда хоть на пять минут!»

Тут проветрило мозги нам порывом шквала.  
«Ну-ка, парни, навались, румпель оторвало!»  
Старый шкипер заорал: «Ворот закрепляй!»  
Без руля, на тросах, мы прошли Бискай!

Связка сгнивших планок, залитых смолой,  
Приплелась в Бильбао, каждый чуть живой.  
Хоть не полагалось нам достичь земли,  
Мы надули Божий Шторм, Море провели.

Снова мы вернулись в порт, семь лихих ребят.  
Миновали сто смертей, нам сам черт не брат.  
Что ж хозяин ты не рад, старый скупердяй,  
Оттого что «Боливар» обманул Бискай?



Скорее срывайте замки с ворот, выпускайте на волю стада!  
Низины тонут на наших глазах, отовсюду хлещет вода.

Поднимаются волны над верхом плотин, огромны  
в густеющей мгле.  
И пена, летящая с губ морских, крутится по земле.  
Морские кони копытом бьют, грозят белизной зубов,  
Ломая кустарник, глотая песок, сметая труды отцов!

Хворост велите людям собрать, варить на кострах смолу.  
Огонь, а не дым, будет нужен нам, коль рухнут плотины  
во мглу.  
С колоколен велите людям следить (как знать, что  
покажет заря?) —  
Гремящий колокол наверху и веревка в руках звонаря.

Теперь со стыдом в душе мы ждем среди бурлящей тьмы.  
Вот это — плотины наших отцов, но о них не заботились  
мы.  
Нам не раз и не два говорили о том, мы в ответ лишь  
махали рукой. —  
И погублены жизни наших детей, и нарушен отцов покой.

Мы ходим по краю разбитых плотин, а море шумит  
вдали.  
Для нашего блага, для выгоды нашей их наши отцы  
возвели,  
Но выгоды нет и спокойствия нет, беззаботность пройдет,  
как дым. . .  
И самый город, где жили мы, покажется нам чужим.

### ЗОВ

Я — родина их предков,  
Во мне их покой и твердь,  
Я призову их обратно  
До того, как нагрянет смерть.

Под их ногами в травах —  
Волшебная песнь моя.

Вернутся они, как чужие,  
Останутся, как сыновья.

В ветвях вековых деревьев,  
Где простерлась отныне их власть,  
Сплетаю им заклятье —  
К моим ногам припасть.

Вечерний запах дыма  
И запах дождя ночной  
Часами, днями, годами  
Колдуют над их душой, —

Пусть поймут, что я существую  
Тысячу лет подряд.  
Я наполню познанием их сердце,  
Я наполню слезами их взгляд.

#### ГИЕНЫ

Когда похоронный патруль уйдет  
И коршуны улетят,  
Приходит о мертвом взять отчет  
Мудрых гиен отряд.

За что он умер, и как он жил —  
Это им все равно.  
Добраться до мяса, костей и жил  
Им надо, пока темно.

Война приготовила пир для них,  
Где можно жрать без помех.  
Из всех беззащитных тварей зсмных  
Мервец беззащитней всех.

Козел бодает, воняет тля,  
Ребенок дает пинки.  
Но бедный мертвый солдат короля  
Не может поднять руки.

Гиены вонзают в песок клыки,  
И чавкают, и рычат.

И вот уж солдатские башмаки  
Навстречу луне торчат.

Вот он и вышел на свет, солдат, —  
Ни друзей, никого.  
Одни гиеньи глаза глядят  
В пустые зрачки его.

Гиены и трусов, и храбрецов  
Жуют без лишних затей,  
Но они не пятнают имен мертвецов:  
Это — дело людей.

### БРЕМЯ БЕЛЫХ

Твой жребий — Бремя Белых!  
Как в изгнанье, пошли  
Своих сыновей на службу  
Темным сынам земли;  
На каторжную работу —  
Нету ее лютей, —  
Править тупой толпою  
То дьяволов, то детей.

Твой жребий — Бремя Белых!  
Терпеливо сноси  
Угрозы и оскорбленья  
И почестей не проси;  
Будь терпелив и честен,  
Не ленись по сто раз —  
Чтоб разобрался каждый —  
Свой повторять приказ.

Твой жребий — Бремя Белых!  
Мир тяжелей войны:  
Накорми голодных,  
Мор выгони из страны;  
Но, даже добившись цели,  
Будь начеку всегда:  
Изменит иль одурачит  
Языческая орда.

Твой жребий — Бремя Белых!  
Но это не трон, а труд:  
Промасленная одежда,  
И ломота, и зуд.  
Дороги и причалы  
Потомкам понастрой,  
Жизнь положи на это —  
И ляг в земле чужой.

Твой жребий — Бремя Белых!  
Награда же из Наград —  
Презренье родной державы  
И злоба пасомых стад.  
Ты (о, на каком ветрище!)  
Светоч зажжешь Ума,  
Чтоб выслушать: «Нам милее  
Египетская тьма!»

Твой жребий — Бремя Белых!  
Его уронить не смей!  
Не смей болтовней о свободе  
Скрыть слабость своих плечей!  
Усталость не отговорка,  
Ведь туземный народ  
По сделанному тобою  
Богов твоих познает.

Твой жребий — Бремя Белых!  
Забудь, как ты решил  
Добиться скорой славы, —  
Тогда ты младенцем был.  
В безжалостную пору,  
В чреду глухих годин  
Пора вступить мужчиной,  
Предстать на суд мужчин!

#### **ГИМН ПЕРЕД БИТВОЙ**

Земля объята гневом,  
И зыбь морская зла,  
Противу нас под небом  
Народы без числа;

Пока еще не поздно  
И наш не пробил час,  
Будь с нами, Боже грозный,  
Будь, Господи, за нас!

Исполненные рвенья  
И ярости в борьбе,  
В последние мгновенья  
Мы молимся Тебе!  
Бессчетно мы грешили,  
Без Веры жизнь вели, —  
И все же в час бессилья  
Нам мужество пошли!

Пусть нашим младшим братьям  
Их идолы милей,  
Но не спеши с проклятьем —  
Прости и пожалей!  
Они не верят, Боже,  
Но узы братства чтут.  
И, с нас взыскав строже,  
Не уготовь им суд!

От паники и мести,  
Безжалостной резни  
И поруганья чести  
Нас, Боже, охрани!  
Не дай поддаться страху,  
Не дай не встать с земли —  
И смерть земному праху  
Достойную пошли.

Скорбящая Мария,  
Заступницею будь  
За всех, кому Мессия  
Судил в последний путь.  
Вступишь пред Судиею —  
Минута дорога —  
За каждого героя,  
За друга, за врага!

Начнется сеча скоро,  
В ней многим пасть бойцам.

Будь, Боже, нам опорой,  
Как нашим был отцам.  
Благослови знамена,  
Знаменья ниспошли.  
О Боже непреклонный,  
О Господи, внемли!

### ВДОВА ИЗ ВИНДЗОРА

Кто не знает Вдовы из Виндзора,  
Коронованной старой Вдовы?  
Флот у ней на волне, миллионы в казне,  
Грош из них получаете вы  
(Сброд мой милый! Наемные львы!).  
На крупах коней Вдовьи клейма,  
Вдовый герб на аптечке любой.  
Строгий Вдовый указ, словно вихрь, гонит нас  
На парад, на ученья и в бой  
(Сброд мой милый! На бойню, не в бой!).  
Так выпьем за Вдове здоровье,  
За пушки и боезапас,  
За людей и коней, сколько есть их у ней,  
У Вдовы, опекающей нас  
(Сброд мой милый! Скликающей нас!)!

Просторно Вдове из Виндзора,  
Полмира считают за ней.  
И весь мир целиком добывая штыком,  
Мы мостим ей ковер из костей  
(Сброд мой милый! Из наших костей!).  
Не зарься на Вдовьи лабазы,  
Перечить Вдове не берись.  
По углам, по щелям впору лезть королям,  
Если только Вдова скажет: «Брысь!»  
(Сброд мой милый! Нас шлют с этим «брысь!»).  
Мы истинно Дети Вдовицы!  
От тропиков до полюсов  
Нашей логи размах. На штыках и клинках  
Ритуал отбряцаем и зов  
(Сброд мой милый! Ответ-то каков?)!

Не суйся к Вдове из Виндзора,  
Исчезни, покуда ты цел!

Мы, охрана ее, по команде «В ружье!»  
Разом словим тебя на прицел  
(Сброд мой милый! А кто из вас цел?)!  
Возьмись, как Давид-псалмопевец  
За крылья зари — и всех благ!  
Всюду встретят тебя ее горны, трубя,  
И ее трижды латаный флаг  
(Сброд мой милый! Равнение на флаг!)  
Так выпьем за Вдовьих сироток,  
Что в строй по сигналу встают,  
За их красный наряд, за их скорый возврат  
В край родной и в домашний уют  
(Сброд мой милый! Вас прежде убьют!)!

### ЭПИТАФИИ

#### Политик

Я трудиться не сумел, грабить не посмел,  
Я всю жизнь свою с трибуны лгал доверчивым и юным,  
Лгал — птенцам.  
Встретив всех, кого убил, всех, кто мной обманут был,  
Я спрошу у них, у мертвых, — бьют ли на том свете морду  
Нам, лжецам?

#### Эстет

Я отошел это сделать не там, где вся солдатня.  
И снайпер в ту же секунду меня на тот свет отправил.  
Я думаю, вы не правы, высмеивая меня,  
Умершего принципиально, не меняя своих правил.

#### Командир морского конвоя

Нет хуже работы — пасти дураков,  
Бессмысленно храбрых — тем более.  
Но я их довел до родных берегов  
Своею посмертною волею.

#### Бывший клерк

Не плачьте! Армия дала  
Свободу робкому рабу.  
За шиворот приволокла  
Из канцелярии в судьбу,  
Где он, узнав, что значит смерть,  
Набрался храбрости — любить,  
И, полюбив, — пошел на смерть,  
И умер. К счастью, может быть.

#### Новобранец

Быстро, грубо и умело за короткий путь земной  
И мой дух, и мое тело вымуштровала война.  
Интересно, что способен сделать бог со мной  
Сверх того, что уже сделал старшина?

#### Ординарец

Я знал, что мне он подчинен и, чтоб спасти меня, —  
Он умер, так и не узнав, что надо б все наоборот! умрет.

#### Двое

А. — Я был богатым, как раджа.  
Б. — А я был беден.  
Вместе. — Но на тот свет без багажа  
Мы оба едем.

#### ТОММИ

Хотел я глотку промочить, гляжу — трактир открыт.  
«Мы не пускаем солдатню!» — хозяин говорит.  
Девиц у стойки не унять: потеха хоть куда!  
Я восвоися повернул и плюнул со стыда.  
«Эй, Томми, так тебя и сяк, ступай и не маячь!»  
Но — «Мистер Аткинс, просим Вас!» — когда зовет  
трубач.

Когда зовет трубач, друзья, когда зовет трубач,  
Да, мистер Аткинс, просим Вас, когда зовет трубач!  
На представленья я пришел — ну ни в одном глазу!  
За мной ввалился пьяный хлыщ, и он-то сел внизу.  
Меня ж отправили в раек, наверх, на самый зад,  
А если пули запоют, — пожалуйста в первый ряд!  
«Эй, Томми, так тебя и сяк, умерь-ка лучше прыть!»  
Но — «Личный транспорт Аткинсу!» — когда за море  
плыть.  
Когда за море плыть, друзья, когда за море плыть,  
Отличный транспорт Аткинсу, когда за море плыть!

Дешевый нам дают мундир, грошовый рацион,  
Солдат — ваш верный часовой — не больно дорог он!  
И проще фыркать: дескать, он шумен навеселе,  
Чем с полной выкладкой шагать по выжженной земле!  
«Эй, Томми, так тебя и сяк, да ты, мерзавец, пьян!»  
Но — «Взвейтесь, грозные орлы!» — лишь грянет  
барабан.  
Лишь грянет барабан, друзья, лишь грянет барабан,  
Не дрянь, а «грозные орлы», лишь грянет барабан!

Нет, мы не грозные орлы, но и не грязный скот,  
Мы — те же люди, холостой казарменный народ.  
А что порой не без греха — так где возьмешь смирней:  
Казарма не растит святых из холостых парней!  
«Эй, Томми, так тебя и сяк, тишком ходи, бочком!»  
Но — «Мистер Аткинс, грудь вперед!» — едва пахнет  
дымком,  
Едва пахнет дымком, друзья, едва пахнет дымком,  
Ну, мистер Аткинс, грудь вперед, едва пахнет  
дымком!

Сулят нам сытные пайки, и школы, и уют.  
Вы жить нам дайте по-людски, без ваших сладких блюд!  
Не о баланде разговор, и что чесать язык,  
Покуда форму за позор солдат считать привык!  
«Эй, Томми, так тебя и сяк, катись, и черт с тобой!»  
Но он — «защитник Родины», когда выходит в бой.  
Да, Томми, так его и сяк, не раз уже учен,  
И Томми вовсе не дурак, он знает, что почем!

## ПРАЗДНИК У ВДОВЫ

«Эй, Джонни, да где ж пропадал ты, старик,  
Джонни, Джонни?»

«Был приглашен я к Вдове на пикник».

«Джонни, ну, ты и даешь!»

«Вручили бумагу, и вся недолга.

Явись, мол, коль шкура тебе дорога,

Напра-во! — и топай к чертям на рога,

На праздник у нашей Вдовы».

(Горн: «Та-рара-та-та-рара!»)

«А чем там поили-кормили в гостях,

Джонни, Джонни?»

«Тиной, настоящей на костях».

«Джонни, ну, ты и даешь!»

«Баранинкой жестче кнута с ремешком,

Говядинкой с добрым трехлетним душком

Да, коли стащишь сам, петушком

На празднике нашей Вдовы».

«Зачем тебе выдали вилку да нож,

Джонни, Джонни?»

«А там без них нигде не пройдешь».

«Джонни, ну, ты и даешь!»

«Было что резать и что ворошить,

Было что ткнуть и потом искрошить,

Было что просто кромсать-потрошить

На празднике нашей Вдовы».

«А где ж половина гостей с пикника,

Джонни, Джонни?»

«У них оказалась кишка тонка».

«Джонни, ну, ты и даешь!»

«Кто съел, кто хлебнул всего, что дают,

А этого ведь не едят и не пьют,

И вот их птички теперь клюют

На празднике нашей Вдовы».

«А как же тебя отпустила мадам,

Джонни, Джонни?»

«В лежку лежащим ручки по швам».

«Джонни, ну, ты и даешь!»

«Приставили двух черномазых ко мне

Носилки нести, а я в них на спине  
По-барски разлежся в кровавом дерьме  
На празднике нашей Вдовы».

«А чем же закончилась вся толкотня,  
Джонни, Джонни?»

«Спросите полковника — не меня.

«Джонни, ну, ты и даешь!»

«Король был разбит, был проложен тракт,  
Был суд учрежден, в чем скреплен был акт,  
А дождик смыл кровь, да украсит сей факт  
Праздник у нашей Вдовы».

(Горн: «Та-рара-та-та-рара!»)

### ДЖЕНТЛЬМЕН В ДРАГУНАХ

Вам, пропащим и презренным, вам, чужим в краю отцов,  
Вам, раскиданным по свету наугад,  
Песню шлет британский джентльмен, образец из  
образцов,

И простой Ее Величества солдат.

Да, драгун на службе горькой, хоть ездил своей  
шестеркой,

Но зря, дружок, он жизнь прожег свою,  
Ведь распалась связь времен, лишь с мощной  
простился он,

И — отставить разговорчики в строю!

Агнец, заблудший неведомо где,

Бе-е! Бе-е!

Черный барашек в беде и нужде,

Бе-е-е!

Джентльмен, не ведающий святынь,

Проклят во веки веков, аминь!

Господи, грешника не покинь!

Бе-е! Йе-е! Бе-е!

Сладко пахнуть конским потом, слушать байки забулдыг,

Котелок с устатку выхлебать до дна,

Служанок толстых тискать на танцульках полковых

И нахалу дать под дых за «шаркуна»!

То-то ходишь, как петух, если в деле стоишь двух,

Но куда завиднее звезда

Томми, честного трудяги, кто тебе же драит краги

И «сэром» называет иногда. . .

Если все, что есть на свете: дом, куда не пишешь ты,  
И клятвы, о которых позабудь, —  
Во сне врывается к тебе сквозь храп из темноты —  
Так кто нас смеет кружкой попрекнуть?  
А когда восток светлеет, и фонарь дежурный тлеет,  
И приятель спяну дрыхнет, как сурок,  
В простоте нагой и мертвой открывает весь позор твой  
До боли отбеленный потолок!

Мы покончили с Надеждой, мы погибли для Любви,  
Из сердца Совесть выжгли мы дотла,  
Мы на муки променяли годы лучшие свои —  
Спаси нас бог, познавших столько зла!  
Стыд паденья — наша плата за свершенное когда-то,  
А гордыня — в унижении навзрыд,  
И судьба тебе, изгою, под чужой лежать звездою,  
И никто не скажет Им, где ты зарыл! —  
Агнец, заблудший неведомо где,  
Бе-е! Бе-е!  
Черный барашек в беде и нужде,  
Бе-е-е!  
Джентльмен, не ведающий святынь,  
Проклят во веки веков, амины!  
Господи, грешника не покинь!  
Бе-е! Йе-е! Бе-е!

#### БРОД НА РЕКЕ КАБУЛ

Возле города Кабула —  
В рог труби, штыком вперед! —  
Захлебнулся, утонул он,  
Не прошел он этот брод.  
Брод, брод, брод вблизи Кабула!  
Ночью вброд через Кабул-реку!  
В эту ночь с рекой бурлившей эскадрон  
боролся плывший,  
Темной ночью вброд через Кабул-реку.

В городе развалин груды —  
В рог труби, штыком вперед! —  
Друг тонул, и не забуду  
Мокрое лицо и рот!  
Брод, брод, брод вблизи Кабула,

Ночью вброд через Кабул-реку!  
Вдоль пути — кресты, могилы, мы уйти от них  
не в силах  
Темной ночью вброд через Кабул-реку.

Солнечен Кабул и пылен —  
В рог труби, штыком вперед! —  
Мы же вместе, рядом плыли,  
Мог прийти и мой черед. . .  
Брод, брод, брод вблизи Кабула,  
Ночью вброд через Кабул-реку!  
Там течение волны гонит, слышишь — бьются  
наши кони?  
Темной ночью вброд через Кабул-реку. . .

Взять Кабул должны мы были —  
В рог труби, штыком вперед —  
Прочь отсюда, где сгубили  
Мы друзей, где этот брод,  
Брод, брод, брод вблизи Кабула,  
Ночью вброд через Кабул-реку!  
Было ль вам тонуть приятно? Не вернетесь ли  
обратно  
Темной ночью вброд через Кабул-реку?

Провались она хоть в ад —  
В рог труби, штыком вперед! —  
Ведь остался б жив солдат,  
Не войди он в этот брод.  
Брод, брод, брод вблизи Кабула,  
Ночью вброд через Кабул-реку!  
Бог простит грехи их в мире. . . Башмаки у них,  
как гири, —  
Темной ночью вброд через Кабул-реку. . .

Поверни от стен Кабула —  
В рог труби, штыком вперед! —  
Половина утонула  
Эскадрона, там, где брод,  
Брод, брод, брод вблизи Кабула,  
Ночью вброд через Кабул-реку!  
Пусть в реке утихли воды; бесполезно  
звать к походу  
Темной ночью вброд через Кабул-реку.

## ФУЗЗИ-ВУЗЗИ

(Суданские экспедиционные части)

Знавали мы врага на всякий вкус:

Кто похрабрей, кто хлипок, как на грех,

Но был не трус афганец и зулус,

А Фуззи-Вуззи — этот стоил всех!

Он не желал сдаваться, хоть убей,

Он часовых косил без передышки,

Засев в чащобе, портил лошадей

И с армией играл, как в кошки-мышки.

За твое здоровье, Фуззи, за Судан, страну твою,

Первоклассным, нехристь голый, был ты воином

в бою!

Билет солдатский для тебя мы выправим путем,

А хочешь поразмяться, так распишемся на нем!

Вгонял нас в пот Хайберский перевал,

Нас дуриком, за милую, шлепал бур,

Мороз под солнцем Бирмы пробирал,

Лихой зулус ошпывывал, как кур,

Но Фуззи был по всем статьям мастак,

И сколько ни долдонили в газетах:

«Бойцы не отступают ни на шаг!» —

Он колошматил нас и так, и этак.

За твое здоровье, Фуззи, за супругу и ребят!

Был приказ с тобой покончить, мы успели в аккурат.

Винтовку против лука честной не назвать игрой,

Но все козыри побил ты и прорвал британский строй!

Газеты не видал он никогда,

Медальями побед не отмечал,

Так мы расскажем, до чего удал

Удар его двуручного меча!

Он из кустиков на голову кувырк

Со щитом навроде крышки гробовой —

Всего денек веселый этот цирк,

И год бедняга Томми сам не свой.

За твое здоровье, Фуззи, в память тех, с кем ты

дружил,

Мы б оплакали их вместе, да своих не счесть могил.

Но равен счет — мы присягнем, хоть Библию  
раскрой;  
Пусть потерял ты больше нас, ты смял британский  
строй!

Ударим залпом — и пошел бедлам:  
Он ныряет в дым и с тылу мельтешит.  
Это прямо порох с перцем пополам,  
И притворщик, если мертвый он лежит.  
Он ягненок, он мирный голубок,  
Попрыгунчик, соскочивший со шнурка,  
И плевать ему, куда теперь пролеет  
Путь Британского Пехотного Полка!  
За твое здоровье, Фуззи, за Судан, страну твою,  
Первоклассным, нехристь голый, был ты воином  
в бою!  
За здоровье Фуззи-Вуззи, чья башка копна копной:  
Чертов черный голодранец, ты прорвал британский  
строй!

#### ДЕННИ ДИВЕР

«О чем с утра трубят рожки?» — один из нас сказал.  
«Сигналят сбор, сигналят сбор», — откликнулся капрал.  
«Ты побелел как полотно!» — один из нас сказал.  
«Я знаю, что покажут нам», — откликнулся капрал.  
Будет вздернут Денни Дивер ранним-рано на заре,  
Похоронный марш играют, полк построился в каре,  
С плеч у Денни рвут нашивки — на казарменном дворе  
Будет вздернут Денни Дивер рано утром.

«Как трудно дышат за спиной», — один из нас сказал.  
«Хватил мороз, хватил мороз», — откликнулся капрал.  
«Свалился кто-то впереди», — один из нас сказал.  
«С утра печет, с утра печет», — откликнулся капрал.  
Будет вздернут Денни Дивер, вдоль шеренг ведут его,  
У столба по стойке ставят возле гроба своего,  
Скоро он в петле запляшет, как последнее стерво!  
Будет вздернут Денни Дивер рано утром.

«Он спал направо от меня», — один из нас сказал.  
«Уснет он нынче далеко», — откликнулся капрал.

«Не раз он пиво ставил мне», — один из нас сказал.  
«Он хлещет горькую один», — откликнулся капрал.  
Будет вздернут Денни Дивер, по заслугам приговор:  
Он убил соседа сонным, на него взгляни в упор,  
Земляков своих бесчестье и всего полка позор —  
Будет вздернут Денни Дивер рано утром!

«Что это застит белый свет?» — один из нас сказал.  
«Твой друг цепляется за жизнь», — откликнулся капрал.  
«Что стонет там, над головой?» — один из нас сказал.  
«Отходит грешная душа», — откликнулся капрал.  
Кончил счеты Денни Дивер, барабаны бьют поход,  
Полк построился колонной, нам командуют: «Вперед!»  
Хо! — трясутся новобранцы, промочить бы пивом рот,—  
Нынче вздернут Денни Дивер рано утром.

#### «ЭЙ, СОЛДАТ...»

«Эй, солдат, отчего, отчего  
Нет с войны моего дорогого?» —  
«Он на трап, может быть, не успел вскочить.  
Ты сыскала бы парня другого».

Парня надежного! Парня другого!  
Ты сыскала бы парня другого.  
Мертвецам не ожить. Мой совет: потужить  
И найти себе парня другого.

«Эй, солдат, что слышать про него,  
Про дружка моего дорогого?» —  
«Он в колониях был, королеве служил.  
Ищи себе парня другого».

«Эй, солдат, ты встречал ли его,  
Моего дружка дорогого?» —  
«Был он в хаки одет, уходил в секрет.  
Поищи же парня другого».

«Эй, солдат, а потом-то его  
Ты видал, моего дорогого?» —

«Всё покровом густым заволакивал дым.  
Ты ищи лучше парня другого».

«Эй, солдат, где искать мне его,  
Моего дружка дорогого?» —  
«Он за морем лежит, а череп пробит.  
Так что парня ищи другого».

«Эй, солдат, мне не жить без него.  
Смерть приму на груди дорогого». —  
«Там, где бой отгремел, друг твой в месиве тел.  
Ты искала бы парня другого».

«Эй, солдат, есть ли весть от него,  
От дружка моего дорогого?» —  
«От него я принес прядь твоих волос.  
Так что парня ищи другого».

«Эй, солдат, верю: нет уж его.  
Как мне быть без дружка дорогого?» —  
«Ты поплачь о нем, погорюй, а потом  
Ты во мне найдешь парня другого».

Парня надежного! Парня другого!  
В нем найдешь ты парня другого.  
Мертвецам не ожить. Мой совет: потужить  
И найти в нем парня другого.

### МАНДАЛАЙ

Возле пагоды старинной, в Бирме, дальней стороне,  
Смотрит на море девчонка и скучает обо мне.  
Ветер клонит колокольцы, те трезвонят то и знай:  
Ждем британского солдата, ждем солдата в Мандалай!  
Ждем солдата в Мандалай,  
Где суда стоят у свай,  
Слышишь, шлепают колеса из Рангуна в Мандалай?  
На дороге в Мандалай,  
Где летучим рыбам рай  
И зарю раскатом грома из-за моря шлет Китай!

Супи-Елат звать девчонку, имя царское у ней!  
Помню желтую шапчонку, юбку, травки зеленей.

Черт те что она курила — не прочухаться в дыму,  
И, гляжу, целует ноги истукану своему!

В ноги падает дерьму,  
Будда — прозвище ему.  
Нужен ей поганый идол, как покрепче обниму  
На дороге в Мандалай. . .

В час, когда садилось солнце и над рисом стлалась мгла,  
Для меня брэнчало банджо и звучало: «Кулло-ла!»  
А бывало, что в обнимку шли мы с ней, щека к щеке,  
Поглядеть на то, как *хати*<sup>1</sup> лес сгружают на реке,  
Как слоны бредут к реке  
В липкой тине и песке,  
Тишь такая — слово стынет у тебя на языке  
На дороге в Мандалай. . .

Это было все, да сплыло, вспоминай — не вспоминай.  
Севши в omnibus у Банка, не доедешь в Мандалай.  
Да, недаром поговорка у сверхсрочников была:  
«Тем, кто слышит зов Востока, мать-отчизна не мила».  
Не отчизна им мила —  
Пряный дух, как из котла,  
Той земли, где плещут пальмы и звенят колокола  
На дороге в Мандалай. . .

Я устал трепать подметки по булыжной мостовой,  
А от лондонской погоды ломит кости не впервой.  
Здесь прислуги целый ворох, пьешь-гуляешь без забот,  
Дурь одна в их разговорах — кто любви-то ихней ждет?  
Жидкий волос, едкий пот. . .  
Нет, меня другая ждет,  
Мой душистый, чистый цветик у бездонных, сонных

вод

На дороге в Мандалай. . .

Там, к востоку от Суэца, злу с добром — цена одна,  
Божьих заповедей нету, и кто жаждет — пьет до дна.  
Слышу, кличут колокольцы, и привольно будет мне  
Лишь у пагоды старинной, в полуденной стороне  
На дороге в Мандалай,  
Где суда стоят у свай, —

---

<sup>1</sup> Х а т и (*хинд.*, правильное — хатхи) — слон.

Мы кладем больных под тенты и идем на Мандалай!  
О, дорога в Мандалай,  
Где летучим рыбам рай  
И зарю раскатом грома из-за моря шлет Китай!

### МАРШ «ХИЩНЫХ ПТИЦ»

*(Войска Заморской службы)*

«Ша-агом...» Грязь коростой на обмотках мокрых.  
«Арш!» Чехол со знаменем мотает впереди.  
«Правое плечо!» А лица женщин в окнах  
Не прихватишь на борт, что гляди, что не гляди.  
*Даешь! Не дошагать нам до победы.  
Даешь! Нам не восстать под барабанный бой.  
Стая Хищных Птиц  
Вместо райских голубиц —  
И солдаты не придут с передовой.*

«Подтянись!» Перед причалом полк скопился.  
«Левой! Рота, стой!» И вот видны суда.  
Суки, там — битком, а нас полно на пирсе!  
Боже правый, нас везут невесть куда...

«Товсь к погрузке!» Пусть малюют черта —  
Хвост трубой! Еще гульнем, солдат!  
И кончай о ней. Любовь, браток, — до борта.  
«Марш!» Бог помощь, если ты женат.

«Разойдись!» Завьем печали, братцы!  
(Слышь, теперь бы нам пожрать, да побыстрей!)  
Эвона, с горячего кривятся —  
Погоди, как доживешь до сухарей!

«Эй, женатые, от трапа!» Не надейся,  
Тут на берег мы обратно не сойдем.  
Дай вам сил, ох, дай вам сил, конногвардейцы,  
Сторожить нас в это утро под дождем...

Вбитый в строй, как гвоздь, промокший до белишка,  
В глотке ком, хоть не пошло тебя качать —

Здесь твой дом родной. — «Отставить песню!»  
Крышка.

«На поверку ста-ановись! Молчать!»  
*Даешь! Нам не дожить до блеваной победы.  
Даешь! Нам не восстать под барабанный бой.  
(Хвост трубой!)  
А гиена и шакал  
Все сожрут, что бог послал,  
И солдаты не придут с передовой (Рота, в бой!)  
Коршунье и воронье  
Налетит урвать свое,  
И солдаты не придут с передовой (Рота, в бой!)  
Стая Хищных Птиц  
Вместо райских голубиц —  
И солдаты не придут с передовой!*

### СОЛДАТ И МАТРОС ЗАОДНО

*(Норолесскому полку морской пехоты)*

Со скуки я в хлябь с полуюта плевал,  
терпел безмонетный сезон,  
Вдруг вижу — на крейсере рядом мужик,  
одет на армейский фасон  
И драит медяшку. Ну, я ему грю:  
«Э, малый! Ты что за оно?»  
«А я, грит, Бомбошка у нашей Вдовы,  
солдат и матрос заодно».  
Какой ему срок и подробный паек,  
конечно, особый вопрос,  
Но скверно, что он ни пехота, ни флот,  
ни к этим, ни к тем не прирос,  
Болтается, будто он дуромфродит,  
диковинный солдоматрос.  
Потом я в работе его повидал  
по разным дремучим углам,  
Как он митральезой настраивал слух  
языческим королям.  
Спит не на койке он, а в гамаке,  
мол, так у них заведено,  
Муштруют их вдвое — Бомбошек Вдовы,  
матросов, солдат заодно.  
Все должен бродяга и знать, и уметь,  
затем и на свет их плодят.

Воткни его в омут башкой — доплывет,  
хоть рыбы кой-что отъедят.  
Таков всепролазный гусьмополит,  
диковинный матросолдат.

У нас с ними битвы в любом кабаке,  
и мы, и они удалы,  
Они нас «костлявой блевалкой» честят,  
а мы им орем: «Матрослы!»  
А после, горбятя с присыпкой наряд,  
где впору башкой о бревно,  
Пыхтим: «Выручай-ка, Бомбошка Вдовы,  
солдат и матрос заодно».  
Он все углядит, а что нужно, сопрет  
и слов не потратит на спрос,  
Дудят нам подъемчик, а он уже жрет,  
в поту отмахавши свой кросс,  
Ведь он не шлюнтяйка, а крепкий мужик,  
тот спаренный солдоматрос!

По-вашему, нам не по нраву узда,  
мы только и знаем, что ржем,  
По классам да кубрикам воду мутим,  
чуть что — так грозим мятежом.  
Но с форсом подохнуть у края земли  
нам тоже искусство дано,  
И тут нам образчик — Бомбошка Вдовы,  
солдат и матрос заодно.  
А он — та же черная кость, что и мы,  
по правде сказать, он нам брат,  
Мал-мал поплечистой, а если точнее,  
то на полвершка в аккурат,  
Но не из каких-нибудь там хрензантем  
породистый матросолдат.

Подняться в атаку, паля на бегу,  
оно не такой уж и страх,  
Когда есть прикрытие, тыл и резерв,  
и крик молодецкий в грудях.  
Но скверное дело — в парадном строю  
идти с «Биркенхедом» на дно,  
Как шел бедолага Бомбошка Вдовы,  
солдат и матрос заодно.  
Почти салажонок, ну что он успел?  
Едва до набора дорос,

А тут — иль расстрел или драка в воде,  
а всяко ершам на обсос,  
И, стоя в шеренге, он молча тонул,  
герой, а не солдоматрос.

Полно у нас жуликов, все мы вруны,  
похабники, рвань, солдатня,  
Мы с форсом подохнем у края земли  
(все, милые, кроме меня),  
Но тех, кто «Викторию» шел выручать,  
добром не попомнить грешно,  
Ты честно боролся, Бомбошка Вдовы,  
солдат и матрос заодно.  
Не стану бог знает чего говорить,  
другие пускай говорят,  
Но если Вдова нам работу задаст,  
мы выполним все в аккурат.  
Вот так-то! А «мы» понимай «и Ее  
Величества матросолдат»!

#### ТОТ ДЕНЬ

Все было против нас. . . Мы выбрались из ада.  
Мы раненых бросали под вражеским огнем.  
Враги нас окружили. . . Нам врезали что надо,  
На совесть был нокаут. . . И мы повинны в том.

*А хор наш отпелся. . . Чего уж там петь.  
И оркестр наш свое отыграл.  
Мне б лучше до таких дел помереть,  
Чем видеть, что я повидал.*

Противник понял сразу, что полк на грани срыва.  
Грозил нам ротный саблей. . . И впрямь он был неплох.  
Но кто-то крикнул: «Братцы! Бежим, куда живы!» —  
И мы побросали ружья на землю, о, мой бог!

В тот день погибло тридцать. . . И раненые были.  
Примерно двадцать пало, когда смешался строй.  
Бог мой, в той заварухе нас как баранов били,  
А мы всё отступали. . . И не ввязывались в бой.

Врага я в лицо не видел. Клинки звенели сзади.  
Ног под собой не чуя, не помню, как бежал.  
Когда донесся голос — и молил он о пощаде, —  
Его опознал я сразу. Он мне принадлежал.

Мы прятались в лачугах и в поле. . . Где сумели.  
Как зайцы разбежались мы по округе всей.  
Творца майор наш проклял за то, что жив доселе,  
Сломал полковник шпагу и зарыдал над ней.

Он прав. . . Наш полк давно ни к черту не годился.  
Да, сборище подонков напоминал наш полк.  
Мальчишка барабанщик. . . И тот от рук отбился.  
Но за ученье кровью пришлось платить нам долг.

Газеты правду скрыли. . . Но в армии-то знали,  
А нас верблюдов чистить определили в тыл.  
Британия за храбрость вручила нам медали.  
Понравилась вам песня? Я ничего не скрыл.

*А хор наш отпелся. . . Чего уж там петь.  
И оркестр наш свое отыграл.  
Мне б лучше до этаких дел помереть,  
Чем видеть, что я повидал.*

### ХОЛЕРНЫЙ ЛАГЕРЬ

Холера в лагере нашем, всех войн страшнее она,  
Мы мрем средь пустынь, как евреи в библейские времена.  
Она впереди, она позади, от нее никому не уйти. . .  
Врач полковой доложил, что вчера не стало еще десяти.

*Эй, лагерь свернуть — и в путь! Нас трубы торопят,  
Нас ливни топят. . .  
Лишь трупы надежно укрыты, и камни на них и кусты. . .  
Грохочет оркестр, чтоб унынье в нас побороть,  
Бормочет священник, чтоб нас пожалел господь,  
Господь. . .  
О боже! За что нам такое, мы пред тобою чисты.*

В августе хворь эта к нам пришла и с тех пор висит  
на хвосте,

Мы шагали бессонно, нас грузили в вагоны, но она  
настигала везде,  
Ибо умеет в любой эшелон забраться на полпути. . .  
И знает полковник, что завтра опять не хватит в строю  
десяти.

О бабах нам тошно думать, на выпивку нам плевать,  
И порох подмок, остается только думать и маршировать,  
А вслед по ночам шакалы завывают: «Вам не дойти,  
Спешите, ублюдки, не то до утра не станет еще десяти!»

Порядочки, те, что теперь у нас, насмешили б и обезьян:  
Лейтенант принимает роту, возглавляет полк капитан,  
Рядовой командует взводом. . . Да, по службе легко  
расти,  
Если служишь там, где вакансий ежедневно до десяти.

Иссох, поседел полковник, он мечется день и ночь  
Среди госпитальных коек, меж тех, кому не помочь.  
На свои он берет продукты, не боясь карман растрясти,  
Только проку пока не видно, что ни день — то нет десяти.

Пастор в черном бренчит на банджо, лезет с мулом прямо  
в ряды,  
Слыша песни его и шутки, надрывают все животы,  
Чтоб развлечь нас, он даже пляшет: «Ти-ра-ри-ра,  
Ра-ри-ра-ти!»  
Он достойный отец для мрущих ежедневно по десяти.

А католиков ублажает рыжекудрый отец Виктор,  
Он поет ирландские песни, ржет взахлеб и городит  
вздор. . .  
Эти двое в одной упряжке, им бы только воз довести. . .  
Так и катится колесница, — сутки прочь, и нет десяти.

Холера в лагере нашем, горяча она и сладка,  
Дома лучше кормили, но, сев за стол, нельзя не доесть  
куска,  
И сегодня мы все бесстрашны, ибо страху нас не спасти,  
Маршируем мы и теряем на день в среднем по десяти.

Эй! Лагерь свернуть — и в путь! Нас трубы торопят,  
Нас ливни топят. . .

Лишь трупы надежно укрыты, и камни на них и кусты. . .  
Те, кто с собою не справятся, могут заткнуться,  
Те, кому сдохнуть не нравится, могут живыми вернуться.  
Но раз уж когда-нибудь все равно ляжем и я, и ты,  
Так почему б не сегодня без споров и суеты.

*А ну, номер первый, заваливай стояки,  
Брезент собери, растяжек не позабудь,  
Веревки и колья — все вали во вьюки!  
Пора, о пора уже лагерь свернуть — и в путь. . .  
(Господи, помоги!)*

### «ДОМОЙ!»

Ни в пехоте, ни в коннице днем с огнем  
Не сыщешь таких, как он,  
Вот и в пекло он полез и, конечно, был убит, —  
Уж таков у смельчаков закон.

*А ну-ка прячь кисеты и — за мной!  
Приканчивай галеты и — за мной!  
Бой барабанный слушай!  
За мной, за мной домой!*

Жеребец его ржал и копытом бил,  
Аж по лагерю шел звон,  
И к овсу не подходил — все шагов знакомых ждал, —  
У коняг уж это как закон.

А девчонка замену ему нашла,  
Клюнув на блеск погон,  
И скрутила молодца — не ушел он от венца, —  
Уж таков у этих фей закон.

Помню, раз мы сцепились, попутал черт,  
А в боксе-то я силен,  
И себе я не прошу, что его измордовал,  
Но таков уж у мужчин закон.

Потерял я друга и, хоть в полку  
Отличных парней — вагон,

Все нашивки я б отдал, лишь бы вновь он рядом  
был, —  
Только, жаль, у смерти свой закон.

*А ну-ка прячь кисеты и — за мной!  
Приканчивай галеты и — за мной!  
Флейт перекличку слушай!  
За мной, за мной домой!*

*Гроб — на лафет! Он ушел в лихой поход.  
Гроб — на лафет! Пушка нехотя ползет.  
Гроб — на лафет! Все мы ляжем тут костями.  
Гроб — на лафет! И барабан — греми!*

*А ну-ка грянь «Знамена» и — за мной!  
«Три холостых патрона» и — за мной!  
Что из-за женщин хныкать,  
За мной, за мной домой!*

### ПЫЛЬ

*(Пехотные колонны)*

День-ночь-день-ночь — мы идем по Африке,  
День-ночь-день-ночь — все по той же Африке —  
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)  
Отпуска нет на войне!

Восемь-шесть-двенадцать-пять — двадцать миль на  
этот раз,  
Три-двенадцать-двадцать две — восемнадцать миль  
вчера —  
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)  
Отпуска нет на войне!

Брось-брось-брось-брось — видеть то, что впереди,  
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)  
Все-все-все-все — от нее сойдут с ума,  
И отпуска нет на войне!

Ты-ты-ты-ты — пробуй думать о другом,  
Бог-мой-дай-сил — обезуметь не совсем!

(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)  
Отпуска нет на войне!

Счет-счет-счет-счет — пулям в кушаке веди,  
Чуть-сон-взял-верх — задние тебя сомнут,  
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)  
Отпуска нет на войне!

Для-нас-все-вздор — голод, жажда, длинный путь,  
Но-нет-нет-нет — хуже, чем всегда одно, —  
Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог,  
И отпуска нет на войне!

Днем-все-мы-тут — и не так уж тяжело,  
Но-чуть-лег-мрак — снова только каблучки,  
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)  
Отпуска нет на войне!

Я-шел-сквозь-ад — шесть недель, и я клянусь,  
Там-нет-ни-тьмы — ни жаровен, ни чертей,  
Но-пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог,  
И отпуска нет на войне!

### ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Была как Гефсиманский сад  
Пикардия для нас.  
И провожал нас каждый взгляд  
На гибель каждый час.  
На гибель нас, на гибель нас —  
Хоть каждый выжить рад.  
И заползал под маски газ  
Там, где кончался сад.

Светился Гефсиманский сад  
Сияньем женских глаз.  
Но чаша близилась для нас —  
И меркнул женский взгляд.  
Да минет нас, да минет нас  
Она на этот раз.

Помилуй, Боже, упаси —  
И мимо пронеси.

Он не пронес, он не упас,  
Не спас любимых чад!  
Был в чаше смертоносный газ  
Там, где кончался сад.

### ПУТЬ СКВОЗЬ ЛЕС

Закрыли путь сквозь лес  
Семьдесят лет назад.  
Был размыт он потом осенним дождем,  
И ничей не заметит взгляд  
Пути, что прежде вел сквозь лес.  
Посаженные давно,  
С ольхою сплелись ветлы, и тис,  
И тонкие анемоны.  
Лесничим и то найти мудрено  
Там, где вяхирей гнезда гнут ветви к земле  
И где барсукам кататься вольно,  
Путь, что прежде вел сквозь лес.

Но если войти в разросшийся лес  
Летом, в поздний закатный час,  
Над прохладой вод там форель всплеснет,  
И бобры не боятся вас  
(Ведь теперь никто не идет сквозь лес),  
Послышится из ивняка  
Четкий стук подков из росистых лугов,  
И край платья шуршит слегка:  
Кто-то скачет издалека  
Одиноко во мгле,  
Словно знает наверняка  
Путь, что прежде вел сквозь лес...  
Но нет теперь пути сквозь лес.

### ШИВА И КУЗНЕЧИК

Море пенящий ветрами и дожди на пашню льющий,  
Восседали однажды Шива под палашею цветущей,

Всем живущим назначая меру тягостей и благ, —  
И царю на пышном троне, и бродяге из бродяг.

Славься, славься, премудрый Шива,  
Ты весь мир сотворил на диво:  
И коров, и траву, и луг,  
И колыбель материнских рук!

Дал богатым он ладдуку, бедным — постные лепешки,  
А просящим подаянье — корки черствые да крошки;  
Тиграм дал он дичь лесную, падаль — воинству ворон,  
А смердящие объедки злым шакалам отдал он.  
Доставалось полной мерой и властителям, и слугам;  
Рядом Парвати стояла, наблюдая за супругом,  
И задумала плутовка Шиву ловко провести:  
Хвать — и крохотный кузнечик у нее зажат в горсти!

Кто мог от Парвати ждать подвоха?  
Пленник ее уж такая кроха,  
Ладно бы лев или хоть шакал, —  
Шива пропажу и не искал!

Подождав конца дележки, начала она с ехидцей:  
«О всемилостивый Шива, не могло ли так случиться,  
Что о ком-то позабыл ты?» — «Нет, — смеясь, ответил  
он, —  
Ведь и тот, кого ты прячешь, вовсе мной не обделен».  
Овладело тут смятенье незадачливой злодейкой,  
Смотрит: крохотный кузнечик почкой лакомится клейкой.  
И в слезах она вскричала: «О добрейший из владык,  
Не постичь твоих деяний, ты воистину велик!»

Славься, славься, премудрый Шива,  
Ты весь мир сотворил на диво:  
И коров, и траву, и луг,  
И колыбель материнских рук!

### **ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ**

*Вот вам Джунглей Закон — и Он незыблем, как небосвод.  
Волк живет, покуда Его блюдет; Волк, нарушив Закон,  
умрет.*

*Как лиана сплетён, вьется Закон, в обе стороны*  
*Сила Стаи в том, что живет Волком, сила Волка —*  
*вырастая:*  
*родная Стая.*

Мойся от носа и до хвоста, пей с глуби, но не со дна.  
Помни, что ночь для охоты дана, не забывай: день для сна.

Оставь подбирать за Тигром шакалу и иже с ним.  
Волк чужого не ищет, Волк довольствуется своим!

Тигр, Пантера, Медведь — князья; с ними — мир на века!  
Не тревожь Слона, не дразни Кабана в зарослях  
тростника!

Ежели Стае твоей с чужой не разойтись никак,  
Не горячись, в драку не рвись — жди, как решит Вожак.

С Волком из стаи своей дерись в сторонке. А то пойдет:  
Ввяжется третий — и те, и эти, — и начался разбор.

В своем логове ты владыка — права ворваться нет  
У Чужака, даже у Вожака, — не смеет и сам Совет.

В своем логове ты владыка — если надежно оно.  
Если же нет, шлет известье Совет: жить в нем запрещено!

Если убьешь до полуночи, на всю чашу об этом не вой.  
Другой олень прошмыгнет, как тень, — чем насытится  
Волк другой?

Убивай для себя и семьи своей: если голоден, то — убей!  
Но не смей убивать, чтобы злобу унять, и — НЕ СМЕЙ  
УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ!

Если из лап у того, кто слаб, вырвешь законный кусок, —  
Право блюда — *малых щадя* — оставь и ему чуток.

Добыча Стаи во власти Стаи. Там ешь ее, где лежит.  
Насыться вволю, но стащишь долю — будешь за то убит.

Добыча Волка во власти Волка. Пускай, если хочешь,  
сгниет —  
Ведь без разрешенья из угощенья ни крохи никто  
не возьмет.

Есть обычай, согласно которому годовалых Волчат  
Каждый, кто сыт, подкормить спешит — пусть вдосталь  
они едят.

Право кормящей Волчицы — у одногодков своих  
Брать, ни разу не встретив отказа, долю добычи их.

Право женатого Волка — добычу искать одному.  
Подвластен Совету, он помнит про это, но больше уже —  
никому.

Вожак должен быть разумен, опытен и силен.  
Там, где Закон не оговорен, приказ Вожака — Закон.

*Вот вам Закон великий, звероликий Закон,  
Четвероногий — и многий, и многий, — Он должен быть  
СОБЛЮДЕН!*

### ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЬ ХАР ДИАЛА

Одна на крыше, я гляжу на север,  
Слежу зарниц вечернюю игру:  
То отблески твоих шагов на север.  
*Вернись, любимый, или я умру.*

Базар внизу безлюден и спокоен,  
Устало спят верблюды на ветру,  
И спят рабы — твоя добыча, воин.  
*Вернись, любимый, или я умру.*

Жена отца сварливей год от году,  
Гну спину днем, в ночи и поутру...  
Слезами запиваю хлеб невзгоды.  
*Вернись, любимый, или я умру.*

## НОРМАНН И САКС

Норманн, умирая, напутствовал сына:

«В наследство прими  
Феод, мне дарованный некогда Вильямом — земли  
с людьми —  
За доблесть при Гастингсе, полчища саксов повергшую  
в прах.  
Земля и народ недурны, но держи их покрепче в руках.

Здесь править не просто. Сакс — вовсе не то, что учтивый  
норманн.  
Возьмется твердить о правах, а глядишь, он то шутит, то  
пьян.  
Упрется, как бык под ярмом, и орет про нечестный дележ.  
Дай время ему отойти, ведь с такого немного возьмешь.

Гасконских стрелков, пикардийских копейщиков чаще  
секи,  
А саксов не вздумай: взъярятся, взбунтуются эти быки.  
Повадки у них таковы, что хоть князь, хоть последний  
бедняк  
Считает себя королем. Не внушай им, что это не так.

Настолько язык их узнай, чтобы каждый постигнуть  
намек.  
Толмач не поймет, чего просят; им часто самим невдомек,  
Чего они просят, а ты — сделай вид, что их просьбу  
постиг.  
Знай: даже охота не повод, чтоб бросить, не выслушав,  
их.

Они будут пьянствовать днем и стрелять твоих ланей  
во тьме,  
А ты не лови их, не трогай — ни в темном лесу, ни в  
корчме.  
Не мучай, не вешай на сучьях и рук у них не отрубай:  
Ручищи у них в самый раз, чтоб никто не оттяпал твой  
край.

С женой и детьми приходи к ним на свадьбы, поминки,  
пиры.  
Епископ их крут — будь с ним крут, а отцы приходские  
добры.

Тверди им о «нас» и о «нашем», когда угрожают враги.  
Поля не топчи, на людей не кричи и, смотри, им не лги!

### ЗАПОВЕДЬ

Владей собой среди толпы смятенной,  
Тебя клянущей за смятенье всех,  
Верь сам в себя, наперекор вселенной,  
И маловерным отпусти их грех;  
Пусть час не пробил, жди, не уставая,  
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;  
Умей прощать и не кажись, прощая,  
Великодушной и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,  
И мыслить, мысли не обожествив;  
Равно встречай успех и поруганье,  
Не забывая, что их голос лжив;  
Останься тих, когда твое же слово  
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,  
Когда вся жизнь разрушена, и снова  
Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде,  
На карту все, что накопил с трудом,  
Все проиграть и нищим стать, как прежде,  
И никогда не пожалеть о том,  
Умей принудить сердце, нервы, тело  
Тебе служить, когда в твоей груди  
Уже давно все пусто, все сгорело,  
И только Воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседуя с царями,  
Останься честен, говоря с толпой;  
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,  
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;  
Наполни смыслом каждое мгновенье,  
Часов и дней неумолимый бег, —  
Тогда весь мир ты примешь во владенье,  
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

## ПРОСЬБА

*По вкусу если труд был мой  
Кому-нибудь из вас,  
Пусть буду скрыт я темной,  
Что к вам придет в свой час,*

*И, память обо мне храня  
Один короткий миг,  
Расспрашивайте про меня  
Лишь у моих же книг.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

Восприятие Киплинга вне Англии никогда не было связано с каким-либо сочувствием к его идеологии. Во Франции, например, его воспринимали как «поэта демократии», певца человеческого достоинства и мужества, защитника тех, кому нет доступа в высшие слои общества. По словам Д. Мирского, «не был воспринят он как империалист и в России», где за его творчеством пристально следили начиная с 1890-х годов. Одним из первых с киплингеской новеллистикой познакомился Лев Толстой, который уже в 1892 году писал, что Киплинг «совсем слаб, растрепан, ищет оригинальности» (Полн. собр. соч. в 90-та т., т. 86, с. 138). «Фабрикация Киплинга» были для Толстого, отвергавшего все новшества в западной литературе, явлением того же ряда, что и романы Золя или пьесы Ибсена и Метерлинка. Однако большинство русских писателей (и среди них М. Горький, Л. И. Андреев, И. А. Бунин, А. И. Куприн) признало незаурядное литературное мастерство Киплинга, подвергнув при этом критике его реакционные взгляды. Так, М. Горький в первое десятилетие XX века отмечал, что Киплинг отделяет англичан от всего мира и поэтому его творчество лишено общечеловеческой отзывчивости, свойственной русской литературе. «Киплинг очень талантлив, — писал он, — но индусы не могут не признать вредной его проповедь империализма, и весьма многие англичане согласны в этом с ними» (Собр. соч. в 30-ти т., т. 24, с. 155).

Развернутую оценку Киплингу дал в своей широко известной статье в 1908 году А. И. Куприн. Киплинг, пишет, в частности, Куприн, «оригинален, как никто другой в современной литературе. Могущество средств, которыми он обладает в своем творчестве, прямо неисчерпаемо. Волшебная увлекательность фабулы, необычайная правдоподобность рассказа, поразительная наблюдательность, остроумие, блеск диалога, сцены гордого и простого героизма, точный стиль, или, вернее, десятки точных стилей, экзотичность тем, бездна знаний и опыта и многое, многое другое составляют художественные данные Киплинга, которыми он властвует с неслыханной силой над умом и воображением читателя.

И тем не менее на прекрасных произведениях Киплинга нет двух самых верных отпечатков гения — *вечности* и *всечеловечества*. В его рассказах... чувствуется не гений, родина которого мир, а Киплинг-англичанин, *только* англичанин, и притом англичанин наших дней. И как бы ни был читатель очарован этим волшебником, он видит

из-за его строчек настоящего культурного сына жестокой, алчной, купеческой, современной Англии, джингоиста, беспощадно травившего буров ради возвеличивания британского престижа во всех странах и морях, «над которыми никогда не заходит солнце»; поэта, вдохновлявшего английских наемных солдат на грабеж, кровопролитие и насилие своими патриотическими песнями. Кровь так и хлещет во всех произведениях Киплинга, но что значат несколько тысяч человеческих жизней, если ими покупается величие и мощь гордой Англии? И — повторяю — только узость идеалов Киплинга, стесненных слепым национализмом, мешает признать его гениальным писателем» (Собр. соч. в 6-ти т., т. 6, с. 608—609).

Именно высказывания М. Горького и статья А. И. Куприна положили начало устойчивой в русской и советской критике традиции отделять Киплинга — «самого яркого представителя той Англии, которая железными руками опоясала весь земной шар», от Киплинга — «великого мастера». И если националистические убеждения Киплинга не могли встретить в нашей стране сколько-нибудь доброжелательного отклика, то его писательский дар нашел здесь множество почитателей. Еще в 1910-е годы его поэзией увлекались многие из «преодолевших символизм»; переводы его новелл и сказок печатались в десятках журналов, выходили отдельными книгами; начало издаваться двадцатитомное собрание его сочинений.

Однако подлинно художественное воссоздание наиболее ценного в наследии Киплинга на русском языке началось только в советское время, когда стилистические новации Киплинга оказались созвучными жанровым и языковым поискам литературы 1920-х годов. Влияние, говоря словами Ю. Н. Тынянова, «может совершиться тогда и в таком направлении, когда и в каком направлении для этого имеются литературные условия», и не случайно, конечно, что создателями русского киплинговского поэтического канона стали такие тесно связанные с постсимволизмом поэты-переводчики, как М. Лозинский, его ученица по студии при петроградском Доме искусств А. Оношкович-Яцына и Е. Полонская, входившая в литературную группу «Серапионовы братья».

Итогом плодотворного труда первого поколения советских переводчиков Киплинга явились два авторитетных сборника его рассказов и избранных стихов, изданные в 1936 году.

В конце 1930-х — начале 1940-х годов к творчеству Киплинга обратились С. Маршак, К. Симонов, Е. Долматовский и другие советские поэты и переводчики.

Интерес к творчеству Киплинга не ослабевает и в наши дни. Свидетельством этому могут служить многочисленные переводы его стихотворений, десятки изданий его сказок (в переводе К. Чуковского), а также выпущенные в последние десятилетия сборники (К и п-

линг Р. Лиспет. Рассказы. Л., 1968; Уайльд О. Стихотворения... Киплинг Р. Стихотворения. Рассказы. М., 1976. Библиотека всемирной литературы, серия вторая, т. 118).

В настоящее издание наряду с ранее публиковавшимися на русском языке произведениями Киплинга включены также и некоторые до сих пор неизвестные советскому читателю рассказы и стихи.

## СВЕТ ПОГАС

Первая, более короткая редакция романа, со «счастливым концом», была впервые опубликована отдельным изданием в США в ноябре 1890 года, а затем, в январе 1891 года, перепечатана в англо-американском ежемесячном журнале «Липпинкотс Мансли мэгэзин» (подробнее об этом см. вступит. статью). В марте 1891 года в английском издательстве Макмиллана вышла вторая редакция романа, которой было предпослано авторское уведомление о ее соответствии авторскому замыслу. Впоследствии писатель разрешал издавать лишь второй вариант романа, перевод которого, выполненный по исправленному, каноническому изданию 1899 года, и включен в эту книгу.

Роман «Свет погас» пользовался большим успехом у читателей, хотя критика встретила его довольно прохладно. По замечанию известного критика Дж. Барри, в романе выявился основной недостаток Киплинга — «слабое знание жизни». Позднее сам Киплинг признавался, что ему не удалось как следует «выстроить повествование», а в своих мемуарах он называет роман «искаженной версией „Манон Леско“».

«Свет погас» неоднократно инсценировался и экранизировался в Великобритании и США. Впервые на русском языке роман был опубликован в 1892 году одновременно в журналах «Вестник иностранной литературы» и «Русское богатство». Существует еще несколько переводов романа. Последнее издание — в 1937 году (перевод М. А. Энгельгардта).

Стр. 29. *Сидели мы, когда шторм миновал...* — Все стихотворные эпиграфы и вставки в тексте, кроме особо оговоренных случаев, были написаны самим Киплингом специально для романа.

Стр. 33. *...до самого Мэрейзонского бакена...* — Мэрейзон — городок в графстве Корнуол, на южном побережье Англии, где происходит действие первой главы романа.

Стр. 39. *Геенна огненная* — ад; название происходит от Гееннской долины, где древние иудеи приносили своих детей в жертву идолу Молоху.

Стр. 40. *Кандахар* — город на юге Афганистана. В войне 1878—1880 годов был захвачен англичанами.

Стр. 41. *...некий Гордон сражался не на жизнь, а на смерть, отстаивая город, который назывался Хартум.* — Здесь, как и во всей главе, речь идет о боях между суданскими повстанцами и англо-египетскими войсками в 1884—1885 годах. Английский генерал Чарльз Джордж Гордон (1833—1885) был послан в столицу Судана Хартум, чтобы возглавить борьбу с освободительным движением. Весной 1884 года Хартум окружили повстанческие отряды; осада города продолжалась 10 месяцев; вышедшая на выручку к Гордону английская армия генерала Уолзи в ноябре 1884 года начала наступление на Хартум, но не успела пробить окружение. 26 января 1885 года повстанцы штурмом взяли столицу Судана, и Гордон был убит.

Стр. 42. *Асьют и Асуан* — города на реке Нил в Египте.

*Суакин* — суданский город на берегу Красного моря, опорный пункт английских войск во время англо-суданской кампании.

*...ворвались в Каир в 1882 году, когда Араби-паша провозгласил себя королем.* ... — Имеется в виду оккупация Египта английскими войсками для подавления национально-освободительного движения, во главе которого стоял полковник Ахмед Араби, известный за пределами Египта как Араби-паша. На следующий день после того, как 13 сентября 1882 года египетская армия потерпела сокрушительное поражение близ деревни Телль-аль-Кебир, каирский гарнизон во главе с Араби без боя сдался английской кавалерии.

Стр. 43. *Англо-египетская война* — происходила в июле — сентябре 1882 года и закончилась полной военной и политической победой английских колонизаторов (см. предыдущее примеч.).

*Хакодате* — порт в Японии.

Стр. 44. *Бербера* — малийский город на берегу Аденского залива.

*Таджуррский залив* — африканская часть Аденского залива.

*...в духе Верещагина.* ... — Речь идет об известном русском художнике-баталисте В. В. Верещагине (1842—1904).

Стр. 46. *Филы* — остров на Ниле близ Асуана, знаменитый своими древними сооружениями.

*«Эвриал»* — название военного корабля.

Стр. 47. *Махдисты.* — Имеются в виду участники народного освободительного восстания в Судане (1881—1885), которых называли махдистами, поскольку их вождь Мухаммед Ахмед (1843—1885) провозгласил себя «махди», то есть мусульманским мессией.

Стр. 51. *К берегам Испании снова уплыть.* ... — В качестве эпиграфа здесь использована последняя строфа стихотворения американского поэта Г. У. Лонгфелло (1807—1882) «Голландская картина» из сборника «Перелетные птицы» (1880).

...бороду там королю подпалить... — Это выражение обычно приписывается знаменитому английскому пирату Фрэнсису Дрейку (1545—1596), который якобы так отозвался о своем набеге на испанский порт Кадикс.

Хаэн — город на юге Испании.

Горькие озера. — Речь идет о большом и малом Горьких озерах, которые находятся в Египте и соединяются между собой Суэцким каналом.

Стр. 52. ...без меры и благоразумья... — цитата из последней сцены трагедии Шекспира «Отелло» (V, 2, 343).

...теперь предстоит выстоять иль пасть... — реминисценция из поэмы Дж. Милтона «Потерянный рай» (V, 538).

Стр. 58. Союз Молодых Христиан (УМСА) — массовая молодежная организация в США (основана в 1844 году), требующая от своих членов неукоснительного соблюдения в быту строгих пуританских норм поведения.

Стр. 60. Эснех — город в Верхнем Египте.

Стр. 62. Я сам не знал, что работа моя так прекрасна... — парафраза строки из стихотворения американского философа и поэта Р. У. Эмерсона (1803—1882) «Задача», где речь идет о Микеланджело и построенном им куполе собора святого Петра в Риме.

...мы оберем египтян до нитки. — Здесь обыгрывается выражение «оберечь египтян», которое восходит к библейскому преданию об исходе евреев из Египта (Исход, III, 22 и XII, 36).

Сеони — город в Центральной Индии.

Тощие годы позади, теперь наступили тучные. — Намек на библейское сказание о вешем сне египетского фараона («семь коров, хороших видом и тучных плотью» и «семь коров других, худых видом и тощих плотью»; «семь колосьев тучных и хороших» и «семь колосьев тощих»), который был истолкован Иосифом как предзнаменование семи изобильных и семи голодных лет для земли Египетской. (Бытие, XLI, 1—31).

Стр. 65. Эль-Магриб — одно из названий Марокко.

Стр. 66. ...среди тех, кто женщиной рожден... — реминисценция из шекспировского «Макбета»: «Макбет для тех, кто женщиной рожден, неуязвим...» (V, 1, 80—81; русский перевод Ю. Корнеева).

Стр. 69. Беркут, Боевой Орел Могучий — прозвище, заимствованное из поэмы Г. У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате», где в Боевого Орла превращается хитроумный противник Гайаваты По-Пок-Кивис.

...второй Деталь и третий Месонье. — Жан-Луи-Эрнест Месонье (1815—1891) и его ученик Жан-Батист-Эдуард Деталь (1848—1912) — французские художники-баталисты академического направления.

Стр. 72. *Парк* — имеется в виду знаменитый лондонский Гайд-Парк.

*Сент-Джонс Вуд* — район Лондона.

Стр. 74. «*Несть ни раба, ни вольноотпущенника*». — Герой Киплинга, очевидно, ссылается на послание к Колоссянам святого апостола Павла (III, 11).

Стр. 75. *Тайн и Тилл* — реки на севере и северо-востоке Англии.

Стр. 76. «*Не делай другим того, чего сам себе не желаешь*». — Стандартная бытовая перефразировка слов Иисуса Христа: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. . .» (Матф., VII, 12; Лука, VI, 31).

Стр. 78. *Салон* — ежегодная парадная выставка художников академической школы в Париже; в конце прошлого века — символ консерватизма и буржуазной респектабельности в искусстве.

Стр. 85. *Кто это сказал, что все мы — живые островки. . .* — Скорее всего, Киплинг выдает здесь свое суждение за чужое, хотя не исключено, что он отталкивается от сравнения человека с островом в романе английского писателя В. М. Теккеря «Пенденнис», где один из героев говорит другому: «Мы с тобой всего лишь часть бесконечного множества одиночеств, а вокруг нас — такие же островки, одни дальше, другие ближе» (гл. 16). И у Теккеря, и у Киплинга очевидна полемика с известным изречением великого английского поэта XVII века Джона Донна: «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе».

Стр. 92. . . *нет увольнительных в эту войну*. — В оригинале цитата из Библии — «нет избавления в этой борьбе» (Екклесиаст, VIII, 8). Русский перевод передает лишь второй, «армейский», смысл этого изречения, которое Киплинг позднее использовал как рефрен в своей знаменитой балладе «Пыль» (русский перевод: «Отпуска нет на войне»).

Стр. 107. «*Закрываю глазки я*» — первый стих детской вечерней молитвы.

Стр. 114. *Ливерпульский вокзал, Блэкфрайрский мост* — находятся в Лондоне.

Стр. 117. *Слушайся моих слов и не обращай внимания на мои поступки*. — Перефразировка известного афоризма английского юриста Джона Селдена (1584—1654), со временем вошедшего в поговорку.

Стр. 119. *Было два у Гайаваты. . .* — В качестве эпитафии взяты строки из шестой главы «Песни о Гайавате» Г. У. Лонгфелло.

Стр. 120. *Ягнят продаю, продаю ягнят. . .* — отрывок из песни уличного лондонского разносчика.

*Аполлон далеко не всегда натягивает тетиву своего лука. . .* —

переложение стихов Горация: «*Neque semper arcum tendit Apollo*» (Оды, II, X, 19).

Стр. 123. *Фиксатив* — закрепитель для рисунков углем.

Стр. 124. *...были бы для Блейка*. — Имеется в виду великий английский поэт и художник У. Блейк (1757—1827); многие гравюры Блейка выдержаны в розовых тонах.

Стр. 125. *Памятник Нельсону* — колонна, установленная в Лондоне на Трафальгарской площади, названной так в честь последнего сражения английского адмирала Г. Нельсона (1758—1805).

Стр. 127. *Окленд* — главный морской порт Новой Зеландии.

Стр. 128. *Острова Дружбы* — архипелаг на юге Тихого Океана.

*Две строчки из стихотворения По*. — Герой романа немного неточно цитирует не две, а четыре строки из знаменитого стихотворения американского поэта и новеллиста Эдгара По (1809—1849) «Аннабел Ли».

Стр. 130. *Кенсел Грин* — кладбище, расположенное в одноименном пригороде Лондона.

Стр. 131. *Простите-прощайте, испанские девы*... — старинная морская баллада. Во время первой мировой войны Киплинг переделал ее в патриотическую песню.

*Уэссан* — остров у северного побережья Франции при выходе из Ла-Манша.

*Силли* — острова у полуострова Корнуол.

Стр. 136. *Ричмонд-Хилл* — район Лондона.

Стр. 137. *Нет пророка в своем отечестве*... — изречение Иисуса Христа, которое в разных вариантах приведено во всех четырех Евангелиях (Матф. XIII, 57; Лука IV, 24; Марк VI, 4; Иоанн IV, 44).

*...в арьергарде бригады Бредова*... — здесь и далее речь идет о крупном сражении близ эльзасской деревни Вионвиль в ходе франко-прусской войны 1870 года. Командир 12-й бригады 5-й дивизии прусской армии генерал Адальберт фон Бредов (1814—1890) в критический момент провел отчаянную кавалеристскую атаку на позиции VI французского корпуса, которым командовал маршал Франсуа Канробер (1809—1895), прорвал линию обороны противника и, несмотря на огромные потери, с боем пробился обратно. Эта атака, во многом предрешившая исход сражения в пользу прусской армии, вошла в историю под названием «Смертельная скачка».

Стр. 139. *Так хочу, так повелеваю*... — неточная цитата из «Сатир» Ювенала (VI, 223).

*«Ноктюрн для Джулии»* — лирическое стихотворение английского поэта Роберта Геррика (1591—1674).

Стр. 141. *«Град беспросветной ночи»* (в других переводах — «Город страшной ночи») — поэма английского поэта-романтика Джейм-

са Томсона (1834—1882), которая произвела сильнейшее впечатление на молодого Киплинга. Один из его ранних рассказов (1885) и сборник очерков из индийской жизни (1890) названы так же, как и эта поэма Томсона.

*Образ Меланхолии*. . . — В цитируемом отрывке из поэмы «Град беспросветной ночи» Томсон создает поэтический эквивалент знаменитой гравюры великого немецкого художника Альбрехта Дюрера (1471—1528) «Меланхолия».

*Уж три столетия и шесть десятков лет*. . . — Поэма Томсона вышла в свет в 1874 году, то есть ровно через 360 лет после гравюры Дюрера.

Стр. 143. *Древнее проклятье, которое легло на Рувима*. . . — По библейскому преданию, Иаков лишил своего старшего сына Рувима права первенства, сказав ему: «. . . ты бушевал, как вода, — не будешь преуспевать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою. . .» (Бытие, XLIX, 4).

Стр. 144. *«Меланхолия, непостижимая для ума»*. — Цитата из поэмы Томсона (см. примеч. к стр. 141).

Стр. 153. *Святой Антоний* (251—355) — легендарный христианский отшельник, основатель монашества. Двадцать лет прожил в уединении, не поддавшись ни одному из множества искушений, которыми испытывали его веру.

*Скарборо* — морской курорт на востоке Англии.

*Мыс Прол* — находится на полуострове Корнуол.

*Иезавель* — жена израильского царя Ахава, введшая поклонение Ваалу у древних евреев и жестоко преследовавшая пророков. (Третья кн. царств, XVII—XXI). Ее имя стало нарицательным для обозначения распутной, жестокой женщины (Откр. святого Иоанна, II, 20—23).

Стр. 155. *Возрадовалась истинно Мария*. . . — Киплинг цитирует третью строфу известного рождественского гимна англиканской церкви.

Стр. 158. . . *что сделал Моисей, когда свет потух?* — распространенная шуточная загадка, требующая ответа: «Зажег спичку».

*«Будь вдоволь времени, тогда. . .»* — Герой романа контаминирует две строфы хрестоматийного стихотворения английского поэта Эндрю Марвелла (1621—1678) «Его стыдливой возлюбленной».

Стр. 159. *Услышит зов, душой узнает друга*. . . — строки из поэмы «Град беспросветной ночи» (см. примеч. к стр. 141).

Стр. 169. *Для всякого дня довольно слепоты*. . . — перефразировка евангельского изречения: «Довольно для каждого дня своей заботы» (Матф., VI, 34).

Стр. 170. *Это одна из десяти казней египетских*. . . — каламбур, обыгрывающий библейскую легенду о десяти наказаниях, которые

бог наслал на Землю Египетскую, когда фараон отказался отпустить евреев из страны. (Исход, VII—XIII).

Стр. 171. *...заповедь, которая велит не судить других.* — Имеются в виду слова из Нагорной проповеди: «Не судите, да не судимы будете». (Матф., VII, 1).

Стр. 174. *Миссис Гаммидж* — персонаж из романа Ч. Диккенса «Давид Копперфильд», слабая, плаксивая женщина, постоянно жалующаяся на свою судьбу.

*Омдурман* — город в Судане, недалеко от Хартума. С 1885 года был столицей независимого махдистского государства.

Стр. 176. *Безьер* — город на юге Франции.

*Ланды* — департамент на юге Франции.

Стр. 179. *...воевать будут в Судане...* — Здесь и далее Киплинг допускает явный хронологический сдвиг. Военные операции англичан в Судане возобновились лишь в 1889 году, тогда как действие заключительных глав романа, судя по указаниям в тексте, происходит не позднее 1887 года.

Стр. 180. *...Аргалширо-Сэзерлендски королевски карабинери...* — корреспондент-итальянец комически контаминирует названия двух шотландских графств, что вызывает хохот слушателей.

*Пламстедские болота* — местность вблизи английского города Эрит (графство Кент), где были расположены крупные пороховые и оружейные склады.

*Гиза* — город в Египте, на берегу Нила.

Стр. 198. *Бриндизи* — портовый город на адриатическом побережье Италии.

Стр. 219. *«Других спасал, а себя самого не может спасти».* — Так насмеялись над распятым Христом «первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями» (Матф., XXVII, 42).

Стр. 220. *Бакишиш* (перс.) — чайные, взятка, подарок за услуги.

*Тилбери* — форт в устье Темзы.

*Галлеонская пристань* — причал в лондонских доках.

Стр. 225. *С душой, исполненной неистовых борений...* — В эпиграфе приводится последняя строфа стихотворения неизвестного автора начала XVII века.

*Скорей на борт, и девушка...* [моя]... — перефразированная и редуцированная реплика из пьесы английского драматурга Д. Б. Джонстона (1803—1891) «Цыган-крестьянин», ставшая на время крылатой фразой в Англии.

Стр. 227. *Левант* — страны Восточного Средиземноморья.

Стр. 232. *Помощник суперинтенданта* — должность начальника службы военных священников армии.

Стр. 234. *Уайтчепел* — рабочий район Лондона.

*Кью, Эктон* — пригороды Лондона.

*Илинг* — район Лондона.

Стр. 240. *Когда Израиль, избран богом...* — цитата из стихотворения Вальтера Скотта, которое вошло в текст романа «Айвенго» (гл. 39).

Стр. 241. *...сейчас начнется битва, мама...* — строка из солдатской песни.

## РАССКАЗЫ

История публикаций рассказов Киплинга крайне запутана. Писатель часто печатал их в различных газетах и журналах, а затем переносил из одного сборника в другой, иногда меняя эпиграфы и даже названия. Кроме того, следует учесть, что прозаические сборники Киплинга выходили почти одновременно в нескольких издательствах — в Индии, в Великобритании, в США, причем их состав не всегда оставался неизменным. Проблема осложняется еще и существованием многочисленных «пиратских» изданий киплинговских рассказов, составители которых произвольно соединяли воедино произведения из разных циклов и книг.

Для настоящего издания отобраны новеллы из следующих канонических сборников Киплинга: «Простые рассказы с гор» (1888), «Три солдата» (1888), «Под деодарами» (1888), «Жизнь дает фору» (1891), «Много выдумок» (1893), «Первая книга джунглей» (1894), «Вторая книга джунглей» (1895), «Пути и открытия» (1904), «Дебет и кредит» (1926). Некоторые рассказы впервые публикуются на русском языке.

## БЕЗУМИЕ РЯДОВОГО ОРТЕРИСА

Рассказ впервые опубликован в сборнике «Простые рассказы с гор», впоследствии включен в сборник «Три солдата». Входит в цикл солдатских новелл Киплинга, главные герои которых — рядовые английских войск в Индии Малвени, Лиройд и Ортерис.

Стр. 244. *...два пропавших томми...* — Имеется в виду распространенное прозвище английских солдат: Томми Аткинс.

Стр. 245—247. *Тоттнем-Корт-роуд, Хэммерсмит Хай, Стрэнд* — названия лондонских улиц.

*Ана* — мелкая монета,  $\frac{1}{16}$  рупии (в старом исчислении).

*Субалтерн* — младший офицер в британской армии.

Стр. 246. *...с ярлыком Басса...* — Басс — фирма, производившая пиво и эль.

Стр. 247. *Иравади* — главная река Бирмы. Во время войны 1885—1886 годов английские войска поднялись вверх по Иравади, заняли столицу Бирмы Мандалай, и страна была объявлена частью Британской империи.

...в тот раз при *Ахмед-Кхеле*. — Имеется в виду одно из сражений второй англо-афганской войны (1878—1881).

...когда город *Лангангпен* брали... — Киплинг отсылает читателя к другому своему рассказу этого же цикла — «Взятие Лангангпена», действие которого происходит во время англо-бирманской войны.

*Патаны* — индийские горцы афганского происхождения.

*Воксхол-бридж* — мост в Лондоне.

*Боксхилл* — гора близ живописного английского городка Доркинга.

*Темпл* — здание в квартале лондонских юридических корпораций, построенное на месте, где в XII—XIV веках жили рыцари-тамплиеры.

*Серпентайн* (Серпентин) — пруд в лондонском Гайд-Парке.

*Вдова*... — широко распространенное прозвище английской королевы Виктории (1837—1901), овдовевшей в 1861 году.

Стр. 248. *Равалпинди* — город и округ в Пенджабе, области в северо-западной части Индогангской долины, где происходит действие большинства киплингских рассказов на индийские темы.

## ДОЧЬ ПОЛКА

Рассказ впервые опубликован 11 мая 1887 года в лахорской газете «Сивил энд милитари газет», сотрудником которой Киплинг состоял с 1882 по 1887 год. Затем включен в сборник «Три солдата».

Стр. 251. *Олдершот* — небольшой город в 35 милях от Лондона, известный как военный центр, вокруг которого располагалось множество армейских лагерей.

*Джханси* — название города-крепости в Центральной Индии. Во время народного восстания 1857 года солдаты местного гарнизона убили здесь всех европейцев, находившихся в городе.

Стр. 252. *Портарлингтон* — городок в Ирландии, в 44 милях от Дублина.

*Колаба* — район в Бомбее, занятый казармами и военными учреждениями.

*Муттра* (правильно — Матхура) — город и округ в Северо-Западной Индии.

Стр. 253. *Святой Лаврентий* — раннехристианский мученик, который, как гласит легенда, в ответ на требование римского императора Валериана выдать сокровища церкви, привел к нему толпу бедняков и калек.

*Лудхиана* — город и округ в Пенджабе.

Стр. 255. *Вечный Жид* (или Агасфер) — согласно средневековой легенде, грешник, осужденный скитаться по земле до дня Страшного суда в наказание за то, что он насмеялся над Христом во время его пути на Голгофу.

### ПОПРАВКА ТОДСА

Впервые рассказ появился в номере «Сивил энд милитари газет» от 16 апреля 1887 года. Вошел в сборник «Простые рассказы с гор».

Стр. 256. *...Тодса знала вся Симла...* — Индийский курортный город Симла (ныне административный центр штата Химачал-Прадеш), расположенный в предгорьях Гималаев, с 1864 года был официальной летней резиденцией вице-короля Индии и ее правительства.

*Законодательный Совет*. — Решением английского парламента в 1861 году при вице-короле Индии были учреждены два Совета — Исполнительный и Законодательный. Законодательный Совет, более представительный по своему составу, занимался разработкой законов, которые утверждались вице-королем.

Стр. 257. *Буалоганджская дорога* — улица в Симле.

*Красный улан* — прозвище одного из полков англо-индийской армии.

*Советник по правовым вопросам* — пост, который занимал один из членов Исполнительного Совета при вице-короле Индии.

*Масури* — горный курорт в Гималаях, недалеко от Симлы.

Стр. 258. *Буалогандж, Малая Симла* — пригороды Симлы (Большой Симлы), расположенные, соответственно, к западу и к востоку от центра города.

*Пенджабский земельный билль* — закон о землепользовании на территории Пенджаба. Принят в 1889 году.

Стр. 259. *Наги* — этническая группа, населяющая крайнюю северо-восточную оконечность Индии.

*Туземный член Совета* — один из местных представителей в Законодательном Совете при вице-короле Индии.

*Чэринг Кросс* — вокзал и прилегающий к нему район в центре Лондона.

*В Калькутте он заявил...* — Главный город Бенгалии Калькутта до 1911 года был столицей Индийской империи и зимней резиденцией вице-короля.

## ХРАНИТЬ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Впервые — в сборнике «Простые рассказы с гор».

Стр. 263. Герой цитирует начало стихотворения английского поэта и художника Данте Габриела Россетти (1828—1882) «Песнь молодой девы»:

Свет ли в окне твоём, дева молодая,  
Ночь ли простерла покров темноты?  
Денно и ночью томлюсь и страдаю —  
Ждешь ли, страдаешь, томишься ли ты?

Стр. 264. *Логгерхед*, «Месопотамия», конюшни *Симондса* — реалии, связанные с Оксфордским университетом.

*Овидий в изгнании*. . . — Римский поэт Публий Овидий Назон (43 до н. э. — 17 н. э.) в конце 8 г. н. э. был сослан императором Августом в город Томы на побережье Черного моря.

Стр. 266. *Славя троицу, сок я пью*. . . — цитата из стихотворения английского поэта Роберта Браунинга (1812—1889) «Монолог в испанском монастыре» из сборника «Драматическая лирика» (1842).

. . . *Арианин чашу свою*. . . — Имеется в виду арианство, то есть направление в христианстве, связанное с учением о троице александрийского пресвитера Ария (ум. 336), который доказывал, что бог-сын не равен богу-отцу, ибо создан им во времени. Арианство было осуждено как ересь на Никейском (325) и Константинопольском (381) соборах.

*Джаландхар* — город и округ в Пенджабе.

Стр. 267. «Аталанта в Калидоне» — поэма английского поэта А. Суинберна (1837—1909).

Стр. 268. . . *пикеринговский Гораций*. . . — речь идет о книге Горация, выпущенной английским издателем Уильямом Пикерингом (1796—1854).

. . . *памятник, прочнее бронзы*. . . — Герой Киплинга цитирует знаменитый стих, открывающий оду Горация: «*Exegi monumentum aere perennius*» («Я воздвиг памятник прочнее бронзы»; Оды, III, 30, I).

*Стрикленд* — главный герой целого ряда ранних рассказов Киплинга, хитроумный сыщик и блестящий знаток индийских обычаев.

*Факир* — нищий, аскет, отшельник у мусульман.

Стр. 269. «*Матушка Матурин*» — так, по замыслу Киплинга, должны были называться его записки о жизни в Индии, оставшиеся незавершенными.

Стр. 271. . . «*плащ гиганта*». . . — реминисценция из шекспировского «Макбета»: «Чувствует он ныне, что сан повис на нем, как плащ гиганта на вороватом карлике» (V, 2, пер. Ю. Корнеева).

## И ВЫРЫЛИ ЯМУ

Впервые — в газете «Сент Джеймс Газет» 14 декабря 1889 года. Затем печатался в сборнике «Под деодарами».

Стр. 272. ...*Святой Голгофы-ин-Партибус* (St. Golgotha-in-Partibus)... — In Partibus (лат. сокр. от in-partibus infidelium — «в странах языческих») — добавление к титулу священнослужителя или к названию католического учреждения в нехристианских странах.

## БЕЗ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЦЕРКВИ

Впервые — в июньском номере журнала «Макмилланз мэгэзин» в 1890 году. Затем вошел в сборник «Жизнь дает фору».

Стр. 276. *Лакхнау* — крупный город в Индии, до середины XIX века столица княжества Аудх.

Стр. 282. *Игра в пул* — разновидность бильярда с разноцветными шарами.

Стр. 286. *Биби Мириам* — имеется в виду Дева Мария, которая в мусульманской традиции почитается как мать пророка Исы, то есть Иисуса Христа (Коран, 19).

Стр. 288. *Сулейман* и *Афлатун* — арабская форма имен царя Соломона и философа Платона.

Стр. 291. *Ситар* — струнный музыкальный инструмент.

*Раджа Расалу* — герой позднего пенджабского фольклора.

Стр. 292. *Нижний Тутинг* — избирательный округ в Лондоне.

Стр. 296. ...*выли гигантские раковины*. ... — В индуистских храмах раковины — один из культовых музыкальных инструментов.

## КОНЕЦ ПУТИ

Впервые рассказ появился в августовском номере журнала «Липпинкотс Мансли мэгэзин» в 1890 году, а затем печатался в сборнике «Жизнь дает фору».

Стр. 300. ...*право на «жизнь, свободу и стремление к счастью»*. ... — Здесь иронически обыгрывается формулировка из американской Декларации независимости (1776).

Стр. 301. *Гандхарская железнодорожная линия* — получила свое название от Гандхарских гор в Пенджабе.

Стр. 304. *Джубел* — одно из небольших индийских княжеств в Пенджабе.

*Патан*. — См. примеч. к стр. 247.

Стр. 305. *Офтальмия* — воспаление глаз, вызванное воздействием яркого света.

Стр. 306. *Будь я самым разнесчастливым Иовом...* — Имеется в виду библейское сказание о Иове, благочестивом человеке, которого бог подверг самым страшным несчастьям, чтобы испытать его веру.

Стр. 307. *Мухур* — золотая монета достоинством в 15 индийских рупий.

Стр. 308. *«Вечерний гимн»* — одно из наиболее распространенных песнопений в англиканской церкви.

Стр. 309. *Тапиока* — крупа из крахмала, которую получают из клубней тропического растения маниока.

Стр. 310. *Молодец, Давид!* — В таком случае присматривайте за Саулом... — намек на библейское предание об израильском царе Сауле и его оруженосце Давиде, впоследствии преемнике Саула. Когда Саула «возмущал злой дух», Давид играл ему на гуслях — «и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (Первая кн. царств, XVI, 14—23).

Стр. 311. *...именем самого Иблиса...* — У мусульман Иблис — одно из имен дьявола.

### «БАБЬЯ ПОГИБЕЛЬ»

Впервые — в сборнике «Много выдумок».

Стр. 323. *Андаманские острова* — архипелаг в восточной части Бенгальского залива. Английские колониальные власти ссылали туда лиц, совершивших тяжелые преступления и приговоренных к пожизненному заключению.

Стр. 326. *Марри* — город в Пенджабе, севернее Равалпинди.

Стр. 327. *Патиала* — город, столица одноименного округа в Пенджабе.

*Тиронский полк* — воинское подразделение, в состав которого входили преимущественно ирландцы.

Стр. 329. *Пинди*. — Имеется в виду город Равалпинди. *...я вам рассказывал про стычку в Театре Сильвера?* — О жестоком сражении в узком ущелье, которое английские солдаты называли «Театром Сильвера», повествует рассказ Киплинга «В карауле». (См.: Р. Киплинг. Лиспет, с. 145—158).

Стр. 339. *Хайберский перевал* — горный проход на дороге, соединяющей столицу Афганистана Кабул и индийский пограничный город Пешавар, административный центр северо-западных пограничных провинций (во времена Киплинга).

*Джамруд* — форт у границы Индии с Афганистаном.

## БЕЛЫЙ КОТИК

Впервые рассказ опубликован в журнале «Нэшнл Ревью» в августе 1893 года. Затем он вошел в «Первую книгу джунглей», а впоследствии иногда печатался в составе «Второй книги джунглей».

Поскольку действие рассказа происходит на территории, исторически связанной с Россией, Киплинг использовал здесь тот же прием, что и в рассказах индийского цикла, вводя в текст многочисленные русские элементы, иногда в шутивно англизированной форме: имена и названия животных (Секач, Матка, Котик, Сивуч, холостяки), рыб и птиц (палтус, говорушки, ипатки), имена и фамилии алеутов (Кирьяк и Пантелеймон Бутерины, Захаров) и, наконец, понравившиеся ему словечки и разговорные выражения, тут же объясняя их (в переводе они выделены курсивом).

Стр. 345. *Остров Святого Павла* входит в группу островов Прибылова в Беринговом море (Аляска, США), которые до 1867 года принадлежали России. Далее Киплинг упоминает названия отдельных частей острова — Луканнон и бухту Нововосточную (второе название дается в русской форме).

Стр. 346. *Котик* морской (*Callorhinus ursinus*) — морское млекопитающее семейства ушастых тюленей. Крупнейшие сезонные лежбища котиков расположены на Командорских островах и острове Тюленьем (СССР) и на островах Прибылова.

*Гутчинсон* — владелец акционерной компании, арендовавшей у России Командорские острова с 1871 по 1890 год и занимавшейся на них котиковым промыслом.

Стр. 351. *Остров Хуан-Фернандес* входит в состав одноименного архипелага у западного побережья Южной Америки.

Стр. 353. *Дом Вебстера* — по-видимому, зимовье, названное именем английского судьи Ричарда Эверарда Вебстера (1842—1915), который участвовал в арбитраже по вопросам, связанным с Беринговым морем.

Стр. 355. *Сивуч* (*Eumetopias jubatus*) — крупное (весом до тонны) морское млекопитающее семейства ушастых тюленей; обитает в северной части Тихого океана.

Стр. 356. *Морская Корова*, или стеллерова корова (*Rhytina Stelleri*) — водное млекопитающее отряда сирен. Обитала у Командорских островов; вид считался вымершим уже во второй половине XVIII века.

Стр. 358. *Остров Кергелен* — крупнейший остров одноименного архипелага в южной части Индийского океана.

*Галапагосские острова* — архипелаг в южной части Тихого океана. *Острова Джорджии* — группа небольших островов в проливе

Джорджии у западного побережья Канады. *Оркнейские острова* — группа островов в Атлантическом океане, у северной оконечности Шотландии. *Острова Зеленого Мыса* — архипелаг в Атлантическом океане у западного побережья Африки. *Малый Соловьинный остров* — часть архипелага Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане. *Остров Гофа* — небольшой островок к юго-востоку от архипелага Тристан-да-Кунья. *Остров Буве* — необитаемый остров в Атлантическом океане вблизи Кейптауна. *Острова Крозе* — группа островов в южной части Индийского океана. *Мыс Корриентес* — мыс на восточном побережье Аргентины.

*Остров Масафуэра* — один из группы островов Хуан-Фернандес (См. примеч. к стр. 351).

Стр. 359. *Остров Медный* — небольшой островок в Беринговом море.

### ЧУДО ПУРАН БХАГАТА

Впервые — в газете «Пэл мэл баджет энд Пэл мэл газет» 18 октября 1894 года. Одновременно был напечатан в нью-йоркском журнале «Нью-Йорк уорлд» под названием «Современное чудо». Впоследствии вошел в сборник «Вторая книга джунглей».

Имя героя рассказа — Пуран Бхагат — совпадает с именем героя многочисленных пенджабских легенд, который почитается святым.

Стр. 365. *Лангуры* — небольшие длиннохвостые обезьяны, обитающие преимущественно в Гималаях.

... принадлежал к касте брахманов... — Брахманы (в древности — жрецы, чьими устами говорят боги) — высшая каста в индийской кастовой иерархии.

Стр. 366. «Пионер» — газета на английском языке, выходившая в Аллахабаде. Киплинг работал в ней с 1887 по 1889 год.

Стр. 367. *Он был, согласно древнему закону, первые двадцать лет жизни — учеником...* — Здесь Киплинг искаженно воспроизводит традиционные индуистские представления о четырех периодах жизни, ашрамах, членов высших каст: 1) брамачарья (ученик); 2) грихастха (домохозяин); 3) ванапрастха (отшельник); 4) саньяси (святой).

Стр. 368. ... у глиняной гробницы святого Калы... — По-видимому, речь идет не об индуистском божестве Кала, а об одном из мусульманских вероучителей того же имени, стоявшем во главе дервишеского ордена и почитавшегося святым.

... ноги сами вели его на север... — Путь Пуран Бхагата пролегает через пенджабские города Рохтак и Карнал (современный штат Харьяна) к древнему городу Самана, который находится в пенджаб-

ском округе Патнала. Затем по пересохшей реке Гхаггар, некогда притоку Инда, он выходит к предгорьям Гималаев.

Стр. 369. *...из славного раджпутского рода...* — Раджпуты (сыны царей) — особая этническая группа, населяющая нынешний Раджастан и колонизовавшая предгорные районы.

*Кулу* — долина в предгорьях Гималаев.

*Сивалик* — один из малых южных хребтов Гималаев.

*Мал-роуд* — улица в Симле.

*Чхота Симла* — Малая Симла (см. примеч. к стр. 258).

Стр. 370. *...храм богини Кали...* — В индийском пантеоне Кали — одно из имен богини Дэви, супруги бога Шивы, которая известна также как Парвати, Дурга, Сати и пр. В облике Кали богиня выступает в злой, «черной» своей ипостаси; обычно изображается танцующей на трупе в ожерелье из черепов.

*...она же Шитала...* — Богиня оспы Шитала, как правило, не входит в шивантский пантеон и не отождествляется с Дэви. Возможно, Киплинг воспроизводит здесь одну из поздних пенджабских идентификаций.

Стр. 372. *Он тихо повторял про себя божье имя тысячи тысяч раз...* — Многократное повторение имени бога — первая ступень приближения к истине в учении бхакти, религиозного неортодоксального движения, находившегося в оппозиции к брахманизму.

*Ладак* — один из районов на северо-востоке Кашмира.

## «ОНИ»

Впервые — 4 августа 1904 года в журнале «Скрибнерс мэгэзин». Затем вошел в сборник «Пути и открытия». Несколько раз выходил отдельными иллюстрированными изданиями.

Рассказ «Они» имел для Киплинга глубоко личное, почти исповедальное значение, и его связь с жизненным опытом автора прослеживается во всем — начиная с пейзажей английского графства Сассекс, который Киплинг, заядлый автомобилист, объездил вдоль и поперек на своей машине (в комментариях к предшествующей публикации рассказа в БВЛ местом действия ошибочно назван Нортгемптон), и кончая его основной темой — темой смерти ребенка. Этот «плач по умершим детям» вряд ли был бы создан, если бы самому Киплингу не пришлось пережить страшную горе, когда в 1899 году умерла его любимая дочь Жозефина. Отец писателя Джон Локвуд Киплинг в одном из писем говорит, что после потери ребенка «бедный Редьярд рассказывал матери, как он видит девочку, когда открывается дверь или пустует место за столом, как она выходит к нему из каждого тенистого уголка в саду, выходит сияющая и разрывает его

душу на части». (Цит. по: С. Carrington. Rudyard Kipling. His Life and Work. Penguin Books, 1970, p. 437.)

Стр. 379. *...тем самым поселком...* — Имеется в виду полный английский «тезка» столицы США, поселок Вашингтон, который находится в западном Сассексе, в семи милях к северу от приморского города Вортинга.

*...церковки, сооруженные нормандцами...* — Как известно, норманское нашествие на Британские острова (XI в.) началось именно в Сассексе, где сохранилось около десятка церквей, построенных завоевателями.

Стр. 396. *В радостях под сада сенью...* — цитата из стихотворения английской поэтессы Элизабет Баррет-Браунинг (1806—1861) «Затерянная беседка».

Стр. 397. *...в елизаветинском стиле.* — Имеется в виду архитектурный стиль барокко, преобладавший в Англии во время царствования королевы Елизаветы I (царст.: 1558—1603).

## ДОМ ЧУДЕС

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Херстс интернейшнл мэгзин» в ноябре 1924 года. Впоследствии вошел в сборник «Дебет и кредит».

Стр. 404. *Буштай, Кейнслейд* — названия поселков в Сассексе.

*Высокая церковь* — направление англиканской церкви, тяготеющее к католицизму; придает большое значение ритуалу, обрядности, таинствам.

Стр. 406. *Рай* — старинный приморский город в Сассексе.

*Смолдин, Истбурн* (стр. 408) — названия сассекских городков.

Стр. 409. *Портсмут* — крупный морской порт на южном побережье острова Портси Айленд.

*Хоршем* — город в западном Сассексе.

Стр. 413. *Уэдлоуз-роуд* — улица в Лондоне.

## СТИХОТВОРЕНИЯ

Поэтическое наследие Киплинга весьма обширно, неравноценно и отягощено тенденциозными политико-идеологическими мотивами. Однако если рассматривать его как целостную художественную систему в контексте эволюции английского поэтического стиля конца XIX века, то нельзя не признать, что стихотворения и баллады Киплинга оказались в литературе того времени динамическим фактором,

который вызвал глубинные стилистические сдвиги и подготовил дальнейшую прозаизацию англоязычной поэзии. Киплинг приблизил поэзию к быту, обогатил ее жанровый репертуар и существенно расширил поэтический словарь. На фоне стилистических ограничений и запретов, выработанных викторианской поэзией (Теннисон, Суинберн, прерафаэлиты, Браунинг), его насыщенный арготизмами язык воспринимался как антипоэтический и, следовательно, более естественный; солдатский жаргон обновлял стертые балладные метры; неправильный синтаксис и фонетические смещения выделяли и освежали звукопись. Грубое просторечье киплингского стиха — это его стилистическая доминанта, и поэтому его переводчикам в ряде случаев приходится нарушать нормы отечественной поэтической речи (см., например, «Солдат и матрос заодно» или «Марш хищных птиц»), чтобы воссоздать доступными им средствами этот полемический по отношению к литературной норме «диалект».

Ориентация Киплинга на массового читателя, его стремление к простоте и однозначности, его внимание к внелитературным рядам обусловили общую направленность критических оценок (Киплинг — «хороший плохой поэт», а его стихи — «замечательные мнемонические устройства», Киплинг — «народный поэт» и т. п.), которые получал и продолжает получать вклад Киплинга в английскую поэтическую традицию. Весьма показательна в этой связи точка зрения Т. С. Элиота, который в своей вступительной статье к составленному им сборнику избранных стихотворений Киплинга (*A Choice of Kipling's Verse Made by T. S. Eliot. L., 1942*) отметил, что киплингские баллады — это настолько сильная «поэзия низшего сорта» (*verse*), что она часто переходит в разряд «высокой поэзии» (*poetry*). Несомненно, эта и ей подобные оценки делались с оглядкой на широкую популярность Киплинга-поэта, многие стихотворения которого были использованы городским песенным фольклором.

В настоящее издание включены баллады и стихотворения Киплинга из следующих его поэтических сборников: «Департаментские песенки» (1886), «Казарменные баллады и другие стихи» (1892), «Семь морей», (1896; второй раздел сборника составляет новая подборка «Казарменных баллад»), «Пять народов» (1903) и «Междулетие» (1919), а также из сборника «Песни из книг» (1911), куда вошли лучшие из стихотворений, первоначально предназначавшихся писателем для прозаических текстов. За некоторыми исключениями, в издании соблюдается порядок следования, установленный самим Киплингом для собраний его стихотворений.

При подготовке к печати старых переводов в некоторых из них были модернизированы написания географических названий и собственных имен.

Стр. 424. *Прелюдия к «Департаментским песенкам»*. — Впервые опубликована в четвертом издании сборника (1890).

«Гомер все на свете легенды знал...» — Впервые — в сборнике «Семь морей», как прелюдия к разделу «Казарменных баллад».

Стр. 425. «Серые глаза — рассвет...» — Впервые напечатано в 1896 году.

*Баллада о ночлежке Фишера*. — Впервые опубликована в газете «Уикс ньюз» (3 марта 1888 года), затем, начиная с четвертого издания «Департаментских песенок», печаталась в этом сборнике. В балладе упоминается ряд географических названий: индийская река Хугли, на которой стоит Калькутта; пригород Калькутты *Гарден-Рич*; мыс Скаген, находящийся на территории Дании; датский город *Саро* и др.

Стр. 428. *Гребец галеры*. — Впервые — в четвертом издании «Департаментских песенок». Это одна из первых поэтических аллегорий Киплинга, в которой образ галеры выступает как эмблема Британской империи.

Стр. 430. *Песнь контрабандистов*. — Впервые — в сборнике исторических рассказов Киплинга «Пук с Пукского холма» (1906), затем вошла в «Песни из книг».

Стр. 431. *Изгой*. — Впервые — в сборнике «Пять народов». Написана как монолог бывшего заключенного английской тюрьмы Дартмур, бежавшего в Латинскую Америку.

Стр. 433. *За цыганской звездой*. — Впервые это стихотворение было опубликовано в журнале «Сенчэри мэгэзин» в декабре 1892 года. В 1904 году вышло отдельным изданием, а в 1919-м вошло в первое полное собрание стихотворений Киплинга.

Стр. 434. *Дурак*. — Стихотворение (в оригинале — «Вампир») впервые было опубликовано в каталоге десятой летней выставки в лондонской «Новой галерее» (1897) как пояснение к картине двоюродного брата Киплинга Филипа Берн-Джонса, сына известного художника Эдуарда Берн-Джонса. Тогда же его перепечатали многие английские и американские периодические издания, но до 1919 года поэт отказывался включить «Вампира» в авторизованные сборники. Вошло в «Полное собрание стихотворений» 1921 года.

Стр. 435. «*Мэри Глостер*». — Опубликовано впервые в 1896 году, вошло в сборник «Семь морей». Стихотворение носит программный характер. Сэр Антони Глостер — любимый герой Киплинга, олицетворяющий сильную личность, которая способна нести «бремя белого человека». С другой стороны, в конфликте Глостера с сыном отчетливо выражено обуревающее поэта сознание того, что мощи сильных индивидов, на которых, по его мнению, держится Британская империя, приходит конец. Стихотворение написано в жанре драматического монолога, введенного в английскую поэзию выдающимся поэтом

Робертом Браунингом (1812—1889), влияние которого Киплинг испытал в ранний период творчества. *Макассарский пролив* — пролив в Юго-Восточной Азии, соединяющий Целебесское и Яванское моря. *Харроу* — одно из старейших средних учебных заведений в Англии, где воспитываются дети аристократии и крупной буржуазии. *Тринити-колледж* — один из колледжей, входящих в состав Оксфордского университета. *Кромвель-роуд* — улица в Лондоне. *Уокинг* — город в графстве Серрей. *Дифферент* — угол продольного наклона судна, вызываемый разностью в осадках носа и кормы.

Стр. 441. *Томлинсон*. — Впервые опубликовано в журнале «Нэшнл обозервер» в январе 1892 года, затем включено в сборник «Казарменные баллады и другие стихи».

Стр. 445. *Эскадренные миноносцы*. — Впервые напечатано отдельным изданием в 1893 году. Затем вошло в сборник «Пять народов».

Стр. 447. *Самая старая песня*. — Впервые — в журнале «Космополитэн» (август 1914 года), вошла в сборник «Междулетие».

*Первая песня*. — Впервые в сборнике «Семь морей».

Стр. 448. *Песнь мертвых*. — Стихотворение входило в большой цикл «Песнь англичан», впервые опубликованный в сборнике «Семь морей». Представляет собой образец так называемой «патриотической» поэзии Киплинга, восстановившей против поэта многих поклонников его таланта. В нем, как и в «Мэри Глостер», противопоставляются люди двух поколений: отцы — землепроходцы, подвижники Империи, принесшие себя в жертву ради общего дела, и дети, которых Киплинг призывает идти по родительским стопам. Предчувствуя грядущий распад Британской империи и страшась его, Киплинг ищет точку опоры в искусственно героизированном прошлом, которое произвольно толкуется им как «золотой век» британского владычества, как идеал и пример для подражания (ср. аллегорию «Плотины»). О *Дрейке* см. примеч. к стр. 51.

Стр. 451. *По праву рождения*. — Впервые напечатано 14 октября 1895 года в газете «Таймс», вошло в сборник «Семь морей». В стихотворении развивается одна из постоянных для творчества Киплинга тем, которую он ранее сформулировал в знаменитом афоризме: «Тот, кто знает только Англию, не знает Англии». Сам «туземнорожденный», Киплинг бросает здесь вызов широко распространенным в метрополии представлениям об англичанах, выросших в колониях, как о «второсортных гражданах Империи». Воспевая в гиперболизированных образах их «цивилизаторский» труд, поэт стремился продемонстрировать их превосходство над «английскими братьями» и доказать, что только в романтической жизни «настоящих мужчин» на заморских территориях сохраняется истинно национальный дух подвижнического действия. ...*четыре новых народа*... — Имеются в

виду США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. *Аббатство* — то есть Вестминстерское аббатство в Лондоне.

Стр. 454. *Королева*. — Стихотворение было впервые опубликовано без двух строф в 1894 году под названием «Романтика». Полностью — в сборнике «Семь морей» под названием «The King» («Король»). В русском переводе неизбежно изменение грамматического рода, так как «королем» поэт называет романтику.

Стр. 455. *Когда уже ни капли краски...* — первоначально завершало раздел «Казарменных баллад» в сборнике «Семь морей».

Стр. 456. *Потерянный легион*. — Впервые напечатано в нью-йоркской газете «Сан» (8 мая 1893 года), затем — во втором издании «Казарменных баллад» (1893) и в сборнике «Семь морей». *Саравак* — область на северо-западе полуострова Калимантан (ныне — штат Малайзия). *Фляй* — река в Новой Гвинее. *Масай* — имеется в виду племя масаев, живущее в горных районах Кении и Танганьики. *Саид Бургаш* (Бургуш Ибн-Саид) — султан Занзибара, находившийся на содержании у английского правительства. *Лобен* (Лобенгула) — вождь зулусских племен в Южной Родезии, который в 1888 году подписал договор с англичанами, обязуясь не вступать ни в какие сделки с другими державами.

Стр. 457. *Южная Африка*. — Впервые в сборнике «Пять народов».

Это стихотворение представляет собой характерную попытку Киплинга «мифологизировать» британский экспансионизм в Африке, то есть средствами поэзии выявить в конкретной исторической ситуации ее «вечную», идеальную сущность. Когда-то Джон Донн сравнивал любовную игру с путешествием в экзотические страны; Киплинг же переворачивает здесь эту метафору, и в результате империалистический захват новых колоний уподобляется у него романтическому приключению, а грубая и неприглядная политико-экономическая реальность исчезает, преобразованная в поэтический миф.

*Сен-Джаст* — небольшой английский город в графстве Корнуол.

Стр. 459. *Сын мой Джек*. — Впервые — в газете «Дейли телеграф» (19 октября 1916 года). Затем печаталось в качестве приложения к сборнику военных очерков Киплинга, вошло в состав «Междулентия».

Стр. 460. *Баллада о Востоке и Западе*. — Впервые опубликована под псевдонимом «Юсуф» в журнале «Макмилланз мэгэзин» (декабрь 1889 года). Вошла в сборник «Казарменные баллады и другие стихи». Много раз выходила отдельными изданиями и включалась в антологии. Сюжет этой самой популярной баллады Киплинга основан на реальном случае, имевшем место в 1848 году в районе индийской границы. *Рисальдар* — офицер в индийском кавалерийском полку.

Стр. 464. *Баллада о «Боливаре»*. — Впервые опубликована в га-

зете «Сент Джеймс газет» 29 января 1892 года, затем — в «Казарменных балладах и других стихах». Киплинг намекает здесь на распространённые в XIX веке аферы судовладельцев, которые часто посылали негодные корабли на верную гибель, чтобы получить за них большую страховку (ср. «Мэри Глостер»). Маршрут «Боливара» реконструируется точно: Сандерленд (порт на восточном побережье Англии, центр сталелитейной промышленности) — Ла-Манш — Бискайский залив — испанский порт Бильбао.

Стр. 466. *Плотины*. — Впервые в сборнике «Пять народов».

Стр. 467. *Зов*. — Впервые опубликовано в книге рассказов Киплинга «Действия и противодействия» (1909), вошло в состав «Песен из книг».

Стр. 468. *Гиены*. — Впервые в сборнике «Междулетие».

Стр. 469. *Время белых*. — Впервые в феврале 1899 года, почти одновременно в ряде английских и американских газет (в том числе в лондонской «Таймс» и в «Нью-Йорк трибюн»), вошло в сборник «Пять народов». Одно из наиболее одиозных публицистических стихотворений Киплинга, отдельные строки которого широко использовались в пропагандистских целях такими реакционными политиками, как Сесил Родс в Англии и Теодор Рузвельт в США. Однако по своему смыслу оно далеко не равно вынесенной в заглавие хлесткой формуле, являя собой не столько проповедь расизма и империализма, сколько еще одно декларативное напоминание о нравственном долге колонизаторов, как понимал его Р. Киплинг (см. об этом вступительную статью). Здесь, как и во всех политических манифестах Киплинга, отчетливо видна его тенденция переводить острые проблемы современности на абстрактный язык морального кодекса и, следовательно, затушевывать их реальное содержание. Непосредственным поводом для написания этого программного стихотворения (см. вступит. статью, стр. 20) послужила испано-американская война 1898 года, в результате которой США получили Кубу и Филиппины. Стихотворение строится как обращение Киплинга к Америке, встающей, вслед за Англией, на путь колониального господства и «цивилизаторства». . . *Египетская тьма*. . . — В Библии (кн. Исход) рассказывается о том, что пророк Моисей вывел древних евреев из египетского плена. По пути в землю обетованную, который лежал через пустыню, малодушные люди, страдавшие голодом и жаждой, стали роптать на Моисея, говоря, что было бы лучше оставаться в рабстве, то есть «в египетской тьме».

Стр. 470. *Гимн перед битвой*. — Впервые в журнале «Эхо» (март 1896 года) под названием «Маленькая проповедь», затем отдельным изданием и в сборнике «Семь морей». Это стихотворение явилось прямым откликом Киплинга на кризис в отношениях между Англией и Германией из-за Трансвааля, грозивший перерасти в военный конфликт.

Стр. 472. *Вдова из Виндзора*. — Впервые под названием «Сыновья Вдовы» опубликовано в эдинбургском журнале «Скотс обзервер» 26 апреля 1890 года. По слухам, королева Виктория (названная здесь, как и во всех солдатских стихах Киплинга, *Вдовой*) была шокирована этим панегириком в ее честь. *Виндзор* — имеется в виду Виндзорский замок, одна из загородных резиденций английских королей. *...нашей ложи размах...* — характерная для Киплинга масонская аллюзия (см. вступит. статью, стр. 16). *...За крылья зари...* — цитата из Давидова псалома: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря — и там рука Твоя поведет меня. . .» (Псалтирь, 138, 9—10).

Стр. 473. *Эпитафии*. — Написаны в конце первой мировой войны; впервые — в сборнике «Междулетие». Здесь публикуется лишь часть большого цикла, названного в оригинале «Эпитафиями Войны».

Стр. 474. *Томми*. — Впервые 1 марта 1890 года в «Сент Джеймс газет» под названием «Королевская форма». Вошло в сборник «Казарменные баллады и другие стихи». Прозвище английских солдат «Томми Аткинс» вошло в обиход во времена наполеоновских войн. Позже «Томми Аткинс» обычно ставили в графе «фамилия» в образцах документов.

Стр. 476. *Праздник у Вдовы*. — Впервые в сборнике «Казарменные баллады и другие стихи».

Стр. 477. *Джентльмен в драгунах*. — Впервые в сборнике «Казарменные баллады и другие стихи».

Стр. 478. *Брод на реке Кабул*. — Впервые опубликовано в журнале «Нэшнл обзервер» 22 ноября 1890 года, вошло в «Казарменные баллады и другие стихи». В балладе рассказывается об одном из эпизодов англо-афганской войны 1879 года, когда при попытке форсировать Кабул погибло 46 солдат 10-го гусарского полка английской армии.

Стр. 480. *Фуззи-Вуззи*. — Впервые в журнале «Скотс обзервер» 15 марта 1890 года, вошло в «Казарменные баллады и другие стихи». *Фуззи-Вуззи* — прозвище суданских воинов из племени хадендова, которые участвовали в сражениях с английской армией близ Суакина в 1884 году (См. примеч. к стр. 42).

Стр. 481. *Денни Дивер*. — Впервые в «Скотс обзервер» 22 февраля 1890 года, вошло в «Казарменные баллады и другие стихи». Публичные казни в Англии были отменены в 1868 году, но в британских колониях они сохранились почти до конца XIX века.

Стр. 482. *«Эй, солдат...»* — Впервые в «Скотс обзервер» 12 апреля 1890 года, затем — в «Казарменных балладах и других стихах».

Стр. 483. *Мандалай* (или, в более правильной транслитерации, *Мандалей*). — Впервые 21 июня 1890 года в «Скотс обзервер», вошло в сборник «Казарменные баллады и другие стихи». Стихотворение,

написанное на мелодию популярного в то время вальса, получило широкую известность и вызвало множество подражаний. Киплинг написал «Мандалай» по свежим впечатлениям от своего путешествия в Бирму в 1889 году. Фоном стихотворения служат подлинные события 1885 года, когда британские колониальные войска в Бирме начали наступление вверх по течению реки Иравади с целью захвата северных районов страны (с центром в *Мандалае*), которые еще сохраняли независимость. Поводом к агрессии явились династические распри, возникшие после смерти короля Тибо, вдову которого звали *Супи-Елат*.

Приводим еще два перевода этого стихотворения — ранее публиковавшийся перевод Е. Полонской и новый перевод В. Топорова.

### МАНДАЛЕЙ

Возле пагоды Мульмейна, на восточной стороне,  
Знаю, девочка из Бирмы вспоминает обо мне, —  
И поют там колокольцы в роще пальмовых ветвей:  
Возвращайся, чужестранец, возвращайся в Мандалей.

Возвращайся в Мандалей,  
Где стоянка кораблей,  
Слышишь, хлопают колеса  
Из Рангуна в Мандалей. . .  
Плещет рыб летучих стая,  
И заря, как гром, приходит  
Через море из Китая.

В волосах убор зеленый, в желтой юбочке она,  
В честь самой царицы Тибу Супи-Яу-Лат названа.  
Принесла цветы, я вижу, истукану своему,  
Расточает поцелуи христианские ему.

Истукан тот — божество,  
Главный Будда — звать его.  
Тут ее поцеловал я,  
Не спросившись никого.  
На дороге в Мандалей. . .

А когда над полем риса меркло солнце, стлалась мгла,  
Мне она, под звуки банджо, песню тихую плела.  
На плечо клала мне руку, и, щека с щекой тогда,  
Мы глядели, как ныряют и вздымаются суда,

Как чудовища в морях,  
На скрипучих якорях,  
В час, когда кругом молчанье  
И слова внушают страх.  
На дороге в Мандалей. . .

Это было и минуло, не вернуть опять тех дней,  
И не ходят omnibusы мимо Банка в Мандалей!  
В мрачном Лондоне узнал я поговорку моряков:  
Кто услышал зов с Востока, вечно помнит этот зов,

Помнит пряный дух цветов,  
Шелест пальмовых листов.  
Помнит пальмы, помнит солнце,  
Перезвон колокольников,  
На дороге в Мандалей. . .

Я устал сбивать подошвы о булыжник мостовых,  
И английский мелкий дождик сеет дрожь в костях монахов.  
Пусть гуляю я по Стрэнду с целой дюжиной девиц,  
Мне противны их замашки и румянец грубых лиц.

Про любовь они лопочут,  
Но они не нужны мне, —  
Знаю девочку милее  
В дальней солнечной стране.  
На дороге в Мандалей.

От Суэца правь к востоку, где в лесах звериный след,  
Где ни заповедей нету, ни на жизнь запрета нет.  
Чу! запели колокольцы! Там хотелось быть и мне,  
Возле пагоды у моря, на восточной стороне.

На дороге в Мандалей,  
Где стоянка кораблей,  
Сбросишь все свои заботы,  
Кинув якорь в Мандалей!  
О, дорога в Мандалей,  
Где летает рыбок стая,  
И заря, как гром, приходит  
Через море из Китая.

*Перевод Е. Полонской*

## МАНДАЛЕЙ

Возле пагоды Мультмейна, на бирманской стороне,  
Развеселая девчонка знай тоскует обо мне;  
Тихий звон там раздаётся, вздох меж пальмовых ветвей:  
Возвращайся, англичанин, возвращайся в Мандалей!

Возвращайся в Мандалей!  
Там причал для кораблей!  
Прибывают пароходы из Рангуна в Мандалей.  
Возвращайся в Мандалей!  
Поскорее в Мандалей!  
Где найдешь на белом свете край милей и веселей?



Возвращайся в Мандалей!  
Поскорее в Мандалей!  
Не найдешь на белом свете край милей и веселей!

Перевод В. Топорова

Стр. 485. *Марш «Хищных Птиц»*. — Впервые опубликовано в «Пэл мэл газет» 30 мая 1895 года. Вошло в раздел «Казарменные баллады» сборника «Семь морей».

Стр. 486. *Солдат и матрос заодно*. — Впервые в журнале «Пирсонз мэгэзин» (апрель 1896 года), вошло в раздел «Казарменные баллады» сборника «Семь морей». В стихотворении упоминаются два английских корабля — «*Биркенхед*» и «*Виктория*», потерпевшие крушение, соответственно, в 1852 и 1893 годах. В обоих случаях находившиеся на борту корабля английские морские пехотинцы героически погибли, пытаясь предотвратить катастрофу.

*Митральеза* — в XIX веке многоствольное скорострельное оружие; предок современных пулеметов.

Стр. 488. *Тот день*. — Впервые в «Пэл мэл газет» 25 апреля 1895 года. Вошло в раздел «Казарменные баллады» сборника «Семь морей». Речь в стихотворении идет о сокрушительном поражении англо-индийских войск в сражении при Майванде во время первой англо-афганской войны 1880 года.

Стр. 489. *Холерный лагерь*. — Впервые в журнале «Макклуэрс мэгэзин» в октябре 1896 года. Вошло в раздел «Казарменные баллады» сборника «Семь морей».

Стр. 491. *«Домой!»* — Впервые в «Пэл мэл мэгэзин» в июне 1894 года. Вошло в раздел «Казарменные баллады» сборника «Семь морей». «Маршевые» строфы стихотворения ритмически соответствуют «Маршу смерти» Генделя.

Стр. 492. *Пыль*. — Это стихотворение (в оригинале названное «Сапоги») было впервые опубликовано в сборнике «Пять народов». . . . *Отпуска нет на войне*. . . — См. примеч. к стр. 92.

Стр. 493. *Гефсиманский сад*. — Впервые опубликовано в сборнике «Междулетие». Согласно Евангелию, в *Гефсиманском саду* Христос молился накануне суда и казни, восклицая: «Да минует меня чаша сия!» (Матф., XXVI, 39). *Пикардия* — историческое название провинции в Северной Франции на побережье Ла-Манша; теперь ее территория разделена между департаментами Эн, Сомма, Уаза и др. В боях, которые происходили в департаменте Сомма во время первой мировой войны, немцы впервые применили газы. Как писал Киплинг в одном из писем, в стихотворении он хотел передать «ужас, который охватывает человека, когда он впервые надевает газовую маску».

Стр. 494. *Путь сквозь лес*. — Впервые опубликовано в сборнике

рассказов Киплинга «Вознаграждения и чудеса» (1910), вошло в сборник «Песни из книг».

*Шива и кузнецик.* — Вошло в «Первую книгу джунглей». Представляет собой шуточный пересказ одного из индийских мифов о боге *Шиве* и его супруге *Парвати* (Дэви). *Ладдука* — сладкие шарики из муки, замешанной на молоке.

Стр. 495. *Закон джунглей.* — Впервые — во «Второй книге джунглей».

Стр. 497. *Любовная песнь Хар Диала.* — Впервые — в рассказе «За чертой» («Простые рассказы с гор»), вошло в «Песни из книг». По свидетельству Т. С. Элиота, это стихотворение подсказало ему название для его знаменитой «Любовной песни Альфреда Пруфрока».

Стр. 498. *Норманн и сакс.* — Впервые опубликовано в XXVII томе прижизненного собрания сочинений Киплинга в тридцати томах. Замысел этого стихотворения возник у поэта в связи с историческими изысканиями, которыми он занимался в 1910-е годы. В нем отразилась идея Киплинга о том, что норманское завоевание оказало лишь поверхностное влияние на английский национальный характер, истоки которого он находит у саксов. *За доблесть при Гастингсе.* . . — Имеется в виду решающее сражение между англосаксонскими феодалами и норманскими завоевателями, так называемая битва при Гастингсе (14 октября 1066 года), в которой англосаксонское войско было разбито наголову, после чего королем Англии стал норманский герцог Вильгельм.

Стр. 499. *Заповедь.* — Впервые в сборнике рассказов «Вознаграждения и чудеса» и в американском журнале «Америкэн мэгэзин» (1910). Это знаменитое стихотворение (в оригинале — «Если. . .») имеет давнюю и плодотворную традицию перевода на русский язык. Приводим его также в переводах С. Маршак и В. Топорова.

#### ЕСЛИ. . .

О, если ты покоен, не растерян,  
Когда теряют головы вокруг,  
И если ты себе остался верен,  
Когда в тебя не верит лучший друг,  
И если ждать умеешь без волненья,  
Не станешь ложью отвечать на ложь,  
Не будешь злобен, став для всех мишенью,  
Но и святым себя не назовешь,

И если ты своей владеешь страстью,  
А не тобою властвует она,  
И будешь тверд в удаче и несчастье,  
Которым, в сущности, цена одна,

И если ты готов к тому, что слово  
Твое в ловушку превращает плут,  
И, потерпев крушение, можешь снова —  
Без прежних сил — возобновить свой труд,

И если ты способен все, что стало  
Тебе привычным, выложить на стол,  
Все проиграть и вновь начать сначала,  
Не пожалев того, что приобрел,  
И если можешь сердце, нервы, жилы  
Так завести, чтобы вперед нестись,  
Когда с годами изменяют силы  
И только воля говорит: «Держись!»,

И если можешь быть в толпе собою,  
При короле с народом связь хранить  
И, уважая мнение любое,  
Главы перед молвою не клонить,  
И если будешь мерить расстоянье  
Секундами, пускаясь в дальний бег, —  
Земля — твое, мой мальчик, достоянье!  
И более того, ты — человек!

*Перевод С. Маршака*

### БУДЬ В СИЛАХ ТЫ...

Будь в силах ты рассудка не лишиться,  
Безумцами в безумье обвинен;  
Отвергнутый, в себе не усомниться,  
Но вдуматься, за что ты оскорблен;  
Будь в силах ждать — и ждать, не уставая, —  
Будь в силах не бороться с клеветой,  
Терпеть вражду, вражды не разжигая, —  
И все ж не слыть ни трусом, ни ханжой;

Будь в силах ты мечтать — о достижимом,  
Будь в силах грезить — не смыкая глаз,  
Будь в силах пребывать невозмутимым  
В свой славный час и в свой бесславный час;  
Будь в силах зреть, как истиной, открытой  
Тобой, дураков морочит плут  
И дело жизни всей твоей разбито, —  
И, в этот прах склоняясь, продолжить труд;

Будь в силах ты всем, скопленным помалу,  
Рискнуть ва-банк за карточным столом,  
И проиграть, и все начать сначала,  
Не пожалев ни разу ни о чем;  
Будь в силах не пускать в отставку тело,  
Когда оно отслужит полный срок,  
Будь в силах, если сердце ослабело,  
Одною волей гнать по жилам ток;

Будь в силах ты не важничать с толпою  
И не теряться в обществе князей,  
Будь не раним ни дружбой, ни враждою,  
Ум в каждом чти — и все ж не чти ничей,  
Будь в силах ты всю жизнь лететь стрелою  
И все же — на мгновенья мерить век, —  
Тогда твои — Земля и все Земное,  
И главное, мой сын, ты — Человек!

*Перевод В. Топорова*

Стр. 500. *Просьба.* — Это поэтическое завещание Киплинга было написано им специально для полного собрания стихотворений 1932 года, где оно завершает книгу.

*А. Долинин, В. Захаров*

## СОДЕРЖАНИЕ

*Н. Дьяконова, А. Долинин. О Редьярде Киплинге . . . . .* 3

**СВЕТ ПОГАС.** Роман. Перевод *В. Хинкиса . . . . .* 27

### РАССКАЗЫ

Безумие рядового Ортериса. \* Перевод *Н. Рахмановой . . . . .* 244

Дочь полка. \* Перевод *Э. Линецкой . . . . .* 251

Поправка Тодса. Перевод *В. Паперно . . . . .* 256

Хранить как доказательство. Перевод *И. Разумовской и С. Са-  
мостреловой . . . . .* 263

И вырыли яму. Перевод [*И. Брусянина*]. . . . . 271

Без благословения церкви. \* Перевод *И. Комаровой . . . . .* 276

Конец пути. Перевод *Н. Рахмановой . . . . .* 300

«Бабыя Погибель». Перевод *В. Паперно . . . . .* 322

Белый котик. Перевод *И. Комаровой . . . . .* 345

Чудо Пуран Бхагата. Перевод *Г. Островской . . . . .* 365

«Они». \* Перевод *В. Хинкиса . . . . .* 379

Дом чудес. Перевод *А. Долинина . . . . .* 403

### СТИХОТВОРЕНИЯ

Прелюдия к «Департаментским песенкам». Перевод *Г. Усовой . . . . .* 424

«Гомер все на свете легенды знал. . .». Перевод *А. Щербакова . . . . .* 424

«Серые глаза — рассвет. . .». \* Перевод *К. Симонова . . . . .* 425

Баллада о ночлежке Фишера. \* Перевод *А. Оношкович-Яцыны . . . . .* 425

Гребец галеры. Перевод *Е. Дунаевской . . . . .* 428

Песнь контрабандистов. \* Перевод *А. Оношкович-Яцыны . . . . .* 430

Изгон. Перевод *В. Топорова . . . . .* 431

За цыганской звездой. Перевод *Г. Кружкова . . . . .* 433

Дурак. \* Перевод *К. Симонова . . . . .* 434

«Мэри Глостер». \* Перевод *А. Оношкович-Яцыны и Г. Фиша . . . . .* 435

Томлинсон. * Перевод А. Оношкович-Яцыны . . . . .	441
Эскадренные миноносцы. * Перевод А. Оношкович-Яцыны . . . . .	445
Самая старая песня. * Перевод М. Фромана . . . . .	447
Первая песня. Перевод В. Васильева . . . . .	447
Песнь мертвых. Перевод Н. Голя . . . . .	448
По праву рождения. Перевод Н. Голя . . . . .	451
Королева. * Перевод А. Оношкович-Яцыны . . . . .	454
«Когда уже ни капли краски. . .». * Перевод В. Топорова . . . . .	455
Потерянный легион. * Перевод А. Оношкович-Яцыны . . . . .	456
Южная Африка. * Перевод Е. Витковского . . . . .	457
Сын мой Джек. Перевод Г. Усовой . . . . .	459
Баллада о Востоке и Западе. * Перевод Е. Полонской . . . . .	460
Баллада о «Боливаре». Перевод А. Долинина . . . . .	464
Плотины. * Перевод Э. Горлина . . . . .	466
Зов. Перевод Г. Усовой . . . . .	467
Гиены. * Перевод К. Симонова . . . . .	468
Время белых. Перевод В. Топорова . . . . .	469
Гимн перед битвой. Перевод В. Топорова . . . . .	470
Вдова из Виндзора. Перевод А. Щербакова . . . . .	472
Эпитафии. * Перевод К. Симонова	
Политик . . . . .	473
Эстет . . . . .	473
Командир морского конвоя . . . . .	473
Бывший клерк . . . . .	474
Новобранец . . . . .	474
Ординарец . . . . .	474
Двое . . . . .	474
Томми. * Перевод И. Грингольца . . . . .	474
Праздник у Вдовы. Перевод А. Щербакова . . . . .	476
Джентльмен в драгунах. Перевод И. Грингольца . . . . .	477
Брод на реке Кабул. Перевод С. Тхоржевского . . . . .	478
Фуззи-Вуззи. * Перевод И. Грингольца . . . . .	480
Денни Дивер. * Перевод И. Грингольца . . . . .	481
«Эй, солдат. . .». Перевод В. Васильева . . . . .	482
Мандалай. Перевод И. Грингольца . . . . .	483
Марш «Хищных Птиц». Перевод И. Грингольца . . . . .	485
Солдат и матрос заодно. Перевод А. Щербакова . . . . .	486
Тот день. Перевод И. Копостинской . . . . .	488
Холерный лагерь. * Перевод А. Сендыка . . . . .	489
«Домой!» Перевод Д. Шнеерсона . . . . .	491
Пыль. * Перевод А. Оношкович-Яцыны . . . . .	492
Гефсиманский сад. Перевод В. Топорова . . . . .	493
Путь сквозь лес. Перевод С. Сухарева . . . . .	494

Шива и кузнечик. <i>Перевод Д. Шнейерсона</i> . . . . .	494
Закон джунглей. <i>Перевод В. Топорова</i> . . . . .	495
Любовная песнь Хар Диала. * <i>Перевод Э. Линецкой</i> . . . . .	497
Норманн и сакс. <i>Перевод В. Топорова</i> . . . . .	498
Заповедь. * <i>Перевод М. Лозинского</i> . . . . .	499
Просьба. <i>Перевод Вяч. Вс. Иванова</i> . . . . .	500
Примечания . . . . .	501

**Киплинг Р.**

К 42 Избранное: Пер. с англ./Сост. и вступ. статья Н. Дьяконовой и А. Долинина; Примеч. А. Долинина и В. Захарова; Оформ. худож. Г. Губанова. — Л., Худож. лит., 1980 — 536 с.

В сборник «Избранное» английского писателя Р. Киплинга (1865—1936) входят роман «Свет погас» (1891), рассказы и стихотворения разных лет.

К 70304-074  
028(01)-80 158-80 4703000000

ББК 84.34 Вл

**РЕДЬЯРД КИПЛИНГ**

**ИЗБРАННОЕ**

Редактор *Н. Толстая*  
Художественный редактор *Р. Чумаков*  
Технический редактор *М. Шафрова*  
Корректор *И. Евстифеева*

ИБ № 1752

Сдано в набор 20.03.80. Подписано в печать 05.09.80. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 28,14+вкл. 0,052=28,192 усл. печ. л. 29,602+1 вкл.=29,689 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1593. Цена 2 р. 60 к. Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.